

Genre

prose\_rus\_classic

Author Info

Николай Семенович Лесков

Том 9

Великий русский писатель Н. С. Лесков стремился в своем творчестве постигнуть жизнь разных классов, социальных групп, сословий России, создать многокрасочный, сложный, во многом еще не изученный образ всей страны в один из самых трудных периодов ее существования.

В девятый том вошли произведения: "Час воли божией", "Полунощники", "Юдоль", "Загон" и др.

<http://rulitera.narod.ru>

Николай Семенович Лесков

Собрание сочинений в одиннадцати томах

Том 9

Час воли божией

(Сказка)

I

В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброхот. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям по отцовским и дедовским, и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривдою верх взяла и всем людям хорошо было у него под державою, но только все это дело у него не спорилось. Только что начнет Доброхот с одного конца свое дело налаживать, как — глядит — оно у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброхот всяким родом и способом и умаялся в хлопотах до семи потов, а успеха ему все-таки нет как нет. И потерял, наконец, Доброхот всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморошья потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные; опостытели ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал король вянуть и к гробу посунулся.

Заметила это жена Доброхота премудрого — Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя, и ее, и своих малых детушек и не трудил бы себя долгою тяжкою заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сановитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки все дело чистое — на ладошечке.

II

Король Доброхот в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать:

— Все ли у нас под моею державой идет так, как следует?

Советчики отвечали:

— С нашей руки видать, будто идет у нас все как следует. Будь только ты у нас многолетне здоров, а для нас ничего окромя сего и не надобно.

— Если все вы не врете, то, пожалуй, быть может и вправду так, — отвечал король. — Хорошо, молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно, отчего у меня под

державою не все так, как я хочу: для чего у нас есть холодные и голодные, и отчего не для всех равно все спорится и ладится?

А бояре Доброхоту ответили:

— Что тебе этим пустым делом тревожиться! Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так — не у нас одних все хорошее не спорится, не ладится!

— Ну, пускай повсеместно так, — отвечал король, — а мне это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтоб от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорей это дело обдумали. Подите-ка сядьте честь честью в большой сборне вдоль лавок за стол да не спите, поклав друг другу головы на плечи, и обо всем мне до сумерек обдумайте накрепко, а сутемь придите и выложите.

Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили: одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было; а что станет, мол, для всех поравней и порадостней только в будущем. А потому не надо-де нынешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, мол, как ни прожить — это все равно, — хоть и пострадать, так не важно стать: наш народишко терпеливый, выносливый — ему уж не первый снег стелет головы, и ему ничего от беды не подеется; а надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено.

Провели в этих речах все время засветло, а в сумерки встали с мест, запахнулись и принесли сутемь свои суды к королю в терем и все готовьем пред ним и выложили.

Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились: покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на полотах спать, а сам еще в два раза смутней закручинился.

— Мне, — говорит, — от этого их совета совсем нет ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное: потому что не я дам богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу я и за то, что после меня в свете станется. А я хочу знать, как я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем людям стало полегостней; а вот это-то у меня как раз и не спорится, не ладится.

И начал король один в сумерках по палате из угла в угол ходить, и как до угла дойдет да повернется, то вздохнет глубоко из всей груди, так что везде слышать во всем тереме.

Тогда подошла к нему тихо в потемочках старая его мамка, чуждянка, из чужих земель полоненная, и говорит ему попросту:

— Ты чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты ведь сам виноват — для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих у бояр и советчиков. Им ведь только и дело — особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому что все они только себе добра хотят, а ты повели привести к себе старцев божьих, пустынныхиков, таких, которым уже свет не мил и земля им давно опостылела. Вот ты их спроси, — им врать нечего, им уже ничего в этом свете не надобно, — так они тебе, может быть, правду и выскажут.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо, — он сказал, — я тебя очень послушать рад, но только где же могу я таких божьих

людей достать?

А старуха отвечает:

— Ты об этом не крушися ни малости: слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть, и у нас они, милый, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трех угодных пустынных, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялися, а теперь только в то живут, что втроем в один голос за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся: может быть, только по их молитвам до сих пор господь бог твое царство и милует.

— Хорошо, — отвечал король, — я сейчас хочу видеть этих угодничков.

— Вот таков же и мой совет: пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат.

### III

Король Доброхот совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех у калек перехожих стал спрашивать: не видали ли где трех пустынных, которые отбыли все земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за одно его царство господу молятся, и через те их молитвы священная держава его выше всех на земле стоит.

Калеки перехожие, те, что все чудеса в свете Божиим видели, рассказали королю, что такие праведные пустынные точно есть, но процвели они не в одном месте, а стоят они уже много лет, все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, просиял в самом диком тесном лесу, где он стал давно на дубу на макушечке, а теперь тот дуб уже высоко возрос и уперся в поднебесье, и старца и солнце жжет и буйные ветры бьют; этот называется старик Дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок — этому средний брат — процвел в безбережной степи посреди ковыля, где и журавли, и драйвы с головами хоронятся и верхового латника с копьём вместе не видно: там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козявочек, которые сами ему в рот вползут; и этот пустынный называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок — этим обоим самый младший брат — потопил себя по самую шею посреди невылазных рамедных болот и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит песья муха\*, и пискун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик все стоит, не шевелится; имя ему Водовик, а век его триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большою опаской и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться.

И дали калеки Доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый с собою по мягкой плетушке соломенной, в каких носят гусей пред царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калеки настлать на доньшко сена пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны, а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынным. И всадить старичков надо вежливо, по-учтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялися и ходить они разучились, а тела у них так изветшались, что нести их посыльным нимало не тягостно.

Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев: Дубовика, Полевика и Водовика, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчее в плетушечки и принесли бы к королю на закорочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользы даром проходят, тем большого наказания пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей: тем поставят каждому у двора по кресту и по шесту, а наверх шеста взденут цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдет, вверх глаза бы драл да им бы завидовал. А дорогой чтобы ни о чем старичков не сметь спрашивать, а сказать только им, чтоб они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа\*, потому что зовет их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно: отчего у него все не спорится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чем больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно, и в какой чин они захотят — в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольщине и даст им супротив других кормы вдоволе; а если они, одичавши чрез долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то король их за то не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлет на тот манер, как самим им понравится, — хоть в колымагах на тавреной, пушной кошме, хоть опять на мхе и на сене в плетушках соломенных.

Пошли послы королевские, как им было указано, — и во все концы королевства рассыпались, — в каждый след все по парочке, для того, чтобы как найдут старичков, так нести их на закорках, не без отдыха, а друг с дружкой в переменочку.

Шли они, шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще без толку, и зашли уже на самый край королевства — дальше чего и идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники, на плечах песьи головы. Но чуть только три пары послов завернулись, вскоре же обрели всех трех старичков — одного в лесу, другого в поле, а третьего посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по-учтивому; но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только, как цыплятки, начали себе тонкими веками глазки защуривать.

Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать:

— Ну-ка вы, бессемянники: нет ли под вами на ваших местах серебра, или золота, или самоцветных камней? Лучше вы, дохлая братия, сами честью откройтесь, а то ведь мы вам не таковские — запытаем, замучаем до смерти.

Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их за то перевертели на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились, — и так до трех раз отхлопали, а после того посадили их на сено в плетушечки и наказали, чтобы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы перелетные птицы их не запачкали и понесли к королю на закорочках, друг с дружкой ношей меняючись.

#### IV

Сошлись все три пары обретших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из опочивальни королевиной в свою теплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становились. Помылся король майоранным мылом\* и щелоком с кучерявою мятой, с душицею,

расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться народушку, а послы тут зараз лопухи с плетушечек сняли прочь и Доброхоту старичками челом в землю ударили.

Король сделался радостен: велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить, а сам подошел к старцам с улыбкой приветною; но как увидел, какие они сидят испитые, тщедушные — в чем душа в теле держится, то от страха и руки врознь.

Однако же, поглядев на них оком благодостным, король осмелел и стал над их над плетушками разговаривать, что вот так и так, научен он сызмлада наукам и мудростям и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спорится, не ладится.

— Спрашивал, — говорит, — я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошел от них умного: или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать раз слышано. Нуте-ка вы, — вы вот много лет всё молчали и устремляли умы на высокое, — прошу я вас честию: скажите вы мне, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики как сидели, так и сидят во плетушечках, и как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают.

Терпелив был и ласков король, но за это разгневался.

— Что же, — говорит, — вы молчите, как истуканы и чучелы? Я посылал за вами много людей полированных во все стороны, а вы мне и по одному слову не сказываете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моем стольном городе; здесь молчать, когда спрашиваю, — значит грубительство, и за это от моего утверждения по закону вас будут наказывать. Смекните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противяетесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные и я могу повелеть, чтобы при мне вас поломя рассечь\* или привязать вас к конским хвостам, да и размыкать вас по полю.

Но смутился король, что если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведешь, а если сдать их честь-честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам, да на дыбе потрясти, да расспрашивать, то они и одной встряски не выдержат — все рассыплется в прах и разлетятся пылью по потолкам да по стеночкам.

И опять созвал Доброхот на совет всех своих мудрых советчиков и спросил их: отчего перед ним справедливые старцы упрямятся и что ему с ними надо сделать — как их понудить, чтоб они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвечают:

— Мы бы знали, что делать, да ты это дело сам испортил.

— А чем я испортил? — спросил король.

— А испортил ты тем, что понизил высокий сан — стал с простыми людьми вровень разговаривать: вот они через это теперь и зазналися. Тебе, кроме нас да стрельцов, ни с кем говорить непригоже, — потому что твое дело средь всех людей особенное. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам — мы от них всю их премудрость доведем.

Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать.

— Не сердись, — говорит, — ты на бедных пустынников; ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости, потому будто дело твое особенное, а они — не прогневайся — опростилися и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особину на тебя не

надеются!

— Значит, глупы они, — отвечал король, — в сем вина тебе: ведь они сюда с твоего совета и позваны.

— Нет, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоём дворе проживут — сполируются и тогда ухитрятся, как сказать про все неразберихою, — скажут так, что ничего не будет тебе и другим неприятного и все будет то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи и не давай их на допрос своим боярам-советчикам: видишь сам, чай, что старички они очень слабые, — а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные: они их возьмут да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе: будь обходительней; призови ты сейчас лучше всего своего гусяра Разлюляя-гудошника — он измигул\* мужичонко, лядашенький, ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пусто брехом на свете жив; но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесет пустолайкой и враз у старичков правды допросится, — обойдет их если не лаской, так хитростью.

Доброхот позвал своего плясуна, гусяра Разлюляя-гудошника и сказал ему:

— Ты, лядаший мужик, измигул неработистый, только хари гнешь да врешь не зная что пустолайкой, — здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую статью. Полно тебе в дураках ходить да ерошиться: я теперь тебе свое государево великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости: отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится.

И закончил король Разлюляю решением:

— Узнаешь премудрость — дам тебе сто рублей, а не узнаешь — велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, как бог в небеси, — что я сказал, то и станется.

У

Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он одет в зипунишечке в пестреньком — один рукав кармазинный\*, а другой лазоревый, на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая, — не жнет он и не сеет, а живет не знамо чем и питает еще хозяйку красивую да шестерку детей, — на которого ни глянь, сразу зная, что все — Разлюляевичи. Ходит он повсюду болтается, и никто разобрать не может: видит ли он добро в той темноте, что была до Гороха царя, или светится ему лучшее в тех смыслах, какие открылись людям после время Горохова. Никто его не чуждается, а все зовут его «пустолайкою»; но измигул Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою, то соловьем свистит, то лопочет варакушкой\*, на руках идет, боком катится и на всякий на разный манер притворяется.

Но как выслушал Разлюляй королев приказ, позабыл он все свои забавы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь, — что «не мне-де такое важное дело ведати»; но король топнул ножкой, и пошел Разлюляй к старикам и начал вокруг них, по обычаю, измигульничать: митусить ногами\* и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

— Ох вы гой еси, старички справедливые, треблаженные, божьи молчальники, разомкните уста свои благовестные и скажите скорей, не потайте от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой все добро не спорится, не ладится?

А старички как молчали, так и теперь молчат, только знай себе в кошелочках гнездятся.

Тогда Разлюляй стал на другой манер измигульничать и начал их пробовать жалостью:

— Мне нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мне скажете, отчего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей; а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей. Его слово королевское крепко и сбудется — не забудется. Да вам и самим, старичкам, для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото, а велит вас подвесить в кошелочках под полаты в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами. Что там по все дни наслышитесь — спаси только господи. Вот вы на этот счет пораздумайте: каково-то вам там придется слушать совсем непривычные речи до самого до веку! Выручайте и меня и себя, отцы, а то нагрешите вы с ними три короба и не годитесь после того ни к стру, ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в царство небесное, а так и останетесь висеть под полатами. Так напугал этим Разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны и изгоревшими устами своими начали пошевеливать, а измигул Разлюляй-пустобрех как увидал, что успел им загнать во лбы загвоздку здоровую, — сейчас побежал к королю и говорит:

— Что мне от твоей милости сказано, я все это уже выполнил: старички уже теперь полируются — стали уже губами двигать и скоро шептать начнут, — одевайся скорей да иди-ка их слушать, что они высловят, какие премудрости.

Как пришел король да нагнулся к первой плетушечке, так и стало слышно ему, что старик Дубовик и впрямь полируется — об ивовое плетение, как поросенок, всеми боками трется, а сам робко пыхтит и тихо покрехтывает.

Король его и спросил: «Отчего на свете доброе не спорится и не ладится?»

Старик Дубовик прошептал:

— Оттого, что люди не знают: какой час важнее всех.

Доброхот нагнулся к другому — к Полевику, и того спросил, а тот шепчет:

— Оттого, что не знают: какой человек нужнее всех.

Нагнулся Доброхот и к третьему старичку, а тот ему сказал:

— Оттого, что не знают: какое дело дороже всех.

И так молчальникам трудно это было проговорить с отвычки, что они как только сказали, так и ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат, на доньшках. Ничего от них король больше никак не мог допытаться, доведаться и еще больше рассердился, потому что сказанные ими слова стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так все брать, чтобы было ему все как на ладонке положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь так, как им Разлюляй пригрозил: указал Доброхот, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках в большой советной избе под палатами и держать их там, пока они не скажут: «какой самый важный час, кто самый нужный человек, и какое дело дороже всех».

Отнесли старичков в советную избу и подвесили под полатами в их плетушечках, посыпали им пшенной каши, чтоб они впросоночках зоблили\*, и поставили на верхнем полу ведерце воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном до самого до свету.

Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу — проснулся в первые петухи сынок кравчего\*, побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш, чтобы

променять его на подторжье\* на пряники. А потом еще не поспалось самому королю Доброхоту премудрому: все казалось ему, будто его закожные блошки покусывают. Провалился он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться — без сна лежать, только маяться; встал он горошком, распрямился, нахватил себе на плечи королевскую глубоньку и пошел старичков посмотреть: живы ли они, и здоровы ли, и чего они через ночь, полируясь, надумались?

Пришел король в избу, подставил себе к полатам приставную скамеечку, но только что глянул в плетушечки, — так и рот раскрыл, и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустехоньки, и ни от одного старичка ничего не осталось, кроме смятого места да наседней. Разлетелись ли они легкою пылью по стенкам да по полу или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялись, ничего не осталось.

Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и так бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благим временем, уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растрясут где-нибудь без остаточка!.. Услыхали караульщики, как земля дрожит, и стали спросонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор и кричать благим голосом: «Ай, земля сотрясается — мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевские спальники и застольники и начали со страху вокруг себя на карачках ползать, а потом пришли и вылили королю все ведро воды за ворот и насилу нашли королевского доктора-немчина, который один знал, что сделать надобно: он поднес Доброхоту под самый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тертый крепкий хрен, и защекотал ему перстами в подмышечках.

От хрена и щёкота королю сразу полегчало: он стал похохатывать, и враз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советчиков и стал спрашивать их: где делись пустынночки, не извел ли их кто какую отравой, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душою куда-нибудь в чужое царство безбожное, где их станут неволить в римский костел ходить и есть скоромное по середам и по пятницам.

Бояре, как могли, постарались короля успокаивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил, верно, в палате под полом жадный хорь и поел этот жадный хорь старичков без остаточка.

И стали все короля отвлекать и рассеивать — что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что «старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили».

— Пропоем о них панихидочку, вспомняем их кануном\* на паперти да у себя по домам блинками с припекою и будем править всем опять по-старинному, как было при дедах наших и прадедах. А что никак не спорится и не ладится — про то, значит, и думать не следует: на земле беднякам всегда будет жить тяжело, да никуда они не поденутся, ведь на небо взлететь крыльев им не дано. Поскулят и на том успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не поверил он тому, чтобы старичков у него в избе хорь изъел, — а сказал он так:

— Если хорь изъел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь ее над могилами.

Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре



болтают негожее: не хорь изъел старичков, а ушли они не иначе как своею колдовскою хитростью: пролили из ведра воду на пол, а сами сели в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать никакими манерами. От лихих колдовских людей таковые дела не раз были во всех землях и при всех дедах и при прадедах и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами\*, со берегами широкими, и в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам.

А король говорит:

— Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охотою верую, но ведь не грех и то узнать: что как устроено? Вот я хочу, чтобы вы показали мне: через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан-море спустились? Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они враз все полы во всех домах. Не ломать только в моем тереме, да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы.

VI

Пошли бояре невеселы: не хотелось им посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах, а не смели ослушаться короля и не знали, как своему горю помочь. Но на их счастье узнала опять обо всем об этом королевская мама чуждянка-доилица, и пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему по-учтивому:

— Ты прости меня, неразумную: я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала и могу тебе рассказать: куда делися старчики. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настрашал ты их до смерти сам, что велел их подвесить к полатам в избе, где держишь совет свой с своими боярами. Старчики век сидеть и всё слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого от вереда и слышала, как они друг со дружкой в потемках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнеточкой\*, а потом зачали в своих плетущечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что враз опрокинулись и с сенцом вместе на пол и выпали.

— Где же они теперь? — закричал король.

— А теперь их и след простыл: уползли на карачках с твоего двора и все в буйной траве без следочка и скрылись. Теперь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая; да и дело до них уж теперь не касается.

— Отчего же оно не касается?

— Оттого, что приснился мне вещий сон, и был слышан во сне таковой глагол, что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего вовсе не думает. Так вот ты теперь оставь старичков, а посылай искать эту девицу.

Король свою маму, чуждянку, послушался и сейчас же разослал дворян и боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу\*.

С неохотой большою и с тугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собирались; перво-наперво все они взяли шелеги, а потом зачали у себя по домам печи топить и в банях париться. А потом долго справляли себе лубяные зобёнки\* раскрашенные да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи, да колобки, в жиру кипяченые, да блины с разною с припекой, и когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыволзли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям и начали там есть досыта, пить допьяна, а напившись —

кости и зернь метать, и играв — подрались и друг дружке под очи синявы наметили, а потом помирились, на синие места муки с медом намазали и легли, крепко выпались, а как хмель прошел и синяки позаиндевели, — послы все назад возвратились и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были и что видели, и, пред иконами став, забожились, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об одной не заботилась.

— К этакой, — говорят, — если б была она, весь народ на один край света сбегался бы, и весь свет бы тогда перекувыркнулся.

## VII

Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было: не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять, дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице:

— Неужели же я так и умру, не доведавшись: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

А баба ему отвечает:

— Если будешь все бояр рассылать, — пожалуй, что так и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее чтобы не шел назад. Он мужичонко корявый, лядашенький, говорит пустолайкою, и за ним никакие дела не задержатся, а кормов ему от казны супротив бояр можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: он и так пропитается как-нибудь одною своею верностью. Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности свое счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинет пенечную оброть конскую\*, и довольно ему принадлежностей. Пусть идет, будто надо ему коней искать: «на росу, мол, пустили, а они с росы разбежались». И пусть так идет куда знает сам и проходит хоть сквозь целый белый свет: где ж нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. Ведь сквозь тартарары она небось не провалится.

— Хорошо, — отвечал король, — все твои рассуждения умные, и они мне всегда очень нравятся: пошлем Разлюляя во место больших бояр; а только не вздумай, какое ему посулить за его службу жалованье?

— Обещай что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь — будет видно, по его старанию. И совсем ничего не дашь — тоже стерпит: на тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один бог судья: твое дело совсем особенное.

— Это правда, — отвечал король, — на земле мы не судимся, ну, а все-таки надо и нам меж людей вести себя с честностью: что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, все равно как по бирочке.

— Ну, так, пожалуй, его опять и в этот раз в одностай\* против прежнего: если он исполнит свою службу и найдет девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей, а если не исполнит — не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, бог с ним, пусть идет опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей его за старание.

— А как он и девицы не найдет и сюда к нам со страху совсем не воротится? Он ведь пустой

человек, ему везде все равно — в целом мире отечество.

— Ну, про это, — сказала старуха, — я, друг мой, не сведуща. Позови к себе из приказа посольского судебного дьяка, который послам ярлыки дает за печатями; дьяк тебе это дело все оборудует.

Пришел дьяк и привел с собою самого хитрого подьячего с приписью\*, и подали королю такой совет, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а как станет король отпускать Разлюляю в последний раз, то сказать ему, что идет он послом не на целый век, а дается ему сроку ходить по свету всего три года, и если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле, а тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута, а при том битье у них будут спрашивать: знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротится?

— Пригрози-ка так, — сказал дьяк, — Разлюляй хотя и пустой человек, а дети всякому своя кровь: небось и он пожалеет ребят и жену и назад придет. Таковые разы уже не раз были и на шкуре телячьей записаны чертами и резами, со берегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены.

Король молвил втишь, что ему самого Разлюляю жаль, но и дьяк и подьячий с приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтется на тот свет душевным спасением.

И изволил сказать король, чтобы собрать Разлюляю в путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением: толоконца за пазуху да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится.

Сытее его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шел он послом, совсем ненадежное. Весь народ о том знал от бояр сановитых доподлинно. Да, кроме того, Разлюляю нигде кормов и не надобно. Оголодает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенечко вприсядку, и везде себе хлеба он выпляшет, а не выпляшет, так и сам возьмет потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться Разлюляю не для чего: на нем чина большого не кладено; ударят по шее — согнется, а запрет где-нибудь — выерзнет подворотнею и опять пойдет веселехонек.

Измигул же и нетяг\* Разлюляй Разлюляевич не дурак тоже был: не взманила его большая честь, чтобы быть в послах, и начал он сильно отпрашиваться и до той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовется волвянкою. Представлял он королю Доброхоту все доводы, что и не умен и не знатен он, и на все языки не выучен, и не с каждым вровень говорить может, а здесь без него дома ребят кормить некому и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтоб о детях своих нимало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичный двор и приставят утят стеречь, и будут им там и корм вдоволе и во всех смыслах научение; а самого Разлюляю выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке дубиночка, а на плечах оброть конская, — будто он ходит да сбеглых коней ищет.

Нечего было больше делать Разлюляю, и пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью самым смиренным обычаем, нигде ничего, кроме съестного, не крал и, когда не давали вина, не

пьянствовал, а все шел вперед; долго ли, коротко ли, и зашел он страсть как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своем пути много разных людей, и звероловов, и коробейников, и пахарей, и у всех, кого встречал, всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех; но никто этого разгадать не мог. А обратно те, кого он расспрашивал, сами хотели знать от него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкою? А Разлюляй говорил про волвянку всякому разное: то будто он своему королю у бога довечного живота просил и все в землю кланялся, то будто сам за свои грехи калялся. Наконец повстречался он раз с воровским Цыганом, под самую пасху великую, и тоже стал у того Цыгана про свое дело спрашивать; но Цыган ему засвистал и показал в перстах загогулину и говорит:

— Ты мне прежде сам скажи: хорошо ли жить у вас под державою, и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, а что шишка у него сделалась от больших молитв; но Цыган говорит:

— Не обманешь, брат, я и сам богомолен и посты держу, когда нечего есть, а на лбу у меня нет еще шишки волвянкою. Признавайся по истине.

— А по истине, — говорит Разлюляй, — я в бане мылся да с полка свалился.

— Что же ты за полк-то не уцепился?

— Очень угоревши был.

— Вот, я вижу теперь, ты говоришь мне все по совести: ишь какие вы, братцы, счастливые — вас и кормят, и поят, и спины вам порют — чего еще надобно! Теперь мне с тобою вдвоем ночевать не страшно, — отвечал Цыган, зубы скалючи, и обещал ему завтра натоше отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном Разлюляевым, а в ночи встал Цыган, съел все толокно, украл обротъ, надел зипун, да и был таков.

Остался Разлюляй в одних портках да в рубахе и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дырах, а читал он все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха-попа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нем сорок ризок, и он поет и читает молебны с акафистами\*, а в Сирахову книгу Премудрости\* не заглядывает. Ниоткуда нет Разлюляю ни совета, ни помощи, только всё ему бедства множатся, и идет он, сам под собой земли не видит и проливает слезы горючие. Тут-то над ним, наконец, бог и сжалился — даровал ему встречу желанную.

### VIII

Сам не свей, Разлюляй шел все далее, и зашел в самый темный лес, и заснул на мху на поляночке, и проспал с полдня до полночи, а в полночь прокинулся, и увидел он там при луне старичка очень старого, в долгой рубахе до пяточек, — стоит да с лип лычко дерет, а устами поет тихо спасов стих. Разлюляй думает: «Что это — либо сон снится мне, либо видение, или такой заправский старик, которому в ночи спать не хочется? А не лучше ли мне, на всякий раз, с старичком поздороваться?..»

Взял и сказал ему по-учтивому:

— Помогай господь тебе, дедушка!

Старик отвечает:

— Будь и ты здоров, Какойто Какойтович, и скажи, как тебя зовут иначе?

Разлюляй ему назвался.

— Хорошо, — говорит старичок, — Разлюляй — имя веселое; да скажи-ка мне, Разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь, зачем у нас по лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели? Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал, и зачем послан, и что претерпел, и как потерял все свои принадлежности; а старик ему говорит:

— Твое дело, брат, для меня непонятное, ну а только сдается мне, будто я тебе в этом деле помочь могу.

— Помоги ради господа, дедушка, а тебе господь бог заплатит сторицей.

— Да, господь-то, господь, всем нам батюшка, а по нем и все братья мы, а ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухою тропиночкой; теперь уж горазд ночи убыло, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзясь, а с терпением, и не бранись никак дурным словом, не гони от себя своего хранителя-ангела. Так пройди ты через весь долгий черный лес, и придет тебе там впоперек пути холодная балочка; ты переплынь вплавь без страху через холодную балочку да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, а на ней посредине приметный калинов куст, и от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный: одно крыло у него все как следует, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая в лубочек увязана. Не то его в небе орел подшиб, не то не знать для чего подстрели князьи охотники: они убивать и зверков и птиц спаси господи какие досужие! А у меня есть внучка-девчурочка, тут в лесу со мной и выросла, да такая, бог дал, до всех сердобольная, что не обидит козявочку — вот она того журавля нашла да в лубочек ему хворую ножку и повила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядает его и дает ему зернышки, пока журавелько поправится да дождет себе по поднебесью в теплые край попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в стороночке на сухом взлобке наших овец пасет. Ты узнаешь ее — такая девица пригожая, глазом посмотришь — век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо волну разбирает, либо шерсть прядет... Все сиротинкам готовит к студенной поре на паглинки\*... Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси ее: она тебе может все рассудить, потому что дан ей от бога светлый дар разумения.

Разлюляй так и вскрикнул от радости.

— Боже мой! — говорит. — Ведь ее-то мне только и надобно! Про нее, про девицу, мне только и сказано; мне других никого бы не надо и спрашивать.

— Вестимо, не надобно. Кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердечные!

— А кто же еще там с твоею внучкой, какие люди живут вместе, дедушка?

— Господь с ней один там, один господь-батюшка. Он один ее бережет, а людей с ней никаких, милый, нетути.

— Как же она не боится одна в глухой дебри жить?

Тут старик слегка понасупился.

— Полно-ка, — говорит, — заводить нам про боязнь да про страх речи негожие! Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает!

— Господи! Вот это она и есть! — завопил Разлюляй. — Вот это ее-то одну мне и надоено!

И забыл Разлюляй про всю усталость свою, побежал шибко к девушке. И на долю свою он больше не плачется, и на радости не свистит соловьем, и не прыгает, и не лопочет варакушкой, а поет благочестный стих:

Как шел по пути слабый путничек,  
А навстречу ему сам Иисус Христос.

Пробежал так Разлюляй без усталости весь и черный и красный лес, переплыл без боязни холодную балочку, опознал и приметный калинов куст на поляночке и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль, одна нога в лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идет Разлюляй — чужой человек, вдруг закурюлюкал, и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге ко взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом старый пенёк, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самотканной сорочке, и прядет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.

## IX

Разлюляй подошел к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось — все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного — точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряженную шерстяную куделю за веточку и пошла тихо к кустику, за которым стоял Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого Разлюляй и не видал ее. Тут уже Разлюляй и не вытерпел — вышел он навстречу к девушке, и поклонился ей по-вежливому, и заговорил с ней по-учтивому:

— Здравствуй, красная девица, до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки: он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно.

Девица поглядела на Разлюляя чистым взором и отвечала:

— Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете «король», — не знаю я, и из каких ты людей — это мне все равно, а за каким делом ко мне пришел — не теряй время, про то дело прямо и сказывай.

Враз понял Разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повел сразу речь коротко и все начисто.

— Так и так, — говорит, — вот что у нас в королевстве случилось: захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо было жить, а ничего это у нас не спорится, не ладится, и говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости: какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех? Вот за этим-то делом и послан я: и обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей, а если не принесу, то не миновать мне тогда счетных ста плетей. Ты до всех добра и жалостна, вот даже и зверки и птицы к тебе льнут, как к матери; пожалей же и меня, бедняка, красна девица, отгадай мне премудрость, чтобы не пришлось мне терпеть на своем теле сто плетей, мне и без бойла теперь уже мочи нет. Выслушала девица Разлюляеву речь и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила ее в руках и сок выжала да тем соком лоб Разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела

нить пряжи длинную, и когда нить вела, заметно все думала, а как стала на веретено спускать, — улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задал мне дело трудное, сверх моего простого понятия, а загадал дело божие, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам.

Разлюляй говорит:

— Молви, девица: какой час важнее всех?

— Теперешний, — отвечала девица.

— А почему?

— А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своем часе властен.

— Правда! А какой человек нужнее всех?

— Тот, с которым сейчас дело имеешь.

— Это почему?

— Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал.

— А какое же дело дороже всех?

— Добро, которое ты в сей час этому человеку поспеешь сделать. Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите так, то и не сладите.

— Отгадала все! — вскричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскричала и спросила:

— А чем ты, посол, уверишь посланного, что ответ ему от меня принес, а не сам собой это выдумал? Разлюляй почесал в голове и задумался.

— Я, — говорит, — об этом, признаться, не взгадывал.

А девица ему говорит:

— Ничего, не робей, я тебе дам для уверенья его доказательство.

И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтобы сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей и не ста плетей, а когда скажет все, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам, да вдовам, и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И если король кроме ста рублей еще что посулит или пожалует, то и того чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что «я, мол, принес тебе светлый божий дар — простоту разумения, так за божий дар платы не надобно».

Отвечал Разлюляй:

— Хорошо; я так все и сделаю.

Х

С тем отошел Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал: пришел он и стал говорить с королем все по истине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей; а потом не принял от него приобещанных ста рублей, а сказал ему слово про божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разуменье дано нам от господя.

Тут бояре, и дьяки, и подьячие все поднялися с свистом и с хохотом и все враз над ответами

Разлюляя смеялися и старалися сбить короля, чтобы он не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повывдумал. Но, однако, король Доброхот показал и свое разумение

и на их наученья не подался. Он сказал им:

— Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтоб дать ему приобещанных сто рублей, а он, как я вижу, мне верный слуга: он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор еще не случалось. Издаю вперед повеленье, чтобы по всей земле не сметь звать Разлюляя измигульником: он мне лучше всех вас старается. А вот вас бы я всех распустил от себя с большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться без челяди. Для того только вы мне и надобны.

И захотел было король Доброхот править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метанья очей в непроглядные отдаленности, да вступил ему в мысли страх, что «а ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своем по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Разлюляю же он указал, чтоб отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда там на пасеке, в теплом омшанике\*, и есть сотовый мед с огурцами и с репою, сколько похочется, а на базар не ходить и в село не заглядывать и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочке и про то, что слышал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать. Но зато, когда стал Доброхот завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотую тростию на мехе и коже, чертами и резами, почертив строки без зализей, со берегами широкими во все стороны, и прикладать ко былым словам в статью письма небылишные, гласные и согласные. И указал Доброхот завернуть этот список в парчу, и в камку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями: пусть лежит там до времени, пока перейдут временители.

Так это все в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут всё опять по-старинному, и все там опять не спорится, не ладится, а идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще, видно, час воли божией.

На том старая сказка и кончена.

По поводу Крейцеровой сонаты

Всякая девушка нравственно выше мужчины, потому что несравненно его чище. Девушка, выходя замуж, всегда выше своего мужа. Она выше его и девушкой, и становясь женщиной в нашем быту.

I

Хоронили Федора Михайловича Достоевского\*. День был суровый и пасмурный. Я в этот день был нездоров и с большим над собою усилием проводил гроб до ворот Невского монастыря. В воротах произошла большая давка. В тесноте раздались стоны и крики. Драматург Аверкиев\* показался на возвышении над толпою и что-то кричал. Голос у него был громкий, но разобрать слов было невозможно. Одни говорили, что он учреждает порядок, и хвалили его за это, а другие на него сердились. Я остался в числе тех, которых не пропустили в ограду, и, не видя цели оставаться здесь долее, возвратился домой, выпил теплого чаю и уснул. От холода и разнородных впечатлений я чувствовал себя очень уставшим и спал так крепко и долго, что не встал к обеду. Обед мне в этот день так и не пришлось есть, потому что к сумме разнородных впечатлений неожиданно



прибавилось еще одно новое, весьма меня взволновавшее.

В густые сумерки меня разбудила моя девушка, сказав мне, что ко мне пришла какая-то незнакомая дама и не хочет уходить, а настойчиво просит, чтобы я ее принял. Дамские посещения к нашему брату, пожилому писателю, вещь довольно обыкновенная. Немало девиц и дам ходят к нам просить советов для их литературных опытов или ищут у нас какого-нибудь содействия в устройстве их дел с незнакомыми редакциями. Поэтому приход дамы и даже ее настойчивость меня несколько не удивили. Когда горе велико, а нужда неотступчива — не мудрено сделаться и настойчивым.

Я сказал девушке, чтобы она попросила даму в кабинет, и сам стал приводить себя в порядок. Когда я вошел в свой кабинет, на большом столе была зажжена моя рабочая лампа. Она сильно освещала стол, но комната оставалась в полумраке. Незнакомая дама, сделавшая мне на этот раз визит, была мне действительно незнакома.

Когда я отыскивал ее глазами и хотел ее просить сесть в кресло, мне показалось, что она как будто избегает освещенных мест комнаты и старается держаться в тени. Это меня удивило. Особы, мало застенчивые, неопытные, иногда церемонятся и стесняются таким же образом, но удивительнее всего мне показалось ажитированное состояние этой дамы, которое мне как-то чувствовалось и сообщалось. Она была одета прекрасно, скромно, на ней было все дорогое и изящное: прекрасное плюшевое пальто, которое она не сняла в прихожей и в котором оставалась все время, пока говорила со мной; черная изящная шляпочка, очевидно парижской модели, а не русского производства, и черная вуалетка, сложенная вдвое и завязанная назад так, что я мог видеть только белый круглый подбородок и иногда сверкание глаз сквозь двойную сетку вуали. Вместо того чтобы назвать себя и сказать цель своего прихода, она начала с того, что сказала мне:

— Могу ли я рассчитывать на то, что вам нет никакого дела до моего имени?

Я отвечал ей, что она на это вполне может рассчитывать. Тогда она попросила меня сесть в кресло перед лампой, бесцеремонно подвинула зеленый тафтяной кружок на абажуре лампы так, что весь свет падал на меня и затемнял ее лицо, и сама села по другой бок стола и снова спросила:

— Вы одинокий?

Я отвечал ей, что она не ошибается: я — одинокий...

— Могу ли я говорить с вами совершенно откровенно?

Я отвечал ей, что если она питает ко мне доверие, то я не вижу, что мешает говорить так, как ей угодно.

— Мы здесь одни?

— Совершенно одни.

Дама встала и сделала два шага по направлению к другой комнате, где помещалась моя библиотека, и за нею — спальня. В библиотеке в это время горел матовый фонарь, при котором можно было видеть всю комнату. Я не тронулся с места, но сказал для успокоения дамы, что она видит, что у меня нет никого, кроме прислуги и маленькой сиротки, которая не может играть никакой роли в ее соображениях. Тогда она села снова на свое место, снова подвинула зеленый кружок и сказала:

— Вы меня извините, я в большом возбуждении... и мое поведение может показаться странным, но имейте ко мне сострадание!

Рука ее, которая протягивалась опять к тафтяному кружку на лампе, была обтянута в черную лайковую перчатку и сильно дрожала. Вместо ответа я предложил ей выпить воды. Она меня

удержала и сказала:

— Это не нужно, я не так нервна, я пришла к вам потому, что эти похороны... эти цепи... этот человек, который производил на меня такое необыкновенно сильное, ломающее впечатление, это лицо и воспоминание обо всем, что мне приходилось два раза в жизни рассказывать, перепутало все мои мысли. Вы не должны удивляться тому, что я пришла к вам. Я расскажу вам, почему я это сделала, — это ничего, что мы с вами не знакомы: я вас читала много, и многое мне было так симпатично, так близко, что теперь я не могу отказать себе в потребности, чтоб говорить с вами. Может быть, то, что я задумала сделать, есть величайшая глупость. Я хочу прежде опросить вас об этом, и вы должны отвечать искренно. Что вы мне посоветуете, я и сделаю.

Ее контральтовый голос дрожал, и руки, которым она не находила места, трепетали.

II

Посещения и приступы в таком роде в течение моей литературной жизни бывали хоть не часто, но бывали.

Более свойственны они были людям с политическим темпераментом, которых успокаивать довольно трудно, а помогать вдвойне рискованно и неприятно, тем более что в этих случаях всегда почти не знаешь, с кем имеешь дело. На этот раз мне прежде всего пришло в голову, что эта дама также обуреваема политическими страстями, что у нее есть какой-нибудь замысел, который, по несчастию, пришло в голову мне доверить; вступление ее беседы имело много похожего на это, и потому я неохотно сказал ей:

— Не знаю, о чем вы будете говорить. Я ничего не смею обещать вам, но затем, если личные чувства ваши привели вас ко мне по доверию, которое внушает вам моя жизнь и репутация, то я ни в каком случае не нарушу того, что вы хотите мне передать, очевидно, как тайну.

— Да, — сказала она, — как тайну, как совершенную тайну, и я уверена, что вы ее сохраните. Мне нет нужды повторять вам, почему ее надо сохранить; я знаю, что вы чувствуете, я не могу так ошибаться: лицо ваше мне говорит лучше всяких слов, и при этом для меня нет выбора. Повторяю вам, я готова сделать поступок, который одну минуту представляется мне честным и сейчас же представляется мне грубостью: выбор должен быть сделан сейчас, сию минуту, и это зависит от вас. Я не сомневался, что вслед за этим последует откровение политического характера, и неохотно сказал:

— Я вас слушаю.

Несмотря на двойную вуаль, я чувствовал на себе пристальный взгляд моей гостьи, которая глядела на меня в упор и твердо проговорила:

— Я неверная жена! Я изменяю моему мужу.

К стыду моему должен сказать, что с сердца моего при этом открытии спала великая тяжесть; о политике, очевидно, не было и помину.

— Я изменяю прекрасному, доброму мужу; это продолжается шесть... больше!.. — я должна сказать правду, иначе не стоит говорить: это продолжается восемь лет... и продолжается... или нет, это началось с третьего месяца брака; позорнее этого нет ничего на свете! Я не стара, но у меня дети, вы понимаете?

Я качнул утвердительно головой.

— Вы понимаете, что это значит. Два раза в жизни, как к вам, я приходила к тому... кого мы

хоронили и чья смерть меня всю переброила\*, призналась ему в своих чувствах; он был раз со мной груб, другой — нежен, как друг. Как это... не похоже на то состояние, в котором я к нему приходила, и, наконец, я хочу, чтобы вы мне дали тот совет, который мне нужен. Хуже всего в жизни обман, я это чувствую, мне кажется, лучше открыть свою гадость, перенести наказание и быть униженной, разбитой, выброшенной на мостовую, — я не знаю, что может со мной случиться... я чувствую непреодолимую потребность прийти и все рассказать моему мужу; я чувствую эту потребность шесть лет. Между началом моего преступления прошло два года, в которые я не видала... того; затем это началось снова и идет по-прежнему... шесть лет я собиралась сказать и не сказала, а теперь, когда я шла за гробом Достоевского, мне захотелось кончить это, кончить сегодня так, как вы мне посоветуете.

Я молчал, потому что ничего не понимал в этой истории и не мог дать решительно никакого совета; она это уловила на моем лице.

— Вы, конечно, должны знать более, я пришла не затем, чтобы играть в загадки, — а говорить, так говорить все. Дело в том, что я бесстыдно лгала бы, если бы стала себя оправдывать. Я не знала никогда никакой нужды, я родилась в достатке и живу в достатке. Природа не отказала мне в доле рассудка, мне дали хорошее образование, я была свободна делать свой супружеский выбор, следовательно, говорить не о чем; я вышла замуж за человека, который ничем не испортил своей репутации до этой минуты, напротив... Мое положение было прекрасно, когда этот человек... то есть я хочу вам сказать: мой муж, мой законный муж... сделал мне предложение. Мне казалось, что он мне нравится, я думала, что могу его любить, но во всяком случае не думала, что я могу ему изменить, тем более изменить самым подлым, самым гнусным образом и пользоваться репутацией честной женщины и хорошей матери, так как я не честная и, должно быть, гадкая мать, а измену принес мне сам дьявол, — если хотите, я верю в дьявола... В жизни очень много зависит от обстоятельств; говорят — в городах грязь, в деревнях чистота; в деревне именно и случилось, потому что я была одна с глазу на глаз с этим человеком, с этим проклятым человеком, которого привез и оставил на моем попечении сам муж мой. Я должна бы каяться, если не бесполезно раскаяние, я должна бы каяться бесконечно за этот поступок, которым обязана моему мужу, но дело в том, что я не помню этого момента, я помню только грозу, страшную грозу, которой я всегда боялась с детства. Я тогда его не любила, мне просто было страшно, и когда нас озаряла молния в огромной зале, я с испугу взяла его руку... и я снова не помню, потом это продолжалось... потом он ходил в кругосветное плавание, вернулся, и это опять началось: теперь я хочу, чтобы это кончилось, и на этот раз навсегда. Я этого хотела не один раз, но на это мне никогда не доставало воли, чтобы это выдержать. Решение, которое я принимала, совершенно улетучивалось через час при его появлении, и, что хуже всего, — я ничего не хочу скрывать, — не он, а я сама была причиной, я сама, понимаете, я сама высказывала, и достигала, и злилась, если достичь этого мне было трудно, — и если я буду продолжать так дальше, то обман, мое унижение никогда не кончатся...

— Что же вы хотите сделать? — спросил я.

— Я хочу все открыть моему мужу, и хочу непременно сделать это сегодня, вот как выйду от вас и приду домой...

Я спросил, каков ее муж и что представляет собою его характер.

— Мой муж, — отвечала дама, — пользуется лучшей репутацией, у него хорошее место и

достаточно средств; все считают его честным и благородным человеком.

— Вы это мнение разделяете? — спросил я.

— Не совсем, ему слишком много приписывают; он слишком даровит и порядочен, в нем мало того, что принято называть сердцем, как ни глупо это название, напоминающее так называемую душу музыки, но я другого не могу сказать; его сердечные движения все правильны, определены, точны и разнообразны.

— А тот, кого вы любите...

— Что вы хотите о нем сказать?

— Он вам внушает уважение?

— О! — воскликнула дама и махнула рукой.

— Я не совсем понимаю, что должен думать по этому движению?

— Вы должны думать, что это самый бессердечный и дрянной эгоист, который никому не внушает и даже не заботится внушать какое бы то ни было уважение.

— Вы его любите?

Она сдвинула плечами и сказала:

— Люблю. Это, знаете, странное слово, которое у каждого на губах, но очень немногие его понимают. Любить — все равно что быть предназначенной к поэзии, к праведности. На это чувство способны очень не многие. Крестьянки наши вместо слова любить употребляют слово жалеть; они не говорят: он меня любит; они говорят: он меня жалеет. Это, по-моему, гораздо лучше, и тут больше простого определения; слово любить-жалеть значит: любить в обыденном смысле. А то есть желать; говорят: мой желанный, мой милый, желанный... понимаете, — желать...

Она остановилась, тяжело дыша; я ей подал стакан воды, который она приняла на этот раз из моих рук, не устранилась, и, кажется, была очень благодарна, что я не всматривался в нее.

Мы оба молчали; я не знал, что говорить, и у нее иссяк весь поток откровенности. Очевидно, она высказала все, что было крупного, и далее мелькали уже детали. Она точно угадала мою мысль и сказала тихим голосом:

— Так вот, если вы скажете мне, что я должна сказать это мужу, — я так и сделаю; но, может быть, вы можете сказать мне что-нибудь другое? Кроме того, что мне внушает симпатию и доверие к вам, в вас есть практицизм, я ваша внимательная читательница; мы, женщины, чувствуем то, чего не чувствуют присяжные критики. Вы можете, если хотите, сказать ваше искреннее слово: должна или нет я прийти и открыть мой позорный и долговременный грех моему мужу.

### III

Несмотря на занимательность истории, я чувствовал тяжелое свое положение. Хотя такой ответ, какой требовала моя гостя, дать гораздо легче, чем успокоить политического деятеля или оказать ему требуемую им услугу, но тем не менее совесть моя чувствовала себя призванной к очень серьезному делу. Я достаточно жил и достаточно видел женщин, искусно скрывавших свои грехи в этом же роде или не скрывавших, но не сознававшихся в них. Я видел также двух-трех откровенных женщин и помнил, что они мне всегда казались не столько искренними, сколько жестокими и аффектированными. Мне всегда казалось, что всей этой откровенностью женщина могла бы повременить и, прежде чем объявить о своем преступлении тому, кого это может заставить сильно страдать, хорошенько пораздумать. Мне никогда не было дела до того, как относится к чьей бы то ни

было внутренней жизни свет. Не свет, а лично человек — вот кто дорог мне, и если можно не вызывать страдание, зачем вызывать его; если женщина такой же совершенно человек, как мужчина, такой же равноправный член общества и ей доступны все те же самые ощущения, то человеческое чувство, которое доступно мужчине, как это дает понять Христос, как это говорили лучшие люди нашего века, как теперь говорит Лев Толстой и в чем я чувствую неопровержимую истину, — то почему мужчина, нарушивший завет целомудрия перед женщиной, которой он обязан верностью, молчит, молчит об этом, чувствуя свой проступок, иногда успеваешь заглазить достоинство своих увлечений, то почему же это самое не может сделать женщина? Я уверен, что она это может. Нет никакого сомнения, что число мужчин, изменяющих женщинам, превышает число женщин, и женщины это знают; нет ни одной или почти ни одной рассудительной женщины, которая после более или менее долгой разлуки с мужем питала бы уверенность, что во все время этой разлуки муж остался ей верен. Но тем не менее по возвращении его она ему прощает столь великодушно, что прощение ее выражается в том, что она его об этом даже не спрашивает, и откровенность эта была бы для нее не одолжением, а горем; это был бы поступок, который обнаружил то, чего она не хочет знать. В этом неведении она находит силу продолжать свои отношения, как будто они были прерваны нечаянно. Я сознаю, что в мои соображения входит гораздо больше практицизма, чем отвлеченной философии и возвышенной морали, но тем не менее я склонен так думать, как думаю. В этом направлении я продолжал беседу с моею гостьей и спросил ее:

— Дурные свойства человека, которого вы любите, внушают к нему какое-нибудь неуважение?

— Очень сильное и очень постоянное.

— Но вы стараетесь иногда его оправдывать.

— К сожалению, это невозможно: для него нет ни каких оправданий.

— Тогда я позволю себе спросить: что же, ваше негодование к нему, пребывает ли оно постоянно в одном положении или оно иногда ослабевает, иногда усиливается?

— Оно постоянно усиливается.

— Теперь я спрошу вас, — вы ведь позволяете мне спрашивать?

— Пожалуйста.

— В эту минуту, когда вы сидите у меня, где ваш супруг?

— Дома.

— Что он делает?

— Спит в своем кабинете.

— И затем, когда он встанет?

— Он встанет в восемь часов.

— И что он будет делать?

Гостья улыбнулась.

— Он умоется, он наденет пиджак, пройдет к детям и будет играть полчаса на биксе\*, потом подадут самовар, из которого я налью ему стакан чаю.

— Вот, — сказал я, — стакан чаю, самовар и домашняя лампа — это прекрасные вещи, около которых мы группируемся.

— Прекрасно сказано.

— И это проходит более или менее — приятно?

— Да, для него, я думаю.

— Извините меня, в этом деле, которое вам угодно было раскрыть мне, он один имеет право, чтобы о нем подумать, — не дети, которые могут и должны даже этого никогда не знать, и уж, конечно, не вы... Да, не вы, потому что вы нанесли ему страдание, между тем он — лицо пострадавшее. Поэтому об нем надо подумать, чтобы он не страдал, и представьте себе, вместо того чтобы он, по обыкновению отпив чай и, может быть, с уважением поцеловав вашу руку...

— Ну-с?

— И потом, когда он пойдет заняться делами... потом поужинает и спокойно пожелает вам доброй ночи, — вместо всего этого он услышит ваше открытие, из которого узнает, что вся его жизнь с первого месяца или даже с первого дня супружества поставлена в такую бессмысленную рамку. Скажите мне, добро или зло вы ему этим сделаете?

— Не знаю; если бы я это знала, если бы я могла это решить, то я не была бы здесь и не разговаривала об этом. Я у вас спрашиваю совета, как мне поступить?

— Совета я вам дать не могу, но я могу сказать мнение, которое во мне складывается. Однако для того, чтобы оно имело в моих глазах определенную форму, я еще позволю себе предложить вам один вопрос... Чувства никогда не пребывают в человеке в одном и том же положении... Ваше нерасположение к тому ослабевает?..

— Нет, она обостряется!

Она воскликнула это с болью в сердце и даже как будто привстала и хотела отстраниться от чего-то, что я видел в моем воображении. Несмотря на то, что мне не видно было ее лица, я чувствовал, что она ужасно страдает и страдание это дозрело до такой степени, что не могло оставаться дольше без развязки.

— Следовательно, — сказал я, — вы осуждаете его всё строже и строже...

— Да, чаще и чаще...

— Прекрасно, — сказал я, — теперь я позволю себе сказать вам, что я считал бы благоразумным, чтобы вы, возвратившись домой, сели к вашему самовару так, как вы садились к нему прежде.

Она слушала молча; глаза ее были устремлены на меня, и я видел их сверкание сквозь вуалетку, слышал, как громко и учащенно билось ее сердце.

— Вы мне советуете продолжать мою скрытность?

— Не советую, но думаю, что так будет лучше для вас, для него и для ваших детей, которые во всяком случае ваши дети.

— Да почему лучше? Значит, тянуть бесконечно!

— Лучше потому, что при откровенности все было бы хуже, и бесконечность, о которой вы говорите, сказала бы еще печальнее того, о чем вы думаете.

— Моя душа очистилась бы страданием.

Мне казалось, что я вижу ее душу: это была душа живая, порывистая, но не из тех душ, которых очищает страдание. Потому я ничего не ответил о ее душе и снова упомянул о детях.

Она заломила обе руки так, что пальцы ее хрустнули, и тихо поникла головой.

— И какой же будет конец этой моей эпопее?

— Хороший.

— На что вы надеетесь?

— На то, что человек, которого вы любите или, по вашим словам, не любите, а с которым вы свыклись... станет вам день ото дня ненавистнее.

— Ах! он мне и так ненавистен!

— Будет еще больше, и тогда...

— Я вас понимаю.

— Я очень счастлив.

— Вы хотите, чтобы я его бросила молча?

— Я думаю, что это был бы самый счастливый исход из вашего горя.

— Да, и потом...

— И потом вы... возвратите...

— Возвратить ничего невозможно.

— Виноват, я хотел сказать, вы удвойте вашу заботливость о вашем муже и о вашей семье; это даст вам силу не забыть, а сохранить прошлое и найти достаточно поводов жить для других.

Она встала — неожиданно встала, еще глубже опустила свою вуалетку, протянула мне руку и сказала:

— Благодарю, я довольна тем, что послушала своего внутреннего чувства, которое сказало мне прийти к вам после того, как меня взволновало ужасное впечатление похорон; я оттуда вернулась как сумасшедшая, и как хорошо, что я не сделала всего того, что хотела сделать. Прощайте! — она подала мне опять руку и крепко пожала мою, как бы с тем, чтобы остановить меня на том месте, где мы находились. Затем она поклонилась и вышла.

#### IV

Повторяю, что лица этой женщины я не видел; по одному подбородку и под вуалью, как под маской, о ее лице судить было трудно, но по фигуре ее у меня составилось понятие о ее грации, несмотря на ее плюшевое пальто и шляпку. Говорю, это была фигура изящная, легкая, необыкновенно живая и необыкновенно сильно врезавшаяся в мою память.

До сих пор я этой дамы никогда нигде не встречал и по голосу ее думаю, что она не была мне знакома. Говорила она своим непритворным голосом, легким, грудным контральто, очень приятным; манеры ее были изящны, и можно было бы принять ее за женщину светского круга, и, еще вернее, высшего чиновничьего круга, за жену директора или вице-директора департамента или в этом роде; одним словом, эта дама была для меня незнакома и осталась незнакомою.

После похорон Достоевского и рассказанного мною события прошло три года. Я зимой заболел и весною отправился на воды за границу; до вокзала железной дороги меня сопровождал приятель и одна моя родственница; мы ехали в коляске; с нами были мои дорожные вещи. Проезжая по одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту, на одном из поворотов, у подъезда большого казенного дома, я увидел даму; мгновенно, несмотря на мою близорукость, я признал в ней мою знакомку. Я вовсе не был приготовлен к этому, вовсе о ней не думал, и потому поразительное сходство меня сильно удивило; у меня мелькнула глупая мысль встать, подойти к ней, остановить, о чем-то спросить, но так как со мною были посторонние лица, то я, к счастью моему, этого не сделал, и воскликнул:

— Боже мой, это она! — и этим дал моим спутникам повод посмеяться.

На самом деле это была она; вот как это открылось. По обычаю всех русских или большинства

русских, я выбрал кружный путь; прежде всего заехал в Париж и пил воды в июле и затем только в августе появился там, где мне следовало быть в июне; скоро я ознакомился с большинством других лечившихся русских и всех почти знал, так что прибытие всякого нового лица мне было заметно.

И вот однажды, когда я сидел на скамейке парка, по которому проходит дорога, ведущая к вокзалу, я увидел коляску, в которой помещались: мужчина в светлом пальто и шляпе и дама в вуали, а перед ними сидел мальчик лет девяти.

И опять со мной случилось то же самое, что было при выезде из Петербурга.

— Боже мой, это она!

Действительно, это была она.

На другой же день в ресторане парка за кофейным столиком я увидел ее благообразного, но испитого мужа и ее необыкновенно красивого ребенка. Мальчик был несколько цыганского типа, смуглый, с черными локонами и с большими совершенно голубыми глазами.

Я допустил себе маленькую наглость: подкупил гарсона, чтобы он устроил столик поближе к даме; я хотел рассмотреть ее лицо.

Она была хорошенькая, с довольно приятным, мягким, но мало значительным выражением; она меня, без сомнения, узнала, два или три раза она старалась повернуться на своем стуле так, чтобы мне неловко было рассмотреть, но потом встала, остановилась возле одной моей знакомой дамы, поговорила с нею, отошла в сторону и возвратилась к мужу.

Вечером за послеобеденным кофе на одном из сборных концертов моя знакомая дама, к которой подходила новая гостья, сказала мне, что она желает меня представить г-же Н., которая в эту минуту мимо нас проходила, и представление было сейчас же исполнено. Я сказал ей обыкновенную фразу, на которую она ответила также обыкновенными словами, но в этих словах, в этом голосе, в этой манере я узнал ее; это несомненно была она, и она была настоль умна, что поняла, что я ее узнал, решила не скрываться и сделаться знакомой; она могла рассчитывать на мою порядочность, на слова, которые она мне тогда говорила...

С тех пор мы стали видеться, и мы даже несколько раз делали экскурсии со знакомыми дамами и ее сыном. Муж ее как-то не любил поездок, у него болело колено, он прихрамывал, и притом, не могу разобрать, что с ним происходило: не то он тяготился женой, не то даже желал быть свободен, приволокнуться за одною или даже, может быть, не за одною из приехавших дам сомнительных репутаций. Но при всех наших встречах и разговорах она никогда не сказала и не намекнула, что у меня была или что мы когда-нибудь виделись раньше: только я прекрасно чувствовал, что она и я считаем за несомненное, что мы друг друга понимаем. И вдруг среди этого положения представился совершенно непредвиденный случай.

В одно прелестное время поутру она не явилась сопровождать мужа к источнику: он был к кофе один и сказал, что их Анатолий недомогает, что мать не помнит себя от горя.

В восемь часов вечера мой портье сообщил мне страшную новость, что в отеле таком-то умер ребенок от дифтерита; это, конечно, был сын моей незнакомки.

Я не принадлежу к числу людей слишком осторожных и потому тотчас же взял мою шляпу и отправился в этот отель; мне почему-то казалось, что муж ее слишком безучастно к этому относится; если этот дифтеритный ребенок есть ее сын, то, может быть, моя помощь или какое-нибудь участие на что-нибудь пригодится.



Когда я вошел в отель, где занимала она номер... никогда не забуду того, что я увидел. Там было всего две комнаты: в первой, где была гостиная мебель, обитая красным плюшем, стояла моя незнакомка, с распущенными волосами, с остолбеневшими глазами; она держала обе руки с растопыренными пальцами, защищая собою диванчик, на котором лежало что-то, покрытое белой простыней; из-под этой простыни была видна одна небольшая синяя нога; это был он — мертвец Анатолий. У двери стояли два незнакомых мне человека в серых пальто, перед ними был ящик, не гроб, а ящик, вроде большого свечного ящика, в аршина два глубиною, до половины налитый чем-то белым, что мне

показалось сначала молоком или крахмалом; спереди их стоял полицейский комиссар и бюргер с каким-то значком; они говорили громко; мужа дамы не было дома, она была одна, она только спорила, защищалась и, увидев меня, воскликнула:

— Боже мой! защитите, помогите! Они хотят взять ребенка, они не дают похоронить его; он умер сию минуту.

Я хотел заступиться, но это было совершенно бесполезно, даже если бы у нас была сила одолеть четырех человек, которые без всякой церемонии и довольно грубо бросили ее в другую комнату и закрыли дверь, в которую она напрасно с страшным стоном стучала кулаками. В это время взяли ребенка, который был таким цветущим, опустили его в раствор извести, тотчас схватили ящик и быстро удалились.

V

В небольших купальных местах и городках страшно не любят смертных случаев. Содержатели отелей и меблированных квартир всемерно избегают таких жильцов, здоровье которых заставляет опасаться скорой смерти.

Ни в одном из этих городов не допускают погребальных процессий, и если случится покойник, то его скрывают от всех посторонних, вывозят по железной дороге решительно без всякого погребального обряда.

Заразные болезни с смертельным исходом случаются очень редко, и в той местности, где умер сын моей знакомой, это был первый случай, и весть об этом распространилась между публикой с невероятной быстротою и произвела страшный испуг, особенно между дамами. Арестные врачи, составляющие в таких городках самое важное правящее сословие, старались успокоить возбужденные умы и, превосходя в этом усердии друг друга, перессорились и разделились на два лагеря: одни, к числу которых принадлежали и пользовавшие ребенка два консультанта, не отрицали, что причиною смерти ребенка был настоящий дифтерит, но что против заразы приняты были ими все меры, что входили к нему в особом платье и что, выходя, себя тщательно дезинфицировали; двое даже из них обрились, чтобы доказать, как они серьезно относятся к делу. Другие же, в несравненно большем числе, говорили, что случай был довольно сомнительный, даже с достаточными противопоказаниями, и обвиняли своих коллег в неосторожном преувеличивании болезни мальчика, отчего произошел большой и напрасный переполох, нарушивший спокойствие больных и угрожающий более всего экономическим интересам местных обывателей. Эта же вторая медицинская фракция неодобрительно отзывалась о представителях городской власти, которые чрезвычайно грубо и резко обошлись с госпожою Н., у которой они вырвали ребенка с разбойническим насилием чуть-чуть не в минуту смерти и утопили в известке, может быть ранее,

чем у него угасли последние искры жизни. Указанием на эту грубость доктора хотели отвлечь внимание публики от себя и направить его на других лиц, поведение которых, в самом деле, представляло большую резкость; но это не удалось. Эгоизм человеческий в минуту опасности становится особенно отвратительным, и в публике совсем не находилось людей, которые обнаружили бы достаточно внимания к положению несчастной матери. Уж если дифтерит, так церемониться нечего, и чем власти поступили решительнее и тверже, тем лучше. Нельзя же, в самом деле, подвергать других опасности! Интересовались только тем: куда был выслан ящик с опасным покойником? И сведения на этот счет получились довольно успокоительные. Ящик был отвезен в черное болото, из которого прежде добывали лечебную грязь для ванн. Теперь в это болото ящик был спущен и в одной из его глубоких колдобин затоплен, завален камнями и снова еще раз залит известкой. Решительнее и аккуратнее распорядиться заразным трупом, казалось, было невозможно; но затем началась расправа с отелем, из которого почти все население разбежалось и остались только бедняки, которые были не в состоянии позволить себе такую роскошь, чтобы бросить оплаченную вперед за месяц квартиру. Надо было дезинфицировать весь отель или по крайней мере те апартаменты, которые занимало семейство Н., и прилежащее к ним по бокам помещение; надо было тоже дезинфицировать коридор, по которому бегал мальчик, и угол столовой, в которой семейство Н. вместе кушало. Все это представляло очень значительный денежный счет, если не ошибаюсь, свыше трехсот гульденов, так как мягкую мебель трех апартаментов признано необходимым сжечь всю дотла, в остальных же помещениях переменить гардины, ковры и портьеры и заменить их новыми. По этому поводу г-ну Н. были предъявлены со стороны содержателя отеля денежные требования, а представители города поддерживали права содержателя отеля, который, несмотря на требуемое вознаграждение, все-таки останется в убытке от случившегося происшествия, так как в отеле его множество помещений будут пустовать весь сезон и на будущее время хозяин рискует потерять клиентуру у большого числа посетителей, до которых дойдет известие, что здесь был дифтеритный случай.

Этого рода претензии были новы для посетителей, и всех занимало, как это дело кончится. Одни находили, что это требование придирчиво, другие же находили его правильным, хотя чрезмерным; об этом повсеместно говорили, и г-н Н. стал интересным человеком. Но удивительно, что его не боялись. К нему подходили, так как известно было, что он, как больной человек, вышел из своего номера тотчас же, как обнаружилась болезнь, и не возвращался туда до смерти сына. О жене его не спрашивали, и ее не было видно в течение нескольких дней. Думали, что она куда-то уехала или же нездорова. Сам же г-н Н. представлял большой интерес для людей, интересовавшихся иностранными порядками. Г-н Н. всякий день рассказывал, какие к нему предъявляют требования и что он на эти требования отвечает. Он не отрицал, что хозяин отеля потерпел убытки и что смерть ребенка действительно в этом случае была причиной этих убытков, но отрицал право произвольного наложения на него платежа и не хотел ничего заплатить без суда.

— Положим, — говорил он, — я и должен заплатить, но мне это должно быть доказано не каким-нибудь комиссаром и тремя мешанами, а доказано формальным судом, которому я могу подчиняться. И кроме того, что значит такой приговор: заплатить. Хорошо, если я имею чем заплатить. Пусть берут мой чемодан, и ничего больше. Вот ежели бы на моем месте был бедняк, я полагаю, с ним нечего было бы и толковать.

И все были заняты мозаикой этого вопроса, и около господина Н. постоянно собирались кружки, которые рассуждали о его правах и окружающих неприятностях. Дело, однако, скоро уладилось как-то мирно: город не захотел доводить дело до настоящего суда, так как при этом разговор о дифтеритном случае сделался бы еще более известным, а порешили покончить дело мировой сделкой, по которой г-н Н. должен был заплатить тот счет, который представят дезинфекционные подрядчики. Тем бы дело и кончилось, но тогда вдруг произошло новое событие: г-жа Н., проведя восемь дней в большом номере отеля, каждый день ходила к болоту, в которое бросили ящик с телом ее ребенка, и на девятый день из этого путешествия не возвратилась. Ее напрасно искали: никто не видел ее ни в лесу, ни в парке; она не заходила ни к кому из своих знакомых, не пила чаю ни в одном ресторане, а просто исчезла, и с нею исчезли чугунные гири, которыми муж ее делал комнатную гимнастику. Ее напрасно искали три или четыре дня, и потом стали высказывать подозрение, что она, вероятно, утопилась в том же болоте — что потом, говорят, и было доказано, но труп ее, поднявшийся будто к поверхности, был снова засосан болотом. Так она и погибла.

Это было происшествие очень замечательное по своему трагизму, по той тишине, с которой все это произошло; исчезнувшая Н. не оставила ни записки, никакого признака своего решения покончить с собою. Г-н Н. возбуждал к себе сочувствие многих; сам он держался очень скромно в холодном и гордом молчании; он говорил: «всего бы лучше мне надо уехать»; но не уезжал потому, что собственное здоровье его было очень слабо и требовало того, чтобы лечебный срок на этих водах был выдержан.

Мое знакомство с ним плохо ладилось: мы, очевидно, были люди несродного характера. Несмотря на то, что я знал семейную тайну, которая должна бы заставить меня относиться к нему с сожалением, он мне казался далеко противнее своей жены, нанесяшей ему супружеское оскорбление. Желать сближения с ним я не имел причины, но, по непонятному для меня побуждению, вдруг он удостоил меня внимания и в разговорах, которые между нами завязывались, очень часто и очень охотно касался памяти своей покойной жены.

Невинный Пруденций

(Легенда)

I

В первых веках христианства в одном из торговых поселков на берегу Средиземного моря жили два купца, которых звали Алкей и Гифас. Оба они ходили в море на одном небольшом корабле, который теперь назвали бы ладьею. Они вели торговлю вместе, а иногда также вместе нападали на небольшие суда и грабили их. Последнее свое занятие, то есть разбойничество, Алкей и Гифас скрывали, но оно было прибыльнее торговли. От такого двойного промысла оба купца сделались богаты и жили в достатке. У них были самые лучшие дома во всем поселении и при домах сады и теплые бани.

Гифас был старше Алкея и имел жену Ефросину, тоже уже пожилую женщину, и сына Пруденция, а Алкей был моложе Гифаса на десять лет и недавно женился на молодой и очень красивой, доброй и рассудительной девушке, которую звали Мелита.

Мелита приходилась племянницей жене Гифаса, Ефросине, и жила с нею в такой же дружбе, как Гифас с Алкеем, а сын Гифаса, миловидный отрок Пруденций, был любимцем обеих семей — своей собственной и семьи Алкея. Пруденций жил в обоих домах, как у себя, пользуясь заботами матери своей Ефросины и полезными внушениями Алкеевой жены, молодой и прекрасной гречанки

Мелиты.

Когда Алкей и Гифас по условиям своего промысла ходили надолго в море, — жены их, пожилая Ефросина и молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вместе все свободное время, какое им оставалось от их ручного труда и необходимых забот по хозяйству.

Ефросина была очень домовитая женщина, старого языческого воспитания, и заботилась только об одном житейском: она не умела грамоте, но зато лучше Мелиты заготавливала копченое мясо, фрукты и рыбы; а Мелита пришла сюда из города, где занималась науками и нежными работами, требующими искусства и вкуса для их производства. Поэтому Ефросине не раз приходилось подавать Мелите полезные советы и оказывать помощь в хозяйстве, а благородная Мелита, в благодарность за это, старалась оказывать взаимные услуги Ефросине. Она вышивала головные покровы для самой Ефросины и делала узорочные коймы к легким, эфирным туникам, в которые Ефросина любила одевать свое единственное и долгожданное дитя, отрока Пруденция, отличавшегося замечательной стройностью и красотой.

Пруденций был статен и смугл, с горячим матовым цветом лица, с большими черными глазами, глядевшими из-под черных ресниц, при черных бровях и густых кудрях цвета ореха.

Он был очень нежен и ловок в движеньях, застенчив, страстен и скромн, — и чрез это он каждому казался приятным и милым.

Самое лучшее, чем Мелита могла заслужить Ефросине, это было обучить Пруденция грамоте и тем из известных Мелите искусств, которые шли к полу мальчика по условиям тогдашнего быта.

II

Мелита научила Пруденция читать и писать, петь и играть на цевнице, шибко бегать и бросать в цель металлические кружки и кольца.

Так как Гифас и Алкей прожили век в своем полудиком, не столько торговом, сколько разбойничьем поселке, то они не знали никаких подобных изящных упражнений и развили свои силы прямо в суровой борьбе с морем, но Ефросине нравилось, чтобы Пруденций был воспитан нежнее и ближе к тогдашней моде.

В упражнениях Пруденция в силе и ловкости с ним состязалась сама его учительница, прекрасная Мелита, и ее молодая черная рабыня-финикиянка Марема, которую тоже звали короче Мармэ.

Когда Мелита начала заниматься воспитанием Пруденция, ему тогда исполнилось всего двенадцать лет, но он был так крупен и строен, что походил уже на мальчика лет пятнадцати; а Мелита, которой шел в это время семнадцатый год, была столь моложава, что ее можно было принять за пятнадцатилетнюю невесту. Довольная и в то же время воздержная жизнь и умеренность во всех наслаждениях, при свободе от болезней деторождения, так сберегли прекрасное тело юной Мелиты, что при встрече с нею всякий незнакомец легче всего почел бы ее за юную девушку, а не за молодую жену пожилого человека, каков был ее муж, косою и в обхождении грубый Алкей.

Так же девственно чист, и беспечен, и весел был ее живой, острый ум, живший в ладу с добрым сердцем и прекрасным, твердым и ровным характером.

Научая Пруденция бегать по правилам бега, легкая Мелита сама становилась с ним рядом на мету и бежала, нередко обгоняя его и приходя первой на противоположную мету, где становилась, оборачиваясь к нему лицом и собирая тонкими пальцами черные кудри, рассыпавшиеся по белому лбу, орошенному потом.

Так же вместе они метали и диски и кольца, а судьей их была темнолицая рабыня Мармэ, которую Мелита содержала не как служанку, в подобострастье, а как подругу — в любви, и сама находила ее приятной по душевным качествам и прекрасной по телу, отличавшемуся гармоничною стройностью и ровным агатовым блеском.

Так занималась Мелита Пруденцием целых два года, а в конце третьего года в среде этих людей случилось несчастье.

### III

После нескольких бурных дней, проведенных Алкеем и Гифасом в море, — Алкей возвратился один на своей ладье.

Это было вечером, когда все жители в селении спали.

Алкей вошел в свой дом, двери которого ему открыла Марема и испугалась, заметив на лице своего господина страшное выражение. Алкей тотчас же приказал служанке удалиться, а сам вошел к жене и открыл ей, что Гифас погиб в море.

Эта новость поразила и в то же время удивила Мелиту, которая имела некоторые понятия об условиях морского быта, и она стала расспрашивать мужа: как могло случиться, что судно сохранилось в целости и сам Алкей сохранил себя в безопасности, а Гифас погиб!

— Это было так, — отвечал Алкей, — что на нас напали две ладьи грабителей, и мы долго от них оборонялись, но я бил сильнее и мог защищаться, а Гифас не успел уклониться от одного удара в голову и упал в воду с раздробленным черепом.

— А как же ты мог спастись?

— Я увидел, что мне одному уже нельзя защищаться, и бросился в воду, чтобы меня тоже почли убитым. В воде я схватился руками за киль и держался до тех пор, пока грабители, опустошив нашу лодку, кинули ее на произвол ветра. Тогда я снова вскарабкался в лодку, поставил порванные паруса и, взяв руль, достиг кое-как до нашего берега.

Мелита выслушала рассказ мужа и ничего ему более не возражала, но Алкей заметил по лицу жены, что она как будто сомневается в его рассказе, и, отведя свои глаза от ее взора, добавил:

— Я не могу теперь говорить тебе в подробностях, как все это случилось, да ты и не могла бы всего понять, потому что это совсем не то, что твоя музыка или твои вышиванья, а я тебя попрошу лучше, чтобы ты оказала мне необходимую помощь: облегчи мне чрезвычайно тяжелое дело.

— О, сделай милость: я готова сделать все, что в силах, — отвечала Мелита.

Тогда Алкей ей открылся, что он, человек неустрашимый в борьбе с морем и разбойниками, очень боится видеть женское горе и слушать стенания и вопли, и для того он просит Мелиту, чтобы она пошла к Ефросине и открыла ей ужасную новость о смерти ее мужа и о гибели значительной доли их состояния, бывшего в лодке.

Мелита сказала, что она это сделает, и поручивши Мармэ позаботиться о том, чтобы вытопить баню для мужа, сама оделась и пошла тихо к вдове Ефросине.

Вдова Ефросина, получив от Мелиты печальную весть о смерти Гифаса, предалась обычному плачу и стенаниям, а потом надела одежды вдовства и, покрыв голову платом с неподрубленным краем, сказала Мелите:

— Теперь я не могу спать во всю ночь, и, обнявшись с сыном, мы до утра будем плакать с ним о Гифасе; а утром рано я пошлю Пруденция обойти все наше селение и позвать всех на берег моря на

то самое место, с которого муж мой Гифас в последний раз отплыл вместе с Алкеем. Ты же Алкею скажи, чтобы он в тот же час пришел на то место и всем рассказал, как все это случилось, что муж мой погиб, а Алкей один живым возвратился. Я теперь в таком огорчении, что ничего сама понять не могу, и не в силах придумать, что мне делать с судном, в котором есть половинная доля Гифаса и только другая половина принадлежит Алкею. Пусть весь народ из селения сберется, пусть все люди услышат печальную повесть, как ее Алкей нам расскажет, и затем пускай люди обсудят, как нам жить дальше или как нам удобнее рассчитаться и разделиться с Алкеем.

Мелита нашла желание вдовы Ефросины совершенно основательным и, возвратившись домой, известила об этом Алкея. Он принял это спокойно, как человек, у которого совесть чиста и которому нечего опасаться рассказать перед всеми о том, что случилось.

Он поблагодарил жену за то, что она приняла на себя тяжесть объявления горя вдове Ефросине, и уснул крепким сном в объятиях Мелиты. Но его крепкий сон, однако, не раз прерывался какой-то тревогой, и дремотный голос Алкея прямо на ухо Мелите называл имя Пруденция.

#### IV

Люди селения собрались у пристани и сели одни на желтом песке, а другие на серых камнях, а вдову Ефросину посадили на опрокинутую лодку, и тут же у ног ее сел красивый сын ее, невинный Пруденций. И мать и сын были босы и в печальных одеждах с неподрубленным краем.

Посредине круга, который образовали собою люди, усевшиеся перед опрокинутой лодкой, на которой поместили Ефросину, стоял Алкей и рассказывал, как было дело, что напали на них в море неизвестные люди и одолели их и товар их заграбили, а Гифаса убили и бросили в море.

Словом, Алкей сказал людям то же самое, что раньше сказал он жене, и рассказ его на всех произвел такое же неясное впечатление, как на Мелиту. И когда речь Алкея была кончена, все мужчины остались на время в молчании, а потом один из них, самый старейший в селении, молвил:

— Я бы так рассудил, что в море бывают всякие беды, и что случилось с Гифасом, того уж теперь не поправить, а надобно думать о вдове Ефросине и об отроке, сыне Гифаса, которые остались в живых и которых здесь видим все перед собою, босых и в печальных одеждах с неподрубленным краем.

Пусть, находясь нынче в царстве теней, Гифас не будет смущаться за то, что здесь будет с ними и с их достоянием, которого нам нельзя разделить безобидно между Алкеем и сыном Гифаса. Пусть все, что у них вместило было там, и останется общим, пока отрок Пруденций достигнет возраста мужа, и тогда они сами разделятся с Алкеем, а до тех пор пусть все по-старому останется вместе, и кораблец и товары, где они что поместили на время на пристанях дальних.

В людях прокатило рокотом тихим:

— Да, это самое лучшее. Все так согласны, и пусть так и будет, ежели только вдова Ефросина на это согласна.

Вдова сидела с поникшей головою и отвечала:

— Я горем убита и полагаюсь на общее мнение.

Тогда все решили, что Алкей должен взять к себе в дело Пруденция и обучить его торговле и всей морской жизни, а когда Пруденций придет в возраст, тогда с ним разделить все, что нажито вместе с Гифасом и что вперед им придется еще к нажитому прибавить.

Против этого только вдова Ефросина заметила, что сын ее еще очень молод, чтобы вверять его морю и обрекать на все случайности; но Пруденций едва это услышал, как сам стал проситься, чтобы мать

его отпустила с Алкеем, и вдова Ефросина согласилась его отпустить, а Алкей не имел никаких оснований для того, чтобы уклониться от приема Пруденция, подал ему руку и сказал:

— Клянуся бегами, я рад, что люди решили, чтобы ты стал мне товарищем вместо своего отца. А тебе, госпожа Ефросина, я здесь обещаю пред всеми людьми и пред небом, что я всегда буду помнить, как тебе дорог твой единственный сын, и стану жалеть и беречь его юные силы. Ты же не бойся: и море не всегда ведь сурово — оно часто даже хранит от зол человека, особенно юность, в пору которой скоро вступит Пруденций; воздух и море дадут ему крепость мышц и смелость духа, и, что не меньше того драгоценно, — они сохранят его целым от ранних соблазнов любви, расслабляющих тело и душу. А затем он увидит много иноземных чудес, искусится в познание людей, усвоит себе познания в торговле, и тебе будет отрадно видеть, как через него в дом твой снова польются богатки, и когда он в свободное время присядет у твоего очага, ты сама, поворачивая над углями вертел с дымящимся мясом, насладишься тем, как будут все Пруденция слушать.

V

Ефросина более не возражала, и Пруденций ушел в море с Алкеем, и с этой поры мореходство стало для него постоянным занятием, в котором он в самом деле скоро окреп, так что в пятнадцать лет был похож на семнадцатилетнего юношу, а в семнадцать совсем смотрел взрослым мужчиной, и был он красив на удивление и при этом стыдлив и совсем целомудрен.

Алкею не было выгоды выхаживать Пруденция, и он втайне очень бы рад был от него избавиться, чтобы сокрыть все свои пути и места, где у него были в чужих портах склады, но он не хотел, чтобы Пруденций исчез так же, как исчезнул Гифас, потому что одинакие случаи два раза кряду могли повести к подозрению, и суд простых рыбаков родного поселка мог быть слишком суров для Алкея, но Алкей сделал все, что только мог, чтобы растлить душу Пруденция, и когда они заходили в чужие порты, Алкей его поощрял пить вино и оставлял в сообществе соблазнительных женщин, которым обещал хорошую цену за то, чтобы отогнать от Пруденция скромность и увлечь его в порочную страстность. Но все это было напрасно: какой-то хранительный гений до того неприкосновенно охранял юношу от всех соблазнов и поползновений, свойственных его возрасту, что сами соблазнительницы, которым Алкей предавал целомудренного юношу, дали ему название «Невинный Пруденций».

Но отчего же он, при всей своей юности и красоте, поражавшей множество женщин, был так недоступен никаким их соблазнам?

Женская влюбленность в Пруденция доходила до таких безумных проявлений, что раз, когда ему и Алкею случилось пристать на мысе у города Книда\*, самая красивая девушка этого городка кинула в Пруденция из-за скалы острым бронзовым осколком и, не попав в голову, так тяжело ранила его в плечо, что он упал, обливаясь кровью, а она в это же время бросилась в море.

Рана, нанесенная безумною книдянкою, была очень тяжела и так долго не заживала, что Алкей привез Пруденция к вдове Ефросине больного, в перевязках, и случай этот, огласившись в целом поселке, восстановил в памяти многих случай с Гифасом и дал повод нехорошо говорить об Алкее. Разговоры в таком роде распространялись быстро и прежде всех дошли до слуха темнолицей невольницы Мармэ, которая, как сказано выше, была молодая и в своем роде тоже очень красивая девушка и очень любила Мелиту.

— Госпожа! — сказала она, находясь вдвоем вечером в бане с Мелитой. — В народе разносят очень странные речи; мой долг предупредить тебя о том, что в этих речах, кроме сына вдовы Ефросины, много такого, что касается тоже тебя и твоего мужа, а моего господина, Алкея.

— Что же это такое?

— Вот что: все знают, что красивый Пруденций пришел уже в самый расцвет своей красоты и здоровья, а меж тем он до сих пор остается невинной ребенка...

— Да, быть может это и так, но ведь это меня нимало не касается, и я думаю, мне об этом совсем лишнее знать...

— О нет, это не лишнее для тебя, госпожа!

— А я могу тебя уверить, усердная Марема, что это до меня совершенно не касается и даже нимало меня не занимает.

— Это тебя должно занимать!

— Почему?

— Неужели ты не понимаешь?

— Не понимаю, и откровенно скажу, это мне совсем неприятно... Для чего мне знать эти вести о том, как себя держит Пруденций? Для чего все вы стараетесь сделать мне все это известным?

— Кто же все, госпожа?

— Например, вдова Ефросина.

— Ага! это понятно. А еще кто, госпожа, говорил с тобой об образе жизни стыдливого сына Гифаса?

— Представь, мне говорил это муж мой Алкей.

— Сам Алкей?

— Да.

— Он тоже имеет причины.

— Он мне их не сказал.

— И это понятно.

— А мне ничто не понятно, — отвечала Мелита и тотчас же добавила с доброй улыбкой: — а если Мармэ известно более, чем ее госпоже, то это потому, что тут, верно, есть что-нибудь, что касается больше Мармэ, чем Мелиты.

— О, совсем наоборот, — так же с улыбкой отвечала Марема, — не я, а ты, моя госпожа, живешь в целомудренном сердце невинного Пруденция.

— Что говоришь ты!.. Опомнись, что ты сказала, Марема!

— Я сказала только то, что для меня очевидно и что как раз так и есть, как я сказала. И поверь мне, госпожа, что это не мне одной кажется так.

— Кто же еще смеет так думать?

— Смеет!.. Ты смешно говоришь: для чего тут особая смелость? Всякий, даже против желания, должен подумать о том, что перед ним является с такой же очевидностью, как страстная влюбленность в тебя невинного Пруденция.

— Ты клеветешь разом на всех нас, Мармэ, и я бы хотела, чтобы ты выпустила это из своей головы и никогда более к подобному разговору не возвращалась.

— Запретить говорить мне ты можешь, и я буду тебе повиноваться, но «выпустить из головы»... Нет, ты требуешь невозможного дела!.. И притом, если я буду молчать, я не открою тебе всего, что



угрожает...

— Кому?

— Кому? Странный вопрос! Всем, кто тебе дорог: Алкею, Мелите, вдове Ефросине и самому невинному Пруденцию, который не может жить долго без перелома в душе его, если не произойдет отвлечения его мыслей куда-нибудь вдаль от всего, что слилось для него в одном сладостном звуке твоего имени. О госпожа! Или ты в самом деле дитя, несмотря на довольно долгие годы замужества с Алкеем, или же ты самая большая и искусная притворщица в свете!.. Разве не видишь ты, как он глядит на тебя, так, что всякому видно, что он постоянно весь полон тобою...

— Я этого не вижу.

— Ты не видишь, но вижу я, и видит мать его, вдова Ефросина, у которой он спит, положив голову ей на колени, а уста его в тихом бреду произносят шепотом сладчайшее слово: «Мелита»... Вдова Ефросина тоже ведь женщина, и она не может не догадаться, что это значит... Я думаю, что если бы твой муж, засыпая у тебя на коленях, стал тихо шептать имя посторонней женщины, то хотя бы это имя значило не более, чем имя Маремы, — ты бы догадалась, что господин мой зовет меня не для таких услуг, которые я обязана исполнить ему все при твоём лицемерье.

— Право, я никогда об этом не думаю.

— Верю! И зачем бы ты стала думать, когда твое сердце нимало не уязвлено страстью...

— Что ты хочешь сказать? — перебила Мелита, — или, по-твоему, я не люблю своего мужа?

— Нет; ты любишь Алкея, как мужа, и на мужнину долю этого чувства довольно; но Алкей ведь недаром имеет такие глаза, которые могут сразу в разные стороны видеть... Зачем он тебе рассказал про стыдливость этого юноши, который пламенеет к тебе первую страстью?.. О, я не была при том, как вы об этом говорили, но я будто слышу вкрадчивый тон Алкеева голоса; я знаю наверно, как он с шуткой мешал яд своих подозрений...

— Алкей это все рассказал мне в самом деле смеясь.

— И ты приняла его смех за веселость!.. Ты верила ему, что он шутит?!

— Почему же не верить?

— О, это забавно! Однако это сохранило тебя от большей опасности; но она все-таки придет: я вижу мрачный огонь в разлете скошенных зрачков твоего мужа, и не как твоя рабыня, а как друг твой, у которого все благополучия сопряжены с твоею жизнью, — я заклинаю тебя, Мелита: сними повязку с твоих прекрасных глаз — взглядишь в то, что произошло, с отвагой женщины, понимающей опасность, и обдумаем, что нам делать, чтобы не произошло бедствия.

— В каком роде беды ты ожидаешь, Марема?

— В том самом роде, в каком кончилось дело жизни Гифаса.

— О, справедливее Небо! Неужто и ты, Мармэ, подозреваешь...

— Что ты, что ты, моя госпожа! Я столько же склонна что-нибудь подозревать, сколько желаю быть продана от тебя в каменоломни на скалы, но я тебе указываю в ту сторону, где небо краснеет и откуда слышится приближение бури... Будь осторожна... не выдай себя Алкею ни звуком, ни взглядом.

— Да мне нечего и скрывать... Я учила Пруденция — правда, по дружбе моей к вдове Ефросине, и ласкала его тогда как ребенка, но я не сказала ему шепотом ни одного слова, никогда я не обвела его взором нежнее, чем должна смотреть дружба, и я уверена, что если вдова Ефросина спросит

Пруденция, то и он ей не скажет, чтобы я была виновата в тех чувствах, о которых ты мне теперь рассказала... Я же при встрече скажу ему, чтобы он перестал обо мне думать, что это тяжело мне... обидно... и... если только все правда, что ты говорила, то он будет напрасно тратить свои лучшие годы...

— Отчего?

— Как отчего?

— Ты разве не женщина?

— Да, я женщина... но что же следует дальше?

Марема улыбнулась и сквозь улыбку сказала:

— Мы все чутки сердцем... а ты так сострадательна...

— Ну, и мне его жалко!

Марема махнула рукою и ответила скоро:

— Ах, госпожа моя! — только и нужно: сожаленье к мужчине нас отдает в его руки!

VI

Мелита не сразу ответила на последние слова Маремы: она, вероятно, чувствовала, что в них есть доля правды, но потом она привела свои чувства в порядок и сказала:

— Опасного много на свете: может быть, что и сожаленье ведет нас к дурному; но я не боюсь этого.

— Что же, ты разве зачарована?

Теперь улыбнулась Мелита и ответила:

— Да!

— Какие же чары тебя защищают?

— Я христианка... я неспособна к обманам и знаю, что нет и не может быть счастья во лжи.

— Конечно, конечно!.. Ну, а если бы боги Аида\* призвали к себе моего господина...

— Что ты опять говоришь мне, Мармэ! В каком ты бесстыдном теперь настроении!

— Нет, ты скажи: в каком настроении ты чувствовала бы себя, оставшись свободною, молодою вдовою... когда нежная страсть такого красавца юноши, как Пруденций, не казалась бы тебе тем, чем кажется нынче? Ах, я уверена, что вы с ним скоро пришли бы сжечь жертву ваших сердец у алтаря Гименея.

— Никогда!

— Почему, моя госпожа?

— Во-первых, потому, что я христианка.

— Я очень плохо понимаю различия в верах! Для меня все религии сходны в одном: все мешают любить столько, сколько б хотелось!

Но эти слова привели Мелиту в такое сильное расстройство, что она стала еще больше укорять Мармэ за вольности в ее рассуждениях.

— Ты говоришь мне про приязнь, которую ты ко мне будто чувствуешь, — сказала Мелита, — а высказываешь такие мысли, которые пристали бы разве коварной смутьянке, желающей сбить замужнюю женщину с пути ее долга. Но этого, я надеюсь, со мной никогда не случится: от этого меня сохранит именно то святое учение, в постижении которого я стараюсь найти смысл жизни. Не улыбайся, Мармэ. Христианское учение открывает человеку, в чем смысл жизни, и научает его управлять своими страстями. Ты не раз говорила мне, что я облегчила тебе твою долю тем, что

обращаюсь с тобою не как с рабыней, а как с равной мне женщиной; а ведь это произошло оттого, что наш учитель велел нам в каждом человеке видеть нашего брата, и потому мне отрадно и сладко называть тебя моею «сестрою» и устроить тебе покой и довольство. Но дальше согласие наше идти не может, потому что ты считаешь себя вправе брать у жизни все, что только возможно схватить, а я рассуждаю иначе.

— О, конечно, схватить все, что можно! — перебила Мармэ. — Для чего упускать свое счастье?

— Счастье!.. Это неясное слово, Марема. Кто может сказать: в чем счастье?.. Для тебя это, быть может, достижение того, что тебе сейчас нравится, а для... другой...

— Ты хочешь сказать, для христианки?

— Может быть, да. Для нее лучшая радость — вовсе не в том, чтобы вырвать у жизни сейчас все, что возможно, а в том, чтобы идти в тишине к тому, что может создать общую радость.

Мармэ засмеялась и, отмахиваясь ладонями, молвила:

— Эге-ге! Это все старые песни! Ты оттого так рассуждаешь, что ты слишком спокойно любишь мужа и не имеешь от него детей. Когда бы Алкей был способен внушить тебе более жаркие чувства или бы ты имела детей, то поверь, что ты бы на все посмотрела иначе и стала желать своего, а не общего счастья.

И Мармэ живо рассказала Мелите: как живительно действует счастье быть любимым тем, кого любишь, и как естественно заботиться о своих детях. Она представила эту заботу такой жаркой, с которою совсем невозможно сравнить ровного участия всеобщей любви безразлично ко всем людям целого мира.

Но Мелита стояла на своем и снова ей возразила, что она не имеет нужды в особенных чувствах к людям, родным ей только по крови, и что для нее гораздо желательнее иметь благоволение ко всем людям, как это внушено в учении, сделавшем ее христианкою. Тогда Мармэ пожала с улыбкой своими смуглыми плечами и сказала:

— Спор наш, я вижу, ни к чему не приведет. Оставим все это времени, а теперь покуда помни лишь то, что я тебе сообщала: муж твой ревнует тебя к сыну вдовы Ефросины, и ты должна это знать и отстранить с пути своего все, что может усилить тревогу.

— «Усилить тревогу!» Тревога ни из-за чего!.. Тревога, в которой я ничем не виновата, но которой тем не менее должна я бояться!.. И вот это-то все вы называете жизнью! Нет, жизнь совершенно в ином, и я не перестану искать ее, где надо.

— Ищи! — отвечала, кончая беседу, Мармэ, — но еще лучше будь готова встретить то, что она может бросить тебе на твой путь совсем неожиданного.

— Пускай будет так. Я терпеливо выслушала все, что ты мне сказала от доброго сердца, и теперь я строже стану настороже у моих чувств.

## VII

Эта беседа с Мармэ глубоко врезалась в сердце Мелиты и заставила ее передумать о вещах, на которых она до сих пор не останавливалась. По живости своего молодого темперамента и чистоте своих помыслов она никак не могла допустить, чтобы Пруденций, который был моложе ее на пять лет и с которым она всегда обходилась как с малым ребенком, незаметно для нее загорелся к ней такую неукротимую страстной любовью, для которой в их положении не могло быть никакого исхода. И вот теперь ей говорят, что это, однако, свершилось... До сих пор Мелита этого не

замечала, но теперь, после указаний Мармэ, она сама стала припоминать глубокие вздохи невинного Пруденция и его долгие взгляды, которые он устремлял на нее, забывая обо всем окружающем, причем иногда не слышал, как его зовет мать или кличут другие.

Против воли своей Мелита начала верить, что она имела несчастье внушить страсть юноше и что если это не пройдет, то возможно, что Пруденций совсем не захочет жениться, и тогда дом его матери останется пуст и вдова Ефросина станет укорять Мелиту в увлечении сына — в чем она нисколько не виновата.

И в самом деле, вдова Ефросина уже начала глядеть на Мелиту не прежними глазами, и когда, после рассказанной выше беседы, Алкей и Пруденций отправились надолго в море, — вдова Ефросина не стала более скрывать своего неудовольствия на Мелиту и однажды сказала ей:

— Ты, однако, иссушила сердце моего ребенка.

— Боже! — отвечала Мелита, — неужто ты, Ефросина, склонна верить, что мне доставило бы удовольствие путать смысл твоего сына!

— Я не верю ничьим словам, но я сама вижу его терзания и сама за него терзаюсь.

— Но что я могу сделать для того, чтобы не было этих терзаний?

Ефросина покачала головою и, наморщив лоб, проговорила:

— Да; я знаю, ты ничего не можешь сделать в его пользу, но... но я все-таки страдаю, Мелита, и мне тяжело тебя видеть.

С этим вдова Ефросина ушла, а Мелита возвратилась к себе, раздосадованная на роковое стечение обстоятельств, и не находила в себе никакой вины: она не увлекала Пруденция в сети своей красоты. Она проверяла также свои собственные чувства к юноше и вполне убедилась, что Пруденций не составляет для нее никакой исключительности, — что он ей мил и жалок не более, как многие другие, для которых она готова бы сделать всякую посильную услугу и радостью которых могла бы радоваться. Но ни для кого в свете не хочет она нарушить верности мужу. Нельзя же этим служить для утешения вдовы Ефросины!

И при таких рассуждениях Мелите постоянно представлялось, что в жизни, — чтобы прожить так, как должно, — надо иметь со многими людьми нелады и борьбу, а при таком положении нет ни покоя, ни счастья. Стоит ли вводить себя в такую борьбу для того, чтобы захватить чего-нибудь приятного немножко побольше, чем есть у других. Все это ведь на очень короткое время быстро минующей жизни. Нет, это не стоит. Без сравнения лучше жить, борясь с собою, — надо себя исправлять, освобождая себя от таких страстей, которые влекут к разладу с милосердием и человеколюбием... Мелита стала вспоминать одну из подруг своего детства, белокурую Эрминию, которая была всех изящнее и красивее среди сверстниц, а выбрала себе самую суровую долю: она так настроила свой дух дошедшим до них «галилейским учением», что заботы о своем личном счастье показались ей совсем не достойными никакого труда, и она отказалась от замужества и пошла служить больным в одной общине в Лиде\*.

Нравственный облик этой Эрминии и серьезный путь ею для себя избранной жизни теперь беспрестанно приходили на мысли печальной Мелите и мирили ее с жизнью. Она соображала тот и другой путь, которым возможно идти, и находила, что на всех этих путях нужно вести битвы за все и со всеми и что спокоен и тих тот только путь, на который люди не лезут толпою и где никого не надо ронять с ног, чтобы самому завладеть чьей-нибудь долею так называемых радостей жизни... Это он-

то и есть путь «галилейского пророка» и путь тех, кто верит в истинность его учения... Вот что Мелита и предпочла бы всему, что имеет. Это путь отречения от личных радостей — путь жизни, преданной благу других...

И когда Мелита, обойдя мысленно все, что ей представлялось в жизни, доходила опять до того, что избрала вспоминаемая ею подруга, она всегда чувствовала в себе наитие мира и покоя, — она ничего не боялась, и смотрела смело вперед, и верила, что в этом одном настроении человек ближе всего к истинной цели своего воплощения.

Если бы какие-нибудь перемены в жизни Мелиты были возможны и если бы они зависели от ее выбора, то она бы всему предпочла не быстро преходящую любовь с избранником сердца, а она сейчас бы встала и пошла бы искать свою подругу Эрминию и стала бы с нею делить ее служение немощным старикам и покинутым детям в той же Лиде или в другой местности мира, где люди также все бьются друг с другом из-за личного счастья и оставляют без внимания тех, которые ослабели и искалечились в этой ужасной борьбе.

Где бы было возможно принести себя в такую жертву, чтобы облегчить людское горе и положить начало новому направлению жизни, Мелита сейчас же бы встала и ушла туда... И тогда с ней неразлучно была бы та совершенная радость, которую она и теперь уже ощущала, но которой в нынешнем ее положении мешала неодолимая боязнь, что вдруг подвернется такой или другой случай, и удалит ее от избранного верного настроения, и начнет переполнять душу ее тревогою, страхом и подозрениями...

О, эти подозрения! Мелита знала им цену: когда еще жив был Гифас, ей мимо воли случилось услышать один разговор их с Алкеем об островке, где у них есть им одним только известная пещера и в ней хранятся их сокровища и их преступные тайны... С этих пор Мелита всегда подозревала, что они не только товарищи по торговле, но что они оба — грабители и убийцы... И это сделалось источником вечного страха и терзаний Мелиты, — она с этих пор подозревала, что и все другие люди в поселке думают о Гифасе и о ее муже Алкее как о разбойниках, а смерть Гифаса и общий приговор взять в дело Пруденция еще более утвердили Мелиту в подозрении, что всем уже известен преступный род жизни Алкея и что все к этому так равнодушны только потому, что и сами они в нравственной жизни недалеко отошли от Алкея с Гифасом... И теперь, конечно, этим же недостойным путем будет проходить свою жизнь невинный Пруденций... Ведь Алкей, конечно, ведет себя и при нем так же, как вел при Гифасе, и Пруденций, без сомнения, знает уже, что у них где-то в группе прибрежных скал есть островок с пещерой... и там какие-то сокровища и еще что-то, о чем Мелита сама не имела точных понятий... Она никогда не спрашивала об этой тайне мужа и не говорила о своих догадках Мареме, потому что Мелите стыдно было признаться, что она подозревает своего мужа в разбойничестве, а Марема... Ах, Марема, несмотря на свою преданность Мелите, сама гораздо больше близка душою к тем, чьи поступки и страсти так ужасают Мелиту... И оттого еще ужаснее горе Мелиты, что ей не с кем облегчить свою душу, которая вдруг начала тяжело томиться — точно она будто чуяла вблизи предстоящее новое горе. Все это надобно было скрывать, и Мелита скрывала. Чтобы думать в тиши или плакать, не боясь пустых замечаний о том, что «стыдно грустить», Мелита начала часто уходить на обрывистый берег моря и подолгу сидела там, охватив руками колени и глядя в бесконечную даль, откуда она точно вызывала на сцену действия последнее искушение, которое и не умедлило своим приходом.

## VIII

Раз, когда Мелита сидела над облюбованным ею обрывом морского берега, из-за столпившихся вдалеке темных скал показалась лодка, с которой были убраны все паруса, кроме одного старого, на котором она едва подвигалась. Вместо флажка наверху мачты был надет головной колпак из черного войлока.

Если бы Мелита не была слишком сильно погружена в свои размышления, удивившие ее к желанию резкого перелома в своей жизни, то она бы непременно заметила эту лодку, и по ее печальной оснастке она поняла бы, что на этом судне случилось какое-то большое несчастье. Но Мелита видела лодку, и ее грязный парус, и войлочный черный колпак наверху ее мачты, и всему этому не придала никакого значения.

Она должна бы заметить и то, что лодка, бывшая, конечно, в далеком плавании, входила в пристань в необычное время и держала курс свой не прямо к поселку, а нарочно проходила между скалами и пристала у одной из них, завязав канат у торчащего рогом обломка утеса.

С лодки сошел кто-то, покрытый коричневым полотном, и, ничего не взяв с судна, скрылся где-то под берегом, а потом, через час или несколько больше, опять возвратился к лодке вдвоем с закутанной женщиной, которая едва лишь ступила на лодку, как страшно вскрикнула и, отпихнув от себя сопровождавшего ее мужчину, упала в море, но сейчас же выплыла на берег и убежала.

Это Мелита уже заметила, потому что женский крик был слишком громок и страшен, но она тотчас же потеряла из вида эту фигуру и зато тем более была поражена, когда через малое время эта же самая фигура, в том же мокром платье, но в лице Маремы, подбежала к Мелите и, упав перед ней с сжатыми руками, завопила сквозь слезы:

— О моя бедная госпожа! Прокляни и продай меня, как злую вестницу, в жестокие руки! я достойна этого за то горе, какое мне суждено тебе возвестить.

При первых же словах Маремы сердце Мелиты переполнилось предчувствием жесточайшего несчастья, и она ей сказала:

— Умоляю тебя, говори мне скорей, что случилось, и не бойся моего гнева — моя вера не дает места гневу.

— О да, — отвечала Марема, — теперь тебе наступил час показать твоей бедной и темной рабе, сколько света и силы может дать человеку твоя вера!

— Я постараюсь, чтобы ты не получила о ней через меня дурного понятия; говори, что должна я узнать!

— Твой муж... вон, видишь, там, у скалы... это лодка его... моего господина Алкея, и... в ней на дне, около мачты, на вершине которой поднят черный колпак, лежит, покрытое парусом... бездыханное тело.

— Пруденция! — воскликнула громко Мелита и сейчас же заломила над головою руки и стала повторять сквозь рыдания: — Бедное дитя! Неужели Алкей убил его в ревности! О, злополучный невинный Пруденций!

Но Марема, дав несколько времени проплакать Мелите и как бы освоиться с горем, взяла ее тихо за руки и, переводя их к своему сердцу, сказала:

— Нет, Мелита! Ты напрасно плачешь о юноше, ты должна оборотить к себе горе другой стороною: погиб не Пруденций, а тот, чья смерть тебя оставляет вдовою.

Мелита вдруг воздержала свои слезы и остановила сухой, огненный взгляд на Мареме:

— Умер муж мой, Алкей?!

— Да, госпожа.

— И там, внизу, у скалы его тело?

— Да, оно в лодке... тело Алкея... Я его видела и прокляла рок, судивший мне возвестить тебе это несчастье.

— Оставь говорить о проклятиях и веди меня скорей к лодке!

Марема положила себе на плечо руку Мелиты, и обе женщины пошли спешной походкою к морю и скоро стали у лодки, на которой не было никакого груза, а только у основания мачты лежал небрежно брошенный парус.

— Вот это здесь, — тихо сказала Марема и затем с участием спросила: — Если ты можешь видеть и прикажешь открыть...

Но Мелита, вместо ответа, сама нагнулась и едва приподняла угол серого полотна с синей каймою, как увидела мертвое лицо Алкея с выдавшимися косыми глазами и тремя страшными колотыми ранами в черепе... Раны были посреди темени, все три кругловатые, каждая величиною с вишню, и все рядом одна от другой на расстоянии пальца... Их не нужно было ощупывать, чтобы сказать, что все они равномерно глубоки и все три смертельны.

Мелита склонилась к голове мужа и долго смотрела в его глаза, а потом, когда подняла лицо свое, увидела, что прямо перед нею, по другую сторону паруса, стоял в печальном платье и с печальным лицом невинный Пруденций.

Увидя его открытое лицо, хранившее до сих пор на себе следы целомудрия и духовной чистоты, Мелита вздохнула и тихо промолвила:

— Ты знаешь, конечно, что о тебе скажут люди, когда увидят несчастное тело Алкея?

— Да, знаю, — ответил Пруденций, — люди скажут, что это я нанес смертельные раны Алкею.

— И что же ты им ответишь в свое оправдание? Я ведь не знаю, как ты искусен во лжи. Или, быть может, ты для того и привез сюда тело Алкея, чтобы пред всеми признаться в убийстве и рассказать, для чего это сделал?

— Нет, — отвечал ей невинный Пруденций. — Я не для того привез сюда тело Алкея, чтобы изощряться во лжи или делать над ним признания в убийстве. Я привез его для того, чтобы ты могла видеть хоть мертвого мужа и могла его оплакать и схоронить как жена. А когда меня спросят о смерти Алкея, я безо лжи расскажу о ней всю сухую правду.

Слушая эти слова, Мелита смотрела острым и пристальным взглядом в глаза Пруденция и получила в глубине своего духа безотчетное удостоверение, что Пруденций ничем не повинен в смерти Алкея...

Это ей было отраднo, и душа ее успокоилась, насколько это было возможно в теперешнем случае.

— Если ты прав, — отвечала она, — то и спеша скорей принести свое оправданье: я и Марема останемся здесь у мертвого тела Алкея. Ты же иди поскорее в селение, позови свою мать, вдову Ефросину, и вызови всех старых и молодых людей на берег моря, на то место, где Алкей говорил пред людьми о кончине отца твоего, Гифаса. Я и Марема приведем туда лодку с телом, а вы все наломайте ветвей, на которых можно поднять и нести тело Алкея, и когда оно будет поднято, ты перед всеми должен сказать, как случилась гибель Алкея и кто нанес ему эти три равномерные раны.

Пруденций ей тихо кивнул головою и, скоро достигнув селения, снял рожок, который висел на суке старого дуба, и протрубил для всех три призыванья, чтобы все шли скорей на собрание.

IX

Услышав рожок, люди тотчас же стали выходить из домов и, поправляя одежды, стали направляться к тому месту, где еще так недавно все выслушивали повесть Алкея о смерти Гифаса. Здесь и теперь, так, как и тогда, стояла на песке опрокинутая килем вверх старая лодка.

Все это было на полперелета стрелы от старого дуба, под которым теперь стоял Пруденций. И он продолжал здесь стоять, пока на берегу около лодки собрались почти все взрослые люди селения, а из-за загиба пологого мыса показалась на море лодка, которую гнали на веслах Мелита с Маремой. Пруденций, который ожидал появления на море этой лодки, прежде всех ее и заметил, и он тотчас же снял с дерева рог, висевший на скрученном лыке, и надул его так, что рог зараз издал, кроме общего призывного звука, еще особый сигнал, который мог иметь условное значение для друзей трубача или его семейных.

Собравшиеся люди не упустили заметить этот сигнал, и один молвил другому:

— Пруденций, наверно, хочет сказать что-то необыкновенное.

— Почему ты так думаешь?

— Он кому-то дает сигнал на священном рожке.

— Это он зовет сюда свою мать.

— О да! Вон она и выходит — вдова Ефросина.

— Значит, они еще не видались?

— Так надо думать.

— Любопытно! Пруденций, конечно, желает, чтобы мать его была здесь при том, для чего он сзывает селенье; но что это такое он хочет сказать?

— Услышим.

— Уж конечно услышим. Вон к берегу тянется лодка... Эге! Да это знакомая лодка Алкея. Ее, еще года нет, снаряжал и опять недавно раскрасил Гифас, а теперь... смотри, что такое?.. Лодку ведут на веслах две женщины... Ах, ведь это Мелита с своею рабыней, сидонянкой\* Маремой... Ну, у этой руки из бронзы, но все-таки женщинам не пристать сюда близко... Здесь вязкая тина и внизу в разных местах, не на одной глубине, острые камни... Ага! вот хорошо догадался Пруденций: он сбежал к морю и вошел в воду... Ну, немножко измокнет, а зато он взял лодку за канат и подведет ее к берегу... Ишь, как он весь изогнулся под лямкой!

— И зато какой чудный стан!..

— Да, уж Пруденций, известно, совершенный красавец. Говори что кто хочет, а им ведь недаром гордится наше селение, и я думаю, если бы боги не имели зависти к красоте смертных, то нельзя было бы ни понять и ни чем объяснить, как они могли допустить соединение Мелиты с раскосым Алкеем, после чего Мелита остается бесплодной, тогда как ее следовало бы соединить с Пруденцием...

— Ага! это правда.

— Да, уж тогда было бы можно ручаться, что Мелита не тосковала бы и не осталась бы бесплодной, а взору человеческому был бы дан для услады самый красивый ребенок.

— Да, я думаю тоже, что если бы Мелита была помоложе и была бы свободна, — она не сочла бы



для себя за большое обременение ласки Пруденция, и тогда-то, пожалуй, ты прав, что второй Купидон мог бы родиться где-нибудь в нашем незнатном селении; но ведь Мелита постарше Пруденция, и муж ее, косоглазый Алкей, долговечен: все его предки всегда достигали маститого века.

Но в это мгновенье у лодки, подвинутой к берегу, раздался голос Пруденция:

— Почтенные люди и ты, о, нежно любимая мать моя, вдова Ефросина! Еще в очень недавнее время отсюда отплыли вдвоем: отец мой, отважный Гифас, с бесстрашным Алкеем. Так они много раз отправлялись вместе вдвоем и всегда вместе вдвоем возвращались, но в этот последний раз случилось иначе: в этот раз возвратился один только смелый Алкей и открыл здесь, на этом месте, всем вам, и мне, сыну Гифаса, и вдове отца моего Ефросине, что отец мой сделался жертвою моря. Все люди слушали это вступление о вещах, всем им известных, и напряженно смотрели на Пруденция и на Мелиту с Маремой, стоявших по-прежнему в лодке. В толпе проносилось: — Что он хочет сказать?.. Для чего в лодке стоят Мелита с служанкой?.. Пруденций, быть может, узнал что-нибудь и задумал теперь обвинить в преступленье Алкея?

А Пруденций, вместо того, вдруг зарыдал и, рыдая, воскликнул:

— Посмотрите же, что нынче случилось с самим бесстрашным Алкеем!

Пруденций сдвинул лежащий на дне лодки парус и, приподняв труп Алкея, добавил:

— Вот он, Алкей! Он убит. Подходите и смотрите: на его темени рядом три одинакие ранки. От каждой из них человек должен был умереть непременно, а Алкей получил все три раны в одно мгновение ока.

— Где и как он мог получить их? — зашумели, толпясь на берегу и отчасти входя в воду, люди.

— Ты должен все объяснить, — кричали другие.

— Да, ты за него отвечаешь.

— И ты можешь быть в подозрении; ты мстил ему за Гифаса!

— Или завидовал красоте несравненной Мелиты!

— О, воздержитесь! — воскликнул Пруденций. — Вы не опоздаете оскорблять меня обвинениями и после того, когда я все изложу вам, как было дело. Дело же в том, что Алкей и упредивший его на пути в царство теней отец мой Гифас не только занимались торговлей, но они... они тоже нападали на другие суда и грабили их и топили...

На всю массу слушателей это не произвело особенно сильного впечатления и даже, кажется, никого не удивило, кроме одной Мелиты, которая вскрикнула: «Мой муж был разбойник!» и, подняв кверху руки, упала головою на плечо Маремы.

Пруденций же продолжал говорить и рассказал, что он не верит словам Алкея, как погиб Гифас, что это, наверное, было как-то иначе, но что он никогда не думал мстить за это Алкею, а сам Алкей получил свои раны от гвоздей, предательски вбитых в днище плившей византийской триремы\*, под которую Алкей поднырнул, с тем чтобы тихо взобраться на ее борт и задушить сонного кормщика, а остальных сонных людей сбросить в море; но эта трирема была для них проклятой ловушкой: когда они встретились с ней пред рассветом, люди на ней только притворялись спящими, а вовсе не спали; а дно самой триремы было утыкано острыми спицами, из которых три сразу же вонзились в темя Алкея, так что белый гребень набежавшей волны в то же мгновенье и сразу весь окрасился Алкеевой кровью...

Затем следовал рассказ о том, как притворно спавшие на триреме византийские греки злорадно захохотали и, оттолкнув от себя шестом тело Алкея, уплыли в море, а осиротевший Пруденций остался один и с трудом изловил Алкеево тело, втащил его в ладью и привез сюда, чтобы оно было предано погребению и чтобы видели все, что ему нет нужды ничего скрывать в этом несчастном деле, полагающем конец торговому товариществу двух их домов.

Пруденций закончил словами:

— Кто-то сказал, что на меня есть подозрение!.. Что же, судите меня! Я не боюсь ничего, я приготовился к смерти, но я невинен в смерти Алкея.

Народ, выслушав все это, оставался в недоумении и обнаруживал разногласие: одним казалось, что Пруденций действительно не виновен в смерти Алкея, а другие думали, что Алкей убит его рукою, именно из мести за отца или, быть может, и от любви к Мелите. И тогда постановили: опять положить тело Алкея в лодку и туда же поместить Пруденция и, в сопровождении двух молодых людей и двух старцев, послать труп и подозреваемого к прорицательнице, жившей на отдаленном острове. Там поручалось старцам спросить прорицательницу над головою Алкея: виновен ли Пруденций в его убийстве? И если вещая дева скажет, что Пруденций виновен, то тогда старцы, отблагодарив прорицательницу, снова войдут в ладью вместе с Пруденцием, и когда удалятся настолько, что берег сделается не виден, тогда старцы велят юношам завернуть Пруденция вместе с трупом Алкея в парус и потом обмотать их бечевою и бросить их вместе в море.

Х

Нельзя описать, какой страшный плач сделала вдова Ефросина, когда услышала такое решение. И она не одна плакала, — с нею стонали и другие женщины, потому что многим жаль было невинного Пруденция. Стонала и рвалась также и Марема, но Мелита не стонала и не рвала на себе ни волос, ни платья, а только побледнела и долго стояла в молчании на одном месте, но потом, когда ладья с телом Алкея, с Пруденцием и с сопровождающими их двумя старцами и двумя юношами отвалила от берега, Мелита подошла к Ефросине и сказала ей:

— Наши вопли и слезы ничему не помогут; вместо того чтобы здесь изнурять свои силы, сядем скорее в другую ладью и поедем следом за ними. Может быть, прорицательница, увидя твое материнское горе, склонит к нему свой слух и даст старцам ответ, который послужит к тому, что люди признают невинность Пруденция.

Ефросина на это легко согласилась, и через самое малое время после того, как ладья с телом Алкея скрылась из глаз, от той же пристани отошла другая ладья, нанятая Мелитою у немого Тромед, и на этой ладье, у кормила которой стоял сам Тромед, помещались Ефросина и Мелита с своей верной Маремой.

И прошло всего двое суток, как на третий день к вечеру жители селения увидали, что обе ладьи опять возвращались, и ладья немого Тромед опережала большую ладью, принадлежавшую прежде Алкею с Гифасом. На передней ладье, рулем которой правил Тромед, а парусами Марема, посередине сидел юный Пруденций, а с двух сторон его — Ефросина и Мелита.

С берега видели ясно, что Ефросина внушала что-то сыну с большим увлечением, а он ее радостно слушал и с видимым счастьем сжимал своими руками ее обе руки, а Мелита сидела в раздумье и, пустив руку за борт, держала в ней камышинку, листья которой играли с дробившейся волною. В лодке Алкея оба юноши и оба старца были спокойны: на всех на них нынче были надеты венки из

белых пупавок\* в знак того, что их головы свободны от гнета всякой тягостной мысли, и на их мачте не было уже более черного войлочного колпака, а вместо него красовалась зеленая ветка оливы.

Ясно было, что вещая дева объявила невинным Пруденция и что труп Алкея, как ненужный более ни для каких расследований, спущен был в море и теперь все возвращаются в покое и в мире.

Все догадались, что сейчас наступает веселый, радостный вечер, что вдова Ефросина, наверно, не станет скупиться, а жарко растопит очаг в своем доме и угостит всех так изобильно, как она может.

О, она не поскупится справить веселый праздник за спасение сына.

Так это и сделалось: лодки пристали; старцы и юноши объявили, что Пруденций невинен и что при этом случилось еще одно пречудесное дело... Вышло так, что когда вдова Ефросина вместе с Мелитой хотели поднять Пруденция от ног прорицательницы, то вещая дева вдруг как будто проснулась, — лицо ее озарилось улыбкой, и она, взяв за руки Мелиту и Пруденция, вложила одну в другую их руки...

Тут все, кто это слушал, заплескали руками и запели: «Эвое! Эвое!» и начали обнимать и целовать и Мелиту и Пруденция, и поздравлять вдову Ефросину, и радоваться, что союз Мелиты с Пруденцием исполнит их счастьем и устранил всякий вопрос о разделе имущества, так как с этих пор все равно, что Пруденциево, что Мелитино. И все, распивая вино, которое выставила Ефросина, и обоняя залах мяса и рыб, которые жарились на вертелах, и сладостный пар черносливных полив, кипевших в огромных сосудах, — все без уговора стали считать себя вправе смотреть на Пруденция и на Мелиту как на супругов, для соединения которых все решено самою судьбою, и теперь только потребно какое-то недолгое время, чтобы брак их признать совершенным.

Невинный Пруденций был наверху своего счастья и еще усугубил свою всегдашнюю почтительную скромность перед Мелитой, а вдова Ефросина даже терялась от радости и изливалась в приветях и в ласках ко всем, кто подходил к ее очагу, чтобы брать мясо, и рыбу, и похлебки; в радостном духе была и Марема, которая помогала Ефросине в угощении и, нося на плече кувшины с вином, наполняла им чаши. Одна лишь Мелита не изменяла своей задумчивости и не отвечала ни на какие намеки, а как бы витала теперь где-то далеко отсюда, и когда гости, заметив на небе признак приближающегося утра, начали расходиться, Мелита вздрогнула и, взглянув в знакомые лица Маремы и вдовы Ефросины, сказала:

— О, кто бы вы ни были! — отведите меня куда-нибудь в тихое место!

Такое обращение к Мареме и Ефросине, как к незнакомым, очень удивило обеих женщин, и они, переглянувшись друг с другом, подумали: не выпила ли Мелита с жажды ошибкою цельного вина, или не потеряла ли она рассудка при морском переезде на лодке или при быстром охлаждении воздуха.

Марема попробовала руки Мелиты, и, чувствуя, что они холодны, укутала ее голову и стан покрывалом вдовы Ефросины, и, обвив ее стан своею рукою, повела ее к дому.

Как провожая Мелиту, так и укладывая ее дома в постель, Марема все время была в полной уверенности, что госпожа ее недомогает от множества смешанных чувств, над которыми забирает самое высшее положение и самую большую силу любовь ее к прекрасному и невинному Пруденцию; а потому, чтобы сказать Мелите что-нибудь самое радостное и способное вызвать в ней оживление, — Марема, покрывши Мелиту ночным одеялом, нагнулась к ее лицу и, поцеловав ее в лоб, прошептала ей на ухо:

— Спи, и пусть тебе снится тот, к кому рвется с любовью твое разрешенное от клятв сердце!

А когда Мелита промолчала, то потом Марема распрямилась и ласково спросила ее:

— Скажи мне, ты не сердись за то, что я позволяю себе немножко читать в твоём сердце?

— Нет, — отвечала Мелита, — я не сержусь.

— Значит, я угадала...

— Нет, это не значит, что ты угадала. Я не сержусь на тебя, потому что ни на кого не должно сердиться, а сердце мое действительно неспокойно, и действительно оно с каждым днем все становится более полно любви, но это любовь совсем не к тому, о ком ты помышляешь...

— Как, разве невинный Пруденций не один... Неужто же он должен будет отнимать у кого-нибудь свое место в сердце Мелиты?

А Мелита ей ответила:

— Успокойся, Марема! И ты и невинный Пруденций имеете свое место в сердце Мелиты...

— О, я не говорю о себе! — перебила Марема.

— Дай мне докончить! И ты, как и он, живете и будете жить в моем сердце, потому что я люблю вас обоих, как стремлюсь и желаю любить всех людей в мире. Из вас никому не нужно ни у кого отнимать ваше место в моем сердце, но владеть им, — повелевать моему сердцу и править им с властительной силой и властью будет только один...

— Кто же это такой? Я его знаю или не знаю?

Мелита ласково ей улыбнулась и сказала:

— И знаешь, и нет.

— Кто же это такой?

— Иисус Галилейский.

Марема положила большие пальцы обеих рук себе на уши и, закрыв остальными перстами свои глаза, затрясла головою в знак того, что она ничего в этом не понимает ни одним из своих чувств. Но Мелита привлекла ее к себе, уложила рядом с собою в постель и, лаская ее, стала ей говорить, что жизнь на земле ей не представляется целью, достойною забот и стараний; что все радости жизни слишком быстротечны и оставляют после себя одну пустоту и страданье, что «союз сердец», который воспевают певцы, — нимало не надежен, если он основан на влечениях страсти, — что как бы ни укрепляли такой союз, он никогда и ни от чего не получит всегдашней прочности, а истинен и крепок один лишь союз — это союз тех людей, которые сопрягают себя под одно иго по схожести мыслей и по согласию в разумении жизни...

— И вот, — добавила Мелита, после долгого развития своих соображений в этом духе, — вот тот союз, о котором можно говорить как о прочном благе — об исполнении закона жизни земной, учрежденной для приготовления нас к какой-то другой, высшей цели, нам неизвестной. Но кто же из нас всех так единомыслен и так схоже настроен, чтобы слиться друг с другом? Я надеюсь, что это не я и не невинный Пруденций. Разве ему мир и назначение в нем человека представляется тем же, чем мне?

— О, это было бы страшно, Мелита!

— Быть может. А мне кажется страшно другое... страшно соединиться на одном ложе с человеком, с которым меня ничто не соединяет духовно, а разве только одно бунтованье плоти и крови... О, как ужасно и страшно, должно быть, проснуться после этой опьяняющей ночи, что вы называете вашей

«любовью»!.. Как надо будет дрожать, чтобы плодом этих объятий не явились дети, о научении которых мать должна будет спорить с их же отцом!

— Зачем же все спорить, Мелита?

— Затем, что нельзя с равнодушьем глядеть, если детей ведут не к тому, что серьезно и свято, — что воспитывает дух в человеке и «ставит его господином над зверем, живущим в самом человеке»... О, как это страшно! как это страшно!

— Однако же ты ведь была женою Алкея и могла бы не раз сделаться матерью рожденных тобою детей.

Мелита вздохнула и отвечала:

— Могла!.. Ты права: я была женою человека, с которым у меня не было ничего общего в мыслях. Я стала женою Алкея ребенком, когда сама не имела тех мыслей о жизни, какие имею теперь. И не хочешь ли ты меня укорить за то, что я с ним жила, и не бежала из его дома, и не раздражала его гнева уклонением от его ласк и объятий, которые я должна была принимать, раз назвавшись женою! Да, я все это снесла, и все это было мне тяжело, но я понимала, что Алкей не виноват в том, что в его глазах свет светился иначе, чем он засветился в моем взгляде! Когда нам пели брачные гимны, я его не могла предупредить об этом и так же точно не должна была его оставить, пока он мог быть моим мужем... Но теперь, когда не по моей воле все это минуло, — теперь, когда я свободна и вижу ясную цель в моей жизни, я не хочу утомлять дух мой в обязательствах брака с мужчиной... Я не считаю призваньем и долгом вызвать несколько новых детей, чтобы было кому собирать ракушки и камни на берегу моря... Напрасно вы думаете, что я соглашусь связать с кем-нибудь мое право отдать себя с этим телом и кровью на пользу вечного духа, жизнь которого я в себе ощущаю... О, какие вы дети! О, какие вы бессмысленные, бедные дети!.. Встань, о Марема, — встань, друг мой!.. Ты уже друг мой, а не рабыня, — рабство незаконно, я тебя отпускаю и... я постараюсь, чтобы ты получила все то, в чем ты видишь счастье... Целуй меня просто, как друга, и, если любишь меня, — сослужи сама мне еще одну величайшую службу... Встань, о Марема! спешу ко вдове Ефросине... говори ей... проси... убеждай... что Мелита не может... она не годится быть подругой Пруденция... Иди!

И Марема действительно встала и вышла, но она была в сильном волнении и побежала ко вдове Ефросине, а когда разбудила вдову, то сказала ей с замирающим сердцем:

— Случилось еще очень большое несчастье!

— Дом ваш сгорел?

— Нет, но Мелита, моя госпожа... помрачилась в рассудке.

— О боги! о боги! Зачем так всеильна над нами любовь!

— Ужасно!

— Скажи же скорее, что она говорит?.. Она не дождется Пруденция?.. Да? Говори же!

— Она говорит... совсем против брака.

— С Пруденцием?

— С кем бы то ни было.

Ефросина вскричала:

— О боги, какое безумье! Но это минует.

XI

Так несродно было пониманию вдовы Ефросины и юной Маремы все то, что им сказала молодая

христианка Мелита. Обе женщины не могли допустить, чтобы человек, сохраняющий здравый рассудок в своей голове, мог иметь о значении жизни и о главном назначении женщины такие, по их мнению, безумные понятия, какие начала высказывать высоко настроенная Мелита... И из того, что это случилось так неожиданно, вдруг, вскоре после того, как молодая вдова Алкея пережила столько внезапных потрясений, опытная в жизни мать Пруденция, пожилая вдова Ефросина, имела вполне достаточные, по ее мнению, основания вывести, что в Мелите произошла не твердая и ясно обдуманная перемена в образе мыслей, а просто забурлил на время какой-то бурный порыв, дающий ее мыслям болезненное и беспорядочное направление.

А как Мелита очень нравилась вдове Ефросине за ее красоту, добрый нрав и изящную домовитость и Ефросина знала, что ее сын, юный Пруденций, давно страстно любит Мелиту и уста его, наяву и в сонной дремоте, только и шепчут драгоценное юноше имя Мелиты, то известие, принесенное Маремою, все-таки сильно встревожило вдову Ефросину, и сна просила Марему никому более в селении не рассказывать о том, что она слышала от находившейся в особенном, возбужденном состоянии Мелиты.

— Для чего ее подвергать общим насмешкам и осуждению? Пусть лучше это пройдет и позабудется, как забываются многие молодые грезы... Большой опасности нет. Слава богам, в селении не завелось еще других людей, опоенных этим мечтательным учением, которое принесли какие-то жида из какой-то своей далекой и никому не нужной Галилеи. Мелита одна где-то наслышалась об этом учении от своей какой-то подруги и вот теперь бредит... Эта жизнь будто только и стоит внимания, как воспитание себя к какой-то иной жизни, о которой мы не можем судить, потому что она так не схожа с тем, что видим, как не похож желудь на дуб, который может из желудя выйти... Но ведь все это вздор, и Мелита не удержится в этом настроении, и оно скоро заменится другим, более жизненным и более свойственным молодой красавице, к которой горит нежною страстью такой совершенный красавец, как невинный Пруденций!.. Ведь она давно о нем думает!.. Не она ли, Мелита, научила его многим знаниям; она развила в нем и ловкость и силу и часто сама любовалась им и сама с ним состязалась и в беге и в других упражнениях... И разве не она виновата, что в нем зародилась любовь к ней как к женщине и сердце Пруденция давно уж горит страстным огнем, который, без сомнения, вспыхнет еще сильнее теперь, когда Алкей удалился в область Аида... Ведь недаром же там, пред послами народа, вещая дева соединила их руки над телом Алкея!.. Разве может же быть, чтобы теперь Мелита сама все это пожелала разрушить? Разве возможно молодой и столь красивой вдове, бывшей женою сурового мужа, каков был мореходец Алкей, отказаться от страстных ласк и объятий такого нежного юноши, как невинный Пруденций?..

Ведь он так изящен, так нежен, что один отказ Мелиты принять его к себе мужем наверное и без малейшего сомнения убьет его!.. Да; убьет его, самого стройного и красивого, самого доброго и достаточного юношу на всем побережье! Неужто это — то, совсем отвлеченное и мало понятное?.. Неужто есть такая странная вера, которая может побудить женщину отвергнуть влюбленного в нее молодого красавца, как невинный Пруденций? Нет; это все пустяки! нужно только скорее дело свести к поцелуям! Скорее украсить цветами алтарь бога любви, скорее заставить Мелиту принести жертву Гимену.

Всеми такими соображениями и надеждами вдова Ефросина вдохновила пылкую душу темнокожей Маремы, девушки, возраст которой достиг самой огневой поры, и Ефросина вдруг увидела, как этот

огонь всюду светит во всем теле Маремы, разливаясь прямо из-под черных волнистых волос на ее гладкий лоб, брови, полные неги глаза, на шею, на дрожащие плечи и грудь, которая волной заходила под легким покровом.

Ефросина теперь точно в первый раз увидела Марему и только теперь почувствовала, что эта темнолицая девушка тоже прекрасна, и хотя красота ее совсем не такова, как красота Мелиты, но зато... здесь дух не поведет распри с плотью и кровью... Эта наверно не станет укорять природу за однообразие общих всем людям желаний!

И вдова Ефросина сама не уследила за собою, как она увлеклась страстной красотой Маремы: она коснулась слегка обеими руками ее плеч и потом улыбнулась и, быстро отодвинув ее от себя, воскликнула:

— Ну что это, право, как ты красива, Марема! Вообрази, что до этой минуты я тебя будто совсем не видала!

— Вот как! — отозвалась шутливо Марема. — У нас в Финикии, откуда я родом, есть много красавиц; быть может, и мать моя тоже была из красивых.

— А ты ее не видала?

Марема молча отрицательно покачала головою.

— И вовсе не знаешь ее?

— И вовсе не знаю. Иначе бы я не была продана сюда в рабство.

— Да, да, да! — молвила, точно будто в себе самой, Ефросина. — И знаешь ли, друг мой Марема, ты уж слишком хороша для рабыни... Мелита, может быть, и не делала ошибки, что держала тебя, пока она была замужем за Алкеем. К нему она была равнодушна, и ты не могла возбуждать в ней ревности, но когда мужем ее станет сын мой Пруденций... Вот уж тогда я ей не посоветую этого... Ты не безопасна... Под одной крышей с тобою всякой жене должно быть тревожно... Ты опьяняешь... от тебя чем-то веет... Я боюсь — это, быть может, одуряющий запах заколдованного корня...

Марема расхохоталась, а Ефросина всерьез продолжала ворчать:

— Нет, право... Бедный Пруденций!.. не гляди на него этими жгучими глазами, Марема!.. Я постараюсь тебе найти добрую госпожу, которая заплатит за тебя Мелите хорошую цену и будет с тобой хорошо обращаться.

— А разве у той госпожи нет мужа?

— Есть, но он уже очень стар.

— Это тем лучше: тем он скорее возненавидит свою старую жену и станет гнуться к коленам красивой невольницы... И тогда эта добрая госпожа, к которой ты хочешь меня устроить, исцарапает ногтями лицо Маремы и продаст меня еще худшей мегере. Так-то вот трудно устроить со мною. Но ты, о вдова Ефросина, не беспокойся: знай, что не невольница больше... Марема свободна. Мелита подарила мне волю.

— Давно ли?

— Сегодня же ночью, когда ей казались так скучны все повторения в супружеской жизни. Тут она захотела, чтобы и для меня не повторялись терзання неволи. Да, я свободна, вдова Ефросина, и считаю земную любовь разнополых людей высочайшей услугою жизни... Я могла бы... и даже хотела бы принести мое тело в жертву при храме Изиды или могу дать внучат матери красивого и

сильного юноши, но... ты знаешь... и во мне есть смущенье...

— Чем же ты смущена?

— А вот тем самым, что происходит с Мелитой...

— Что ж тебе кажется?

Марема двинула своим смуглым плечом и, взявши за обе руки вдову Ефросину, пригнулась к ее лицу и сказала ей тихо и внятно:

— Мне иногда тоже кажется... что он где-то есть...

— Кто?

— Тот, кто научил ее знать что-то такое, чего мы не знаем.

— Так пусть она это покажет.

— Она еще не нашла... а все хочет искать, чего мы не ищем... Кто он, который дает ей эту силу терпеть все, что посылается в жизни, и отказываться от всего, что привязывает к этой жизни... Зачем она налагает на себя узы, а меня одаряет свободой?.. О Ефросина! Что, если Мелита правей нас!.. Что, если мы не все целиком здесь на земле начались и не здесь кончимся, что, если взаправду здесь только школа или гостиница?.. Как тогда стыдно!.. Как тогда страшно! Я хочу когда-нибудь это проникнуть... хочу это понять... И я все, что мне нужно, пойму... Не верь, вдова Ефросина, что одни только старцы под длинными тогами могут понять, в чем настоящий смысл жизни... В то же самое время, когда я слышу своими ушами, как шумит моя кровь и стучит мое сердце, я слышу и что-то другое... что-то такое, что, вероятно, еще явственней слышала моя госпожа и что ее сделало...

— Сумасшедшей на время, ты хочешь сказать?

— Да!.. Я, впрочем, не знаю... я не знаю, что хочу я сказать. Мне кажется, и я будто брежу.

Ефросина погладила Марему по плечу и сказала:

— И впрямь обе вы очень молоды, и обеим вам что-то представляется, чего вовсе нет... Вы очень долго жили одни, без супружеских ласк... Все это нам, старухам, знакомо. Поусердствуйте браку, нарожайте побольше детей да хорошенько вскормите их молоком вашей груди — вот вам и будет настоящий смысл жизни. А теперь иди, Марема, к Мелите и скажи ей, что к ней скоро приду и принесу ей вкусную рыбу. Мы с ней сегодня же кончим о браке... Бедный Пруденций и без того ожидал ее ласк слишком долго и слишком тяжело томится.

В это мгновение до слуха женщин, как нарочно, достиг из-за толстого занавеса томительный бред Пруденция:

— О, не удаляйся... не удаляйся, Мелита!.. Яви мне милосердие... стань твоею ногою на этот лист, который растет у тропинки... Коснися его твоею ногою, чтобы бедный Пруденций мог лобызать его после... Сделай, чтоб я получил облегчение в моих тягостных муках! Я возьму этот лист и покрою его лобзаниями... я оботру им мои слезы, которыми плачу о тебе днем и ночью, скрывая от всех, о чем я действительно плачу, и... затем... я положу этот лист на мое сердце... чтобы оно перестало биться... перестало жить... потому что жизнь без тебя для меня исполнена муки, и на свете нет никого, кто бы для меня что-нибудь значил... Я уйду... я... исчезаю, Мелита!

— Каково это слышать матери! — воскликнула вдова Ефросина.

— Даже и не матери это слышать ужасно! — ответила вся в волненье Марема, и обе они разошлись в разные стороны: Ефросина к базару, где продавали рыбу, а Марема — к дому Мелиты.



Вдова Ефросина явилась к Мелите, как обещалась, — скоро и с вкусным блюдом из рыбы, и как только пришла, так сразу же начала с ней разговоры, клонящиеся к тому, чтобы получить от Мелиты согласие на брак с Пруденцием. Она хотела кончить с этим как можно скорее и думала, что Мелита не станет упорствовать; но Ефросина ошиблась в своих соображениях.

Напрасно вдова Ефросина подводила, что теперь у них в двух домах, связанных старинною дружбою, остался только один мужчина, молодой и невинный Пруденций, — что они обе, то есть Ефросина и Мелита, должны его поберечь, так как он нужен им обеим. И что самое лучшее им всем соединиться и жить одним общим хозяйством. Пусть Пруденций возьмет себе кормщика в долю и уходит в море и снова возвращается, а они будут его ждать и сделают для него возвращение домой радостным и счастливым.

— А недостатков бояться не надо, — продолжала говорить Ефросина, — Пруденций уже знает все места, где что покупали и что продавали Гифас и Алкей, и поведет дело, как оно шло. Я уж стара, и мне не нужны ни запястья, ни кольца, ни цепи — я все их отдам тебе с радостью, чтобы ты их прибрала вместе с твоими и надевала, когда что захочешь. А кроме того... Кроме того (Ефросина понизила голос), правда иль нет, но была молва в людях, будто б Гифас и Алкей в самом деле иногда разбивали чужие ладьи и овладевали насильно чужим имуществом. И что они отнимали, то все отвозили на маленький островок, а островок этот где-то затерт среди скал и никому, кроме их, неизвестен. До островка этого, говорят, очень трудно добраться среди острых камней и бурных протоков, но сам по себе остров будто пригоден для жизни — покрыт зеленью, имеет источник сладкой воды, бегущей сверху из камня, и в середине одна над другой две пещеры — одна с таким входом, что вровень с землею, а в другую влезть очень трудно... В верхней пещере у них издавна устроено уютнее жилище, в котором Алкей и Гифас жили и скрывались, высматривая в море добычу. Отсюда они выплывали, нападали и грабили и потом вдруг исчезали с награбленным. Пещеры эти не рытые, а они сами образовались, и та из них, которая была в самом верху, на обрыве высокой скалы, была так тщательно скрыта, что ее ни за что не откроет ничей посторонний глаз, а пробраться в нее можно, только приставивши жердь, скрытую в потаеннейшем месте на дне темного ущелья. Стоит же только принять и убрать эту жердь, и эта верхняя пещера делается недоступною. Но зато она невелика в сравнении с нижней, в которой, за много лет совместных трудов Алкея с Гифасом, собрано много добра — много запасов пшена, и фруктов сушеных, и рыбы сушеной, и бочонков с разными винами и оливковым и ореховым маслом; но, кроме того, есть и тюки и целые скрины\* с одеждой и утварью, есть и кожи, и пурпур, и все, о чем только можно подумать.

— Да, и все это чужое... и на всем этом слезы и кровь тех, у кого это отняли, — перебила Мелита.

— Ну да, разумеется, те, у кого это было отнято, — они, может быть... и плакали... да ведь уж это все было давно...

— А все-таки было.

— Ну, было, конечно.

— А их не жалели и грабили... да и жизни лишили их...

— Может быть.

— Нет — не «быть может», а это наверное так было! А их матери, и жены, и дети, конечно, их ждали... толпились, рыдали и проклинали злодейство... наших мужей... Алкея с Гифасом!

— Ну, вот ты опять куда все повернула, Мелита!

— Я не знаю, как можно сюда не сворачивать... Не виновата я, что мой дух все туда глядит, куда вы не хотите смотреть. Я смотрю, что со смерти Гифаса прошло уж три года, и в это время Алкей ходил в море с твоим сыном... Бедный Пруденций! бедный, невинный Пруденций... Он молчит, он скрывает, но, конечно, и он все это же самое делал, что делал Алкей, — он помогал настигать людей в море, отнимать у них вино, фрукты, хлеб и другие товары, а самих людей топить в волнах... и бить их веслом, если они выплывают...

— Ах, Мелита, — ведь и все так и в жизни, как в море, — один бьет и топит другого!

— Это правда! И вот это у вас называется «жить»!.. Вечно следить друг за другом, гнаться, отнимать и присваивать все, что только можно перебить из рук друг у друга, и все это прятать в недоступных местах... Для кого?.. для чего?.. Нет, я не спорю, что такова вся наша жизнь — на воде и на суше, но я не годна к ней; я ее не хочу... Я не стану бороться за большую долю чего бы то ни было в жизни. И теперь я могу все это сделать, потому что кончина Алкея меня разрешила от всех обещаний.

Тогда вдова Ефросина обняла ее и прямо сказала ей, что она пришла к ней для того, чтобы просить ее согласиться на новый брак с страстно влюбленным в нее Пруденцием, но Мелита воскликнула:

— Как! опять брак!.. Опять снова обеты и снова заботы об их исполнении? О, никогда и ни за что на свете!

— Но чем же противен тебе сын мой Пруденций?

— Твой сын мне ничем не противен, но мне противны обязательства нового брака.

— Почему же?

— Я не считаю за лучшее в жизни думать всегда об угождениях мужу.

— Что же может быть лучше этого?

— Что лучше этого?.. Жить для общего блага, а особливо тех, кому трудно живется на свете. В этом есть воля отца нашего бога.

— Боги желают, чтобы люди жили и размножались.

Мелита молчала.

— В самом деле, что превзойдет воспитание честных граждан в своих детях?

— Помощь всем детям чужим вырастать при меньших страданиях.

— Ты говоришь непонятные и неприятные мысли, Мелита!

— Я говорю простые самые мысли.

— Ты хочешь остаться одна?

— Зачем же? Я буду при тех, кому могу сделать услугу или пользу.

— Так вот и начни: сделай услугу; проникнись сожаленьем к тоске и страданиям страстно влюбленного в тебя моего сына! Тронься стенаниями невинного Пруденция, который так много терпит, потому что весь женский род для него воплощается в одной только Мелите...

— Ах, оставь это, вдова Ефросина! Кто жаждет того, чего жаждет сын твой, тот не иссохнет от жажды.

— Да, — продолжала вдова, — вот как Мелита жестока! Мелита не внимлет ему и даже не чувствует никакого сострадания к слезам, которые текут по сморщенным щекам ее тетки и матери Пруденция, бедной вдовы Ефросины.

Мелита взглянула на Ефросину и увидала, что в самом деле все лицо ее мокро и по щекам быстро бегут потоками слезы.

— Это жестоко со стороны вас обоих, — сказала Мелита.

Но Ефросина закачала головою и сказала:

— И это ты же говоришь о жестокости!

— Да, это я говорю о вашей жестокости и не укоряю вас, но только хочу, чтобы вы меня поняли. Вот теперь я скажу, в чем вы жестоки: я верю, что людям дано средство жить веки веков и что от человека зависит войти в эту вечную жизнь или угаснуть в пределах короткого часа, пока наша свеча горит здесь на земле. Вот так мне дано, что дух мой проснулся от природного сна, и, проснувшись, он слышит голос, который его громко зовет, и велит ему бросать долой с себя всякие путы... Мой дух хочет бежать туда, откуда слышен ему зов, а вы опять хотите мне спутать ноги страстными привязанностями и навязывать мне обеты, которых я давать не могу, потому что... я не могу никому обещаться...

— Неужели же ты чувствуешь себя такую непостоянную?

— Да что ты пристаешь ко мне с постоянством! В чем надо застыть... в каком постоянстве? Я сегодня такая, как есть, а, быть может, завтра же дух мой увидит еще что-нибудь шире, и когда подрастут его крылья, он устремится куда-нибудь выше и дальше... в вечность!..

— Чего же и лучше! — перебила ее Ефросина, — вот и пожертвуй собою — соверши счастье Пруденция, который так страстно влюблен в тебя и так ужасно страдает, что теряет различие между тем, что видит в яве и что ему грезится в мучительных снах. Бедный ребенок! Воображение его с тобою не растает ни на минуту, а уста его постоянно шепчут имя Мелиты. Бедный Пруденций! Сгорая огнем юных желаний, уста его лобзуют воздух, в котором он чувствует тебя сквозь стены и скалы... О, сжался! сжался над ним! Сжался над обоими нами, Мелита!

Так окончила свой разговор страстной просьбой вдова Ефросина и, обливаясь слезами, с простертыми руками бросилась на землю перед ногами Мелиты.

Положение Мелиты было очень тягостно, но она, однако, не склонилась к просьбам вдовы Ефросины и хотя старалась показать ей свое сожаление и участие, но не подавала никаких надежд к согласию на брак.

— Как! — воскликнула тогда Ефросина. — Неужто ты желаешь быть непреклонна даже в том случае, если Пруденций умрет или утратит рассудок?

— Для чего говорить о том, чего еще не случилось? — отвечала с подавляемым в себе нетерпением Мелита.

— Разве ты считаешь за невозможное, чтобы человек утратил рассудок от мучений любви?.. Ведь это бывает.

— О, бывает, конечно! — отвечала Мелита, — но бывает потому, что люди сами отдают себя в жертву своим грубым желаниям и не хотят им противиться.

— А ты думаешь, что этим желаниям можно противиться?

— О, еще бы!.. Конечно...

Но в это самое время до слуха обеих женщин достигли громкие крики Маремы, которая бежала к дому и кричала издали:

— Госпожа Ефросина! Госпожа Ефросина! спеши скорей к дому... у тебя случилось большое несчастье! Пруденций стал умываться и вдруг ударился об пол и теперь катается с пеной у рта и рыкает, как левенок... Мы его впятером насилу держали, а горшечник Агав обложил ему голову

мокрою глиной, но спешу, госпожа, — это все едва ли поможет... Бедный Пруденций! бедный Пруденций! он едва ли воротится к жизни.

### XIII

Услышав о таком жесточайшем страдании сына, вдова Ефросина только молча бросила взгляд, полный укора, Мелите и, позабыв свои годы, побежала домой, где терзался Пруденций; а Марема меж тем рассказала Мелите подробнее, как все это случилось. Она повторила ей все то, что уже знаем, и потом прибавила тихо:

— Напрасно скрывать, что он все это терпит от томленья жестокого чувства, которым весь к тебе полон. Ты, как природа, властвуешь над всем его существом... Шесть человек нас с Агавом, который подоспел к нам, были не в состоянии сладить с демоном, который напряг мышцы юноши и вспенил в нем кровь до того, что все уста его облились розовой пеной; но едва я закрыла его помутившиеся глаза твоим покрывалом, которое несла на плечах, чтобы вымыть его у источника, Пруденций вдруг стих и зашептал:

«Мелита!.. близко Мелита!.. боги!.. пусть я умру прежде, чем она удалится!..»

— И, прости меня, госпожа, — заключила Марема, — он так страдал, что я не могла взять у него твое покрывало... Пусть ему будет немножечко легче... Он обмотал в него свои руки и прижал его к сердцу, и мало-помалу в нем судороги стихли... он, может быть, даже... уснет или...

— Что?

— Перейдет без новых страданий в царство теней.

Мелита поднялась с места и сказала:

— Пойдем туда вместе!

— Как!.. ты хочешь идти туда... в дом Ефросины, где лежит несчастный Пруденций, с головою, горящей в огне и обложенной мокрою глиной?

— Ну да, конечно!

— Зачем же пойдешь ты туда?

— Зачем?.. Там страдает человек, и я хочу идти туда.

— Конечно, не с тем, чтобы усилить его страдание?.. Ты не отнимешь у него свое покрывало? Ты не гневаешься на меня, что я там оставила эту ткань?

Мелита отвечала, что она нимало не сердится на Марему, а напротив, даже рада, что та оставила покрывало, сделавшее какое-то удовольствие капризу больного Пруденция, и добавила, что ей все равно, что об ней станут говорить или думать в селении, — что все это не стоит одной минуты человеческого страдания, если ему есть средство помочь.

— О госпожа моя! — радостно вскричала Марема. — Идем же скорее, скорее спешим в этот дом плача! Ты властна в целой природе милого юноши, и одного звука твоего голоса, одного твоего приближения будет довольно, чтобы воззвать Пруденция к жизни, если только мы успеем вбежать под кров Ефросины ранее, чем совсем остановится движение сердца в груди ее сына.

— Поспешим!

— Поспешим! поспешим!

И они обе схватились за руки и обе ровно и шибко побежали, — одна ясная, как день, другая темная, как южная ночь... Их волосы веялись в воздухе, и за ними тихо расстилалось дыхание жизни.

— О, ты спасешь его!.. ты спасешь! — шептала, сжимая на бегу руку Мелиты, Марема...

— Может быть... — отвечала ей с тихим пожатьем Мелита.

И что же случилось?

Прежде чем быстрые неги Мелиты и Маремы достигли жилища вдовы Ефросины, — ужасный припадок оставил Пруденция: он спокойно вздохнул, сел среди пола, на котором лежал, улыбнулся счастливой улыбкой и, протянув вперед руки, воскликнул:

— Боги! хвала вам во веки... Сердце Мелиты исполнилось жалости... Мелита встала... Мелита спешит, чтобы капнуть росинкой участия на мое сгоревшее сердце... Вот она, вот! Откройте скорее завесу!

И как голос Пруденция звучал уверенностью и силой, то желанье его тотчас же исполнили, а когда завеса была распахнута, тогда все увидали перед нею раскрасневшуюся от быстрой ходьбы прекрасную Мелиту, а за нею не менее красивую в своем роде Марему.

— Вместо одной облегчительницы — к тебе спешат две, — прошептали сторонние женщины, стоявшие возле Пруденция.

Он же теперь похож был больше всего на ребенка, у которого только что унялись жестокие муки, от воспоминания о которых ему в одно время и сладко и больно.

Пруденций сидел и смотрел в лица пришедших и повторял, как дитя, улыбаясь:

— Вот и она... Мелита... Марема!

XIV

Вдова Ефросина была несказанно рада, что Мелита пришла к ней и сама воочию могла убедиться, как тяжело страдает Пруденций и как облегчение его мук прямо зависит от Мелиты, и Мелита все это видела, не спорила с нею. Доказательства были слишком очевидны, и Мелите сделалось ясно, что ей не оставалось никакой возможности жить в своем доме в одном и том же селении, где был дом вдовы Ефросины. Здесь она будет постоянно встречать Пруденция, и это станет усиливать его мучительную страсть, которой она отвечать не желает. Каждый человек в этом селении непременно станет укорять ее за жестокость и будет говорить о ее глупом упрямстве, так как заботу о сохранении в себе ничем не плененного духа во все времена люди желали считать за «упрямство». А притом до безумия достигшая страсть Пруденция заставляла бояться, как бы он в один из подобных порывов не посягнул на свою жизнь, и тогда горю осиротелой вдовы Ефросины не будет предела, а доброй Мелите не снести вида всех этих бедствий, в которых все непременно станут ее считать виноватой. Еще оставалось ей разве одно: тайно покинуть дом и селение и скрыться навеки... Мелита на это была готова, она бы устроилась жить с единомысленною ей подругою детства, христианкой Эриннией, но ведь Пруденций мог ее всюду преследовать и везде нарушал бы ее покой и продолжал бы губить свою жизнь. Надо было отыскать иной, более удобный для всех выход из этого положения, и Мелита решила непременно выдумать что-нибудь более удовлетворительное и, обдумав, привести свое решение в действие, какие бы оно ни представляло трудности.

В таком настроении она предстала пред влюбленными глазами исступленного Пруденция, и когда удостоверилась, что он успокоился и может ее понимать, она подала ему руку и спокойно сказала: — Не предавайся отчаянию, добрый Пруденций. Ты не будешь вечно томиться так, как до сих пор томился. С этой поры я не буду тебя избегать и стану думать, как сделать тебя счастливым, а тебя умоляю: имей ко мне веру и немножко терпенья. Я тоже сильно взволнована, и дух мой нуждается в отдыхе и покое. Дай мне побыть в тишине с самою собою только три дня, а на четвертый день

приходи перед вечером на берег моря, где стоит наша лодка, и там я скажу тебе, какое придет мне решение, и оно будет твердо настолько, что ты можешь на него положиться. Пока же, на три дня, яви мне приязнь — будь покоен.

— О, не три дня, а три года я готов ждать твоего слова, — ответил, оживившись, Пруденций. — Лишь бы ты меня не отвергла... лишь бы мне было чего ожидать.

— Ну, три года — слишком долгое время. Через три года ты сам меня можешь отвергнуть, так как я тебя старше... Нет, ты три дня подожди, и это будет довольно.

— Я отвергну тебя! О боги! о, разразите меня, справедливые боги, если это возможно, чтобы в сердце моем кто-нибудь заменил образ Мелиты!..

— Не клянися, Пруденций, ничем и не зови во свидетели богов, о природе которых тебе ничего не известно. Пусть лучше время само покажет нам, каковы мы и чего мы достойны.

— Согласен, согласен! — воскликнул Пруденций. — Целая вечность докажет тебе, что ты для меня всего дороже на свете и что нет ничего, что я предпочел бы тебе на минуту.

— Ну, жди же!

И она дружески простилась с ним и с матерью, вдовой Ефросиной, и ушла к себе в дом свой с Маремой, оставив вдову и Пруденция успокоенными и готовыми ожидать через три дня ее решения. Решения этого стали ждать с любопытством и все прочие люди в селенье, потому что всем было любопытно: не хитрит ли Мелита, притворяясь, будто она не желает взять себе мужем несравненной красоты юношу, который страстно влюблен в нее и моложе ее на три года.

— Что-то измыслит Мелита? Каков ее ум и в чем ее хитрость?

Три дня пролетели для всех в любопытном ожидании: в эти три дня Мелита была безвыходно дома, а Пруденций поправился от своих жестоких припадков и на четвертый день перед вечером вышел на берег моря и увидал, что здесь его ожидают Мелита с Маремой.

XV

Когда они свиделись, Мелита сказала Пруденцию:

— Все идет хорошо: мы теперь быстро приблизимся к цели осуществления наших желаний.

— Я не помню себя от счастья, что желания наши согласны! — воскликнул весь озарившийся счастьем Пруденций.

— Я сказала не так, — отвечала Мелита, — но все равно: то, что ты считаешь за высшее счастье, все будет зависеть от тебя самого...

— Значит, оно все равно что достигнуто.

— Нет еще — раньше, чем ты будешь моим мужем, ты должен исполнить три мои просьбы.

— Я готов исполнить их бесконечное множество.

— Нет, всего только три. Прежде всего я не хочу быть здесь предметом вниманья для всех, ни теперь, когда ты станешь выполнять мои просьбы, ни после, когда может случиться, что я должна буду выполнить твою волю и заплатить мой долг за твое послушание моими услугами и женскою лаской.

— О, говори только скорее, что нужно! Если ты хочешь скрыться отсюда... если желаешь уйти от всех глаз...

— Да, почти что от всех... Пусть с нами будет только Марема, но чтоб не было даже вдовы Ефросины... Ее беспокойная нежность может испортить все, что должно совершиться в тишине

уединения и покоя.

— Хорошо! Я обещаю тебе это за мать: она так меня любит, что на все согласится, а что касается до самой возможности скрыться от всех в никому не известное и недоступное место, то я владею для этого такую возможность, лучше которой нельзя услышать в самой затейливой сказке.

И влюбленный Пруденций сам, без расспросов Мелиты, рассказал ей о цветущем ущелье в скале, сокрытой среди других неприступных скал, где у них есть две пещеры, богатые склады запасов для жизни, ручей сладкой воды, стадо коз и хохлатые куры.

— Туда никто не может прийти, — добавил Пруденций, — кроме двух тех, которые оставили нас и живут нынче в темном царстве теней; один только я знаю небезопасный и узкий пролив, которым можно пробраться к этой скале и отыскать в ней наше ущелье. Если ты хочешь самого неприкосновенного уединения...

— С тобой и Маремой! — перебила Мелита, тихо кладя свою руку в руку Пруденция.

— О, ты меня исполняешь восторгом! Итак, если ты доверяешься мне и не боишься проплыть на ладье узким и бурным протоком, в котором я знаю каждый камень, то стоит тебе сказать, когда ты желаешь отплыть, и — все будет готово.

— Прекрасно, — пусть это будет готово завтра, как сядет солнце. Но прежде ты возвратись сегодня домой и расскажи своей матери, на что мы решились. Я хочу знать, что она на все это согласна, и хочу поручить ей свой дом и хозяйство, так как Марема уедет со мной в ваше ущелье, и дом мой останется пуст. Потом позови завтра утром глиномята Агава и сам приходи с ним, и перенесите из дома в ладью мою кровать, и постель, и скрины с уборами, и прочую утварь, и съестные запасы, которые здесь будут не нужны, а там пригодятся... Я все хочу взять и увезть, чтобы это все пошло там на пользу, так как мы, может быть, проживем там очень долгое время...

Пруденций слушал все это в величайшем восторге и с совершенным вниманием, а при последних словах прижал страстно к груди руки Мелиты и прошептал одним придыханием:

— О, я уверен, что никто никогда не умел пролить одним словом столько восторгов, сколько ты проливаешь их в мое сердце!

Она посмотрела на него благостным взглядом, как мать на ребенка, и тихо ему улыбнулась и отвечала:

— О мой невинный Пруденций! Не хвали меня много, мне трудно слушать твои похвалы. Будем более делать... станем спешить... не будем терять ни минуты. Я сейчас возвращусь с Маремой домой и стану спешить, чтоб уложить все мои вещи, а ты иди к матери, расскажи ей, что мы решились уехать отсюда и там, вдалеке от людей, совершить то, что должно совершиться. Скажи от меня вдове Ефросине, что дух мой полон участия к ней и к тебе и что я ничего так еще не желала, как желаю того, чтобы увидеть всех вас в том положении, к которому все вы теперь наиболее сродны. Сказав это, Мелита встала и пошла к селению, держа одною рукою за руку Пруденция, а другою Марему, и так они дошли до того места, где тропы к домам их разделялись.

Здесь Мелита опустила руку Пруденция; еще раз сказала ему, как он должен говорить с своей матерью, и сама удалилась к себе вместе с Маремой, и действительно обе женщины вместе всю ночь провели в том, что уложили в мешки и в укладки все, что было ценного в доме Алкея. Все запасы были тоже упакованы в корзины, а из прохладных ям достали меха с вином и сыры и всё это также приготовили к отправке. К рассвету все было готово, и на стене большого покоя остался висеть на

острой рыбьей кости один только широкий пояс Алкея, убранный золотою чеканкою и драгоценными камнями, да простая тростниковая дудка, в которую Мелита всунула свернутый туго в трубку папирус, на котором пред самым рассветом успела начертать несколько строк.

В этих строках было сказано: «Я получила свободу и не хочу потерять ее снова, но меня посетило испытанье, которого я не могу избежать. Я надеюсь однако, что дух мой сохранит свою силу и что любовную страсть, которая зажглася в другом против моего желанья, мне удастся смирить в нем с помощью той же грубой природы, которой он подчиняет свой дух. Если я над всем этим восторжествую, я отыщу путь к тебе и приду к тебе, чтобы окончить свой срок на земле вместе с тобою, позабыв о себе и служа вместе с тобою другим, по веленью того, чье священное слово зажгло в нас свет разуменья и веру в вечную жизнь нашего духа».

Когда же Мелита вложила папирус в полый тростник, она залепила концы его воском и повесила дудку на стену у драгоценного пояса и тотчас же, обернувшись, увидала, что у дверей, с перстами на устах, стояла Марема.

— Ты за мною следишь и подсматриваешь, — с тихой улыбкой сказала Мелита.

— Нет, — отвечала Марема, — я не слежу за тобою и не стану никому тебя выдавать, но я по всему замечаю, что ты задумала какую-то хитрость, которая поведет дело совсем не к тому, что ты обещаешь Пруденцию.

— А расскажи-ка мне, если ты знаешь, — что я ему обещала?

— Ты обещала, что нынешней ночью ты, он и я уедем отсюда на дикую скалу в неизвестном ущелье, в которой сокроемся надолго...

— Это все так и будет; вечерние звезды увидят нас на ладье нашей в море.

— Тогда я смущена еще больше... тогда в уме у тебя есть что-то такое, чего я уж вовсе не в силах понять, если ты мне не скажешь.

— Ах, друг мой Марема, — ты отгадала! До времени я тебе не скажу ничего и беру с тебя слово, что ты не станешь ни о чем меня более спрашивать. Это будет мне от тебя самую лучшей расплатой. Не любопытствуй, Марема, ни о чем: все, что должно случиться, — из всех посторонних одна ты только увидишь, но не здесь, не теперь и не сразу. Я ничего никому злого не мыслю, и Пруденций примет на долю свою то, что сам для себя предпочтет. Я отдаюсь в его волю... Но ты отгадала — он должен будет мне доказать, что в самом деле влеченье, которое он ко мне чувствует, сильнее всего и никаким более грубым влечением заменено быть не может. В этом он должен меня убедить так, чтобы во мне не было места никакому сомненью, и ты, добрый друг мой Марема, должна мне в этом помочь, потому что это для меня имеет слишком большое значение. Не откажи мне, Марема!

— О! — отвечала с чувством Марема, — можешь ли ты во мне сомневаться, Мелита! Я так хорошо знаю твой разум и доброе сердце, что мне не нужно бороться с собою, чтобы дать тебе самые страшные клятвы послужить тебе всем, чем ты захочешь. Я знаю, что ты никому не сделаешь зла, как не делала его мне во все время, пока я была твоею рабыней. Что бы ты ни сказала, Марема сделает все, не поддаваясь никаким своим собственным чувствам... Клянусь...

— Довольно! — перебила Мелита, — не клянися ничем: клясться нельзя, потому что все мы во власти всемогущего бога. Я тебе верю без клятв и не скрываюсь больше, что в уме моем есть замысел, о котором до времени не хочу сказать никому и исполнить который могу только при твоей помощи.



— Верь же, что помощь моя тебе принадлежит беззаветно и...

— И довольно! довольно, Марема! — воскликнула Мелита, и бывшая госпожа и рабыня обняли друг друга и остались так на мгновение. Так их и застала тихо вошедшая к ним вдова Ефросина, за которою сзади входили Пруденций и горшечник Агав с длинными жердями, из которых должно было сделать носилки для переноса имущества Мелиты в ладью.

## XVI

Вслед за этим сейчас же сделали носилки и начали переносить вещи в ладью. Дело это справляли Пруденций с Агавом-горшечником, а им помогала Марема, которая для этого часто отлучалась к лодке. В доме же оставались вдвоем вдова Ефросина с Мелитой, из которых последняя приготавливала у очага обед для работающих при нагрузке ладьи, а мать Пруденция ей помогала и в промежутках между занятиями говорила с ней о том, как она понимает затеянное Мелитою дело.

Вдове Ефросине казалось, что Мелита уезжает с ее сыном потому, что Пруденций ей мил, но она очень стыдлива и уж слишком высоко подняла свою целомудренную славу; теперь ей не хочется здесь перед всеми показать свою склонность, но там она, никем не стесняемая, отдастся любви на свободе и со всем пылом долго сдержанной страсти. И, будучи в этом убеждена, вдова Ефросина смотрела на сборы совершенно спокойно. Мелита же ей не говорила ничего положительного, но не раз просила ее сохранять это спокойствие постоянно, даже тогда, если от них очень долго не будет известий.

— Пусть их не будет хоть год! — отвечала вдова Ефросина, — я так истерзалась, видя долго мучения сына, что готова снести на себе все томления долгой безвестности, лишь бы могла быть уверена, что таких безнадежных терзаний, какие он снес, вперед он сносить уж не будет.

— На этот счет будь вполне уверена: такими терзаниями, какими томился Пруденций, он больше томиться не будет, — отвечала Мелита.

— В одном только этом я и хочу быть уверена.

— Так это и будет; но ты сказала, что готова пробыть без вестей целый год.

— Я это сказала... И что же, ежели тебе это нужно...

— Да, это именно может быть нужно...

Вдова Ефросина погрозила пальцем Мелите и сказала с улыбкою:

— Знаю...

— Что же ты знаешь?

— Через год... я, быть может, увижу прелестного внука!.. Что же, это прекрасно... Тогда и конец всем людским разговорам о твоём прежнем муже Алкее... Я тебя понимаю: такие, как ты, всегда любят сильно, но скромно. Боги вам в помощь, сожгите одни там цветы Гименею на камне, и пусть свидетельницею ваших брачных обетов будет Марема... А потом, год пройдет, я обниму вас и внука, и тогда попечемся мы и о Мареме... Хорошая девушка, она стоит доброго мужа.

— И наверно найдет его, — подсказала Мелита.

— Я то же думаю. Мы на нее до сих пор все как-то глядели совсем без вниманья, а вчера, когда я с ней говорила, мне вдруг показалось, что Марема ведь очень красива.

— Еще бы, еще бы она не красива! И умна, и добра, и красива, и имеет горячее сердце... И притом, что за силы и какое здоровье!.. О, она стоит превосходного мужа, и то, что ты получила о ней хорошее мнение, приносит мне огромное счастье. Я рада, что отправляюсь отсюда в полном согласье

с тобою.

И в таких-то согласных беседах у них прошел целый день; все были веселы, съели вместе вкусный обед, и перед вечером Пруденций и Марема понесли из дома к ладье последнюю ношу, а Мелита осталась с глиняным Агавом, чтобы закрыть входы, и тут-то Мелита сняла со стены широкий пояс Алкея, усыпанный камнями, и тростниковую дудку и, показав пояс Агаву, сказала:

— Способен ли ты оценить, чего может стоить эта вещь, если ее отнести в большой город и продать там, где есть богатые люди?

Агав отвечал:

— Оценить такую драгоценную вещь я не могу, но знаю, что если бы я триста лет кряду мят глину и наделал горшков целую гору, то все это не составило бы и половины цены каждого из этих светящихся камней.

— Так вот же, тебе вовсе не надо триста лет мять твою глину и наделывать гору горшков: исполни одно порученье, которое я хочу тебе дать, и этот пояс пусть будет твоею наградой. А что в словах моих нет ни обмана, ни шутки, так бери эту вещь сию же минуту и спрячь ее у себя под одеждой. А кстати пихни вместе с нею туда эту дудку, и когда мы уедем, ты брось свою глину, — горшков ведь у всех здесь довольно в селенье.

— О, слишком довольно! — отвечал, засмеявшись, Агав, — я уж не знаю, кому продавать и то, что имею в запасе.

— Так и оставь их. Пускай жена твоя продает дома горшки тем, у кого свои перебыются, а ты пойдешь к Клазомену и там, в этом городе, отыщи подружку моих детских лет, имя которой Эрминия, и отдай ей эту дудку.

— Хорошо; а потом что я еще должен сделать?

— Только всего.

— Отыскать госпожу Эрминию и отдать ей эту дудку, и только всего?

— И только всего.

— Что же, она должна заиграть на этой дудке?

Мелита улыбнулась на шутку Агава и отвечала так же шутливо:

— Дудка сама заиграет, что нужно. Впрочем, можешь сказать Эрминии, что ты меня видел, и при каких обстоятельствах, как мы расстались. И за это возьми себе пояс и продай его, где тебе это удастся, а потом возвращайся домой и доживай свои старые годы, не терзаясь нуждою.

— Что же, в самом деле я это сделаю! Клянусь богами, я сделаю это! — воскликнул горшечник. — Я отыщу госпожу Эрминию и расскажу ей, как было все дело. Пусть-ка она тогда заиграет об этом на дудке.

И с этим горшечник Агав спрятал пояс и дудку, и они оба с Мелитою вышли из опустевшего дома Алкея; а когда они приблизились к лодке, то уже застали, что Марема сидела на веслах, обнажив до плечей свои крепкие руки, а Пруденций, вырвавшись из долгих объятий вдовы Ефросины, распускал косой длинный парус на рее.

Мелита тоже скоро простилась с вдовой Ефросиной и спрыгнула с берега в лодку.

Марема шевельнула веслами — нагруженная ладья слегка зашуршала днищем по песку, а потом, достигши свободной волны, покачнулась, ветер надул паруса, и между отъезжавшими и остающеюся Ефросиной и Агавом вдруг удлинилось расстояние...

Переговариваться с лодки на берег стало невозможно, но зато до слуха вдовы и Агава теперь доносилось стройное пение: это была песнь любви, которой слова и напев ее тотчас узнали и вдова и горшечник... Пели стройно два голоса, Пруденций с Маремой.

И песня их тоже стихала и замирала в пространстве, но вот, обойдя острый мыс и пологую отмель, ладья переставила парус и будто подвинулась ближе, и с нее опять на мгновение донеслись звуки пения, но совершенно иного, которого ни слова, ни напев не были знакомы вдове Ефросине. Пел один ровный и торжественный голос.

— Это голос Мелиты! — сказала вдова Ефросина.

— Да, и мне кажется тоже, — ответил Агав.

— Что же это за незнакомая песня?

— Это?.. Мне кажется... Это будто похоже на гимн, который я слышал однажды, когда мы бросали со скалы на камень тех забавных людей, которые нас уверяли, будто тот не умрет, кто станет жить на земле так, как учил жить их пророк галилейский.

## XVII

Во всю ночь ярко светила луна и дул благоприятный для пловцов ветер. Хорошо знавший все морские приметы, Пруденций смело и ловко правил ладьей, которая, таким образом, держала прямой путь к тому таинственному пункту, куда Пруденций увозил Мелиту и Марему для того, чтобы там, по прихоти первой из них, исполнить ее испытания и заслужить себе ее любовь.

От селения, где жили Алкей и Гифас, до скалы, где им пришлось отыскивать скрытый приют для склада своих хищений, при попутном ветре было полторы суток ходу. Путь во все время держали такой, что не теряли из вида берегов, хотя шли то ближе к земле, то отдаляясь в море там, где было много камней и плыть вблизи берегов было опасно.

Среди второй ночи пловцы достигли пролива, за которым, как лес, возвышались серые каменные скалы, не имевшие, по-видимому, ни растительности, ни обитателей. Они сначала были меньше и начинались камнями, которые невысоко возвышались над водой, но потом толпились и возвышались что дальше, то выше, и некоторые из этих скал казались довольно большими и сложными по очертанию.

Проход между ними был чрезвычайно опасен, и его мог предпринять только такой человек, кому путь этот хорошо известен и кто обладает большой ловкостью и силой.

Пруденций всем этим обладал в совершенстве, и обе женщины могли им любоваться, как он, почти обнаженный, стоя на корме, проводил ладью между режущих камней, то подпираясь длинным шестом, то вонзая багор в расщелины или хватаясь им за уступы. Но, наконец, были два места, где плыть казалось совсем невозможно, потому что ни упереться, ни ухватиться было не за что, а страшная быстрота крутила ладью и уносила ее на острые скалы; но тут Пруденций вдруг нырнул в воду и через одно мгновение снова выплыл наверх, держа в руках скользкий и опутанный водорослями канат. Перебирая этот канат, он ловко перетянул ладью через стремнину, которую никак бы нельзя было перейти ни под ветром, ни на веслах. Так же точно прошли и вторую стремнину, за которою недалеко была уже и самая цель мореходцев.

Тут в очень стесненной группе скал была одна такая, которая с первого взгляда ничем не отличалась от прочих, но на самом деле она имела существенную разницу по странной игре природы, устроившей в этой скале одну под другой три террасы, обращенные к полдню, и на средней из них

— обширную расщелину, за которою на поляне, поросшей кустами, были две пещеры, одна внизу, а другая на значительной высоте, так что в нее можно было взойти, только приставляя длинную суковатую жердь, заменявшую лестницу, которую, по миновании надобности, опять отнимали и клали в купы зеленого диарита\*, где она и лежала так, что была незаметна. С той стороны, куда выходила площадка и входы обеих пещер, больше не было скал и открывалось безбрежное море. У подошвы скалы была маленькая, но очень удобная бухточка, в форме сандалии. Ладья заходила в нее легко и помещалась в ней удобно и совсем незаметно.

Пруденций пристал в эту бухту и, высадив Мелиту с Маремой, повел их наверх, где были пещеры. В нижней пещере было большое жилье, разделенное натуральными столбами скалы на несколько удобных покоев, из которых два были убраны коврами и кожами и представляли во всех отношениях здоровое и удобное помещение.

Эту нижнюю пещеру Пруденций предоставил в распоряжение Мелиты и Маремы, а сам начал жить в верхней пещере, которая была потеснее нижней и представляла собственно разбойничий тайник, но однако и в ней был здоровый, чистый воздух и хорошая постель из циновок.

Запасов же и разной утвари в нижней пещере было накоплено столько, что пять человек смело могли продовольствоваться здесь целый год.

Мелита и Марема благодарили Пруденция за доставленное им удобство в помещении и, утомленные длинным морским переходом, тотчас же легли спать и проспали очень долго, а проснувшись, когда солнце уже высоко взошло и играло по сверкающей зыби моря, были в восхищении от свежести воздуха и обширного вида на море. А меж тем недалеко в стороне от входа в их пещеру был уже разведен огонь, возле него положена коза с полуснятою кожей и сосуд со свежей водою.

Все это, без сомнения, приготовил Пруденций.

Увидав это, женщины стали смотреть: где же находится теперь сам Пруденций, которого они желали поблагодарить за его заботы о них, но Пруденция не было видно. Тогда Мелита с Маремой принялись хозяйничать около очага, и только что сняли кожу с козы и, распластав ее мясо, стали одни части варить, а другие втыкали на прутья, чтоб жарить, как вдруг появился Пруденций. Он шел, обливаясь потом и таща на себе по круче от моря с ладьи тяжелую ношу.

— Ну, что ты за милый хозяин! — увидев его, закричала Марема.

— И я скажу то же, — поддержала Марему Мелита.

Пруденций улыбался счастливой улыбкой и, опустив ношу, подошел к женщинам, чтобы сказать им утреннее приветствие.

Потом они стали обедать, а после пошли осмотреть скалу и нашли на ней, кроме двух пещер, помещенных одна над другою, и открытое пространство, покрытое зеленью, с возвышениями, по которым пощипывали травку прирученные козы. Здесь с высоты каскадом падал прозрачный ручей.

— Это прекрасное место! — восклицала Марема, резвясь как ребенок. — Я не хотела бы никогда удаляться отсюда.

При этом она наклонилась к уху Мелиты и добавила:

— Особенно в том случае, если бы я могла здесь жить не одна, а с таким человеком, который бы... мне... нравился, что ли... и которого любовь моя могла бы делать счастливым.

Мелита пожала ей руку и отвечала:

— Что же!.. Все это может случиться...

— Откуда ж!

— Не унывай: в природе возможно многое, что по взгляду кажется трудным и даже совсем невозможным.

Но Марема расхохоталась и сказала:

— Ну, я знаю, однако, одно, что совсем невозможно.

— Что же это такое?

— Невозможно, чтобы смуглая кожа Маремы могла затмить лилейную белизну чудесного тела Мелиты.

— О, если только дело за этим, то это очень возможно, и в такой возможности ты, может быть, удивишься гораздо скорее, чем ты могла бы подумать.

А как эта перемолвка произошла между женщинами с уха на ухо, то она не могла не возбудить любопытство в Пруденции, что Мелита тотчас же заметила и сказала ему:

— Не удивляюсь я, добрый Пруденций, что тебе интересно, о чем мы между собою рассуждаем с Маремой, и думаю, что тебе будет еще любопытнее, когда ты узнаешь, что все, о чем мы говорили, касается до тебя. Скажи нам, каково твое мнение: хотел ли бы ты, чтобы целую жизнь остаться на этой скале, и как бы ты хотел проводить свою жизнь?

Пруденций ответил, что он считал бы за самое лучшее счастье остаться здесь навсегда с тою женщиной, которую любит, и желал бы проводить жизнь только в том, чтобы наслаждаться ее любовью, забыв обо всем остальном на свете.

Мелита улыбнулась и сказала ему:

— У меня и Маремы несхожие мнения, и то, которое ты теперь высказал, ближе всего ко мненью Маремы, а со мною совсем несогласно.

Пруденций вместе с Маремою стали просить ее, чтобы она сказала им свое мнение, а она им отвечала:

— Здешнее место прекрасно, но такая любовь, которая отделяет двух человек от всех прочих людей и погружает их в одни наслажденья друг другом, мне совершенно противна. Я даже вовсе не понимаю: какое в такой любви может быть счастье? Я думаю, что это совсем не стоит имени любви, — что это совсем что-то другое, на чем невозможно воспитать дух свой и прожить жизнь в мире с своей совестью. Я бы хотела, чтобы с нами здесь были другие и чтобы все мы могли быть друг другу полезны; я думаю, в этом должен быть смысл человеческой жизни, а не в том, чего могут достичь и низшие твари, не владеющие человеческим рассудком.

И между ними начался разговор, в котором они все трое, сидя над морем в зелени диаритов, приняли оживленное участие и незаметно трое разделились на два мнения: Мелита оставалась при своем, развивая мысль о необходимости общей любви ко всем людям, при которой нельзя отрешаться от общенья с другими, а Марема и Пруденций, увлекаясь идеями личного счастья, уходили в этом настроении всё дальше и дошли, наконец, до того, что сказали, что нет и не может быть высшей любви, как та, которая довольна своим избранным предметом — одним им согрета и занята и до других ни до кого нет ей дела.

Когда разговор дошел до этого, Мелита улыбнулась, не стала более спорить, а шутливо свела руку Пруденция с рукою Маремы и сказала им:

— Я очень рада, что вы друг с другом согласны.

Пруденций и Марема этим смутились, и в один из последовавших затем дней, когда Марема помогала Пруденцию разгружать внизу лодку, а он вносил тяжести наверх к пещерам, у которых Мелита готовила на очаге обед, Пруденций, опустив на землю ношу, промолвил Мелите:

— Я до сих пор все не перестаю думать о бывшем у нас в первый день разговоре... Он как будто отстраняет меня от тебя, к которой влечет меня сердце и от одного приближенья к которой вся кровь во мне пылает, как пламя.

— Кровь!.. Ты все о крови, Пруденций. Бунтование крови проходит... Гораздо надежнее то, что может жить вечно и не остынет от времени.

— Что же это, Мелита?

— Сродство нашего духа... согласие в желаниях, одинаковость окончательной цели!

Но Пруденций покачал головой и сказал с укоризной:

— Мелита! Мелита! что тебе за охота говорить всё такие мудреные вещи! Не будет ли проще, если нас свяжет не дух, а то, чем обыкновенно мужчину и женщину соединяет природа?

— Нет, — отвечала Мелита, — это слишком уж просто.

— О, доверимся ей... Отдайся, Мелита, всеильной природе, она никогда не обманет.

— Нет, она-то скорее всего и обманет.

— Природа обманет?

— Ну да!

— Никогда.

— Ну, не станем перекидывать наши слова без средств доказать их. Ты помнишь, конечно, наш уговор: «три дня испытания».

— Без сомнения, помню и заранее торжествую победу любви моей над упрямством капризной Мелиты.

— Прекрасно! Но воздержись — не спеши с торжеством. Я у тебя не отнимаю надежды, но впереди будут три дня испытания... Три только дня!.. Но зато в эти три дня ты должен мне повиноваться во всем.

— Очень рад... только, однако, когда же начнешь ты свои испытания?... Я желаю, чтобы это было скорее.

— Сейчас, если хочешь.

— Я замираю в восторге.

— Прекрасно: теперь вечереет, а через три дня в эту же пору я буду твоею женою... или...

— Кончай же!

— Или я ею не буду.

— В каком же то случае?

— В том случае, если ты сам от меня не откажешься и что-нибудь предпочтешь моим ласкам.

— О, сделай милость! Это одно, чего я никогда для тебя не сделаю, хотя бы на меня восстали все демоны ада и все «силы природы».

— Ну вот уж: «все силы природы!» Зачем такой смелый вызов! Быть может, и одной «силы природы» будет довольно.

— Начинай испытанье! Говори, что я сейчас должен делать.

— Во-первых, ты от меня удалишься сию же минуту в свое помещенье в верхней пещере.

— Ну! и что мне там делать?

— Пока ничего.

— Как это пока?

— Пока тебе станет хотеться думать более о самом себе, чем обо мне.

— Ну, оставь это!.. Никогда этого не будет.

— Входи же в пещеру.

— Ну, хорошо, — я всхожу.

Пруденций стал подниматься по лестнице и, достигнув до входа в свою верхнюю пещеру, обернулся и с веселою улыбкою вскрикнул:

— Эвое! Я уже начал мое испытание и на один миг стал ближе к обладанью Мелитой.

— Обладай же сначала собою, — отвечала Мелита, отнимая лестницу и спуская ее по откосу на вторую площадку.

— Я заперт! — смеялся Пруденций.

— Теперь жди, пока я тебя позову, стоя в ожиданье тебя у брачного ложа.

И с этим Мелита скрылась в своей нижней пещере.

## XVIII

Вскоре после того, как скрылась Мелита, по тропинке от моря стала подниматься Марема.

Пруденций издали ее заметил и стал говорить ей:

— Ах, порадуйся за меня, Марема! Мелита уже начала мое испытание, и через три дня она должна будет сдержать свое слово — она сделается моею женою.

— Это славная вещь! А в чем же будет состоять твое испытание?

— А вот в точности я этого до сих пор не знаю, право; до сих пор она мне ничего не сказала, кроме того, чтобы я думал о ней и ожидал терпеливо какого-то ее слова; а уж какое это будет слово — не знаю.

«Что за затеи у этой Мелиты?» — подумала, покачав головою, Марема и, войдя в пещеру, тотчас же хотела расспросить Мелиту: что далее будет? Но Мелита лежала, закрывши глаза, и спала, или притворилась спящей, и Марема будить ее не решилась; а когда она снова вышла, чтобы взять несколько хвойных веток и выкурить их дымом насекомых, она увидала, что Пруденций стоял наверху во входе своей пещеры и на него светила луна, а он улыбался и сказал ей:

— Скажи привет мой Мелите, Марема.

А Мареме не хотелось ему отвечать, — так ей сделалось его жалко и грустно видеть его, как птицу в клетке.

До полуночи Марема не могла сомкнуть глаз, а за полночь она слышала, как Мелита вышла и возвратилась не скоро, а когда возвратилась, то прежде, чем лечь, подошла и нагнулась над изголовьем Маремы и, увидав, что Марема не спит, откинулась вновь и сказала сурово и твердо:

— Ни во что не мешайся и ни о чем меня не спрашивай... Поверь мне, что я не жестокая женщина и не хочу ничьих напрасных мучений, а я делаю то, что нужно для нашего общего счастья. Умоляю тебя: верь мне, как верила, и ни о чем не спрашивай больше.

— Пусть будет так, как ты хочешь.

И едва забрезжился свет, Мелита разбудила Марему и позвала ее вместе с нею идти, чтобы закончить выгрузку лодки; а когда они туда сошли, то Марема увидела, что Мелита одна здесь

работала ночью, а теперь они взялись за дело вдвоем и трудились так безотступно, что к вечеру все, что привезено было в лодке, было втащено на берег, и облегченная ладья поднялась и закачалась в своей маленькой бухте.

Во весь день Мелита с Маремою не возвращались в пещеру, и когда стало темнеть, они еще оставались у моря. Марема не раз порывалась уйти, но Мелита ее удерживала, и они стали подниматься наверх только тогда, когда луна утонула за скалы и вокруг сделалось темно.

Тогда они тихо проникли в свою пещеру, не замеченные Пруденцием, и не зажигали огня, чтобы выгонять насекомых, а улеглись каждая на своем месте впотьмах... и Мелита, казалось, сейчас же заснула, но Марема начала что-то искать, и потом стала есть, и, сделавши несколько глотков, вдруг вскрикнула, как бы приняла что-то пронзительное или острое.

Тогда оказалось, что и Мелита не спала, потому что она живо вскочила и спросила в испуге:

— Что с тобою случилось?

Марема сразу ничего не отвечала, но когда Мелита повторила вопрос, та ей ответила как бы из какого-то отдаленья:

— Со мной ничего не случилось... но я не хочу более есть, потому... что... я все теперь поняла...

Пруденций без пищи!..

Мелита ей не отвечала ни слова.

Ночь прошла беспокойно, в прерывистых грезах. Общим женщинам казалось, как будто они видят Пруденция и слышат его шаги, и вот он весь исхудал, глаза его округлились... он глядит беспокойно... Мелита! Мелита! скорей задавай ему дело!

А оно уже было задано.

Утром на третьей сутки Мелита вовсе не вышла. Из пещеры показалась одна только Марема, и Пруденций сторожил ее появление.

— Здравствуй! Здравствуй, Марема! — закричал он ей пострадавшим, но еще веселым голосом.

Прошли уже две ночи и день, как я ожидаю здесь своего заслуженного права прижать к моему верному сердцу милую Мелиту. Теперь уже недолго осталось мне ждать, но зачем она медлит, — зачем до сих пор мне не скажет: в чем я должен выдержать мое испытанье. Или ты, может быть, с тем теперь вышла, чтобы сказать мне, что я должен сделать? Говори же скорее: я утомился здесь ожидать приказанья Мелиты...

— Мелита мне ничего не сказала, — отвечала Марема, стараясь не глядеть на Пруденция, который при самом беглом взгляде на него показался ей изнуренным и страшным.

— Куда же идешь ты?

— Я иду... чтобы поймать удою рыбу и поискать в расщелинах птичьих яиц... Завтра ведь к вечеру Мелита готовит свадебный пир...

— Ах, она уж готовит! Прекрасно, прекрасно... Иди же скорей, лови рыбу... и яйца есть по утесам... А Мелита, верно, выйдет сама и скажет мне, что должен я сделать... Мне, кстати, очень хочется есть.

— Я ворочусь и скажу ей, что ты хочешь есть.

— Нет, не надо, Марема. Я ей дал слово, что не буду ее ни о чем просить, пока она меня кликнет...

Уходи, куда ты идешь... мне нужно терпенье.

И Марема ушла, а Пруденций остался один и снова весь целый день протомился в затворе; он то поджидал Мелиту, то ее кликал, но все это было напрасно — Мелита не показалась ему ни на



мгновение ока. Она целый день безустанно разбирала все перенесенные с ладьи вещи и с таким вкусом убрала пещеру, что ее можно было принять за очень благоустроенное жилище человека со вкусом. В переднем, большом помещении был накрыт большой стол, уставленный множеством дорогой и прекрасной посуды, а вдали за столбом, обвитым цветными тканями, возвышалось пышно убранное ложе под голубою завесой и с лампами у изголовья.

Все это требовало много искусства и вкуса, и трудно было произвести такое превращение в один день; но Мелита не жалела труда, и он один, вероятно, помог ей не слышать жалобных стонов Пруденция, который с полудня уже утратил терпение и звал Мелиту, крича ей, что он чувствует мучительный голод.

— Мелита! — кричал он, — Мелита! для чего ты забываешь, что я человек и что голод желудка дает знать о себе беспрестанно... Говори мне скорее, какое я тебе должен дать доказательство, что я ни с чем не сравню твою любовь... или я здесь умру от голода.

Но Мелита все убирала покои и не пришла к нему на его зов, и Пруденций так протомился до вечера, когда увидал возвращающуюся Марему и закричал ей:

— Мои мучения превзошли уже всякую меру...

— Ты старайся не думать...

— Ах, не могу! не могу я не думать — голод жесточе всевозможных мучений... Я боюсь, что я не доживу до утра...

— Старайся уснуть... пусть во сне тебе снится Мелита.

— Ах, я уже пробовал спать... и во сне то же самое снится... Есть хочу, есть хочу! Страшно, Марема, мне, страшно! У тебя там где-нибудь, верно, есть птичьи яйца — брось мне одно из них, я умираю.

— Не смею, — отвечала Марема и скоро скользнула в пещеру, которая была освещена многими огнями и поразила Марему своим неожиданным великолепием.

— Что это будет? — спросила Марема.

— Завтра здесь будет свадебный пир, — отвечала Мелита.

— Свадебный пир!.. О Мелита! остерегись, чтобы это не был похоронный обед.

И, сказав это, Марема присела и, опустив руки и голову, зарыдала.

— О чем ты так плачешь? — спросила Мелита.

— Я сейчас видела Пруденция и слышала его стоны... Его мучает голод, и он умирает.

— Но ведь его раньше мучил еще иной голод...

— Нет, голод желудка страшнее всякого другого томленья.

— Полно, Марема. Ведь и я тоже не ем.

Марема достала из-за туники яйцо морской птицы и сказала:

— Я целый день провела безуспешно и насилу достала всего два яйца. Одно, — признаюсь тебе, — съела сырое, и оно мне от голода показалось вкусно. Съешь ты это другое. Его просил у меня Пруденций, но я не дала ему.

— И мне оно тоже не нужно: я терплю то же, что терпит Пруденций! — и с этим словом Мелита взяла из рук Маремы яйцо и бросила его об пол.

— Здесь есть много съестного, — добавила она, — но я ничего не касалась. Я по себе размеряю, что он может снести без вреда для его жизни. Ляг и усни, а завтра с утра станем готовить обед, и ввечеру

разрешится все, что так долго и мучительно длилось.

## XIX

И вот прошла ужасная ночь, которая всем показалась долга бесконечно и всех истомила. Настало тяжелое утро. Обе женщины рано проснулись, и Марема тотчас же выбежала, чтобы взглянуть на Пруденция. Юноша изменился в эту последнюю ночь сильнее, чем во все протекшее время: лицо его сделалось серое и маленькое, оба глаза ввалились и казались совершенно круглыми, а губы почернели, и из-за них виднелись два ряда белых зубов, как будто ослабнувших в деснах, и воспаленный язык и гортань... Голод его догрызал, — Пруденций уже не имел сил и стонать; он сидел, прислонясь ко входу, и тихо качался, придавливая исхудалыми руками опустошенный живот. Напрасно Марема хотела его утешить и говорила ему о близости счастья в обладанье Мелитою, — Пруденций не отвечал ей ни слова.

Когда же Марема сказала об этом Мелите, та отвечала:

— Это так должно быть! Когда зло не хотят победить рассудком, то оно побеждается страданиями. Но не будем говорить об этом, а давай скорее готовить все лучшие кушанья, какие умеем.

И они отобрали из всех запасов все, что было лучшего, и стали готовить все блюда, какие умели. Это требовало немало трудов, и приготовления еще не были совсем кончены, когда солнце стало спускаться за скалы. Тогда Мелита сказала Мареме:

— Оставим на время мяса и плоды — пусть хорошенько томятся на углях, а мы пойдем под ручей — омоемся свежей струею воды и оденем лучшие наши одежды.

Марема пошла с нею и удивилась, что когда они вышли из-под обливания, то Мелита открыла принесенную склянницу драгоценных духов и неожиданно вылила всю ее поровну на свои волосы и на волосы Маремы, и при этом сказала:

— Я хочу сделать так, чтобы мы обе имели вид невест.

И затем, возвратившись в пещеру, Мелита стала спешить уборкой стола — расставила кувшины с разноцветным вином; разложила фрукты на листьях, и подливы к мясам, и загородки из теста в глиняных блюдах; а потом засветила огни, открыла постель и стала между ней и столом, одетая в самые пышные платья, а Мареме сказала:

— Приставь скорей лестницу и поди и скажи Пруденцию, что я его приглашаю сойти.

Марема исполнила это в одно мгновение, но когда она вошла в верхнюю пещеру к Пруденцию, то увидала его в ужасном изнурении — он уже не сидел, а лежал и на вопросы мог отвечать очень не скоро и очень невнятно. Он только тихо махал рукою и давал чувствовать, что для него ничто не важно, кроме голода, которым он истомился.

Долгоожидаемое приглашение Мелиты нимало его не оживило и не обрадовало.

— Ведь это настал час твоей радости! — говорила ему Марема, но он только отмахнулся рукою и, обратись в сторону, прошептал:

— Куда... же... ты дела... яйцо... морской чайки?

— Что тебе теперь до яйца чайки... тебя ожидает роскошный стол и... еще больше роскошные ласки Мелиты!.. Встань скорее на ноги — я помогу тебе сойти с лестницы.

Он стал подниматься, но закачался, упал и сказал:

— Я не в силах.

Тогда живая Марема схватила Пруденция, как дитя, на свои сильные руки, снесла его с лестницы,

опустила на землю и, дав ему оправиться, подвела его под руки ко входу в освещенную пещеру, где в сиянье огней стояла блестящая красотой и убором Мелита. Она встретила Пруденция с ласковой улыбкой и сказала ему ласковым голосом:

— Привет мой тебе, господин мой Пруденций! Входи и будь здесь властелином всего, что ты видишь. Ты перенес испытанье, и зато я даю тебе надо мною всякое право... Пир изготовлен... последние блюда скоро поспеют на тихом огне, и брачное ложе готово... и я жду моего господина! При этом Мелита протянула обе руки к Пруденцию, но он отвернулся от нее и, поведя вокруг как бы утратившими зоркость глазами, нетерпеливо воскликнул:

— Подожди!.. и скажи мне: где же это яйцо дикой птицы?

— Я разбила его, — отвечала Мелита. — Поди отдохни, господин мой, на ложе... Ведь я сама его стлала для тебя, моего господина... А после ты будешь есть самые вкусные кушанья.

— Ах, это все пустяки!.. Подавай мне сейчас все, что там кипит или печется!

— Кушанье все еще не готово.

— А это же что здесь такое дымится в глиняном блюде?

— Это подлива к бобам и загородки из теста для раз варенного мяса...

— Вот я и съем сейчас всю эту подливу и все загородки из теста...

И он потянул к себе блюдо с подливой и начал лакать ее и грызть загородки, не обращая никакого внимания на Мелиту, которая этим временем все удалялась тихо назад и, наконец, вовсе исчезла, так что с этой поры Пруденций и Марема напрасно искали ее на утесе. С нею вместе ушла и ладья, которая была спрятана в бухте, и теперь Пруденций с Маремой были отрезаны от всего остального мира.

Они напрасно обегали со всех сторон скалу и искали Мелиту, — она, без сомнения, оставила их и скрылась, а они остались вдвоем и не видели никого третьего до тех пор, пока возле Маремы сразу раздались два голоса двух новорожденных ею близнецов... В этот день Пруденций, сошедший вниз с свертком белья, которое он должен был вымыть для своих двух близнецов и для Маремы, — заметил на море точку, которая как будто переменила свое место... А еще через несколько дней Пруденций увидел, что на глине скалы над самую бухтою было начертано чем-то острым: «Мелита приветствует Пруденция и Марему с детьми их и желает им согласия и добродетельной жизни». Еще же через месяц Пруденций увидел ладью еще ближе и видел, что на ней были две женщины и что к ней из-за скал подошла другая ладья и на эту перешла одна из двух женщин, и теперь та лодка, на которой сидели две женщины, стала удаляться, а та, на которой осталась одна, — приближалась к утесу. Пруденций скоро узнал по окраске, что эта лодка его и Алкея, которая исчезла с той ночи, как удалилась Мелита... Пруденций сказал об этом Мареме, которая сидела тут же, возле него, на берегу моря и держала на каждом из своих колен по здоровому смуглому ребенку, из которых каждый завладел одной грудью своей матери и так жадно сосал, что молоко выбегало у него обратно из уст и крупными белыми каплями скользило по смуглой груди Маремы... Но Марема теперь этого не замечала, потому что она следила за лодкой, и вдруг вскричала:

— Радуйся, милый Пруденций!.. К нам приближается мать твоя, вдова Ефросина... Мы не останемся одни здесь, и наши дети не будут жить дикарями.

— Да, — отвечал ей Пруденций, — и я теперь вижу: это мать моя, вдова Ефросина!.. Кто передал ей нашу ладью и кто указал ей путь к нам?

— Конечно, Мелита. Это она удалилась на другой ладье с своим другом Эрминией... Они христианки.

Пруденций задумался и, следя за приближением лодки, которою, несмотря на свои годы, хорошо еще правила вдова Ефросина, сказал, склоняясь к Мареме:

— Вот все, кто страстно любит наслаждения жизни, всегда рассуждают, что будто галилейское учение не годится для жизни... А припомни-ка все, что было с нами, и выйдет, что вперед дальше всех видела одна Мелита. Я перед нею так малодушен, что не мог бы идти с нею рядом. Как хорошо, что она не связала себя узами брака с таким посредственным человеком, как я!.. При разности взглядов и мыслей мы не нашли бы в союзе согласия и мира, а с тобой мы счастливы... Ее дух слишком высок и серьезен — он слишком беспощадно побеждает плоть. Ты же и я... мы смотрим проще... Я не знаю, как это случилось, как я все любил так сильно Мелиту, и теперь вижу, что она несродна мне, а ты мне гораздо милее Мелиты... Я хотел скрываться здесь вечно с Мелитой, — потом мне так хорошо было здесь же с тобой, и теперь... я однако же радуюсь, что мать моя нас разыскала и мы не останемся в вечной разлуке с людьми... Весь круг мыслей во мне перешел, — все переделалось с нами именно так, как говорила Мелита. Верно, надо ей верить во всем.

— Да, она умная женщина.

— Надо считать дух, а не плоть владыкою жизни и жить не для тех чувств, которые научают нас особиться от всех прочих людей...

— Правда, Пруденций.

— Пусть так и будет, и когда мы уклонимся от этого... пусть мы сами не будем на своей стороне.

Если мы погрешим, то не станем извинять себя и делать себе пояса из листьев, потому что прятаться

— это хуже, чем несть порицание, которого заслуживаешь.

— Я согласна, — отвечала Марема.

— Да, всегда мы с тобою согласны! Какое это счастье для обоих нас!..

— И для наших обоих детей, — показала Марема на близнецов, которых уж издали увидела бабушка их, вдова Ефросина, и начала улыбаться всем и в конце, бросив весло, закричала:

— Вот так ребята! Эдаких я еще не встречала.

Полунощники

Пейзаж и жанр

Парки бабье лепетанье\*,

Спящей ночи трепетанье,

Жизни мышья беготня.

I

...Я был грустно настроен и очень скучал. Уехать из города на лето было еще рано, и мне посоветовали сделать непродолжительную прогулку с целью увидеть новые, непримелькавшиеся лица. Я сдался на убеждения моих друзей и поехал. Я не знал никаких порядков города, куда держал путь, ни нравов людей, с которыми мне там придется встретиться, но фортуна начала благоприятствовать мне с первого шага. На первых же порах во время путешествия я нашел услужливых и опытных людей, которые делали это путешествие уже не первый раз, и они научили меня, где надо пристать и как себя пристойнее держать. Я все принял к сведению и остановился там, где останавливаются все, кого влечет сюда призыванье. Учреждение это не отель и не гостиница, а оно

совершенно частный дом, приспособленный сообразно вкусу и надобностям здешних посетителей, и называется он — «Ажидация»\*.

Мне досталась маленькая комната. Выбирать помещений здесь не принято, а равно не принято и претендовать на их относительные неудобства. Это все человек узнаёт еще во время короткого переезда. Всякий помещается здесь на том месте, какое ему отведут; а что кому надо отвести — это сразу определяет пронизательное око очень бойкой женщины, которую называют «риндательша»; если же нет на месте самой «риндательши», тогда сортировкой посетителей занимается состоящая при ней подручная ключница. Обе они, по-видимому, благородного происхождения, или по крайней мере это дамы, которые достаточно видели свет и имеют о нем надлежащее понятие. Нынешний солидный возраст обеих дам, кажется, должен бы хранить их от всякого злоязычия, а здравый смысл и благочестие начертаны на их лицах, хотя, впрочем, довольно различными пошибами. Лик «риндательши» ударяет в сухой, византийский стиль, а ключницы с дугообразными бровями принадлежит итальянской школе. Обе эти женщины, несомненно, умны и относятся к разряду тех, о которых сказано: «Их же не оплетеши». Друг другу они улыбаются как друзья, но в глазах их, казалось, светились какие-то иные чувства, совсем не схожие с искренней дружбой.

Наблюдательный человек мог подумать, что этих женщин связывает как будто какое-то взаимное опасение.

В их необыкновенном доме господствует система: как к ним «привалит» публика, или, как ее называют, — «толпучка», дамы встречают гостей и тотчас же их сортируют; знакомых лиц они прямо размещают по известным комнатам, а незнакомых подвергают предусмотрительному разбору, после чего каждый ожидатель получит в «Ажидации» такое помещение, какого он заслуживает.[1] Для этого прежде всего ожидателей сначала «собьют в угол к владычице». Здесь «в ажидации» немножко помолятся перед большим образом, а их в это время расценят и рассортируют.

Довольно большой дом в два этажа составляет одно помещение — «для ожидающих». Дело, очевидно, ведется очень просто, но основательно: в особе ключницы сосредоточена большая экономическая сила и исполнительная полицейская власть.

Сила нравственная и политическая находится в руках самой «риндательши». Остальной домашний штат «Ажидации» состоит из обслуживающих лиц женского пола, которые находятся почти в постоянных побегушках. Кроме того, есть «куфарка». Весь этот подбор принадлежит к служебным типам самого низшего сорта. Впрочем, у «куфарки» есть драповая тальма\*, в которой она, должно быть, служила еще «генералу», — теперь она ее соблюдает больше для важности и показывается в ней публике, или «толпучке».

Мужчин усматривается двое: один стоит при дверях в нижнем этаже, а другой сидит у окна в конце коридора, за шкафиком.

Первый производит впечатление придурковатого простачка; второй — бойкий жох из отставных военных.

Размещение в «Ажидации» отлично приурочено к ожидательской цели. В обоих этажах вдоль всего здания идет посредине коридор, а по сторонам — стойлицы.

Это «номера для ожидателей». Здесь не называют: «приезжающие» или «прибывающие», а «ожидающие». Это солиднее и ответственнее.

Коридоры наверху и внизу просторны и светлы. В конце каждого из них по окну. Коридор нижнего

этажа содержится в посредственной чистоте. Особенной чистоты нет, — ее здесь и не убережешь, потому что сюда входят прямо с надворья и тут же раздеваются и обтирают обувь. Тут же и печурка, где ставят самовары, и ход в кухню, откуда пахнет грибным и рыбным. На одной из стен большой образ владычицы и рядом поменьше образ, перед ним лампада, аналой и на полу вытертый коврик, а напротив деревянная скамья со спинкой, из так называемых твердых диванов.

В разных местах фотографические и печатные портреты одного и того же духовного лица.

С прихода все ожидатели идут к владычице и молятся, или, как говорят, «припадают». Затем всех разводят в их номера.

Знакомые имеют номера излюбленные, которые как бы всегда состоят за ними. Из них некоторые даже и не «припадают» в коридоре, а, поздоровавшись с хозяйками, прямо проходят в «свои номера». Им только говорят:

— Пожалуйте.

Других, «которые первенькие, но почище», водворяют по усмотрению в свободных номерах первого и второго этажа.

Это — аристократия необыкновенного дома.

Они получают распределение скоро. Им нет нужды ждать, пока разместят всех остальных. Прочих ключница берет и ведет в общую.

У одного из окон нижнего коридора, за маленьким желтым шкафиком, помещается отставной военный с очень серьезным выражением. Возле него на табуретике сидит ребенок, мальчик лет девяти, имеющий в чертах большое сходство с военным. Перед мальчиком куча вскрытых конвертов, с которых он смачивает слюнями марки и переклеивает их в тетрадь. Делает он это скоро и ловко и с замечательною, недетскою, серьезностью, которою, по-видимому, очень заинтересована стоящая возле него кухарка в драповой тальме. Она долго на него смотрит, и, наконец, вздыхает и говорит: — Прелесть как ловко, — лапочки будто у мышоночка — так и виляют!

Отец этого прилежного отрока, очевидно, имеет здесь довольно серьезное значение и сидит прочно на дебелим стуле, под которым постлан мягкий коврик. Военный просматривает какие-то записки и что-то выкладывает на маленьких счетах, но это его не вполне поглощает: он все видит и слышит; мимо него никто не пройдет, чтобы он не увидел и не повел на него глазом и усами.

Шкафик у него покрыт черною, запачканною клеенкою, на которой стоит чернильница с гусиным пером и лежат нарезанные листки бумаги.

В середине в шкафе есть чистые поминальные книжки, лампадное масло, восковые свечи и ладан, а также какие-то брошюрки и фотографические портреты меньшего и большего размера.

Воин этот — человек солидного века и несомненно очень твердого характера.

Прислуга дала ему прозвание «балык».

Номера нижнего этажа «Ажидации» все немножечко с грязью и с кисловатым запахом, который как будто привезен сюда из разных мест крепко запеченным в пирогах с горохом. Все «комнатки», кроме двух, имеют по одному окну с худенькими занавесками, расщипанными дырками посередине на тех местах, где их удобно можно сколоть булавками. Меблировка скудная, но, однако, в каждом стойлице есть кровать, вешалка для платья, столик и стулья. В двух больших комнатах, имеющих по два окна, стоит по скверному клеенчатому дивану. Одна из этих комнат называется «общей», потому что в ней пристают такие из ожидателей, которые не желают или не могут брать для себя отдельного

номера. Во всех комнатах есть образа и портретики; в общей комнате образ значительно большего размера, чем в отдельных номерах, и перед ним теплится «неугасимая». Другая неугасимая горит перед владычицей в коридоре.

Перед образами в номерах тоже есть лампы, которые, впрочем, зажигаются при входе сюда ожидателей, и притом, без сомнения, на их счет, так как здесь же есть кружка «на масло». Лампады возжигает воин, имеющий свой торговый пост у шкафика.

Некоторые из ожидателей не довольствуются огнем лампад и еще прилепливают перед номерными образами восковые свечи. Это им дозволяется и даже поощряется, но не иначе, как тогда, когда сами ожидатели находятся в комнате и не спят. При выходе же из комнаты или при отходе ко сну они обязаны гасить свечи, но лампы у них могут гореть во всю ночь.

Бывают случаи, что некоторые, помолвившись и легши в постель, оставляют прилепленные свечи «догорать», но «риндательша» или ее помощница непременно это замечают и сейчас же постучат рукой в двери и попросят погасить.

Наблюдает они за этим тщательно, и укрыться от них никому невозможно.

В верхнем этаже «Ажидации» все чище и лучше. Коридор так же широк, как и внизу, но несравненно светлее. Он имеет приятный и даже веселый вид и служит местом бесед и прогулок. В окнах, которыми заканчивается коридор по одну и по другую сторону, стоят купеческие цветы: герань, бальзамины, волкамерия, красный лопушок и мольное дерево, доказывающее здесь свое бессилие против огромного изобилия моли. На одном окне цветы стоят прямо на подоконнике, а у другого окна — на дешевой черной камышовой жардиньерке\*. Вверху под занавесками — клетки с птичками, из которых одна канарейка, а другая — чирик. Птички порхают, стучат о жердочки носиками и перекликаются, а чирик даже поет. Торговых приспособлений здесь никаких не видно. Напротив, тут все имеет претензию казаться чинно и благородно. На стене, приблизительно в таком же расстоянии, как и в нижнем коридоре, помещается другой владычный образ, тоже большого размера и в белом окладе с золоченым венцом. Он в раме за стеклом с отводинами, освещен лампадой в три огня, и перед ним разостлан на полу совершенно свежий коврик с розовыми букетиками и стоит аналой, а на нем крест и книга. Книга и крест завернуты в епитрахиль на зеленой подкладке.

Пол коридора крашенный и блестит. Он, очевидно, вымыт с мылом и натирается воском. Вдоль всего коридора довольно широкая джутовая «дорожка» с цветною каемкою.

Вдоль стен против образа поставлено одно кресло и несколько легких венских стульев с тростниковыми плетенками. В углах плевательницы.

Комнаты верхних номеров все гораздо лучше обставлены, чем внизу. Здесь, кроме кроватей и стульев, есть комодики и умывальники. Некоторые комнаты переделены ситцевыми драпировками надвое: одна половина образует спальню, другая — что-то вроде гостиной. Тут на комодике туалетное зеркальце, и в углу образ, перед которым тоже можно зажигать лампаду или, по желанию, свечку.

Свечи, однако, больше зажигают «серые ожидальщики», которые, собственно, составляют «толпучку»\* и имеют остановку в нижних номерах, а «верхняя публика» почти всегда ограничивается одними лампадами. Кислого запаха гороховой начинки здесь не слышно, и только внутри комодных ящиков пахнет прогорклою конторскою икрой и семгой, от которых и остались в изобилии жирные пятна.

Наверху, так же как и внизу, есть тоже общая комната, помещающаяся рядом с собственным покоем «риндательши». Эта комната имеет, впрочем, вид гостиной. Она уставлена мягкой мебелью и имеет большую образницу, в которой много образов, а перед ними опять ковер и аналой с крестом и с книгой в епитрахили. Лампада горит «общая», и огонь ее красиво дробится в широком стакане из мелко ограненного алмазной гранью хрустала. Возле образника укреплен и припечатан зеленый кружок для добродетельных вкладов.

В комнате этой ночуют только в таких случаях, если число ожидаемых бывает больше, чем сколько есть номеров. Тогда здесь помещают «залишних ожидаемых» одного пола или какое-нибудь целое семейство; в остальное же время комната эта считается «беседною» и открыта для всех прибывающих в дом ожидаемых.

После ранней обедни здесь ежедневно служат молебны, за которым все могут молиться и подавать свои поминанья и записки. Те же, которые, кроме общего моления, желают так устроить, чтобы еще отдельно за себя помолиться в своем номере, должны заявлять о своем желании особо. Ходатайство об этом надо вести через «риндательшу». Ключница за это не берется. Непосредственные же просьбы об этом часто не доходят.

Свечи, масло и все прочее, что нужно к служению, требуется наверх снизу, и заведующий этим хозяйством воин подает все это в молчании и с торжественной серьезностью.

Главный надзор за учреждением принадлежит самой «риндательше», которая, как сказано, живет тут же, на верхнем коридоре, в маленькой комнате, рядом с «беседным» покоем, а внизу правит делом помогающая ей ключница, которая присматривает тоже за кухонной частью и за свечным унтер-офицером.

Обязанности у обеих дам разделены. «Риндательша», как собственница учреждения, избрала себе часть более умственную: она держит кормило корабля. Ей одной известна ее касса и те средства, которые приходят в нее ей одной открытыми путями. Она дает надлежащий тон всему своему заведению и владеет возможностью доставлять особые душевные утешения тем, кто их разумно ищет при ее посредстве.

Ее часть, так сказать, генеральная, а часть ключницы, помещающейся внизу, более обозная, узко хозяйственная, полная мелочных хлопот и отчасти даже неприятностей, потому что она имеет дело с прислугой, избранною из людей самого низшего качества, и с ожидаемыми из того слоя общества, который называется «серостью». «Серость», выражаемая не одним званием и относительно бедностью, имеет также очень грубые навыки и не всегда отличается честностью в расчете.

«Риндательша» удаляется от всяких неприятных столкновений в денежном роде и слышет «доброю», но, по словам прислуги, она «большая скрытница» и «ужасно» требует от ключницы охранения всех своих выгод и интересов. Ключница должна прибегать к разным приемам, чтобы все было заплачено.

«Сила вся в их руках», — говорит общий голос.

## II

Я прибыл к ним без всякой протекции. Я мог бы получить рекомендации, но это не входило в мои скромные и беспритязательные планы. Я искал облегчения от тоски и томления духа и явился просто в чине ожидаемого. Как человек средний, я был помещен по непосредственному усмотрению дам в маленькой комнате верхнего этажа.



Не зная, как здесь лучше вести себя, я присматривался во всем к другим и старался делать то, что делают опытные люди. Только таким образом я и мог попасть в господствующий тон приютившего меня учреждения, что было необходимо. Я не хотел обнаруживать никакого диссонанса в чувствах и настроении группы необыкновенных людей, по лицам которых было видно, что все они прибыли сюда с очень большими и смелыми надеждами и хотят во что бы то ни стало получить, что кому нужно. Я «припадал» с ними везде, где они припадали, и держался сколь можно ближе всех их обычаев, и скоро ощутил, что это невыразимо тяжело и неопишимо скучно. Притом мне казалось, что здесь все особенно друг друга остерегаются и боятся и что я приехал, очевидно, напрасно, потому что пребывание здесь не может мне представить ничего интересного.

Я ошибался.

Вечером я погулял немножко в одиночестве по городу, и это произвело на меня еще более удручающее впечатление: изобилие портерных и кабаков, группы солдат, испытые тени какой-то бродяжной рвани и множество снующих по тротуарам женщин известной жалкой профессии. Я должен бы помнить, что благодать преобладает там, где преизбыточествует грех, но я это забыл и возвратился домой подавленный и с окончательно расстроенными нервами; я наскоро напился чаю в «беседной» и потом вышел постоять на крыльцо, но, кажется, потревожил кухарку в тальме. Она разговаривала с какою-то военною особою и все повторяла: «Ну так что!.. А мне хоть бы чтошеньки». Чтобы не сердить ее, я ушел в свой номер с решительным намерением уснуть как можно крепче до утра, а завтра встать пораньше и уехать восвояси утром же, ничего не дожидаясь. Усталось и скука сильно клонили меня к изголовью довольно сносной постели, которую я, впрочем, на всякий случай посыпал порядком порошком персидской ромашки.

Намерение хорошо спать, однако, не удалось. Сначала мне все страшно казалось: нет ли в кровати клопов, с которыми я в моей кочевой жизни имел много неприятных столкновений на русских ночлегах, а потом стало лезть в голову желание определить себе: в какую это я попал компанию, что это за люди — больше дурные или больше хорошие, больше умные или больше глупые, простяки или надувалы? И никак я этого не мог разобрать и не знал, как их назвать и к какой отнести категории. А между тем сон развеялся, и мне вместо отдыха угрожала раздражающая тоска бессонной ночи. Но, по счастью, едва все стихло в коридорах, как по обе стороны моей комнаты пошли ночные звуки. У меня оказалось разговорчивое соседство, на которое я сначала сердился, а потом увлекся и начал слушать.

Справа пришились у меня соседи только дасадительные и даже, кажется, не совсем с чистою совестью. По говору слышно было, что тут, должно быть, помещены какой-то старичок со своею старушкою. Они всё что-то перекладывали и бурчали, причем старик употреблял букву ш вместо с и ж вместо з, а также он употреблял что-то и из «штакана» и называл это «анкор»\*. У них, очевидно, было какое-то беспокойное домашнее обстоятельство, которое они приехали уладить и кому-то угрожать, но при этом они и сами ощущали какой-то большой страх за себя. Впрочем, больше беспокоилась одна старуха, которая была, очевидно, довольно трусливого десятка, а старик был отважен.

— Ничего, мама, — говорит он старушке, — ничего, «не робей, воробей». Это штарая наша кавкажская поговорка. Ты увидишь, что он нам даст — непременно даст... плохо-плохо, что четвертную даст. Меньше ехать не штоило.

— Хорошо, если даст!

— Дашт, нельзя, чтобы не дал, я уж шамую жадобрил, и ключницу тоже. Шама-то вше поняла, как я могу ей и вред и польжу шделать, — могу штаратьша вше ужнавать, и она будет жа наш штаратьша.

— Очень ты ей нужен!

— Нет, мамка, нужен. Ей надо жнать, кто ш какими мышлями приежжает, а я, жнаешь... я вше што ешть в человеке — вше это могу ужнать и шкажать. Я буду чашто шуда публику шопровождать и шо вшеми ражговаривать и от каждого его прошлую жижть ужнавать, а они потом будут их этим удивлять, что вше жнают. Я им хорошо придумал. Я надобный! Ну, давай же анкор!

— А ты теперь как ей сказался?

— Как? Как мы ш тобой решили, так я и шкажался: иж благородных, кавкажшкой армии, брошены

— непочтительный шын — шкажок начиталша... Ну, давай анкор!

— Что он богу не молится, ты это сказал?

— Да, шкажал: шкажал, что и богу не молитша и что шлужить не жахотел, а шапоги шьет... и у жидов швечки пошле шабаша убирает. Я вше шкажал, и дай мне жа это шомужки и анкор!

А старушка отвечала:

— Семужки на́, а анкор не надо.

— Отчего же не надо? Я именно хочу анкор.

— Так, нельзя анкор.

— Что жа так! что жа нельжа!.. Налей, налей мне, мама, стаканчик! Я умно, хорошо вждумал, — мы теперь уштроимша.

Она налила, а он выпил и крякнул.

— Тише! — остерегла его старушка.

— Чего ты вше так боишьша?

— Всего боюсь.

— Не бойша, вше пуштаки... ничего не бойша.

— Скандал может выйти.

— Какой шкандал? Отчего?

— Еще спрашивает: отчего? будто не знает.

— Да, не жнаю.

— Ведь мы с чужою рекомендацией приехали.

— Да, ну, так што ж такое?

— Те, соседние жильцы, ее теперь небось ведь хватились — своей рекомендации-то.

— Может быть, и хватилишь...

— Ну, они сюда и придерут.

— Ан не придерут.

— Почему?

— Дай анкор, тогда шкажу — почему.

— Пьяница!

— Шовшем нет, а я умный человек. Дай анкор.

— Отчего же жильцы не могут приехать?

— Налей анкор, так шкажу.

Она налила, а он выпил и сказал, что подал вчера «подозрение» на каких-то своих соседних жильцов, у которых этими супругами, надо думать, была похищена какая-то блистательная рекомендация. Старушка промолчала: очевидно, средство это показалось ей годным и находчивым.

Через минуту она спросила его: советовался ли он с кем-то насчет какого-то придуманного сновидения и что ему сказали?

Старичок отвечал, что советовался, и тотчас же понизил голос и добавил:

— Она меня отлично научила, как про шон говорить.

— А как?

— Шмотреть на него, как он шлушает, и ешли он вожмет шебе руку в бок, то тогда шейчаш перештатъ и больше не шкаживать. Ешли вжал руки в бок по-офицершки — жначит шердитша. А что ж ты мне анкор? Ведь я беш того не ушну.

Я закрыл голову подушкой и пролежал так минут двадцать. Стало душно. Я опять раскрыл голову и прислушался. Разговор не то продолжается, не то кончен, и старички даже, кажется, спят. Так и есть: слышны два сонные дыхания; одно как будто задорится выработать «анкор», а другое пускает в ответ тоненькое «пли-пли».

— Encore![2]

— Пли-пли...

Травят кого-то или даже, может быть, казнят — расстреливают, что ли, кого-то во сне.

Будь наше место свято!

Я тихо встал с постели и поскорее завесил своим пледом дверь, из-за которой до слуха моего доползала эта затея.

Жадный тарантул и его ехидна, обнявшиеся на супружеском ложе, для меня исчезли.

### III

Зато, чуть стихла эта сцена справа, совсем другая начала обнаруживаться за стеною слева.

Говорили две дамы; одна, младшая, называла старшую: Марья Мартыновна; а другая, старшая, звала эту: Аичка. (По купечеству в Москве «Аичка» делают в ласкательной форме из имени Раиса). Они говорили тихо и так мирно и обстоятельно, что я сразу мог понять даже, как они теперь размещены в своей комнате и как друг к другу относятся.

Старшая, то есть Марья Мартыновна, вкрадчивым, медовым голосом говорила младшей, Аичке:

— Вот мой ангел, я и рада, что вы у меня улеглись на покой в постельку. Эта комнатка своей чистотой здесь из всех выдающаяся, и постелька мякенькая. И вы понежьтесь, моя милочка. Вы должны хорошенько отдохнуть, иначе вам немислимо. Вставать вам ни за чем не нужно. Я ваши глазурные очи при лампадочке прекрасно вижу, и что только вы подумаете — я сейчас замечу и все вам подам на постельку.

— Нет, я сама встану и лампад закрою, — отвечала Аичка молодым голосом с московской оттяжкой.

— Ан вот же и не встанете, — вот я лампад уж книжкой и загородила.

— Да уж вы известная — пожилая, да скорая.

— Да, я и не могу иначе: у меня ведь игла ходит в теле.

— Какая игла в теле?

— Самая тонкая, одиннадцатый номер.

— Зачем же она вам в тело попала?

— По моей скорости: шила и в ладонь ее воткнула — она и ушла в тело. Лекаря ловили, да не поймали. Сказали: «Сама выйдет», а она уж тридцать лет во мне по всем местам ходит, а вон не выходит... Вот теперь вашим глазурным очам не больно, и я покойна и буду здесь же у ваших ножек сидеть и потихоньку вас гладить, а сама буду что-нибудь вам рассказывать.

— Нет, не надо меня гладить, я это не люблю! Садитесь в кресло и из кресла мне что-нибудь рассказывайте, — отвечала Аичка.

— А я непременно здесь хочу! Это мое самое любимое — услужить милой даме, в чем приятно, и у ее ножек посидеть и помечтать с ней о каких-нибудь разностях! Вспоминается, как еще, бывало, сами мы молоденькими девушками, до невестинья, всё так-то по ночам друг с другом шу-шу про все свои тайности по секрету шушукались, и так, бывало, расшались, что и заснем вместе, обнявшись.

— А по-моему, женщине с женщиной обнявшись ласкаться никакой и особенной радости нет, даже и мечтать не о чем.

— Ласки, мой ангел, сами и мечты привлекут, и которые дружные, те для того, уединясь, и мечтают. Разумеется, не со всякой такая дружба возможна, но если у которой есть настоящий друг, выдающийся, то «сколько счастья, сколько муки»!.. Это испытать и не позабыть!

— Ничего не понимаю.

— Удивляюсь! Но я понимаю: у меня в девушках был такой заковычный друг, Шура. Ах, какая была прелесть приятенькая, и зато уж мы любили друг друга! Мамаша, бывало, сердится и говорит: «Не расточайте вы, дурочки, попусту свои невинные нежности — мужьям ласки оставьте». А мы и замуж не хотели, да и что еще ждет замужем-то! Я только и свету видела, что до замужества, а уж как двум Пентефриям\* в жертву досталась, так и не обрадовалась.

— Как же вы это двум достались? Это интересно.

— Одного закопала, а за другого вышла.

— Ах... так!.. Вы за одного после другого вышли!

— Да, а то как же?

— Вы сказали, что «двум досталась».

— А уж ты подумала, что я вместе была за двумя разом!

Марья Мартыновна рассмеялась дробным горошком и весело проговорила:

— Ах ты, шалуша, шалуша! Ты думала, что у меня один муж был праздничный, а другой для будни?

— Да ведь это ж тоже бывает.

— Бывает, мой друг, бывает. В нынешнем свете чего не бывает, но со мной не было.

— Иные ведь обманывают: женатый, да скроет про первую жену, и еще раз женится. Ему за это достанется, а второй женщине ничего.

— Да, если она отведет от себя, что не знала, то тогда ей особенно выдающегося наказания нет, но только все-таки в суде ее защитники-то процыганят, и прокурор о постыдных вещах расспрашивать будет.

— А какая беда, что спрашивают? через это женщина-то, когда о себе расскажет, так после еще всем интереснее делается; да и с тем же, с кем разведут, после опять жить можно.

— Да, но только уж придется жить все равно как невенчаные.

— Извините-с, настоящий развод пред престолом нынче не делают, в церкви венцов не снимают, а только и всего, что в суде прочитают.

— А все уж по отдельному виду надо прописываться.

— Это не важность!

— Да; по полицейским правилам это все равно, но прислуга меньше уважает.

— Платите больше, и отлично уважать будет.

— Всё — как при законе — так жить нельзя.

— А при капитале как хочешь жить можно, так это еще и лучше.

— Разумеется, при твоём капитале, как выдающемся, и ты молодая вдова, в двадцать четыре года, так тебе все пути не заказаны, делай что хочешь. И я тебе совет дам: не губи время и делай.

— Советуете?

— От всей моей души советую. Век молодой надо чем помянуть; тоже ведь за стариком-то ты пять лет промучилась — это не шутка.

— Не вспоминайте мне про него!

— Прости, милуша, прости! Я не знала, что ты про покойников вспоминать боишься.

— Я его не боюсь, а... мне противно вспомнить, как он храпел ночью.

— Да, уж, мужчина, который если храпит, — это немислимая гадость.

— Я, бывало, целые ночи не сплю, заверну голову одеялом и сижу в постели, да и плачу. А теперь если приснится, как он храпел, сразу весь сон и пропадет.

— Да, кто храпит, им и не стоит жениться; тем больше что это при твоей молодости и при капитале, да еще и при выдающейся красоте...

— Ну, вы мне про мою красоту много не льстите, — я ведь сама себя в зеркало видывала...

Разумеется, я так себе — не урод, но аляповата.

— А чем же вы нехороши?

— Не о том, что нехороша, а я не люблю, если ко мне с лестью подъезжают. Это ведь не ко мне, а всё к капиталу.

— Ну, мой друг, я ведь у вас сколько живу, а вы мне про свой капитал до сих пор никогда ничего не объясняли.

— И не обязана. Я и никому никогда о капитале ни чего не скажу. Капитал — дело скрытное.

— Я и знать не стараюсь. Я взялась быть при вас компаньонкою и по хозяйству — в том и состою, и что вы хотите, я то и делаю: в сад — так провожаю в сад, в театр — так в театр, а сюда захотели ехать — я и здесь пригодна, потому что я и здешние порядки знаю; а о чем ваше сердечное прошение и желание совершения завтрашней успешной молитвы — этого я не знаю.

— И тоже и это вы никогда не узнаете. О чем я хочу молить — это мое одно дело.

— Да я и не любопытствую.

— Конечно! И если не будете любопытничать, то вам же спокойней у меня жить будет. А вы мои мечты оставьте — лучше что-нибудь про себя мне рассказывайте.

— Что же, мой ангел?

— Что-нибудь «выдающееся».

— Ишь, шалуша, как мое слово охватила!

— Да, я люблю, как вы рассказываете.

— Нравится?

— Не то что нравится, а как-то... так, бывало, у нас в доме одна монахиня про Гришку Отрепьева

рассказывала... сейчас смешно и сейчас жалостно.

— Да, я говорю грамматически. Это многие находили. Николай Иванович Степенев, деверь вдовы, который всеми их делами управляет, когда, бывало, болен после гуляньев, всегда, бывало, просит меня, чтобы с ним быть и разговаривать.

— А у него не было ли чего другого на уме-то?

— Ничего, мой друг, кроме того, что шутит над собою и надо мною: «Я, говорит, муж выпевающий, а ты — жена-переносица, — играй мне на чей-нибудь счет увертюру».

— Ишь, как рассказывает!

— Хорошо?

— Да что вам допрашиваться, говорите грамматически о своей жизни — вот и все.

— А у меня в жизни, мой друг, кроме горя, ничего и нет выдающегося.

— Ну вот и расскажите всю эту увертюру: какого вы роду и племени и что вы занапрасно терпели. Я люблю слушать, как занапрасно страдают.

— А я все так страдала. Я ведь, не забудь, откупной породы и Бернадакина\* крестница, потому что папаша у него в откупах служил. Большое жалованье он получал, но говорил, что страсть как много за то на себя и греха принял. Впоследствии стал Страшного суда бояться, и все пил, и умер, ничего нам не оставил. А у Бернадакина повсеместно много было крестников, и не всем даже давалось на воспитание, а только чьи выдающиеся родительские заслуги. Меня определили учиться, но у меня объявилась престранная способность: ко всем решительно понятиям развитие очень большое, а к наукам совсем никакой памяти не было. Ко всему память и соображения хорошие, а к ученью нет — долбицу умножения сколько ни долбила, а как, бывало, зададут задачу на четыре правила сложения — плюсить, или минусить, или в уме составить, например, пять из семи — сколько в отставке? — то я и никаких пустяков не могу отвечать. Тоже и по словесности — выговор у меня для всего был очень хороший, окатистый, но постоянно отчего-то особливые слова делались, и как на публичном экзамене архирей задал мне вопрос: кто написал Апокалипсис Иоанна Богослова — я и не знала.

— Еще бы! — протянула Аичка. — Да на что это и нужно.

— Решительно ни на что — только сбивают. А тут я на шестнадцатом году, милуша моя, вдруг очень выровнялась и похорошела, стала рослая, а личико милиатюрное, и маленькая родинка у подбородка. Точно я будто францужинка. И тут со мною самый подлый поступок и сделали...

— Кто же в этом виноват был?

— Всё через родных.

— Это уж как разумеется.

— А потом и пошли меня, бедную, мыкать: францужинку, да скорей меня с рук спихивать, кому попало, за русских. Сейчас же вскоре мамаша стала просить о помощи и торопиться, чтобы скорее пять тысяч мне в приданое назначили. Сейчас и жениха какого-то нашли мне — этакого хвата, в три обхвата, и живот этакий имел, — ах, какой выдающийся! Представь себе, так весь огурцом «а-ля-пузё».

— Черт знает что такое! — сказала в возбуждении Аичка.

— Да, мой друг, уж лучше бы и не вспоминать его, — отвечала Марья Мартыновна и продолжала: — а я-то тогда еще всего боялась; но меня ведь и не спрашивали. Он как приехал, так тотчас с мамашей поладил и три тысячи приданого до венца сорвал. Что же, — ведь не родительские, а конторские —

Бернадакины. Две тысячи маменька еще себе отшибла: «Мы, говорит, тебя воспитывали и кормили. Надо теперь и о младшей сестре подумать». Я ничего и не спорила, своей пользы не понимала. С женихом обо всем маменька рассуждала и с тем уговаривалась, чтобы он уважал мою сердечную невинность и никогда никакого попрека мне от него не было, а между тем, как ему две тысячи не додали, то он после только и знал, что стал попрекать, и ужасно все мотивировал и посылал, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни за что не хотел сидеть. Даже часто ни обедать, ни ночевать не приходил, и моя эта французская милиатюрность, и стройность, и родинка ничего его не только не утешали, а даже он стал меня терпеть не мочь, и именно за то, чем могла я понравиться, делал мне самые обидные колкости.

«Что мне, — говорит, — с тобой за удовольствие? в кости, что ли, я буду играть? Я обожаю в даме полноту в обхождении».

— Значит, вы его в воображение не умели привести, — вставила Аичка.

— И нельзя.

— Это пустяки!

— Нет, нельзя!

— Отчего же?

— Хладнокровие такое имел, как настоящий змей, и это, его-то испугавшись, я и иглу в себя впустила. Он на меня топнул, а я иглу-то вместо подушки в себя воткнула. А потом, когда я больная была, и если, бывало, почувствую, где игла колет, и прошу, чтобы скорее доктора пригласить, чтобы из меня иглу вон вытащить, потому что я ее чувствую, так он и тут преспокойно отвечает:

«Для чего такая нетерпеливость! подожди, может быть игла из тебя теперь и сама где-нибудь скоро выскочит».

Аичка рассмеялась и спросила:

— И что же, наконец, вышло?

— Наконец то вышло, что у меня игла нигде не вышла, а зато он сам у своей полной дамы закутился, и попал ему такой номер, что он помер, а я тогда ему назло взяла да сейчас и вышла за подлекаря.

— Этот лучше был?

— Еще хуже.

— Неужели опять в три обхвата?

— Нет!.. Чего там! Этот, напротив, весь был с петуший гребешок, но зато самый выдающийся язвитель. А маменька пристала: «Иди да иди». «Ты, говорит, на французинку подобна, и он к этой породе близок». А его всей близости только и было, что его фамилия была Померанцев, а лекаря его называли «Флердоранж»\*. А его просто лучше бы звать Антихрист. Мне даже пророчество было за него не идти.

— Ах, это люблю — пророчества! Что же было?

— Я только из ворот к венцу с ним стала выезжать, и на передней лавочке в карете завитый отрок с образом сидел, — видно, что свадьба, — а какой-то прохожий в воротах заглянул и говорит: «Вот кого-то везут наказывать».

— Вот удивительно! Ну и как же он вас наказывал?

— Всего, мой друг, натерпелась. Прежде всего он был большой хитрец и притворялся, будто ему нравится моя милиатюрность, а мои деньги ему не нужны. И пришел свататься в распареде, как

самый светский питомец: на руке перстень с бриллиантом, и комплимент такой отпустил, что как он человек со вкусом, то в женщине обожает гибкую худобу и легкость, а потом оказалось, что он это врал, а кольцо было докторово, и я ему совсем и не нравилась. Я говорю: «В таком случае зачем же вы врали и притворялись влюбленным?» А он без всякого стыда отвечает: «Золото красиво — с ним нам милой быть не диво», и объяснилось, что он сам обиделся в том, что ожидал получить за мною большой капитал, а как не нашел этого, то тоже желает мою худобу пренебрегать, — и действительно, так начал жить, что как будто он мне и не муж.

— А за это вы могли на него его начальству жаловаться.

— Я и жаловалась. Главный доктор его призвал и при мне же ему стал говорить: «Флердоранж! что же это?» А он начал в свое оправдание объяснять: «Помилуйте, ваше превосходительство, — это немислимо: в ней игла ходит», и опять и этот тоже пошел мотивировать. Главный доктор даже удивился: велел мужу выйти, а мне говорит: «Что же вы после этого хотите, чтобы я какое распоряжение сделал? Я не могу. Если вы с иглою, то я только и могу вам посоветовать: молитесь, чтобы из вас скорее игла вышла».

— Ишь, какая вы, Мартыновна, на мужское расположение к себе несчастная!

— Да, Аичка, да! За что молоденькую ласкали, за эту милиатюрность и легкость, за то самое потом от мужей ничего я не видала, кроме холодности и оскорбления. Особенно этот подлекарь, — он даже не хотел меня иначе называть, как «индюшка горбатая», и всякую ложь на меня сочинял. «Я, говорит, по анатомии могу доказать, что у тебя желудок и потом спина, и больше ничего нет». Но господь же бог истинно милосерднейший, — он меня скоро от обоих от них освобождал: стал и этот Флердоранж тоже пить и пропадать и один раз допился до того, что поехал дачу нанимать и в саду повесился, а я ни с чем осталась и в люди жить пошла.

— В людях жить трудно.

— Ничего, у меня характер хороший: меня все любят.

— Ну, это вы только хвалитесь.

— Нет! правда.

— А ведь вот вы долго у Степеневых жили, а они вас за что-то выгнали.

— Извините, Аичка, меня никто и ниоткуда не выгонял.

— Ну, отпустили. Ведь это только так, для вежливости говорится, а все равно — выгон.

— И не отпускали, а я сама ушла.

— Через что же вы ушли? Ведь их дом хороший, как вы говорите — «выдающийся».

— Дом был самый очень выдающийся, да через одну причину начал портиться, и к тому же вот с этим местом вышло замешательство.

— С которым местом?

— Вот, где мы с вами теперь находимся в нашей сегодняшней «ажидации».

— Ну, так вот вы про это-то теперь и рассказывайте. Да только отсыдьте вы от меня, пожалуйста, подальше на кресло, а то и я боюсь, что в вас иголка.

— Вот какая ты мнительная! Но я, мой друг, теперь ведь уж тельца на себя собрала, и тельце у меня

— попробуй-ка — крепкое, просвирковатое!

— Не буду я к вам касаться: я очень мнительная. Подайте мне тоже сюда и мою сумочку с деньгами.

— Я ее хорошенько в комод прибрала.



— Нет, дайте, — я люблю деньги под подушкой иметь... А теперь сказывайте: отчего вы ушли из Степеневского дома.

#### IV

— Тут много сделал падеж бумаг.

— Вы разве на бирже обращались?

— Не я, а деверь у Степеневых, у Маргариты Михайловны. У них в семье ведь немного: всего сама она, эта Маргарита с дочерью, с Клавдинькой, да сестра ее, Афросинья Михайловна, — обе вдовы. Афросинья-то бедная, а у Маргариты муж был, Родион Иванович, отличный фабрикант, но к рабочим был строг до чрезвычайности, «Иродом» его звали — все на штрафах замаривал; а другой его брат, Николай Иванович, к народу был проще, но зато страсть какой предпринимательный: постоянно он в трех волнениях, и все спешит везде постановов вопросу делать. Сначала он более всего мимоноски строил, и в это время страсть как распустился кутить с морскими голованерами\*. Где он едет, там уж шум и гром на весь свет, а домой приедет — чтобы сейчас ему была такая тишина, какой невозможно. Жена у него была писаная красавица и смиренница, так он ее до того запугал, что она, бывало, если и одна сидит да ложечкой о блюдце стукнет, то сейчас сама на себя цыкнет и сама себе пальцем пригрозит и «дуру» скажет. Но он с нею все-таки ужасно обращался и в гроб ее сбил, а как овдовел, так и жениться в другой раз не захотел: сына Петю в немецкий пансион отдал, а сам стал жить с француженками и все мимоноски туда сплавил. Думали: кончен наш Николай Иванович «выпевающий», но он опять выплыл: пристал к каким-то в компанию делать постановов вопроса, и завели они подземельный банк, и опять стал таскать при себе денег видимо и невидимо и пошел большие количества тратить на польскую даму, Крутильду Сильверстовну. Ее имя было Клотильда, но мы Крутильдой ее называли, потому что она все, бывало, не прямо, а крутит, пока какое-то особенное ударение ко всем его чувствам сделает, и тогда стоит ей, бывало, что-нибудь захотеть и только на ключ в спальне запереться, а его к себе не пустить, так он тогда на что хочешь сделается согласен, лишь бы вслед за нею достигнуть.

— Вот это так и следует! — заметила Аичка.

— Да, да; это правда. Он для нее и по-французски стал учиться, а когда сын свое ученье кончил, он его из дома прогнал. Придрался к тому, что Петя познакомился с Крутильдиной племянницей, и отправил его с морскими голованерами навкруг света плыть, а Крутильда свою племянницу тоже прогнала, а та была молоденькая и милиатюрная, а оказалась в тягости, и бог один знает, какие бы ее ожидали последствия. А сам уж не знал, чем тогда своей Крутильде заслужить: ходил постоянно завит, обрит и причесан, раздушен и одет а-ля-морда и все учился по-французски. Стоит, бывало, перед зеркалом и по ляжкам хлопает и поет: «Пожолия, пополия». А тут вдруг кто-то в ихних бумагах в подземельном банке портёж и сделал. Страшная кучма народу толпучкой бросилась, чтобы у них свои деньги вынимать, и он до того не в себе домой приехал, что кричит:

«Запри скорей ножницы и принеси мне калитку!»

И еще сердится, что этих его слов не понимают!

Мы думали, что он с ума сошел, а это он испугался падежа бумаг и привез к нам какие-то пупоны стричь, да так всё и потерял и за эту стрижку под суд попался, но на счастье свое несчастным банкротом сделан. Ну, тут Крутильда его, разумеется, было бросила, а сестра, Маргарита Михайловна, взяла его к себе в службу и все дела ему поручила. Он же год и два простоял хорошо, а

потом опять где-то с голованерами встретился и как раз напосудился и так застотертил, что никак его нельзя было успокоить. Маленький удерж недели на две сделает, а потом опять ударит и возвращается домой с страшными фантазиями — называет одну сестру Бланжей, а другую Мимишкой... не понимает, где себя воображает. А станешь просить его, чтобы он вел себя степеннее, он сейчас: «Что такое? Как ты смеешь? Давно ли ты на домашнего адвоката курс кончила? А я на этих увертюрах с детства воспитан!» И всегда в это время у него со мной ссора, а потом после ужасно поладит и шутит: «Мармартын, мой Мармартын, получай с меня алтын», и опять до новой ссоры.

— А вы зачем встревали?

— Для золовок — золовки просили.

— Мало ли что! Разве можно мужчине препятствовать!

— Ах, мой друг, да как же ему не препятствовать, когда он в этих своих трех волнениях неведомо чего хочет, и ему вдруг вздумается куда-то ехать, и он сам не знает, куда ехать.

— Знает небось.

— Нет, не знает. «Мне, говорит, три волнения надоели, и я хочу от них к самому черту в ад уехать». Золовки пугаются и просят меня: «Разговори его!» Я и говорю: «Туда дороги никто не знает, сиди дома». — «Нет, говорит, Мармартын, нет; нужно только на антихристового извозчика попасть, у которого шестьсот шестьдесят шестой номер, — тот знает дорогу к черту».

И пристанет вдруг ко мне: «Уйдем, Переносица, со мною потихонечку из дома и найдем шестьсот шестьдесят шестой номер и поедem к дьяволу! Что нам еще здесь с людьми оставаться! Поверь, все люди подлецы! Надоели они!» И так уприсит, что даже со слезами, и жаль его станет.

— И неужели вы с ним ездили? — спросила Аичка.

— Да что, мой друг, делать. По просьбе золовок случилось, — отвечала Марья Мартыновна. — Как своя в доме у них привыкла, и когда, бывало, сестры просят: «видишь, какой случай выдающийся, прокатись с ним за город, досмотри его», — я и ездила и все его глупые шутки и надсмешки терпела. Но только в последний раз, когда окончательный скандал вышел, он меня взял насильно.

— Как же он мог вас насильно взять?

— Я в лавке себе сапоги покупала и очень занялась, а приказчик обмануть хочет и шебаршит:

«Помилуйте... первый сорт... фасон бамбё, а товар до того... даже Миллера». А он входит — и вдруг ему увертюра московского воспоминания в лоб вступила.

«Я, — говорит, — мать Переносица, ехал и тебя увидал и очень нужное дело вспомнил: отбери мне сейчас шесть пар самых дорогих сапожков бамбё и поедem их одной даме мерить». Я говорю: «Ну вас к богу!» — а он говорит: «Я иначе на тебя сейчас подозрение заявлю».

— Ишь какой, однако, прилипчивый!

— Ах, ужасный! совершенно вот как пиявок или банная листва — так и не отстанет. И чего ты хочешь: как его образумить? Во-первых, кутила, а во-вторых, бабеляр\*, и еще какой бабеляр! Как только напосудится, так и Крутильду забыл, и сейчас новое ударение к дамской компании, и опять непременно не какие попало дамы, а всё чтобы выдающиеся, например ездovщицы с аренды из цирка или другие прочие выдающиеся сужекты своего времени. А угощать благородно не умел: в каком хочешь помещении дезгардьяж наделает, всего, чего попало, натребует и закричит: «Лопайте шакец-а-гу!» Многие, бывало, обидятся и ничего не хотят или еще его «свиньей» назовут, но ему все

ничего, шумит:

«Глядите, инпузории\*, в пространство, что я могу: я не плотец Скопицын, который с деньгами заперся, а я со всеми увертюрами живу!» И сейчас и начнет свою первую обыкновенную увертюру: всю скатерть с приборами на пол, а платить — «убирайся к черту».

Того и гляди, что его когда-нибудь отколотят.

Я это и говорю его сестрам: «Как хотите, а, по-моему, его надо молитвою избавить от его бесстыдства», и Афросинья сейчас этому и обрадовалась; но он сам ни за что и слышать не хотел о молитвах.

«Постанов вопроса, — говорит, — такой: что я — порченный, что ли, чтобы меня отмаливать? Я в духовных делах сам все знаю: я пил чай у преосвященного Макариуса\* и у патриарха в Константинополе рахат-лукум ел, и после них мне теперь в молитвах даже сам Мономах\* не может потрафить».

Разумеется, надо было сразу не пощадить на самое выдающееся, но вдова Маргарита Михайловна Степенева хоть и богачка, а замялась в неопределенном наклонении. Я вашего капитала, разумеется, вполне не знаю...

— Это вам и не надо знать, — оторвала Аичка, — вы ведите свои истории, а меня врасплох не испытывайте.

— Конечно. Я только так к слову сказала, я и не любопытна, но все равно на то же вышло. У Маргариты Степеневой, как я вам сказала, есть дочь Клавдия, молодая и прекрасная этакая девица, собой видная, — красоты вид вроде англичанского фасона, но с буланцем... Воспитывалась она в иностранном училище для девиц женского пола вместе с одною немочкою и сделалась ее заковычным другом, а у той был двоюродный ее брат, доктор Ферштет; он, этот Ферштет, ее и испортил.

— Спутал? — спросила живо Аичка.

— Нет, — отвечала Марья Мартыновна, — спутать он ее не мог, потому что она бесчувственная, но разные пустые мысли ей вперил.

— Про что же?

— Да вот, например, насчет повсеместного бедствия людей. Сам он такой неслыханный оригиналец был, что ничего ему не нужно; так и назывался: «бессчетный лекарь». Ко всем он шел, а что ему кто заплатит или даже ничего не заплатит, это ему все равно, всех одинаково лечил и к бедным даже еще охотнее ходил и никогда не отказывался, а если дадут, так он сунет в карман и не считает, чтобы не знать, кто сколько дал. Вот он ее этим безразличием пленил и к такой простоте ее свел, что она обо всем образе жизни людей стала иначе думать, и все она начала желать чего-то особенного, чего невозможно и что всех огорчает.

— Непочтительная, что ли, стала?

— Нельзя даже понять — как она, почтительная или непочтительная, но только стало ей нравиться все удивительное. Вот этот ее подругин брат в ниверситете учился и весь свой курс вышел, а служить нигде не захотел. Все этим огорчились, а ей это хорошо.

— Отчего же он служить не пошел?

— Так рассудил, что на «службе, говорит, можно получать различные поручения, каких я делать не хочу, надо в пустяках для угождения много время тратить, и уважать, кого не стоит, и бояться, как

бы с дурной стороны не представили, — а я-де ни с кем ни в какую общественную историю попадать не хочу, а хочу лучше сам по своим понятиям людям услуживать». И так без всяких чинов и остался и всю зиму и лето в одной прохладной шинелишке ко всем бедным ходил, пока в прошлом году простудился и умер и семью как есть ни с чем оставил. Спасибо, немцы при похоронах сговорились между собою и все семейство устроили. По Клавдинькиному это все и превосходно, и Клавдинька как только с ним познакомилась, так сделалась от всех своих семейных большая скрытница и все начала евангелие читать и все читала, читала, а потом все наряды прочь и начала о бедных убиваться. Сидит и думает. Спросишь: «Что ты все думаешь? чего тебе недостает?» А она отвечает: «У меня все есть и даже слишком больше, чем надобно, но отчего у других ничего нет необходимого?» Ей скажешь: «Чего же тебе до этого? это от бога так, чтобы было кому богатым людям служить и чтобы богатые имели кому от щедрот своих помогать», — а она головою замахаёт и опять все думает и доведёт себя до того, что начнет даже плакать.

— О бедных? — воскликнула Аичка.

— Да!

— Что же, они ей лучше богатых, что ли?

— И я это самое ей говорила: чего? Если тебе жаль, поди в церковь и подай на крыльце. От сострадания нечего плакать. А она отвечает: «Я не от сострадания плачу, а от досады, что глупа и зла и ничего придумать не могу». Ну, и стала все думать и придумала.

Аичка сказала:

— Это интересно.

V

Стала она так жить, что начала не надевать на себя ни золота, ни дорогих нарядов, «Для чего мне это? — говорит, — это совсем ненужное и нисколько не приятно и не весело; да это даже и иметь стыдно».

— Отчего же ей это стыдно? — спросила Аичка.

— Для чего на ней дорогие вещи будут, когда на других и самых простых одежд нет.

— Так это же ведь нарочно так и делают, для отлички друг от друга.

— Ну да! как же иначе и разобрать, кто кот — кто повар? А для нее мать сделала тальму из фонгорской козы\* и морской травы цвета плющ покрыла, а она ее и не надела.

— Это почему?

«Стыдно, — говорит, — такую роскошь носить», — простое пальто ей больше нравится. Сшила себе сама черное кашемировое платье и белые рукавички и воротнички, и сама их моет и гладит, и так англичанкою и ходит, а летом в светленьком ситце, а что ей мать подарит деньгами или шелковье, она сейчас пойдет шелковье все продаст и все деньги неизвестно кому отдаст. Мать сначала, бывало, шутя спрашивает:

«Что же ты это, Клавдичка, на молитвы, что ли, всё раздаешь?»

«Нет, — говорит, — маменька, зачем же мне покупные молитвы? Это должен всяк для себя, а я просто так отдаю тем, которым трудно заработать сколько нужно или нечем за ученье платить, когда их детей исключают».

Мать ей и не перечила:

«Что же, — говорит, — отдавай, если хочешь: пусть за тебя бедные бога молят».

Но ей никак не потрафишь сказать.

«Я, — говорит, — маменька, это совсем не для того, а просто мое сердце не терпит, когда я вижу, как я счастлива, а люди живут бедственно».

«Вот потому-то и нехорошо, что ты все ходишь, эту бедственность смотришь: ты на них насмотришься и себя этим и расстраиваешь».

«Все равно, — говорит, — мама, если я на них хоть и смотреть не буду, так я знаю, что они есть и страдают и что я должна делать облегчение в их жизни».

«Ну, поступи членом в общество и ездь с хорошими дамами; я тебе столько денег дам, что можешь больше всех графинь и княгинь сыпать».

Не захотела.

«Я знаю, — говорит, — что нужно делать».

«Так скажи, что такое?»

Она молчит.

«Отчего же ты такая грустная и такая печальная? На тебя смотреть больно! Отчего это?»

«Это, мама, оттого, что я еще очень зла: я себя еще не переломила и борюсь».

«С кем, мой ангел?»

«С собою, мама. Не обращайтесь на меня внимания, мне скоро легче будет. Я как-нибудь перейду на свою сторону, теперь я не на своей стороне, — я себе противна».

Дядя Николай Иванович хоть шебарша\*, но он любил ее и говорит:

«Не приставайте к ней: она иначе не может; это в ней все от рояльного воспитания\*. Я знаю, что с ней надо сделать: надо дать ей развязку на веселых увертюрах».

Взвился и привез ей театральный билет в ложу на «Африканского мавра»\*.

Хоть и великий пост был, но для нее поехали. А она у них в театре и разрыдалась.

— Это еще чего?

«Я, — говорит, — вам говорила, что я не могу видеть дикие грубости! В чем вам представляется занимательность, я в том же самом вижу ужас и горе».

«Какой же ужас? В чем тут горе?»

«Как же не ужас: такой огромный, черный мужчина душит слабую женщину, и по какой причине?»

Николай Иванович говорит:

«Ты этого еще не понимаешь: за любовь от ревности самый образованный человек должен из вашей сестры всю кровь пролить».

«Неправда это, — говорит, — какой это образованный человек: это глупость, это зверство! Не должно это так быть, и не будет — я не хочу это видеть!»

И уехали из театра, и так и пошло с ней с этих пор во всех междометиях. Благородные удовольствия, театр, или концерты, или оперы, все это ей не нравится, а назовет к себе беспортошных ребятишек, даст им мармелад и орехов и на фортепианах им заиграет и поет, как лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки, и сама с ними утешена — и плачет и пляшет. Этакая красавица, а лягушкой прыгает!..

Видевши это, мать своего священника приходского на духу упросила поговорить с ней, и он на пасхе, когда приехал с крестом и как стал после закусывать, то начал Клавдиньке выговаривать:

«Нехорошо, барышня, нехорошо, вы в заблуждении».

А она ему бряк наотрез:

«Да, — говорит, — благодарю вас, благодарю, вы правы — и мне тоже кажется, что мы живем в большом заблуждении, но теперь я уже немножко счастливее».

«Чем же-с?»

«Тем, что я уже собой недовольна; я теперь уже не на своей стороне; я себя осуждаю и вижу, где свет».

Он говорит:

«Не много ли вы на себя берете?»

Она замялась и отвечает:

«Я не знаю».

А батюшка говорит:

«То-то и есть! А мы знаем, что на свете должны быть и богатые и бедные, и это так повсеместно».

Она отвечает:

«Это, к несчастью, правда».

«Так и нечего бредить о том, чтобы у нас все были равны».

А она вся стынет, и виски себе трет, и шепотом говорит:

«Бредят невольно».

А батюшка говорит:

«Да, бредят невольно, а, однако, и за невольный бред иногда далеко очутиться можно. Не идите против религии».

«Я не иду, я люблю религию».

«А зачем противного желаете?»

«Разве желать в жизни простоты и чтоб не было терзающей бедности противно религии?»

«А вы как думаете! Да Христос-то признавал нищих или нет?»

«Признавал».

«Так что же, вы ему хотите возражать?»

«Я вам отвечаю, а не Христу. Христос сам жил как нищий, а мы все живем не так, как он жил».

Священник встал и говорит:

«Так вот вы какая!» — и оборотился к матери ее и сказал:

«Маргарита Михайловна! Откровенно вам скажу, уважая вас как добрую прихожанку, я с вашей воспитанной дочерью поговорил, но, уважая себя, я нахожу, что с нею, сударыня, не стоит разговаривать. Вам одно остается: молиться, чтобы она не погибла окончательно».

Маргарита Михайловна, вся красная и в слезах, извиняется и просит у него прощенья, что это вышло как на смех.

Священник смягчился и отвечает:

«Мне, разумеется, бог с нею, пусть что хочет болтает, теперь этих глупых мечтаний в обществе много, и мы к ним наслышавшись, — но попомните мое слово, это новое, но стоит старого зла — нигилизма, и дочь ваша идет дурным путем! дурным! дурным!»

Маргарита Михайловна ему скорее красненькую, но он не подкупился, деньги под большой палец зажал, а указательным все грозит и свое повторяет:

«Дурным путем, дурным!»

Маргарита Михайловна сама рассердилась и, как он вышел, говорит ему вслед:

«Какой злока стал!»

А Клавдинька без гнева замечает:

«Вы, друг мой мама, сами виноваты, зачем вы их беспокоите. Он так и должен был говорить, как говорил».

«А кого же мне на тебя, какую власть просить?»

«Ну, полноте, мамочка, зачем на меня власть просить, чем я вам непокорна?»

«В очень во многом, в самом важном ты непокорна: грубить ты мне не грубишь, но ты не одеваешься сообразно нашему капиталу, чтобы все видели; не живешь, а все с бедностью возишься, а богатства стыдишься, которое твой дед наживал и за которое отец столько греха и несправедливости сделал».

А Клавдинька тут одною рукою мать за руку схватила, а другою закрыла свои вещие зеницы и, как актриса театральная, вдруг дрожащим голосом закричала:

«Мамочка! мама!.. Милая! не говорите, не говорите! Ничего не будем об отце, — так страшно вспомнить!»

«Разумеется, — царство ему небесное, — он был аспид, а я тебя сама избаловала, и зато думала, пусть хоть духовный отец тебя наставит».

«Мама! да вы сами меня лучше всех можете наставить».

«Нет, я не могу и не берусь!»

«Почему?»

«Мне тебя жаль!»

«Ну, вот я и наставлена. Вы меня пожалели и этим меня и наставили! Я ведь люблю вас, мама, и ничего не сделаю такого, что может огорчить мать-христианку. А ведь вы, мама, христианка?»

И глядит ей в глаза и ластит ее, и так и поладят, и все так, потихоньку, что только сама она с собой вздумает, то с матерью и сделает. Уж не только на представление «Мавра» отклонила смотреть, а даже в оперу «Губинотов»\* слушать — и то говорит: «Не надо, мама; песни хороши, когда их поют от чувства, для скорби или для веселости, а этак, за деньги, — это пустяки, и за такие трюизии стыдно деньги платить, лучше отдадим их босым детям». И мать сейчас с нею в этом согласна и улыбается: «На, отдавай, ты какая-то божия». А та ей с большим восхищением: «О, если бы так! если бы я в самом деле была божия!» — и вдруг опять со смехом шутя запоеет и запляшет: «Вот, — говорит, — вам даровой театр от моей радости». А мать уж не знает, как и навеселиться. И стало уж Клавдиньке такое житье, что делай все, что ей угодно, у матери и позволения не спрашивай.

«Я, — говорит, — верю, что она меня любит, и ничего такого, что меня огорчит, она не сделает».

Стала Клавдинька ходить в искусственные классы, где разные учебные моды на оба пола допущены, и пристряла к тому, чтобы из глины рожи лепить, и научилась. Все, все, какие только есть принадлежности, она возьмет и вылепит, а потом на фарфоре научилась красить и весь дом намусорила, а в собственную в ее комнату хоть и не входит, да и не позволяет, и прислуги даже не допускает. Намешает в тазу зеленой глины, вывалит все на доске, как тесто, и пойдет пальцами вылепливать.

— Это, однако, ведь трудно, — заметила Аичка.

— Ничего не трудно, — отвечала нетерпеливо Марья Мартыновна. — Обозначит сначала нос и рот, а потом и все остальные принадлежности — вот и готово. А фарфор нарисует, но без мужика

обойтись не может, — выжигать русскому мужику отдаст. А потом все эти предметы в магазины продавать несет. Мать и тетка, разумеется, сокрушаются: ей ли такая крайность, чтобы рукоделье свое продавать! При таком капитале и такие последствия! А выручит деньги — и неизвестно куда их отнесет и неизвестным людям отдаст. А тогда, знаешь, как раз такое время было, что разом действовали и поверхностная комиссия\* и политический компот\*. Кому же она носит? Если бедным, то я, бедная женщина, сколько лет у них живу, и от матери и от тетки подарки видела, а от нее ни на грош. Один раз сама прямо у нее попросила: «Что же, говорю, ты, Клавдичка, мне от своих праведных трудов ничего не подаришь? хоть бы купила на смех ситчику по нетовой земле пустыми травками». Так она и шутки даже не приняла, а твердо отрезала: «Вам ничего не надобно, вы себе у всех выпросите». Господи помилуй! Господи помилуй! Этакое бесчувствие! Правда, что я не горжусь, — если у меня нет, я выпрошу, но какое же ей до этого дело! Так же и против матери: в самые материны именины, вообрази себе, розовый цветок ей сорвала и поднесла: «Друг мой мама! говорит, вам ведь ничего не нужно». И вообрази себе, та соглашается: «У меня, говорит, все есть, мне только твое счастье нужно», — и целует ее за эту розу. А Клавдинька еще разговаривает: «Мамочка! что есть счастье? Я с вами живу и счастлива, но в свете есть очень много несчастных». Опять, значит, за свое, — даже в именинный день! Тут я уже не вытерпела и говорю: «Вы, Клавдинька, хоть для дня ангела маменькиного нынче эту заунывность можно бы оставить вспоминать, потому что в этом ведь никакой выдающейся приятности нет».

Но мать, представь себе, сама за нее заступилась и говорит мне:

«Оставь, Марья Мартыновна, и скажи людям, чтобы самовар отсюда убирали». А в это время, как я вышла, она дарит Клавдиньке пятьсот рублей: «Отдай, — говорит, — своей гольтепе-то! Кто они там у тебя такие, господи! может, страшно подумать».

— А вы как же это видели? — спросила Аичка.

— Да просто в щелочку подсмотрела. Но Клавдинька ведь опять и из этих денег никому из домашних ничего не уделила.

— Отчего же?

— Вот оттого, дескать, что «здесь все сыты».

— Что же, она это и правильно.

— Полно, мой друг, как тебе не стыдно!

— Ни крошечки.

— Нет, это ты меня дразнишь. Я знаю... Будто человеку только и надо, если он сыт? И потом сколько раз я ни говорила: «Ну, прекрасно, ну, если ты только к чужим добра, зачем же ты так скрытна, что никто не должен знать, кому ты помогаешь?»

«Добр, — отвечает, — тот, кто не покоится, когда другие беспокойны, а я не добра. Вы о доброте как должно не понимаете».

«Ну, прекрасно, я о доброте не понимаю, но я понимаю о скрытности: для чего же ты так скрываешься, что никакими следами тебя уследить нельзя, куда ты все тащишь и кому отдаешь? Разве это мыслимо или честными правилами требуется?»

А она, вообрази, с улыбкою отвечает:

«Да, это мыслимо и честными правилами требуется!»

«Так просвети же, — говорю, — матушка: покажи, где эти правила, в какой святой книжке



написаны?»

Она пошла в свою комнату — выносит маленькое евангелие.

— Всё с евангелием! — перебила Аичка.

— Да, да, да! Это постоянно! У нее все сейчас за евангелие и оттуда про текст, какого никогда и не слыхивала; а только понимать, как должно, не может, а выведет из него что-нибудь совсем простое и обыкновенное, что даже и не интересно. Так и тут подает мне евангелие и говорит:

«Вот сделайте себе пользу, почитайте тут», — и показывает мне строчки — как надо, чтобы правая моя не знала, что делает левая моя, и что угощать надо не своего круга людей, которые могут за угощение отплатить... И прочее.

Я знаю, что с ней не переспоришь, и отвечаю:

«Евангелие — это книга церковная, и премудрость ее запечатана: ее всякому нельзя понимать».

Она сейчас возражать:

«Нет, то-то и дело, что евангелие для всех понятно».

«Ну, а я все-таки, — говорю, — я евангелие лучше оставлю, а у батюшки спрошу, и в каком смысле мне священник про это скажет, так я только с ними, с духовными, и согласна».

И точно, действительно я захотела ее оспорить и пошла к их священнику. Я ему в прошлом году пахучую ерань услужила — у его матушки сера очень кипит, так листок в ухо класть, — а теперь зашла на рынок и купила синицу; перевязала ее из клетки в платочек и понесла ему, так как он приходящих без презента не любит и жаловался мне раз, что у них во всем доме очень много клопов и никак вывести не могут.

«Вот, — говорю, — вам, батюшка, синичка; она и поет и клопа истребляет. Только, пожалуйста, не надо ее ничем кормить, — она тогда с голоду у вас везде по всем щелям клопов выберет».

— Неужели это правда? — спросила Аичка.

— Что это?

— Насчет синицы, что она клопов выберет?

— Как же! всех выберет.

— Удивительно!

— Что ты, что ты! Это самое обыкновенное: бывало, наши откупные и духовные всегда для этого синиц держат. И священник меня поблагодарил.

«Знаю, — говорит. — Старинный способ! Перепусти синичку в клеточку, а когда она оглядится, я ее по комнате летать выпущу, — пусть ловит; а то нынче персидский порошок стали продавать такой гадостный, что он ничего и не действует. Во всем подмеси».

Я сейчас же к этому слову и пристала, что теперь, мол, уж ничего не разберешь, что какое есть. И рассказываю ему про Клавдюшины выходки с евангелием и говорю:

«Неужто же, — говорю я, — в евангелии действительно такое правило есть, что знакомства с значительными людьми надо оставить, а все возись только с одной бедностью?»

Он мне отвечает:

«А ты слушай, дубрава, что лес говорит; они берутся не за свое дело: выбирают сужекты, а не знают, как их понять, и выводят суетная и ложная».

«А вы отчего же, — спрашиваю, — о таких ихних ложных сужектах никому не доводите?»

«Доводили, — говорит, — матушка, и не раз доводили».

«Так как же они смеют все-таки от себя рассуждать и утверждать все свое на евангелии?»

«Такое уж стало положение; ошибка сделана: размножены книжки и всякому нипочем в руки дадены»,

«И зачем это?»

«Ну, это долго рассказывать. Раньше негодовали, что слабо учат писанию, а я и тогда говорил: «учат хорошо и сколько надо для всякого, не мечите бисер — попрут»; вот они его теперь и попирают. И вот, — говорит, — и пошло — и неурожай на полях и на людях эта непонятная боль — вифлиемция\*».

Словом, очень хорошо говорил, но помощи не подал. Даже и побывал у них после этого, но, прощаясь с нею, сказал только:

«Пересаливаете, барышня, пересаливаете!»

А она вскорях и еще лучше сделала: взяла да и пропала.

— Так совсем и пропала? — удивилась Аичка.

— Нет, прислала матери депеш, что у нее одна бедная подруга заболела в черной оспе, и у нее престарелая мать, и за ней никто ходить не хочет, так вот доктор Ферштет и взялся лечить, а наша Клавдичка ее навестила и осталась при ней сестрой милосердной ухаживать, а домой депеш прислала, у матери прощения просит, что боится заразу занести.

Аичка вздохнула и сказала:

— Поверьте, она испорчена.

— Да, все может быть; а поговори с ней, так у нее опять и это тоже будто по евангелию. А сколько мать перемучилась — рябая или без глаз дочь вернется, — это ей ничего. И когда она благополучно вернулась, то опять просили священника с нею поговорить, и он ей опять сказал: «Пересаливаете! жестоко пересаливаете». А она ему шутит:

«Это лучше; а если соль рассолится — это хуже. Тогда чем ее сделать соленою?»\*

Но священник ей на этом хорошо осадил:

«Тексты, — говорит, — барышня, мало знать, — надо знать больше. Рассаливается соль не наша, которую все ныне употребляют, а слабая соль палестинская; а наша соль, елтонка\*, крепкая — она не рассаливается. А вот у нас есть о соли своя пословица: что «недосол на столе, а пересол на спине». Это бы вам знать надобно. Недосоленное присолить можно, а за пересол наказывают».

Но она хоть бы что, весь страх потеряла.

Тогда я говорю ее матери:

«Ее простой священник ничего и не может пристрастить, это очевидно; на нее теперь надо уж что-нибудь выдающееся». — И упоминаю про «здешнего»\*.

А сестра ее Ефросинья и себя не слышит от радости и много стала рассказывать, что в здешнем месте бывает.

«Попробуем, — говорю, — обратимся, пригласим, кстати и для Николая Ивановича тоже ведь это очень хорошо, для его воздержания».

Но Маргарита Михайловна как-то замялась и что-то, вижу, утаивает и неправильно отвечает.

«В моем горе, — говорит, — с нею никто не поможет».

«Отчего это не поможет?»

«Оттого, что она ведь и сама все руководит себя по евангелию».

«Полноте, пожалуйста, — говорю, — у вас это в душе отчаяние, а отчаяние — смертный грех. Другое дело, если вам жаль денег; так ведь ему нет положения, сколько денег давать, а сколько дадите, да и то он себе ведь совершенно ничего не берет, даже ни малости, а всё для добрых дел, — так ведь Клавдия Родионовна и сама добрые дела обожает».

«Не о деньгах, — говорит, — а...»

«Хлопоты, что ли?»

«И не хлопоты, а какую же веру он у нас встретит?.. вот с чем совестно: ведь не только Клавдинька, а и деверь Николай Иванович — он в церковь ктиторм\* только для ордена пошел, а о своем воздержании он молить и не захочет».

«Да, голубчик мой, ведь на это же средство есть: мы ему ведь и не скажем, что о нем молятся: мы дадим вид, будто это для Клавдиньки».

«А Клавдинька еще хуже обидится».

«А мы и от нее скроем; ей мы скажем, что это для дяди».

«Вот все, значит, так и начнется у нас обманом, и будет ли это угодно?»

«Что же такое? Да, сначала будет будто немножко обман, а кончится все в их пользу».

Маргарита стала соглашаться, а я кую железо, пока горячо, и предлагаю, что сама готова съездить и все в здешнем месте уладить.

«Я, мол, найду выдающихся лиц, которые все знают, и съезжу, и приглашу, и в карете навстречу ему выеду. Вам только и хлопот, что мне на расход выдать».

А она отвечает:

«Не о том речь, а что если он действительно все принадлежности-то в человеке насквозь видит, — так я боюсь и удивляюсь, как это вам не страшно. Или вы обе безгрешные?»

И я и сестра ее Ефросинья Михайловна стали ее успокаивать, что и мы не безгрешные, но что этого не надо бояться, потому что он хоть на что ни прозрит — все видит, но он все в себе и задержит, а на весь свет не скажет. Да, наконец, и какие же у вас особенные грехи?

А она говорит:

«Есть».

«Что же это за грех?»

«А я, — говорит, — и сама не знаю, а только всегда, когда что-нибудь против Клавди завожу, то это выходит дурно».

«Ну, это искушение. А еще что ж?»

«А еще вон деверь Николай Иванович в безбраке с Крутильдой живет и для угождения ей законного сына Петю от себя выгнал. Я его жалею конфузить».

«Матушка, — говорю, — да ведь это же он для женского угождения! Ведь это же влюбленные мужчины и все над детьми своими подлости делают, — это такие невыдающиеся пустяки!»

«Нет, это, — говорит, — не пустяки, чтоб свое дитя прогнать. Я постоянно того и гляжу, что у Клавдиньки с дядею за его несправедливость с Петей может самый горячий скандал выйти».

Я поняла, что она умом всюду вертится и боится того, чтобы не обнаружилось, что в ее дорогой Клавдиньке заключается; но в этот раз я на своем не настояла: не поспел еще тогда час воли божией. Заботилась она опять, чтобы Клавдию развлекать: пробовала опять брать ложи на «Губинотов» и Бурбо\* слушать, но из сил с нею выбилась и говорит мне: «Милый друг наш, Марья Мартыновна, мы

тебя за свою семьюнку считаем и к тебе прибегаючи: ты бы пустилась раз подсмотреть, куда она ходит, и кому свои деньги отдает, и отчего удовольствий никаких не желает».

Я говорю: «Извольте, я для вас готова».

И после этого сразу же, как только Клавдинька со двора, и я сейчас за нею, как полицейский аргент, и все издали. Она пешком — и я пешком, она на гонку\* — и я в следующем агоне\*, она на извозчика — и я тоже, но из глаз ее не выпускаю. Раз, два, три таким манером за ней погонялась и, наконец, выследила, что чаще всего она проникает в бедный домик, и в одну квартирку юркнула с свертками. Я сейчас к дворнику, дала ему на чай и стала расспрашивать: кто в этой квартирке живет? Говорит: «Одна бедственная старушка обитает». — «Кто же к ней ходит?» — «Приходят, говорит, одна барышня да племянник ейный». — «Молодой, спрашиваю, племянник?» — «Молодой!» — «И вместе сходятся?» — «Бывают и порознь, бывают и вместе».

Поймала голубку!..

— Ее вы поймали, а меня не жмите; я вам сказала, что хоть вы и просвирковатая, а я вашей иголки боюсь, — отозвалась с усиленной полусонной оттяжкой Аичка.

— Ах ты, приятненькая! Дай мне только хоть твое мармеладное плечико-то поцеловать...

— Ни за что на свете! мои плечи не для таких поцелуев созданы. Продолжайте рассказывать.

VI

Взворотилась я домой к Степеневым и, как умела, все им передала.

— Ну, да уж, я думаю, вы сумеете!

— Конечно, сумела. Парень с девкою такой выдающейся у старухи сходятся, — что тут еще угадывать, чем они занимаются?

Я, впрочем, — не думай, — я не матери, а только тетке Ефросинье Михайловне сказала, а она вспомнила, что у них мать была раскольница и хоть по поведению своему была предпочтенная, но во всех книгах у своего же дворника «девкой» писалась, то ей и стало Клавдию жалко, и она дала мне тридцать рублей и просила:

«Молчи, друг мой Мартыновна, никому об этом грандеву\* не рассказывай: тайно бо содеянное — тайно и судится, Ежели это уже сделалось, то пусть погуляет, ее фигура милиатюрная, ничего не заметно будет, а мы тем часом ей жениха найдем. Тогда уж она не станет капризничать».

Стала тетка Ефросинья Михайловна ходить по свахам, Клавдиньке женихов выспрашивать, и успех был очень порядочный, даже, можно сказать, выдающийся; но она, вообрази себе, кто ни посватает, обо всех один ответ:

«Я не знаю его образ мыслей; нужно, чтобы мы были друг другу по мыслям».

Вот ведь у них — не то чтобы как следует человек по своему роду или по капиталу подходил, или по наружности личности нравился, а у них чтобы себе по мыслям добирать!

А потом вдруг сама объявляет, что ей по мыслям пришел Ферштетов родственник, доктор.

Мать-то Маргарита — полная — как услышала это, так и бряк с ног, села на пол.

Клавдинька ее поднимать, а она приказывает:

«Оставь!.. Убивай меня здесь! Он из немцев?»

«Да, мама».

«А какой он веры?»

«Реформатор».

«Что такое еще за реформатор, с кем родниться приходится?»

Дядя же Николай Иванович был подвыпивши и говорит:

«Реформаторы, это я знаю: это те самые, которых вешают».

«Господи!»

А Клавдинька обернулась на него вполоборота и говорит:

«Перестаньте, дяденька, мою мать тревожить и себя стыдить. Реформатская церковь есть».

Николай Иванович говорит:

«А это другое дело, но постанов вопроса такой: я, как выдающийся член в доме и патриот, желаю, чтобы ты выходила за правильного человека настоящей православной веры».

А она отвечает:

«Ну, полно вам, дядя, что́ вы за богослов! вы так говорите, а сами и никакого православия отличить не можете».

«Нет, это ты лжешь! я старостой был и своему батюшке даже набрюшник выхлопотал».

Тогда Клавдюшенька ласково его потрепала и говорит:

«Вот, только-то всего вы и знаете, как набрюшники выхлопатывать. Встаньте-ка лучше с этого табурета да подите велите себя обчистить, а то вы все глиною замарались».

Николай Иванович ушел, и все покончилось, но на другой день опять приходит к ней в высшем градусе, и видит кругом рожи с рожками да с козлиными ножками, и опять ей начал говорить:

«Когда это можно было ждать, чтобы девушка, наследница купеческого рода, и этакое уродство лепила! На что они кому-нибудь, эти болвашки?»

А она нимало не злобится и говорит:

«Вы мне что-нибудь другое закажите, я вам по вашему заказу другое сработаю».

Дядя говорит:

«Я согласен и могу тебе бюстру заказать, но только божественное».

«Закажите».

«Сделай моего ангела Николу, как он Ария в щеку бьет\*. Я прийму и заплачу».

«Лучше сделайте, как он о бедных хлопотал или осужденных юношей от казни избавил».

«Нет, этого я не могу. Я сам бедным подаю и видел, как казнят... Это тоже необходимо надобно...

Их священник провожает... А ты представь мне, как святитель посреди собора Ария по щеке хлопнул».

Сейчас и пошел у них новый спор, пошел и о казни и о пощечине, и Клавдинька в конце говорит:

«Я этого не могу».

«Почему? Разве тебе не все равно?»

«Во-первых, мне это не равно, потому что хорошо то работать, что нравится, а мне это не нравится; а во-вторых, слава богу, теперь известно, что этой драки совсем и не было».

Николай Иванович сначала удивился, а потом и стал кричать:

«Не смей этого и говорить!.. Потому что это было, да, было! Он его при всех запалил».

А Клавдия говорит:

«Нет!»

Дядя говорит:

«Ты это только для того со мной споришь, чтобы мне досадить, потому что я его уважаю».

А Клавдия отвечает:

«А мне кажется, что я его уважаю больше, чем вы, и хочу, чтобы и вы то знали, за что его уважать должно».

И чтобы спор порешить, Николай Иванович вздумал ехать ко всеобщей, а оттуда к какому-то профессору, спрашивать у него: было ли действие с Арием? И поехал, а на другой день говорит: «Представьте, я вчера с профессором на бляярде играл и сделал ему постанов вопроса об Арии, а он действительно подтверждает, что наша ученая правда говорит, — угодника на этом соборе действительно совсем не было. Мне это большая неприятность, со мной через это страшный перелом религии должен выйти, потому что я этот факт больше всего обожаю и вчера как заспорил, то этому профессору даже бляярдный шар в лоб пустил; теперь или он на меня жалобу подаст, и я должен за свою веру в тюрьме сидеть, или надо ехать к нему прощадны просить. Вот какая мне катастрофа от Клавдии сделана!»

Сел и зарыдал.

Тут Ефросинья Михайловна за него вступилась и говорит сестре:

«Как ты себе хочешь, Маргаритенька, а что же это такое в самом деле, что от Клавдюши уже все плачут; теперь и мне в твоём доме жутко, хоть со двора беги».

Тогда и Маргарита согласилась и ко мне обращается:

«Съезди, — говорит, — пожалуйста, Мартыновна, и пригласи».

Я отвечаю:

«И давно бы так: благо теперь такой выдающийся случай, что окончательно все принадлежности можно спутать, так что из них никто и не разберет, для кого это делается: Николай Иванович будет думать, что это для Клавдиньки, а Клавдинька пусть думает, что для Николая Ивановича».

И Маргарита и Ефросинья меня расцеловали.

«Ты, — говорят, — у нас умница, прокатись, милая, и все как должно обделай, чтобы мне без хлопот, только деньги выдать».

«Извольте, но только напишите приветственное письмо от себя и от Николая Ивановича, как от выдающегося члена фамилии, чтобы мне было с чем приехать приглашать. Без этого невыносимо».

Они согласились, но только вышло затруднение, кто это письмо напишет, потому что старухи пишут куриляпкою и своего руки подчерка совестятся, а у меня те, ша и ша, те всегда в один вид сливаются, и в другой раз смысла не выходит. Да и не знаем, как ему надо подписывать: просто его высокопреподобию или высоко-оберпреподобию.

Вздумали: позовем Клавдиньку, — она больше всех катехизис учила и должна все формы духовного обращения знать.

Но только попросили Клавдиньку, чтобы пришла из своей комнаты письмо написать, с нею сейчас опять сразу же неприятность готова: пришла, села и перо в руки взяла, а как только узнала, к кому, — опять перо положила и руку вытерла и встала.

Мать спрашивает, что это значит, а она извиняется:

«Я, — говорит, — мама, не знаю, как к этим господам писать принято, а потом, мне кажется, что если позволите сказать вам мое мнение, то мне кажется, зачем призывать лицо из такой отдаленности, а своих ближних лиц этого звания устранять. Ведь они все одно и то же могут исполнить, зачем же обижать ближних?»

Старуха и задумалась.

Ну, я вижу, что это пойдет опять множественный разговор в неопределенном наклонении, и скорей перебила:

«Оставьте, — говорю, — я слетаю в меховой магазин на линию, там всегда ажидацию сбивают и должны знать, как к нему письма писать!» — и полетела.

Там сразу написали, и я к Николаю Ивановичу понеслась, чтобы он подписал.

— Вот хлопотунья вы! — протянула Аичка.

— Да, внутри себя с иголкой... я уж всегда такая развязная и живая. Но представь ты себе... я не знаю, ты веришь или не веришь в искушения?

— Как же, верю, а в другой раз не верю.

— Завсегда верь; я всегда верю, и они, как нарочно, бывают, когда человек к вере близится. Так и тут, вообрази, что случилось!..

Николая Ивановича я в их магазине не застала. Приказчики говорят, что он опять в угаре и пошел с галантерейными голанцами в «Паганистан»\* завтракать и шары катать. Я в «Паганистан» и посылаю с швейцаром письмо, чтобы Николай Иванович подписал, а он уже всех голанцев разогнал и один сидит, черный кофе с коньяком пьет и к себе меня в кабинет требует. Я вхожу и вижу, что у него рожа бургонская\*, потому что он не только от вчерашнего еще не прохладился, а на старые дрожжи еще много и нового усердия подбавил. Стал читать и ничего уже не разбирает. Держит листок и сам спрашивает меня:

«Про что это здесь настроено это к Корифеям послание\*, — я ничего не понимаю».

Я говорю:

«Это в вашем же желании, о выдающемся благочестии, чтобы Клавдиньке дать полезную назидацию».

А он отвечает:

«По мне, теперь все равно, если Арию плюхи не дано, так не надо никому и назидации».

А я и ухватилась за это.

«Вот, — говорю, — мы в этом же и сделали политический компот, — чтобы ее, нашу ученую, и упрровергнем и покажем ей плюху во всю щеку румянца. Так и так: я вот кого на нее привезть хочу, и только за вами дело стало, чтобы вы письмо подписали и встретить поехали. Вам это нетрудно будет надеть на себя на один час свои принадлежности».

«Нет, — говорит, — теперь такой постанов вопроса, что я в выдающемся роде расстроен, у меня в подземельном банке самые вредные последственные дела вскрываются, и если еще узнают ко всему этому, что я особенное благочестие призываю, то непременно подумают, что я совсем прогорел, и это мне всего хуже. А ваш женский политический компот я и знать не хочу, а поеду, все остальное промотаю и на сестру векселей напишу».

Я вижу, что он в таком безрассудке, и домой его зову, но он и слышать не хочет.

«Да ты, — говорит, — что это... давно, что ли, на домашнего адвоката экзамен сдала? так я тебя сейчас же или по-домашнему побью, или такой постанов вопроса сделаю, что позову из общей залы политического аргента и тебя за компот под надзор отдам. А если хочешь всего этого избавиться, то отправимся со мною вместе, заедем в родительный дом».

«Зачем, — говорю, — батюшка, зачем в родительный дом?»

«Мы там захватим с собою одну знакомую дежурную акушерку, Марью Амуровну».

«Да что ты, осатанел, что ли! мне не нужно дежурную акушерку».

Но он ведь такой неотстойчивый, что как прицепится, то точно пиявок или банная листва. К чему он затеял эту акушерку, и пошел ее выхвалять так, что я даже понять не могу, на каком она иждивении.

«Марья Амуровна, — говорит, — в акушерках состоит только для принадлежности звания, а она живет в свое удовольствие; поедем с ней в отель «Лангетер»\* и будем без всего дурного антруи\* клюко\* пить, и она будет одна танцевать».

«Так зачем же, — говорю, — антруи ехать? Я не хочу, вдвоем поезжайте».

«Нет, — говорит, — теперь к женскому полу кто вдвоем ездит — гонение; Марье Амуровне могут быть неприятности, а ты будешь при нас вроде родственной дамы за ширмой торчать. Я тебе за это на караганчатом меху\* тальму дам».

И как пристал, как ущемил меня: едем и едем антруи, так и не отпал, как пиявок, и я должна была ехать, и все его безобразия видела; до самого утра они короводились, а я за ширмой спала, пока акушерка дальше и больше начала с ним спорить, и он с нею поссорился, и она одна уехала. Тогда я насилу могла уговорить его выйти и в карету сесть. Но и то дорогой все назад рвется — говорит:

«Мне еще рано, ведь я полунощник».

Я говорю:

«Какая же теперь полночь! Посмотри на часы-то на каланче: ведь уж утро!»

А он отвечает:

«Эти часы неверно стрелку показывают, а я по тому сужу, что фимиазмы\* слышу: это, значит, ночные фортепьянщики с ящиками едут — стало быть, до утра еще далеко».

И вдруг ему показалось, будто ему в «Лангетере» чужую шляпу надели. Никак его не могу переспорить, что на нем его собственная шляпа, которая и была.

«Нет, — говорит, — я отлично помню, что у меня был надет круглый цимерман, а зачем теперь на мне плоский цилиндр? Это, может быть, какой-нибудь ваш политический компот действует, а с меня так монументальную фотографию снимут, и я потом должен буду за тебя или еще за какую-нибудь другую фибзу отвечать и последую в отдаленные места, даже и самим ангелам неведомые... Нет, ты меня в компот не запутаешь. Я тебе сам политический процесс сделаю и буду кричать: «Спаси, господи...»

И начал городского звать.

Чтобы его утихомирить, я уже и говорю ему:

«Черт с тобою совсем, возвращайся в «Лангетер», я на все ваши виды согласна».

Он и успокоился.

«Хорошо, — говорит, — вот это я люблю. Мы теперь и не будем возвращаться, а поедем с тобою на танцевальный вечер. Этих хозяев осуждают, для чего к ним честные дамы не ездят, — ну, вот я к ним тебя и привезу вместо честной дамы. Там до позднего утра безобразить можно... Но только смотри — дома об этом типун... ни слова!»

«Да уж разумеется, — говорю, — типун. Что мне за радость про свой срам-то рассказывать, куда ты меня, несчастную, возишь».

А он ласковый сделался и говорит:

«А ты, если хочешь покойна быть, — не думай ничего дурного: это место общественное, тут



пальтошников\* нет, а разная публика и при ней популярные советники\* и интригантусы; мы здесь в своей компании всю анкогниту видим и называем себя «дружки». Три мускатера\*: Тупас, Тушас и Туляс, а я у них командир. Тупас — это веселый голанец; а Тушас химиком с завода считается, но он не химик, а вот именно самый популярный советник, он присоветует; а Туляс — интригантус, он всех и спутает. Ему стоит чью-нибудь карточку показать — и все сделает, познакомится, спутает и в руки доставит».

«Господи! да это насчет чего же?»

А он отвечает:

«Насчет чего хочешь и не хочешь».

«Жалованье большое вам идет?»

«Аргенту, — говорит, — и интригантусу идет, а я по своему благородному желанию из чести поступил, а теперь назад вон выйти уже невозможно».

Публика же в этом их обществе всё оказались больше одни кукоты да кукотки\*, и кукоты все неглиже, как попало, а кукотки одни разодеты в шелковье, а некоторые скромно, будто в трауре, и все подходят к Николаю Ивановичу, как знакомые, и кричат: «Командир», «Командир», и меня нисколько не конфузятся, а руки подают и зовут вежливо: «мете ву пляс», то есть значит: садитесь на место. А ему — вообрази, как только он увидал аргента и интригантуса, — опять постанов вопроса о компоте в голову лезет, и он мне шепчет на ухо:

«Ты, пожалуйста, пей и не отказывайся, а то у меня этот интригантус теперь перед глазами вертится, и если я на тебя рассержусь, то я ему могу про компот рассказать, а он после, пожалуй, и меня самого запутает».

Я ни жива ни мертва. Думаю: пьяный все сказать может, — но пью поневоле и не знаю, чем дело кончится. А компания у них ужаснейшая: голанец этот как арбуз комышенский, а аргент и интригантус сами небольшие, но с страшными усами, а Николаю Ивановичу и всех еще мало, и он набирает еще в компанию кого попадя и мне рекомендует: «Этот актер — я его, говорит, люблю: он в том состарился, что при столах всех смешит». И целует его: «Пей, мамочка! — Этот сочинитель: он мне к именинам нежную эпитафию напишет. Этот — художник: он мне план садовой керамиды\* Крутильде на дачу сделает, а этот в опере генерал-бас, лучше Петрова\* петь может...» А потом на минуту мужчин бросит и к траурным кукоткам по-французски... да все плохо у него выходит, все вставляет: «коман-дир»\* да «коман-дир», а те ему — «тре-шепетё» да «тре-журавлё», и веерами его хлопают, а он тыр-тыр-тыр, и перметё муа сортир\*, и заикнется, и спятится. И опять скорей по-русски чего-нибудь требует: всё ему подавайте, что нужно и что никому ненужно, а французинки только — «пасе» да «перепасё», не столько едят, сколько ковыряют, а фицианты всё еще тащат и расковыренное назад уносят, а за буфетом втройне счет приписывают, а он знай командует: «Клюко, корнишон, брадолес, цыгар таких да цыгар этаких!» И все «пасё»\* да «перепасё» и от еды отпали, а только пьют, чокаются и заспорили про театральных.

Актер стал генерал-баса упрровергать и говорит, что против Петрова ему никогда не спеть, и такую Ругнеду\* развели, что все кукотки ушли, а маскатеры уж один другого крошат как попало и всё ни во что не считают. Кто-то кричит уже, что про Петрова совсем и вспоминать не стоит. А другой перекрикивает: «Я Тумберлика\* всем предпочитаю». А третий: «Я Кальционари и Бозю слушал\*...» «А я помню еще как Бурбо выходила в «Трубедуре»\*, а Лавровская\* в «Волшебном стрельце»\*. Тут

кто-то про Лавровскую сказал: «А зачем она когда поет, то глазами моргает?» А Николай Иванович за нее заступился и закричал, что он всех выше одну Лавровскую обожает, и стал ее представлять: заморгал веками и запел женским голосом:

Медный конь в поле пал!

Я пешком прибежал!\*

А одному военному это не понравилось, и он говорит:

«Лучше нашу кавказскую полковую», — и завел:

В долине Драгестанна

С винцом в груди

Заснул отрадно я\*.

А другие разделились и хватили подтягивать кто кому попало, и завели такую кутинью\*, что стало невозможности, и вдобавок вдруг у Николая Ивановича с официантами возъярился спор из-за цыгар, и дело до страшного рубкопашного боя угрожается. Он спрашивал какое-то «Буэно-Густо», и палили, а когда ящик потребовал, то оказалась надпись «Гуэно-Бусто», или будь оно пусто, а Николай Иванович взял все цыгары разломал, и расшвырял, и ногами притопал. Это уж такой обыкновенный конец его поведения, чтобы сделать рубкопашную.

Тогда сейчас, чтобы этого не допустить, явился немец или еврей из-за буфета и начинает его стыдить по-французски, а он, когда до денег дошло, уже не хочет затруднять себя по-французски, а высунул вперед кукиш и по-немецки спрашивает:

«Это хабензи гевидел?\*

«То есть, значит, вы не хотите платить?»

«Нет, — говорит, — подавай мне счет!»

А когда подали счет, так он не принимает:

— Тут, — говорит, — все присчитано.

Проверяет.

— Что это писано: «салат с агмарами\*» — я это не требовал... «Огурцы капишоны\*» — не было их.

Еврей ему уж по-русски говорит:

«Помилуйте, как же не было! Ведь этак можно сказать, что и ничего не было подано».

«Нет, — говорит, — этак со мной не разговаривать! Я что видел на столе, за то плачу. Вот я вижу, что на столе лежит рыба-фиш, — и изволь бери за нее шиш, я за нее плачу, а суп братаньер здесь не был, и ты его приписал, и я не плачу.

«Да какой суп братаньер?.. про него и не писано».

«Ну, все равно, ты другое приписал». — И так заспорил — что хочешь с ним делай, он ни гроша не платит.

Я говорю этому хозяину:

«Сделайте милость, теперь его оставьте... ведь это он только теперь этак... а завтра пришлите ему в кладовую счет... он вообще господин очень хороший».

А еврей отвечает:

«Мы знаем, что он вообще господин очень хороший, но только зачем он такой дурной платит!»

Однако выпустили. Думаю, наконец с миром изыдем, ан нет: в швейцарской захотел было что-то дать швейцару из мелочи и заспорил:

«Не мои калоши, — говорит, — мне подали: мои были на пятаках с набалдашниками!»

Шумел, шумел и всю мелочь опять назад в карман сунул, и ничего не дал, и уехал.

На воздухе дремать стал и впросоньях все крестится и твердит: «сан-петь, сан-петь».

Я его все потрогиваю — как бы он не умер, — он и очнулся.

«Я, — говорю, — испугалась, чтобы ты не умер».

«И я, — говорит, — испугался: мне показалось, что у меня туз и дама сам-пик и король сам-бубен...»

«Эге! — думаю, — батюшка: вон ты уж как залепетал!»

«Высуньтесь, — говорю, — вы, Николай Иванович, в окошко — вам свежесть воздуха пойдет».

Он высунулся, и подышал, и говорят:

«Да, теперь хорошо... теперь уже нет фимиазмы. Значит, все фортепьянщики проехали... и вон мелочные лавочки уж открывают. Утро, благослови господи! Теперь постанов вопроса такой, что ты вылезай вон и ступай домой, а я один за заставу в простой трактир чай пить поеду».

Я говорю:

«Отчего же не дома пить чай?»

«Нет, нет, нет, — отвечает, — что ты за домашний адвокат, я за заставу хочу и буду там ждать профессора: я с ним теперь об Арии совсем другой постанов вопроса сделаю».

«А как же, — говорю, — письмо подписать?»

А он меня-к черту.

Я даже заплакала, потому что как же быть? Все, что я претерпела, значит, хинью пошло. Начинаю его упрашивать, даже руку поцеловала, а он хоть бы что!

«Не задерживай, — говорит, — вот тебе рубль, иди в мелочную лавку, пускай за меня лавочник подпишет: они это действуют».

А сам меня вон из кареты пихает.

Я и высела и вошла в лавочку. Лавочник крестится; говорит: «Первая покупательница, господи благослови», — а подписать за Николая Ивановича не согласился. Говорит: «Конечно, это дело пустое, но мы нынче полиции опасаемся и даже чернил в лавке не держим». На мое счастье тут читальщик вбежал, покислее квасу захотел напиться, и он мне совет дал вскочить в церковь к вынимальщику, который просвиры подписывает. Тот, говорит, подпишет. Он и подписал, да на что-то, глупец, ненужные слова прибавил: «Николай Степенев и всех сродников их».

Я этого тогда, спасибо, и не досмотрела.

Довольно с меня, намучилась, сунула письмо за лиф и домой пришла, и все поведенье его степенства сестрам рассказала, начиная с Марьи Амуровны, но под клятвою, и говорю:

«Теперь сами думайте, что с ним делать».

Маргарита Михайловна, однако, еще и тут не решалась, — все держалась наклонения неопределенного, думала, что для нее довольно того будет, если она у него доверенность назад отберет.

«Но впрочем, — прибавила, — если Клавдинька не откажется от своей жизни и простоты и чтобы за реформатора замуж идти, то я согласна: поезжайте и просите»

Позвали Клавдиньку.

«Клавдия! может быть, ты ночью обдумалась и не будешь стоять на том, что тебе Ферштетов брат по мыслям, тогда скажи, мы Марью Мартыновну и не пошлем».

А та со всегдашнею своею ласковостью отвечает:

«Нет, мамочка, я не могу это отдумать: он честный и добрый человек, и я его потому люблю, что могу с ним согласно к одной цели жизни идти».

«Какая же это цель жизни вашей: чтобы не столько о себе, как о других заботиться?»

«Да, мама, чтобы заботиться не только о самих себе, но и о других».

«Это, значит, чужие крыши крыть».

Тогда Маргарита Михайловна обратилась ко мне и говорит:

«В таком разе, Марья Мартыновна, поезжайте».

Тут я в первый раз видела, как Клавдинька себе изменила.

Скрытница, скрытница, однако покраснела и твердо заговорила:

«Мама! Если вы эту непонятную посылку делаете для меня, то уверяю вас... это ни к чему не поведет».

«Ничего, ничего! Пусть это будет».

«Да ведь, родная, из этого ровно ничего не выйдет!»

«Ну, это мы еще увидим. У людей польза была, и нам поможет. Поезжайте, Марья Мартыновна».

Клавдинька еще просить стала, чтобы оставить, но мать ответила:

«Наконец, что тебе за дело: я просто для себя желаю в выдающемся роде молиться! Надеюсь, я имею на это право?»

«Ну, как вам угодно, мама!» — ответила Клавдинька и ушла к себе своих лесных чертей лепить, а я отправилась творить волю пославшего и думала все здесь просто обхлопотать, вот как и ты теперь смело надеешься.

— Да вы про меня не беспокойтесь! — отозвалась Аичка. — Я смела и знаю, почему я могу быть смела: я капиталу не пожалею, так кого захочу, того к себе, куда вздумаю, туда в первом классе в купе и выпишу.

— Ну, я не знаю, сколько ты намерена не пожалеть, но, однако, и с капиталом иногда шиш съешь.

— Полноте, с капиталом-то... всякому можно сказать: «хабензи гевидел».

— Нет, как ототрут, так и не «гевидишь».

— Как же это меня от собственного моего капитала ототрут?

— Да, да, да! так и я тогда поехала, так и мне тогда все казалось очень легко.

— А отчего же тяжело-то сделалось?

— Оттого, что ни один человек на свете не может себе всего представить, что может быть при большой ажидации.

— Да вы это не закидывайте, чтобы услугу свою выставлять, а рассказывайте: что же такое было с вами самое выдающееся?

— «Хабензи» увидишь.

— Ну... послушайте... вы этак со мною не смейте... Я это не люблю.

— А отчего же?

— А оттого же, что вы моих шуток не повторяйте, а рассказывайте мне: как вы сюда приехали и что за этим начинается.

— Ну, начинаются басомпьеры.

— Вот и постойте: начинаются «басомпьеры» — что же это такое за басомпьеры?.. Вы, кажется, на

меня дуется? так вы не дуйтесь и тоже и не говорите сердитым голосом: я ведь при своем капитале ничего не боюсь, и я вас не обидела, а баловать, кто у меня служит, я не люблю. Говорите же, что же это такое басомпьеры?

— Люди так называемые.

— Вот и рассказывайте.

Бедная Марья Мартыновна вздохнула и, затаив в себе вздох наполовину, продолжала повествование.

## VII

— Начались мои муки здесь, — заговорила снова Марья Мартыновна, — с первого же шага. Как я только высела и пошла, сейчас мне попался очень хороший человек извозчик — такой смиренный, но речистый — очень хорошо говорил. И вот он видит, что мне здесь место незнакомое, кланяется и говорит:

«Пожелав вам всего хорошего, осмелюсь спросить: верно, вам нужно к певцу или в Ажидацию?»

Я даже не поняла и говорю:

«Что такое за певец, зачем мне к нему?»

«Он, — говорит, — все аккордом делает».

И это мне извозчик говорил очень полезное и хорошо, но я не поняла, что значит «аккорд», и отвечала:

«Мне нужно просто — где собирается ажидация»

Извозчик тихо говорит:

«Просто ничего не выйдет, а певец лучше вам устроит аккорд, так как он его сопровождающий и всегда у него при локте».

«Ну, — я говорю, — верно, это какой-нибудь аферист, а я с такими не желаю и тебя слушать не намерена».

«Ну, садитесь, — говорит, — я вас за двугривенный свезу в Ажидацию».

И привез меня сюда честно, но мне и здесь как-то дико показалось. Внизу я тогда никого не застала, кроме мальчика, который с конвертов марки склеивает. Спросила его:

«Здесь ли ожидают?»

Он шепотом говорит: «Здесь».

«А где же старшие?»

Не знает. И все, о чем его ни спрошу, все он не знает: видать — школенный, ни в чем не проговорится.

«А зачем, — говорю, — столько марок собираешь? Это знаешь ли?»

Это знает.

«За это, — отвечает, — в Ерусалиме бутыль масла и цибик чаю дают».

Умный, думаю, мальчишка — какой хозяйственный, но все-таки, чем его детские речи здесь слушать, пойду-ка я лучше в храм, посмотрю, не там ли сбивают ажидацию, а кстати и боготворной иконе поклонюсь.

Около храма, вижу, кучка людей, должно быть тоже с ажидацией, а какие-то люди еще всё подходят к ним и отходят, и шушукуются — ни дать ни взять, как пальтошники на панелях. Я сразу их так и приняла за пальтошников и подумала, что, может быть, и здесь с прохожих монументальные фотографии снимают, а после узнала, что это они-то и есть здешней породы басомпьеры. И между ними один ходит этакой аплетического сложения\*, и у него страшно выдающийся бугровый нос. Он

подходит ко мне и с фоном спрашивает:

«По чьей рекомендации и где пристали?»

Я говорю:

«Это что за спрос! Тебе что за дело?»

А он отвечает:

«Конечно, это наше дело; мы все при нем от Моисея Картоныча».

«Брысь! Это еще кто такой Моисей Картоныч и что он значит?»

«Ага! — говорит, — а вам еще неизвестно, что он значит! Так узнайте: он в болоте на цаплиных яйцах сидит — живых журавлей выводит».

Я ему сказала, что мне это не интересно, и спросила: не знает ли он, где риндательша?

Он качнул головой на церковь.

«А скоро ли, — спрашиваю, — кончат вечерню?»

«У нас нонче не вечерня, а всенощная».

«Не может быть, — говорю, — завтра нет никакого выдающегося праздника».

«Да, это у вас нет, а у нас есть».

«Какой же у вас праздник?»

«А право, — говорит, — в точности не знаю: или семь спящих дев, или течение головы Потоковы».

«Ну, — говорю, — я вижу, что хотя вы и возле святыни чего-то ожидаете, а сами мерзавцы».

«Да, да, — отвечает, — а вам, пожелав всего хорошего, отходи, пока не выколочена».

Я больше и говорить не стала, вошла в храм и отстояла службу, но и тут все замечаю, будто шепчут аргенты, и напало на меня беспокойство, что непременно как сунутся к боготворной иконе, так у меня вытащат деньги. Вышла я и возвратилась сюда и поместилась вот точно так же здесь, только в маленькой-премаленькой комнатке, за два рубля, и увидала тут в коридоре самых разных людей и стала слушать. Один офицер из Ташкента приехал и оттуда жену привез; так с нею ведь какое невообразимое несчастье случилось: они по страшной жаре в тарантасе на верблюде ехали, а верблюд идет неплавно, все дергает, а она грудного ребенка кормила, и у нее от колтыханья в грудях из молока кумыс свертелся!.. Ребенок от этого кумыса умер, а она не хотела его в песок закопать и получила через это род помешательства. И они, вот эти-то, желали, чтобы им завтра получить самое первое благословение и побольше денег. То есть, разумеется, не сама сумасшедшая этого добивалась, а ее муж. Этаким, правду сказать, с виду неприятный и с красными глазами, так около всех здешних и юлит, чтобы ему устроили получение, и всех подговаривает: «Старайтесь, — что бог даст — всё пополам». А его и слушать не хотят. Зачем делить пополам, когда всяк сам себе все рад получить! Ну, а я как денежного благословения у него себе просить не намерена, то по самолюбию своему и загордичилась — думаю: что мне такое? мне никто не нужен! Так все и надеялась своим бабским умом сама обхватить и достигнуть выдающейся цели своей аждации; но в ком сила содержится и что есть самое выдающееся, того и не поняла.

— А что же здесь самое выдающееся? — полюбопытствовала Аичка.

— Вот отгадай.

— Я не люблю отгадывать: впрочем, верно — благословение?

— То-то и есть: благословение, но какое? Всякий говорит «благословение», а что именно такое заключает в себе благословение, это не всякий понимает. Ты ведь священную историю небось

учила?

— Учила, да уж все позабыла.

— Как это можно! все позабыть это немисливо.

— Ну вот, а я забыла.

— Ну, вспомни про Исава и Якова\*. Их бог еще в утробе не сравнил: одного возлюбил, а другого возненавидел.

Аичка рассмеялась.

— Чего же ты, милушка, смеешься?

— Да что вы какие пустяки врете!

— Нет, извини, это не пустяки.

— Да как же, разве я не понимаю... в утробе ребенок ничего не пьет и не ест, а только потеет. В чем же тут причина, за что можно их одного возлюбить, а одного возненавидеть? Это только мать может ненавидеть, которая стыдится тяжелой быть, а бог за что это?

— Ну, уж за что возненавидел бог — об этом ты не у меня, а у духовных спроси; но первое благословение всегда бывает самое выдающееся. Яков надел себе на руки овечьи паглинки и первое выдающееся благословение себе и сцапал, а Исаву осталось второе. Второе благословение — это уже не первое. В здешнем месте уж замечено, что самое выдающееся — это то, где его раньше получают. Там и исполнение будет и в деньгах и от вифлиемции, а что позже пойдет, то все будет слабее. «Сила его исходяще и совещающе».

— Вот это я помню, что об этом я где-то учила, — вставила Аичка.

— Нет, а я хотя об этом и не учила, а взяла да свою записку сверху других и положила, но риндательша меня оттолкнула и говорит: «Пожалуйста, здесь не распоряжайтесь». Однако он мое письмо прочитал и говорит:

«Вы сами, или нет, Степенева?»

«Никак нет, — говорю, — я простая женщина».

Он перебил:

«Все простые, но ведь есть еще Ступины или Стукины».

«Нет, — отвечаю, — я не от тех, я от Степеневых. Дом выдающийся».

«Кто у них болен?»

«Никто, — отвечаю, — не болен: все, слава богу, здоровы».

«Так о чем же вы просите?»

Отвечаю:

«Я по их поручению: просят вас к себе и желают на добрые дела пожертвовать».

«Хорошо, — говорит, — я послезавтра буду, и ожидайте».

Я благословила и с первым отходом еду назад с аждацией. И на душе у меня такая победная радость, что никому я не кланялась и ничего не дала ни певцу, ни севцу, ни риндательше, а все так хорошо и легко обделала. Всем, кто вместе со мною возвращается, я как сорока болтаю: вот послезавтра он у нас первых будет, мне велел себя ждать с каретою. Расспрашивают: как моя счастливая фамилия? А я по своей простоте ничего дурного не подозреваю и всем, как дура, откровенно говорю, что моя фамилия ничтожная, а счастливая фамилия — это выдающиеся купцы Степенева. Тут еще спор вышел из-за того, что это — фамилия выдающаяся или не выдающаяся.

Только один повар вступился:

«Я, — говорит, — знаю фруктовщиков Степеневых, так те выдающиеся: я через них у генерала места лишился за то, что они мне фальшивый сыр подвернули».

А другие пассажиры совсем будто никаких Степеневых не знают, а я им сдуру и пошла все расписывать — совсем и в понятии не имею, что из этого при человеческой подлости может выйти. — А что же выйдет? — протянула Аичка.

— Ах, какой форт ангель вышел! Вдруг на меня напал ташкентский офицер и начал кричать: «Замолчите вы, пустозвонка! мне вас скверно слушать, вы меня раздражаете! Я этому человеку в его святость совсем не верю: я вот к нему со своею больною двенадцать рублей проездил, а он мне всего десять рублей поддал! Это подлость! Пьет из ушата, а цедит горсточкой; а его подлокотники в трубы трубят и печатают. Это базар!»

Все от его крика даже присмирели, потому что вид у него сделался очень жадный: жене он швырнул два баранка, как собачоночке, а сам ходит и во все стороны глаза мечет.

Люди тихо говорят: «Не отвечайте ему, — это петриот механику строит».

Но один лавочник его признал и пояснил:

«Никакой он, — говорит, — не петриот, а просто мошенник, и которую он несчастную женщину при себе за жену возит — она ему вовсе не жена, а с постоянного двора дурочка».

И точно, только что мы приехали и стали вылезать, к нему сейчас два городских подошли и повели его в участок, потому что эту женщину родные разыскивают.

Повздыхали все: ах, ах, ах! какая низость! какой обман! И подивились, как он ничего этого не прозрел! А потом испугались. Да и где можно все это проникать в такой сутолоке! И рассыпались все по своим домам.

Приезжаю и я прямо к Маргарите Михайловне и говорю ей: «Креститесь и радуйтесь, бог милость послал. Послезавтра на нашей улице праздник будет, и вас счастье осенит: я согласие получила, и утром мне надо ехать встречать его на ажидации».

Все тут обрадовались, и Маргарита Михайловна и Ефросинья Михайловна, и начали меня спрашивать: узнала ли я, чем его принимать и просить. Я говорю: «я все узнала, но не надо ничего особенно выдающегося, кроме чаю с простой булкой и винограду; а если откусать согласится, то надо суп с потрохами».

«А может быть, какого-нибудь вина превосходного?»

«Вина, — говорю, — можно подать только превосходной мадеры, но, самое главное, вы сейчас разрешите, кто поедет его встречать на ажидацию: вы ли сами, или я, или Николай Иваныч, если он в своей памяти. По-моему, всех лучше Николай Иваныч, так как он мужчина и член в доме выдающийся. Только если он теперь опять не с буланцем».

Решили, что Николай Иваныч и я вдвоем поедем. Как-нибудь уж его на этот час уберечь можно.

Оттуда Николай Иваныч пусть с ним вместе в карету усядется, а я назад на пролетках приеду.

На счастье наше, Николай Иваныч ввечеру явился в раскаянии и в забытьи: идет и сам впереди себя руками водит и бармутит:

«Дорогу, дорогу... идет глас выпивающий... уготовьте путь ему в пустыне... о господи!»

Да и застрял в углу и начал искать чего-то у себя по карманам.

Я подошла и говорю:



«Чего, опять вчерашнего дня небось ищите? Удаляйтесь скорей на покой».

А он отвечает:

«Подожди... тут у меня в кармане очень важный сужект был, и тепер нет его».

«Какой же сужект?»

«Да вот Твердамасков мне с Крутильды пробный портрет безбиле\* сделал, и я его хотел сберечь, чтоб никому не показать, да вот и потерял. Это мне неприятно, что его могут рассматривать. Я поеду его разыскивать».

«Ну уж, — говорю, — это нет. Попал домой — тепер типун, больше не уедешь, — и мы его на все два дня заперли, чтоб опомнился».

И спала я после этого у себя ночь, как в раю, и всё вокруг меня летали бесплотные ангелы — ликов не видно, а этак всё машут, всё машут!

— Какие же они сами? — полюбопытствовала Аичка.

— А вот похожи как певчие в форме, и в таких же халатиках. А как сон прошел и начался другой день, то начались опять и новые мучения. С самого раннего утра стали мы хлопотать, чтобы все к завтраму приготовить. И всё уже они без меня и ступить боятся: мы с Ефросиньюшкой вдвоем и в курятную потроха выбирать ходили, чтобы самые выдающиеся, и Николая Иваныча наблюдали, а на послезавтра, когда встрече быть, я сама до света встала и побежала к Мирону-кучеру, чтобы он закладывал карету как можно лучше.

А он у них престрашный грубиян и искусный ответчик и ни за что не любит женщин слушаться. Что ему ни скажи, на все у него колкий ответ готов:

«Я сам все формально знаю».

Я ему говорю:

«Тепер же нынче ты не груби, а хорошенько закладывай, нынче случай выдающийся».

А он отвечает:

«Ничего не выдающее. Мне все равно: заложу как следно по форме, и кончено!»

Но еще больше я беспокоилась, чтобы без меня Клавдинька из дома не ушла или какую-нибудь другую свою трилюзию не исполнила, потому что все мы знали, что она безверная. Твержу Маргарите Михайловне:

«Смотри, мать, чтобы она не выкинула чего-нибудь выдающегося».

Маргарита Михайловна сказала ей:

«Ты же, Клавдюша, пожалуйста, нынче куда-нибудь не уйди».

Она отвечает:

«Полноте, мама, зачем же я буду уходить, если это вам неприятно».

«Да ведь ты ни во что не веришь?»

«Кто это вам, мамочка, такие нелепости наговорил, и зачем вы им верите!»

А та обрадовалась:

«Нет, в самом деле ты во что-нибудь веруешь?»

«Конечно, мама, верую».

«Во что же ты веруешь?»

«Что есть бог, и что на земле жил Иисус Христос, и что должно жить так, как учит его евангелие».

«Ты это истинно веришь — не лжешь?»

«Я никогда не лгу, мама».

«А побожись!»

«Я, мама, не божусь; евангелие ведь не позволяет божиться».

Я вмешалась и говорю:

«Отчего же не побожиться для спокойствия матери?»

Они мне ни слова; а та ее уже целует с радости и твердит:

«Она никогда не лжет, я ей и так верю, а это вот вы все хотите, чтобы я ей не верила».

«Что вы, что вы! — говорю я, — во что вы хотите, я во все верю!»

А сама думаю: вот при нем вся ее вера на поверке окажется. А теперь с ней разводов разводиться нечего, и я бросилась опять к Мирону посмотреть, как он запрягает, а он уже запрет и подает, но сам в простом армяке.

Я зашумела:

«Что же ты не надел армяк с выпухолью\*?»

А он отвечает:

«Садись, садись, не твое дело: выпухоль только зимой полагается».

Вижу его, что он злой-презлой.

Николай Иваныч сел смирно со мною в карету, а две дамы дома остались, чтобы нас встретить, а между тем с нами начались такие выдающиеся приключения, что превзошли всё, что было у Исава с Яковом\*.

— Что же это случилось? — воскликнула Аичка.

— Отхватили у нас самое выдающееся первое благословение.

— Каким же это манером?

— А вот это и есть Моисей Картоныч!

### VIII

Приехали мы с Николаем Иванычем в карете — он со всеми принадлежностями, с ктиторской медалью на шее и с иностранным орденом за шахово подношение, а я одета по обыкновению, как следует, скромно, ничего выдающегося, но чисто и пристойно. А народу совокупились непроходимая куча, и стоит несколько карет с ажидацией, и на простых лошадях и на стриженных, — на козлах брумы\* с хлопальными арапниками, и полицейские со всеми в рубкопашню\* бросаются — хотят всех по ранжиру ставить, но не могут.

Помощник пристава тут же, как встрепанный воробей, подпрыгивает и уговаривает публику:

«Господа! не безобразьте!.. все увидите. Для чего невоспитанность!»

Я думаю, вот этот образованный! и подхожу к нему и прошу, чтобы велел нашу карету впереди других поставить, потому что нам назначена первая ажидация; но он хоть бы что!.. на все мои убедительные слова и внимания не обратил, а только все топорщится воробьем и твердит: «Что за изверги христианства! Что за свинская невоспитанность!» А я вдруг замечаю, что здесь же в толпучке собрались все мои третьеводнишние знакомые, с которыми я назад ехала, и особенно та благочестивая старушка, у которой весь дом от вифлиемции болен, и я ей все рассказывала.

«Вот и вы, — говорит, — здесь?»

«Как же, — отвечаю я, — здесь; к нам ведь к первым обещано».

«Вы ведь от Степeneвых, кажется?»

«Да, — отвечаю, — я от Степеневых, — в их карете, — Мирон-кучер».

«Ах! — говорит, — Мирон-кучер...»

А тут весь народ вдруг вздрогнул, и стали креститься, и уж как попрут, то уж никто друг друга и жалеть не стал, но все как дикий табун толпучкою один другого задавить хотят... Раздался такой стон и писк, что просто сказать, как будто бы все люди озверели и друг друга задушить хотят!

Помощник уж не может и кричать больше, а только стонет: «Что за изверги христианства! Что за скоты без разума и без жалости!» А городовые пустились было, в рубкопашную, но вдруг протиснулись откуда-то эти тамошние бургонские рожи — эти басомпьеры, — те, которые про спящих дев говорили, — и враз смяли всех — и городских и ожидателей! Так и смяли! Обхватили его, и прут прямо к каким знают каретам, и кричат: «Сюда, сюда!» — и даже, я слышу, Степеневых называют, а меж тем в чью-то не в нашу карету его усадили и повезли.

Я стала кричать:

«Позвольте! ведь это немислимо — это... не от Степеневых карета... у нас Мирон-кучер называется!»

А меж тем его обманом усадили в другую карету, с той самой старушкой, с моей-то с благочестивой попутчицей, у которой все в вифлиемции, и увезли к ней!

Аичка вмешалась и сказала:

— Что же — это так и следовало.

— Почему?

— У нее больные, а у вас нет.

Мартыновна не стала спорить и продолжала:

— Я к помощнику, говорю:

«Помилуйте, господин полковник, что же это за беспорядок!»

А он еще на меня:

«Вам, — говорит, — еще что такое сделали? Язычница! вы больше всех лезли. Что вам на любимую мозоль, что ли, кто наступил? Вот аптека, купите себе пластырю».

«Не в аптеке, — говорю, — дело, а в том, что мне была назначена первая ажидация, а ее нет».

«Чего же вы ее не ухватили — ажидацию-то?»

«Я бы ухватила, а от полиции порядка не было — вы видели, что мне и подойти было немислимо, у меня выхватили...»

«Что у вас выхватили?»

«Отсунули меня...»

«А у вас ничего не украдено?»

«Нет, не украдено, а сделан обман ажидации».

А он на это рукою махнул.

«Экая важность! — говорит, — это и часто бывает».

И больше никакого внимания.

«Ну, вас, — говорит, — совсем, отстаньте».

Я к Николаю Иванычу, который в карете уселся, и говорю ему:

«Что же здесь будем стоять, надо за ними резво гнаться и взять хоть со второй ажидации».

Он отвечает, что ему все равно, а Мирошка сейчас же спорить:

«Гнаться, — говорит, — нельзя».

«Да ведь вот еще их видно на мосту. Поезжай за ними, и ты их сейчас догонишь».

«Мне нельзя гнаться».

«Отчего это нельзя? Ты ведь всегдашний грубец и искусный ответчик».

«То-то и есть, — говорит, — что я ответчик: я и буду в ответе; ты будешь в карете сидеть, а меня за это формально с козел снимут да в полиции за клин посадят. Во всю мочь гнать не позволено».

«Отчего же за ними вон в чьей-то карете как рево едут?»

«Оттого, что там лошади не такие».

«Ну, а наши какие? Чем хуже?»

«Не хуже, а те — аглицкие тарабахи\*, а наши — тамбовские фетюки\*: это разница!»

«Да уж ты известный ответчик, на все ответишь, а просто их кучер лучше умеет править».

«Отчего же ему не уметь править, когда ему их экономка при всех здесь целый флакон вишневой пунцовки дала выпить, а мне дома даже поклеванник с чаем не дали допить».

«Ступай и ты так поспешно, как он, тогда и я тебе дома цельную бутылку пунцовки дам».

«Ну, — говорит, — в таком разе формально садись скорей».

Села я опять в карету, и погнали. Мирон поспевает: куда они на тарабахах, туда и мы на своих фетюках, не отстаем; но чуть я в окно выгляну — все мне кажется, будто все кареты, которые едут, — это всё с аждацией. Семь карет я насчитала, а в восьмой увидала — две дамы сидят, и закричала им:

«Отстаньте, пожалуйста, — это моя аждация!»

А Николай Иванович вдруг рванул меня сзади изо всей силы, чтобы я села, и давленным, злым голосом шипит:

«Не смейте так орать! мне стыдно!»

Я говорю:

«Помилуйте! какой с бесстыжей толпучкой стыд!»

А он отвечает:

«Это не толпучка, а моя знакомая блондинка; она мне может через одно лицо самый неприятный постанов вопроса сделать».

И опять так меня рванул, что платье затрещало, и я его с сердцов по руке, а по дверцам локтем, да и вышибла стекло так, что оно зазвонило вдребезги.

К нам сейчас подскочил городской и говорит:

«Позвольте узнать, что за насилие? О чем эта дама шумят?»

Николай Иваныч, спасибо, ловко нашелся:

«Оставь, — говорит, — нас: эта дама не в своем уме, я ее везу в сумасшедший дом на свидетельство».

Городской говорит:

«В таком разе проследуйте!»

Опять погнались, но тут как раз впоперек погребальный процесс: как назло, какого-то полкового мертвеца с парадом хоронить везут, — духовенства много выступает — все по парам друг за другом, в линию, архиерей позади, а потом гроб везут; солдаты протяжно тащатся, и две пушки всем вслед волокут, точно всей публике хотят расстрел сделать, а потом уж карет и конца нет, и по большей

части все пустые. Ну, пока всё это перед своими глазами пропустили, он, конечно, уехал, и тарабахи скрылись.

Поехали опять, да не знаем, куда ехать; но тут, спасибо, откуда-то взялся человек и говорит:

«Прикажите мне с кучером на козлы сесть — я сопоследователь и знаю, где первая ажидация».

Дали ему рубль, он сел и поехал, но куда едем — опять не понимаю. Степеневых дом в Ямской слободе, а мы приехали на хлебную пристань, и тут действительно оказалась толпучка народу, собралась и стоит на ажидации... Смотреть даже ужаси, сколько людей! А самого-то его уже и не видать, как высел, — и говорят, что насилу в дом проводили от ожидателей. Теперь за ним и двери заключили, и два городских не пушают, а которые загрубят, тех пожмут и отводят.

Но однако, впрочем, все ожидатели ведут себя хорошо, ждут и о разных его чудесах разговаривают — где что им сделано, а всё больше о выигрышах и о вифлиемции; а у меня мой сударь Николай Иваныч вдруг взбеленился.

«Что мне, — говорит, — тут с вами, ханжами, стоять! У меня вифлиемции нет, а еще, пожалуй, опять за банкрута сочтут!.. Я не хочу больше здесь с вами тереться и ждать. Оставайся здесь и жди с каретою, а я лучше хоть на простой конке на волю уеду».

Я уговариваю:

«У бога, — говорю, — все равны. Ведь эта ажидация для бога. Если хотите что-либо выдающееся сподобиться, то надо терпеливо ждать».

Кое-как он насилу согласился один час подождать и на часы отметил.

Час этот, который мы тут проманежились, я весь язык свой отбила, чтобы Николая Иваныча уговаривать, и за этими разговорами не заметила, что уже сделался выход из подъезда, и его опять в ту же самую секунду в другую карету запихнули и помчали на другую ажидацию. Боже мой! второе такое коварство! Как это снесть! Мы опять за ними следом, и опять нам в третий раз та же самая удача, потому что Николай Иваныч с орденами и со всеми своими принадлежностями нейдет на вид, а прячется, а меня в моем простом виде все прочь оттирают.

А в конце концов Николай Иваныч говорит:

«Ну, уж теперь типун! я не намерен больше позади всех в свите следовать. Ты сиди здесь и езд, а я не хочу».

И с этим все свои принадлежности снимает и в карман прячет.

Я говорю:

«Помилуйте, как же я одна останусь?.. Это немисливо...»

А он вдруг дерзкий стал и отвечает:

«А вот ты и размышляй о том, что мыслимо, а что не мыслимо, а я в трактире хоть водки выпью и закушу миногой».

«Так вот, — говорю, — и подождите же, богу помолитесь натошак, а тогда кушайте; там все уже приготовлено, не только миноги, а и всякая рыба, и потроха выдающиеся, и прочие принадлежности».

Он меня даже к черту послал.

«Очень мне нужно! — говорит. — Не видал я, поди, твои потроха выдающиеся!» — и вместо того, чтобы забежать в трактир, сел на извозчика, да и совсем уехал.

Тут я даже заплакала. Много я в моей жизни низостей от людей видела, но этакой выдающейся

подлости, чтобы так и силов оттирать, и обманно чужим именем к себе завлекать, и, запихнувши в карету, увозить — этого я еще и не воображала.

В отчаянии рассказала это другим, как это сделано, а другие и не удивляются, говорят:

«Вы не огорчайтесь, это с ним так часто делают».

А как только он вышел, так смотрю — эти же самые, которые так хорошо говорили, сами же в моих глазах, как тигры, рванулись и в четвертый раз подхватили его, запихнули в карету и повезли.

Я просто залилась слезами и кричу Мирошке:

«Мирон, батюшка, да имей же хоть ты бога в сердце своем, бей ты своих фетюков без жалости, чтобы мне хоть на пятую ажидацию шибче всех подскочить, и не давай другим ходу! Я тебе две пунцовки дам».

Мирон отвечает: «Хорошо! Формально дам ходу!» И так нахлестал фетюков во всю силу, что они понеслись шибче тарабахов, и в одном месте старушонку с ног сшибли, да скорей в сторону, да боковым переулком — опять догнали, и как передняя карета стала подворачивать, Мирон ей наперерез и что-то враз им и обломал... Так зацепил, что чужая карета набок, а наша только завизжала.

Кучера стали ругаться.

Городовые наших лошадей сгребли под уздицы и Миронов адрес стали записывать.

А он уж опять выходит, но тут я скорей дверцы настезь и прямо к нему.

«Так и так, — говорю, — что же вы изволили нам обещать к купцам Степеневым... Они люди выдающиеся, и с самого утра у них всеобщая ажидация».

А он на меня смотрит, как голубок в усталости или в большом изумлении, и говорит:

«Ну так что ж такое? Ведь я уже сегодня у Степеневых был».

«Когда же? — говорю. — Помилуйте! Нет, вы еще не были».

Он вынул книжку, поглядел и удостоверяется:

«Степеневы?»

«Да-с».

«Купцы?»

«Выдающиеся купцы».

«Да, вот они... выдающиеся... Они у меня и зачеркнуты... В книжечке их имя зачеркнуто. Значит, я у Степеневых был».

«Нет, — говорю, — помилуйте. Это немисливо. Я от вас ни на минуту не отстаю с самого утра».

«Да я у самых первых у Степеневых был. И семейство помню: старушка такая в темном платочке меня к ним возила».

Я догадалась, кто эта старушка! Это та, перед которой я о выдающейся фамилии Степеневых говорила.

«Это, — говорю, — обман подведен; она не от Степеневых, Степеневы совсем не там и живут, где вы были».

Он только плечом воздвигнул и говорит:

«Ну что ж теперь делать! Теперь еще подождите; я здесь справлюсь и с вами поеду».

Я опять осталась ждать на шестую ажидацию, и тут я только поняла, какие бывают на свете народы, как эти басомпьеры! Их совокупившись целая артель и со старостой, который надо мною про семь

спящих дев-то ухмылялся, — это он и есть, аплетического сложения, с выдающимся носом.

Бродяжки они, гольтепа, работать не охотники, и нашли такое занятие, что подсматривают... и вдруг скучатся толпучкой, и никому сквозь их не пролезть... Если им дашь — они к той карете так его и насунут, а не дашь — станут отодвигать... и...

— Типун! — пошутила Аичка.

— Типун. Мне уж после старушка одна рассказала: «Полно тебе, говорит, дурочкой-то вослед ездить. Неужли не видишь — в ком сила! Подзови мужчину в зеленой чуйке да дай ему за труды — он его к тебе враз натиснет. Они ведь с этого только кормятся».

Я подманила этого промыслителя и дала ему гривенник, но он малый смирный — недоволен моей гривной, а просит рубль. Дала рубль — он к нашей карете ход и открыл, понапер, понапер и впихнул его в самые дверцы и крикнул:

«С богом!»

Получила и везу.

IX

Я было хотела отдельно от него ехать, как недостойная, но он, препростой такой, сам пригласил:

«Садитесь, — говорит, — вместе, ничего».

Простой-препростой, а лицо выдающееся.

Слушательница Марьи Мартыновны перебила ее и спросила:

— Чем же его лицо выдающееся?

И мне, признаться, очень любопытно было это услышать, но рассказчица уклонилась от ответа и сказала:

— Вот завтра сама увидишь, — и затем продолжала: — Я села на переднем сиденье и смотрю на него. Вижу, устал совершенно. Зевает голубчик и все из кармана письма достает. Много, премного у него в кармане писем, и он их всё вынимает и раскладывает себе на колени, а деньги сомнет этак, как видно, что они ему ничего не стоящие, и равнодушно в карман спускает и не считает, потому что он ведь из них ничего себе не берет.

— Почем вы это знаете? — протянула Аичка.

— Ах, мой друг, да в этом даже и сомневаться грешно, за это и бог накажет.

— Я и не сомневаюсь, а только я любопытствую — у него, говорят, крали — кто ж это знает?

— Не думаю... не слышала.

— А я слышала.

— Что же, он, верно, свои доложил.

— То-то.

— Да ведь это видно. Его и не занимает... Распечатает, прочтает, а деньги в карман опустит и карандашом отметит, и опять новое письмо распечатает, а между тем и шутит препросто.

— О чем же, например, шутит?

— Да вот, например, спрашивает меня: «Что же это значит? я у Степеневых, значит, еще не был?»

«Наверно, — говорю, — не были».

Он головой покачал, улыбнулся и смеется:

«А может быть, вы меня туда во второй раз везете?» «Помилуйте, — говорю, — это немислимо».

«С вами, — отвечает, — все мыслимо».

Потом опять читал, читал и опять говорит: «А у кого же это, однако, я был вместо Степеневых? Вот я теперь через это замешательство не знаю, кого мне теперь в своей книжке и вычеркнуть».

Я понимаю, что ему досадно, но не знаю, что и сказать.

Аичка перебила:

— Как же он такой святой, а ничего не видит, что с ним делают!

— Ну, видишь, он полагал так, что Степеневы — это те первые, у которых он был по обману, и они его о сыне просили, что сын у них ужасный грубиян — познакомился с легкомысленною женщиной и жениться хочет, а о других невестах хорошего рода и слышать не хочет.

— Отчего же так? — спросила Аичка.

— Долг, видишь, обязанность чувствует воздержаться ее в степенной жизни.

— Просто небось в красоту влюбился.

— Разумеется... Что-нибудь выдающееся... Но я опять к своему обороту; говорю, что у настоящих Степеневых сына выдающегося нет...

«А невыдающийся что же такое делает?»

Я отвечаю, что у них и невыдающегося тоже нет.

«Значит, совсем нет сына?»

«Совсем нет».

«Так зачем же вы путаете: «выдающегося», «невыдающегося?»»

«Это, извините, у меня такая поговорка. А у Степеневых не сын, а дочь, и вот с ней горе».

Он головой, уставши, покачал и спросил:

«А какое горе?»

«А такое горе, что она всему капиталу наследница, и молодая и очень красивая, но ни за что как следует жить не хочет».

Он вдруг вслушался и что-то вспомнил.

«Степеневы... — говорит. — Позвольте, ведь это именно их брат Ступин?»

Я не поняла, и он затруднился.

«Ведь мы это теперь к Ступиным?»

«Нет, к Степеневым: Ступины — это особливые, а Степеневы — особливые; вот их и дом и на воротах сигнал: «купцов Степеневых».

Он остро посмотрел, как будто от забытья прокинулся, и спрашивает:

«Для чего сигнал?»

«Надпись, чей дом обозначено».

«Ах да, вижу, надпись».

И вдруг все остальные нераспечатанные конверты собрал и в нутрешней карман сунул и стал выходить у подъезда.

А народу на ажидацию у нашего подъезда собралось видимо и невидимо. Всю улицу запрудили толпучкой, и еще за нами следом четыре кареты подъехали с ажидацией.

Мы за ним двери в подъезде сильно захлопнули, и тут случилась большая досада: одной офицерше, которая в дом насильно пролезть хотела, молодец два пальца на руке так прищемил, что с ней даже сделалось вроде обморока.

А только что это уладили, полицейский звонится, чтобы Мирона за задавление старухи и за полом



чужого экипажа в участок брать протокол писать. Мы скорей спрятали Мирона в буфетную комнату, и я ему свое обещанье — пунцовку — дала, а внутри в доме ожидало еще больше выдающееся.

Х

Он вошел, разумеется, чудесно, как честь честью, и сказал: «Мир всем», и всех благословил, и хозяйку Маргариту Михайловну, и сестру ее Ефросинью Михайловну, и слуг старших, а как коснулось до Николая Иваныча, то оказывается, что его, милостивейшего государя, и дома нет.

Тогда маменька с тетенькой бросились к Клавдичке, а Клавдичка хоть и дома, но, извольте видеть, к службе выходить не намерена.

Он спрашивает:

«Дочка ваша где?»

А бедная Маргарита Михайловна, вся в стыде, отвечает:

«Она дома, она сейчас!»

А чего «сейчас», когда та и не думает выходить!

Раньше этого была с матерью ласкова и обнимала ее и ни слова не сказала, что не выйдет, а тут, когда мы уже приехали и мать к ней вне себя вскочила и стала говорить:

«Едет, едет!»

Клавдичка ей преспокойно отвечает:

«Ну вот, мама, и прекрасно; я за вас теперь рада, что вам удовольствие».

«Так выйди же его встречать и подойди к нему!»

Но она тихую улыбку сделала, а этого исполнить не захотела.

Мать говорит:

«Значит, ты хочешь сделать мне неприятность?»

«Вовсе нет, мама, я очень рада за вас, что вы хотели его видеть и это ваше удовольствие исполняется».

«А тебе, стало быть, это не удовольствие?»

«Мне, мамочка, все равно».

«А как же ты говорила, что и ты в бога веришь?»

«Конечно, мама, верю, и мне, кроме его, никого и не надобно».

«А исполнять по вере, стало быть, тебе ничего и не надобно?»

«Я, мамочка, исполняю».

«Что же ты исполняешь?»

«Всем повеленное: есть хлеб свой в поте лица и никому зла не делать».

«Ах, вот в чем теперь твоя вера? Так знай же, что ты мне большое зло делаешь».

«Какое?.. Что вы, мама!.. Ну, простите меня».

«Нет, нет! Ты меня срамишь на весь наш род и на весь город. В малярихи или в прачки ты, что ли, себя готовишь? Что ты это на себя напустила?»

А та стоит да глинку мнет.

«Брось сейчас твое лепленье!»

«Да зачем это вам, мама?»

«Брось! сейчас брось! и сними свой фартук и выйди со мною, а то я с тебя насильно фартук сорву и всю твою эту глиномятную антиллерию на пол сброшу и ногами растопчу!»

«Мамочка, — отвечает, — все, что вам угодно, но выходить я не могу».

«Отчего?»

«Оттого, что я почитаю, что все это не следует».

Тут мать уже не выдержала и — чего у них никогда не было — бранным словом ее назвала:

«Сволочь!.. гадина!»

А дочь ей с ласковым укором отвечает:

«Мамочка! мама!.. вы после жалеть будете».

«Выходи сейчас!»

«Не могу».

«Не можешь?»

«Не могу, мама».

А та — хлоп ее фигуру на пол и начала ее каблуками топтать. А как дочь ее захотела было обнять и успокоить, то Маргарита-то Михайловна до того вспылила, что прямо ее в лицо и ударила.

— Эту статую? — спросила Аичка.

— Нет, друг мой, саму Клавдиньку. «Не превозносись!» Клавдинька-то так и ахнула и обеими руками за свое лицо схватилась и зашаталась.

— За руки бы ее! — заметила Аичка.

— Нет, она этого не сделала, а стала просить только:

«Мамочка! Пожалейте себя! Это ужасно, ведь вы женщина! Вы никогда еще такой не были».

А Маргарита Михайловна задыхается и говорит:

«Да, я никогда такой не была, а теперь вышла. Это ты меня довела... до этого. И с этой поры... ты мне не дочь: я тебя проклинаю и в комиссию прошение пошлю, чтобы тебя в неисправимое заведение отдать».

И вот в этакое-то положении, в таком-то расстройстве, сейчас после такого представления — к нему на встречу!.. и можешь ли ты себе это вообразить, какое выдающееся стенание!

Он, кажется, ничего не заметил, что к нему не все вышли, и стал перед образами молебен читать, — он ведь не поет, а все от себя прочитывает, — но мы никто и не молимся, а только переглядываемся. Мать взглянет на сестру и вид дает, чтобы та еще пошла и Клавдиньку вывела, а Ефросинья сходит да обратный вид подает, что «не идет».

И во второй раз Ефросинья Михайловна пошла, а мать опять все за ней на дверь смотрит. И во второй раз дверь отворяется, и опять Ефросинья Михайловна входит одна и опять подает мину, что «не идет».

А мать мину делает: отчего?

Маргарита Михайловна мне мину дает: иди, дескать, ты уговори.

Я — мину, что это немислимо!

А она глазами: «пожалуйста», и на свое платье показывает: дескать, платье подарю.

Я пошла.

Вхожу, а Клавдинька собирает глиняные оскребки своего статуя, которого мать сшибла.

Я говорю:

«Клавдия Родионовна, бросьте свои трелюзии — утешьте мамашу-то, выйдите, пожалуйста».

А она мне это же мое последнее слово и отвечает:

«Выйдите, пожалуйста!»

Я говорю:

«Жестокое в вас сердце какое! Чужих вам жаль, а мать ничего не стоит утешить, и вы не можете. Ведь это же можно сделать и без всякой без веры».

— Разумеется, — поддержала Аичка.

— Ну, конечно! Господи, ведь не во все же веришь, о чем утверждают духовные, но не препятствуешь им, чтобы другие им верили.

Но только что я ей эту назиданию провела, она мне повелевает:

«Выйдите!»

«А за что?»

«За то, говорит, что вы — воплощенная ложь и учите меня лгать и притворяться. Я не могу вас выносить: вы мне гадкое говорите».

Я вернулась и как только начала объяснять миною все, что было, то и не заметила, что он уже читать перестал и подошел к жардинверке, сломал с одного цветка веточку и этой веточкой стал водой брызгать. И сам всех благодарит и поздравляет, а ничего не поет. Все у него как-то особенно выдающееся.

«Благодарю вас, — говорит, — что вы со мной помолились. Но где же ваши прочие семейные?» Вот и опять лгать надо о Николае Ивановиче, и солгали, сказали, что его к графу в комиссию потребовали.

«А дочь ваша, где она?»

Ну, тут уже Маргарита Михайловна не выдержала и молча заплакала.

Он понял, и ее, как ангел, обласкал, и говорит:

«Не огорчайтесь, не огорчайтесь! В молодости много необдуманного случается, но потом увидят свою пользу и оставят».

Старуха говорит:

«Дай бог! Дай бог!»

А он успокаивает ее:

«Молитесь, верьте и надейтесь, и она будет такая ж, как все».

А та опять:

«Дай бог».

«И даст бог! По вере вашей и будет вам. А теперь, если она не хочет к нам выйти, то не могу ли я к ней взойти?»

Маргарита Михайловна, услышав это, от благодарности ему даже в ноги упала, а он ее поднимает и говорит:

«Что вы, что вы!.. Поклоняться одному богу прилично, а я человек».

А я и Ефросинья Михайловна тою минутою бросились обе в Клавдинькину комнату и говорим:

«Скорее, скорее!.. ты не хотела к нему выйти, так он теперь сам к тебе желает прийти».

«Ну так что же такое?» — отвечает спокойно.

«Он тебя спрашивает, согласна ли ты его принять?»

Клавдинька отвечает:

«Это дом мамашин; в ее доме всякий может идти, куда ей угодно».

Я бегу и говорю:

«Пожалуйста».

А он мне ласково на ответ улыбнулся, а Маргарите Михайловне говорит:

«Я вам говорю, не сокрушайтесь; я чудес не творю, но если чудо нужно, то всегда чудеса были, и есть, и будут. Проводите меня к ней и на минуту нас оставьте, мы с ней должны говорить в одном вездеприсутствии божием».

«Конечно, боже мой! разве мы этого не понимаем! Только помоги, господи!»

— Ну, я бы не вытерпела, — сказала Аичка, — я бы подслушала.

— А ты погоди, не забегай.

ХІ

Мы его в Клавдинькину дверь впустили, а сами скорее обежали вокруг через столовую, откуда к ней в комнату окно есть над дверью, и вдвоем с Ефросиньей Михайловной на стол влезли, а Маргарита Михайловна, как грузная, на стол лезть побоялась, а только к дверному створу ухо присунула слушать.

Он, как вошел, сейчас же положил ей свою руку на темя и сказал по-духовному:

«Здравствуй, дочь моя!»

А она его руку своею рукою взяла да тихонько с головы и свела и просто пожала, и отвечает ему:

«Здравствуйте».

Он не обиделся и начал с ней дальше хладнокровно на «вы» говорить.

«Могу ли я у вас сесть и побеседовать?»

Она отвечает:

«Если вам это угодно, садитесь, только не запачкайтесь: на вас одежда шелковая, а здесь есть глина».

Он посмотрел на стул и сел, и не заметил, как рукавом это ее маленькое евангелище нечаянно столкнул, а без всякого множественного разговора прямо спросил ее:

«Вы леплением занимаетесь?»

Она отвечает:

«Да, леплю».

«Конечно, вы это делаете не по нужде, а по желанию?»

«Да, и по желанию и по нужде».

Он на нее посмотрел выразительно.

«По какой же нужде?»

«Всякий человек имеет нужду трудиться; это его назначение, и в этом для него польза».

«Да, если это не для моды, то хорошо».

А она отвечает:

«Если кто и для моды стал заниматься трудом вместо того, что прежде ничего не делал, то и это тоже не плохо».

Понимаешь, вдруг сделала такой оборот, как будто не он, а она ему будет давать назиданию. Но он ее стал строже спрашивать:

«Мне кажется, вы слабы и нездоровы?»

«Нет, — говорит она, — я совершенно здорова».

«Вы, говорят, мясо не едите?»

«Да, не ем».

«А отчего?»

«Мне не нравится».

«Вам вкус не нравится?»

«И вкус, и просто я не люблю видеть перед собою трупы».

Он и удивился.

«Какие, — спрашивает, — трупы?»

Она отвечает:

«Трупы птиц и животных. Кушанья, которые ставят на стол, ведь это всё из их трупов».

«Как! это жаркое или соус — это трупы! Какое пустомыслие! И вы дали обет соблюдать это во всю жизнь?»

«Я не даю никаких обетов».

«Животных, — говорит, — показано употреблять в пищу».

А она отвечает:

«Это до меня не касается».

Он говорит:

«Стало быть, вы и больному не дадите мяса?»

«Отчего же, если ему это нужно, я ему дам».

«Так что же?»

«Ничего».

«А кто вас этому научил?»

«Никто».

«Однако как же вам это пришло в голову?»

«Вас это разве интересует?»

«Очень! потому что эта глупость теперь у многих распространяется, и мы ее должны знать».

«В таком разе я вам скажу, как ко мне пришла эта глупость».

«Пожалуйста!»

«Мы жили в деревне с няней, и некому было зарезать цыплят, и мы их не зарезали, и жили, и цыплята жили, и я их кормила, и я увидала, что можно жить, никого не резавши, и мне это понравилось».

«А если б в это время к вам приехал больной человек, для которого надо зарезать цыпленка?»

«Я думаю, что для больного человека я бы цыпленка зарезала».

«Даже сама!»

«Да — даже сама».

«Своими, вот этими, нежными руками!»

«Да — этими руками».

Он воздвиг плечами и говорит:

«Это ужас, какая у вас непоследовательность!»

А она отвечает, что для спасения человека можно сделать и непоследовательность.

«Просто мракобесие! Вы, может быть, и собственности не хотите иметь?»

«При каких обстоятельствах?»

«Это все равно».

«Нет, не равно; если у меня два платья, когда у другой нет ни одного, то я тогда не хочу иметь два платья в моей собственности».

«Вот как!»

«Да ведь это так же и следует, это так и указано!»

И с этим ручку изволил протягивать к тому месту, где у нее всегда ее маленькое евангелище лежит, а его тут и нет, потому что он его нечаянно смахнул, и теперь он ее сам остановил, — говорит:

«Напрасно будем об этом говорить».

«Отчего же?»

«Оттого, что вы только к тому всё и клоните, чтобы доказывать, что прямое криво».

«А мне кажется, как будто вы всё только хотите доказать, что кривое прямо!»

«Это, — говорит, — все мракобесие в вас, оттого что вы не несете в семействе своих обязанностей. Отчего вы до сих пор еще девушка?»

«Оттого, что я не замужем».

«А почему?»

Она на него воззрилась:

«Как это почему? Потому что у меня нет мужа».

«Но вы, быть может, и брак отвергаете?»

«Нет, не отвергаю».

«Вы признаете, что самое главное призвание женщины жить для своей семьи?»

Она отвечает:

«Нет, я иного мнения».

«Какое же ваше мнение?»

«Я думаю, что выйти замуж за достойного человека — очень хорошо, а остаться девушкой и жить для блага других — еще лучше, чем выйти замуж».

«Почему же это?»

«Для чего же вы меня об этом спрашиваете? Вы, наверно, сами это знаете: кто женится, тот будет нести заботы, чтобы угодить семье, а кто один, тот может иметь заботы шире и выше, чем о своей семье».

«Ведь это фраза».

«Как, — говорит, — фраза!» — и опять руку к столику, а он ее опять остановил и говорит:

«Не трудитесь доказывать: я знаю, где что сказано, но все же надо уметь понимать: род человеческий должен умножаться для исполнения своего назначения».

«Ну, так что же такое?»

«И должны рождаться дети».

«И рождаются дети».

«И надо, чтобы их кто-нибудь любил и воспитывал».

«Вот, вот! это необходимо!»

«А любить дитя и пещись о его благе дано одному только сердцу матери».

«Совсем нет».

«А кому же?»

«Всякому сердцу, в котором есть любовь божия».

«Вы заблуждаетесь: никакое стороннее сердце не может заменить ребенку сердце матери».

«Совсем нет; это очень трудно, но это возможно».

«Но ведь заботиться об общем благе можно и в браке».

«Да, но это еще труднее, чем не вступать в брак».

«Итак, у вас нет ничего жизнерадостного».

«Нет, есть».

«Что же такое?»

«Приучиться жить не для себя».

«В таком случае вам всего лучше идти в монастырь».

«Для чего же это?»

«Там уж это все приноровлено к тому, чтобы жить не для себя».

«Я совсем не нахожу, чтобы там это так было приноровлено».

«А вы разве знаете, как живут в монастырях?»

«Знаю».

«Где же вы наблюдали монастырскую жизнь?»

А она уже его перебивает и говорит:

«Извините меня... разве не довольно, что я вам отвечаю на все, о чем вы меня допрашиваете обо мне самой, но я не имею обыкновения ничего рассказывать ни о ком другом», — и сама берется при нем мять свою глину, как бы его тут и не было.

— Ишь какая, однако же, она шустрая! — заметила Аичка.

— Да чем, мой друг?

— Ну все, однако, как хотите — этак отвечать может, и он ее не срежет.

— Ну, нет... он ее срезал, и очень срезал!

— Как же именно?

— Он ей сказал: «Неужто вы так обольщены, что вам кажется, будто вы лучше всех понимаете о боге?» А она на это отвечать не могла и созналась, что: «я, говорит, о боге очень слабо понимаю и верую только в то, что мне нужно».

«А что вам нужно?»

«То, что есть бог, что воля его в том, чтобы мы делали добро и не думали, что здесь наша настоящая жизнь, а готовились к вечности. И вот, пока я об этом одном помню, то я тогда знаю, чего во всякую минуту бог от меня требует и что я должна сделать; а когда я начну припоминать: как кому положено верить? где бог и какой он? — тогда у меня все путается, и позвольте мне не продолжать этого разговора: мы с вами не сойдемся».

Он говорит:

«Да, мы не сойдемся, и я вам скажу — счастье ваше, что вы живете в наше слабое время, а то вам бы пришлось покоптиться в костре».

А она отвечает:

«И вы бы меня, может быть, проводили?»

И сама улыбнулась, и он улыбнулся и ласково ей говорит:

«Послушайте, дитя мое! вашу мать так сокрушает, что вы не устроены, а долг детей свою мать

жалеть».

Ее всю будто вдруг погнуло, и на глазах слезы выступили.

«Умилосердитесь, — говорит, — неужто вы думаете, что я, проживши двадцать лет с моею матерью, понимаю ее и жалею меньше, чем вы, приехавши к нам сейчас по ее приглашению!»

А он говорит:

«Ну, и хорошо, и если вы такая добрая дочь, так изберите же себе достойного жениха».

«Я его уже избрала».

«Но этот выбор не одобряет ваша мать».

«Мама его не хочет узнать».

«Да что ж ей его и узнавать, когда он иноверец!»

«Он христианин!»

«Полноте! отчего вам не уступить матери и не выбрать себе мужа из своих людей, обстоятельных и известных ей и вашему дяде?»

«Чем же не обстоятелен тот, кого я выбрала?»

«Иноверец».

«Он христианин, он любит всех людей и не различает их породы и веры».

«А вот и прекрасно: если ему все равно, то пусть и примет нашу веру».

«Для чего же это?»

«Чтобы еще теснее соединиться во всем с вами».

«Мы и так соединены тесно».

«Но отчего же не сделать еще теснее?»

«Оттого, что теснее того, чем мы соединены, нас ничто больше соединить не может».

Он посмотрел на нее внимательно и говорит:

«А если вы ошибаетесь?»

А она вдруг порывисто отвечает:

«Извините, я совершеннолетняя, и я себя чувствую и понимаю; я знаю, что́ я была до известной поры и чем я стала теперь, когда во мне зародилась новая жизнь, и я не променяю моего теперешнего состояния на прежнее. Я люблю и почитаю мою мать, но... вы, верно, знаете, что «тот, кто в нас, тот больше всех», и я принадлежу ему, и не отдам этого никому, ни даже матери».

Сказала это и даже задохнулась и покраснела.

«Извините, — добавила, — я вам, кажется, ответила резко, но зато я больше уже ничего не могу дополнить», — и двинула стул, чтобы встать.

И он тоже двинулся и ответил:

«Нет, отчего же, если вы уж так соединены... чувствуете новую жизнь...»

А она встала и строго на него посмотрела и говорит:

«Да, мы так соединены, что нас нельзя разъединить. Кажется, больше говорить не о чем!»

Он от нее даже откачнулся и тихо сказал:

«Мне кажется, вы на себя... наговариваете!»

А она ему преспокойно:

«Нет! все, что я говорю, все то и есть!»

А Маргарита Михайловна в это же самое мгновение — «ах!» — да и с ног долой в обморок, а я, как



самая глупая овца, забыла, что стою на конце гладильной доски, и прыгнула, чтоб помочь Маргарите, а гладильная доска перетянулась да Ефросинью Михайловну сронила и меня другим концом пониже поясницы, и все трое ниспроверглись и лежим. Грохот этакой на весь дом сделался. И он это услышал, и встал, и весь в волнении сказал Клавдиньке:

«Какие ужасные волнения!.. И все это через вас!..»

Она ему ни словечка.

Тогда он вздохнул и говорит:

«Ну, я не могу терять больше времени и ухожу».

А Клавдинька ему тихо в ответ:

«Прощайте».

«Прощайте — и ничего более? Прощаясь со мною, вы не имеете сказать мне от души ни одного слова?»

И она, — вообрази, — вдруг сдобрилась и подала ему обе руки, — и он рад, и взял ее за руки, и говорит ей:

«Говорите! говорите!»

А она с ласкою ему отвечает:

«Пренебрегите нами, у нас всего есть больше, чем нужно; спешите скорее к людям бедственным».

Даже из себя его вывела, и он, как будто задыхаясь, ей ответил:

«Благодарю вас-с, благодарю!» — и попросил, чтобы она и провожать его не смела.

## XII

А когда он из дому на вид показался, Клавдинька вернулась и прямо пришла в темную, где мы лежали повержены, двери распахнула и кинулась к матери, а что мы с Ефросиньей никак подняться не можем — это ей хоть бы что! Ефросинье Михайловне девятое ребро за ребро заскочило, а мне как будто самый сидельный хвостик переломился, а кроме того, и досадно и смех разрывает.

«Хорошо, — думаю, — девушка! объяснилась... и уж сама не скрывает...»

Так в таком-то неслыханном постыдном беспорядке все и кончилось. Мы и не видали, как он сел и вся ажидация рассеялась, и опять обман был, опять он в чужую карету сел и не заметил — стал письма доставать. Так его и увезли, а наши служащие в доме все ужасно были обижены, потому что все это вышло не так, как ждали, и потом все, оказалось, слышали, как Клавдия сама, хозяйская дочь и наследница, при всех просила: «пренебрегите нами»... Чего еще надо! Он и вправду, я думаю, этого никогда еще ни от кого не слыхивал. Все его только просят и молят со слезами, чтобы он осчастливил, чтобы пожаловал, а она как будто гонит: «Нами пренебрегите и ступайте к бедственным». Молва поднялась самая всенародная. Кучер Мирон, как всегдашний грубиян, да еще две пунцовки выпивши, вывел на двор своих фетюков, чтобы их петой водой попрыскать, а фетюки его сытые — храпят, кидаются и грызутся, а Мирон старается их словами унять, а в конюшню назад ни за что вести не хочет.

«Я, — говорит, — слава те, господи! Я формально знаю, как и что велит закон и религия: всегда перво-наперво хозяев прыскают, а потом на тот же манер и скотов».

Насилу у него лошадей отняли и спать его уложили, как вдруг Николай Иваныч приезжает, и в самом выдающемся градусе.

— Скверный мужчина! — отозвалась Аичка.

— Преподлец! — поддержала Марья Мартыновна и продолжала: — С этим опять до тех пор беспокоились, что без всех сил сделались, и как пали в сумерки, где кто достиг по диванам, так там и уснули. Но мне и во сне все это снилось, как Клавдинька отличилась с своим бесстыдством... Николай Иваныч на весь дом храпит, и Ефросинья тоже ничком дышит, а мне даже не спится, будто как что меня поднимает, — и недаром. Прислушиваюсь и слышу, что Маргарита Михайловна тоже не спит... ходит...

И так это она меня, моя Маргарита, заинтересовала, что я лежу и присапливаю, будто сплю, а о сне и не думаю, а все на нее одним глазком гляжу и слушаю, куда она пойдет.

А она неслышной стопою тихонечко по всем комнатам, у жердинверки остановилась, с цветков будто сухие листики обирает в руку, потом канарейке сахарок в клетке поправила, лоскуточек какой-то маленький с полу подняла, а сама, вижу, все слушает, все ли мы спим крепко, и потом воровски, потихонечку — топ-топ и вышла.

Я сейчас же вскочила на диван и уши наострила... Слышу, она кружным путем через зал к Клавдинькиной комнате пошлепала.

Так во мне сердце и заколотилось... Что у них будет?

Горошком я с дивана прыгнула, туфли сбросила да под мышку их и в одних чулках через другой круг обежала и в гардеробную, — оттуда тоже в Клавдинькину комнату над дверью воловье око есть. Опять там тихонечко все взмостила, поставила на стол стул и стала на него и гляжу.

В комнате полтемно. Лампа горит, но колпак так сноровлен, что только в одно место свет отбивает, где она руками лепит... Все это она сама себе всегда и зажигает, и гасит, и на канфорке воду греет — все без прислуги.

И теперь так — весь дом в покое отдыхает, а она, завистная работница, как ни в чем не бывало, опять уже все свои принадлежности расправила.

Мнет, да приставляет, да черт знает что вылепливает, и я даже на фигуру ее посмотрела, что она сама на себя высказала, но нет еще, ничего не заметно, — вся высокая и стройная.

Мать вошла, а она не видит, а у меня сердце ток-ток-ток! — так и толчется... Что будет? — прильнет ее старуха, что ли, и как та — с покорностью ли это выдержит, или, помилуй бог, забудется, да и сама на мать руку поднимет? Тогда я тут и нужна окажусь, потому что по крайней мере я вскочу да схвачу ее за руки и подержу — пусть мать ее хорошенько поучит.

### XIII

Все дыхание я в себе затаила.

Маргарита Михайловна постояла в полутемноте и ближе к ней подходит...

Тогда госпожа Клавдинька вздрогнула и глину свою уронила.

«Мамочка! — говорит, — вы не спите! как вы меня испугали!»

Маргарита удерживает себя и отвечает:

«Отчего же это тебе мать страшна сделалась?»

«Зачем вы, мама, так говорите: вы мне вовсе не страшны! Я вам рада, но я занялась и ничего не слыхала... Садитесь у меня, милая мама!»

А та вдруг обеими руками, ладонями, ее голову обхватила и всхлипнула:

«Ах, Клавдичка моя! дитя ты мое, дочка моя, сокровище!»

«Что вы, что вы, мама!.. Успокойтесь».

А старуха ее голову крепко зацеловала, зацеловала и вдруг сама ей в ноги сползла на колени и завопила:

«Прости меня, ангел мой, прости, моя кроткая! я тебя обидела!»

Вот, думаю, так оборот! Она же к ней пришла и не строгостью ее пристрастить, а еще сама же у нее прощения просит.

Клавдинька ее сейчас подняла, в кресло посадила, а сама перед нею на колени стала и руки целует.

«Я, — говорит, — милая мама, ничего и не помню, что вы мне, осердясь, сказали. Вы меня всегда любили, я весь век мой была у вас счастливая, вы мне учиться позволили...»

«Да, да, друг мой, дура я была, я тебе учиться позволила, и вот что из этого ученья вышло-то!»

«Ничего, мамочка, дурного не вышло».

«Как же «ничего»?.. Что теперь о нас люди скажут?»

«Что, мама?.. Впрочем, пусть что хотят говорят... Люди, мама, ведь редко умное говорят, а гораздо чаще глупое».

«То-то «все глупое». Нет, уж если это случилось, то я согласна, чтобы скорее твой грех скрыть: выходи за него замуж, я согласна».

Клавдия изумилась.

«Мама! милая! вы ли это говорите?..»

«Разумеется, я говорю; мне твое счастье дорого, только не уходи от меня из дома, — тоска мне без тебя будет».

«Да никогда мы не уйдем от вас...»

«Не уйдешь? Он тебя от меня не уведет?»

«Да ни за что, мама!»

Старуха так и заклохотала:

«Вот, вот! вот, — говорит, — опять ты всегда такая добрая... А он добрый ли?»

«Он гораздо меня добрее, мама!»

«Почему же так?»

«Он смерти не боится».

«Ну... для чего же так... Пусть живет».

«Вам жаль его?»

А та заморгала и сквозь слезы говорит:

«Да!»

И опять обнялись, и обе заплакали.

Веришь, что даже мне, и то стало трогательно!

Аичка поддержала:

— Да и очень просто — растрогают!

— А Клавдинька-то и пошла тут матери не спеша и спокойно рассказывать: какой у него брат был добрейшей души, и этот тоже — ко всем идет, ни с кем не ссорится, ничего для себя не ищет и всем все прощает, и никого не боится, и ничего ему и не надобно.

«Кроме тебя?»

А она законфузилась и отвечает:

«Мама!.. я его так уважаю... ом меня научил жить... научил чувствовать все, что людям больно...»

научил любить людей и их отца... и... и вот я... вот я... счастлива навеки!»

«Ну, и пусть уж так... пусть. А только все-таки... зачем... ты так себя допустила?»

«До чего, мама?»

«Да уж не будем лучше говорить. Пусть только, будет ваша свадьба скорей — я тогда опять успокоюсь... Я ведь тебе все простить готова... Это меня с тобою только... люди расстраивают, сестра... да эта мать-переносица Мартыниха».

«Бог с ней, мама: не сердитесь на нее — она несчастная».

«Нет, она мерзкая выдумщица... по всем домам бегает и новости затевает... я ее выгоню...»

«Что вы, что вы, мама! Как можно кого-нибудь выгонять! Она бесприютная. Вы лучше дайте ей дело какое-нибудь, чтобы она занятие имела, и не слушайте, что она о ком-нибудь пересуживает. Она ведь не понимает, какое она зло делает».

«Нет, понимает; они приступили ко мне с сестрой, что ты странная, и так мне надоели, что и мне ты стала казаться странною. Что же делать, если я такая слабая... Я поверила и послала ее приглашать, и от этой общей ажидации сама еще хуже расстроилась».

«Все пройдет, мама».

«Ах, нет, мой друг... уж это, что с тобою сделалось, так это... не пройдет».

Клавдинька на нее недоуменно смотрит.

«Я вас, — говорит, — не понимаю».

«Да я и не стану говорить, если тебе это неприятно, но я и о том думаю: как же это он провидец, а его обманом в чужую карету — обмануть можно?»

«Ах, не станем, мама, спорить об этом!»

«Я ему хотела пятьсот рублей послать, а теперь пошлю завтра за неприятность тысячу».

«Посылайте больше, мама, — мне жаль его».

«Чего же его-то жаль?»

«Как же, мама... какое значение на себя взять: какая роль!.. Люди видят его и теряют смысл... бегут и давят друг друга, как звери, и просят: денег... денег!! Не ужасно ли это?»

«Ну, это мне все равно... только нехорошо, что теперь сплетни пойдут; а я не люблю, кто о тебе дурно говорит. И зато вот я деверя Николая Иваныча, какой он ни есть, и кутила и бабеляр, а я его уважаю, потому что он сам с тобою в глаза спорится, а за глаза о тебе никому ничего позволить не хочет. «Сейчас, говорит, прибью за нее!»

«Дядя добряк, мне жаль его, — он во тьме!»

«И для чего это всё необыкновенное затеяли! У нас все было весь век по обыкновенному: свой, бывало, придет и попоет, и закусит, и в карты поиграет, и на все скажет: «господь простит».

«Простое, мама, во всех случаях всегда самое лучшее».

«Да, он тебя и крестил, он пусть и перевенчает. А Мартыниха пусть к нам и не приходит, чтобы никаких выдающихся затей от нее больше не было».

Вот что было выходило мне за мои хлопоты, но дело решилось иначе, и совсем неожиданно.

— Кто же его решил? — спросила Аичка.

— Кошка, да я немножко, — продолжала Марья Мартыновна.

Но Клавдинька, к чести ее приписать, и в конце опять за меня заступилась, стала просить, чтобы меня какою-нибудь выдающеюся прислугою в доме оставили.

Старуха ей отвечает:

«Изволь, и хотя мне это неприятно, но для тебя я се оставлю».

Но во мне уж сердце закипело.

«Нет уж, — думаю я, — голубушки, я и без вас проживу: я птичка-невеличка, но горда, как самый горделивый зверь, и у меня кроме вас по городу много знакомства есть, — я в услужение лакейкой никуда не пойду...» И честное тебе слово даю, что я в ту же минуту хотела потихоньку от них, не прощаясь, со двора сойти, потому что я, ей-богу, как зверь, горда; но вообрази же ты себе, что это не вышло. Ко всему этому случаю подпал еще другой, который и задержал. Пока я стояла на стуле и, на столе взгромоздившись, слушала их советы, жирный кот разыгрался, подхватил мои войлочные туфли, которые я на полу оставила, и начал, мерзавец, швырять их лапой по всему полу.

От этакого пустяка — а меня просто ужас обхватил: заденет, думаю, мерзавец, туфлю за какое-нибудь легкое стуло или табуретку и загремит, и они тогда сейчас сюда взойдут, и какова я им покажусь на своей каланче? куда мне тогда и глаза девать и что выдумать и сказать: зачем я это в здешнем месте, вскочивши на стол, случилась?

Снялась я с великим страхом, чтоб не упасть, и стала кругом на полу ползать — туфли свои искать. Ползла, ползла, весь пол выползла, а туфель не нашла. А между тем страх боюсь, что теперь мать с дочерью совсем поладили и сейчас выйдут и увидят, что меня нет на том диване, где я спала. И как тогда мне при них да через Николая Иваныча комнаты идти? Что подумать могут? Бросилась я без туфель бежать и вернулась на свое место благополучно. Николай Иваныч без воротничков спит, и не храпит, и не ворочается; а я в одних чулках легла на диван и только что притворилась, что будто сплю, как Маргарита с дочерью и взаправду входят.

#### XIV

Маргарита Михайловна спокойным голосом с прохладой велит, чтобы все лампы зажечь и чай подавать, и стала всех будить к чаю, а как ко мне подошла, я говорю: «я сейчас сама встану», и начинаю туфли искать.

А она, как на грех, спрашивает:

«Что ты ищешь?»

«Туфли ищу».

«Где же ты их приставила?»

«На мне они были, на ногах».

«Куда же они с ног могли деться?»

«И сама не знаю».

«Жених, что ли, приходил тебя разувать, — так ведь это только на святках бывает».

«Нет, — я говорю, — женихи ко мне не ходят, а это, быть может, надсмешка».

«Ну, вот еще! Кто будет надсмехаться? Ищите, пожалуйста, все Мартыновнины туфли!»

И что это ей за неотступная забота припала искать — уж и не понимаю. А в это самое время, как на грех, вдруг Николай Иваныч выбегает в трех волнениях из своих комнат и, должно быть, еще не проспавшись или в испуге, кричит:

«У-е-ля хам?\* У-е-ля хам?»

Золовки ему отвечают:

«Что ты, батюшка! что ты!.. Какой Хам?»

А он даже трясется от злости и отвечает:

«Хам — значит женщина!»

Маргарита Михайловна его перекрестила и говорит:

«Какая женщина?»

«Которая мне гадость сделала».

«Что сделала? какую гадость? Небось сказать нельзя?»

А он, как козел, головой замотал и в самом повелительном наклонении:

«Я, — говорит, — всем такой постанов вопроса даю: какая это фибза меня разбудила и на постели у меня вот эту свою туфлю оставила?»

И показывает в руке мою туфель...

Ну, разумеется, всем смешно стало.

А я отвечаю:

«Это туфля моя, но надо знать, как она туда попала».

А он и не слушает.

«Это всякому, — говорит, — известно, как попадает».

А тут мальчишка Егорка, истопник, весь бледный, бежит и кричит:

«У нас в ванной кто-то чем-то с печки швыряется».

Пошли туда, а там в ванной в воде другая моя туфля плавает, а на печке на краю проклятый кот сидит.

«Господи! — воскликнула я, — что же это! если все меня выживают, то мне лучше самой уйти».

А Николай Иваныч поспешает:

«И сделай свою милость, уйди! У нас без тебя согласней будет», — и с тем повернул меня лицом к зеркалу и говорит:

«Ведь ты только посмотришь на себя и сделай постанов вопроса: пристойно ли тебе своими туфлями заигрывать!»

То есть, черт его знает, что он такое в своей пьяной беспамятности понимал, а те дуры такое ко мне приложение приложили, что будто я и у него в комнате и в ванной везде его преследую.

— А может быть, и в самом деле? — протянула Аичка.

— Полно, пожалуйста! Будто же я этак могла сделать, что вдруг одна моя нога в комнате, а другая в ванной!.. Ведь это же и немисливо так растерзать себя! Но представь себе, что ведь старая дура обиделась и начала шептать:

«Я, — говорит, — никого не осуждаю, но для чего же это... непременно в моем доме... и после посещения...»

Я и не вытерпела и с своей стороны фехтовальное жало ей в грудь вонзила.

«Полно, — говорю, — пожалуйста, что такое ваш дом, да еще после посещения!.. Проводили этакое посетителя так, что чуть его не выгнали», — и рассказала, как Клавдия его просила их домом пренебречь, а спешить к людям бедственным.

А Николаю Ивановичу это и за любо стало.

«Так, — говорит, — и следовало: чего он взаправду все здесь? Ему надо к неурожайным полям ехать и большой урожай вымолить, для умножения хлебов. С нашей сытостью ему взаправду и возиться бы стыдно».

Я отвечаю:

«Что же вы всё мне говорите про стыдное! Не я делаю что-то стыдное в вашем доме... а поищите стыдного при себе ближе...»

А Николай Иваныч, как всегда, любит срывать свое зло на ком попало, и вдруг кинулся на меня, как ястреб на цыпленка, и начал душить меня...

— Ах, боже мой! — пожалела Аичка.

— Да, да, да, — продолжала Марья Мартыновна. — Золовки у него меня даже отнять не могли.

Задушил бы, но Клавдия вошла и сказала: «Дядя, прочь!» Совершенно как на пуделя крикнула. Он и оставил. Тогда Маргарита выносит из спальни пятьсот рублей и говорит мне:

«Вот тут, Марья Мартыновна, пятьсот рублей от меня вам награждения, и как вам угодно — хоть эти деньги за свою обиду примите, хоть на Николая Иваныча жалуйтесь, но я, бог с вами, на вас не сержусь, и, если хотите проститься с нами по-хорошему, я вам еще дам, но уходите».

«Я, — говорю, — жаловаться не пойду, потому что я православная».

А Николай Иваныч зарычал:

«Не потому, а ты знаешь, что, пожаловавшись, ты меньше получишь».

«Можете, — говорю, — располагать как хотите, а я не желаю, чтобы на суде произносили священный тип личности наравне с госпожи Клавдии девичьими секретам».

Но тут он спять как сорвется... а Клавдия его схватила и вывела, и сама вышла, а Маргарита подает мне еще триста рублей и говорит:

«Друг сердечный, на, возьми это скорей себе и уходи. Хорошего ждать теперь нечего».

«Я, — говорю, — и не жду».

— А деньги взяли? — спросила Аичка.

— Неужли же им их оставила?

— То-то! А то Клавдинька их своим «бедственным» сволокла бы!

— Разумеется!

Помолчали.

— Так-то вы и называете, что простились «по-хорошему»? — спросила Аичка.

— Да, уложила свои вещи, всё забрала, а им сказала, ошибкою, вместо «покойной ночи» — «упокой вас господи», да и уехала.

— И не жалеете, что так вышло?

— И не жалею, да и жалеть-то грех: они сами себя на все осудили. Каков от них был прием святой ажидации, таково же и им от бота наклонение. Был дом выдающийся в великолепии, а теперь одна катастрофия за другою следует, и жительство их спускается до самого обыкновенного положения. И все через Клавдии Родионовны рояльное воспитание; и никто этого не останавливает — так всех она в свои прелюзии и привлекает.

— Неужли все стали лепить принадлежности? — спросила Аичка.

— Нет, это она одна лепит, и ей теперь даже заказы бюстров заказывают, а она своих семьян привела гораздо в худшие последствия.

— Что же такое, например, с ними сделалось?

— А, например, вот что сделалось: начать с того, что Николай Иваныч, возвратившись раз из своего маскатерства, забыл, про что он позабыл.

— Ну!

— А это оказалось впоследствии, что он позабыл у себя в кармане депеш о том, что к нему завтрашний день сын его Петруша из кругосвета возвращается. Он и возвратился и приехал утром на извозчике, когда его никто не ждал, и отец тогда только вспомнил про депеш и принял сына как нельзя хуже и даже совсем не желал было его видеть.

«Мне, — говорит, — никакой заатлантический дурак не нужен».

Но Клавдия этого Петрушу обласкала, а дяде только левою рукою одним пальцем погрозила, а потом и начала Петинькой руководствовать и привела его к тому, что он вдруг, сам бесприютный, да стал еще просить у отца позволения жениться на той самой Крутильдиной племяннице, за которую его отец выслал. Отец об этом, разумеется, и слышать не хотел, да и немислимо было это допустить, потому что у той в это время еще один проступок был, — и вот чего мы все об этом не знали, а Клавдия Родионовна знала, потому что она, как оказалось, за этою особой следила и отыскала ее в напасти и содерживала у той старушки, куда я ее проследовала, и там ее от всех бед укрывала и навещала, и навела-таки своего двоюродного брата на то, что «вот ты пред ней виноват, потому что через то, что ты ее покинул, она еще раз пала, и ты должен это загладить, и ее взять, и никогда ни в чем ее не укорять, потому что ты сам всем ее бедам виновник». И все опять ему из евангелия, и что он будто ни на ком другой, кроме этой, жениться не смеет, и тем кончила, что сбила его на свое — Петька согласился. И тогда она явилась просить за них дядю и стала ему доказывать, что та очень хорошего сердца, а проступок ее был именно чрез то, что она была брошена.

Старик говорит:

«Стало быть, постанов вопроса такой, что это, по-твоему, хорошо?»

«Не хорошо, — отвечает Клавдия, — но это такое, что вы должны простить, потому что все это произошло через вас; оттого, что кто беспомощную бросает — тот и виноват за нее».

«Где же это писано?»

А она сейчас было за евангелие, но он ее за руку:

«Оставь, — говорит».

«Нет, не оставлю, и если вы будете жестоки и потребуе, чтобы еще раз так же ее оставить, то с нею может быть худшее».

«Что же, — спрашивает, — худшее?»

Она говорит:

«Вы это лучше знаете, что ожидает тех, кого вы сбиваете с честного пути, а потом бросаете. Но вы знайте, что ваш сын теперь не в ваших руках».

«А в чьих же?»

«В тех руках, с кем вы не смее спорить: Петя послушает не вас, а того, кто не дозволил пускать соблазн в мир».

«Так ты его бунтуешь?»

«Я не бунтую, — говорит Клавдия, — а я говорю, что друг друга бросать нельзя! От этого — страданье и грех. После этого Петруше нельзя будет жить с чистой совестью, и я его убедила и еще буду убеждать, чтобы он почитал волю небесного отца выше воли отца земного. А вы если не хотите слушать, что я вам говорю о вечной жизни, то вы умрете вечной смертью».

И заговорила, заговорила, и так его пристрастила и умаяла, что он, как рыба на удочке, рот раскрыл и



отвечать не умеет.

А тут и Петруша стал за ней то же самое повторять, что его совесть три года во всех местах мучила и теперь покою не дает и что он эту преступной девушки вину на своей совести почитает и желает ее и свою жизнь исправить.

Тут Николай Иваныч стал губы кусать и вдруг говорит:

«А это ведь точно, пожалуй, можно и умереть, мы действительно все грешные: зришь на молодую мамзель и сейчас свое исполняешь, как бы ее так обратить, чтобы она завтра была уже не мамзель, а гут морген. Это — подлость всей нашей увертюры; а Клавдя прямо идет! — и благословил сыну подзакониться и вдруг даже мальчика их, своего внучка, очень любить стал и без стеснения всем рекомендовать начал: «Вот это сын мой — европей, а это мой внук подъевропник». Но Крутильда свою гордость выдержала и этого не перенесла, взяла и за своего Альконса замуж вышла, а на Николая Иваныча векселя подала, чтобы его в тюремное содержание.

— Вот эта хороший типун сделала, — отозвалась, засмеясь, Аичка.

— Да. Но Клавдинька дядю в тюрьму не допустила, — у матери уйму денег выпросила: «Это, сказала, будет мне за приданое», и та за него заплатила, и дом продали, а сами стали жить круглый год на фабрике. Так и теперь все круглый год живут в этой щели, и Клавдиньке это очень нравится.

— И красота ее, стало быть, так там и вянет? — спросила Аичка.

— Разумеется, так у дуры все и завянет, но, однако, до сих пор еще очень хороша, злодейка.

— А как же ее Ферштет?

— Ах, с ним оборот так еще всего чище!

— Вышла она за него или не вышла?

— Ничего не вышла!..

— Спятился?..

— Нет, он не спятился, а они оба себя один в другом превзошли, и потом она его на тот свет и отравила.

— Каким же это манером?

— Да никаким!

— Что же, однако, было?

— Да ничего и не было. «Мы, говорит, нашли, что нам не нужно на себя никаких обязательств и иметь семью тоже не надобно». Решили остаться друзьями по своей вере, и довольно с них.

— Что за уроды!

— Оглашенные!

— А как же она его уморила?

— Ничего никто не знал. Вдруг она приходит домой бледная и ничего не рассказывает, а потом оказалось, что он умер.

— Вот и раз!

— Да. Дитя какое-то бедное такую заразность в горле получило, что никто его в доме лечить не хотел, а он по примеру брата пошел и для других все о болезни списал, а сам заразился и умер.

— Очень она убивалась?

— Не знаю, как сказать, — точно каменная. Мать говорила: «Что же, все твой грех знают: если ты бога не стыдилась, так уж людей и стыдиться не стоит, — иди простись с ним, поцелуй его во гробе.

Тебе легче будет». А она тут только зарыдала и на плечи матери вскинулась и говорит: «Мамочка! Я с ним уже простилась...»

— Призналась?

— Да; «когда, говорит, он уходил туда, я его живого поцеловала; прости мне это».

— Значит, всего-навсего и было, что раз один поцеловала?

— Так она сказала.

— Ну, а это-то... про что она раньше-то еще сознавалась?

— Что такое?

— Ну вот, что вы рассказывали...

— Ах, это про родительный в неопределенном наклонении?

— Да.

— А это так и осталось в неопределенном наклонении.

— Как же это так вышло?

— Так, совсем ничего не вышло.

— Значит, вы тогда на нее всё наврали?

— И вовсе не то значит, а значит только то, что я ожидала правильно, чего следует по сложению всех вероятностей, а у них все верченое, и «новую жизнь» она в себе, оказывается, нашла по божеству, как будто Христос их соединяет в одних вечных мыслях. Подумай только, как сметь этакое выдумать и такую святость себе приписывать!

Аичка не скоро процедила в ответ:

— Нет, это пустяки, — а откуда только у них берется терпение, чтобы этак жить!

— Ужас! ужас!.. Ничем, ничем их из себя не выведешь... Какое хочешь огорчение и обиду — они всё снесут, как будто горе земное до них совершенно и не касающее!..

— Донимать их, я думаю, как следует не умеют.

— Это может быть.

— Нет, наверно!

— А ты что бы им хотела?

— На сковородку бы их босыми ножками да пожаривать.

— Вот, вот, вот! Ну, так, говорят, будто это жестокости.

Аичка ничем не отозвалась. Или она засыпала, или, может быть, стала думать о чем-то «в сторону».

XV

Марья Мартыновна встала, куда-то прошлась и опять села на место.

В это время Аичка вздохнула и, по-видимому как будто ни к тому ни к сему, промолвила:

— Словесницы бесплодные!

Марья Мартыновна поняла, к чему это, и подхватила:

— Да, уж именно! Другая какая-нибудь... этакая простой души — живет, и втихомолочку чего только она ни делает, и потихоньку во всем на духу покается, и никто ничего не знает, а эти — что ступят, то стукнут, а потом вдруг лишатся всякого счастья и впоследствии коротают век не для себя, а сами остаются в неопределенном наклонении... Нет, ты мне этот постанов вопроса реши: что с ними делать, чтобы их вывести?

Но Аичка снова молчала, и Марья Мартыновна опять сама заговорила:

— Ну, пускай так, как ты говоришь, что не знают, что с ними делать, я с этим с тобою согласна; но отчего же они такие особенные, что ни слез у них нет, ни моления и жалобы, а принимают всё, что над ними учинится, как будто это так и надобно?

— Притворяются.

— И я то же думаю! Где же, скажи на милость, только что вышла такая катастрофа, жених умер, а она в тот же день, как его схоронили, села работать и завела еще школу, чтобы даром бедных детей учить. Но только одно хорошо, что хоть ты и говоришь, что с ними не знают, что делать, но и им тоже повадки заводить что хотят не дают: ей школу скоро прикончили. И заметь, она и тут тоже опять ничего не томилась и не жаловалась.

— Они закоренелые.

— То-то и есть! Что же с ними поделаешь, когда они такие беспечальные? Ей школу прикрыли, а она теперь всем людям чем только может услуживает, и книжки детям раздает, и сама с ними садится где попало читать.

— И этого не надо позволять.

— И было непозволение, становой и из-за книжек приезжал, чтобы всем ее книжкам повальный обыск сделать, но посмотрел книжечки и все ей оставил, да еще начал и извиняться.

«Я, — говорит, — приказание исполнил, а мне самому совестно».

— Вон тебе как!

— Да еще что! Как она ему ответила, что не обижается, и руку свою подала, так он у нее и руку поцеловал и говорит:

«Простите меня, вы праведница».

— А замуж она, стало быть, так уж и не пойдет?

— Мать ее спрашивала: не дала ли она обет, чтобы после смерти первого жениха ни за какого другого не вы ходить? Она отвечала, что «обета не давала». По-ихнему ведь тоже и обет давать будто не следует. Старуха добивалась, что, может быть, она в разговорах покойнику обещалась ни за кого не выходить? И этого, говорит, нет.

«Ну так, может быть, еще обрадуешь меня, выйдешь замуж?»

И на это тот же ответ:

«Не знаю, мама, но только не думаю».

«Отчего же?»

«Со мной, мама, жить очень трудно».

Сама так и созналась, что с нею жить — ад. А потом в день именин матери такой дар поднесла, что говорит:

«Мамочка! я ваша! я сегодня, в ваш день, решила и подарила себя служить вам и бедным людям. Я замуж не пойду».

Так и остается и так и живет теперь вековушею. Вместо того, чтобы народить своих детей да их в ласке нежить и им свой остаток капитала передать, она собрала опять беспортошную детвору, да одевает их, да поет им про лягушку на дорожке.

## XVI

Собеседницы умолкли, — Марья Мартыновна, вероятно, наслаждалась удовольствием, что довела до конца сказание, в котором ее главный враг, Клавдинька, была опозорена; а Аичка не отзывалась —

может быть, потому, что опять куда-то перенеслась и о чем-то думала.

Это и подтвердилось.

После довольно продолжительной паузы она вздохнула и сказала:

— Как мне это все-таки, однако, удивительно!

— Что такое?

— Представьте, что я у себя точно такого же дурака знаю.

— Мужчину?

— Да, и очень интересный, а вот и в нем сидит точно такая же глупость.

— Что же, как он в своем поле уродует?

— То же самое, как и эта: ничего ему не нужно — ни вкусно есть, ни носить красивое платье, и ничто на свете.

— И любовь женская не нужна?

— Представьте — тоже не нужна!

— Этого никогда быть не может! Это при каком хочешь положении из моды не выходит!

— Нет, то-то и есть, что выходит!

— Ни за что не поверю!

— Да как же вы не верите, когда я вас уверяю!

— А я, моя дорогая, не верю. Мужчину женской фигурой всегда соблазнить можно.

— А я вам, моя дешевая, говорю, что и не соблазните.

Марья Мартыновна как будто поперхнулась, но оправилась и договорила:

— Разумеется, мое время прошло.

— Хоть бы ваше и время не прошло и хоть бы в вас иголки не было, а ничего не убедите...

— Отчего же это?

— Оттого, что у них все нечеловеческое — они красоту совсем не обожают, а ищут всё себе чего-то по мысли, и потому если из них кого полюбить, то с ними выйдет только одно неудовольствие.

— А он тебе очень нравится?

— Почему вы знаете?

— Неужли же не видно! Ты тем все и портишь, что свои чувства ему оказала.

— Ничего я не порчу, а я ему просто противна.

— Как нищему гривна?

— Нет, совсем противна.

— Как же этакая молодая, богатая — и противна? Что же это за дурак выдающийся!

— Не дурак, а вот в этом же самом роде, как ваша Клавдинька: все тоже смотрит в евангелие и все чтоб ему жить просто да чтоб работать и о гольтепе думать, — и в этом все его пустое удовольствие.

— И будто уж нельзя его всем твоим капиталом привлечь?

— Ах, да на что ему капитал, когда ему больше того, что есть, ничего не надобно! Ему вкусный кусок положите, а он отвечает: «Не надо, я уже насытился»; за здоровье попросите выпить, а он отвечает: «Зачем же пить? — я не жажду»!

— Ну, что это взаправду за уродство!

— Да, я так жить ни за что не хочу.

— Разумеется; пусть он себе берет такую и жену, к их фасону подходящую.

Но Раичка, услышав это, вскрикнула:

— Что-о-о! — И сейчас же резко добавила, что она этого никогда не позволит.

— Лучше на столе под полотном его увижу, чем с другою!

— Что же, и это можно, — успокоила ее мирным тоном Мартыниха.

Раичка понизила голос:

— То есть что же... разве вы это можете?

— Под полотно положить?

— Да... но ведь за это отвечать можно.

— Стоит только ему рубашку выстирать да на ночь дать одеть... вот и все.

— Ишь какая вы вредная!

— Да ведь я это для тебя же! — сконфуженно остановила ее Мартыниха.

— Нет, а как вы смели для меня это подумать! Рубашку вымыть!

— Ну, оставь, пожалуйста: видишь, чай, что я пошутила!

— Пошутила!.. Нет, вы думали, что уж влюбленную дуру нашли, и я вам дам такое поручение, что в ваших руках буду! Я не дура!

— Да кто ж тебе говорит, моя дорогая, что ты дура!

— То-то и есть, моя дешевая!

— Фу ты господи!

— Да, да, да.

— Так как же ты жить хочешь?

— Чтобы он был мой муж и жил, как я хочу, и больше ничего.

— Так ты бы ему лучше прямо так и изъяснила, что: «люблю и женись!»

— И вот, представьте же себе, что я уже до этой низости дошла, что и изъяснилась.

— И что же он — возвеличился?

— Нимало, а только пожал мне руку и говорит: «Раиса Игнатьевна, вы на этот счет ошибаетесь!»

Меня даже в истерику и в слезы бросило, и я говорю: «Нет, я вас люблю и весь капитал вам отдам».

А он...

Аичка вдруг всхлипнула и заплакала.

— Полно, полно, приятненькая, убиваться! — попросила ее Марья Мартыновна.

— Не гладьте меня, я не люблю! — скапризничала Аичка.

— Ну, хорошо, хорошо, я не буду. Что же он тебе сказал?

— Не верит, дурак.

Послышались опять слезы.

— Ну, значит, он или бесчувственный, или беспонятный, — решила Марья Мартыновна.

— Нет, он не бесчувственный и даже очень понятный; а он говорит: «Вы в ваших чувствах ошибаетесь — это вы мою презренную плоть любите и хотите со мною своих свиной попасти, а самого меня вы не любите и не можете меня полюбить, потому что мы с вами несогласных мыслей и на разных хозяев работаем; а я хочу работать своему хозяину, а свиной с вами пасти не желаю».

— Что же это такое?.. И к чему это?.. Каких свиной пасти и на каких разных хозяев работать? — протянула недоуменно Марья Мартыновна.

— А вот в том и дело, что если не понимаете, то и не спорьте! — дрожащим от гнева голосом

откликнулась Аичка и через минуту еще сердитее добавила: — По-ихнему, любовью утешаться — это значит «свиной пасти».

— Тьфу!

Мартыновна громко плюнула и вскрикнула:

— Свињи! Ей-богу, они сами свињи!

— Да, — отвечала Аичка, — и он еще хуже говорил... Он ответит...

— За что, приятная, за что? Что он еще... чем тебя оскорбил?

— Он меня ужасно оскорбил... он сказал, что я не христианка, что со мною христианину жить нельзя и нельзя детей в христианстве воспитывать...

— Ах, за это ответит!

— Да, я ему это и сказала: «Я говею и сообщаюсь, а вы никогда... Кто из нас — христианин?»

— Он ответит.

— А я своего характера не переломлю!

— И не ломай! Что их еще баловать!

— Я ему сказала, что я ожесточусь, и лучше кому захочу, тому все богатство и отдам, но только я по-своему отдам, а не по-ихнему.

— Вот я теперь тебя и поняла... зачем ты сюда приехала! Конечно, тебя тут на руках носить будут!

— Очень мне нужно их ношенье! Но только вы ничего и не поняли!

— Нет, ты теперь проговорила.

— Ни капли я не проговорила. Я просто буду пробовать: верно ли это, что здесь можно умолить, чтоб в нем сердце затомилось и все стало — как я хочу.

Но Марья Мартыновна на этом Аичку перебила.

— Ангел мой! — воскликнула она живо, — здесь умолить можно все; здешнее место — все равно что гора Фавор\*, но только должно тебе знать, что бог ведь на зло молящему не помогает!

Аичка совсем рассердилась.

— Что вы за глупости говорите! — вскричала она, — какое же здесь «на зло молящее», когда я хочу его от бессемейного одиночества в закон брака привести и потом так сделать, чтобы он любил непременно все то, что все люди любят.

— Да, то есть чтобы он не косоротился бы к простоте, а искал бы себе прямо не одно душеполезное, но и телополезное?

— Вот и только!

— Да, если только в этом, то это, конечно, благословенный закон супружества, и в таком случае бог тебе наверно поможет!

— Да, а вы, пожалуйста, теперь уж дальше замолчите, потому что скоро будет рассвет, и я очень расстроилась и буду бледная.

Шехерезада умолкла. Соседки больше ничего не говорили и, может быть, уснули; последовав их благоразумному примеру, заснул перед утром немножко и я, но потом вскоре снова проснулся, оставил на столе деньги за свою «ажидацию» и уехал из Рима, не видав самого папы...

А поездка эта все-таки принесла мне пользу: мне стало веселее. Я как будто побогател впечатлениями, — и теперь, когда мне случается возвращаться ночью по купеческим улицам и видеть теплящиеся в их домах разноцветные лампы, я уже не воображаю себе там одних

бесстыжих притворщиц или робких и безнадежных плакс «темного царства», а мне сдается, будто там уже дышит бодрый дух Клавдиньки, дающий ресурс к жизни во всяком положении, в котором высшей воле угодно усовершенствовать в борьбе со тьмою все рожденное от света.

Юдоль\*

(Рапсодия\*)

Совеща бог смириться горе и юдолиям исполниться в равень земную\*.

Теперь (с наступлением весны 1892 года) мы можем сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положение, какое подготовили нам наше плохое хозяйство и неурожай прошлого лета!.. Беда сошла с рук сравнительно легко. Страдания поселян, описываемые корреспондентами современных изданий, конечно были велики и, как говорят, — «вопиют к небу»; но «ужас» впечатления, какое эти описания производят, очень слаб в сравнении с тем, что сохраняет в несвязных отрывках память о прошлых голодовках, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людям, «избывавшим от глада».

О том, что было при исторических голодовках, упоминаемых в летописях и истории, то более или менее известно по тем описаниям, но у нас были голодовки в позднейшей поре, которую в литературе принято именовать «глухою порою», — и они не описывались, а потому воспоминания об этих голодовках, хотя и не очень обстоятельные, думается, были бы не лишни.

Сотрудник одной из нынешних петербургских газет, посетивши неурожайные местности России зимою 1892 года, имел случай беседовать о той поре с известным старожилом Орловской губернии — помещиком и владельцем знаменитого хрустального завода генералом С. И. Мальцевым, и «генерал, помнящий старинные голодовки», в разговорах с упомянутым писателем «удивлялся, как мы далеко ушли вперед». В удивлении этом он отмечал то, что «теперь о голоде говорит вся Россия, и раньше всех на него указало само правительство. Не то было сорок — пятьдесят лет тому назад. Тогда также случались неурожай, но о них могли знать лишь министры да разве сама голодающая масса. «Я тогда, — говорил генерал Мальцев, — представил проект обеспечения народного продовольствия. Император Николай Павлович весьма сочувственно отнесся к проекту, и я решил напечатать его, но ни одна типография не согласилась взять мою рукопись для набора...» Генералу «удалось напечатать свой проект только благодаря покровительству принца Петра Георгиевича Ольденбургского\*». (См. Неделя, 19 апреля 1892 г., № 16.)

С такими необыкновенными усилиями мог быть напечатан сорок лет тому назад «проект» о мерах против голода в народе; но описаний, как люди переживали этот голод, совсем не могло появиться в печати, и, что еще удивительнее, — их вероятно никто и не писал, потому что сии не появлялись даже и в последующие за тем годы, когда положение русской печати стало сравнительно немножко свободнее.

Во время страшного по своим ужасам «голодного (1840) года» я был ребенком, но однако я кое-что помню, — по крайней мере по отношению к той местности, где была деревенька моих родителей — в Орловском уезде Орловской же губернии. Значительно более того, что я помню из тогдашнего времени, как непосредственный свидетель событий, я слышал многое после от старших, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались к этому ужасному времени со своими воспоминаниями в рассказах по тому или другому подходившему случаю.

Разумеется, все эти нынешние мои воспоминания охватывают один небольшой район нашей

ближайшей местности (Орловский, Мценский и Малоархангельский уезды) и отражаются в моей памяти только в той форме, в какой они могли быть доступны «барчуку», жившему под родительским крылом, в защищенном от бедствия господском доме, — и потом воспоминания эти так неполны, бессвязны, отрывочны и поверхностны, что они отнюдь не могут представить многостороннюю картину народного бедствия, но в них все-таки, может быть, найдется нечто пригодное к тому, чтобы представить хоть кое-что из тех обстоятельств, какими сопровождалась ужасная зима в глухой, бесхлебной деревеньке сороковых годов.

Словом, я решился набросать на бумагу то, что уцелело в моей памяти о давней голодовке, относящейся к той поре, о которой упомянул генерал Мальцев, и, приступая к этому, я вперед прошу у моих читателей снисхождения к скудости и отрывочности моего описания. Я предлагаю только то, что могу вспомнить и о чем теперь можно говорить бесстрастно и даже с отрадою, к которой дает возможность наш нынешний благополучный выход из угрожавшей нам беды.

Воспоминания мои будут не столько воспоминания об общей голодовке 1840 года, сколько частные заметки о том, что случилось голодною зимою этого года в нашей деревеньке и по соседству.

I

Первыми предвозвестительницами горя — как это ни странно — были старухи, которые видели нехорошие сны. Это началось с половины великого поста. Самою страшною сновидицею была наша птичница, гордая женщина из больших однодворок, по имени Аграфена Петровна. Я помню, как отец один раз, придя к столу, за которым все мы сидели у вечернего чая, сказал матери, что сейчас, когда он распорядился работами, староста Дементий объявил ему, что мужики боятся сеять «яровые», потому что птичница Аграфена и другие старухи на деревне «прорекуют голод», и поэтому страшно, что семена в земле пропадут.

— Но ведь это глупо! — возразила мать.

Отец пожал плечами и ответил:

— Да; это неразумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая в мое детство у нас об этом тоже заговорили еще перед весною, и притом также с бабьего голоса, а потом и в самом деле вышел неурожай. Мужикам я, разумеется, не позволю не сеять ярового, и если они не захотят, то я засею их поле собственными семенами и потом из будущего урожая отберу у них семена назад. Я уж это объявил Дементию и приказал ему, чтобы повестил сновидящим старухам, которые станут прорекать о голодном годе, что я этих пророчиц отряжу на всю весну индейт и утят от коршунов караулить. А тебе советую о том же самом построже сказать Аграфене, так как она всем этим пророчествам, говорят, самая главная заводчица.

Матушка была характера скорого и нетерпеливого: она сейчас же велела позвать к себе Аграфену с тем, чтобы спросить ее: отчего она начала пророчествовать голодный год, и потом сказать ей, чтобы более не пророчила.

А как я и брат мой и старшая сестра были в это время уже просвещены грамотою и знали по «Ста четырем священным историям», что пророчество есть «свыше посылаемый дар дивный и таинственный», то нам, разумеется, было в высшей степени любопытно знать, как этот дар спустился на нашу Аграфену и как наша мать возбранит в ней этому дару.

Аграфена же и сама по себе была личность интересная и пользовалась во дворе особыми правами, присвоенными ей превосходством рождения, возвышавшего ее среди совершенно бесправных



крепостных людей. Аграфена, как сказано, была из людей вольных и вышла замуж за нашего крепостного сапожника Абрама, который вскоре умер, оставив ей двух детей: сына Егорку и дочь Василису, или Васёнку, которой теперь только исполнилось четыре года. Оба они, как рожденные от крепостного отца, были «крепки своему владельцу». Со смертью мужа Аграфена могла от нас удалиться, но ради любви к своим «крепостным» детям оставалась при них и служила как крепостная, но, в отличие от крепостных «понёвниц», она носила красную юбку, какие в нашем месте носили однодворки\*, а крепостные не носили. Кроме того, Аграфена была честна и горда — она не сносила ни малейшего подозрения и считала себя вправе вступаться за свою честь. Ее надо было все «гладить по головке», — иначе она грубила.

Так случилось и тут, когда матушка позвала ее не в урочное время из ее жаркой птичной избы в покои.

Аграфена пришла недовольная и нехотя отвечала на вопросы, предложенные ей для претекста\* о сколотнях\* и пахтанье\*, а когда матушка спросила ее: «Какие ты видишь сны?» — Аграфена отвечала ей:

— Какие приснятся.

— А зачем же ты голод пророчишь?

— А отчего же не пророчить? Вестимо уж что когда хлеба не будет, так голод будет.

— Да почему?.. Что тебе снится... что делается?

— Что ни снится и что ни делается, а все теперь будет к голоду, и я с детьми пропаду... уйду отселева. И слава те господи! — отвечала Аграфена и ничего более не пояснила, а между тем слова ее тут же были поддержаны обстоятельствами.

## II

Приближалось благовещение, когда у нас было в обычае печь при церквах «черные просвиры» из ржаной муки, подсеянной на чистое сито. Муку эту приходское духовенство собирало с прихода, и за сбором этим разъезжал на своей лошади высокий старый дьячок, имя которого я теперь позабыл, но его все называли «Аллилуй». Он во всем причте пользовался авторитетом по церковному хозяйству и обыкновенно перед праздниками обметал веником иконостас и собственноручно мыл пол в алтаре и чистил лампы, и под его же надзором усердные бабы по обещанию вымывали полы в остальной церкви; он же и «отстреливал голубей», которые прилетали на колокольню и марали колокола; а его дьячиха — престарелая «Аллилуева жена», пекла «благовещенские просвиры», о которых надо сказать два слова в объяснение.

«Благовещенские просвиры» — это совсем не то же самое, что обыкновенные просфоры, которые изготовлялись для проскомидии\*. Проскомидийные просфоры изготовлялись из пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и делались высокенькие, столбушками, по общепринятому образцу, и печатались «именословною печатью» на верхней корке, а эти — благовещенские — делались просто «кулабушками» или «катышками» из «черной», сборной муки и уподоблялись настоящим просфорам только тем, что наверху у них тоже оттискивалась именословная печать. Они не требовались каким-либо церковным правилом, а только допускались, или, точнее сказать, были терпимы во уважение «крепкой привычки народа».

Люди требовали, чтобы эти просфоры сыпали в толпу сверху с колокольни, и в толпе их ловили руками — кто только схватит.

При этом разгуливалась сила и удаль: просвиры не «по чести», а «силом» брали — «кто сколько вырвет», а оттого людям этот обычай нравился.

Просфорня-вдовица «благовещенских просвир» печь не могла, потому что она была старушка слабенькая и вымесить в деже большой раствор была не в состоянии. А потому она ездила только собирать на просвиры и приходила с печатью их «знаменить», но ставила их и выделывала Аллилуева жена.

Никаким обычаям и правилам это было не противно.

В этот год Аллилуй по обыкновению объехал с просфорнею прихожан и собрал муки и променял ее у мельника на муку одинакового размола (так как из сборной муки разного поля и неровного размола печь неудобно, потому что она неровно закисает и трудно подходит), а затем Аллилуева жена растворила в деже муку и ночью подбила тесто, которое всходило прекрасно, как следует, а еще после затопила печь и перед тем, как наступила пора разваливать тесто и «знаменать просвиры печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой была печать; но едва она вышла со своего двора, как увидела мужа, беспокойно бежавшего к дому священника, с лицом до неузнаваемости измененным от ужаса. Дьячиха окликнула мужа и хотела его расспросить, но он сердито замахал на нее обеими руками и еще сильнее напрягся бежать к Ипполитову дому. Но так как Аллилуева жена была родом из Севского уезда, где уже есть «глуховский дух поведенции», то есть уже ощущается малороссийский обычай женского господства в семействе, то она забыла, зачем шла, а переняла Аллилую на пути и сказала:

— Это еще что за новости! Или я тебе не законная жена? Говори, что случилось!..

Аллилуй отвечал, что случилась беда.

— А какая?

— А такая, что баба-дулеба\* стала, вымывши амвон, начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины сквозь двери в алтарь просунулась...

— Кто же это видел?

— Никто кроме меня не видал.

— Ну так и иди с господом богом, — отпусти баб и займися сам один каким-нибудь делом посерьезнее, а на это и язык прикуси.

— Хорошо, — отвечал Аллилуй, — дай мне чепурушечку выпить, и я взаправду послушаю тебя — прикушу язык.

Дьячиха налила ему чепурушечку, и Аллилуй подкрепился и пошел опять к храму, а жена его тоже, поправясь маленькой чашечкой, вышла вместе с ним и отправилась к учрежденной вдовице — звать ее «знаменить». Тут они тоже между собою покалякали и когда вышли вдвоем, имея при себе печать на знаменования, то Аллилуева жена на половине дороги к дому вдруг услышала ни на что не похожий удар в несколько младших колоколов и тотчас же увидела людей, которые бежали к колокольне и кричали: «Аллилуй разбился!»

Несчастливая женщина бросилась туда и нашла своего мужа простертым на земле и при последнем издыхании: он лежал не дыша, с закотившимися под лоб глазами и с окровавленным ртом, из которого торчал синий кусочек закусенного зубами языка.

Дело произошло так, что Аллилуй, не желая более видеть неловких деревенских баб, пошел исполнить другую работу и хотел очистить засиженные птицами колокола; он делал это, держась за

веревочки и стоя сапогами на перилах, с которых он покачнулся, упал и разбился до смерти. Пришел священник, отец Ипполит, по фамилии Мирдаров, — дал Аллилуею так называемую «глухую исповедь», а потом положил ему в рот причастие и тут же сразу прочел ему и отходную.

Все это было делом непродолжительным, но и химический закон в деже с растворенною мукою тоже не медлил и совершал безостановочно свое дело: назначенное для благовещенских просфор тесто ушло из дежи и расплзлось на полу. В него только ноги перепачкали люди, принесшие Аллилуево тело, а просфор печь было не из чего... Весь приход остался без просфор, а это составляло случай в жизни крестьян небывалый, потому что у нас все были люди набожные и ни один крестьянин не выходил сеять без того, чтобы у него в «севалке», то есть в круглой лубочной коробке с зернами, не было благовещенской просфоры.

Теперь же первый раз приходилось сеять без просфор, а это добра не обещало. Притом случай с бабой-дулебой, которая просунулась в алтарь, тоже огласился: Аллилуева жена, когда стала в голос «причитать» над мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего пагубного самовластия и раскричала на весь крещеный мир, что муж ее Аллилуй был человек праведный и не хотел утаить, что «дулеба» в алтарь просунулась, а она его отвела от этого, и за то господь покарал ее праведно: взял от нее совсем к себе на тот свет Аллилуя.

Тут, узнав этакую вещь от Аллилуевой жены, ахнуло и все приходское христианство, и были такие мнения, что бабу-дулебу надлежит убить за то, что она «в елтарь сунулась»; но дулеба, к счастью, скоро об этом услышала и хорошо собою распорядилась, потому что пристала к беглым, проходившим «в вольный Николаев град», бывший тогда для многих русских людей «градом убежища». Этим дулеба спасла людей от греха, а себя от преждевременной смерти. Во всяком же случае люди были окончательно обескуражены как тем, что у них в приходе «баба в елтарь вскочила», так и тем, что после этого пришлось сеять без просвир, — даром это в судьбах мира пройти не могло, — и предчувствия, что год предстоит «голодный», стали переходить в уверенность. О том, что предстоящее лето может принести хороший урожай, с мужиками нельзя было и спорить: они веровали, что год будет голодный, и не хотели сеять ни овса, ни гречи, ни проса.

— Для чего сеять, когда все пропадет, и семян не сберешь!

В нескольких господских имениях такое упорство крестьян было строго наказано; но мужики претерпевали, но не сеялись; кое-где они «скрыли семена», побросав их в мешках в картофельные ямы или овины, или спустили в подполья изб и в другие скрытные места.

Мой отец к крутым, понудительным мерам не обращался, то есть «людей не стегал», как говорили мужики, но он настоял на том, что крестьяне должны были вспахать свои участки земли в яровых клинах и засеяли их выданными им заимообразными семенами, с обязательством возвратить семена из урожая. Но возвращать было не из чего: просфорное тесто ушло даром — никакого урожая не было. Все посеянное пропало.

И как пропало! с какою-то злою иронией или с насмешкою, «точно шут шутит».

Взошло все густо и сильно, включилось так, что уже на Юрьев день (23 апреля), когда скот выгнали первый раз с образами в поле, земля была укрыта сплошною рослою зеленью, — и зелень была такая ядреная, что ею не только наедались досыта тонкогубые овцы, но и коровы прибавили от себя удою. К Вознесеньеву дню грач в темно-синих озимых зеленях прятался, и сообразно тому «князем восходил» брошенный «в грязь» овес\* и поднимались из земли посеянные злаки, как вдруг в то

время, когда наступила пора рассаживать на грядках выращенную в рассадниках капусту, стали слышаться жалобы, что «стало сушить». Рассаду и другие огородины «отливали водой», которую таскали на себе в худых ведрах бабы, а ребяташки в кувшинчиках; но «было не отлиться» — сушь «лубенила землю», и слышалось ужасное слово:

— Сожгло!..

Тут, увидев беду, «ударилась к богу», начали «звать попов и служить на полях молебны».

Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлеба, то на яровые, но засуха стояла безотменно.

Стали обращаться к колдунам и знахарям — к доморощенным мастерам черной и белой магии, из которых одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на лист глухой крапивы и дули пылью по ветру, а другие выносили откуда-то свои обглоданные избенными прусаками иконки в лес и там перед ними шептали, обливали их водою и оставляли ночевать на дереве, — но дождя все-таки не было, и даже прекратились росы.

Бедая становилась неминуемою... Провозглашено было «покаяние» и объявлен запрет на всякие удовольствия и радости.

Веревки на вислых качелях, на улице, закинули вверх, чтобы не качались; не позволяли девкам «водить танки\*» и «играть (петь) песни»; били ребят, которые играли в казанки\* и в свайку. Только один пастух, «косолапый Фоська», имел право «вызывать на дудке», но и его самодельная липовая дудка, вызывая коров, издавала слишком унылые и неприятные звуки: это заметили, должно быть, сами коровы и не шли на вызов косолапого Фоськи, потому что он уже давно их обманывал и выгонял их на поле, на котором им нечего было взять.

В народе стало усиливаться мрачное озлобление: мужья ни за что и ни про что били жен, старики обижали ребят и невесток, и все друг друга укоряли хлебом, и один на другого всё призывали «пропасть»: «О, нет на вас пропасти!»

Явилась и она, явилась «пропасть» — совершилось общественное преступление.

### III

Пришел откуда-то «незнамый человек»; переночевав у мужичка, он послушал рассказов о горезлосчастии от бездождия и сказал, что он это дело знает, — что в этой беде попы не помогут, а надо выйти в поле с зажженной свечой, сделанной из сала опившегося человека, «схороненного на распутье дорог, без креста и без пастыря».

«Незнамый человек» был запаслив, и в сумке у него как раз оказался огарок такой свечи, какая требовалась. Прежде она была у него длинная, но он ее уже «пожег во многих местах», где было такое же бездождие, и везде будто там «дожди пролили».

Захожему собрали с мира яиц и шесть гривен денег и пошли с ним «молитвить» на поле ночью. Он «читал Отчу» и еще какую-то молитву, и «махал навкрест» зажженной свечой из человеческого сала, и велел к утру ждать росы, а «со полден тучи», — но только чтобы «ей не мешать», а то она может поворотить в другую сторону.

Затем этот человек тут же и ушел темной ночью.

Росы к утру не было, но о полднях небо потемнело и начало будто тучиться. Вскоре и в самом деле за Долгим лесом, принадлежавшим соседнему имению, стало густеть и появилась туча, но какая-то удивительная: вышла и стала на одном месте и дальше не двигалась.

Три мужика, бывшие на поле, долго не могли понять причину, почему туча не шла далее, но, наконец, догляделись и поняли.

Этому виноват был Егор Кожиён — шорник, который ходил по деревням со своею работою. Он был хороший мастер и отлично шил шлеи и хомуты, но человек был необстоятельный, и на выработанные деньги пьянствовал иногда с таким великим усердием, что пропивал с себя все, и внутри себя утрачивал весь разум, и тогда страдал от разнообразных страхов, беспокойно разыгрывавшихся в его воспаленном мозгу.

Более всего пьяного Кожиёна преследовал «черный бык», который обыкновенно стремился на него откуда-то издалеча и все хотел поднять его на рога и перекинуть через свою спину в тартарары. Увидав этого хронически преследовавшего врага, Егор Кожиён сейчас же от него бежал куда глаза глядят, но бык вдруг неожиданно опять появлялся перед ним впереди, и тогда Кожиён останавливался в ужасе, трясая, махал руками и кричал: «Тпружи! тпружи!» Если ему удавалось увернуться, то он бросался в противоположную сторону, а как и там тоже появлялся тот же самый призрак его больного воображения, то шорник метался по полям из стороны в сторону до тех пор, пока где-нибудь бык его настигал, и тогда Кожиён старался уж только о том, чтобы пасть ему между рогами и обхватить руками его за шею.

Это было отчаянное, но единственное средство спасения, которое уже не раз избавляло Кожиёна от смерти на рогах чудовища. Как он, бывало, заляжет у быка между рог, так тот его носит на голове, пока измается, и тогда сбросит его на землю, а сам убежит, а Кожиён после выпится, чувствует себя как после качки на море и «кунежится» — ищет, чтобы его пожалели: «Преставь-те, — просит, — меня либо к матери божией — она мне заступница, либо пойдете в кабак — мне целовальник в долг даст».

Его находили недостойным вести к образу и обыкновенно отводили в кабак, где он опохмелялся у знакомого целовальника и поправлялся.

То же самое заходило у него и теперь, когда его заметили в поле три мужика, наблюдавшие тучу за Долгим лесом. Егор в ужасе бежал от своего быка и махал на него руками, крича: «Тпружи! тпружи!»

Он бежал теперь как раз против тучи, и ни к кому прямее, как к ней, относились его отгоняющие крики и жесты, и... его не стало.

О ту пору, как с Кожиёном это в последний раз сделалось, на том же поле, где был он и три мужика, случились еще две небольшие крестьянские девочки, которые пришли на заросшую межу ломать полынь для веников. Завидев скакавшего и кричавшего Кожиёна, девочки испугались и залегли в полынь и видели, как Кожиён упал на межу и как к нему тут же вскоре подошли три мужика и подняли его и старались поставить его на ноги, но он не становился, а плакал и голосил: «Ведите меня к божией матери!» Тогда третий мужик взял Кожиёна за ноги, и все втроем они шибко пронесли его в лес, где есть густо заросший овраг, и там сразу произошло какое-то несогласие, и Кожиён навздрых\* закричал: «За что меня лобаните?..» И с тем все утихло, а потом мужички к ручейку спустились и у того ручья мыться стали.

Перепуганные же девчонки всё на меже в полыни сидели до вечера, притаившись как зайчики, и сами себе не могли сказать — чего они испугались; а когда солнце стало заходить за тот самый лес, куда унесли Кожиёна «лобанить\*», — девчонкам сделалось «еще больше ужасно», и они выскочили

и бросились бежать в деревню без веников, за что их встретили с строгостью — оттрепали за косы и пообещали еще «выдрать крапивою», отчего они и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще худшего.

Так Кожиёна бык забодал и на рогах забросил.

С той поры уже никто и нигде не видал шатающегося шорника Егора, — и как не нужен был ему паспорт, так не нужна была ему и могила; но в память его были совершены некоторые немаловажные дела.

#### IV

У нас на чищобе, недалеко за гуменником, стоял дрянной сараишко, который называли «старым половнем», хотя он никогда никакого «гуменного» назначения не исполнял и даже для него не годился.

Сараишко этот огородили для себя смоленские «копачи», или «грабари», приходившие выкорчевывать пни от сведенного на этом месте леса. Копачи, окончив свою работу, ушли, а стороженный ими дрянной сараишко оставался неразобраным, может быть потому, что дрянной материал, из которого он был сколочен, не стоил и разбора.

Крыша сарая давно вся сотлела и просетилась, воротища упали и висели на одной «пятке», и никто в этот сарай не ходил, кроме солдатки Наташки, которую, впрочем, велено было гонять отовсюду. И вдруг в одну ночь этот так называемый «старый половень» сгорел, как свечка!

Было тихо и темно, и вдруг в то самое время, когда мы поужинали, — значит, часу в одиннадцатом, — небо озарилось теплым и очень приятным желтовато-розовым светом.

Сначала всем показалось, что это будто так восходит «рыжая луна», но оказалось, что это старый половень горит.

На пожар успели сбежаться многие, но половня не растаскивали и не заливали, так как отец считал его ничего не стоящим; но хозяину, однако, был интерес узнать: отчего могла загореться эта необитаемая и никому не нужная постройка?

Думали сначала на цыган или на поляков, но ни цыган, ни поляков нигде не видали; потом падала мысль на поводырей слепого Нефедя, которые курили трубку, но Нефед и его слепой товарищ и их поводыри, оказалось, «пели Лазаря», где-то далеко у чудотворца на празднике, и тогда староста Дементий — старовер и враг курения — подал мысль, что не виновен ли в этом кто-нибудь из молодых «трубокуров», и это первое подозрение Дементий обобщил с другими известными ему подозрениями насчет маленькой солдатки Наташки — шустрой бабенки с огромным *renommée*[3] всесветной куртизанки, из-за которой в деревне было много беспорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми.

Дементий Васильич непременно хотел по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострелять\*», до чего он, как коренной «начальник» старого фасона, был большой любитель; но когда он захотел «пострелять» кучерявого сиротинку Вукола, то отколь ни возьмись появилась сама солдатка Наташка и закричала:

— Не смей трогать Вукошку — это не он... я видела, кто половень сжег.

И Наташка вдруг, не обинуясь, назвала трех самых обстоятельных хозяев в деревне...

И те были призваны и повинились, что они действительно были в «старом половне» со свечой из Кожиёнова сала и, вероятно, как-нибудь по неосторожности, и проч.

Дело было уже не в том, как они заронили огонь в половне, а в том: отчего было произнесено упоминание о «свече из Кожиёнова сала»?

Все это сейчас же окутал густой мрак самой тщательно скрываемой тайны: отец взял всех трех мужиков к себе в кабинет и заперся с ними на ключ вместе со старостой Дементием. И о чем они там говорили — никто не слышал; но, конечно, все отлично знали, в чем это дело, и обстоятельнее всех исследовали его именно женщины, имевшие смелость спуститься на самое дно глубокого оврага в Долгом лесу, и там под хворостом и сухою листвою прошлогоднего листопада рассмотрели сильно разложившийся труп, который вся деревня единогласно признала за труп шорника Кожиёна. Из Кожиёнова тука все «внутреннее сало» было уже «соскоблено», и из него, по всем вероятностям, наделано достаточное количество свеч, сожженных в разных местах, может быть, с подобным же результатом, как случилось и у нас в половне.

Тогда отец увидел, что дело может принять очень серьезный оборот, и поехал к соседу, которому принадлежал Долгий лес. Помещик этот, старик, бывший когда-то моряк и капитан второго ранга, жил нелюдимо в сообществе трех крепостных женщин, вместе с которыми и сам состоял под надзором четвертой, которая дирижировала весь круг его жизни. Событие в Долгом лесу вывело моряка из его зависимого состояния и подвигло к собственной инициативе, по которой он условился с отцом так, чтобы: есть или нет в лесу убитый — о том им обоим благородно и чинно ничего не знать, и кто такой там есть — этого не разыскивать, а для освежения чувства в людях, которые, очевидно, очень набожны, но только не знают, что им делать, — пригласить из трех сел трех священников... и сделать это как бы... при опасно больном консилиуме... Отслужить соборне три молебна — в саду, на лугу и на поле, и быть всем вместе, дворянам и мужикам... и потом — угощение.

Отец на это согласился, и все предположенное к исполнению «для освежения чувств в народе» должно было происходить «на общих межах», по-соседски, но «выход» должен был быть от нас и у нас же быть «консилиуму» и угощению.

— Так как у вас, — сказал отцу моряк, — есть дома законная супруга, а у меня на этот счет одно беззаконие.

И торжество было отправлено у нас. Приглашен был еще один сосед, майор Алымов, тоже холостяк и с «репутацией», но молодой по летам, говорун и щеголь довольно дурного тона. Капитан второго ранга, вероятно, нехорошо был о нем наслышан и не хотел с ним сблизиться; ему даже неприятно было стоять рядом с майором за молебном, и Алымов это заметил и «начихал на него»: он отошел от горделивого моряка и, переступя поближе к дьячкам, стал задувать с ними вместе не в такт, но очень громким и звонким голосом: «Даждь дождь земле алчущей, спасе!» Раз от раза он все хватал это смелее и громче и очень этим угодил и крестьянам и духовенству, с представителями которого он еще более сошелся за столом, где опять несколько раз поднимался и пел: «Даждь дождь земле алчущей, спасе!» Этим Алымов ввел у нас прошение о дожде в такое распространение, что после у нас в доме все по целым дням пели: «Даждь дождь земле, спасе!» Но больше всех в этом упражнялись мы, дети: мы в своем молитвенном напряжении даже превзошли старших тем, что устроили себе из няниных фартуков ризы, а из свивальников орари\*, и все облачились да пели: «Даждь дождь». Нам это очень нравилось, но прислуге мы надоели, и служение наше было расстроено тем, что нянька отобрала у нас облачения и сказала:

— Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нужен: настала пора убирать, а убирать нечего: голодный год пришел уже!

Это было для нас ужаснее открытие! Мы и не заметили, что он уже пришел. Когда же это случилось? Мы всё еще просили «отвратить праведный гнев, на ны движимый», и напитать людей, «яко же птицами онеми», а тут уже все кончено: готово созревшее поле, на котором «стоит колос от колоса так, что не слышать человеческого голоса, а сжатый сноп от снопа — день езды».

Пришел голодный год! «Съедим, что зародилось, и умрем», — говорили мужики и пекли еще из новины лепешки и наварили к усенью браги, а с богородичного рождества некоторые несмело стали отлучаться... Спросите — куда? Сначала был еще стыд в этом сознаваться — отлучки эти скрывались: люди уходили из села и возвращались домой в потемочках, «чтобы сумы не было видно», — но голод и нужда возрастали, и к покрову все друг о друге стали знать, что всем есть нечего и что «всем надо идти побираться».

V

Кто хотел бы составлять себе представление о деревенском голоде, бывшем в сороковом году, по тем явлениям, какие можно было наблюдать прошлой зимой, 1892 года, когда народные страдания были облегчаемы дружными усилиями разумных и добрых людей, тот получил бы очень неверное понятие о том, как страдал народ при тех порядках беспомощия, о которых вспомнул генерал Мальцев. Таких забот, какие прилагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающим крестьянам по одному человеколюбию и состраданию, тогда и в помине ни у кого не было, да никакое оказательство в смысле общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумеется, не могло прокормить всех голодных. «Казенным» или так называемым «государственным крестьянам» тогда дали что-то из «запасных магазинов» на «обсеменение полей»; но это была помощь слабая и ничтожная: «казенные» люди из названной категории на этот «заимобраз» тоже не могли прокормиться. Но о том, чтобы кормить их до сытости, и не считали нужным заботиться: рассказывали, будто граф Киселев\* сказал кому-то, что «крестьяне не солдаты» и что «до новины они могут одну зиму как-нибудь перебиться», и это будто бы послужило достаточным успокоением чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне в то время считались за «любимых детей» правительства. Что же касалось людей других сословий, то с этими было еще меньше хлопот: о мещанах нечего было и говорить, так как они земли не пашут и хлеба не сеют — стало быть, у них неурожая и не было, и притом о них давно было сказано, что они «все воры», и, как воры, они, стало быть, могут достать себе все, что им нужно; а помещичьи «крепостные» люди были в таком положении, что о них нечего было и беспокоиться, — они со дня рождения своего навеки были предоставлены «попечению владельцев», и те о них пеклись... Злополучные крепостные люди были всех других несчастнее: они не только страдали без всякой помощи, но еще с связанными руками и с тряпичной во рту. Они даже не имели права отлучиться, и нередко их жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшие исключения были там, где помещики скоро ужаснулись раскрывшегося перед ними деревенского положения и, побросав свои деревни, сбежали зимовать куда-нибудь в города и городишки, — все равно куда, лишь бы избавиться от своих мужичонков» (то есть чтобы не слышать их просьб о хлебе). Без господ крестьянам по крайней мере открывалась свобода брести куда глаза глядят и просить милостыню под чужими окнами. Впрочем, в некоторых больших экономиях «своим крестьянам» давали хлеба и картофеля в долг или со скидкой



против цены, за которую отпускали «чужим людям», но и это все было недостаточно, так как и по удешевленной цене покупать было не на что.

Разумеется, я говорю только о той местности, где я тогда жил, в Орловской губернии. Может быть, что в других местах было и иначе.

Я говорю только о том, что сам видел или о чем слышал в тогдашнее время.

Самым ужасным тогда казалось, что люди в нашем месте были связаны крепостною неволею: через это они не могли никуда отлучиться и ничего себе промыслить. Среди мелкопоместных владельцев в Курской и в некоторых уездах Орловской губернии по местам происходило так, что дети и старики «ходили в побор», а взрослые работали на барщине, и работали работы неспешные, как-то: секли про запас хворост или рыли канавы, — с чем со всем можно было подождать, а ели «сборное», то есть то, что старики или ребятишки где-нибудь «напросят Христа ради». В больших экономиях крестьянам было гораздо лучше, уже по тому одному, что там по крайней мере не стесняли людей, и мужики поползли «с топорами» (то есть плотничать) в Киев, в Харьков и в Нежин и «с лошадем» подряжались везти «лагуны\*» (с салом) или «бунты» (с пенькою) в Таганрог и в Одест. И в первом и во втором отходе заработок их был самый ничтожнейший, или, лучше сказать, — никакого. Работали они больше только «из одного прокорма», и то считалось еще хорошо, если работник прокормится и назад домой вернется «с лошадем», а не с одним «кнутиком». А то случалось, что он придет да обрадует домашних, что «кобылу» или «мерина ободрал в ухабе». Крестьяне, которые «нашли ряду» и успели уехать ранее, пока лошади их еще не обессилели от изнурительной бескормицы, кое-как справлялись и на дороге, в самом пути, отъедались сами и откармливали лошадей: эти и возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже стал санный путь и лошади давно заморены на бескормице, — у этих все «рушилось»: лошади у них запрокидывались кверху ногами в первом раскате и «падали». Как бесподрезные сани пойдут в раскат и ударят клячу по исхудалым булдыжкам, — она тотчас же и упадет, и лежит. Ее «поднимают» мужики, кто за хвост, кто за плечи. Поднимут, установят и поддерживают, а потом тронут: «ну, матушка!» Но она пройдет несколько шагов и опять хлопнется, ноги вверх задерет и даже не бьется. Чуть только не просит, чтобы ее уж и не трогали — что «мне-де уже все равно как околеть, лишь бы только поскорее».

Иногда, бывало, видишь, что как только лошадь поднимут, так она тут же сию минуту опять и падает. Мужики, даже самые жестокие, тут плакали, как дети, и жалели лошадей — не били их, а всё, бывало, уговаривают лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!» — да сами во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтят и подсобляют, а сами всё плачут.

Страшное это представляло зрелище, как они, бывало, плетутся по дорогам длинными вереницами, и сами взъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсем одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже — кто кого жалче.

Во всяком случае известная художественная группа Репина, изображающая поволжских бурлаков, представляет гораздо более легкое зрелище, чем те мужичьи обозы, которые я видел в голодный год во время моего детства.

В глубоких ухабах или под раскатами столбовых дорог то и дело, бывало, валяются ободранные «падла», и над ними стаями веются черные птицы, высматривающие как бы им ухватить что-нибудь

из того, что может остаться после зубов страшно освирепевших от голода собак. Собаки тогда рыскали очень далеко от домов и дичали совершенно как волки. Крестьяне, как известно, и в «довольное время» не любят кормить своих сторожевых собак и держатся того взгляда, что «пас сам о себе промыслитель», а в голодный год собак и нечем было кормить. На их собачье счастье лошадей околевало множество и трупы их, или, по-мужицки, «коневое падло», валялись без перевода и по полям и по задворкам. Псам только надо было иметь чутье да ноги, чтобы не пропасть с голода. Но удивительно было, как они далеко узнавали о каждой павшей скотине! Бывало, где ни выволокут падло, собаки уж знают, и через час-два собачьи следы так и наплетут через все поля сеть по снегу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собак непременно есть какое-то свое им свойственное средство сообщать друг другу новости о событиях, совершающихся за пределами их слуха, зрения и обоняния. В самом деле, чутье едва ли могло достигать на такие далекие расстояния, откуда сбегались собаки терзать падаль! Приходилось видеть знакомых деревенских собак, прибежавших верст за двенадцать и за пятнадцать. В начале зимы, когда лошадей дохло много, собаки так хорошо отъелись, что волки их боялись, и они не подпускали волков к пиру; но потом, когда все лошади переколели, голод собак стал ужасен, и волки пошли рвать их. Впрочем, псам все-таки было лучше, чем травоядным. Коров своих крестьяне «до последнего берегли» и «воспитывали крышами». Сгребут, бывало, с крыш давно почерневшую солому и иногда «попарят ее в корчажке» — вот и корм. Солить было нечем: тогда соль составляла «правительственную регалию»\* и была так дорога, что плоховатые мужики и в «ровные»-то года часто ели сныть несоленую\*. (У Тургенева мужик говорит, что надобно осиротелую девчонку взять. Баба отвечает: «Нам самим сныть посолить нечем». А мужик говорит: «А мы ее несоленую!» — и девчонку взяли)\*. Коров «ходячих» не резали. Станет она «падать» или «заваливаться», идучи на водопой, — ее всё еще поднимают и ведут до дому, «поддерживают» и опять «крышей воспитывают». И так водятся с ней до тех пор, пока у нее «титки высохнут». Тут уже, значит, ждать от нее больше нечего — «воспитание» ее кончено, и остается ей «нож воткнуть». Зарезанную полуиздохшую корову поскорее «требушили» и потом волокли «в копоть», то есть разнимут ее труп на частички и повесят эти рассеченные части «над дымом», чтобы их «прокурило» и «дух отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертного разложения был какой-то особенный, вероятно болезненный, запах, которого «утроба человеческая не принимала». А потом, когда дым все это «прокурит», — вонь несколько изменяла свой характер, и мясо воняло иначе — менее противно: тогда его, бывало, варят и едят.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что «дымить», а впереди ждало положение гораздо более тяжкое.

Здесь, однако, мне припоминается, какое горе бывало в крестьянском дворе, когда делалась очевидною неминуемая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».

Как, бывало, доходит последний корм, так «бескормной корове» от мужиков выходит решение, что ее надо «приколоть»... Тогда все бабы принимаются «выть», а на них глядя, завоюют все дети, и все стараются «коровушку покрыть», то есть уверяют мужиков, будто она еще может жить; но мужики этому не внемлют, и как заметят, что подойник пуст, так сейчас же и берутся исполнять свете решение.

Это ужасные минуты в крестьянской избе, которых нет средств описать, а их надо видеть.

После ссоры и спора из-за коровы между бабами и мужиками — в избе вдруг пропадает хлебный

нож!..

Нет его, да и только! Бабы говорят: «ребята затащили», — мужики дерут ребят за виски; ребята говорят: «мамка скрала», — мужики мнут мамке потылицу\*... Всем дела много, а нож все-таки не отыскивается.

Идут занимать нож к соседу, но и у соседа нож пропал! Бабы режут хлеб какими попало ножевыми «аскретками\*», а настоящие хлебные ножи все «пропали». Их ищут-ищут и не находят. Мужики понимают, что это значит, и долго не разговаривают, а идут за ножом на другой конец деревни и там где-нибудь пригодный нож находят. Тут же делают и уговор еще о живой корове: как делить ее «тушу», кому перед, кому зад, кому нутро или студни. Об этом уговариваются, чтобы не пропадала «убоина», и за раз несколько коров в деревне не режут. Сегодня режет один сосед, а другой поджидает, если есть чем издыхающую «воспитывать».

Когда мужик добудет нож и возвращается в избу, он молча начинает водить нож по железистому кирпичу на загнетке. Вид у него тогда мрачный, и бабы начинают его бояться и уже не воют, а тихо плачут; но мужика и это выводит из терпения. К тому же мать или другая старуха, которая не боится тукманки\*, где-нибудь за углом причитает. Мужик спешит точить нож и, пощупав его на ладони, уходит звать на помощь соседа. С «уборкой» буренки надо спешить, потому что она того и гляди околеет, и тогда выйдет не «убоина», а «падло».

Потом настает в избе жуткая тишина... Со двора все слышно, как мужики путают корову вожжами и потом бьют ее долбней по голове. Без этого они убить большую скотину не умеют. А потом, когда этот ужасный стук долбни по черепу прекратится, — мужик перекрестится и всунет корове нож в горло... И все стоят вокруг в тишине и смотрят, как кровь бьет и зарезанная еще дрыгает связанными ногами и смотрит. Потом тишина кончена, и закричат: «давай ночвы\*!» Тут всему делу развязка: бабы уже работают спокойно; носят разрубленные части своей буренки по избам и вешают их на деревянных крючьях и на лыковых веревках под потолками и над дверями черных изб (где дым идет). Тут это мясо коптилось, или как будто бы коптилось. На самом же деле орловские мужики мяса коптить не умели, да и негде было им его коптить, как надобно; а они только добивались, чтобы от него «не дюжо смердело».

Так приели весь рогатый скот, и ко сретенью (2 февраля) во всем селе, о котором рассказываю, осталась только одна корова у старосты да две у дворовых; но лошадей еще оставалось на сорок дворов штук восемь, и то не у крестьян, а у однодворцев, которые жили в одном порядке с крепостными. Однако все эти лошади содержались на одной соломе и ни для какой работы не годились. Их даже нельзя было гонять на водопой к колодцу, потому что они завязали в сугробах и падали, и люди должны были их вытаскивать и волочь домой — что было очень трудно.

Но не будем более говорить о скотах, а посмотрим, что случилось с самими сынами человеческими, отбивавшими здесь же беспомощно и безропотно все выпавшие на их долю злоключения «голодного года».

## VI

Изобразить в общих чертах состояние духа деревенских людей за все время ужасной зимы сорокового года — я не умею. Была и унылость, и отчаяние, и стоны, и невероятное мужество... все это «человеком» и «часом», то есть каждый человек переносил свое мучение сообразно своему характеру и не во всякую минуту одинаково. С виду даже, пожалуй, незаметно было, что люди

переживают особенное страдание: жизнь в крестьянских избах плелась почти такая же безотрадная, как и всегда. Те же стоны и кряхтенье стариков, не слезающих с остывших печей; тот же дым и вонь, а часто и снег, пролезающий по углам с наружной стороны изб во внутреннюю; те же слабые пiski голых и еле живых ребят со вспухшими животами и красными от дыма глазами; но зимняя картина в орловской деревне никогда и не была другою... Я ее всегда видел именно такою. Мне гораздо легче вспомнить и удобнее, кажется, передать некоторые особенные случаи, которые уцелели в памяти и которые я изложу один от другого в отдельности.

Прежде всего вспоминается мне хилая девочка Васёнка, которую «бог взял», и я с этого начну мои рапсодии, но так как мать Васёнки жила на дворовом положении, то прежде я скажу коротко о положении людей дворовых, которое отличалось от крестьянского. Дворовым людям, которые в обыкновенное время почитали себя несчастнее крестьян, в голодовку выходило лучше, чем крестьянам, потому что дворовых, не имевших земли и состоявших на работе при помещичьих дворах, помещики должны были кормить, и кое-как кормили. В обыкновенное время им отпускали на мужчину 1 п. 30 ф. в месяц, а на женщину 1 п. 20 ф. и на детей (с пяти до пятнадцати лет) по 20 ф. ржаной муки. Более не давали ничего: приварок и соль они должны были припасти себе сами, и где-то они этим действительно раздобывались. В голодный год во многих местах этим людям сделали страшную обиду: «сняли их с мучной месячины на печеный отвес», то есть стали давать им по 3 ф. хлеба в день на мужчину и по 2 ф. на женщину, а мальчикам и девочкам по полтора фунта. Притом если варили щи или кашу, то в эти дни хлебный отвес уменьшался наполовину. Этим уже дворовые люди были страшно недовольны, потому что они своим «отвесным хлебом» делились со своими родственниками, голодавшими на деревне, и это составляло их священное право «помогать на деревню».

Дворовым и комнатной прислуге с Введения (21 ноября) месячину и отвес тоже стали выдавать не «чистым хлебом», а с примесью, но с примесью очень съедобною, по преимуществу с картофелем, и только в случае недостатка картофеля — с конопляным жмыхом, который если свеж и не горек, то вкус хлеба не очень портит. Во всем хозяйстве теперь только нам к столу подавали чистый и притом «обрушенный\*» ситный хлеб, муку для которого содержали в кади, в кладовой под замком, и отпускали ее в кухню для выпечки.

Хлеб этот был, конечно, гораздо лучше крестьянского пирога, и мы, дети, это знали и, евши такой хлеб, чувствовали что-то вроде стыда по тому случаю, что мы пресыщались вкусным хлебом и даже кормили им нашу собачку Фидельку, тогда как на деревне дети сосали жмых...

В детских сердцах наших как будто раздавался голос бога, вопрошающего о брате...

Пекла наш «господский хлеб» та птичница Аграфена, из однодворок, о которой упоминалось выше, — та, которая видела сны и первая запророчила быть голодному году. Она — напоминая опять — имела право уйти от нас, но жила на положении крепостной, потому что у нее были дети, прижитые с крепостным мужем, и в числе их была та Васёнка, которую «бог взял», о чем сейчас и будет предложено, как это случилось.

Испеченный Аграфеною ситный хлеб опять принимали от нее по весу, требуя на каждый пуд муки определенное по опыту количество припеку, на что пекарки-бабы очень жаловались и находили это требование несправедливым, потому что «всякая мука дает свой припек неровно». Но им не верили и учитывали их на золотники, точно дело шло о золоте. И «свой брат» и «своя сестра», такие же

дворовые и крепостные, поддерживали в господах это недоверие, постоянно донося на пекарок, будто те «отнимают теста от господских хлебов своим детям на лепешки». По таким доносам ключницею делались внезапные обыски, и один раз у птичницы Аграфены, которая имела четырехлетнюю дочь Васёнку, страдавшую «кишкою», действительно нашли «шматок теста с ладонь», спрятанный между грязными подушками постели, на которой стонала ее больная девочка. Я помню, как об этом «довела» девочка, бывшая в «выносушках», по имени Агашка, и перед матушкою стояли разом эта Агашка, и ключница, производившая обыск, и Аграфена, а на столе в виде полочья\* лежал «шматок теста», которое она отняла от барских хлебов и хотела спечь из него лепешку Васёнке. Аграфену уличали Анна и Агашка, и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и «грубила». А грубость ее выражалась тем, что она очень страшно кляла свою девочку Васёнку. Это зашло так далеко, что матушка забыла о деле по существу и начала сердиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. Матушка говорила ей, что она не имеет права так клясть девочку и желать ее смерти! Но Аграфена этому кощунственно не верила и, скребя ногтями свои локти, отвечала:

— Что еще за право надо, когда я ей родительница! Возьму ее да и убью!

— И судиться будешь.

— Ну так и что же такое!

— Тебя не помилуют.

— Да и не надобно!.. И так-то уж у вас надоело!

И проговорив это с дерзостью, Аграфена нетерпеливо повернулась и ушла.

Ее не останавливали: ее однодворчество было для нее все равно что «римское гражданство».

Матушка сказала, чтобы ей простили шматок теста и не попрекали ее этим, и тем дело о шматке в господском доме было окончено, но в птичной избе, где пекли хлебы, оно продолжалось и окончилось только накануне Николина дня (5 декабря), когда четырехлетняя Васёнка была найдена над птичною избой возле трубы, в гнездовой плетушке, и совершенно закоченевшая. А нашла Васёнку опять та же Агашка, которая в этот раз была послана ключницею наверх птичной избы обобрать в покинутых галочьих гнездах забытые «подкладухи» (каменные яички). Тут Агашка, шаря в полутьме руками под застрехою, нащупала в заиндевавшем хворосте что-то такое, что инстинктивно показалось ей чрезвычайно страшным. Агашка вскрикнула и, не попав на приставную лестницу, свалилась прямо с потолка избы на пол сеней, а когда прибежала в горницу, то заговорила, что «на птичной избе под застрехой в хворостинах, близко к трубе, сидит что-то страшное». Тогда послали наверх взрослую девушку с фонарем — и та нашла там Васёнку... Девочка была в одной рубашке и босая, но ножки обвертела хлопочками\*, которые нашла в выставленном сюда из избы плетеном гнезде, на котором в свое время сидели на яйцах наседки. Васёнка подвинула одно из таких гнезд под застреху, уселась в него, а головкою прислонилась к заиндевавшим хворостинным решетинам соломенной кровли и так закоченела, но она еще была жива, и когда ее принесли в избу, она даже как будто бы смотрела, но только глазки у нее были «как сонные».

Когда ее принесли в избу, то сейчас же прибежали в господский дом сказать об этом случае барыне. Это, разумеется, произвело смятение, в котором всякий по-своему обнаруживал свою находчивость. А так как это произошло в то время, когда мы только отпили утренний чай и матушка перемывала в полоскательнице чайные чашки, посередине которых стоял чайник со спитым чаем и с двумя кусочками сахару, составлявшими «положенье» для няни и ключницы, то матушка велела отнести

этот чай в птичную и сама поспешила туда же, а за нею, в общей суматохе, проникли туда и мы. Там мы увидели, что наша мать и несколько женщин стояли вокруг Аннушки, которая сидела на скамейке и держала на коленях застывшую девочку, а матушка, нагнувшись к ней, старалась влить Васёнке в ротик с ложечки чаю.

Стоя близко к самому центру действия, я видел, как матушка достигла, чего хотела, — она влила в ротик Васёнки чайную ложечку тепловатого чаю, и девочка этот чай как будто проглотила, но вдруг на губках у дитяти что-то запенилось, и затем все вылилось вон, а в горлышке что-то щелкнуло и в животике забурчало.

Аннушка ослабила руки, которыми держала ребенка, и, вскинув на матушку испуганными глазами, прошептала:

— Отходит!

Послали как можно скорее принести из матушкина образника плюсовую шапочку угодника Митрофания, но когда стали ее надевать на головку Васёнки, увидели, что она уже умерла.

Шапочку, однако, все-таки надели, и Анна в этой же шапочке положила девочку на лавку под образ, а возле нее поставили ковшик с водою, чтобы «душка ее обмылась».

Это для меня было трогательно и занимательно, потому что до этой поры я еще не был при разлучении человеческой души с телом, и я не ожидал, чтобы это происходило так просто.

Аграфены во все это время дома не было: она ходила на деревню к своей бедной сестре-солдатке, которая тоже умирала.

Матушка послала за Аграфеной, а сама ушла, но я притаился и остался в птичной.

## VII

Этот первый случай, «как дух уходил, и никто не видел, куда он идет», врезался у меня в памяти на всю мою жизнь, и тихая «смёрточка» тихой Васёнки тогда вдруг показалась мне страшным укором, вставшим против самых близких и дорогих мне людей, до которых сердце мое не желало бы допустить никакой укоризны. Я бросился в угол, где стояли гусиные гнезда, и горько заплакал о Васёнке... Я все вспоминал, как, бывало, зайдешь в эту избу среди дня, когда она жарко натоплена и в ней стоит густой запах свежеспеченного хлеба, — караваи хлеба лежат на столе, покрытые белым закатником, в кошелках гогочут гуси и тикают цыплятки, а Аграфены нет, и только одна терпеливая Васёнка лежит на грязной постели под грубым веретьем и смотрит тихо и безропотно или вдруг скажет:

— Мамки нет... она ушодцы! — и сама снова умолкнет и опять лежит тихо-претихо.

Теперь она уже совсем умолкла и затихла навеки. Ей теперь хорошо; но сколько она должна была перестрадать и перемучиться, пока застыла под застрехой! Какой ужас! И что такое могло ее побудить оставить постельку, на которой она всегда так терпеливо лежала, и лезть на холодный чердак, чтобы там закоченеть в страшной стуже?

Я был твердо уверен, что тут есть какая-то тайна, которую отгадать страшно, и получил в этом еще большее удостоверение, когда в избу с надворья, в облаке морозного пара, вошла вдова Аграфена. Она посмотрела на свою умершую девочку и на всех, которые ее укладывали «под святые», и молча, с совершенно бесчувственным лицом, пошла в противоположную сторону к печи и стала греть возле нее руки.

В это время опять вошла матушка, неся в руках детскую рубашечку с голубою лентою. Увидя

Аграфену, матушка тронула ее за плечо и сердито показала ей на мертвого ребенка.

Аграфена посмотрела и опять ни слова не отвечала.

— Видишь или нет? — строго спросила матушка, и только тут Аграфена ответила ей дерзко:

— Что видеть-то?.. Ну и вижу!

— Это твой ведь ребенок?

— Ну и мой! Что ж такое? Был мой, а теперь пускай будет божий! Господь его принял, и слава богу.

— Ты бесчувственная!

— Ну так что ж такое, хоть и бесчувственная!.. Бог взял дитя — что тут еще чувствовать! Его воля.

Матушка покачала головою и, погрозив Аграфене пальцем, вышла и унесла с собою на груди шапочку Митрофания; а как только барыня ушла — Аграфена подошла к девушкам и, обхватив их всех трех сразу одной охапкой, толкнула к дверям и сказала:

— Сгиньте, доносчицы!

Я не трогался и не шевелился.

Аграфена меня не замечала: она стала возле Васёнки, поцеловала пальцы и этими пальцами разгладила ей на лобике ее льняные волосы, потом вдруг икнула, опустилась на лавку, и у нее полились слезы; но это было недолго: она вытерла лицо грязной тряпкой и подошла к стоявшей в углу коробье.

Здесь она увидела меня и, казалось, немного удивилась, но, однако, не сказала мне ни слова, а, порывшись в коробье, достала оттуда конец полотна, нитки и наперсток и пошла к столу, чтобы что-то кроить, но в это время в избу вбежала девочка Агашка и сказала, что мать моя сама пришлет Васёнке саван и покровец.

Аграфена ничего не ответила, но завернула нитки и ножницы опять в полотно и снова все это положила в коробью, и тут, нагнувшись над коробьею, вдруг зарыдала.

Я робко приблизился к ней и, сам плачучи, обвил руками ее шею, но она меня отодвинула и сказала: — Не замай! не замай! — и опять заголосила.

Мне показалось страшно с нею оставаться, и я пошел домой, где теперь все были заняты судьбою Васёнки, и притом всякий по-своему: матушка отрезала холст на саван Васёнке, а девушки шили эту никогда до той поры мною не виданную вещь «на живую нитку». Матушка каждой из них напоминала, чтобы непременно шить «на живую нитку».

Я очень интересовался, почему девушки должны были шить на живую нитку, когда им в других случаях такое шитье ставилось в вину, и мне объяснили, что это такое правило, что «на мертвых всегда надо шить на живую нитку».

Я тогда был в таком возрасте, когда дети «набираются впечатлений», и все новое меня очень интересовало.

Я давно слышал слово «саван» и привык чувствовать в его звуке что-то зловещее, но никогда савана не видал, и теперь напрасно всматривался, как его шили, потому, что ничего не мог разобрать в кучке полотна, которая вертелась у швеи на коленях; но потом мне удалось его увидеть. Когда большие девушки пошли обедать, резвая девчонка Роська, остававшаяся дежурной по девичьей комнате, наложила Васёнкин саван на себя и стала перед открытыми дверями в нашу детскую, так что мы ее увидели, и сначала мне показалось, будто я вижу «козу», которая ходит плясать с медведями, но потом я понял, что это и есть саван... Я испугался и, закричав отчаянным голосом,

убежал к старшим.

Васёнку я не видал в ее погребальном уборе, приготовленном для нее на живую нитку; но когда я лег спать, то, прежде чем заснуть, мне привелось услышать разъяснение, как она попала на чердак. Всему делу виновницею оказалась ее мать, Аграфена, или, точнее сказать, ее «сибирный карахтер» (так доносила матушке старостиха Домна). «Аграфена узгордилась, чтобы никто на нее не смел думать, что она дочке шматок теста от господской дежки берет». И она будто Васёнку взяла и выгнала, чтобы та шла в общую людскую избу, пока хлеб высидится, а сама Аграфена к сестре на деревню пошла и там задержалась, потому что сестре горшок накидывала; а Васёнка побоялась идти в людскую избу, потому что там в сенях белая телка, которая бодалась, и спряталась на чердак в гнезда и там застыла.

И Васёнку схоронили, а на Аграфену не сердились, и даже, когда подходил Васёнке девятый день, Аграфене велели выдать полпуда муки на блины и приказали дать ей лошадь, чтобы она могла поехать с сыном своим, девятилетним Егоркою, на кладбище; но Аграфена муку взяла и отнесла ее на деревню к сестре, а на лошади не поехала, а пошла с Егоркою пешком, хотя день был прескверный: холод и метель.

Пошли они утром, но не возвратились засветло, а метель разыгралась, и думали, что вдова с сыном остались переждать погоду у кого-нибудь из дьячков. Но на другой день ее не нашли на поповке, а потом и ее и сына отыскиали в овражке — мать с сыном сидели обнявшись и оба замерзли.

По-видимому, они шли домой и сбились с дороги; но некоторые думали, что Аграфена нарочно заморозила сына, чтобы его «ослобонить».

Истину в этом деле открыть было невозможно, и дьячок Меркурий, которому заказывали делать надписи на крестах, написал на кресте, покрывшем семейство горделивой Аграфены: «Боговинися душа».

Никто не мог понять в точности, что такое это значило, но все находили, что это «что-то значит».

А дьячок Меркурий только кивал значительно головою и произносил: «гм!» — а внятнее ничего не сказывал.

Смерть Васёнки, Аграфены и Егорки была первым трагическим случаем из всех событий голодной зимы в нашей деревне, но драма эта совершилась втайне и «предана воле божией».

Другие события, которые я припоминаю, случились позже и не так близко, как это. Но здесь еще надо вставить отрывок о хитром помещике.

### VIII

Хитрый помещик был не кто иной, как майор Алымов, о котором вскользь уже упомянуто. Его почему-то не называли по имени и отчеству, а титуловали по чину: «майор». Он был молодой, холостой, бравый, сильный, плечистый, с огромнейшими черными усами «вразмет» и с бойкими, но неприятными манерами дурного тона, которыми он и оттолкнул от себя соседа-моряка при молебне о дожде для земли алчущей.

Алымов служил в каком-то полку и вышел в отставку по какой-то «истории». Это, должно быть, имело общественное значение, потому что при всяком случае, когда мои родители знакомили с кем-нибудь майора Алымова, то непременно к громко произнесенной рекомендации его прибавляли потише, что он «вышел по истории». Майор был холост и постоянно «лытал и судьбы пытал», или, проще сказать — искал выгодных невест для законного брака, а до устройства себе искомого



семейного положения он жил один в своей небольшой деревушке, где у него был очень скромный домик в пять комнат, и вся усадьба, устроенная его матерью «по-однодворчески», а не по-дворянски. То есть домик у Алымова был построен одним фасадом в сад, где не было никаких иных деревьев, кроме фруктовых, а всеми другими тремя сторонами этот домик выходил во двор, обнесенный всеми хозяйственными службами — закутами, сараями, амбарами и амбарушками.

Такой способ постройки в наших местах назывался «в кольцо» и имел ту выгоду, что и люди и животные — все были у хозяина перед глазами; но зато кроме их уже ничего другого видно не было. От этого на таких усадьбах не ходит ветер — тепло, хозяйственно и очень скучно.

Алымов, по выходе в отставку, уже несколько лет сидел на этой усадьбе и вел свое небольшое хозяйство аккуратно, почему у него было довольно всего, что только нужно в его положении домовитого холостого помещика и «женишка». А женишок этот, по памяtnому мне определению моей няньки, был притом человек «довольно будто простенький, но и довольно будто хитренький». Он, например, не подражал большинству помещиков, которые бывали часто очень требовательны к своим людям и за всякую неисполнительность наказывали их сурово и даже жестоко. Алымов хотел быть «добрым барином»; он хотел «жить так, чтобы в деревне ему своих людей нечего было бояться» и «чтобы люди его хвалили». Но он достиг только одной половины этой программы, то есть он у себя в доме своих людей нимало не боялся, но похвал себе от них не дождался, а люди его говорили о нем, что он «шишимора».

Алымов был очень скуп и из-за скупости будто бы и не женился, а только все сватался и на жениховском положении ездил из одного помещичьего дома в другой, заставляя принимавших его хозяев кормить его, с кучером, казачком Валеткой, тройкою лошадей и легавою собакою, которая называлась «Интендант». Она была замечательна тем, что везде умела отыскивать съестные припасы и везде их очень ловко крала.

У Алымова, так же как и у нас, в этот год не уродилось в полях ничего, и надо было купить ржи, чтобы засеять озимые поля — свои и крестьянские.

Это требовало больших расходов, и притом это была такая надобность, которой нельзя было отвести; но Алымов, однако, с этим справился: он уехал из дома в самый сев и возвратился домой «по грудкам», когда земля уже замерзла и была запорошена мелким снегом. А чтобы не нести покор на своей душе, что он бросил крестьян на жертву бескормицы, он их утешил:

— Братцы! — сказал он «своим людишкам» по возвращении, — я об вас хлопотал — хотел найти озимых семян, да не нашел; но вы как-нибудь перебьетесь... Не правда ли? Я нашел отличные семена яровой ржи и купил целых десять четвертей. По осени их везти неспособно было из Дмитровки, а теперь готовьтесь: как санный путь встанет — поезжайте на пяти подводах, берите по две четверти на лошадь и привозите домой, ссыпем в один мой амбар, а по весне, что бог даст, — запашем и засеем все земли — мои и ваши, и будет чудесно... не правда ли?

Мужики отвечали: «Может, и правда!» А сами подумали: «Верно, брешет, — верно, что-нибудь крутит, шишимора!» — однако поехали и яровую рожь привезла.

А какая она такая будет и годится ли — то им было неведомо, и потому они делали все это с неудовольствием.

Прибыли на двор, выпрягли лошадей и оставили рожь на санках — ссыпать было поздно.

А когда пришли ссыпать на другой день, то увидели нечто необыкновенное: господин их захотел

божье зерно все перепортить.

Алымов начитал в «Трудах Экономического общества» что-то необыкновенное о «навозной жиже», в которой рекомендовалось мочить семена и потом их высушить, и от посева таких семян урожай бывает отменный.

Шишимора сейчас же устроил у себя на скотной избе ящик, величиною в два больших корыта, — навел там жижицы на мешаном конском и ином помете и велел в нем «зерно макать да просушивать» и тогда только в амбар ссыпать.

Затея эта мужикам очень не понравилась и показалась глупою, а оттого и руки у них не поднимались, чтобы «добро незнамо в чем мочить»; но делать было нечего — власть господская выше, и мужики своему «шишиморе» повиновались, все помочили, обсушили и ссыпали, — амбар заперли и ключ ему принесли и у самых образов на стенку повесили. А шишимора сейчас же опять велел заложить свою тройку в сани, взял казачка Валетку и собаку «Интенданта» и поехал свататься на целую зиму. И выезд этот он производил с повсеместным успехом, которому очень помогала его «продувная штука», «как он оплел мужиков».

Оплетение же заключалось в том, что яровая рожь, припасенная на семя, была «припоганена» посредством замачиванья ее в навозной жиже и что теперь за эту рожь уже бояться нечего, так как мужики ее, «поганую» от мочки в навозе, на снедь уже не украдут.

— А что же они зимой будут есть? — спрашивали майора.

— Сделайте вашу милость! — отвечал Алымов, — об них, пожалуйста, не беспокойтесь! Они свое дело знают. Но я их, впрочем, так не оставляю: я им сказал: «Братцы! ведь это всего только до весны... вы до весны как-нибудь перебейтесь!» Они, не беспокойтесь: они перебьются!

И всем это казалось очень забавным: люди с воображением представляли себе — как там у него мужики придут к амбару, где ссыпана рожь, моканная в навозной жиже, и понюхают они, чем пахнет, и увидят, что рожь есть, а есть ее нельзя... Вот и смех! не правда ли? — вот они и пойдут прочь и «как-нибудь перебьются».

Этого человека не презирали и не порицали, а, напротив, находили его шишиморский поступок очень забавным и продолжали всюду принимать Алымова и кормить его. Но мы теперь оставим майора путешествовать из дома в дом, а сами посмотрим, как обходились и что выдумывали те, кому было предоставлено: «как-нибудь перебиваться».

## IX

Перед рождеством христовым прошла молва, что началось людоедство. Известно, что и в 1892 году в деревнях об этом пробовали говорить; но теперь писаря и старшины читают газеты и знают, что о таких событиях пишется, а потому ложь скоро опровергается; но тогда было другое дело. Пришел кто-то откуда-то и стал сказывать, будто бы с отчаяния и с голоду люди убивают других людей и варят их в золотых корчагах и съедают. По преимуществу такие проделки приписывали матерям, которые будто бы делали это из сострадания. Глядит-глядит будто бы мать на своих детей, как они мучатся голодом, и заманит к себе чьего-нибудь чужого ребенка, и зарежет его, и сварит, и накормит своих детей «убоиной». Указывали даже очень недалекие селения, где будто наверное совершились все такие происшествия, и описывали подробности этих случаев. Так, в одном селе, которое было от нас в десяти верстах, одна баба будто бы долго терзалась, глядя на томление умирающих от голода четырех детей, да и говорит им с вечера в потемочках (огня в деревнях тогда многие по бедности «не

светили»):

— Спице, детки мои, голубяточки, и если вы спать будете, то я вам завтра сварю убоинки.

Старшая из детей этой бабы уже понимала нужду своего бедного житья и говорит:

— Где же ты, мамка, возьмешь нам убоинки?

А мать отвечает:

— Это не ваше дело: вы уже только засните, а я побегу либо у кого-нибудь выпрошу, либо впотьмах у волка вырву.

Девочка и раздумалась о том, как мать будет впотьмах у волка из зубов мясо вырывать, и говорит:

— Страшно, мамушка!

А баба отвечает:

— Ничего не страшно: спите! Вот как вы не спите да голосите, так мне это гораздо страшнее!

А было это как раз в сочельник.

Дети же у бабы были погодочки — все мал мала меньше: старшей девочке исполнилось только пять лет, а остальные все меньше, и самый младший мальчишка был у нее у груди. Этот уж едва жил — так он извелся, тнявши напрасно иссохшую материну грудь, в которой от голода совсем и молока не было. Очевидно, что грудной ребенок неминуемо должен был скоро умереть голодною смертью, и вот на него-то мать и возымела ужасное намерение, о котором я передам так, как о нем рассказывали в самом народе.

Как только баба обманом угомонила детей и ее старшие ребятишки уснули с голодным брюхом, она взяла своего грудного мальчика, дрожавшего в ветошках, положила его к себе на колени и дала ему в ротик грудь, а возле себя положила на стол хлебный ножик. Изнуренный ребенок, несмотря на свою усталость, взялся за грудь, но как молока в груди не было, то он только защелкал губенками и сейчас же опять оторвался и запищал... Тогда мать пощекотала у него пальцем под шейкой, чтобы он поднял головку, а другою рукою взяла нож и перерезала ему горло.

Убив дитя, она будто сейчас же положила его в ночвы, а потом разняла на части, посовала в горшок и поставила в печку, чтобы мясо сварилось, а «утробку» на загнетке в золе сожгла, и ночвы и стол вымыла, и тогда побудила старшую девочку и сказала ей:

— Вот тут, в печи, стоит горшок — варится... В нем, гляди, для вас полно убоины... достаньте его и все мясушко съешьте, ничего не оставляйте. Слышишь ли?

Девочка говорит:

— Мамушка родная! ты зачем же одна в кусочки пойдешь, когда у нас убоинка варена! Съешь убоинки!

Но мать только побледнела и руками замахала:

— Нет, — говорит, — я не хочу — вы одни ешьте! — и с этим толкнула дверь ногой и ушла.

А девочка сейчас же высунула емками горшок из печи, перебудила своих младших, — сели за стол и начали есть.

И всего своего братца они съели бы без остаточка, но только кому-то из них к концу стола попалась нераскинувшаяся в кипятке ручка или ножка ребенка, и они по этой ножке или ручке узнали, что едят «человечину»...

Тут они бросились бежать вон из избы, но только что отворили дверь, как смотрят — мать их в сенцах висит удавившись, подцепив веревку за решетину в снятой крыше.

В другом же селе вышло будто дело еще страшнее: там будто бы «внучки съели свою бабушку». Обе эти новости принес в деревню и рассказывал всем на удивление и на страх сухорукий Ефим, у которого было особенное, очень приятное положение. Его называли «прощенник», потому что он когда-то, еще при прежних господах, сделал очень большой грех: украл и один, ни с кем не поделаясь, съел целый артос\*, и за это он был три года скорчен, но потом госпожа ездила куда-то к святыне и возила этого Ефима с собой, и он там исцелился. «Бог его простил»: корча от него была отнята, но для памяти о его грехе у него рука усохла, так что работать ему было невозможно. С тех пор Ефим не жил оседло, а все ходил по святым местам, «молился и презвищал». Ефим был мастер рассказывать, но в основе его рассказов часто бывало много вздора, и врал он, ничем не стесняясь, как будто ему и не было прощения. Точно так же он наврал и о сваренном ребенке и о старухе, которую съели внучки. Но наврал он не все от своего ума, а взял нечто и от других людей, среди которых оба эти рассказа сложились эпически, и в основу их фабулы легли некоторые действительные происшествия, которые в их натуральной простоте были гораздо более ужасны, чем весь приведенный вымысел с Ефимовой раскраской.

Х

В действительности было вот что: довольно далеко от нас, — верст более чем за сто, — была деревня, где крестьяне так же голодали, как и у нас, и тоже все ходили побираться кто куда попало. А так как в ближних к ним окрестных селениях нигде хлеба не было, то многие крестьяне отбивались от дома в дальние места и разбредались целыми семьями, оставляя при избе какую-нибудь старуху или девчонку, которой «покидали на пропитание» ранее собранных «кусочков».

Одна из таких крестьянских семей, удалившись в побор, оставила в избе девочку лет тринадцати, которую с собою нельзя было взять, потому что она недомогала и притом у нее совсем не было ни обуви, ни одежды.

Ей «покинули» сколько могли корочек и охалки три хворосту, чтобы она могла им понемножку топить избу, и оставили ее на волю божью. Несчастливая абандона\* коротала дни одинокая в пустой и почти холодной избе, для согревания которой было очень мало топлива. Она сидела днем под окошечком, пряла какую-то посконь\* и томилась и от голода, и от стужи, и от немоги, и от одиночества, и в этом положении ее навещала только одна подруга — таких же лет девочка из соседней избы. Разумеется, и эта девочка была такая же бедная, но та, первая — была тихая и покорная, а эта, вторая — очень бойкая и, как увидим, слишком предприимчивая.

Она и наделала бед, из которых сложились потом разнообразные легенды, ходившие по округу и еще сохраняемые, может быть, и доселе.

У этой, второй девочки — «озорницы», недавно умерла мать, и отец ее отложил новую женитьбу «до урожая», а пока он сам уходил побираться с двумя мальчиками, а «озорницу» он жалел таскать, потому что ей было не во что одеться.

Ей также «покидали кусочков и топливца», и она оставалась «при избе». А как одной в избе сидеть скучно, то «озорница» приходила скучать к смирной соседке.

Вдвоем им было веселее и теплее и дни коротать и ночь спать.

Девочки ладили между собою, несмотря на то, что резвая, приходя к тихой, не давала ей покоя и не раз ее забижала; но это все было ничто в сравнении с тем, что она один раз устроила.

Однажды, в холодный и солнечный день, утром, когда обе девочки встали, — хворая хозяйка начала

набивать хворостом печь, а озорница убежала «свою избу проведать» и долго не возвращалась; но потом хворая слышит, что кто-то отворил дверь, которая вела с надворья в сени, и сейчас же в сенях послышалось блеяние ягненка.

Неможная девочка удивилась, потому что во всем их конце деревни давно уже ни ноги овечьей в живых не осталось, и ягненку взяться было неоткуда. Уцелело же несколько овец только у двух «богатеев», но это было в дворах на противоположном конце деревни. Оттуда сюда забежать ягненку было далеко, да и незачем.

Но, однако, больной ясно было, что у нее в сенях есть ягненок и что он пришел туда не своею охотою, а его кто-то тащит и в то же время запирает за собою дверь с надворья.

Больная стоит у печи и смотрит на дверь, а дверь вдруг распахнулась и с клубом холодного облака врывается в избу соседняя озорница, а перед собою толкает маленького черненького ягненокка.

Больная спросила ее:

— Чей это баранчик?

А озорница ей отвечает:

— Разве не видишь, что мой?!

— Нет, исправди чей?

— Да вот исправди и есть, что мой.

— Чего ты врешь!

— Ничего не вру: в моих руках, так, стало быть, мой. Давай мне, девушка, поскорей нож — я его зарежу!

Та удивилась.

— Что ты, — говорит, — выдумала!.. Уйди ты!

— Ну как же, так я сейчас и ушла! — поддразнила озорница и добавила: — Мы эту барашку сейчас обдерем, и спечем, и есть будем.

А сама увидала в эту минуту на столе хлебный нож, схватила его, зажала барашка в колени и перерезала ему горло.

Хворая было бросилась, чтобы отнять барашка, да уже поздно было: барашек трепетал и фыркал кровью.

Девочки побранились, и хозяйка хотела выгнать гостью вон из избы вместе с зарезанным ягненком; но озорница ее не послушалась и не пошла вон, а схватила из-под лавки рогожу и хотела закрыть ею окно, чтобы никто случайно не заглянул в это окно и не увидел, что тут делается; но едва она зацепила на веретено один угол рогожи, как заметила, что к окну снаружи прильнуло детское лицо в огромной шапке, и шепелявый полудетский голос проговорил:

— А я все видел, что вы, сибирные, сделали!

Робкая хозяйка так и замерла, а бойкая виновница всего происшествия дала ей знак, чтобы она молчала, а сама закричала на говорившего:

— Ан врешь, ты ничего и не видел!

— А вот же, убей меня бог, видел! — отвечал мальчик, в котором обе девочки теперь могли узнать картавого хозяйского сына из того самого двора, чьего ягненка озорница заколола.

— Ну, а если видел — так скажи: что же ты видел?.. — переговаривалась она, продолжая держать против окна рогожу.

— Я видел, что вы нашего ягненка зарезали, — отвечал мальчик.

— Ну вот ты и врешь!

— Нет, видел... я сейчас побегу и тятке скажу.

Тут озорница не стала больше спорить, а переменяла тон:

— Нет, ты слушай... ты, хороший мальчик, этого пустого не сказывай!

— Ан скажу... Зачем вы зарезали?!

— Да на, посмотри, — барашек жив еще.

— Не ври, не ври! Я видел, как ты на него верхом села да по горлу его полоснула!..

— Ну, а вот поди же, посмотри, — он жив.

— А зачем он не кричит?

— А зачем ему кричать, когда ему хорошо. Бяшка! бяшка! Ишь, смотри... хвостиком махает! Поди посмотри, как ему хорошо, — тебе и самому так захочется.

Мальчик хотел посмотреть в окно, но девочка не отвела рогожи, а упорно звала его в избу.

— Поди, — говорила она, — поди сюда в избу... Ишь ты какой молодчик! И чья это только на тебе такая шапка ухастая?

— Шапка дедкина.

— То-то, ты в ней ишь... как купец, пригожий. Она у тебя, гляди, в середке-то еще, должно быть, пуховая?

— С перьями.

— Тот-то я и вижу, что из нее из середки перо куриное лезет... Поди, я тебе эту дырку в шапке иглой зашью.

— Не надобно.

— Отчего же так не надобно? Иди, дурачок, — я зашью.

— Свои бабы зашьют.

Девчонка бойко его передразнила:

— «Свои бабы зашьют»... Легко ли радость какая в своих бабах! К нам иди — у нас лучше.

— Не надобно.

— Зарядил одно: «не надобно»! Иди, говорю тебе, — увидишь, что надобно будет.

Мальчик стал водить по снегу хворостиною и, заминаясь, повторил:

— А что будет?

— Хорошо поиграем с тобою... Иди скорее!

Мальчик еще больше заколебался и глухо протянул:

— Не надо было барана резать... Зачем зарезала?

— Да полно тебе все про одно, дурак!.. Иди... я за тебя замуж выйду, а она будет свахою, а потом я тебя на ней женю... Иди... хорошо поиграемся.

Маленькая сирена восторжествовала, и еще меньший сатир, в дедкиной шапке на курином пере, будто нехотя пополз к двери избы, куда его поманили на обещанные забавы, а чуть только он отворил дверь и перелез через порог, в дедкином треухе и с огромною хворостиною, озорная девочка сейчас же схватила его за руку и говорит:

— На-ка, игрунок, смотри-ка, где ваш ягненок-то!

— А где же он?

— Вон, вон, гляди, он сигает вверху на полочке!

Мальчик этот был моложе обеих девочек — ему всего было лет десять, но он понимал, что барашек не птица и что ему на полке быть не пристало; однако мальчик поднял вверх голову, а девочка в ту же секунду нахлобучила ему шапку до подбородка, воткнула ему в горло ножик и толкнула его коленом в спину так сильно, что он упал ниц, и ножик еще глубже вонзился в его горло.

Мальчик лежал ниц, замирал в тихих, но сильных содроганиях и захлебываясь собственной горячею кровью, которая лилась из раны прямо в шапку и, наполняя ее, быстро задушила его через рот и ноздри. Он не вскрикнул и даже не подал стоны, и можно сказать — был убит мастерски, да и сам себя вел молодецки: придя сюда поиграть в мужья, он в самом деле вел себя мужественно — не плакал и не жаловался на женское предательство, а лежал, как жертва коварства и любви, распластав руки вразмет в разные стороны и не выпуская из крепко сжатой ладони ореховой хворостины. Как шел на свидание, так и умер во всей своей пышной представительности.

Больная девочка, увидя такое происшествие, заголосила и хотела выбежать из избы, но гостья погрозила и ей ножом и сказала:

— Чего ты боишься?.. Он сам наткнулся. Хотел играть — вот и поиграл... Слушай меня, а то и тебе то же будет. Пихай больше хворосту в печь... Мы этого мальчонку сожжем — и знать ничего не будут, а барашка спечем и поедим убоины.

Больная девочка, дрожа от страха, стала исполнять распоряжения своей гостьи: они с очень большим трудом запихали убитого мальчика в печь, потому что растопыренные руки ребенка и хворостина, которую девочки никак не могли вырвать из окоченевшей руки, давали мальчику самооборону; он растопырился в самом устье печи и не хотел лезть, так что с ним, с мертвым, пришлось бороться и драться. Только после многих трудов и усилий его, наконец, одолели и пропихали в печь, и завалили его хворостом, и зажгли этот хворост, а потом принялись свежевать барана; но дело это тоже пришлось им не по силам.

Чтобы снять кожу с убитого животного, для этого нужно известное уменье, которого у девочек не было, и притом они сделали упущение, дав труп барашка заоченеть, после чего освежевать его стало еще труднее. А потому они всё перепортили и бросили, а откромсали кое-как, вместе со шкурою, одну ляжку и принялись ее печь без всякой приправы и в той же самой печи, где теперь сожигался убитый мальчик.

Мальчик горел, запихнутый в печь подальше, а баранья ляжка пеклась в той же печи, только поближе к устью, и у загнетки стояла робкая девочка-хозяйка, подбивая к огню хворост, а озорная гостья убирала хату, то есть засыпала сором и золою кровь, пролитую на земляной пол, и металась, не зная, куда сбрызнуть с глаз долой выпущенную из барана утробу.

В конце она решила закопать ее под лавкою и принялась за это дело.

Простота всех побуждений и приемов этого двойного и прогрессивно восходившего преступления двух малолетних была изумительна! Обе девочки убивали и прятали следы своего преступления чисто по-детски — точно будто играючи... И пока на дворе был свет, они чувствовали себя бодро; но когда короткий зимний день померкнул, на них тотчас же напал страх и они стали соображать, что печку пора бы закрыть и избу «укутать», но этого нельзя было сделать, потому что мальчик еще далеко не сгорел, и казалось, что он будто даже и не горит, а словно он еще жив и в пылавшем хворосте «ёжится». Девочки старались избавиться от него как можно скорее и спешили набивать в

печь нового топлива, и не заметили, как сожгли весь бывший у них запас хвороста, и печь угрожала потухнуть; а между тем в доме, где пропали баранчик и мальчик, к ночи хватились того и другого и начали их искать по дворам, причем искавшие пришли и в избу, где были девчонки, и преступление их было открыто: убитого мальчика отыскивали «по гари», то есть по пригорелому запаху из печи. Барашек был еще цел под лавкою, а в печи под пеплом нашли обгорелое туловище ребенка, от которого даже не отпали ни голова, ни оконечности. Девочки во всем признались и были отправлены в острог, а из того, что они сделали, посредством пересказа из уст в уста, составила та басня, которую принес к нам в деревню исцеленный Ефимка.

## XI

Другой из рассказов Ефимки о том, будто «внучки живую бабушку съели», имел в основе своей иное, трогательное происшествие: в вольном селе Мотылях доживала век одинокая старушка, которая много лет провела в господских и купеческих домах, в нянюшках, и «нажила капитал» — целую тысячу рублей (ассигнациями, то есть на нынешние деньги около 280 руб.).

Под старость ей стало тяжело нянчить хозяйских детей, и она захотела уйти «на покой», для чего и решила уехать из города в то село, откуда была родом и где у нее оставались еще какие-то родственники.

Опытные люди отговаривали ее от этого: они представляли ей давно известную опасность, — что тем, кто жизнь прожил в городе, в старых годах возвращаться в село небезопасно. Про такого человека сейчас прославят, что он богач или она «богатея», и тогда того и гляди, что кто-нибудь из родных «соскучится дожидаться» и «приспешит смерти»; но старуху предупреждали напрасно — она этого дельного предостережения не послушалась.

— Легкое ли дело, что у меня за богатство! — рассуждала она. — Местечко у мира выпрошу, сколько-нибудь денег на вино для старичков испою, а потом избенку себе поставлю да коровенку куплю, — вот всего ничего у меня и останется на овсяный кисель да на еловую домовину... За что меня и убить-то?.. И греха взять не стоит!

Так она и съехала из Орла, от своих почтенных купцов, на деревню, пропоила старичкам три ведерка вина, получила место для хаты, построила избу, завела коровенку и стала жить.

Старушка была хорошая и добрая; она привечала всех и давала от своей коровки молочка бескоровным ребятишкам, а особенно ласкала дочерей своей племянницы, из которых одна, самая младшая, была ее любимицею.

Эту девочку старушка совсем забрала к себе жить и обещала отказать ей по смерти своей и избу, и корову, и «все богатейство».

А сколько было того «всего богатейства», — то было не считано и «не сметно».

Когда настал голодный год, к старушке стало приходиться так много ребятишек, что она не могла уже всем им дать молока от своей коровы. Трем-четырем даст, а больше и нет, и самой похлепать ничего не оставалось. Не привыкла старушка отказывать, да делать нечего — поневоле отказывает, и бедные ребятишки отходят с пустыми плошками... А такие они все жалкие, испытые, даже и не плачут, а только глядят жадно... Думать о них больно. И не знает старушка, как ей быть и как между всеми молочко делить...

Но вдруг все это ее затруднение сразу покончилось: в одну из темных зимних ночей, перед праздником, кто-то увел из сеней ее корову, и следы ее на улице с другими такими же следами



попутались, и стало негде искать коровы.

Старуха не согласилась и явку подавать, — сказала:

— Боюсь я, не поклепать бы невинного!

Говорили ей, будто коровка ее по частям разнята и солится в корчагах на большой дороге у постоянного дворика, но старуха таки выдержала себя — не жаловалась.

Шуняли ее и племянники, и поп при встрече ей выговаривал, что нехорошо не заявлять, — что «кто вору потакает, тот сам если и не тать, то на ту же стать»; но старушка все отвела тем, что «бог все знает, — и она не письменная!»

Теперь она осталась при одном киселе и не уставала киселем делиться, но и это по тогдашней всеобщей нужде много значило, и стало это беспокоить старушкину племянницу.

— Кормит-де она мою девочку и обещала ей отказать избу и корову, а вот коровы уже и нетути. Того гляди то же самое выйдет и со всем ее богатством. Все она истравит на чужих ребят, а тогда мне с моими детьми уж ничего и не останется... Лучше бы она, старушка, сделала, если бы теперь поскорей померла!.. Чего ей?.. ведь уж пожила! А то все будет жить да раздавать, и раздаст все так, что после, как помрет, то и попу за похороны дать будет нечего, — еще с нею, с мертвою-то, тогда и наплачешься.

И стала племянничка о своей тетке все больше печалиться и даже начала говорить ей:

— Ты то вздумай-ка, бауныка, что ты ведь уже стар человек...

— Стара, дитятко!

— Гляди, уж тебе еще немного на свете маяться.

— День мой — век мой, касатка.

— То-то и есть, а осталось бы, на что тебя схоронить и чем помянуть.

А старуха вдруг оказалась невозмутимо беззаботною.

— И-их-ма! — говорит, — есть про что сгадывать! Умру, так похоронят, наверху земли валяться не оставят!

Так солдатке и не удалось унять старуху от того, чтобы она никого чужих детей не привечала, а благодетельствовала киселем только одним ее солдаткиным детям, и задумала солдатка поправить это на другой манер, пришла к старухе в сумерки и стала опять плакаться:

— Ходила, — говорит, — я нынче весь день — страсть как иззябла вся: в трех деревнях была, а трех ломтей жмыхового хлеба не выпросила... Везде говорят: «Бог подаст, — сами втроем в побор ушли...»

— Тяжко, болезная! — отозвалась старушка. — Всем равно сослано ноне тяжко от господя!

А солдатка отвечает:

— Нет, бауныка, не всем равно — вот у тебя еще есть!

— Да, пока еще малость есть... да уж теперь... осталось немножечко.

— Что это?.. Денежек, что ль, остается-то у тебя немножечко?

— Да-а... денежек!.. Немножечко!

— А что же ты будешь делать, когда все сойдет?

— Когда все сойдет-то, что буду тогда делать?

— Да.

— А не знаю еще... не думала.

— Как же так!.. Надо думать... смерть-то ведь за плечами!

— А знамо дело, что за плечами; да что думать-то... думать-то нечего! Ничего, касатка моя, не выдумаешь... Только и есть на свете всех помогаев, что один господь-батюшка... Он же ведь зато и милостив!.. И-и-их сколь милостив!.. Может, он даст... по своей милости, еще и так со мною сотворит, что я еще всего и что есть, и того не доем, а он и по мою по душу пошлет, — вот ничего думать тогда и не стоит.

— Это хорошо, бабушка, как помрешь!

— А то что ж!.. Я то и говорю... Бог с милостью! Он создает хорошо: помру, и ничего мне не надобно!

— А если как все изведешь да не помрешь?

— Ну так что ж такое: я тогда себе средство найду.

— А какое же теперь средство, когда изо всякого двора все сами в побор тронулись, и не знать, у кого можно корку выпросить.

— Ну, это так только в деревнях в одних... издыхают-то!.. да!.. в деревнях в одних... А в городах-то, касатка, не так... там хлеб-то есть у купцов... Там припасено у купцов-то... всего... гляди-ко сколько!..

— Что же ты, в город, что ли, хочешь?

— А что ж! в город сойду... К хозяевам-то к старым приду, да и попрошусь на кухне жить... Пустят!.. Неужли таки выгонят?!.. Чай, не выгонят... Проживу, пока надобно.

— То-то, — отвечает солдатка, — вот оттого ты такая и щедрая, что тебе хорошо.

— Да, — говорит старуха, — мне, касатка, всю жизнь мою все жилось хорошо. Я не щедрая, а... хорошо мне.

— А нам-то вот худо, а не хорошо.

— Потерпеть надо, касатушка! Нонче все терпят... Голодный год настал!

— Поди-ко ребята-то воют, так не утерпишь... и самому есть хочется... в животе как веретенном сучит... Нам хуже собак... те падло лопают да еще нас за лытки рвут... Вон меня искусали всю!

— Надо с палочкой.

Тут нетерпеливая племянница на тетку и осердилась, что та все ей советы дает, когда той так горько жить!

— Перестань, — говорит, — ты мне тоску отводить; через эти твои слова еще хуже мне; ведь у нас знакомых купцов нет, нам идти не к кому, а ты вон еще мою девчонку всю избаловала.

— Ну зачем пустое говорить: чем я ее избаловала?

— Как же чем?.. все ее чистым хлебом кормила и побираться не пушала!

— Что ж, где ей побираться, когда она махонькая!.. А ты ее отпусти со мной: я и ее с собой в город сведу... у меня есть там хозяева добрые... мои вынянченные; они велят нам с ней и вдвоем жить... будем вдвоем садиться с прислугами.

— А другие-то мои детушки мне, думаешь, разве не жалобны? — говорит солдатка.

Тут старушка и задумалась.

— Другие! — говорит. — Да... вот то-то и есть... Еще и другие есть!

Развела руки, и опять задумалась, и стала сама к себе втишь приговаривать:

— Ох, ох-ох-ох!.. Одни да и другие есть... да и много их... Вот и горюшко! А что сделать-то?

А солдатка, не долго думая, отвечает ей:

— А ты не знаешь, бауны́ка, что́ сделать?

— Не знаю, касаты́нка.

— Вот то-то и оно.

— А ты разве знаешь что-нибудь?

— Я знаю.

— Так ты скажи.

Солдатка задумалась, слов у нее не находилось для выражения того, что она придумала.

И старушка молчит.

Тягостно-тягостно стало в темной избе, как будто сатана взошел.

Старушка вздохнула и сказала:

— Встань-ка, касатка, подойди к печке, вздуй огня.

А племянница ей грубо ответила:

— А на что тебе огонь — вовсе не надобно.

— Как же не надобно... темно совсем.

— Ну так что ж, что темно?.. Нонче... все без огня... Ложися спать, бауны́ка!

— Да зачем же так... впотьмах... Надо стать богу помолиться.

— Ну и помолись, бауны́ка.

Та не поняла или не расслышала и переспросила:

— Что, матушка?

— Помолись, говорю, бауны́ка.

— Да что ты меня торопишь — придет час, так и помолюсь.

— Нет, бауны́ка, час уж пришел — скорей молись.

— Да что ты пристала!.. Я стану ложиться спать — помолюсь... Ступай-ка домой, а ко мне девку ночевать посылай, мы с нею станем ложиться спать и помолимся.

Тогда солдатка видит, что бабушка бестолкова, и потому ей еще менее причины оставаться в живых, и сказала ей начистоту:

— Нет, ты к себе мою девку не жди, она не придет.

— Отчего не придет?

— А оттого, бауны́ка, что к тебе твой конец пришел. Если не хочешь молиться — так и так будь тебе легкая смёртушка.

Старуха стала приподниматься и спросила:

— Что?..

— Прощай, бауны́ка! — Солдатка всхлипнула, обняла старуху, поцеловала ее и сказала:

— Теперь помирай!

— Что ты это... я не хочу! — и старушка бессильна замахала руками.

— Нет уж все одно... помирай!

И с этими словами солдатка опрокинула «бауны́ку» на ее же кровать, накрыла ей лицо подушкой да надавила своей грудью полегонечку, но потом сама вдруг громко вскрикнула и начала тискать старуху без милосердия, а руками ее за руки держала, «чтобы трепетания не было».

(Так это все с большою подробностью сама солдатка рассказала при следствии.)

«Бауныка» после этого почила скоро, а убийцею сейчас же был сделан в имуществе убитой самый внимательный розыск; но «всех денег» у богачихи в шерстяном пагленке в коробье найдено полтора рубля, и больше ничего у этой богачихи не было.

В этом и заключались ее «все деньги», о которых она с обстоятельностью рассуждала за пару минут до определенной ей «легкой смёртушки».

Но смёртушка бауныки, как ни старалась ее облегчить добрая племянница, — все-таки, видно, трудновата пришлась ей.

Когда рассвело на другой день, солдатка взяла с собою любимую внучку покойной и пошла вместе с нею навестить бабушку, и нашли ее, разумеется, мертвою, а лицо у нее синее и руки в пятнах, а глаза выпучены и язык наруже, длинней Аллилуева.

Девчонка как увидела это, так сейчас затряслась и замерла, а мать говорит ей «не своим голосом»:

— Ничего не шкни... убью!.. Говори: где у нее были ножницы?

Девчоночка, дрожа, показала молча ручонкою на коробью, в которую уже вчера еще лазила солдатка за деньгами.

Теперь она опять открыла эту коробью, в которой было все перерыто, и, перебросав еще больше лежавшие там ветошки и тряпочки, нашла на дне коробьи безручные ножницы, которыми стригут овец, и, схватив их в дрожащие руки, подошла к мертвой и отрезала у нее выдающийся конец языка; но от этого язык наруже как будто нимало не уменьшился, а только стал еще безобразнее.

Солдатка взглянула на свою работу, взяла за руку девочку и пошла к сотскому, — вошла тихо, помолилась на образ и сказала:

— Вяжи мне руки!

— Что тебе, дура, попритчилось, что ли? — спросил сотский.

— Нет, вяжи руки: я бабку убила.

— Врешь на себя!

— Нет, не вру, — отвечала солдатка и, севши на лавку, раскрыла свою грудь и сказала: — Накось, глядите-ка — вот они тяпочки... Это когда я ее вчера душить стала, так она меня зубами за титьку тьяпнула.

Тогда пошли и удостоверились и увидели, что солдатка говорила правду, и связали ей руки и увезли ее в стан, а оттуда — «куда дела требуют».

Через год ее били кнутом в Орле на Ильинской площади. Она была еще молоденькая и очень хорошо сложенная. Ей дали пятнадцать ударов и растерзали ей до кости все бока и спину, но она не потеряла чувств и за каждым ударом вскрикивала: «Понапрасно страдаю!» А когда ее сняли с деревянной кобылы и она увидела на своей свитке набросанные медные деньги, то заплакала и сказала:

— Не надо мне ничего, сошлите всё в деревню на церковь.

О детях своих она, может быть, позабыла.

И таких преступлений, поразительных по несложности их замыслов и по простоте и холодности их выполнения, было слышно очень много, и очень значительное число их осталось неисследованным и даже неизвестным далее своего околотка. Становые пристава за всем уследить не могли;

«корреспондентов» тогда еще не водилось, а в губернских ведомостях все новости состояли из распоряжений начальства о перемещении и увольнении чиновников и, в виде особенно интересных случаев, об отдаче их под суд.

Особенно поразительна была холодность и какая-то легкомысленная жестокость в действиях, затевавшихся с голода. В соседнем с нами селе пастух Игнашка с подпаском, например, захотели «есть убоину» и с этой целью сами вдвоем отлучили одну исправную телом овцу от стада и сволокли ее в лесной овраг, чтобы тут зарезать и начать ее есть; а на деревне сказать, что ее волк съел. Но, спустясь в овраг, они вздумали, что всей овцы им за один день не съесть, а недоеденное мясо протухнет и пропадет даром. Тогда они порешили овцу не зарезывать, а связать ее и отрезать у нее у живой столько мяса, сколько им на день нужно, а остальная овца пусть лежит и дожидается. Они так и начали — отрезали у живой овцы «четверть», спекли ее и съели, а остальное оставили в овраге, — а сюда пришел в самом деле волк и прекратил терзательные мучения овцы и сволок и сожрал ее всю без остатка, а пастухи, не найдя овцы на другой день, заподозрили друг друга в краже, подрались и друг друга выдали. Игнашку прозвали «живорезом».

Женский пол, как замужние, так и незамужние, продавали свои труды нипочем: в услуги или на работу поденно охотно набивались «из-за прокорму», но и на этих условиях в деревнях места нельзя было найти. Духовенство набрало себе бесплатных батраков и батрачек, но только в потребном числе, а предложение услуг было безмерно. Цена же женских изделий была невероятная: «конец холста» продавали за полтину медью (7 аршин за 14 копеек), «початок пряжи» — за медную гривну (3 коп.), и фунт хлеба стоил 3 коп. Покупали все это грабительским образом торгоши, которых называют «кошатниками» или «кошкодралами». Они покупают кошек и тут же их убивают о колесную шину телеги или о головашку саней. Цена кошки черной и серой — гривна, а пестрой — пятак меди. Этим же кошкодралам бабы и девки тогда продавали «свою девичью красу», то есть свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цена на которую, за обилием предложения, пала до того, что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами, без особой приплаты, «в придачу к кошке». Если кошатник не хотел брать дрянную кошку, то продавщица стонала: «купи, дяденька, хороший мой: я к тебе в сумерки к колодцу выйду». Но кошатники были этим добром изобильны и не на всякую «придачу» льстились; сии цинически рассказывали, что им теперь хорошо, потому что «кошка стоит грош вместе с хозяйкою». Кошачья шкура была товар, а хозяйка — придачею. И этот взгляд на женщину уже не обижал ее: обижаться было некогда; мученья голода были слишком страшны. С этим же взглядом осваивались и подростки-девочки, которые отдавали себя в таком возрасте, когда еще не переставали быть детьми... Вообще крестьянские женщины тогда продавали свою честь в наших местах за всякую предложенную цену, начиная с медной гривны, но покупатели в деревнях были редки. Более предприимчивые и приглядные бабы уходили в города «к колодцам». И у себя в деревнях молодые бабы выходили вечерами постоять у колодцев — особенно у таких, на которые подворачивают проездом напоить коней обратные ямщики, прасолы или кошкодралы, и тут в серой мгле повторялось все то, что было и в оны дни у колодца Ливанова\*. Здесь взаимно омрачала друг друга и старость и юность, и все это буквально за то, чтобы «не околеть с голода»... Не могу теперь ясно ответить, почему сельские женщины и в городах местами своих жертвоприношений избирали «колодцы», у которых они и собирались и стояли кучками с сумерек. Может быть, в других пунктах их прогоняли горожанки. Особенно в этом отношении в Орле прославились крытые колодцы у Михаила Архангела и Плаутин. Кроме того, множество женщин ютилось по пустым баркам, зазимовавшим во льду между Банным мостом и мужским монастырем и его слободкою. Срам это был открытый, но его как-то не вменяли в

преступление. Старшие семьянинки не только отпускали молодых на вedomое дело, но еще склоняли к тому, говоря: «чего так-то сидеть: надо сойти в город у колодца раздобыться». А молодых не нужно было много уговаривать: правила их всегда были шатки, а голод — плохой друг добродетели. Молодайки уходили, мало таясь в том, на что они надеются, и бойкие из них часто прямо говорили: «чем голодать — лучше срам принять». Когда они возвращались от колодцев, их не осмеивали и не укоряли, а просто рассказывали: «такая-то пришла... в городе у колодца стояла... разъелась — стала гладкая!»[4]

Кроме «гладкости» или сытости тела, ничто другое не принималось и в соображение. Все высшие цели бытия человеческого словно перестали существовать.

У нас была молодая баба Калерка или Холерка (настоящее имя — Калерия). У нее была прегнусная свекровь, которая «ее сбила в город», и она пошла «у колодцев стоять», но ей так не посчастливилось, что она ни добычи домой не принесла и сама не «послажела», а, напротив, «гнить стала» и сидела всем на ужас в погожие дни на пыльной дороге, без языка, издавая страшную вонь и шипение вместо крика... Ей бросали корки издали, как злой собаке, и отбегали, закрывая себе нос. А сказу о ней было только, что она «в голодный год у колодца стояла». Эта Холерка, наконец, задавила себя поясом.

О таких делах, бывало, всё «доводят господам», но больше только для новости и приятного развлечения — как фельетоны.

В большом напряжении чувства мы пережили рождественские праздники и, зайдя за крещеньев день, стали чувствовать, что нашей унылости как будто брезжится край. И почувствовалось это по весьма неважному и даже незначительному обстоятельству: отец спросил старосту:

— Что, Дементий, не слышать ли чего нового?

А староста, который давно давал мрачно один отрицательный ответ, на этот раз отвечал:

— Да вот на поповке есть будто новость!

— А что там такое случилось?

— Да вот Меркул оттуда заезжал и сказывал, что к ним новый дьячок прислан.

— Это на Аллилуево место?

— Да, во его звание... И еще не совсем приделен, а только приукажен, для просмотра от отца Ниполита.

(Имя «Ипполит» для крестьянского произношения было трудно, они находили удобнее приставлять Н.)

Отец спросил:

— Хорош ли новый дьячок?

А Дементий отвечает:

— Ничего; Меркул сказывал — свистулой поет, но вопче по благословию надо полагать, что не важный.

— А почему?

— Да уж если не сразу приделен, а на время приукажен, для просмотра должности, так, стало быть, под владычным сумлением.

А через несколько дней тот же Дементий уже по собственному почину сообщил:

— Новый духовенный-то... я вам сказывал?

- Что же такое?
- Ничего не стоящий.
- Отчего?
- Совсем пустопляс!
- Да отчего?.. Что значит пустопляс?.. очень проворен, что ли?..
- Точно так. Пашкой звать.
- Отчего же ты его зовешь Пашкой, а не Павлом?
- Не стоит он полного звания.
- Да чем же он так плох?
- Совсем никуда не годится.

Обстоятельство было не важное, а стало интересно, что за молодец к нам прибыл «во место Аллилуя» и какое он займет у нас «приделение»?

## XII

Прибывший «во место Аллилуя» Павлушка-дьяк был оригинал и всего менее человек «духовенный» — оттого он по свойствам своим так скоро и получил соответственное прозвание «Пустопляс». Он был столь беден, что казался беднее всех людей на свете, и, по словам мужиков, — пришел «не токма что голый, но ажно синий», и еще он привел с собою мать, а в руках принес лубяной туезок\* да гармонию, на которой играл так, что у всех, кто его слушал, — ноги сами поднимались в пляс. Имущества у него не было никакого и денег ни гроша. Причт не знал, куда его деть, и поместили Павла и его мать в тесной сторожевой избушке, вместе со сторожем.

Местными дознаниями было открыто, что Павлушкина мать была когда-то дьячихою, а потом ходила в городе по стиркам, а иногда просила милостыни. Павел был ею воспитан в тяжелой доле и мог бы, кажется, постичь жизнь, но не удался — «все клонил к легкомысленности» и за то был исключен из третьего класса и долго болтался «без приделения», и теперь он еще не был совсем определен «во место Аллилуя», а пока только был еще временно приукажен, что выходило вроде испытания.

У нас, впрочем, все сразу стали уверять, что из этого приукаженья ничего и не выйдет, потому что за очевидные Пашкины малодушества отец Ипполит непременно «в отзыве его опорочит».

Павлуша и в самом деле «не потрафлял»: он читал скверно, невнятно и «скорохватом» и все «поспешал на лукавого». Начнет «Отче наш» и зачестит так, что ничего нельзя разобрать, пока придет «от лукавого». Так же и «Иже на всякое время» и прочее — все он «читал без понятия», но петь мог, только гораздо охотнее пел светское пение, чем «духовное», и любил шутки строить над старшими.

На это сторож жаловался его матери, но та отвечала, что у него такой же был и отец, который был на хорошем месте, а зашутился и пропал без вести — следовательно, Павлу уж нечего и думать, чтоб удержаться.

Павлушина мать была стара и имела пляску св. Витта, отчего она дергала лицом и при каждом судорожном движении издавала звук «фпт! фпт!».

За это ее называли «Фаптея».

О Павлуше скоро дошли до нас вести, что он очень веселый, и вслед за тем мы очень скоро убедились, что это правда.

Между нашею деревнею и деревнею майора Алымова (в версте от алымовской усадьбы) стоял одинокий двор однодворца Луки Кромсаева, или попросту Кромсая. Кромсай этот под некоторою личиною степенства и скромности был настоящий «шельма-мужик» или «вор-мужик»: он умел из всякого положения извлекать себе выгоды и жил скупой и одиноко, держа свое семейство в «страхе божием», то есть колотил всех чем ни попало.

Он шинковал водочкой и брал под залог разные вещи, отчего у него можно было найти кое-что такое, чего в деревне у другого не встретишь. Так, между прочим, у него оказалась гитара, которая пришла к нему давно и неизвестно откуда и которую он давно не мог никому «приделить»; но с того момента, как Кромсай увидел Павла-дьячка, гитара нашла себе «приделение».

Кромсай послушал игру Павла на гармонии и сказал, что эта игра пристала кучерам либо наемщикам, а что у него есть «струмент» — гитара, — так вот это уж можно сказать, что струмент благородный, — и притом он отдаст его Павлу в долг и за́дешево.

Пустопляс сейчас же этим соблазнился — пошел к Кромсаю и взял гитару, на которой еще уцелели четыре струны. Павлуша подстроил, как знал, эти четыре струны и заиграл сначала у Кромсая, а потом, проходя мимо нас, зашел в людскую и там привел всех в восторг своею игрою и подпеваньями.

Девушки донесли матушке, что он «такие шутки делает, что и смотреть нельзя».

А как мы тогда все уже очень наскучались, то весть о веселом человеке показалась нам заманчивою, и Павлуша-дьячок был приглашен в комнаты, где действительно произвел очень значительные вещи, которые должны были свидетельствовать о его больших дарованиях.

Он пел много веселого и заунывного и, наконец, дал целое представление во вкусе братьев Давенпортов\*, славу которых он мог бы упредить за целые сорок лет.

Павлуша, между прочим, представил у нас с гитарой комическую сцену, имевшую соотношение с претерпеваемым бедствием, то есть с голодом, — и там «заставил самое горе смеяться». Для этого он сел в темноватом конце комнаты на стул, взял свою гитару о четырех струнах и велел покрыть себя простынею.

И чуть только укрыли, как он требовал, так сейчас же из-под простыни запели два человека: сначала пела очень слабая и печальная старушка, а ей сразу бойко отвечал веселый старичок.

Старушка выпевала под грустный аккомпанемент:

Дедушка-а, Си-идор Карпови-ич!

Да когда ж ты буде-ешь уми-ирать?

А дед превесело отвечал совсем другим голосом:

В середу, бабушка, — в середу,

В середу, Пахомьевна, — в середу!

И дед не только пел, но он присвистывал и прищелкивал перстами, а бабка начинала хныкать и опять заводила:

Чем тебя помина-ать?

Дед отхватывал:

Блинками, бабушка, — блинками,

Блинками, Пахомьевна, — блинками!

И тут дед притопывал и соловьем свистел, а баба со слезами спрашивала:



Где мучицы взять?

Дед учил:

По миру, бабушка, — по миру,

По миру, Пахомьевна, — по миру.

И, разрешив эту задачу, дед хохотал и заливался, а когда старуха пропела с ужасом, что «по миру собаки злы», то дед уже выбивал по гитаре трепака, а сам пел:

С палочкой, бабушка, — с палочкой,

С палочкой, Пахомьевна, — с палочкой!..

Это Павлушино представление всех разутешило и сразу же завоевало ему у нас всеобщее благорасположение, в силу которого с этих пор в нашем доме начали Павлом интересоваться и угощать его.

А он к нам «на привет» заходил и принес с собою несколько веселых минут, с которыми мы, сидя в сугробах и слыша одни жалобы на голод, совсем было раззнакомились.

Павел принес первое обновление в замершую жизнь, и бывал он у нас нередко, потому что с того случая, как приобрел гитару, он стал все ходить к Кромсаю, и это моему отцу показалось нехорошо, и он сказал Павлуше:

— Ты Кромсая, смотри, берегись!.. Кромсай — вор-мужик!

Но Павлуша за Кромсая заступался и говорил, что он его «дурному не научает». И у них с Кромсаем завязалась тесная дружба, а к тому же в посту на Кромсая нашло благочестие и рачительство: он пришел к священнику и сказал, что вот у них дома ни у кого хлеба нет, и муки к благовещенью собрать не у кого, и того гляди опять в этот год придется без просвир сеять; а потому Кромсай надумал — ехать на своей лошади к родным, в сытые места, и там муки напросить, а кстати самому в городе от куричьей слепоты и от вередов лекарства попросить. Но как собирать муку на просфоры есть дело церковное, то Кромсай просил отпустить с ним «во свидетелях» дьячка Павла. Священник на это согласился, и они поехали вдвоем «в сытые места» на четвертой неделе великого поста, но к благовещению не возвратились. Ждали их нетерпеливо, но напрасно.

### ХIII

Ждали их по-пустому до самого праздника, но зато как только отпели святую заутреню и попы стали в ряд посреди церкви с лукошками, чтобы все люди подходили к ним христосоваться и класть яйца, то вдруг подошел с желтым, в луке крашенным яйцом и Кромсай.

— Христос воскресе, — говорит, — батюшка; держи яичко.

— Воистину воскресе! — отвечает священник и от радости, не выдержав, тут же стал его спрашивать: — Когда явился?

— А вот в самую в заутреню: когда ты звонить зачал, так я еще за ложиной был... Путался... Чуть, брат, не залился.

— Ну-у! А Павел где ж?

— Ей же ты богу! Мерин-то мой насилу, брат, выскочил!

— Скажи пожалуй!.. Ну, а Павел где ж?

— Его, брат, уж нетути!

— А где же он?

— Он не приехал.

Дальше говорить было нельзя, потому что это задерживало движение подходящих христосоваться крестьян, и дьякон, заметив беспорядок, сказал: «не препятствуйте», а Кромсаю добавил: «Удались!» Тогда священник велел Кромсаю войти в алтарь и подождать, пока он с народом «отцелуется». И когда все люди отцеловались и священник стал в алтаре разоблачаться, то Кромсай поведал ему, что «Павел в городе остался».

— Для чего же он остался?

— Да вот... Сказал мне: «Ты, говорит, поезжай, — а я, говорит, останусь».

— А зачем?

— «Потому, говорит, что мне надо себе... другое приделение».

— Ну, и ты его приделил?

— Не я, а он сам приделился.

Священник подвел Кромсаю к окну, из которого видны были могилки, и говорит:

— Всмотрись-ка да «помяни гробы — они вечны дома»: долго ли нам жить-то остается?.. Куда ты Павлушку дел?

Кромсай понял, какое смущение запало в душу священника, и отвечал ему с широкой улыбкой:

— Что ты... Полно, батя!.. Неужли ты думаешь, что я Павлушку загубил? Жив Павлушка!

— Ты подумай: у него мать Фаптея древняя. Если ей о сыне что-нибудь ужасное сказать — она помрет!..

Но ужасного ничего не было.

Кромсай рассказал только следующее: когда они с Пустоплясом выехали, то Пустопляс будто «все на самого себя обижался». «Что, — говорит, — дядя Кромсай, рассуди ты, какой я нехитительный, что никто меня очень не обожает! И всего у меня средства только одна старушка есть, только к ней к одной у меня есть и жалость на земле, — так что ни для кого, как для нее, я бы даже и в солдаты... Ведь я могу на Кавказ пойти и в офицеры выйти». А Кромсай ему и помог начать всю эту карьеру; он свел его к Николаю Андрееву Воробью, старинному орловскому маклеру, или «сводчику», а тот его как в хоровод завел и «определил идти по найму за бакалейщикова сына».

Священник, услышав неожиданно такую развязку, молча присел на сундучок и только глаза на Кромсаю выставил.

— Ну, ты, — говорит, — брат, жиган! недаром, видно, тебя вором кличут!

— А что же «кличут»?.. Кличут-то меня разно кличут, а у кого я что-нибудь украл? Ан я ничего не украл, а живу честно и благородно. Павлушка не так пошел, а семьсот серебра получил деньгами, да что еще, брат, гульбы было... Вот бы ты посмотрел!.. А он еще сто рублей прислал матери.

— Ну, лучше бы уж ты у него все последнее с плеч украл, чем этакое добро ему сделал.

— Чего он хотел, то ему и сделано... Чего ты на меня!..

— Ты, Кромсай, жиган, ты нехороший, дурной человек!

— Что ты это?.. за что?.. Разве пропал Павлушка? Он пошел служить богу и великому государю...

Ты, сделай милость, в этом оставь меня!

— А сто рублей матери-то его... целы у тебя?

— А ты почем знаешь?

— Верно, не целы?

— Ну, если тебе открыто, то что же спорить... Не целы!

— Вот ведь какая твоя совесть!

— Что же совесть!.. Я их вез и довез до самой лощины. А тут звон услышал и в зажор сел... Сделай милость — это хоть и на тебя доведись: провались хоть и ты под снег, так небось все покинешь, а одну свою душу начнешь спасать! Мерин биться стал... Я, брат, весь растерялся: и два куля хлеба при мне были, — вез на просвиры, — и те оба там в зажоре погубил.

— Там и деньги пропали?

— Все там осталось. Тридцать рублей, которые вез бумажками, те как на кресте были привязаны, так они и уцелели, а семьдесят, которые были серебряными монетами: рубли и полтинники — с сапогом вместе снялись и из-за голенища потонули.

Священник выслушал, поднялся с места и сказал Кромсаю:

— Ну да и подлец же ты!

— Хорошо, что хоть ты честный! — вздохнул Кромсай.

— Ну смотри же: вспомяни мое слово — за это разразит тебя бог!

Это над Кромсаем очень скоро и исполнилось.[5]

#### XIV

Во вторник на Фоминой неделе, никому не в примету, с какой стороны, взялась на небе серая тучка, и вдруг начала темнеть, расти и пучиться, и расползлась страшно, приняв такие очертания, как баснословный пард или перуносный змей с лапами\*, и полезло это чудище прямо-прямышенько на Кромсаев двор. Это все видели. И как только туча надошла над Кромсаем, так она сейчас же сверкнула огнем и ударила прямо в чулан, в то место, где у Кромсая была примощена короватка, на которой он спал, а под короваткой стояла у него заветная коробья, раскрашенная цветами и под лаком. Все это так «феварком и загорелось». Но при этом еще показалось удивительно, что из всего добра, которое тут было и которое сгорело, — выкинуло вверх только одну доску от цветной коробьи, и когда она упала на землю и ее осмотрели, то увидали, что к ней прилипло несколько штук копеечек, и все их раскинуло треугольником, а как раз посредине угла сидел серебряный рубль, — будто глаз глядел.

Как увидали это люди, то все удивились и заговорили: «Это чудо! надо это показать священнику». И показали. А священник посмотрел и Кромсаю перстом погрозил.

Тогда Кромсай побледнел и стал каяться, что он утаил у Фаптеи семьдесят рублей и что они были целы и береглись в узелке под подушкой, да вот это их-то молоньей и раскинуло, и эти монетки, которые влипли в доску, действительно были из тех утаенных денег.

А когда после пожара стали разгребать пепел, то нашли слиток серебра и возле него другое чудо: деньги сплавились, а возле них лежала остывшая «громовая стрела», или «чертов палец».

Кромсай от этого пришел в такой ужас, что сейчас же стал жертвовать этот слиток на церковь, но священник недоумевал: можно ли брать эти деньги, так как «наемщик», или заместитель в солдатах, почитался тогда в народе за что-то очень гадкое и приравнивался ко «псу продажному» (хотя псы себя никогда не продают). А во Второзаконии (XXIII, 18) есть запрещение: «да не принесеши в храм мзды блудничи и цены песий»; но благочинный это разрешил. Он сказал, что «Второзаконие действовало при Ветхом завете, а теперь, при Новом, — все новое».

Страшная гроза, спалившая Кромсаев двор, оживила наш воздух. Предчувствовалось уже в те дни, что голоду наступает конец и близятся «времена отрады». Городские жители начинали вспоминать о

своих деревенских друзей и родственников и посещать их. Мы снова входили в общение с миром.

## XV

Перед тем как растаять речке, к нам приехала тетушка Пелагея Дмитриевна, которую, в ранние ее годы, в родстве все называли «проказница». Впрочем, у нее была репутация очень многосторонняя и сложная, и сообразно различным ее фазисам и переходам ей давалось «новое имя».

Пелагея Дмитриевна, или, по-домашнему, «тетя Полли», была княгиня и год тому назад выдала старшую дочь замуж за очень именитого князя.

Тетушка всегда была прекрасный человек, но в молодости, когда на нее сердились и потом, помирясь с нею, называли ее «проказницей», — она «страдала самордаками». «Самордаки» — это такая болезнь, совмещавшая фантазию и упрямство. Своего рода «блажь». Самордаки у тети совсем никогда и не прошли, а только «переблажились». В голодный год она заблажила тем, что не продала ни пуда муки, а все искормила на детских мужиков, над которыми она была опекуншей, и завела такое баловство, что все мужики и бабы приводили с собою к ней на двор своих детей и все у нее наедались.

На это двое ее соседей обращали внимание предводителя и указывали, что она, как опекунша, таких расходов допускать не смеет, — тем более что своим примером она других подводит к опасности; и предводитель ей делал замечание, но «не мог запретить». Тетя отвечала, что сна «хочет идти под суд».

Вообще тетя Полли была особа живая, смелая и интересная, и одолеть ее — была не шутка...

Суда она не боялась, потому что держала в своей совести суд над собою.

Теперь ей было уже лет за сорок, но она была еще очень красива: высокая, стройная, — что называется, «король-баба», — с черными как смоль густыми волосами, которые вились у лба и у пробора на темени, и с большими серыми глазами, которые у нее «умели говорить все, что она хотела».

Недавно умерший Николай Антонович Ратынский, который был значительно меня старше и знал наше орловское родство, говорил мне, будто Тургенев с тети Полли нарисовал в своем «Помещике» ту барыню, о которой сказал, что она «была не вздор в наш век болезненный и хилый»\*.

Разумеется, описанное в «Помещике» лицо имело сходство с тетей Полли только во внешности, а в свойствах духа у них была схожесть разве в «победоносности» и в неукротимой энергии и настойчивости.

Победоносный, светлый взор, —

Все в ней дышало древней силой\*.

Впрочем, как тетя Полли была оригинальное и характерное лицо дворянского круга глухой поры (тридцатых годов) и так как ее «блажь» составляла в голодный год некоторое исключительное явление, то мне кажется, что о ней стоит рассказать поподробнее.

Выше уже сказано, что она пользовалась репутацией «проказницы», но слава ее в этом роде была сильно раздута. Танта (как мы ее тоже называли) по положению своему принадлежала к губернской знати, но по живости своего ума и характера была лицо всесловное. Она держалась со всеми как нельзя более просто, «знала все обстоятельства» и даже очень любила подшутить над родовитым невежеством. Первый муж ее был богат, скучен и тучен, но не именит и никаким особенным вниманием и влиянием не пользовался, но рок, однако, судил так, что он целые полгода исправлял

«по случаю» предводительскую должность и с достоинством умер в этом почтенном звании.

Тетушка овдовела очень молодою, она имела всего не более двадцати трех или четырех лет и уже была матерью трех дочерей.

Если бы не дети, то очень могло статься, что тетушка пошла бы в монастырь, так как у нас в Орле это тогда было в моде между дворянством (с чего и написана Лиза у Тургенева)\*; но дети этому помешали. Они же дали чувствам тети и другое направление, а это последовало вскоре после смерти отца, когда все дети вдруг опасно заболели.

Болезнь была из «прилипчивых», и родные молодой вдовы все ее покинули. Это в благородном сословии и тогда уже было в моде и практиковалось без зазрения совести. О положении тетушки дошла весть в Послово, где жила в замкнутом одиночестве именитая г-жа княгиня Д\*, знатная дама, занимавшая перед тем видную «позицию», но вдруг чем-то кому-то не угодившая и удаленная.

Говорили, будто она живет в Послове поневоле и «пребывает» тут одним лишь телом, а что «душа ее не тут» — она живет «в недостижимых сферах». Сама же княгиня Д\* не считала себя равною ни с кем и не допускала к себе никого. У нее была собственная церковь, собственный поп и собственный врач, которому она не позволяла лечить никого, кроме ее особы.

Этот врач был француз, с качествами известного по пьесе Дьяченко французского гувернера — m-г Дорси\*: он был и пуст, и ветрен, и хорош собой, и великодушен.

Узнав через людей, что в соседнем селе так безжалостно всеми брошена молодая и притом очень интересная вдова с больными детьми, он «взбунтовался» и объявил своей важной даме, что он «едет лечить соседкиных детей».

Дама об этом и слышать не хотела, но он продолжал настаивать, и когда люди не стали ему запрягать лошадей, то он завязал шею шарфом, надел теплые сапоги с мехом и пришел к тете по снегу четыре или пять верст пешком.

Разумеется, он был встречен тетей как ангел-утешитель, и оказался вполне достойным такой встречи.

Он «воскресил детей» и тем, понятно, произвел неотразимое влияние на сердце молодой матери.

Княгиня Д\* была поставлена этим случаем в очень большие затруднения. Сначала она сердилась и три дня не обращала внимания, а потом позвала управителя и велела ему подать объявление, что «пропал француз»... Доктор и тетя об этом узнали и оба смеялись... Им было хорошо и радостно, потому что дети выздоравливали, а они были поглощены таким увлечением, которое делало для них чужие сердечные страдания смешными... Это вызвало со стороны княгини Д\* ряд мероприятий, из которых одно было очень решительное и имело успех: она сначала прислала сказать доктору, чтобы он не смел к ней возвращаться из заразного дома; а потом, когда увидала, что он и в самом деле не возвращается, — она прислала его звать, так как с нею случился припадок какой-то жестокой болезни, и наконец, через полтора месяца, когда пришла весна и природа, одевшаяся в зелень, выманила француза в лес, пострелять куропаток для завтрака тети, на него внезапно напали четыре человека в масках, отняли у него ружье, завернули его в ковер и отнесли на руках в скрытую на лесной дороге коляску и таким образом доставили его княгине... Здесь с ним было или только ему угрожало происшествие смешное и тяжкое, из которого он вышел благополучно только благодаря тому, что изъявил согласие сию же минуту, немедленно, сочетаться с княгиней Д\* законным браком, что и было исполнено в ее собственной церкви, ее священником и при ее людях...

Тетушка узнала об этом только на другой день и горько плакала — участь бедного француза казалась

ей необыкновенно трогательною, и она укоряла себя, зачем она сама была так увлечена обаятельностью своего положения, что не оформила всего по образцу княгини. Ведь это было так просто и так возможно, и даже не нужно было этих низких угроз, которыми и его и себя унизила Д\*... Он бы сам охотно на все согласился... Но уж дело было потеряно, и вдобавок требовался корректив, и тетушка, как думали, запылала мщением и «не снесла обиды», а отомстила княгине как настоящая «проказница»: она, совершенно ни с кем не посоветовавшись и для всех неожиданно, вышла замуж за князя С — ва, в котором только то и было, что он был молод и холост, но совсем необразован, и вдобавок, по совершенной бедности, служил квартальным...

## XVI

Mésalliance[6] был самый полнейший, но мщение все-таки было совершено: Д\* — родовая княгиня — через замужество с французским лекаришкой потеряла княжескую корону, а наша милая тетя возложила ее на себя и на свое нисходящее потомство, так как князь С — в был действительный, настоящий князь, из «Рюриковичей», и в гербе у него стояли многозначительные слова: «не по грамоте»\*.

Словом — какой это ни был опрометчивый поступок, но тетушка о нем не сожалела, так как она и вообще не сожалела никогда о том, что уже случилось, а держалась того правила: «что укоротишь — того не воротишь: надо с другого конца надшивать или надвязывать».

Впрочем, ее князь не был совсем особенно плох: в нем было что-то «породистое», и самую «форму квартального» он носил с военным шиком. С этой стороны он был замечен и ради того по представительности своей был отличен начальством и употреблялся для сношений с благородными лицами города. А потому, когда представилась надобность объявить тетушке бумагу, присланную из московского опекунского совета, о каких-то ее опекунских делах, то по распоряжению полицеймейстера к ней был послан с этою бумагою квартальный-князь, и он был принят тетушкою не так, как принимали обыкновенных квартальных. Тетушка велела позвать его к себе в зал, где она сидела в это время в распашном пеньюаре за утренним чаем, и, посмотрев на него, пригласила его сесть — что было тоже необычайностью для лиц его сана.

Князь сел, и пока тетушка пробежала принесенную ей бумагу и потом потребовала себе перо и чернильницу для того, чтобы расписаться «о прочтении оной», она успела «бросить на него взгляд ока» и сейчас же сообразила: на что находящийся перед нею человек может быть годен и как за это дело надо взяться.

А дело не допускало промедления.

## XVII

С — в тут же получил от тетушки поручение по какому-то частному ее делу — по поводу каких-то ее хлопот с принадлежащим ей пустопорожним местом на берегу, где производилась погрузка хлеба на барки, — и князь исполнил данное ему поручение охотно, быстро и с блестящим успехом.

За это он был вознагражден денежным подарком сверх меры и заслуг и кроме того удостоился разговора, вхожего в его положение, которое тетушка находила не соответствовавшим его родовому званию, так как князя С — вы в самом деле принадлежали к «Рюриковичам» и были князя «не по грамоте».

С — в был не глуп и не умен, а то, что называется «человек средний», и участие довольно именитой и весьма интересной дамы его так тронуло и согрело, что он расчувствовался и осмелился

поцеловать поданную ему на прощанье руку. Тогда это, впрочем, было в обычае, и тетушка этим не обиделась и даже обещала ему принять в нем участие и о нем подумать.

Князь был в восторге и провел несколько дней в размышлении: как бы настроить ее так, чтобы она выпросила ему у губернатора место смотрителя тюремного замка или где-нибудь городничего.

Но тетушка имела на него гораздо более важные виды: через несколько дней она позвала его к себе и спросила, не хочет ли он «изменить свой карьер».

Князь был готов на все и несказанно обрадовался, когда услышал, что тетушка желает принять его к себе управителем. Он сейчас же подал в отставку, снял квартальническую форму и переселился в тетушкино имение, где приучался к хозяйству под ее непосредственным руководством и для того ездил с ней вдвоем в кабриолете без кучера, а жил во флигеле, но потом в один прекрасный день переведен в дом и обвенчан с хозяйкою в их деревенской церкви, точно так же скромно, как Д\* обвенчалась у себя с французом.

Бывшая Д\*, не будучи нимало знакома с тантою, прислала ее поздравить «от себя и от мужа». Это была дерзость, но тетя была умна и не обратила на это внимания, а в вознаграждение за то француз прислал ей двусмысленное утешение, состоявшее из одной фразы: «Le nombre des sots est infini».[7] Тетушку и это уже не занимало: она усиленно хозяйничала, и один раз, поехав на поле, так растряслась по кочкам, что в тот же день бог дал ей дочь — прехорошенькую княжну. К счастью, ребенок хотя пришел на свет немножко и рановременно, но это ему не повредило.

Маленькая неудача сказала в другом: тихий и благопристойный Рюрикович, после того как тетушка к нему поближе присмотрелась, не выдержал самой снисходительной критики и оказался еще скучнее первого ее мужа, предводителя.

Кроме того, тете неприятно было, что князь все болтался и ничего не делал, и вдобавок — как она убедилась — ничего и не умел делать, кроме клеенья коробочек из картона и цветной бумаги с золотыми бордюрами.

По мнению родных, тетя сама была во многом виновата, потому что она была со своим князем очень суха; но потом это переменялось, и она сделалась к нему матерински нежна и неожиданно устроила его вполне по его вкусу: как он когда-то мечтал, так и получил вдруг место городничего в отдаленном городе, куда отбыл один, и его лет шесть не ведали. Во все это время про князя никто и не говорил, а тетя-княгиня заперлась от всех и «предалась книгам». Дети, книги и хозяйство ее поглотили, и о ней стали говорить, что она «вознеслась над жизнью». Но вдруг князь потерял место и снова прибыл в деревню. Танта отвела ему помещение в мезонине, даже пожертвовала ему свой письменный стол для кабинета, но сама осталась при дочерях, из которых старшая, Сусанна, не княжна, имела в это время уже шестнадцать лет и смотрела невестою.

Она и две ее младшие, единокровные и единоутробные сестры, очень любили мать и ее младшую дочку княжну Валю, но самого князя не могли переносить.

И в самом деле, все они были в мать — «ужасные читалки и игралки», — то есть вечно были за книгой или за музыкальными занятиями, и их занимали живые бытовые вопросы и литература, а князя не занимало ничто. Если он не клеил коробок, то он только мот ходить да свистать или сидел в своих комнатах у окна и переговаривался с проходящими мимо бабами и мужиками — и всегда о пустяках. Всякое обращение с книгою ему было противно, и хотя он знал, что он невежда и что это нехорошо, но преодолеть свою вражду к книге не мог.

Он понимал, что он своей жене не пара и что «попал в честь по случаю», и терпел это и не нахальничал. Он только завидовал, что жена его, при ее запасе врожденного ума и начитанности, всегда занята и всегда ей везде весело, а ему везде скучно, — и единственное ему спасение — быть городничим, — ходить, свистать и покрикивать.

В семье из этого ничего стройного не выходило, и благодаря тому, что падчерицы его не всегда умели скрыть, что он им неприятен и что они страдают за свою умную и образованную мать, видя ее женою такого остолопа, — князь страдал от своего положения и даже стал возбуждать к себе сострадание в сердце очень чувствительной и доброй танти.

Тетя стала за него заступаться и говорила дочерям:

— Что он вам мешает? Он очень простой человек, но что же он делает вредного?.. Он проводит время, как умеет, и его можно оставить в покое. Он и без того всех избегает и вечно один.

И княгиня стала навещать бедного князя в его уединении, и чтобы это не имело вид сентиментальности, она писала письма на письменном столе, перенесенном в его кабинет. Так шли дела в течение всей зимы, а по весне Сусанна один раз окинула мать испытующим взглядом и сказала:

— Однако что же это, мама?!

— Что такое? — спросила тетя и покраснела.

— То-то и есть, мама... вы краснеете!.. И должно краснеть!

— Чего же мне краснеть! — отозвалась, оправясь, тетя.

— Того, что мы уже взрослые, а вы... ходите письма писать... Мы перенесем ваш письменный стол в вашу комнату.

Но дело было уже непоправимо, и у Сусанны с ее сестрами явился еще маленький братец. Ребенка опять все любили и ласкали, кроме самого князя, у которого это удовольствие было отнято, и на этот раз — увы! — навсегда. Князю снова достали соответственное городничеству место на Кавказе, и он там ходил, курил, свистал и покрикивал и там же и умер, выкупавшись после жирного обеда в холодном Тереке.

Смерть мужа, взятого точно напрокат и поставленного невесть на какую позицию, уязвила сердце тети сознанием своего греха перед этим человеком, который был принесен ею в жертву самым эгоистическим соображениям весьма ничтожного свойства. Он, живой человек, пришедший в мир, чтобы свободно исполнить на земле какое-то свое назначение, был обращен ею в метелку, которую она замахнула сорный след своего колоброды, и потом смыла его с рук и сбросила в Терек...

Ей было ужасно стыдно и ужасно его жаль, — и она заперлась в спальне и плакала о нем много и долго, и тут же, запершись, в уединении от дочерей, которые не могли сдерживать своего презрения к захудалому глуповатому «Рюриковичу», исполнявшему и глуповатую роль в жизни, — она обдумала себя. Девиц и теперь раздражало и обижало, что мать была так потрясена событием и относилась к князю с «чувством»... Они были в том «счастливом» возрасте, который дает возможность рассуждать обо всем не только очень эгоистично, но и очень ошибочно, и им было стыдно за то, что «она, значит, все-таки его любила»... Им, для их семейного достоинства, не хотелось, чтобы это было так; но они не понимали, что это именно так и не было! Тетя Полли не оплакивала в князе человека, которого бы она предпочитала всем другим людям, — что выражает банальное требование так называемой «любви», — но она оплакивала в нем человека-брата,



которого она встретила случайно, заставила его проделать все, что хотела, и к которому не оказала благоволения. Какие бы доводы ей ни представляли, что она ни в чем перед ним не виновата, она чувствовала свею вину и хотела утолить ее. Тетя сделала траур двум младшим детям и сама надела черное платье, — отстояла на коленях заупокойную обедню, и панихиду, и еще ряд других панихид, но утolenия не было: покой к ней не приходил. Она находила, что это все не то... И вот она вдруг уехала куда-то парюю, в маленькой бричонке с одним кучеренком, и, возвратясь через десять дней, сказала, что она была в Оптиной пустыни у «старца», но на расспросы о том: что там такое? — с странною рассеянностью отвечала: «Опять все это не то». И подаренные ей старцем маленькие книжечки она прочла раз и более их не открывала: опять было «не то». Она послала к приходскому священнику, чтобы тот дал ей библию. Но библии в церковном обиходе не было. За нею послали в Орел, но и в Орле продажной библии не нашли, а достали ее «почитать» у семинарского ректора, и то с предварением от своего священника, что «это книга мирская и читать ее небезопасно». И другие тоже пробовали отговаривать тетю, «чтобы не сошла с ума, прочитав библию»; но она была «неимоверная»: она таки прочитала всю библию и, разумеется, как следует, — сошла с ума и начала делать явные несообразности.

## XVIII

Так, например, окончив чтение библии, тетя не задала себе труда повторять это, как делают многие одолевшие названную книгу, а она отложила ее в сторону раз и навсегда и «понесла фантазии» вроде того, что «хороших времен еще не было» или что «лучшая жизнь на земле будет впереди нас, а не та, которая осталась позади нас»... И она в это не только верила, но говорила, что «в такой вере только и находит силу жить и трудиться для того, чтобы равнять путь лучшему, которое идет и непременно придет — когда «горы и юдоли сравниваются и лев ляжет с ягненком и не завредит ему».

Эти «глупости» танты основательные люди передавали друг другу и, весело смеясь, называли ее лицемерной фантазеркой и даже дурой. Прежнее игривое наименование «проказницы» было уже теперь для нее слабо, так как оно не выражало опасного характера ее нынешнего настроения, и то старое название было у нее отнято.

— Была проказница, — говорили о ней, — но тогда была зато хоть живая и преинтересная, а теперь стала бог знает на что похожая — противная, скучная фантазерка, с которой старикам нечего делать, потому что она их не слушает, а молодежь... даже страшно оставлять с нею!

Один из основательных дворян, имевших «голос в собрании и в обществе», во время выборов сделал заявление, что следовало бы обратить внимание на то, в каком духе танта воспитывает своих дочерей. Но предводитель, очень добрый и мягкий человек, нашел, что как у княгини все ее дочери — девочки, то как бы она их ни воспитывала — это не важно.

Воспитывала же она их странно — без учителей, — всему обучая их сама, при содействии выписанной из Англии квакерши\*, Гильдегарды Васильевны, которая была бы чрезвычайно красива, если бы «совершенно себя не безобразила», нося постоянно серое платье в складках и летом широкою соломенную шляпу, а зимою маленькую теплую черную шапочку «с затылком и с ушками, без всякого фасона».

Притом танта с этою квакершею сделались неразрывными друзьями и ни с кем не церемонились. К ним можно было заехать, и они всякого гостя встречали очень приветливо, но всегда прямо желали узнавать: чем они ему могут быть полезными. И затем сию же минуту делали для него все, что

могли, но потом, сделавши это, тотчас же к нему, или к ней, охладевали и держали себя с гостями — как будто «занимать» его или ее совсем не их обязанность. Они оставляли приезжих в покое и сами обращались к своим обыденным занятиям, в которых наблюдали строгий порядок — очень противный для людей с истинной «широкой натурой».

Кончилось это тем, что стали находить, будто у бывшей «милой проказницы» огрубели манеры и пропала женственность. Она стала носить бесценно однообразного, самого простого фасона черное шерстяное платье зимою и такое же светлое ситцевое платье летом; лечила у крестьян самые неопрятные болезни, сама своими руками обмывала их раны и делала кровавые разрезы и другие простые операции, и при этом ни за что не хотела поручить присмотр за больным горничным девушкам, ибо она находила, что горничные слишком деликатны и «нос воротят». Вообще тетя Полли стала будто резка и даже иногда употребляла «Антошины словечки». Оно так и было: тетя выражалась порою немножко во вкусе Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского, называя вещи их прямыми именами, что, впрочем, в ее устах не было ни плоско, ни грубо, а только прямо и образно. Так же резки казались и ее чувства, в которых не находили самого необходимого — раскаяния и сожаления о прошлом, — что ей очень бы и очень не мешало... На это даже и обращали иногда ее внимание и говорили: кто хочет показать другим лучший образ жизни, тот не должен никогда забывать своего худшего. «Врачу, исцелися сам!»

Тетя за эти намеки нимало не сердилась и от них не конфузилась: она, без сомнения, понимала, во что люди метили, но все слушала спокойно и, выслушав, отвечала:

— По отношению ко мне все это совершенно справедливо, и я постоянно чувствую, как нехорошо иметь неопрятное прошлое, — чистых не в чем упрекать и на них выдумывают, а о нас можно говорить правду, которая тяжелее всякой лжи, — но то дурное, что я делала, я уже оставила.

Матан раз заметила ей, что, «перестав грешить, надо начать каяться», но тетя ответила ей:

— Насчет раскаяний мнения различны; но я не нахожу никакой пользы в том, чтобы порочный человек, сознав свои дурные дела, сидел бы и все смотрел на свой живот, как это делают какие-то чудачки в Индии. У очень многих людей в их прошедшем есть порядочное болото, но что же пользы возиться в этом болоте? Лучше поскорее встать да отряхнуться и идти доброй дорогой.

Так она и жила, «отряхнувшись», и не хотела жить иначе, и, несмотря на все ее «порядочное болото в прошлом», личность ее стала казаться светлою и получила такую привлекательность, что к ней широко запылала любовь во множестве сердец.

Ее дочери, которые унаследовали не все ее свойства, напрасно боялись, что ее пассаж со вторым браком повредит их карьере: одна из этих дочерей очень скоро и очень приятно разочаровалась в этом, потому что прибывший в их местность для принятия наследства молодой сын именитого вельможи, князь Z., один раз побывав у тети Полли, так полюбил ее, и ее Гильдегарду, и все их семейство, что не захотел оставаться чужим этой семье и твердо настоял на том, чтобы ему был разрешен брак с ее старшею дочерью, с тою самою Сусанной, которая была груба к матери, стыдилась ее беременности, — а потом еще более стыдилась этой своей выходки и сделалась образцом дочерней любви и уважения к матери.

Это было наградою тете Полли, которая сама себя почитала «во всех статьях неисправною» и никого не бралась исправлять, но до самозабвения восторгалась, когда видела, что люди «ни от чего исправляются».

Ни от чего!..

Она была бы до слез смущена, если бы ей доказали, что это «ничто» была сама она, ушедшая «от своего болота».

Так преобразил ее тот, кто жалеет об утрате одной овцы и, хватившись ее, оставляет девяносто девять овец, идущих своею дорогою, и ищет в кустах и тернии потерявшую путь одну овцу, и находит ее, берет ее на свои священные руки, и несет, и радуется, и дает радость всем, кому понятна и дорога радость, что ожил человек!

Личных утешений тетя Полли с тех пор не искала, но они ее иногда находили, и одно такое прекрасное утешение осветило ее закат: ее зять, муж Сусанны, отличился благороднейшею деятельностью при «освободительных работах» в царствование Александра II. И тетя, при получении известия об этом, плакала радостными слезами на груди у своей Гильдегарды и сама себя перебивала словами:

— Нет, за что же?.. За что мне так много дано, когда я так мало стою!

Но, увлекаясь воспоминаниями о тете Полли, я отступаю от порядка повествования, с которым здесь пора кончить.

Возвращаюсь к тому, когда тетушка приехала к нам в деревню, измученную голодом, которому уже был виден предел, но к которому теперь присоединились повальные болезни; они сложили на землю половину живущих и навели уныние и страх на другую половину.

## XIX

Тетя Полли собственно была вызвана к нам отцом, который описал ей наше унылое состояние, и она сейчас же приехала вместе с Гильдегардою и привезла успокоение и радости.

Эта женщина всегда привозила с собою, во-первых, свою непобедимую и никогда ее не оставлявшую благородную веселость; а потом непременно всем людям и детям по подарку. Дарить — это была ее слабость и ее радость, и она имела удивительную способность всех помнить и всякому подобрать подарок, подходящий по его потребности и по вкусу.

Женщинам дарились головные платки, горничным — ситцы на платья, лакею — «отрез на жилет», кучеру — «касандрийская рубаха», скотнику — рукавицы, но более всего привозилось дешевых алых лент — деревенским девчонкам на «косоплетки».

Эти косоплетки, нарезанные кусочками соответственного размера, тетя всегда имела у себя в запасе в кармане платья, и где бы ни встретила девчонку, она подзывала ее к себе и дарила всегда с шуткою: — Девки! девки! подите ко мне, я вас осчастливлю!.. Нате вам — в косы заплетите... Ты чернуха — тебе вот ленточка алая, а ты белый таракан — тебе лучше будет синенькую...

«Осчастливленные» просиявали от счастья и с разгоревшимися глазенками бежали за тетей и просили, чтобы к алой была прибавлена синенькая, а к синенькой — аленькая, и тетя увлекалась радостью детей и им не отказывала, а иногда брала девочек и целовала их не совсем чистые лица, приговаривая:

— Ах вы, рожицы!.. Тоже щеголихи!.. Нате вам, чумазы! нате!

И ленты летели в толпу, и деревня расцветчалась пестротою девичьих косоплеток.

Видно было, что «баловница приехала».

Было ли после этого чему удивляться, что эта «баловница» (сколько у нее было прозваний!..) была в то же время и общая любимица и что такое лицо, как она, в лихую годину сразу одним своим

появлением наполняла сердца людей доверием и упованием, облегчающими в значительной мере всякое горе и «всякую язю в людех»?!

А тетя Полли и Гильдегарда теперь и пришли к нам с нарочитою целью — принести облегчение больным, которых было полдеревни и которые валялись и мерли в своих промзглых\* избах без всякой помощи.

Какая это была болезнь — я не помню, но знаю, что над распознаванием ее по правилам науки никто не трудился. Уездные врачи (которых тогда было по одному на уезд) делали только судебные «вскрытия», а лечить больных времени не имели; отец мой обладал «Лечебником штаб-доктора Егора Каменецкого»\*, но не имел дара лечить; матушка боялась заразы, а француз-доктор, женатый на нашей богатой соседке, бывшей княгине Д\*, еще в самом начале голодного года покинул жену и уехал от снежных сугробов России на свою цветущую родину, а оттуда в палящие степи Африки, где охотился на львов вместе с Клодом Жераром.

Мы были совершенно беспомощны и знали о болезни, убивавшей крестьян, только такие симптомы, что у них сначала «заболит голова, а потом на нутре сверлит, а потом весь человек слаб делается» и валяется, пока «потмится в лице, и дух вон».

У тетушки и у Гильдегарды Васильевны был талант к лечению больных крестьян, и им это было ничем, так как они не боялись заразиться. Болезнь, которою умирали наши крестьяне, началась было на деревне и у тети Полли, но там ей не дали развиваться. Тетя и Гильдегарда тотчас же отделяли больных из семьи и клали их в просторную столярную мастерскую, где и лечили их, чем знали, с хорошим успехом.

Теперь у них все было благополучно, и они явились на помощь к нам во всеоружии своей духовной мощи и знаний и с запасом потребных лекарств. Но более всего полезен был их мощный дух, присутствие которого сразу изменяло весь ход и настроение нашей жизни.

Тетя Полли не успела еще снять с себя в передней свой темно-зеленый шелковый ватешник, как уже давала тон и направление.

Первые слова ее были к отцу:

— Ну что это за стыд!.. мы проехали всю вашу деревню и не слышали ни как гусь гогочет, ни как корова мычит. Здравствуй, брат!.. Или у вас уже совсем нет коров?

Отец поцеловал у нее обе руки и отвечал, что на деревне осталась всего одна корова у старосты.

— Ах да!.. И правда!.. Я ее, должно быть, видела... Бурая?.. Но мне показалось, что это неживое чучело.

Такой разговор произошел еще на самом пороге, и затем это так и продолжалось в живом и энергичном тоне и с одним и тем же над всем преобладающим стремлением поставить все ниже забот о деревне.

Тетя ласкала нас — более руками и взглядами — и в то же время задавала отцу вопросы, требовавшие немедленного исполнения ее просьб или приказаний, которые вытекали из каждого обстоятельства и шли одно за другим в быстром, но стройном порядке.

Тетя спрашивала: «Сколько больных на деревне?» И видя, что отец затрудняется точным ответом, сейчас же сама за него отвечала:

— Ты не знаешь?.. Это недурно для начала со стороны христианина и помещика средней руки!.. А могу ли я видеть твоего старосту или кого-нибудь, кто у тебя есть поумнее и у кого меньше

упрямства и предрассудков?.. У тебя был, я помню, где-то за усадьбой пустой половень.

— Он сгорел, — отвечал отец.

— Вот как!.. Верно, от грозы?

— Нет, — мои дураки там колдовали с человечесьим салом.

— Как это?

Отец рассказал ей известную историю со свечой из Кожиёнова сала, от которой сгорел половень.

Тетя пила чай и слушала историю без улыбки, без ужаса и без гримас и только посмотрела вбок на Гильдегарду, которая тоже окинула ее ответным взглядом, и было ясно, что им не надо было говорить более, чтобы понимать друг друга.

Когда был кончен рассказ о свече и о всем том, что записано выше в этих воспоминаниях, тетя Полли вздохнула и сказала:

— Да!.. здесь юдоль плача... Голод ума, голод сердца и голод души. Вот моток, в котором не знаешь, за какую нить хвататься!.. Дмитрий Ростовский, впрочем, говорил в дворцовой церкви, что он извиняет, когда люди «за нуждою и утеснениями забывают о высшем». И теперь уж надо помогать одной низшей, грубой нужде. Лучше сделают когда-нибудь после другие, а не мы. Если половень сгорел, я прошу ригу и помещу в ней больных. Это первое дело — их надо сейчас отделить. Мы уже отдохнули и теперь обойдем с Гильдегардой все избы и сосчитаем всех больных — и потом их сейчас же перевезть...

— Больные не пойдут со своих печей и лавок, — заметил отец.

— Ну, мы постараемся убедить их, чтоб они пошли, а в крайнем случае... мы их возьмем и унесем.

— Насильно?

Тетя посмотрела в глаза отцу и, помолчав минуту, ответила:

— А хотя бы и насильно!.. Как странно! Разве ты и я — мы все ими владеем по их доброй воле?

Пустяки! того, кто тонет, берут за волосы и вытаскивают насильно... Это очень грубо, но совершенно необходимо. Соломы, верно, нет у вас, чтобы настлать кучами постелей по всей риге?.. Это очень жаль, но, может быть, есть конопляная костра? Есть? Ну вот и прекрасно, — обойдемся с ней... Пока мы с Гильдегардой будем на деревне, возьми на себя труд наблюсти, чтобы здоровые натаскали в ригу сухой костры и наклали ее для больных кучками... Вели делать этак... как большие котлеты, в рост человека, — и в головах — повыше, а к ногам — пониже. Через час там уже будут больные...

Твоя жена не может нам помогать? Отец тихо ответил:

— Она боится.

— Ну и не нужно ее... Кто боится, тем это и вредно. А мы сейчас же идем!

Проговорив это, она уже стояла и покрывала свою кучерявую голову мягким платком, а Гильдегарда Васильевна надевала свою высокую, с широчайшими полями, соломенную шляпу.

XX

Тетя и Гильдегарда взяли в карманы крошечный карманный фонарик с рефлектором (для осмотра горла), флакон с какой-то жидкостью и записную книжку и ушли.

Отец предлагал им провожатого, но они не взяли, и сказали, что надо зайти подряд в каждую избу.

— На вас могут напасть собаки.

— Полно, пожалуйста! Собаки такие почтенные животные — они знают, кто идет не с дурным намерением, и будут с нами вежливы.

И действительно, собаки повсеместно отнеслись к ним превосходно, но все-таки экспедиция их не обошлась без приключения: бурая корова Дементия, которую тетя оскорбила, назвав ее «неживым чучелом», доказала, что она еще жива, и когда Гильдегарда, проходя мимо нее, остановилась, чтобы поощрить ее ласкою, тощая буренка немедленно подняла голову, сдернула с англичанки ее соломенную шляпу и быстро удалилась с нею на середину самой глубокой и непроходимой лужи, где со вкусом и съела шляпу, к неопisanному удовольствию тети Полли, которая над этим очень смеялась, а англичанка, потеряв шляпу, повязалась своим носовым платком и окончила обход в этом уборе.

До вечера было сделано множество вещей: в риге было настлано двадцать семь постелей из сухой костры, и на них уложили соответственное число людей, освободив от производимого ими смрада тесные избы, в которых местились их семейства. При этой «эвакуации» насилий не было, но имели свое место энергия и настойчивость обеих женщин, которые сами при этом работали до изнеможения и не пришли обедать до темного вечера.

Матушка долго и напрасно ждала их и сердилась. Обед весь перестоялся и был испорчен. Отец стыдился покинуть тетю и англичанку одних с больными мужиками и бабами и тоже оставался в риге: он помогал им раскладывать больных и защищать их от сквозного ветра в импровизированном для них бараке.

Им там было холодно, но они тотчас же стали легче дышать, а в то же время безопаснее и легче дышалось и тем, которые остались у себя в избах.

Отец, тетя и Гильдегарда пришли в дом, когда уже был вечер, и ели скоро и с аппетитом, а говорили мало. На лицах у обеих женщин как будто отпечаталось то выражение, какое они получили в ту минуту, когда тетя проговорила:

— Это ужасно: круглый голод — голод ума, сердца и души... И тогда уже — всякий голод!

Ни тетя, ни Гильдегарда не были теперь разговорчивы и даже отвечали суховато и как бы неохотно.

Мать им сказала:

— Извините за обед... Он весь перешел, — вы сами виноваты, что дотянули обед до звезды.

Гильдегарда ее, кажется, не поняла; но тетя, разумеется, поняла, но небрежно ответила:

— До звезды!.. Ах да... и ты права: мы в самом деле очень любим звезды... их видеть так отраднo.

Там ведь, без сомнения, живут другие существа, у которых, может быть, нет столько грубых нужд, как у нас, и потому они, должно быть, против нас лучше, чище, меньше самолюбивы и больше сострадательны и добры...

— Но ведь это фантазия, — заметила мама.

Тетя ей не отвечала.

— Притом, мы все очень грешны, — зачем нам мечтать так высоко! — молвила мать, конечно без всякого намека для тети.

Тетя ее слышала и произнесла тихо:

— Надо подниматься.

— Да ведь как это сказать...

Матушка, кажется, побоялась сбиться с линии, а тетя ничего более не говорила: она озабоченно копошилась, ища что-то в своем дорожном бауле, а Гильдегарда в это время достала из темного кожаного футляра что-то такое, что я принял за ручную аптечку, и перешла с этим к окну, в которое

смотрелось небо, усеянное звездами.

Мама вышла. Тетя закрыла баул, подошла к столу, на котором горели две свечи, и обе их потушила, а потом подошла к англичанке и тихо ее обняла. Они минуту стояли молча, и вдруг по комнате понеслись какие-то прекрасные и до сей поры никому из нас не знакомые звуки. То, что я принял за ручную аптечку, была концертина\*, в ее тогдашней примитивной форме, но звуки ее были полны и гармоничны, и под их аккомпанемент Гильдегарда и тетя запели тихую песнь — англичанка пела густым контральто, а тетя Полли высоким фальцетом.

Они пели «cantique»[8] на текст «Приходящего ко мне не изгоню вон» (Иоанна VI, 37), и слова их песни перед звездами (в русском переводе) были таковы:

Таков как есть, — во имя крови,  
За нас пролитой на кресте,  
За верой, зреньем и прощеньем,  
Христос, я прихожу к тебе.

Я был поражен и тихой гармонией этих стройных звуков, так неожиданно наполнивших дом наш, а простой смысл дружественных слов песни пленил мое понимание. Я почувствовал необыкновенно полную радость оттого, что всякий человек сейчас же, «таков как есть», может вступить в настроение, для которого нет расторгающего значения времени и пространства. И мне казалось, что как будто, когда они тронулись к нему «за верой, зреньем и прощеньем», и он тоже шел к ним навстречу, он подавал им то, что делает иго его благим и бремя его легким...

О, какая это была минута! я уткнулся лицом в спинку мягкого кресла и плакал впервые слезами неведомого мне до сей поры счастья, и это довело меня до такого возбуждения, что мне казалось, будто комната наполняется удивительным тихим светом, и свет этот плывет сюда прямо со звезд, пролетает в окно, у которого поют две пожилые женщины, и затем озаряет внутри меня мое сердце, а в то же время все мы — и голодные мужики и вся земля — несемся куда-то навстречу мирам...

О, если бы за все скорби жизни земной еще раз получить такую минуту при уходе из тела!

Этот вечер, который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно укрыта снегом житейской зимы, кажется, имел для меня значение на всю мою жизнь.

## XXI

На другой день перед обедом, когда тетя Полли и Гильдегарда, с помощью отца и двух дворовых, перекладывали в риге больных на свежие подстилки из кострики, на которую разостлали рогожи, в ригу неожиданно вошел исчезнувший по осени с нашего горизонта майор Алымов, а за ним шли его легавый «Интендант» и мальчик с табачным кисетом и с трубкой.

Я почему-то сразу понял, что майор напрасно вошел сюда, что ему здесь не место, и точно то же самое, очевидно, подумал мой отец, который, увидав майора, слегка покраснел, передал мне в руки полоскательницу с уксусом и губкой, а сам пошел скорым шагом навстречу Алымову и, здороваясь с ним одною рукою, другою дал знак мальчику, чтобы он удалил отсюда собаку.

— Ах да!.. здесь гошпиталь! — заметил Алымов. — Это интересно. Я еще теперь только еду домой... Я всю зиму летал и своим мужикам не мешал жить, как им угодно... Ведь мы им, право, только мешаем... Они сами — чудесный народ и всегда как-нибудь обойдутся... А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрице: я об ней много наслышан.

Отец представил его обеим дамам, но те поклонились ему через плечо, не отрываясь от своего дела,

и отец увел его в дом, а один из дворовых, подавая тете дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложил ей вкратце, что это за человек г. Алымов и какую он штуку сделал, вымочив в навозной жиже рожь, чтобы сделать ее несъедобной.

Тетя перевела это по-английски Гильдегарде, а та прошептала: «О, God!»[9] и сконфузилась как ребенок.

Алымов уже не мог ожидать встретить у этих женщин симпатии и за обедом напрасно старался втянуть тетю в разговоры: она или молчала, или говорила с нами, то есть с детьми, а Гильдегарда вовсе не вышла к столу, потому что у нее разболелась голова.

Новый гость мог беседовать только с моими родителями, да и то отец, по-видимому, не рад был ни его визиту, ни говорливости, но мама в этот раз была к нему внимательна...

Она в душе недолгоблывала тетю Полли, которая всегда «брала все не в меру»: то была «проказница», а потом стала «фантазерка» и теперь развела у нас в доме близкое и опасное сношение с больными людьми, чего матан никогда бы не допустила!

Матан умела говорить немножко «в пику» тем, чьи «правила» ей не нравились, и присутствие майора Алымова давало ей прекрасный повод поиронизировать над причудами и выдумками «филантропов», затеи которых будто нимало не полезны для нашего народа, так как наш народ превосходно верит в бога, и бог спасет его от всяких бедствий.

Алымов был совершенно тех же мнений и при конце обеда резюмировал разговор:

— Вот я ни во что не мешался... И прекрасно!.. К чему?.. Я знаю, что всех спасти нельзя, и нечего пробовать! Не правда ли?.. А если нельзя помочь всем, то какое право мы имеем делать одним людям предпочтение перед другими!.. Не правда ли? Если уже спасать, то спасать всех людей!.. Это я понимаю... Не правда ли? Но если я этого не могу, то я не мешаюсь... Я отхожу в сторону и ничего не порчу, и... по крайней мере я не посеваю зависти одних к другим, как это на Западе, где все гниет, а не понимают, отчего гниет? Не правда ли?.. Но у нас этого нет... И вот, когда я могу сделать серьезное и существенное дело, которое я, как хозяин, давно задумал, я его и делаю — я возвращаюсь на мой пост, и все мои крестьяне получают ровно! и если они не свиньи, — я оговариваюсь: если только они не свиньи, — то они, наверно, теперь поймут, что я для них сделал хорошее, а не дурное, и они благословят меня и отдадут мне долг из нового урожая!

## XXII

Алымов уехал веселый и вдохновленный насквозь своим монологом, а ввечеру этого же дня к нам приехал из Послова старик крепостной кондитер «бывшей княгини Д\*» — очень почтенный человек, обучавшийся своему ремеслу в Париже. Он желал быть «допущен на очи» к приезжим дамам и в витиевато сложенной речи изложил им, что он «раб своей госпожи, бывшей княгини Д\*», и был за границей с покойным князем, и служил «у него при дворе» в Петербурге, а теперь прибыл от своей госпожи, которая «больна мнением»: она уже всю зиму не выходит из одной комнаты... в другую переступить боится... а если переступит, то сейчас забеспокоится и говорит: «Я, верно, что-то забыла?.. Скажите мне, что я такое забыла? Боже мой!.. какая я несчастная! Отчего мне никто не хочет напомнить?» А если сделает какое-нибудь распоряжение, то очень странное. «Вот и теперь она прислала меня вам доложить, что от графа пришли в посылке две шкуры от львов, которых он убил, и она желает подарить эти шкуры бедственным людям для их постелей...» Поэтому его госпожа просит тетю и Гильдегарду, если они позволят, привезти к ним эти шкуры, и очень желали бы еще



отдать что-нибудь, «что может годиться»...

Наши дамы выслушали этот доклад обе вместе, но так как Гильдегарда говорила по-русски очень дурно, то отвечала за себя и за нее тетя Полли.

Она сказала:

— Бедным людям может годиться все, что им захотят дать, и даже львиные шкуры годятся, — мы их охотно возьмем и за них очень благодарим, но постилать их мужикам мы не будем.

— Конечно, сударыня! — с почтительным поклоном отвечал кондитер.

— Да, мы их отошлем в город и продадим их, а на эти деньги купим что понужнее.

— Разумеется, сударыня! Как же можно иначе-с! Я это и говорил компаньонке... Львиные шкуры мужикам!.. И много ли это... всего на двух человек... но ведь наша княгиня... оне... больны мнением и, — извините, — по-русски я не смел бы сказать о своей госпоже, а скажу по-французски, — оне совсем как pergoquet... [10] От горя своего в последней разлуке с супругом оне стали совсем в детстве. Если бы вы осчастливили их видеть и сказали бы им, что надо сделать... оне бы рады... И даже, может быть, большие благодеяния могли бы людям сделать... Супругу их мы не можем достаться, потому что он здешних прав не имеет владеть живыми людьми, но мы можем поступить после ее смерти в раздел их дальним родственникам, в жестокие руки... Вы извините меня, что я как раб, и притом смею так говорить; но их племянники и племянницы пишут к их компаньонке и к иерею... и эти им отвечают... Все это на нашу беду!.. Если б госпожа понимала, что можно сделать, — оне бы сделали... Оне теперь двух картофелин в мундирах не докушивают — одну ссылают на подачку бедственным... Я их мнение понимаю: оне алкают добродетели... и не умеют... Оне сказали про вас компаньонке: «Какие это дамы приехали? Говорят, добрые... Ах, когда бы были на свете где-нибудь добрые люди!.. Я даже не верю: говорят — эти дамы всюду сами ходят и не боятся... Зачем я так не могу?..» Их ведь так воспитали и... граф (мы их супруга называем для их удовольствия графом — они француз)... граф их робковат, и он им сказал, что надо опасаться голодных людей, — и сам уехал, — и княгиня всё боятся и затомили себя в одной комнате в доме... Но если бы кто их посетил, к кому оне, как к вам, расположились своею мечтою...

И старик вдруг упал на колени, воздел руки вверх и зашептал придыханьем, рыдая:

— Рабыни господни!.. Умилосердитесь... Разружьте совет нечестивых!.. Придите!.. Вложите ей мысль... Она ведь добра... Быть может, она завещает отпустить нас на волю!

А пока он рыдал и это высказывал, тетя и Гильдегарда переслались друг с другом своими говорящими глазами, и ответ их был готов.

— Он есть тут лёшад? — спросила Гильдегарда, касаясь своим пальцем до груди слуги.

Как квакерша, она никому не говорила «вы» и, не желая говорить «ты» тем, с кем это было неудобно, употребляла местоимения в третьем лице, касаясь при этом рукою того человека, к которому относились ее слова.

Кондитер был прислан с кучером в рессорной рассыльной тележке, и когда Гильдегарда получила ответ, что есть на чем ехать, — она сейчас же встала и взяла со стола импровизированную шляпу, сшитую ей вчера тетею из серого коленкора.

Тетя сказала ей одно только слово:

— Конечно!

Им было достаточно этого слова, чтобы понять в нем все, что было нужно.

Но этот день, о котором я рассказываю, приводя к концу мои воспоминания о наших домашних событиях при проводах голодного года, — был днем удивительных сюрпризов.

### XXIII

Гильдегарда, уехавшая в сумерки, не возвратилась к ночи.

Для расстояния в четыре или в пять верст, которое отделяло нашу деревушку от богатого села Послова, было довольно времени, чтобы съездить в два конца и иметь достаточно времени для делового разговора или для первого знакомственного визита к избалованной и одичавшей капризнице и недотроге, какою все, и не без основания, считали «бывшую княгиню» Д\*. Но Гильдегарда не возвращалась.

Отца это беспокоило, и он хотел непременно послать за ней свои дрожки в Послов, — даже и мамап находила это необходимым, но тетя настойчиво потребовала, чтобы этого не делали.

Тетя сказала о Гильдегарде:

— Она без надобности нигде тратить время не станет, а если она находит, что ей там есть дело, то для чего ее отрывать отсюда по нашим соображениям, когда она пошла туда по воле бога?

Мамап было неприятно, что тетя так бесцеремонно думает, будто их туда и сюда посылает бог.

Она это ей и сказала, конечно с смягчающей шуткой, но та ей ответила совершенно серьезно:

— Я не возьму моих слов назад: бог действительно посылает туда и сюда всех тех, кто ищет везде исполнить не свою волю, а послужить другим.

Тетя согласилась только на то, чтобы отец послал верхового проехать до Послова и посмотреть: не случилось ли с Гильдегардой и ее кондитером что-нибудь в дороге? А негласно посланному велено было как-нибудь разузнать: отчего не возвращается англичанка?

Посланный скоро возвратился и привез известие, что путники доехали благополучно и что англичанка у госпожи Д\* и выходила с ней на балкон.

Тетя улыбнулась и сказала:

— Вот видите: она ее уже выводит на чистый воздух.

Утром Гильдегарда вернулась и сказала что-то тете очень тихо, — в ответ на что та покраснела и ответила:

— Для чего ей это делать? Я сама сейчас к ней поеду. Брат! дай мне лошадь в Послово.

Такой оборот был неожидан и невероятен: эти две женщины, соперничество которых когда-то было таким непримиримым, что никто не мог думать об их встрече, шли нынче навстречу друг другу и даже спешили одна другую предупредить в этом движении!..

Для чего это им было нужно?

Но тетя уехала, и цель ее поездки оставалась загадкою, а прежде, чем она успела вернуться к нам, прискакал сам на себя не похожий Алымов.

Он был бледен, расстроен и растрепан, его кок упал и повис, галстук сбился набок, и венгерка расстегнута...

— А что я вам говорил! — начал он, входя в залу и ни с кем не здороваясь.

Отец посмотрел на него и сказал:

— Я не помню, что такое вы мне говорили.

— Я говорил вам вчера... и вашей сестре, что наши люди — это не люди, а это скоты!

— Ну, хорошо... я этого что-то не помню; но, впрочем, что ж дальше?

— Моя яровая рожь вся тю-тю!

— Как?

— Тю-тю вся до последнего зерна!

— Но ведь она была у вас под замком?

— Под большим американским замком, которого не возможно ни отпереть без ключа, ни сбить, не разорив двери.

— Ну и что же?

— Просверлили дыры в досках в полу и все выпустили!

— Когда же это?

— Почему же я могу это знать! Меня всю зиму не было дома... А Кромсай, подлец, которому я, как вольному человеку, поручал наблюдать и обещал дать ему за это теленка, говорит: «Должно быть, зимой помаленьку цедили». — «А куда же, спрашиваю, они ее дели?» — «Должно быть, говорит, слопали...» Ну, не скоты ли?.. Ведь она, говорю, была вонючая!.. я ее нарочно припоганил! «Так, говорит, поганковатую, верно, и слопали». А чего «верно», когда он сам же, подлец, ее и лопал!

— Почему же вы это узнали?

Алымов закашлялся, покраснев, и, вытащив из кармана венгерки мужичью трубку с медной крышкой, швырнул ее на стол и закричал:

— Смотрите ее!.. Вот почему!.. Это его, подлеца, трубка... Не правда ли? ее под амбаром нашли... Он еще и всю усадьбу сжечь мог. Я их теперь всех, подлецов, разнесу... Я им сказал: «Я прямо поеду к исправнику и потребую сюда временное отделение земского суда... Пусть вас всех заберут и заморозят!..» А он еще этот Кромсайка... вообразите, дает мне вроде родительского наставления... «Погоди, говорит, ты еще млад человек, тебе еще много веку надо на земле жить да радоваться... а ты себя укорачать хочешь... Это моя трубка, ничего что она моя... У меня ее, брат, украли да тебе подкинули... Это все вороги... народ воровской — шельмы... А ты их не замай... прости... бог с ними... Ты уж того, что пропало, не воротишь, а потерпи — оно само вернее в другой оборот придет... А то укоротят тебе веку...» Вообразите, красным петухом меня пугать стал!.. «Спят, — говорит, — дело суседское: разве какому-нибудь жигуну огонька сунуть долго! У тебя постройка хозяйственная — весь двор в кольце — запылает, и живой не выпрыгнешь». Стращать меня!.. Не правда ли? Но это неправда!.. Я не француз из города Бордо... я не поеду в Африку львов стрелять, а сейчас прямо к губернатору.

Отец стал его уговаривать и увел к себе в кабинет, потому что в это время возвратилась тетя и отец не хотел ей показывать Алымова, положение которого было и крайне смешно и жалостно.

Впрочем, на этот раз отец мой имел удачу: он успокоил майора и уговорил его побывать у губернатора, но не сильно жаловаться и лучше простить мужиков, не разыскивая, кто из них «полопал» припоганенную рожь.

Губернатор дал ему тот же самый совет, которому Алымов и внял, и смилостивился над мужиками, — он «простил их». А за то его бог простил, и пропажа его «возвратилась другим оборотом»: дивный урожай, следовавший за голодным сороковым годом, обсеменял его поля самосевом, и Алымов «сжал, где не сеял».

#### XXIV

Свидание же тети Полли с бывшей княгиней Д\*, вероятно, имело что-то неудобопередаваемое. Тетя

вернулась домой в сумерки, когда все мы, дети, сидели вокруг Гильдегарды Васильевны в отведенной для них комнате. Англичанка показывала сестре моей, как надо делать «квадратный шнурок» на рогульке, и в то же время рассказывала всем нам по-французски «о несчастном Иуде из Кериота». Мы в первый раз слышали, что это был человек, который имел разнообразные свойства: он любил свою родину, любил отеческий обряд и испытывал страх, что все это может погибнуть при перемене понятий, и он сделал ужасное дело, «предав кровь неповинную».

В это время в комнату вошла тетя Полли и, сказав всем нам общее приветное слово, опустилась на стоявшее в углу кресло.

— Что же вы замолкли? — сказала она, — продолжайте говорить, о чем вы говорили.

Гильдегарда Васильевна мельком взглянула на нее, и продолжала об Иуде, и закончила, что если бы он был без чувств, то он бы не убил себя, а жил бы, как живут многие, погубивши другого.

Тетя прошептала:

— Правда.

Англичанка спустила паузу и сказала:

— Ты довольна собой или нет?

Тетя Полли хрустнула пальцами руки и отвечала:

— Не знаю, но... она так трогательна, она переносит на меня такие чувства, что мне хочется плакать.

В голосе у нее в самом деле звучали слезы. Англичанка опять дала паузу и потом тихо сказала:

— Титания...

Но тетя перебила скороговоркою:

— Ах, конечно, конечно!.. Титания, дорассветная Титания, которая еще не видит, что она впотьмах целовала... осла!..\*

— Я этого не сказала, — заметила, смутясь, Гильдегарда.

— Ничего, мой друг! Ничего! я знаю, что ты не хочешь, чтобы я «предавалась воспоминаниям», ну и карай меня!

Тетя ласково кинула на плечи англичанке свои руки и сказала:

— Ты Петр, и это значит: «камень»\*; и ты блаженна, — но прости нас грешных!

И она, кажется, хотела спуститься и стать на колени, только Гильдегарда успела схватить ее под плечи и воскликнула:

— Полли! Полли! Неужели я тебя оскорбила?!

— Нет, — отвечала тетя, — мне просто... хочется плакать.

Они обнялись, и тетя два раза всхлипнула, потом утерла слезы и, улыбнувшись, сказала:

— Вот когда аминь!

Свидание это имело также и другие разнообразные добрые последствия, из числа которых два были очень замечательны. Первое состояло в том, что больных в нашей местности с этих пор уже не приходилось более класть на кострике в холодной риге, потому что «бывшая княгиня» построила «для всей местности» прекрасную больницу и обеспечила ее «на вечные времена» достаточным содержанием; и второе: слезы кондитера, рыдавшего и воздымавшего руки к «рабыням господним», были отерты: в Послове было написано завещание, дававшее после смерти Д\* «всем волю».

Это было величайшее событие во всей губернии, которая такого примера даже немножко испугалась.

А кроме того, в день отъезда от нас тети и Гильдегарды, «бывшая» Д\* сама приехала к нам, чтобы

еще раз видеть обеих этих женщин.

Я ее помню, эту «Титанию», — какая она была «нетленная и жалкая»: вся в лиловом бархатном капоте на мягчайшем мехе шеншела́,— дробненькая, миниатюрная, с крошечными руками, но припухлая, и на всех смотрела с каким-то страхом и недоверием. Ее лицо имело выражение совы, которую вдруг осветило солнце: ей было и неприятно и больно, и в то же время она чувствовала, что не может теперь сморгнуть в сторону.

Мне показалось, что вот это и есть он сам — воплощенный голод ума, сердца, чувств и всех понятий. Тете некогда было с нею теперь заниматься, потому что, узнав об их отъезде, пришло множество больных, и все ожидали у балкона, на котором тетя и Гильдегарда их осматривали, обмывали и, где было необходимо, — делали проколы и надрезы.

«Бывшую» Д\* посадили в кресло на этом же балконе. Она сама не хотела отсюда удалиться и смотрела с величайшим вниманием на все, что делала тетя, и, наконец, даже сама захотела принять хоть какое-нибудь непосредственное участие и сказать человеку хоть теплое слово.

К этому и представился повод в том случае, который особенно поразил внимание ее голодного ума. В числе женщин, пришедших с больными детьми, стояла баба неопределенных лет, худая, с почерневшей кожей; она была беременна и имела при себе трех детей, из которых двое тянулись за материну юбку, а третье беспомощно пищало у ее изможденной груди.

У всех детей лица были в красных отметках наружной болезни, которую в крестьянстве называют «огник».

Это поразило даму, и она устремила на бабу пристальный взор и, не умея соразмерять голоса, сказала ей строго:

— Это зачем столько?!

— Что, матушка?

— Зачем столько... детей?

— Да ведь как же мне быть-то? замужем я... сударынька!

— Ну и что же такое!.. И я замужем... Детей нет.

— Ваше дело иное, сударынька...

— Отчего дело иное? Пустяки!

— Как пустяки, болезная: вы живете в таких-то широких хоромах... Накось какое место...

займаете... простор вам... разойдетесь и не встретитесь; а у нас избы тесные, всё мы вместях да вместях...

— Ну и не надо!

— Да и не надо, а приключается.

Тут сразу и баба и дама остановились, и тетя расхохоталась, а Гильдегарда сконфузилась. Тогда и «бывшая» Д\* что-то поняла и, осмотрев бабу в лорнет, проговорила:

— *Saves-vous: elle est maigre, mais...*[11]

Дама вдруг вздрогнула, несколько раз перекрестилась и прошептала:

— *Retire-toi, Satan!*[12]

XXV

Прощаясь с тетей, дама еще выкинула претрогательную штуку, которая была бы в состоянии очень сконфузить тетю, если бы та не была находчива.

Когда тетя простилась и с этою дамою и со всеми нами, и перецеловала всех окружавших ее дворовых женщин и горничных девушек, и уже занесла ногу на спускную ступеньку коляски, — «бывшая» Д\* ринулась к ней, как дитя к страстно любимой няньке, и закричала:

— Arrêtez! Arrêtez![13]

— Что вам угодно, princesse?[14]

— Вот именно... вот и об этом... Если можно... я могу буду вам это отдать?

Она держала вынутый из кармана капота конверт.

— Что это такое?

— Мой testament...[15] я всех на волю.

— Ах, это надо послать в опекунский совет!

— Да, вот уж это именно вы... Я боюсь сделать именно так, как не надо.

Тетя взяла конверт.

— И еще... мне скажите, — проговорила и запнулась Д\*: — что я могу буду или нет к вам написать?

— Пожалуйста!

— И вы мне будете писать ответ!

— Непременно!

— Тогда... еще одно... Я могу буду вас попросить...

Все, что угодно.

— Не пишите мне princesse, а... напишите мне...

— Просто ваше имя?

— Нет!.. напишите мне просто: ты!

Тете, вероятно, показалось, что она ослышалась, и она недоумело и тихо спросила:

— Что?

А та ей робко и краснея прошептала:

— «Ты»! я хочу: «ты»!

Тогда тетя вдруг вся вспыхнула, нагнулась к ней, поцеловала ее и сказала ей твердо и громко:

— Хорошо: я тебе напишу «ты» и буду о тебе думать с любовью, которой «ты» стоишь.

Тут и произошло для финала нечто смутившее тетю, потому что бывшая ее соперница и «бывшая» Д\* вдруг сжала в своих руках и поцеловала ее руку!..

Но тетя Полли, я говорю, была находчива: она успела взять обе ее руки, и обе их поцеловала и сказала:

— Будь счастлива — и прощай, а то я, пожалуй, при всех разревусь здесь, как дура!

.....  
Подозревали тогда, что в мозгу Д \* в это время была уже такая путаница, что она не узнавала в тете Полли лицо, некогда ее сильно уязвившее; но это была неправда. Компаньонка этой дамы рассказывала, что, сделав знакомство с тетей, Д \* постоянно ею бредила, и искала случая говорить о ней, и всякий разговор заключала словами:

— Что же... ее ведь не любить нельзя... Я его понимаю... Нельзя!..

А когда Д\* вскоре после этого умерла, то в мелких вещах, завещанных ею разным лицам, нашли конвертик, ею самою надписанный на имя тети Полли. Он был тщательно-претщательно обвязан шелковым шнурочком и припечатан два раза, и в нем оказался миниатюрный портрет «робковатого»

стрелка львов, за которого они когда-то взаимно ненавидели друг друга, и потом, вероятно, обе почувствовали, что ненавидеть друг друга ни за что на свете — не стоит!

Чувствительные люди, которым сделалось известно об этом подарке, были этим очень тронуты и поняли дело так, что миниатюра подарена тете Полли, без сомнения, с тем, чтобы она перешла княжне Вале, которая приходилась слишком сродни тому, чьи черты передавала миниатюра; но тетя как-то всю эту тонкость проманкировала, и о миниатюре не осталось ни памяти, ни следа.

Эта Титания, очевидно, уже не придавала никакого значения миниатюрам прошлых увлечений, которые померкли в лучах озарившего ее великого Солнца Любви, светящего в вечность...

## XXVI

Голодный год прошел: злаки взошли, и люди и животные стали сыты. Хлеб созрел необыкновенно рано. В половине июня мужики уже парили в горшках рожь и ели ее немолотую, а к Петрову дню пекли «новый хлеб».

Петров день — это был «наш престол» и «наш праздник». Духовенство обходило с образами приход, пело молебны и собирало «новину». На улице опять «шла гульба», было «сыто и пьяно»; высоко «подмахивали качели», и молодые люди, стеной наступая друг на друга, пели: «А мы просо сеяли!» А другие отвечали: «А мы просо вытопчем. Ой, дид Ладю, вытопчем!» А за ручьем на косогоре, где был кабак, разливало: «Наваримте, братцы, пива молодого...»

Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, долетевшие в нашу детскую, мне уже не были милы. Я уже рассуждал, что́ это за «дид», что́ за «Ладю»? Зачем одни хотят «вытоптать» то, что «посеяли» другие? Я был тронут с старого места... Я ощущал голод ума, и мне были милы те звуки, которые я слышал, когда тетя и Гильдегарда пели, глядя на звездное небо, давшее им «зрение», при котором можно все простить и все в себе и в других успокоить.

О «квакереях»

(Post-Scriptum[16] к «Юдоли»)

Honny soit qui mal y pense\*[17]

Мои ретроспективные рассказы, напечатанные под заглавием «Юдоль», вызвали у некоторых лиц недоумения: некоторым из читателей показалось странно, откуда взялась квакерша в русском доме тридцатых — сороковых годов?! Этим читателям помнится, что тогда в дворянскую жизнь скорее врезывалось романтическое веяние римского католичества, к которому покровительственно относились обер-прокурор синода кн. Голицын и другие влиятельные особы тогдашней поры, но что тогда будто бы отнюдь неизвестно было «суровое — квакерское, религиозное резонерство». А потому упомянутым читателям думается, что эпизод с выведенной у меня квакершей Гильдегардой как будто бы не подходит к тому времени и отдает светом иной, позднейшей поры, наступившей после появления в русском обществе англичанина, лорда Редстока\*. Причем мне делают указания на сочинения протоиерея Михаила Як. Морошкина и гр. Дм. Андр. Толстого о иезуитах, а также и на то, что писали о Редстоке кн. Мещерский и другие\*, «совоспитанные ему». Некто же, более прочих уверенный в основательности своих сведений по истории «посторонних религиозных влияний», утверждает, будто «квакеров даже и не видали в России до нынешнего (1892) года, когда они прибыли сюда под именем Друзей и привезли в Россию денежную помощь для голодных».

Такие замечания очень многозначительны для писателя, и на все эти с разных сторон доходящие до меня замечания я считаю необходимостью дать читателям моих воспоминаний объяснение.

Вначале скажу, что я, конечно, читал и знаю, что писали о католичестве в России протоиерей Морошкин и граф Дм. Толстой, а о Редстоке есть книга, написанная мною самим\*, и за сведениями об этом англичанине мне нет никакой надобности обращаться к сочинениям кн. Мещерского, — а затем перехожу к объяснениям по самому существу выраженных «недоумений».

Совершенно справедливо и в исторических изысканиях последнего времени с достоверностью доказано, что в тридцатых годах среди русской знати имело значительный успех стороннее влияние римского католичества, а не протестантство, но это отнюдь не доказывает, что тогда совсем не имели участия в русской жизни и другие религиозные веяния, исходившие от людей, известных под общим наименованием «пиетистов» (от pietas — благочестие), в числе которых были и квакеры.

Так как в «Юдоли» я сообщаю воспоминания, касающиеся только моего родственного круга, то для оправдания себя лично я почел бы достаточным сказать, что по отношению к протестантам мы в своем родственном кругу были в особливых, сближающих условиях, так как одна из моих теток была замужем за англичанином, и все мы (тогдашняя молодежь) выросли в уважении к верованиям и благочестию родственного нам английского семейства, в котором наши старшие нередко ставили нам, молодым, на вид образцы деятельной христианской жизни, послужившие нам во многом примерами. Мне кажется, одной этой ссылки было бы довольно, чтобы читателю стало ясно, как в семью нашу проникал немножко дух английской религиозности и почему живая душа тети Полли после своих хромых движений туда и сюда — на оба колена — нашла облегчение и попутный ход к свету в содружестве такой женщины, как описанная мною молодая и очень красивая квакерша Гильдегарда Васильевна, которую тетя Полли встретила случайно, быстро ее поняла и оценила, а потом страстно к ней привязалась и часто называла ее своею «крестною матерью», хотя без всякого сомнения Гильдегарда над моею тетушкою водного крещения не повторяла.

Московские старожилы, которым сколько-нибудь памятно английское население «Шкотовского дома» в Леонтьевском переулке, конечно знают, что там, в этом старом доме, пока он принадлежал г-же Шкот (мачехе мужа моей тетки), всегда был выбор англичанок, занимавших места воспитательниц. И это всегда были особы нравственные, иногда очень образованные и всегда строго религиозные.

Отсюда они разъезжались «на места» по России, и по преимуществу в те губернии, где четыре сына «старого Шкота» (Якова Яковлевича) занимались управлением большими помещичьими имениями Нарышкиных и Перовских.

Соседи просили их рекомендовать «англичанок» благонадежных и получали как раз таких, каких просили.

Из этих воспитательниц очень многие «приросли» к своим воспитанницам и остались друзьями их на всю жизнь. А между ними бывали и методистки и квакерки. Ни рекомендатели, ни наниматели в этом никакой разницы не полагали.[18] Следовательно, квакерке прийти в орловское дворянское семейство тогда было очень просто, и она для этого не имела надобности прибегать ни к каким хитростям. На этом, я думаю, можно бы и кончить, ибо ясно, что в наш родственный круг было откуда прийти квакерше; но таким образом выяснился бы только частный случай, касающийся нашего родства; да и в том читатель должен бы был принимать мои слова на веру, — чего я не желаю. А я хочу и должен основательно удостоверить читателя, что квакеры впервые появились в России не в 1892 году, «с пособием», а что они были здесь гораздо ранее, не только «до Редстока»,



но даже и до нашего рождения, — что присутствие их (мужчин и женщин, и даже особенно женщин) у нас тогда уже очень чувствовалось и даже вызывало правительственные меры. К этому теперь и прошу внимания.

Я не знаю, по какому случаю в Сибирь были сосланы из России «последователи квакерской ереси: квакеры и квакереи» (sic), но в числе нескольких бумаг о «сибирской старине», подаренных мне покойным сибирским уроженцем — известным золотопромышленником и русским генерал-майором Вениамином Ивановичем Асташевым, есть обстоятельная записка именно «о квакереях» (то есть женщинах), и в этой интересной записке, составленной со ссылками на года и на лица, значится следующее:

«Квакереями в преданиях томских старожилов называются последовательницы квакерской ереси, сосланные в томский девичь-монастырь, в послушание и тяжкие монастырские работы. Колодницы эти, числом двадцать две, имели большое влияние на религиозные понятия тогдашних томских обывателей. Осужденные за богомерзкую ересь, эти женщины прибыли в томский девичь-монастырь в 1744 году и оставались в нем даже и тогда, когда самый монастырь был уже упразднен и церковь его обращена в приходскую. О них в памяти томских старожилов сохраняется много «разнообразных преданий». Предания эти довольно обширны, и излагать их в подробностях для нашей цели нет надобности, но из всех из них вытекает прямой вывод, что в Сибири о «квакереях» знали, и сначала судили о них различно — кто хорошо, а кто худо: одни почитали «квакерей» за добрых, благочестивых женщин и относились к ним с большим уважением, а другие видели в них вредных «еретиц» и пренебрегали ими. Эти последние обходились с квакереями недружелюбно и желали вызывать против них общее недоверие и строгости. Автор Асташевской записки (духовное лицо одной из сибирских епархий), на основании известных ему соображений, предполагает, что не все двадцать две томские колодницы содержали квакерскую ересь и что между ними были и другие сектантки: но во мнении томских обывателей все они неправильно почитались под одну статью «квакереями». Из них, по рассказу этого очень обстоятельно осведомленного автора, особенно известна была некая «матерая Надёжа Григорьевна». По описанию, это была очень дородная женщина, «огромного роста», которая прославилась «благочестивою жизнью», и томские любители благочестия ходили к ней молиться и «советоваться в семейных делах, а особенно в горестях»; а по соседству с «матерою Надёжею Григорьевною» жил ее брат «и другие квакереи», прожившие в Томске более пятидесяти лет и оставившие по себе воспитанников, подобных по духу самой Надёже Григорьевне».[19] Но в чем именно и как выразался дух «матерой квакереи Надёжи Григорьевны» — автор записки не разъясняет, но зато в записке встречается отдельное упоминание о другой квакерее, по имени Марии Матасовой, при которой значится, что ей ставили в вину. Из отметки о Матасовой видно, что в 1826 году священник томского Благовещенского собора, Никифор Большанин, сделал в томское духовное правление «донос», в котором притом прописал и общую характеристику деятельности «квакерей» (Указ тобольской консистории 1826 года, за № 3067). Из доноса видно, что названный сибирский духовный, надо полагать, имел что-то неприязненное против священника того монастыря, в котором были заключены квакереи, и сочинил донос так, что значительная тягость помещенных в нем обвинений падала на монастырское духовенство. Соборный священник Большанин писал, что «хитрые квакереи учили своих почитателей строго соблюдать все внешние обряды православия, казаться наружно православными и задабривать, сколько возможно,

приходских священников, чтобы они не имели на них никакого подозрения. Эти наставления они прежде всего исполняли сами и в глазах своих монастырских священников в течение сорока лет казались строго православными, так что эти священники, обязанные ежегодно доносить об их поведении, постоянно отзывались, что присланные квакерской ереси расстриги-девки житием пребывают исправно и веру христианскую содержат во всем, как христианская должность повелевает: до церкви святой для слушания славословия божия всегда ходят неленостно, у исповеди и св. причастия бывают, иные по дважды, а другие по вся посты неотменно, и прежнего за ними злодейства ныне не оказывается» («Репорты священника Шихова 1760 года и Дулепова 1775 года»). Из вышесказанного ясно видно, что священники, которые должны были уметь различать дух ересей, разумели «присланных» за последовательниц «квакерской ереси» и исправляли их от «прежнего злодейства», которое, без сомнения, заключалось в квакерском понятии об обрядах, о власти и о прочем, что отличает религиозные мнения этих людей, ставящих выше всего личное духовное возрождение.

Таким образом записка, сохранившаяся в бумагах известного сибиряка, генерала Асташева, дает несомненное удостоверение, что «квакереи» у нас действительно были, а далее, — эта же записка представляет и любопытные сведения о том, как эти квакереи дожили век свой в Томске.

Настоятель томского мужского монастыря, архимандрит Лаврентий, в «промемории», поданной им посетившему Сибирь историографу Миллеру\*, объяснил, что в девичьем монастыре, в котором жили присланные двадцать две девки-квакереи, «положение бедственное: церковь одна, деревянная и весьма ветхая, та такова ж и ограда, келий шесть — вси ветхия; вкладчиков, служителей и крестьян нет, и земель и угодий не имеется». А после архимандрита Лаврентия сам причт монастыря, где томились квакереи, жаловался митрополиту Сильвестру, что у них церковь уже «в развалинах», «в монастыре монахинь нет, а ссыльные расстриги девки-квакереи живут на мирском подаянии».[20] Автор записки, дошедшей до нас через руки генерала Асташева, доискивался и того, кто были эти томские квакереи, и пришел к убеждению, что «это были раскольницы, приставшие к немногим подлинным русским квакерам».

Следовательно, квакеры и «квакереи» были известны отцам нашим.

Любопытная судьба сосланных в Сибирь квакерей, по записке, дошедшей от генерала Асташева, кончилась тем, что двадцать из них перемерли до 1784 года, но две — Мария Дмитриевна и Анна Васильевна — жили очень долго, и когда монастырь развалился, они сделались предметом немалых забот для начальства. Явился вопрос о том, куда их пристроить. «По закрытии томского монастыря», который совсем обеднял и разрушился до того, что жить в нем стало невозможно, — квакерей Марью Дмитрову и Анну Васильеву «следовало перевести в енисейский монастырь». Почему опять это так «следовало» — из записки не видно, но видно, что тут вздумали посмотреть на этих двух остальных квакерей: каковы они были в это время, и тут увидели, что время их не пощадило и что они уже так слабы и ветхи, что их совсем «нельзя переводить», и «того ради» их тогда решились подвести под манифест «к освобождению из содержания». Об этом началась новая переписка и «продолжалась год», а в апреле 1784 года последовало распоряжение: «так как колодницы-квакереи Мария Дмитрова и Анна Васильева находятся в Сибири чрез 39 лет и весьма престарелые, и через такие многие годы от них противности церкви святой не оказывается, то по старости их, не переводя из оного места по отдаленности в содержание в енисейский штатный девичь-монастырь, оставить по

смерть их при той же в городе Томске церкви (где был монастырь), при коей они ныне находятся на мирском подаянии, под смотрением духовного правления, и приходского священника, и тамошнего городничего, а вперед их в числе колодников уже не показывать».

О смерти этих двух последних из «квакерей» в записке, дошедшей ко мне от генерала Асташева, ничего не сказано, но надо думать, что старушки-квакереи и в последние свои дни на земле никаких «противностей» и «злодейств» не оказали и ничем не испортили той доброй репутации, последствием которой было распоряжение не посылать их в Енисейск, а оставить умереть там, где они прожили сорок лет, не причиня никакого вреда никаким людям.

Такого же духа была и «сердечный друг» тети Полли — англичанка Гильдегарда.

Да будет легка, как пух, над их костями земля русская и — «Honny soit qui mal y pense».

Импровизаторы

(Картинка с натуры)

Приходи, моя милая крошка,

Приходи посидеть вечеров.\*

Одни представляли ее себе в виде женщины, отравляющей воду, другие — в виде запятой. Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей.

I

Остроумная писательница, из последнего литературного этюда которой я выписал этот эпиграф, обрисовывает дело чрезвычайно верно. Когда летом 1892 года, в самом конце девятнадцатого века, появилась в нашей стране холера, немедленно же появилось и разномыслие, что надо делать. «Врачи говорили, что надо убить запятую, а народ думал, что надо убить врачей».

Следует добавить, что народ не только так «думал», но он пробовал и приводить это в действие.

Несколько врачей, старавшихся убить запятую для лучшей пользы делу, были сами убиты.

Это случилось, говорят, оттого, что простым людям всего своевременно и терпеливо не объяснили и, главное, не показали им нигде эту самую «запятую», чтобы они видели, как она им вредит. Это, может быть, и в самом деле хорошо было бы показать, но только сделать это было очень трудно: запятая видима только под микроскопом, а в слободах и селениях, где живет «народ по преимуществу», микроскопов (или «мелкоскопов») нет. Поэтому нельзя удивляться, что народу, который впервые услышал про «запятую», вести о ней показались сомнительными. Народ довольно приучен не верить ученым, и он смекнул, кому эта выдумка о «запятой» могла быть выгодна, и порешил наказать лекарей за их выдумку.

В столицах, где образованность несравненно выше, науке оказано совсем иное доверие: здесь запятую видели увеличенную под микроскопом, засушенную и выставленную на окне «в квартире известного журналиста, живущего на окраине города». Об этом было напечатано в петербургской газете, особенно следящей за разнообразными явлениями столичной жизни.

«Журналист, проживающий на окраине», демонстрировал «запятую» множеству людей, между которыми были особы достопримечательного положения. Вид козявки всех удивлял; большинство людей отбегали от нее в страхе, и лишь немногие поддавались успокоительным уверениям журналиста, что «запятая обезврежена», и тогда брали ее в руки.

Так образованным жителям столицы не было никакого труда уверовать в «запятую»; но слободским и деревенским мужикам никто этого не показал, и они в запятую не поверили и до сих пор еще не

верят.

## II

Рассказанный случай с «увеличенной запятой» газета объясняла так, что журналист, живущий на окраине, «купил шутки ради курьезную японскую козявку», а когда один генерал спросил его, что это такое, — он, по вдохновению, сказал, что это «увеличенная и засушенная запятая». Генерал этому поверил, а журналист стал пробовать: неужто и другие образованные люди могут верить такой очевидной нелепости. И оказалось, что все этому верили!

Если сопоставить то, что замечено г-жою Смирновой насчет несоответствия народных взглядов на «запятую», с тем, что журналист, живущий на окраине, обнаружил в людях высшего порядка, то выйдет, что степень легковерия и безрассудства на том и на другом конце общественной лестницы получается как бы одинаковая; но вверху действует козявка засушенная, а по низам ползет что-то живое, и не заморское, а простое доморощенное.

Что же такое заменяло и заменяет засушенную «запятую» в народе? Я попробую показать эту штуку так, как я ее видел.

Тургенев изобразил, как говорит с простолюдином интеллигент и раскольничий начетчик\*. У первого все умно направлено к делу, а второй вертит «яко» да «аше», и смотришь — этого слушают, а того нет. Малороссу, чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой брат сказал: «граю и воропаю»\*. Я сам помню, как в давние времена в Киеве польский актер Рекановский играл роль в какой-то малороссийской пьесе, где после происшедшего в семье горя жена начинает выть, а муж бросает ее за руку на пол и говорит: «Мовчи, бо скорбь велька!» И после этих слов настала пауза, и театр замер, а потом из райка кто-то рыдающим голосом крикнул: «Эге! це не ваш Шекспыр!» И мнение о Шекспире было понижено до бесконечности.

Надо сочинять что-то такое «дуже прѳостое», чтобы было в их вкусе — с дымком и с грязью, даже, пожалуй, с дуриной.

## III

Летом 1892 года я жил на морском берегу в Шмецке. Тяжко больной, я был далек от личного участия в делах, и даже равнодушно читал в газетах энергические приказы генерала Баранова\*, но потом мне стало интересно сравнивать их с приказами других администраторов, которые ему подражали и блистали только отраженным или заимствованным светом. Из этой литературы я узнавал, что появились люди, которые распускают вредные слухи о болезни, и что нижегородский генерал таких людей сечет розгами и может когда угодно повесить.

Меры генерала Баранова «в наказании разговоров» производили в большой публике впечатление не особенно сильное и неясное; многие не могли взять в толк: отчего одного разговорщика довольно только высечь, а другого надо еще отдать в санитары, а третьего — «повесить» или, по простонародному выражению, «удавить». Какое тут «распределение всеобщей провинности»? Многие думали, что все это последовательно будет сделано над каждым охотником разговаривать, то есть что разговорщика сначала высекут, потом определяют «горшок выносить», а потом уже, когда он станет ни к чему не способен, тогда дадут ему глухую исповедь и удавят на площади. О самом повешении тоже разноречили: одни были уверены, что «вешать будут только для испуга публики», а потом «курьера выпускают с прощадою», а другие уверяли, что «это не для шутки и никакой прощады не будет, а удавят как следует», отмена же против обыкновения будет только в том, что, «по

удавлении разговорщика, отдадут одного родственникам для его погребения». Возникал тоже вопрос о женщинах: «как такую сечь, если разговаривает, а сама беременна?» По множеству всех этих сомнений мы столку сбились и спрашивали разъяснений у четырех отставных губернаторов, которые в это лето ходили у нас по пляжу, но они были заняты своим положением и говорили, что ничего не понимают.

Видаюсь со своими соседями — кузнецом, лавочником, лесником — и с своими домохозяевами, я заметил, что они недоумевают: «Какие же это вредные слова бывают?» Этого им никто объяснить не мог, а им это было очень нужно знать.

— Ведь вот, — говорили они, — может случиться, что-нибудь такое умственное услышишь и не поймешь в необъяснении случая, и скассируют насмерть! Мы не можем узнать агитатора!

Это так говорил лавочник, образованный и красноречивый человек, с ораторскими дарованиями которого мы ниже еще познакомимся.

То, что предвидел лавочник, то и на самом деле отчасти случилось.

Раз, когда я шел домой леском из Мерекюля, нагоняет меня няня из одного моего знакомого семейства и говорит, что «в Петербурге уже народ отравляют».

Я ее отговариваю, чтобы она этому не верила, и напоминаю ей про опасность от генерала Баранова; но она не обращает на мои предостережения никакого внимания и говорит, что то, что она знает, это тоже произошло от генерала.

— Ну, — говорю я, — если от генерала, то в таком случае рассказывайте, что вам известно... Но только смотрите, уверены ли вы, что это точно от генерала?

— От генерала.

И она рассказала историю, которую я здесь передам с возможною точностью.

#### IV

Живет у рынка отставной генерал. От команды отставлен, но военных прав не лишен и ходит в военном образце с поперечиной\*. На дачу он не любит ездить, а остается в Петербурге, потому что веселого характера и любит разъезжать по знакомым, а вечером на закат солнца смотрит и слушает, как поют француженки. Он пожилой, но очень веселый, и все бы ему с дамами да с красотками; а жена у него старушка, с ним не живет. Прислуги у него три человека, мужчины: камердинер, повар и буфетчик, и все ему верные, потому что им жить у него прекрасно; гости часто в карты играют, и приходимые красотки жалуют, и тогда уже ни в чем нет сожаления. И теперь же, на этих днях, поехал этот генерал в «Аркадию» или «Ливадию» и пробыл там до последнего времени, а потом поехал домой в простом намерении раздеться, божиньке помолиться и бай-бай заснуть; но только что он хотел в дверь свой ключ вставлять, как вдруг запятая! Сама дверь распахнулась, и на него вылетает оттуда его буфетчик, бледный как шут Пьеро, и лопочет незнамо что.

Генерал подумал, что, верно, он немножко выпил или тоже приходимую крошку ожидает, а тот ему отвечает: «Никак нет, ваше превосходительство; а у нас огромное несчастье: вашего камердинера умирать увезли». Генерал рассердился. «Как, без меня? Как смели?.. Говори скорей, как это сделалось?»

Буфетчик дрожит и путается языком, но рассказал, что камердинер, проводивши генерала, совсем был здоров и ходил на рыбный садок, себе рыбу купил, а потом пошел к графу Шереметеву к второму регента помощнику спевку слушать, а оттуда на возврате встретил приходимую бедную

крошку, и принял ее, и с нею при открытом окне чай пил, а когда пошел ее провожать, то вдруг стал себя руками на живот брать, а дворники его тут же подхватили под руки, а городской засвиристел — и увезли. Он не хотел ехать и не давался — кричал:

— Прощайте, други!.. Ваше превосходительство, заступитесь! — Но они его усадили и неизвестно куда увезли.

— Ах, несчастный! — сказал генерал и, растроганный до слез, сейчас же поехал к обер-полицеймейстеру. Но его там не приняли: говорят: «Есть приемные часы — тогда можете!» Он — к приставу, и пристав нет. «Где же он?» — «Помилуйте, — говорят, — по участку ходит!» — «Кого же я могу видеть?» — «А вот дежурный за стенкой». Выходит из-за стенки дежурный офицер, застегивает на себе мундирный сюртук и спрашивает: «Что угодно?»

Генерал ему все и передает: «Так и так, мой камердинер, на руках которого вещи, серебро и весь дом, а его в мое отсутствие взяли и увезли без извещения меня, как будто какого-нибудь учебного рассуждателя. Прошу мне его сейчас возвратить».

А полицейский говорит: «Я этого не могу, потому что его у нас нет; мы его еще в двенадцатом часу в больницу отправили».

Генерал обругал его как не надо хуже и вскочил опять на извозчика и все извозчика после этого вслед скорей подгоняет.

А извозчик догадался, для чего он ездит, и говорит:

— А осмелюсь спросить: которого часа вашего человека взято?

Генерал говорит:

— О полуночи.

— Ну так теперь, — говорит, — ему уже аминь.

— Что ты вздор говоришь!

— Помилуйте, какой же вздор! Теперь они ему уже струменцию запустили.

— Ты глупости говоришь.

А извозчик полуоборотился и крестится рукой, а сам шепчет:

— Ей-богу, ей-богу, — говорит, — ведь они теперь всех струменцией пробуют. Сначала начнут человека в ванной шпарить и кожу долой стирать, и притом в рот лекарства льют; а которые очень крепкого сложения и от лекарства не могут умереть, тем последнюю струменцию впустят — и этого уж никто не выдержит.

Генерал же думает: врет извозчик, — бросил ему деньги, а сам вбежал в больницу и вскричал:

— Попросить ко мне старшего доктора! Кто здесь старший доктор?

Старший доктор выходит — этакий в заспанном виде, и никакого особого внимания не обращает, а спрохвала спрашивает:

— Что вам угодно?

Генерал ему отвечает живо и бойко и рукой простирает, что вот так и так: «Я, — говорит, — в нынешнем лете на дачу не переезжал и остался в городе...» А лекарь его перебивает: «Вы, — говорит, — пожалуйста, покороче, а то мне из отдаленных начал слушать некогда...»

Генерал немножко рассердился и говорит: «Я вам начинаю так, чтобы было понятно. Я вечером человека в цветочный магазин посылал за букетом и оставил его в цветущем виде, и он еще после меня пошел на садок и спевку слушал».

Но лекарь опять перебивает: «Ваше превосходительство, мне, — говорит, — некогда! Нельзя ли, в чем дело?»

— Дело в том, — говорит генерал, — что этого человека взяли и увезли, и он у вас, а я желаю его к себе взять.

Старший доктор обернулся к фельдшеру и говорит:

— Справься!

А тот справился и сразу отвечает:

— Есть!

— Что же он?

— Умер.

Доктор говорит:

— Вот и можете получить.

Генерал и осомлел.

— Что это такое? — говорит. — Я не верю... Всего несколько часов тому назад человек был полный жизни...

А доктор говорит:

— Это и очень часто так бывает. А впрочем, пожалуйста, служитель вас проведет и его покажет! — и велел служителю: — Проводи генерала!

V

Служитель привел генерала в мертвецкий покой; но тут покойников несколько, и еще на них только нумерки лежат, а нет никакого возвания, и по лицам отличить нельзя, потому что все лица почерневшие, и руки от судорог в перстах сдерганы так, что не то благословение делают, не то растопыркою кызю представляют.

Генерал и говорит:

— Я так не могу своего человека узнать! Мне пусть покажут!

Служитель побежал в контору спросить, под каким оный нумером, а генерал остался и замечает, что сзади его кто-то вздохнул. Видит, это читальщик, человек степенный, в очках, в углу стоит, но не читает, а на него сверх очков смотрит, и, как генералу показалось — с сожалением.

Генерал его и спросил:

— Что, старина, с сожалением смотришь?

— Да, — говорит, — ваше превосходительство.

— Жутко, я думаю, и тебе в этакое адском месте?

— Да, — говорит, — но главное дело, что мне утром всегда пить очень хочется, а тут нигде лавчонки нет. В других больницах, которые строены в порядке домов, это хорошо: там сейчас как дождешь утра, так и выбежишь: квасу или огуречного рассолу выпьешь, и оживет душа; а тут эта больница на площади... ни одной лавки вблизи нет... Просто, ей-богу, даже рот трубкой стал.

Генерал вынул два пятиалтынных и говорит:

— Сходи, за моего усопшего чайку в трактире напейся.

Читальщик, разумеется, доволен и благодарит.

— Видно, — говорит, — вам дорогой человек был?

— Да, братец! Я бы ста рублей не пожалел, чтобы его поставить.

А читальщик ему и шепчет:

— Как же их поставить! У них уж все чувства убиты и пульсы заморены, потому что ведь струменцию-то ставят под самую мышку, а в пятках под щиколоткой еще и после смерти пульсы бьются.

Читальщик это сказал и ушел, а генерал евоный намек, на что он намекал, — понял, и как служитель вернулся и сказал, под которым номером камердинер лежит, — тот ему говорит:

— Хорошо, братец, я над ним здесь останусь, а ты поди и сейчас мне батюшку попроси, — я хочу панихиду отпеть.

Служитель опять побежал, а генерал зажег читальщикову свечечку да прямо покойника огнем под пятку... Тот враз и вскочил, а генерал его сейчас на извозчика да домой, а потом в баню, а другого человека, буфетчика, к этим же докторам с письмами послал — к старшему и к двум его главным помощникам, — чтобы пришли к нему его самого лечить.

Те и рады: думают, генерал с состоянием, тут уж мы хорошо попользуемся! И притом же они были напугавшись, куда от них из мертвецкой мертвый делся; весь лишний форс с себя сбросили и пришли.

А генерал велел, чтобы как они придут и сядут, так чтобы сейчас открыть из другой комнаты дверь и чтобы камердинер, во фраке, с большим подносом чаю в руках входил.

Доктора как это увидали, так все трое с кресел на пол и упали. А генерал выхватил пистолет и одному и другому помощникам груди прострелил, а старшего доктора выстучкой подкинул и начал трепать его со щеки на щеку, а после, как умирался, — говорит: «Иди теперь, жалуйся».

VI

И когда няня докончила мне этот рассказ, она добавила с радостью: «Вот как!» — и я удивился. Она была женщина опытная, понятливая и осторожная, так что во всяком деле обмануть ее было нелегко, и неужели же этой нелепости она верила?

Да, она верила, или если и не верила, то хотела, чтобы это было так, потому что это ей было во вкусе. Я с нею вступил в пререкание, приводил ей самые простые соображения и доказательства того, что такое происшествие совершенно невозможно. Она все слушала и со мною соглашалась, но вслед за тем с усиленным самодовольством добавляла:

— Ну, однако, генерал докторов все-таки угостил, как заслужили! И вот так бы и всех их стоило.

— Да за что же? Какая им выгода морить людей?

— Вот, вот, вот!.. Вот это-то от них и надо узнать! И узнают...

Мне чувствуется, что эта женщина — заодно с теми, которые думают, что надо убить не «запятую», а докторов. Но, может быть, я ошибаюсь. Любопытствую у ее госпожи, у которой она служит двадцать лет и воспитала ей «гвардейцев». Спрашиваю: не слыхали ли, какие няня пустяки рассказывает о генерале?

— О, — отвечает мне дама, — это она уже давно говорит... А впрочем, ведь это и все рассказывают.

— Как все?

— Да вот и у X, и у Y, и у Z девушки говорили мне то же самое, да и ваша Саша.

— Что такое — моя Саша?

— Она тоже говорит то же самое.

А «моя Саша» — молодая девушка восемнадцати лет, которая «тиха не по летам» и которую все



зовут «мокрою курицей». Что же она может говорить?

Но оказывается, что и она действительно знает о генерале, и его камердинере, и о приходимой красотке, — и сама, хоть она «мокрая курица», но очень весело сочувствует тому, что «лекарей надо бить».

## VII

Захожу на другой день к лавочнику посидеть у его лавки. Лавочник — человек молодой, очень приятный и обладает совершенно непосредственным красноречием. Он «из поваров», кроток, благовоспитан и благоуветлив; имеет нежное сердце, за которое и претерпевает. Он «прибыл к здешней предместности» тоже при генерале, у которого ему было «хорошо наживать», но влюбился в «этой предместности» в красивую эстонскую девушку, и они «подзаконились». Отсюда начался «перелом его жизни»: у них вдвоем было пятьдесят рублей капитала, и на этот капитал они повели разностороннюю деятельность: он снял сельскую лавчонку, а она стала заниматься стиркою белья. С тех пор прошло уже несколько лет, и они во все это время неумоимо старались устроиться и кое-чего достигли: у них уже трое детей, и все прехорошенькие, но весь основной капитал ушел в предприятия. Теперь они живут только одним оборотом и, кажется, сами удивляются: как до сих пор их отсюда не выгнали, или они не умерли с голоду? Но их любовь и нежное и страстное «друг ко другу стремление» не охладевают, и потому лица их, равно как и личики их детей, всегда веселы и приятны. Видеть эти счастливые лица — удовольствие.

Спрашиваю я этого коммерсанта: не слыхал ли он истории о воскресшем генеральском камердинере, о котором будто бы все говорят? Лавочник подумал и отвечает:

— Кажется, будто что-то слышал.

— Да, ведь это же, — говорю, — нисколько не похоже на правду.

— Не знаю, как вам изъяснить в определении факта; но мне, впрочем, это и ни к чему... Ну их!

А во мне уже разыгрывается подозрительность, что и этот мой собеседник тоже не чистосердечен и что он тоже не за докторов, а за запятую; но поговорили мы дальше, и на душе становится яснее: лавочник оказывается человеком совершенно объективным и даже сам называет уже «историю» глупостью и припоминает, что «эта глупость пошла словно с тех пор, как стал ходить порционный мужик».

Слово это касается в первый раз моего слуха, и я спрашиваю: что это такое — порционный мужик?

— А это, — отвечает, — я так его прозвал.

— За что же?

— Да уж мал он очень, совершенно цыпленок или порционная стерлядка, которую делить нельзя, а надо всю сразу съесть... Амкнул — и нет его... Да неужли вы его не видали?

— Не видал.

— Да вон он!

И тут я его увидел в жизни первый раз, и, вероятно, с тем, чтобы никогда его не забыть; но так как это видение стоит того, чтобы передать его в точности, то я должен обрисовать и рамку, в которой оно мне показалось.

Шмецк — это длинная береговая линия домиков, соединяющая Устье-Наровы, или Гунгербург, с мерекюльским лесом, за которым непосредственно начинается и сам знаменитый некогда Мерекюль — ныне довольно демократизованный, или «опрощенный».

Местоположение такое: море, за ним полоса плотно уложенного песку (plage), за пляжем береговая опушка из кустов и деревьев, и тут построены дачи или домики, а мимо них пролегает шоссированная дорога, и за нею лес, довольно сырой и довольно грязный.

Лавчонки, так же как и домики, построены лицом к дороге, за которую начинается лес. А потому, когда лавочник, рассказывавший мне о «порционном мужике», заключил свои слова указанием: «Вон он!» — я прежде всего взглянул прямо перед собою на лес, и первое, что мне представилось, навело меня не на ближайшую действительность, а на отдаленное воспоминание о годах, когда я жил также против леса и, бывало, смотрю на этот лес долго и все вижу одни деревья, и вдруг сидит заяц, подгорюнился и ушки ставит, а у меня сейчас, бывало, является охотничья забота: чем бы его убить? И в это время что-то около себя хватаешь, а опять взглянул — зайца уж и нет!

Теперешнее видение было совершенно в этом роде: на серо-зеленом туманном фоне стояло что-то маленькое и грязно-розовое; но прежде чем я мог хорошо рассмотреть, что это такое, оно уже и сникло.

— Боится, — проговорил лавочник.

— Чего же он боится?

— Запуган, знаете... бедность... Смотрите, смотрите! Вон он где, ниже на дорожку выходит.

И с этим лавочник заложил себе за губу два пальца и пронзительно свистнул.

Порционный мужик вздрогнул и оглянулся.

— Иди-ка сюда, Лишенный! — позвал его лавочник.

«Лишенный» к порционному мужику прилагалось вроде обозначения звания: так теперь зовут административно «высланных» или «лишенных столицы».

Мужичонко молча вернулся и пошел, и по мере того, как он ближе к нам подходил, я мог яснее его рассматривать. Лет его нельзя было определить с точностью; у него такое лицо, что ему может быть между двадцатью и пятьюдесятью. Рост крошечный, как рост пятнадцатилетнего мальчика; худ точно скелет, но обтянутый не кожей, а вылинявшею и выветренной набойкой; губ нет вовсе — открыты два ряда превосходных белых зубов; нос тоненький и свернувшийся, как корешок у сухой фиги; два глаза небольшие, круглые, как у птицы, и оба разного цвета, как у знаменитого Анастасия Дирахита: в одном глазе зрачок чистый, голубой, а в другом весь испещрен темными штрихами и крапинами, и оттого кажется коричневым; бороденка и волосы на голове — это всё какие-то клочья. На голове шапки нет, бос и почти что наг, потому что весь убор его состоит из порток и рубашки: портки из набойки, изношенные до лепестков; они спускаются только немножечко ниже колен и оканчиваются «бахмарою». Рубашка была когда-то из розовой пестряди, но теперь это одна розовая грязь.

Гейне видел в Пиренеях над бездною нищего испанца, который был покрыт лохмотьями, и «у него гляделась бедность в каждую прореху; из очей глядела бедность»\*, но «исхудалыми перстами он щипал свою гитару».[21] И описание этой бедности разрывало душу людей чувствительных и добрых, а испанец все-таки был «в лохмотьях» в теплом климате, и у него была еще «своя гитара»... Западные писатели совсем не знают самых совершенных людей в этом роде. Порционный мужик был бы моделью получше испанца с гитарой. Это был не человек, а какое-то движущееся ничто. Это сухой лист, который оторван где-то от какого-то ледащего дерева, и его теперь гонит и кружит по ветру, и мочит его, и сушит, и все это опять для того, чтобы гнать и метать куда-то далее...

И видишь его, и не разумеешь: в чем же есть смысл этого существования?

«Господи! что сей сам или родители его согрешили, и как проявятся в нем дела божии?!» Неужели если бы птицы исклевали его в зерне или если бы камень жерновый утопил его в детстве, — ему тогда было бы хуже?

Конечно, «весть господь, чего ради изнемождает плоть сынов человеческих», но человеку все-таки будет «страшно за человека»!

### VIII

Он подошел и стал и никому не сказал ни слова... Босые ноги его все в болотине, волосы шевелятся... Я близорук, но я вижу, что там делается. Руки его висят вдоль ребер, и он большими перстами загнул их за веревочку, которою подпоясан. Какие бедные, несчастные руки! Они не могли бы щипать гитару... Нет, это какие-то увядшие плети тыквы, которую никто не поливал в засуху. Глаза круглые, унылые и разного цвета — они не глядят ни на что в особенности, а заметно, что они всё видят, но ему ничто не интересно. За щеками во рту он что-то двигает; это ходит у него за скулою, как орех у белки.

С этого и началась беседа.

Лавочник спросил у него:

— Что ты, Лишенный, во рту сосешь?

Он плюнул на ладонь и молча показал медный грош и сейчас же опять взял его в рот вместе с слюнями.

— Хлеба купить желаешь?

Порционный отрицательно покачал головою.

Лавочник в его же присутствии наскоро изъяснил о нем, что он «из-за Москвы», — «оголел с голоду»: чей-то скот пригнал в Петербург и хотел там остаться дрова катать, чтобы домой денег послать, но у него в ночлежном приюте какой-то странник украл пятнадцать рублей и скрылся, а он с горя ходил без ума и взят и выслан «с лишением столицы», но не вытерпел и опять назад прибежал, чтобы свои пятнадцать рублей отыскивать.

И когда рассказ дошел до этого, порционный отозвался; он опять выплюнул на руку грош и сказал:

— Теперь уже не надо.

Голос у него тоненький и жалостный, как у больных девочек, когда они обмогаются.

— Отчего же не надо?

— Детки померли...

— Разве ты письмо получил?

— Нет; журавли летели да пели.

— А где же твоя жена?

— К слепым пошла. Слепым-то ведь хорошо жить: им подают... им надо стряпать...

Мы все замолчали, — кажется, мы все страдали, а он, без сомнения, всех больше; но лицо его не выражало ничего!

— Убитый человек! — прошептал нищий лавочник, — в рассудке решается, — и подал ему булку.

Тот ее взял, не поблагодарив, сунул за локоть и опять опустил руки вдоль ребер.

— Съешь! — сказал лавочник.

Мужик не отвечал, но взял булку в руку, подержал и даже что-то с нее хотел счистить, и опять туда

же сунул, за локоть.

— Не хочешь есть?

— Не хочу... детям снесу.

— Да дети ведь померли!

— Ну так что ж... Им там дадут, в раю, по яблочку.

— Ну да; а ты булку сам съешь.

Мужик опять взял булку в руки, опять снял с нее то, что ненадлежаще явилось, и затем вздохнул и тихо сказал:

— Нет; все-таки пушай лучше детям.

Лавочник посмотрел на него — вздвинул плечами и прошептал:

— Господи! тоже и родитель еще называется!

Мужик это услышал и повторил:

— Родители.

— И все чувства к семье имеешь?

— А то как же!

— А какое твое вперед стремление?

— Не знаю.

— Расскажи барину, как генерал докторов бил. Барин тебе тоже на хлеб даст: может быть, в Нарву съездишь, а там какую-нибудь работу найдешь.

И порционный сейчас же начал сразу ровным, тихим голосом всю ту историю, которую я передал уже со слов своей знакомой няни, но только порцион ее излагал в самом сильном конкрете: «Жил возле рынка генерал... имел верного слугу-камердинера. Отлучился в киятер, а верный камердинер к себе приходимую кралю принял чай пить... как вдруг ему резь живота... Взяли его и стали над ним опыт струментой пробовать, все чувства угасили, но в подщиколке еще пульс бил. Генерал его восхитил — и в баню; потом позвал докторов в гости, а камердинеру велел войти и чай подать... Те и попадали... А генерал двух расстрелял, а третьего в морду набил и сказал: «Ступай, жалуйся!» Этим все и кончилось.

Я дал мужику два двугривенных и хотел ему собрать завтра между знакомыми все пятнадцать рублей, которые у него странник украл. Он мои двугривенные кинул себе в рот (карманов у него, как у настоящего праведника, не было). И затем он ушел и более уже в наших местах не показывался. Я уж думал, не повлек ли его рок в Нижний за краткой развязкою?..

IX

А тем временем приезжает с кем-то извозчик из Нарвы и говорит, что к ним ждут генерала Баранова и полк артиллерии.

— Для чего же?

— Да на фабриках, — говорит, — очень живой разговор пошел.

— О чем?

— Все об струменте.

А дальше рассказывает, что у них дело будто уже и разыгралось таким образом: пошел будто у них какой-то доктор на Нарову купаться, разделся и стал при всех глупость делать: спустил на шнурке с мостка в воду трубку и болтает ее и взад и вперед водит. Пополоскает, пополоскает и опять вытянет,

поглядит и опять запустит... Люди увидали это, и несколько человек остановились, а потом вскричали ему: «Доктор, мол, доктор! Слышь-ко, оставь, мол, лучше эту... инструментацию-то! Полно тебе ее полоскать!.. Оставь же, мол; а то нехорошо будет!» А он не послушался и еще раз закинул. Ну, уж тут его один по голой плоти хворостиной и дернул. И стали приставать. «Поддай инструмент, мы его отнесем узнать: что там насажено». А он первой же хворостины испугался и бежать, и инструмент с собой... Ну, тогда, разумеется, за ним уж и многие рушили, и кои догоняли, те били его; но слава богу, что он резво бежал; а если бы он, на грех, споткнулся либо упал — так насмерть бы убить могли. Доктор успел вспрыгнуть на извозчика и в полицию голый так и вскочил... Тут после и пошли по всем сходным местам и трактирам сходиться все фабричные и их эти тоже приходимые красотки и пошли говорить по-русски и по-эстонски, для чего же полиция могла скрыть такого человека, который не постыдился при всех в воде через инструмент микробу впускать... И теперь беспокойства, и ждут, что с одной стороны выедет губернатор из Ревеля, а с другой вступит граф Баранов — и начнет всем публиковать свои правила.

«Инструмент» и «приходимые красотки» — это прямо отдавало тем самым источником, из которого были почерпнуты первые материалы для легенды, получившей свое развитие у нас на plage. Ветер или вода, значит, занесли «запятую» прежде всего туда, в наше фешенебельное место; но там, на plage, «запятой» «среда не благоприятствовала», и запятая не принялась, или, культивируясь, вырождалась во что-то мало схожее и постороннее: а вот тут, когда она попала в среду ей вполне благоприятную, она «развила свои разведения».

А что это была именно она, та самая «запятая», которую мы видели и не узнали, а еще сунули ей в зубы хлеб и два двугривенных, то это вдруг сообразили и я и лавочник. И лавочник к тому имел еще и «подтверждение на факте», так как он сам ездил на лошади в Нарву за товаром, и когда назад возвращался, то порционный мужик сам явился ему за городом: он совершенно неожиданно поднялся к нему из мокрой канавки и закричал: «Журавли летят! Журавли! Аллилуйя!» Но только лавочник на этот раз был уже умнее: он теперь знал, что порционный мужик — человек опасный: лавочник поскорее хлестнул лошадь и хлеба ему не кинул, а кнутом ему погрозил да прикрикнул: — Вон граф Абрамов наступает с публикацией — он тебя удовольствует!

А на «порционне» как раз, кстати, теперь уже и рваных порт совсем не было, так что и легко было его «удовольствовать»... Но сумасшедший дом, однако, мог бы без греха укрыть его от этого «удовольствия».

Х

Вот и весь сказ о запятой. Тут налицо все: какая у нее видимость и умственность, что у нее за характер и какова она в словах и в рассуждении своего влияния на мозг человеческий. Кажется, ничто особенно хитро не задумано и не слажено: что есть, то все взято без всякой пропорции, не на вес, а на глазомер, или, еще проще, — сколько влезло. Во всяком случае, всего менее попало сюда злого намерения и расчета. Этого снадобья тут не более, чем поэзии Фета, которая участвует в составе преступления «запятой» только одним стихом: «Приходи, моя милая крошка». Таким образом, муза поэта, ненавидевшего народные несуразности, изловлена где-то в то время, как она гуляла в ароматном цветнике или неслась над деревнею по воздуху, слетев с уст певички, «запузыривавшей» за фортепианом в дворянском доме. Аф. Аф. Фет, верно, был бы недоволен тем, что серый народ без толку тормозит его «милую крошку», но вины Фета в том нет. Столько же

виновата и вся действительность. Ветер лист сухой гоняет и треплет, и он то летит, то катится, то гниет в грязи, и потом опять сохнет, и опять из темных мест поднимается. Вот это самое действительное и несомненное; все остальное — зыбь поднебесная, марево, буддийская карма\*, которая всем точно снится... Никакого первого заводчика песни и сочинителя легенды нет.

Порционный мужик, конечно, не сочинял «бедную крошку». Где ему! Он получил ее уже готовую, и за горем своим он развивал ее гораздо слабее, чем все другие импровизаторы... За что же его так участь жестока?

О господи! сжался над ним, да сошли и нам просвещающую веру вместо суеверия!

Из всех «запятых» самые ужасные — те, которые скрываются во тьме суеверий.

Продукт природы

Сравнительно с народной толпой мало явлений заслуживает большего изучения. Она настоящий продукт природы: все прочее только гримасы, а здесь искренность и действительность. Смотри на народную толпу, если хочешь, с трепетом, но смотри внимательно: то, что она сделает, никому не известно, и еще менее ей самой.

Глава первая

В течение моей жизни мне привелось видеть, как двигаются с места на место переселенцы и что с ними при этом иногда происходит. Расскажу здесь один маленький случай, который остался у меня на всю жизнь в памяти. Дело было незадолго до уничтожения крепостного нрава. Ходили уже надежные слухи об «освобождении», но тем не менее купля и продажа людей еще производилась свободно. Пользуясь этим, некоторые именитые лица совершали тогда большие заселения принадлежавших им степных мест крестьянами, купленными на вывод из срединных губерний. У меня был родственник, муж моей тетки, обруселый англичанин\*. Он был человек недюжинный и в одном отношении предупредил даже на сорок лет этику «Крейцеровой сонаты». Опасаясь, чтобы на него при выборе жены не подействовали подкупающим образом «луна, джерси и нашлепка»\*, он отважился выбирать себе невесту в будничной простоте и для того объехал соседние дворянские дома, нарядившись «молодцом» при разносчике. Таким образом он увидал всех барышень в их будничном уборе и, собрав о них сведения от прислуги, сделал брачное предложение моей тетушке, которая имела прелестный характер. Вообще о нем говорили, что он — практик. Он управлял огромными имениями очень важного лица и, между прочим, имел свою обязанностью заселять степи: образовывать на них новые деревни и заводить там правильное полевое хозяйство. Людей, которых вели сюда, скупали на вывод у разных помещиков в губерниях Орловской и Курской, отчего «сводные люди» делились на два народа: «народ орловский» и «народ курский». «Орловский народ» считался «пошельмоватее», а куряне — «ведомые кметы» — подразумевались якобы «подурасливее»\*.

Переселяли людей в степи тогда большими партиями. Сколько я помню в мои детские годы, в наших местах «сбивали народ», то есть совокупляли партии людей на вывод два раза, и в оба эти раза по деревням стоял стон, а на выводных людей жалко было смотреть, хотя между ними немало было и таких, которые не унывали, а говорили, будто им «все равно — хуже не будет». В сводных дворах шла распродажа овец, телок, сох, борон и саней, — причем между бабами сцены «навечной разлуки» были раздирающие.

Один раз из нашего городишка было отправлено на подводах, кажется, около двухсот душ, и многие

из выведенных мужиков вскоре же прибежали назад и стали прятаться в пустых овинах и в конопляниках. Когда их ловили — они рассказывали, что «ушли от вши и от вредных вод». Их отсылали в стан и секли. Кроме отбегателей, многие в дороге заболели: их некоторое время тащили на подводах, а потом «отставляли» где попало; худые замороженные клячи в обозах падали, сбруя рвалась, колеса ломались, и вообще было много несчастья. Второй раз вывод людей из наших мест был еще неудачнее: между ними начался страшный «гнетучий понос», или «жиленье животами», — заболевших пришлось держать по дороге на квартирах и в землянках целую зиму. Половина людей перемерла, и убытки были большие, а потому в третий раз, о котором я буду рассказывать, придумали отправить партию на судах, или, как тогда говорили, на «стругах», по Оке и Волге.

Партия была сборная с разных мест Орловской и Курской губерний, все от дворян мелкопоместных. В числе переселяемых крестьян были и дворовые и деревенские мужики. У дворовых не было ни скота, ни собственных телег. Они были доведены до пристани каким-то мне неизвестным способом и там посажены на барки. С некоторыми крестьянами были телеги и сохи: все это было погружено, или, лучше сказать, нагромождено, на барки, и семьи помещались и на телегах и под телегами. С некоторыми, мне помнится, были куры и на одной барке две или три овцы.

#### Глава вторая

Я тогда был еще очень молодой мальчик и не знал, к чему себя определить. То мне хотелось учиться наукам, то живописи, а родные желали, чтобы я шел служить. По их мнению, это выходило «всегда надежнее». Мне и хотелось и не хотелось служить: я знал, что на службе хорошо, но был уже немножко подпорчен фантазиями; я читал «Горе от ума», и все военные мне представлялись Скалозубами, а штатские — Молчалиными, и ни те, ни другие мне не нравились. По характеру моему мне нравилось какое-нибудь живое дело, и я рассказал это моей тетке, а та передала своему мужу. Англичанин стал мне советовать, чтобы я не начинал никакой казенной службы, а лучше приспособил бы себя к хозяйственным делам. Для того же, чтобы заохотить меня к этому, он сказал мне:

— Вот мы теперь переселяем партию крестьян, а граф недоволен тем, как их водят. Люди, которые водят наших переселенцев, по мнению графа (его принципала), все очень грубы, и я с ним отчасти согласен. Это непрактично. Пускай это — продукт природы, но ведь и природа может мстить за себя: ожесточать народ и доводить его до ужаса и уныния никогда не надо, хотя, однако, совсем добрые и мягкосердые вожди тоже не годятся. Это уже доказано опытом: мягкосердому мужик сейчас на шею сядет и лаптем его толкать начнет. Нужны Пизарро\*, и у меня есть такой Пизарро, какого мне надобно. При них командиром идет очень надежный человек, из здешних орловских, называется Петр Семенов: умный мужик, но тиран. С ним сын его, тоже преспособный и тоже аспид: мужичонки у них пищат. Без таких, как Петр Семенов, однако нельзя: ведь идет целая орда, а с ордою и надо меры ордынские; но век такой, что надо немножко и цивилизации подпустить, — надо одною рукою карать, а другою — миловать. Вот я и хотел бы испробовать этакую маленькую конституционную затею, чтобы один казнил, а другой миловал. Отправляйся-ка ты с ними, и вникай, и Петру распоряжаться не мешай, но облегчай, что возможно. Я тебе дам главную доверенность с правом делать всякие амнистии.

Я согласился.

— Вот и прекрасно! Официальное значение твое будет высоко над Петром, но ты, однако, смотри — не испортить дело: царствуй, но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты только милуй.

В Орле я познакомился с нашим Пизарро. Это был черный кудрявый мужик лет сорока восьми или пятидесяти, мускулистый, сильный, живой, с черными огненными глазами, черными сросшимися над носом бровями, курносый носом и маленькой черной окладистой бородой. Выражение лица у него было сильное, смелое, решительное и довольно жестокое. При нем находился в помощниках сын его Дороша — молодец лет двадцати двух или трех, чрезвычайно похожий на своего отца.

Дядя мой отрекомендовал меня Петру Семенову и просил его учить меня, а мне сказал, чтобы я жил с ним в ладах и чтобы мы довели благополучно порученный нам «продукт природы».

Дядя был в прекрасном настроении и говорил приятные слова, на которые Пизарро отвечал в ласковом тоне, но с неуловимым букетом иронии и вероломства. Дядя рассуждал, что русский мужик — самый выносливый продукт природы, что он не избалован и путина его не может замучить.

— Пусть только было бы чем ему напихать брюхо, чтобы в пустом брюхе не щелкало, а то он тысячи верст отмахает, как котильон\* протанцует.

И Петру Семенову это слово понравилось: он улыбнулся одними углами рта и подтвердил:

— Так-с точно: котильоном и докатимся.

— Катитесь, — отвечал дядя, — катитесь!

И в излишнем, может быть, умилении он не заметил злобы Пизарро и, вне своего обычая, поблагословил нас рукою.

— Оберегайте продукт и катитесь котильоном!

Перевозимые крестьяне в это время уже были «посажены на струга», и самой тяжелой процессии — посадки, я не видел. Рассказывали мне, будто происходили раздирающие сцены — особенно когда выведенные крестьяне прощались со сватами и соседями: многие будто бы «хотели бунтовать», но Петр Семенов предупредил бунт: он послал Дорошу в полицию; и оттуда подоспели «три полицейские казака с пикою», и все кончилось: «продукт природы» был погружен, и барку тотчас же отчалили от берега и остановили посередине реки.

Тем прощанье «продукта» и кончилось.

Глава третья

Петр Семенов возил меня показывать, как «народы помещались» на барках. На двух были «шельмоватые» народы орловские, а на третьей «дурасливые» куряне. Над каждым из этих народов были приставленные из своего народа «старосты». Над орловскими старостою был тележник Фефёл, о котором Петр сообщил мне, что он был человек дорогой, но незадолго перед этим убил оглоблей человека, который пришел звать его ужинать. Это скрыли, а про всякий случай Фефёла поскорее дешево продали.

— Над орловскими шельмецами такой именно и нужен, — говорил Пизарро.

Курскими людьми заведовал орловский мужик Михайло, человек добрый и степенный.

— Курский народ — что цыплята!

Помню, как я первый раз увидел «народы» и их вождей.

Из дома мы отправились к Оке в тележке, которою правил Дороша. Мы с Петром Семеновым сидели на лавочке. Барки стояли за пять верст за городом. Когда мы приехали, Петр Семенов стал свистеть,



и от берега отвалила лодочка, в которой помещался Михайло, начальник курских народов; он нас привез на барки, и мы прошли между народом, причем я не заметил ничего особенно горького или угнетающего. Сидели люди босые, полураздетые, — словом, такие жалкие и обездоленные, как их обыкновенно видишь в русской деревне. Я тогда думал еще, что крестьяне и везде должны быть только в таком виде, как мы их привыкли видеть в России. Смирение их тоже было обычное в их положении. Петр Семенов обращался с ними грубо, как с «продуктом», не стоящим хорошего обхождения, а они относились к нему с подобострастием: величали его батюшкой Петром Семеновичем и излагали ему разные просьбы, на которые он отвечал резко, скоро, но, по правде сказать, всегда очень деловито. Воспользоваться моим высоким правом помилования я не имел никакого повода и не торопился с этим; я был уверен, что такой случай еще придет во время путины — и вот тогда я пушу в ход мои милостивые полномочия, и народы благословят мое милосердие!

#### Глава четвертая

Когда мы перешли с одной барки на другую, то Петр Семенов показал мне в корме свою каютку. Это была тесовая каморка, в которой помещались две кровати: его и Дорошина, маленький шкапик с чайным прибором, желтый сундучок, деревянные счеты, расходная книга и в углу образок с лампадой. Комната эта запиралась на замок, ключ от которого держал у себя староста Фефёл. Такую же точно комнату Петр Семенович предполагал сделать и мне на одной из барок.

О том, как мы выплыли и как шли, я рассказывать не буду, потому что это потребовало бы много времени, да и не все теперь вспомнишь. Вообще же говоря, дни тянулись один за другим одинаково скучно, серо, без всякой деятельности. Самым любимым занятием у всех было «искаться».[22] Это было что-то вроде спорта. Мужики, бабы, дети — все постоянно искались, и занятие это было не только препровождением времени, но оно было вызвано и настоятельною необходимостью, потому что вошь ела «народы» беспощадно.

Я не знаю, что такое называют вшивой болезнью, но думаю, что она не должна быть страшнее того, что я видел на переселенческих барках. Никакие усилия очиститься от насекомых не помогали.

Несмотря на то, что крестьяне очень невзыскательны насчет опрятности, тут они взвыли:

— Съела вошь!.. Жалуйте — милуйте!.. в глаза лезет: зрак хочет выпить!

По баркам было неприятно и страшно ходить. Особенно ночью или в жаркую пору дня, когда истома размаривала людей и они хотели спать, но не могли крепко заснуть от зуда, который производили насекомые. В немом исступлении все скреблись ногтями и ерзали на одном месте или катались на пядь\* в одну сторону и на пядь в другую и потом вдруг вскакивали, сидели, поводя вокруг осовевшими глазами, — иногда плакали и всегда непременно все «чухались\*». И это как только начнется в одном месте, так и «пойдет котильоном» повсеместно.

Своей скверной и ужасающей нечистоты люди не стыдились нимало, да и до того ли им было, чтобы стыдиться, когда они от этого так ужасно страдали! Петра Семенова они боялись, но мне прямо совали покрытых вшами детей с отвратительными расчесами и кричали:

— Смотри-ка крестьян-то грапских\*, смотри! Отпиши ему: вот, мол, воши-то младенца-то божьего совсем источили.

Средств от этого не было никаких, и ни Петр, ни его сын, ни колесник с Михайлой ничего для облегчения людей не делали.

Бани нет, прудить (то есть калить белье) перед костром — нельзя, потому что на барках невозможно

развести такое обширное пламя, перед которым все народы обнаготились бы, и остается терпеть. Но этого изо дня в день нельзя терпеть!

Орловские и курские мужики моются редко и плохо, потому что бань для этого они и дома не имеют, но дома они хоть парились изредка в тех самых печах, где пекли свой хлеб, а на барках и этого сделать невозможно!

— Пропадаем! — кричали они с отчаянными рыданиями, — вошь заточила до смерти!

А мы все-таки ничего не могли для них сделать.

Правда, им было дозволено с барок купаться, но «народы» этого не хотели.

Крестьяне смотрят на купанье так, что это хорошо только для «прохлажденья», но мыться в негретой воде нельзя, и это мытье, хотя бы и с мылом, ни к чему будто бы не ведет.

— Да и мыться при барках негде: мужики будут глядеть на баб... Только стыд один; а кроме того, вошь от холодной воды еще пуще множится.

Словом, они купаться в реке не хотели. Тогда Петр с сыном решили их «поневолить», но они не захотели раздеваться, и мужики говорили, что их будто «лихоманка бьет», а бабы сказывали, что они «на себе имеют» и тому подобное.

Петр Семенов тотчас же обратил на это мое внимание и сказал:

— Вы должны это остановить: разве не слышите, что они все в одно слово кричат?.. В одно слово кричать нельзя!

После этого Петр Семенов стал употреблять меры понуждения в виде толчков и затрещин, а я положил пустить свое заступничество и сделал это, всячески охраняя самолюбимый престиж распорядителя.

Он выслушал и, побледнев, ответил спокойно:

— Ах, значит, вы желаете, чтобы этот «продукт» не побуждать больше?

— Не так побуждать!

— А как же?

А я не знал как...

Но людей я, однако, защитил, и они это поняли и оценили.

Глава пятая

Так мы вышли из Оки в Волгу, и в Нижнем у нас вшивые народы опять заволновались: они вдруг приступили к Петру Семенову с «неслыханной» просьбой, чтобы он сводил их в баню! Он, разумеется, их не повел, а тогда оба народа, курские и орловские, стали кричать, шуметь, и я опять был призван для их устрашения и опять не умел исполнить этого, как должно. А когда я сказал, что мне людей жалко, то Петр Семенов ответил:

— Кому, сударь, людей жалко, тому не нужно братья народ на свод водить.

И он от меня отвернулся.

Я чувствовал, что он сказал мне правду, и мне в самом деле стало совестно.

Чтобы облегчить несколько свою душу, я купил пуд мыла, разрезал его с Михайлою на кусочки и роздал бабам-ребятницам. Бабы за это мне были очень благодарны, и вскоре объявили, что «вошь все одно», потому что «надо щелоку», а печей нет, и щелоку нет!

В следующем городе я купил уже два пуда мыла и опять роздал его бабам с детьми, но Петр Семенов и за это на меня злился: он находил, что ежели мыло давать, то надо давать и другое многое, без чего

обходиться нельзя, а тогда нельзя и конец положить надобностям.

Я начинал чувствовать, что я как будто порчу дело и что Петр Семенов того и гляди каким-то известным ему образом от меня освободится и уйдет один вождем всего «котильона».

Предчувствия эти и оправдались.

Глава шестая

Через два или три дня после того, как Пизарро сказал мне свои дерзости, у нас на орловской барке обнаружилось оригинальное и дерзкое покушение против власти: в стенке каюты Петра Семенова была просверлена дырочка, и в нее «вправлена соломинка». Приспособление это сделал какой-то «орловский шельма» для того, чтобы перепускать через соломинку вшей.

Петр и Дорофей этим страшно оскорбились и захотели во что бы то ни стало «отыскать виновных», а как никто в этой вине не признавался, то стали грозить «перестегать с пятого на десятого», но я этому воспротивился, и тогда к следующему же утру в стенах горенки было открыто уже три пропускных дырки.

Петр еще сильнее требовал «перелупцевать» всех, а я не давал, и при таких взаимных неудовольствиях мы спустились к посадку, где стали на якорь и где произошло с нами невероятное и удивительное событие.

Это было вечером под какой-то праздник, но под какой именно, я теперь не припомню. Был это праздник большой, и Петр Семенов, которому надо было сделать продовольственные запасы, боялся, что завтра он их не найдет на базаре, а потому он сейчас же отправился на берег вместе с сыном и с тремя мужиками, я остался на барках, и тут-то «народы», не видя между мною и собою никакого средостения, окружили меня и начали мне открывать свои обиды на Петра, который не додавал будто им и хлеба и соли, напрасно стеснял их свободу и напрасно же обвинял их в том, что они будто просверлили дырки и пускали нечисть.

— Все, мол, это напраслины, а дырки просверлил не кто иной, как Петров сын, Дорошка, по злобе на мужика, к жене которого Дорошка «ластился».

И тотчас же вслед за этим я услышал из среды «народов» вопль единодушный и ужасный: эти люди, братья мои, рыдая, вопили, чтобы я сжалился над их страданием и пустил их на берег в баню, смыть изъязвляющую их нечисть... Они томились, рвались и галлюцинировали «банькой».

Должен или не должен был я внять этой истоме и этому молению моих обовшивевших братьев?

Глава седьмая

Не могу сказать, действительно ли на берегу топились бани, или народам так хотелось мыться, что они галлюцинировали, но они уверяли меня, что там топят бани на берегу, и что в бани пускают нынче по грошу, и что если их пустят, они все вымоются и через час назад будут. Тогда пустить других. Я смотрел на тележника и на Михайлу. Тележник по своему обыкновению только улыбался, а Михайло молчал, а вопль был несносен и в самом деле мог достигать до господ. В довершение картины и для большего мучения моих чувств выскочил какой-то мужичонка и начал тыкать мне в глаза маленького умирающего мальчика, у которого во всех складках тела, как живой бисер, переливали насекомые.

— Вот! — кричал мужик, — вот, смотри это! — а потом он швырнул ребенка на пол, как полено, и обнажил свои покрытые лохмотьями ребра, и тут я увидал, что у него под мышками и между его запавшими ребрами нечто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не мог стерпеть, и сказал:

— Хорошо!.. На мне будет ответ за вас, но я вам дам денег на баню: устройтесь как надо и ступайте на берег, вымойтесь.

Посадили мы сорок человек на лодки и пустили их на берег в бани под надежной командой доброго Михайлы, который должен был этих людей высадить и прислать нам лодки обратно с гребцами.

На берегу всё еще звонили к вечерне или ко всенощной, и, как всем нам казалось, — оттуда ветерком доносило запах пара и банного веника.

Я стоял на барке и смотрел, как наши лодки доплыли до берега, и видел, как люди стали из них выходить — шибко-шибко, один за другим, как воробьи, выпрыгнули с живостью, которой трудно было ожидать от их неуклюжества, и затем... лодки стоят у берега и назад не возвращаются... И нам туда послать не на чем, и нет нам оттуда ни гласа, ни послушания...

Это стало удивительно!

Ждем полчаса, час, наконец становится темно, — никого нет, а вдруг в темноте плеск весел, и... является, как сатана злой и надменный, Петр Семенов.

Глава восьмая

Я чувствовал, что случилось что-то дурное, и не ошибся; случилось вот что: отпущенные мною в баню многострадальные люди, заверив меня, что я за них «не отвечу», совсем не пошли в баню, а как выпрыгнули на берег, так и пошли в Орловскую губернию.

— Они нам — вшивая братия — хорошо поусердствовали, и вы их хорошо пожалели! — заключил Петр Семеныч и сейчас же, перейдя с шутливого тона в самый серьезный, добавил: — Ну-с, ждать нельзя! извольте брать с собою доверенность и поедемте на берег: я уже упредил начальника, и он готов: сейчас надо их догнать! Эта баня экономии дорого обойдется!

Дело приняло такой оборот, что все были виноваты, а прав один Петр Семенов, и потому весь преферанс был на его стороне, и надо было ему повиноваться, и повиноваться скоро и без рассуждений. Пизарро меня победил и уже начинал торжествовать свою победу. Когда мы проходили к лодке, он шел впереди меня с фонарем и, остановясь возле одной молодой женщины, кормившей грудью ребенка, с бесстыжею наглостью осветил ее раскрытую грудь своим фонарем. По груди что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась, смешиваясь у соска с каплями синего молока, от которого отпал ребенок.

Уста Пизарро искривила презрительная улыбка, и он отхватил фонарь и проговорил:

— Как не поверить, что мой сын на этакую прелесть польстится!

Мы плыли в гордом молчании, но как только вышли на берег, Петр сейчас же настойчиво спросил у меня мою доверенность и требовал, чтобы я сам в дело не мешался, а подождал его в трактире.

Теперь он прямо говорил мне, что я могу испортить все дело.

Я ему поверил, и он поехал к чиновнику, уряд\* которого был мне не ясен: Петр называл его то исправником, то просто начальником, и вскоре же с ним и с его тремя казаками они погнались за беглецами, которых без труда догнали на пятой версте, оборотили их и погнали назад под прикрытием тех же трех полицейских казаков, из которых опять, как в Орле, только у одного была пика.

Несмотря на ночной сумрак, я видел, как их «гнали». Перед этим шел дождь, а почва была глинистая, и было смешно и жалко смотреть, как они шлепали и как ноги их волоклись и расплзались по мокрой глине, причем где скользила и падала одна передняя пара — то же самое

проделывали и все другие, точно в самом деле вели котильон с повторением фигур.

Петр Семенов возвращался с исправником на дрожках и держал себя с ним с большим достоинством. Меня он отрекомендовал ему короткой фразой:

— Вот это на их имя доверенность, — и больше не сказал ни слова.

А завернутый в шинель исправник после этого нагнулся и прошептал мне на ухо:

— Прошу вас поспешить ко мне в дом... мы должны с вами переговорить. Пожалуйста, сию минуту!

Он опять запахнулся, и я заметил, что у него была какая-то звезда под капюшоном шинели. Он поехал, и я прошел к нему и ждал его довольно долго и в самом противном душевном настроении.

«Господи! — думал я, — как я дурно сделал! но мог ли я ожидать, что эти взрослые люди будут так безрассудны, что они покинут жен и детей и станут убегать куда-то, при ясной очевидности, что им убежать невозможно! Ручного барсука смело пускают в лес на охоту, оставляя взаперти его самку с детьми, и барсук не убегает, а возвращается в неволю к своей самке!.. А это ведь все-таки люди!»

Глава девятая

У меня было время подумать и о том, как им будет стыдно, когда их опять посадят на барки... Да, и мне завтра будет стыдно на них глядеть... А исправника все еще нет как нет... и мне очень скучно в его кабинете, а уйти неловко, да притом оказалось, что мне и нельзя уйти, потому что солдат, проводивший меня сюда, ушел и дверь за собою запер, так что я остался под арестом.

В таком неприятном положении я старался развлечь себя чем мог. К моему счастью, здесь были книги, и притом такие, которыми в тогдашнее время интересовались, — например, лекции московских профессоров: Кудрявцева\*, Грановского\*, Геймана\* и Рулье\* «О городской ласточке», письма Герцена «об изучении природы»\* с достопамятным вступлением «во славу Цереры, Помоны и их сродников»\* и русская библия с казенною сургучною печатью на переплете.

Эта, очевидно, попала сюда по какому-нибудь особому случаю и жила в исправницкой библиотеке не «вроде арестанта».

Так как эта книга была тогда большою редкостью, то я начал ее просматривать и не заметил, как явился домой хозяин.

Глава десятая

Исправник, или, как оказалось, неисправник этот, был молодой человек и, по-видимому, принадлежал к числу «образованных дворян».

Когда я его видел на дрожках завернутым в шинель с странным орденом, сверкавшим из-под капюшона, он мне казался человеком солидным, как и надлежит быть исправнику, а теперь, когда он снял шинель, передо мною явилась просто «фитюлька», и вдобавок фитюлька эта вела себя чрезвычайно неосновательно. Во-первых, этот молодец вбежал к себе запыхавшись и напевая: «Услышь меня — полюби меня!»; а во-вторых, он удивился моему здесь присутствию, а потом начал извиняться и хохотать.

— Что прикажете делать? — заговорил он, — делаешь то, что можешь, и позабудешься, но зато, слава богу, все кончено: я всех выпорол!

— Кого выпороли?

— Этих ваших сорок бунтарей... Надо бы, конечно, отобрать зачинщиков, да ваш старик так просил, чтобы не отбирать, а лучше «всех», да и что в самом деле их разбирать!

— Но позвольте... ведь это какое-то недоразумение!.. все сорок человек... Куда они побежали и так

безропотно опять вернулись сюда...

Молодой человек расхохотался.

— О да! и не говорите! Болваны! Я вам откровенно скажу, наши люди — это болваны!.. Представьте вы в моем положении англичанина — ведь он бы, я уверен, растерялся, но мне настоящее знание этого народа дает на него настоящие средства. И это почему-с? потому что я здесь родился и вырос! Когда ваш мужик пришел и говорит: «Помогите — сорок человек убежало», я подумал: что делать? Мой начальник в отъезде, а я сам ведь ничего не значу и не имею никаких прав: ведь я простой приказный, я секретарь, не более того, но я знаю этот народ; и потому я взял трех калек, надел шинель с пристегнутой к ней большой пряжкой, догнал беглецов, скомандовал им: «Сволочь, назад!» и всех их привел назад и перепорол. Моя пряжка действует удивительно: я гоню их назад, как фараон\*, привожу и всех их секу; и не забудьте, секу их при их же собственном великодушном и благосклонном содействии: они друг друга держат за ноги и за руки и сидят друг у друга на головах, и потом я их отправляю на барку, и все кончено. Они отплывают, а я стою на берегу и думаю: «Ах вы, сор славянский! Ах вы, дрянь родная!» Пусть бы кто-нибудь сам-третий проделал такую штуку над сорока французами!.. Черта-с два! А тут все прекрасно... И это еще, не забудьте, с моей простой пряжкой; но если бы у меня был настоящий орден!.. О, если бы у меня был орден! С настоящим орденом я бы один целую Россию выпорол! А ваши вещи все на пристани... Там ваше все... Вас нельзя было оставить с переселенцами.... Ваш Петр говорит, что он иначе не отвечает за спокойствие, и я это понимаю: это справедливо; он и доверенность вашу увез с собой, и прекрасно сделал, а то надо было бы о вас доносить.

— Что же такое надо бы обо мне доносить?

— Да вот, что вы делали всеобщее возмущение.

И тут он объяснил мне, что спущенная мною на сушу группа взбунтовавшихся крестьян могла вызвать движение, за которое, может быть, пришлось бы множество людей сослать, а теперь, благодаря его находчивости, все окончилось только тем, что он сорок человек перепорол и меня отставил...

Мне оставалось его поблагодарить.

Глава одиннадцатая

С тех пор, как происходило описанное приключение, уплыло много лет и многое изменилось. Кое-что даже и серьезно улучшилось, но слухи, доходящие до столиц о движении переселенцев, приносят, однако, всё старые, давно знакомые вести, из которых приходится заключать, что тут два стимула остаются неизменными: 1) «народы» поднимаются, не зная куда, и возвращаются, не зная зачем, и 2) «народы», во все время своего следования, все еще «чухаются» и «ищутся», потому что их «пожирает вошь». Последнее отвратительно до такой степени, что об этом никто не решается серьезно говорить, а только упоминают вскользь. И вот именно поэтому-то, может быть, дело с «исканием» все и остается в своем прежнем, ужасном положении; а это есть большое народное бедствие, которое промалчивать в печати стыдно и жестоко. Нечистота противна, песни об этом, за фортепианом сидя, не споешь и баллады на эту тему не напишешь, но надо отложить брезгливость в сторону и настойчиво говорить о нечисти, чтобы ее уничтожить. Это настоящая египетская казнь! Партия переселенцев, плывшая в 1892 году во Владивосток, «обчесалась» в виду Коломбо\*, но ей в этом ничем не помогли, и люди так поплыли чесаться далее!.. Пусть знают наших, каковы мы в гости

едем! А в собрании Общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам в Петербурге, 14-го марта 1893 года, читали и говорили, что средств для помощи переселенцам мало, что их недостает «на самые вопиющие нужды» и что «крайнее скопление переселенцев развивает болезни», а вследствие того «они заражают бараки, в которых их помещают». По этому поводу общество взывает к «участию земств». А я считаю уместным рассказать здесь в «Переселенческом сборнике» то, что я видел на переселенческой барке, чтобы напомнить покровителям странных, что самое большее бедствие для переселенцев это есть поедающая их нечисть. Отчего ничье милосердие не встречает их по дороге и не моет их в банях? Ведь они всё заразят, где ни приткнутся! Гейне был прав, говоря, что «кто любит народ, тот должен сводить его в баню»\*. И это первое, за что надо взяться повсеместно, как только «продукт природы» надвигается.

Загон

Disciplina arcani[23] существует в полной силе: цель ее — предоставить ближним удобство мирно копаться в свинных корытах суеверий, предрассудков и низменных идеалов.

За слушание истине — верят лжи и заблуждениям.\*

В одном произведении Достоевского выведен офицерский денщик, который разделял свет на две неравные половины: к одной он причислял «себя и своего барина, а к другой всю остальную сволочь»\*. Несмотря на то, что такое разделение смешно и глупо, в нашем обществе никогда не переводились охотники подражать офицерскому денщику, и притом в гораздо более широкой сфере. В последнее время выходки в этом роде стали как будто манией. В конце сентября 1893 года в заседании Общества содействия русской промышленности и торговле один оратор прямо заговорил, что «Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских государств, отделиться от них китайскою стеною».

Такое стремление отгораживаться от света стеною нам не ново, но последствия этого всегда были для нас невыгодны, как это доказано еще в «творении» Тюнена «Der isolierte Staat» (1826), которое в 1857 году у нас считали нужным «приспособить для русских читателей», для чего это творение и было переведено и напечатано в том же 1857 году в Карлсруэ, в придворной типографии, а в России оно распространялось с разрешения петербургского цензурного комитета.[24]

Одновременно с тем, как у нас читали приспособленную для нас часть «творения» Тюнена, в качестве художественной иллюстрации к этой книге обращалась печатная картинка, на которой был изображен темный загон, окруженный стеною, в которой кое-где пробивались трещинки, и через них в сплошную тьму сквозили к нам слабые лучи света.

Таким «загоном» представлялось «уединенное государство», в котором все хотели узнавать Россию, и для тех, кто так думал, казалось, что нам нельзя оставаться при нашей замкнутости, а надо вступать в широкое международное общение с миром. Отсталость русских тогда безбоязненно сознавали во всем; но всего более были удивлены тем, что мы отстали от западных людей даже в искусстве обрабатывать землю. Мы имели твердую уверенность, что у нас «житница Европы», и вдруг в этом пришлось усомниться. Люди ясного ума указывали нам, что русское полеводство из рук вон плохо и что если оно не будет улучшено, то это скоро может угрожать России бедствием. Причину этого видели в том, что наши крестьяне обрабатывают землю очень старыми и дурными орудиями и ни с чем лучшим по дикости своей и необразованности обращаться не умеют, а если дать им хорошие вещи, то они сделают с ними то, что делали с бисером упомянутые в евангелии свиньи (Мф. VII, 3).\*

Я позволю себе предложить здесь кое-что из того, что мне привелось видеть в этом роде.

Это касается крестьян и не крестьян.

I

Тяготение к желудю и к корыту

В моих отрывочных воспоминаниях я не раз говорил о некоторых лицах английской семьи Шкот\*.

Их отец и три сына управляли огромными имениями Нарышкиных и Перовских и слыли в свое время за честных людей и за хороших хозяев. Теперь здесь опять нужно упомянуть о двух из этих Шкотов.

Александр Яковлевич Шкот — сын «старого Шкота» (Джемса), после которого у Перовского служили Веригин и известный «аболиционист» Журавский\*, — многократно рассказывал, какие хлопоты перенес его отец, желая научить русских мужиков пахать землю как следует, и от каких, по-видимому, неважных и пустых причин все эти хлопоты не только пропали без всякой пользы, но еще едва не сделали его виноватым в преступлении, о котором он никогда не думал.

Старый Шкот как приехал в Россию, так увидел, что русские мужики пахут скверно и что если они не станут пахать лучше, то земля скоро выпашется и обессилеет. Это предсказание было сделано не только для орловского неглубокого чернозема, но и для девственной почвы степей, которые теперь заносит песками.[25] Предвидя это огромное и неминуемое бедствие, Шкот захотел вывести из употребления дрянные русские сохи и бороны и заменить их лучшими орудиями. Он надеялся, что когда это удастся ему в имениях Перовского, тогда Перовский не откажется ввести улучшение во всех подведомых ему удельных имениях, и дело получит всеобщее применение.

Перовский, кажется, говорил об этом с императором Николаем Павловичем и в очень хорошем расположении духа, прощаясь в Москве со Шкотом, сказал:

— Поезжайте с богом и начинайте!

Дело заключалось в следующем.

По переселении орловских крестьян с выпашанных ими земель на девственный чернозем в нижнем Поволжье Шкот решился здесь отнять у них их «Гостомысловы ковырялки»\*, или сохи, и приучить пахать легкими пароконными плужками Смайля; но крестьяне такой перемены ни за что не захотели и крепко стояли за свою «ковырялку» и за бороны с деревянными клещами. Крестьяне, выведенные сюда же из малороссийской Украины, умели пахать лучше орловцев; но тяжелые малороссийские плуги требовали много упряжных волов, которых налицо не было, потому что их истребил падеж. Тогда Шкот выписал три пароконные плужка Смайля и, чтобы ознакомить с ними пахарей, взялся за один из них сам, к другому поставил сына своего Александра, а к третьему — ловкого и смышленного крестьянского парня. Все они стали разом на равных постатях\*, и дело пошло прекрасно.

Крестьянский парень, пахавший третьим плугом, как человек молодой и сильный, сразу же опалил обоих англичан — отца и сына, и получил награждение, и снасть одобрил. Затем к плужкам попеременно допускались разные люди, и все находили, что «снасть способна». К году на этом участке пришел хороший урожай, и случилось так, что в этом же году представилась возможность показать все дело Перовскому, который «следовал» куда-то в сопровождении каких-то особ.

Известно, что граф был человек просвещенный и имел характер благородный. За это за ним было усвоено прозвание «рыцарь».

Шкот, встретив владельца, вывел пред лицо его пахарей и поставил рядом русскую соху-



«ковырялку», тяжелый малороссийский плуг, запряженный в «пять супругов волов», и легкий, «способный» смайлевский плуг на паре обыкновенных крестьянских лошадок. Стали немедленно делать пробу пашни.

Пробные борозды самым наглядным образом показали многосторонние преимущества смайлевского плужка не только перед великорусскою «ковырялкою», но и перед тяжелым малороссийским плугом. Перовский был очень доволен, пожал не один раз руку Шкоту и сказал ему:

— Сохе сегодня конец: я употреблю все усилия, чтобы немедленно же заменить ее плужками во всех удельных имениях.

А чтобы еще более поддержать авторитет своего англичанина, он, развеселясь, обратился к «хозяевам» и спросил, хорошо ли плужок пашет.

Крестьяне ответили:

— Это как твоей милости угодно.

— Знаю я это; но я хочу знать ваше мнение: хорошо или нет таким плужком пахать?

Тогда из середины толпы вылез какой-то плешивый старик малороссийской породы и спросил:

— Где сими плужками пашут (или орут)?

Граф ему рассказал, что пашут «сими плужками» в чужих краях, в Англии, за границею.

— То значит, в німцах?

— Ну, в немцах!

Старик продолжал:

— Это вот, значит, у тех, що у нас хлеб купуют?

— Ну да — пожалуй, у тех.

— То добре!.. А тильки як мы станем сими плужками пахать, то где тогда мы будем себе хлеб покупать?

Вышло «табло», и просвещенный ум Перовского не знал, как отшутить мужику его шутку\*. И все бывшие при этом случайные особы схватили этот «замысловатый ответ крестьянина» и, к несчастью, не забыли его до Петербурга; а в Петербурге он получил огласку и надоел Перовскому до того, что когда император по какому-то случаю спросил: «А у тебя все еще англичанин управляет?», то Перовский подумал, что дело опять дойдет до «остроумного ответа», и на всякий случай предпочел сказать, что англичанин у него более уже не управляет.

Государь на это заметил: «То-то!» и более об этом не говорил; а Перовский, возвратясь домой, написал Шкоту, что он должен оставить степи, и предложил устроить его иначе.

Честный англичанин обиделся; забрал с собой плужки, чтоб они не стояли на счету экономии, и уехал.

Дело «ковырялки» было выиграно и в таком положении остается до сего дня.

Смайлевские плужки, которыми старый Шкот хотел научить пришедших с выпашанных полей переселенцев «воздымать» тучные земли их нового поселения на заволжском просторе, я видел в пятидесятых годах в пустом каменном сарае села Райского, перешедшего к Александру Шкоту от Ник. Ал. Всеволожского.

II

Шут Севацкой

Всеволожский тоже интересный человек своего времени. Для большинства его современников он

был знаменит только как безумный мот, который прожил в короткое время огромное состояние; но в нем было и другое, за что его можно помянуть добром.

Он жил как будто в каком-то исступлении или в чаду, который у него не проходил до тех пор, пока он не преобразился из миллионера в нищего. Личная роскошь Всеволожского была чрезвычайна. Он не только выписывал себе и своей супруге (урожденной Клушиной) все туалетные вещи и платья «прямо из Парижа», но к нему оттуда же должны были спешно являться в Пензу французские рыбы и деликатесы, которыми он угощал кого попало. Он одинаково кормил деликатесами и тогдашнего пензенского губернатора Панчулидзева\* («меломана и зверя»), и приказных его канцелярии, и дворянских сошек, из которых многие не умели положить себе на тарелки то, что им подносили. Пожилой буфетчик Всеволожского, служивший после его разорения у других таких же, как Всеволожский, обстоятельных людей (Данилевского и Савинского), говорил:

— Бывало, подаешь заседателю Б. французский паштет, а у самого слезы на рукав фрака падают. Видеть стыдно, как он все расковыряет, а взять не умеет. И шепнешь ему, бывало: «Ваше высокородие! Не угодно ли я вам лучше икорки подам?» А он и сам рад: «Сделай милость, говорит, я икру обожаю!»

Гостей этого рода часто нарочно спаивали, связывали, раздевали, живых в гробы укладывали и нагих баб над ними стоять ставили, а потом кидали им что-нибудь в награду и изгоняли. Это делали все или почти все, и Всеволожский грешен такими забавами, может быть, даже меньше, чем другие. Но Всеволожский ввел ересь: он стал заботиться, чтобы его крестьянам в селе Райском было лучше жить, чем они жили в Орловской губернии, откуда их вывели. Всеволожский приготовил к их приходу на новое место целую «каменную деревню».

О таких чистых и удобных помещениях и помышлять не могли орловские крестьяне, всегда живущие в беструбных избах. Все дома, приготовленные для крестьян в новой деревне, были одинаковой величины и сложены из хорошего прожженного кирпича, с печами, трубами и полами, под высокими черепичными крышами. Выведен был этот «порядок» в линию на горном берегу быстрого ручья, за которым шел дремучий бор с заповедными и «клейменными» в петровское время «мачтовыми» деревьями изумительной чистоты, прямизны и роста. В этом бору было такое множество дичи и зверья и такое изобилие всякой ягоды и белых грибов, что казалось, будто всего этого век есть и не переешь. Но орловские крестьяне, пришедшие в это раздолье из своей тесноты, где «курицу и тае выпустить некуда», как увидали «каменную деревню», так и уперлись, чтобы не жить в ней.

— Это, мол, что за выдумка! И деды наши не жили в камени, и мы не станем.

Забраковали новые дома и тотчас же придумали, как им устроиться в своем вкусе.

Благодаря чрезвычайной дешевизне строевого леса здесь платили тогда за избяной сруб от пяти до десяти рублей. «Переведенцы» сейчас же «из последних сил» купили себе самые дешевенькие срубцы, приткнули их где попало, «на задах», за каменными жильями, и стали в них жить без труб, в тесноте и копоти, а свои просторные каменные дома определили «ходить до ветру», что и исполняли. Не прошло одного месяца, как все домики прекрасной постройки были загажены, и новая деревня воняла так, что по ней нельзя было проехать без крайнего отвращения. Во всех окнах стекла были повыбиты, и оттуда валил смрад.

По учреждении такого порядка на всех подторжьях и ярмарках люди сообщали друг другу с

радостью, что «райские мужики своему барину каменную деревню всю запакостили».

Все отвечали:

— Так ему и надо!

— Шут этакой: что выдумал!

— Вали, вали ему на голову; вали!

За что они на него злобствовали, — этого, я думаю, они и сами себе объяснить не могли; но только они как оцетинились, так и не приняли себе ни одного его благодеяния. Он, например, построил им в селе общую баню, в которую всем можно было ходить мыться, и завел школу, в которой хотел обучать грамоте мальчиков и девочек; но крестьяне в баню не стали ходить, находя, что в ней будто «ноги стынут», а о школе шумели: зачем нашим детям умнее отцов быть?

— Мы ли-де своим детям не родители: наши ли сыновья не пьяницы!

Дворяне этому радовались, потому что если бы райские крестьяне приняли благодеяния своего помещика иначе, то это могло послужить вредным примером для других, которые продолжали жить как обры и дулебы, «образом звериным»\*.

Такого соблазнительного примера, разумеется, надо было остерегаться.

Когда «райский барин» промотался и сбежал, его каменное село перешло с аукционного торга к двум владельцам, из которых, по воле судьбы, один был Александр Шкот — сын того самого Джемса Шкота, который хотел научить пахать землю хорошими орудиями.[26] Переход этот состоялся в начале пятидесятых годов. Тогда мужики в Райском все «севацкое» уже «обгадили на отделку», а сами задыхались и слепли в «куренках». Ф. Селиванов в своей части села Райского оставил мужиков в куренках, но Шкот не мог этого переносить. Он не был филантроп и смотрел на крестьян прямо как на «рабочую силу»; но он берег эту силу и сразу же учел, что потворствовать мужичьей прихоти нельзя, что множество слепых и удушных приносят ему большой экономический ущерб. Шкот стал уговаривать мужиков, чтобы они обчистили каменные дома и перешли в них жить; но мужики взъерошились и объявили, что в тех домах жить нельзя. Им указали на дворовых, которые жили в каменных домах.

— Мало ли что подневольно делается, — отвечали крестьяне, — а мы не хотим. В каменном жить, это все равно что острог. Захотел перегонять, так уж лучше пусть прямо в острог и сгонит: мы все и пойдем в острог.

От убеждений перешли к наказаниям и кого-то высекли, но и это не помогло; а Шкоту через исправника Мура (тоже из англичан) было сделано от Панчулидзева предупреждение, чтобы он не раздражал крестьян.

Шкот осердился и поехал к губернатору объясняться, с желанием доказать, что он старался сделать людям не злое, а доброе и если наказал одного или двух человек, то «без жестокости», тогда как все без исключения наказывают без милосердия; но Панчулидзев держал голову высоко и не позволял себе ничего объяснять. С Шкотом он был «знаком по музыке», так как Шкот хорошо играл на виолончели и участвовал в губернаторских симфонических концертах; но тут он его даже не принял. Шкот написал Панчулидзеву дерзкое письмо, которого тот не мог никому показать, так как в нем упоминалось о прежних сношениях автора по должности главноуправляющего именными министра, перечислялись «дары» и указывались такие дела, «за которые человеку надо бы не губернией править, а сидеть в остроге». И Панчулидзев снес это письмо и ничего на него не ответил. Письмо

содержало в себе много правды и послужило материалом для борьбы Зарина, окончившейся смещением Панчулидзева с губернаторства. Но тогда еще в Загоне не верили, что что-нибудь подобное может случиться и расшевелить застоявшееся болото.

Смелее прочих сторону губернатора поддерживал дворянский предводитель, генерал Арапов\*, о котором тоже упоминалось в письме как о нестерпимом самочинце. А генерал Арапов, в свою очередь, был славен и жил широко; в его доме на Лекарской улице был «открытый стол» и самые злые собаки, а при столе были свои писатели и поэты. Отсюда на Шкота пошли пасквили, а вслед за тем в Пензе была получена брошюра о том, как у нас в России все хорошо и просто и все сообразно нашему климату и вкусам и привычкам нашего доброго народа. И народ это понимает и ценит и ничего лучшего себе не желает; но есть пустые люди, которые этого не видят и не понимают и выдумывают незнать для чего самые глупые и смешные выдумки. В пример была взята курная изба и показаны ее разнообразные удобства: кажется, как будто она и не очень хороша, а на самом деле, если вникнуть, то она и прекрасна, и жить в ней гораздо лучше, чем в белой, а особенно ее совсем нельзя сравнить с избой каменной. Это вот гадость уж во всех отношениях! В куренке топлива идет мало, а тепло как у Христа за пазухой. А в воздухе чувствуется легкость; на широкой печи в ней способно и спать, и отогреться, и онучи и лапти высушить, и веретье\* оттаять, и нечисть из курной избы бежит, да и что теленок с овцой насмердят, — во время топки все опять дверью вон вытянет. Где же и как можно все это сделать в чистой горнице? А главное, что в курной избе хорошо — это сажа! Ни в каком другом краю теперь уже нет «черной, лоснящейся сажи» на стенах крестьянского жилища, — везде «это потеряно», а у нас еще есть! А от сажи не только никакая мелкая гадь в стене не водится, но эта сажа имеет очень важные лечебные свойства, и «наши добрые мужички с великою пользою могут пить ее, смешивая с нашим простым, добрым русским вином».

Словом — в курной избе, по словам брошюры, было целое уголье.

«Русская партия» торжествовала победу; ничего нового не надо: надо жить по старине — в куренке и лечиться сажею.

### III

Лечение сажей

Англичанин смеялся.

— Мало им, что люди в этой саже живут и слепнут, — они еще хотят обучить их пить ее с водкою! Это преступление!

Шкот сам умел стряпать брошюры, — это их англичанская страсть, — и он поехал в Петербург, чтобы напечатать, что крестьяне слепнут и наживают удушье от курных изб; но напечатать свою брошюру о том, что крестьяне слепнут, ему не удалось, а противная партия, случайно или нет, была поддержана в листке, который выходил в Петербурге «под гербом» и за подписью редактора Бурнашова.[27]

Рачением Бурнашова почти одновременно вышли две хозяйственные брошюры: одна «О благотворном лечебном действии коры и молодых побегов ясеня дерева», а другая «О целебных свойствах лоснящейся сажи»\*. Исправники и благочинные должны были содействовать распространению этих полезных брошюр.

В брошюре о ясени сообщалось, что этим деревом можно обезопасить себя от ядовитых отрав и укушений гадами. Стоило только иметь при себе ясеневую палочку — и можно легко узнавать, где

есть в земле хорошая вода; щелоком из ясеновой коры стоит вымыть ошелудивевших детей, и они очистятся; золою хорошо парить зачесы в хвостах у лошадей. Овцам в овчарню надо было только ставить ветку ясеня, и овцы ягнились гораздо плодуще, чем без ясеня. Бабам яшень унимал кровоток и еще делал много других вещей, про которые через столько лет трудно вспомнить. Но избяная «лоснящаяся сажа» перевозносилась еще выше.

В брошюре о саже, которая была гораздо объемистее брошюры о ясени, утвердительно говорилось, что ею, при благословении божием, можно излечивать почти все человеческие болезни, а особенно «болезни женского пола». Нужна была только при этом сноровка, как согреть сажу, то есть скрести ее сверху вниз или снизу вверх. От этого изменялись ее медицинские свойства: собранная в одном направлении, она поднимала опавшее, а взятая иначе, она опускала то, что надо понизить. А получать ее можно было только в русских курных избах, и нигде иначе, так как нужна была сажа лоснящаяся, которая есть только в русских избах, на стенах, натертых мужичьими потными загорбками. Пушистая же или лохматая сажа целебных свойств не имела. На Западе такого добра уже нет, и Запад придет к нам в Загон за нашею сажею, и от нас будет зависеть, дать им нашей копоти или не давать; а цену, понятно, можем спросить какую захотим. Конкурентов нам не будет. Это говорилось всерьез, и сажа наша прямо приравнивалась к ревеню и калганному корню, с которыми она станет соперничать, а потом убьет их и сделается славой России во всем мире. Загон был доволен: осатанелые и утратившие стыд и смысл люди стали расписывать, как лечиться сажею. «Лоснящуюся сажу» рекомендовалось разводить в вине и в воде и принимать ее внутрь людям всех возрастов, а особенно детям и женщинам. И кто может отважиться сказать: скольким людям это стоило жизни! Но тем не менее брошюра о саже имела распространение.

Радовались, что не послушались затейников и уберегли свои избы; а затейников бранили и порочили и припоминали их в большом числе, перемешивая умных с безумными: Сперанского с Всеволожским.

— Помилуй бог, если бы им тогда волю дали! Что бы они наделали!

На губернских балах той самой баснословной пензенской знати, которая столь обмелела, что кичилась своею «араповщиной», — между бесстыжими выходками всякой пошлости прославляли «ум и чуткость русского земледельца», который не захотел жить в чистом доме. При этом разоренный и отсутствующий Всеволожский всякий раз был осмеиваем, и ни одному из благородных людей, евших его деликатесы, не пришло в голову отыскать его на мостовой, для которой он бил камни, и отдать ему хоть частицу тех денег, которые у него были заняты.

Но его еще хотели сделать посмешищем на вечные времена.

#### IV

Всевозможные бетизы

Некто С., ничтожный «человек высокого происхождения по боковой линии», замечательный удивительным сходством с Ноздревым и также член и душа общества, напившись предводительского вина, подал мысль собрать «музей бетизов» Всеволожского, чтобы все видели, «чего в России не нужно».

Бетрищеву это понравилось, и он хохотал и обещал не пожалеть тысячи рублей, чтобы такой «музей бетизов»\* был устроен.

Тысяч у него было много!

Вспомнили все, что надо почитать за «бетизы». Набиралось много: Всеволожский не только построил каменные жилые помещения для крестьян, но он выписал для них плуги, жнеи, веялки и молотилки от Бутенопа; он завел школу и больницу, кирпичеделательную машину и первый медный ректификатор Шварца на винном заводе. С ректификатором еще пошли осложнения: крестьяне в этом ректификаторе забили трубки, и в приемник полилась вонючая и теплая муть вместо спирта, а на корде рабочие быки, пригнанные хохлами для выкормки их бардою, пришли в бешенство, оттого что они напились пьяны, задрали хвосты, бодались и перекалечили друг друга почти наполовину. Всеволожский заплатил хохлам за погибших от опойства и драки быков и еще приплатил, чтобы не говорили о происшедшем у него на заводе скандале.

Этого нельзя было «скупить» и выставить, но это положили заказать написать на картине живописцу Петру Соколову\*: «Он, правда, берет дорого, но он свой брат дворянин и с ним можно поторговаться».

«Бетизы» Ноздрев обещал свезти в Пензу; но, выехав с генеральскими деньгами в Райское, Ноздрев остановился переменить лошадей у мордвина в с. Чемодановке, которая тогда принадлежала сыну знаменитого военного историка Михайловского-Данилевского\*, Леониду, а этот дворянин имел обыкновение приглашать к себе проезжающих, угощал их и играл с ними в карты. И Ноздрев в силу этого обычая тоже был приглашен через верхового посланца к чемодановскому барину и там «потерял деньги» и уже ни в Райское не поехал, ни в Пензу не возвратился, а отбыл домой, пока дело о бетизах придет в забвение.

«Бетизы» долежались в Райском до Шкота. Он мне их показывал, и я их видел, и это было грустное и глубоко терзающее позорище!.. Все это были хорошие, полезные и крайне нужные вещи, и они не принесли никакой пользы, а только сокрушили тех, кто их припас здесь. И к ним, к «севацким бетизам», Шкот придвинул свои и отцовские «улучшенные орудия» и, трясясь от старости, тихо шамкал:

— Все это не годится в России.

— Вы шутите, дядя!

— Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол.

— Не зол, дядя!

— Нет, зол. Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот, народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!

В этой Пензе, представлявшей одно из самых темных отделений Загона, люди дошли до того, что хотели учредить у себя все навыворот: улицы содержали в состоянии болот, а тротуары для пешеходов устроили так, что по ним никто не отваживался ходить. Тротуары эти были дощатые, а под досками были рвы с водою. Гвозди, которыми приколачивали доски, выскакивали, и доски спускали прохожего в клоаку, где он и находил смерть. Полицейские чины грабили людей на площади; предводительские собаки терзали людей на Лекарской улице в виду самого генерала с одной стороны и исправника Фролова — с другой; а губернатор собственноручно бил людей на улице нагайкою; ходили ужасные и достоверные сказания о насилии над женщинами, которых приглашали обманом на вечера в дома лиц благороднейшего сословия... Словом, это был уже не

город, а какое-то разбойное становище. И увидел бог, что злы здесь дела всех, и, не обретя ни одного праведного, наслал на них Ефима Федоровича Зарина\*, вызвавшего сенаторскую ревизию.

V

Интервал

Сделаем шаг в сторону, где больше света.

В Европе нам оказали непочтительность: мы увидели надобность взять в руки оружие. Сценой действия сделался наш Крым\*. Регулярные полки и ратники ополчения тащились на ногах через Киев, где их встречал поэт из пенцов Киевской духовной академии Аскоченский\* и командовал: «На молитву здесь, друзья! Киев перед вами!» А к другим он оборачивался и грозил: «Не хвались, иду на рать, а идучи с...».[28]

Скоро оказалось, что те, которых мы уговариваем «не хвалиться», на самом деле гораздо меньше нас хвалятся, но, к совершенной неожиданности, оказываются во всем нас успешнее. К тому же вкралось много воровства, и дела у нас пошли худо. Все это известно и переизвестно, но, к несчастью, кажется, уже позабыто. Но много любопытного осталось в неизвестности до сих пор. В числе анекдотов и казусов этого времени припоминаю, как в Пензу были присланы два взятые в плен английские военные инженера, из которых один назывался Миллер. Говорили, будто он отличался знанием строительного искусства и большим бесстрашием. Во всяком случае он был на лучшем счету у Непира\*. А у нас он осрамил себя сразу и окончательно! Как только этого Миллера привезли — Шкот пошел навестить его. Сделал он это, как земляк, и ему это в вину не поставилось. Он просидел у пленного вечер, а на другой день английский инженер пошел отдать ему визит, но был так глуп, что думал, будто надо идти про тротуару, а не посреди улицы, которая, впрочем, была покрыта жидкою грязью по колено.

Миллер пошел по пензенским тротуарам, по которым в Пензе не ходили.

И Шкот не сказал ему этого.

За это тротуарная доска спустила английского инженера одним концом в клоаку, а другим прихлопнула его по темени, и дело с ним было кончено.

Это было смешно! Не знали только, как с этим поступить: стыдиться или хвалиться? В Крыму уцелел от всех пушек, а в Пензе доской прихлопнуло. Забавно!

А виноват был Шкот: он должен был его сразу же предупредить, что по тротуарам не ходят. Но он англичанин... он хитрый человек, он нарочно хотел создать историю...

Старик Шкот вышел из себя, и послал вызов на дуэль генералу Арапову, в доме которого это говорили.

Генерал не отвечал, но стал ездить в закрытой карете.

Шло что-то новое: бахвальства сменились картинками «Изнанки Крымской войны»\* и «Параллелями» Палимпсестова\*. «Параллели» особенно смутили Загон, так как там просто, но обстоятельно было собрано на вид, что есть у нас и что в соответствие нашему убожеству представляет жизнь за окружающею наш Загон стеною. По рукам у нас пошла печатная картина, где наш Загон изображен был темным и безотрадным, но крепко огражденным китайскою стеною. С внешней стороны разные беспокойные люди старались проломать к нам ходы и щелочки и образовали трещины, в которые скользили лучи света. Лучи эти кое-что освещали, и то, что можно было рассмотреть, — было ужасно. Но все понимали, что это далеко не все, что надо было осветить,

и сразу же пошла борьба: светить больше или совсем задуть свечеч? Являлись заботы о том, чтобы забить трещины, через которые к нам пробивался свет. Оттуда пробивали, а отсюда затыкали хламом, и среди затыкавших выделялась одна голова с чертами знаменитого тогдашнего современника. На картинке он говорил: «Оставьте: если это от людей, то это исчезнет, а если от бога, то вы света остановить не можете». Почти те же самые, или по крайней мере в этом духе и роде, вел он беседы и на самом деле. Это был любимец и настоящий герой самых прекрасных дней в России: это был Пирогов\*. О нем говорили, что «он во время войны резал руки и ноги, а после войны приставляет головы». Все понимали одно, что Пирогов хотел «воспитать человека» и что нам это всего нужнее, так как мы очень невоспитанны.

Такое чистосердечное сознание в своем грехе свидетельствовало, разумеется, о счастливой способности нации к быстрому улучшению. Пироговские «Вопросы жизни» были напечатаны в «Морском сборнике» по приказанию великого князя Константина Николаевича\*. Пирогову доверялись и его хвалили не только взрослые и умные люди, но даже «дети» и, кажется, «камни». В феврале 1859 года в Одессе был выпущен «Новороссийский литературный сборник», издателем которого был очень мало знающий в литературе человек, А. Георгиевский, но и он посвятил свой сборник «имени Н. И. Пирогова». По словам этого г. А. Георгиевского\*, на Пирогова «Россия должна смотреть с гордостью, ибо его деятельность обещала много добра впереди». А. Георгиевский особенно указывал на старания Пирогова «вызвать в крае умственную деятельность, главным поприщем для которой служит литература» (Предисл., II). По разъяснению г. А. Георгиевского, это должно было идти так, что «дело самосознания каждая местность должна совершить собственными средствами, чрез посредство своей местной литературы, ибо централизация умственной деятельности есть явление ненормальное и вредное, которое парализует жизнь остальных частей, стягивая все силы к одному пункту» (ibid., III). В сборнике главной статью был отрывок Пирогова под заглавием «Чего мы желаем?» Здесь рассматривался вопрос о высшем образовании и независимости от «одной только ближайшей цели» (185). Пирогов выяснял, что, «преследуя одно ближайшее, мы незаметно попадем в лабиринт, из которого трудно будет выбраться» (186). А «по закону противодействия может начаться на другой улице праздник». Но мы так полны были радостей, что ничего не опасались, и, ходя по тропинке бедствий, не ожидали последствий. Удаль и бахвальство шибали в другую сторону: на проводы Пирогова собрались «тьмы». Это действительно был «излюбленный человек», с которым людям было больно и тяжело расстаться. Прощаясь с ним, плакали, и одна молоденькая институтка, вскочив на стол с поломанной ножкой, громко вскрикнула: «Будьте нашим президентом!» — и сама упала вместе со столом... Несколько человек ее подхватили. Она была вне себя и все кричала: «президент!» и жаловалась на боль в коленке. В числе лиц, суетившихся вокруг этой юной особы, были флотский доктор, мичман и штаб-офицер в голубой форме. Последний желал у нее о чем-то осведомиться, но флотский доктор сурово отстранил его и сказал:

— Разве вы не видите, что девушка в истерике!

А другие ему закричали:

— Стыдно, полковник, стыдно!

И полковник уступил и только спросил у какого-то простолюдина:

— Что такое она тут чекотала?



А тот ему «неглежа» ответил:

— Чекотала чечётка, видно чечета звала.

— Ага! — сказал, не обижаясь, полковник, — петушка кличет!

— Разумеется.

И в самом деле, явился петушок, с которым чечетку обвенчали с удивительной поспешностью.

А важное дело образования, которое так широко понимал Пирогов, было решено «в тоне полумер», которых всего более Пирогов опасался... Потом и сам Пирогов подпал осмеянию в передовом из тогдашних журналов\* и был не только удален от воспитательного дела, но, по словам, сказанным им на его юбилее, он еще «был оклеветан», и даже г. А. Георгиевский уже не защищал его...

Затем Катков открыл в правительстве бессилие и слабость и стал пугать, что нас «скоро отмежуют от Европы по Нарву» и что ваши петербургские генеральши будут этому очень рады, «потому что им станет близко ездить за границу». От дам чего не станется! Опять бы им надвинуть на уши повойники, да и рассадить их по теремам.

Появилась и книжка с таким направлением, напечатанная в Петербурге, а из Москвы и на всех вообще раздался окрик: «Назад! Домой!»

И это уже не казалось дико, а стало модным словом.

Интервал проходил.

Появились знаменитости, каких нет на Западе и которым Запад должен был позавидовать. Прослыл в ученых Маклай, сочинений которого в России до сих пор не читали; а потом г. Катков отыскал и проявил в свет воителя Ашинова\*, «вольного казака», который, по мнению г. Каткова, внушал полное доверие. Его поддерживали другие знаменитые люди: Вис. Комаров, Вас. Аристов, свящ. Наумович и другие\*, имена которых останутся навсегда связанными с этим «историческим явлением». Я его помню в одной торжественной обстановке среди именитых лиц: рыжий, коренастый, с круглыми бегающими глазами и куцупыми руками, покрытыми веснушками... Он был превосходен в своем роде. Его ассистировали Комаров, Аристов и Наумович, и еще один русский поэт из чиновников, и три «только что высеченные дома болгарина»... Его надо было оберегать, потому что ему угрожала Англия. Для этого он не пил ничего из бокалов, которые ему подавали, а хлебал «из суседского»... Все это казалось «просто и мило». И затем уже пошла такая знаменитость, которой уже никто и не угрожал: выехал верхом казак и поехал, и (по отчету одного детского журнала) только раз один ему «пришлось купить вазелину», а между тем не только ему, но и его «сивому мерину» были оказаны все знаки почтения. Если редактор «Petersbourger Zeitung»[29] удивил некогда людей, съездив в Берлин для того, чтобы видеть Бисмарка и «поцеловать рыжую кобылу», на которой тот был в битве, то наши дамы не уступали этому редактору в чувстве достоинства, и... сивый мерин тоже дождался такой же ласки, и притом не от мужчины... Вредных тяготений к чужеземщине, которых ожидал Катков, со стороны дам не встречалось, а наоборот, им стало нравиться все простое, не попорченное цивилизацией, даже прямо дикое.

Огромное множество людей вдруг почувствовали, что они были неосторожны и напрасно позволили духу времени увлечь себя слишком далеко: им было неловко, что они как будто выпятились вперед за черту, указанную благоразумием... Им стало стыдно и дико: что они, взаправду, за европейцы! Кто-то припомнил, что и Катков некогда говорил, что «нельзя насыпать на хвост соли Европе», но теперь уже ничто подобное не казалось убедительно. Нельзя насыпать соли — и не нужно; и пошли

повороты на попятный двор по всем линиям.

И тут случилось в спешке и суматохе, что кое-кого напрасно сбили с ног и позабыли то, чего не надо бы забывать. Забыли, какими мы явились в Крым неготовыми во всех отношениях и каким очистительным огнем прошла вся следовавшая затем «полоса покаяния»; забыли, в виду каких соображений император Александр II торопил и побуждал дворян делать «освобождение рабов сверху»\*; забыли даже кривосуд старых, закрытых судов, от которого страдали и стонали все. Забыли все так скоро и основательно, как никакой другой народ на свете не забывал своего горя, и еще насмеялись над всеми лучшими порядками, назвав их «припадком сумасшествия».

Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять «стена» и внутри ее — загон! С тех пор, как произошел этот кратко мною очерченный последний оборот, я уже не бывал ни в орловских, ни в пензенских, ни в украинских деревнях, а вертелся по балтийскому побережью. Пожил я здесь в разных местах, начиная от Нарвы до Полангена, и не нашел ничего лучше, как Меррекюль\*, выдерживающий свою старинную и почетную репутацию. Это именно тот первый пункт за Нарвою, где, по расчету Каткова, русские генеральши захотят сделать для себя «заграничное место». Здесь хорошо жить, потому что в Меррекюле очень красивое приморское положение, есть порядок, чистота, тихий образ жизни, множество разнообразных прогулок и изобилие русских генеральш. Очень любопытно видеть, что такое учреждают здесь теперь эти почтенные дамы, тяготевшие к чужим краям.

## VI

### Возвышенные порывы

О Меррекюле говорят, будто тут «чопорно»; но это, может быть, так было прежде, когда в русском обществе преобладала какая ни есть родовая знать. Тогда тут жила летом богатые люди из «знати», и они «тонировали». А теперь тут живут генералы и «крупные приказные» да немножко немцев и англичан, и тон Меррекюля стал мешаный и мутный.

Меррекюльские генералы, которые еще не вышли в тираж, находятся большею частью в составе каких-нибудь сильно действующих центральных учреждений, и потому они обыкновенно присутствуют шесть дней в столице, а в Меррекюль приезжают только по субботам. В течение шести будних дней в Меррекюле можно видеть только самых старых генералов, в которых столица уже не ощущает летом надобности, но они не делают лета и в Меррекюле. Украшают и оживляют место одни генеральши и их потомство — дети и внуки, которых они учат утирать носы, делать реверансы и молиться рукою. Между генеральшами одна напоминает мне преблагословенное время юности, когда у нее не было еще ни детей, ни внучат и сама она была легкомысленная чечетка. Да! Здесь она, которая когда-то крикнула «президента» и упала под стол.

Ее давний «петушок» теперь достиг уже всего, чего он мог достичь, и в нынешнем году выходит в тираж. Будущим летом они уже не будут жить в Меррекюле.

Мы едва узнали друг друга и, конечно, не много говорили о прошлом. Мы чувствуем, что мы стары и нам некстати вспоминать, какие мы были в то время, когда она упала под стол. Генеральша, по-видимому, желает поддерживать со мною знакомство, но так вежлива, что старается говорить всегда о таких вещах, которые мне неинтересны. Впрочем, иногда она говорит со мною о Толстом, которого она «похоронила для себя после Анны Карениной». Как он «пошел косить» — она ему сказала: «Прощай, батюшка!» Она на него, однако, «не нападает, как другие». «Зачем, нет! Пускай он себе

думает что хочет, но зачем он хочет это распространять. Это не его дело. Суворин\* его отлично... Он его почитает и обожает, а на предисловие к сонате\* отлично... Не за свое дело и не берись. Род человеческий кончаться не может... Суворин отлично!..» На эту тему генеральша неистощима навсегда сама себе равна: Суворина она ставит высоко: «il a une bonne tête»,[30] а Толстой «гениальный ум, но ce n'est pas sérieux, vous savez.[31] Толстому, по-моему, одного нельзя простить, что он прислугу и мужчин портит. Это расстраивает жизнь. У меня была честная, верная служанка — и вдруг просит: «Пожалуйста, не приказывайте мне никому говорить, что вас дома нет, когда вы дома: я этого не могу». — «Что за вздор такой!» — «Нет-с, говорит, это ложь — я лгать не хочу». И так и уперлась. Чтобы не давать дурного примера другим, я должна была ее отпустить, и только тогда узнала, что эта дурочка всё «посредственные книжки» читала\*. Но зато теперь у меня служанка, ох, какая лгунья! Каждое слово лжет и кофе крадет; но надо их почаще менять, и тогда они лучше. Другое дело мужчины: это самый беспутный и глупый народ на свете, и главное, что с ними нельзя так часто менять, как с прислугой. У них на уме то же самое, что было у нигилистов, — чтобы не давать содержания семейству; но это в таком роде не будет: все останется, как мы хотим». Не знает она основательно ничего, или, точнее сказать, знает только одни родословные и мастерски следит за тем, кто из известных лиц где живет и в каких с кем находится короткостях. Она считает себя благочестивой, и ее занимает распространение православия среди инородцев. Меррекюль чрезвычайно удобен для этого рода занятий: здесь есть православный храм, «маленький как игрушечка», много чухон или эстов, которые совсем не имеют настоящих понятий о вере. Среди них возможны большие успехи.

Прежде тут была только лютеранская каплица, построенная в лесу. Она и теперь на своем месте. Ее называют Waldkapelle.[32] Она вся из бревен и крыта лучиною; в ней есть орган и распятие да на вышке небольшой колокол. Ни внутри, ни снаружи нет никаких портативных драгоценностей. Перед капеллою расчищена полянка, посредине которой приютилась маленькая колонка. Это памятник Генту; а вокруг, под большими великолепными соснами, стоят скамейки, на которых любят сидеть охотники до поэтической тишины. Здесь прелестно читать, и этим пользуются немногие любители чтения, какие кое-где еще остаются. Хорошо здесь играть и в крокет, но это не позволено. На дорожках, ведущих к капелле, есть столбы с надписями: «Просят не играть в крокет у капеллы». По мнению немцев, дом молитвы надо удалить от шума: ему пристойна тишина. Няньки этим недовольны и приводят сюда генеральских детей, которые тщательно брыкают ногами в памятник покойного владельца Меррекюля и стараются оборвать окружающие цоколь цепи. Люди бурных инстинктов не найдут это место веселым; но многие говорят, что здесь им «хотелось молиться». Лет двадцать или больше назад сюда по некоторым особому рода обстоятельствам прибыл из Петербурга православный священник Александр Гумилевский\*. Он был человек молодой, горячий и мягкосердечный, с любовью к добру, но без большой выдержанности и последовательности. Он начал проповедовать и так увлекся своим маленьким успехом, что счел себя за Боссюэта\* и позабыл об Аскоченском, который тогда действовал в духе и силе нынешнего Мещерского\*. За это неосторожный бедняк был смещен из Петербурга в Нарву, где все чрезвычайно не нравилось и ему и его домашним.

Думали однако, что он еще дешево отделался и что ему могло бы достаться гораздо хуже; но митрополит Исидор\* не любил портить жизнь людям.

Вина же Гумилевского состояла в том, что он «увлекся духом христианина» и вообще был родствен по мыслям архимандриту Федору Бухареву\*, который все хотел примирить «православие с современностью», и достиг только того, что его стали называть «enfant terrible[33] православия». Аскоченский, как жрец, «заклал» его и «обонял воню его крови». Но архимандрит Бухарев был умнее и характернее Гумилевского, и притом он был одинок в то время, когда Аскоченский вонзил ему в грудь свой жертвенный нож и «бегал по стогнам с окровавленной мордой». Одиночество для борца — большое удобство!

В Нарве Гумилевскому приходилось терпеть и от своих и от чужих; а главное, здесь ему не перед кем было говорить свои экспромты. Русская публика в Нарве к этому не приучена, и жаждавший деятельности молодой и действительно добрый человек почувствовал себя лишенным самого дорогого и приятного занятия и начал было заниматься иным делом, но остановился. В Меррекюле он встретил знакомых петербургских генеральш и задумал с ними построить здесь «маленькую, но хорошенькую православную церковь». В ней добрый священник надеялся опять «расширить уста своя», так как он мог надеяться, что идоложертвенный Аскоченский имеет на кого метаться в Петербурге, и что будет сказано за Нарвою — он того не услышит. Можно будет говорить самые смелые вещи, вроде того, что все люди на свете имеют одного общего отца; что ни одна национальность не имеет основания и права унижать и обижать людей другой национальности; что нельзя молиться о мире, не почитая жизни в мире со всеми народами за долг и обязанность перед богом, и т. д. и т. д. Все это Гумилевский любил развивать в петербургском рождественском приходе и хотел пустить генеральшам в Меррекюле, что и было бы кстати.

Выбор места для русской церкви в Меррекюле был обдуман «с русской точки зрения». Церковь не хотели прятать, как Вальдкапеллу, а напротив — находили, что нужно «выдвинуть ее на вид». И потому ее построили при большой дороге, по которой ездят в Нарву на базар и к бойням, где режут животных на мясо. Церковь должна всем бросаться в глаза: через это кое-что может перепадать в кружку от прохожих и проезжих (последнее, однако, не оправдалось, но, может быть, только потому, что чухны очень расчетливы и скупы). Во внешней отделке русская церковь тоже превзошла Waldkapelle. Та хотя и привлекает своим *gemütlichkeit*'ом,[34] но лишена всякого блеска, и в ней даже украсть нечего. Нашу церковь покрыли белой жестью и раззолотили по кантам. «Золото заиграло на солнце», а ночью к алтарю храма протянул свою дерзкую руку вор и унес кое-какие ценности, которые ему попались под руку. Потом это повторилось и еще раз, а проповеди, в том духе, как предполагал Гумилевский, в этой «маленькой, но хорошенькой» церкви не последовало. Гумилевскому, который надеялся направлять курс нового корабля по-своему, не пришлось этого выполнить. Его пожалели и возвратили в Петербург в больничную церковь «напутствовать умирающих», которым он мог говорить что угодно, а они могли узнавать о пользе его внушений только в новом существовании. О проповеди в Меррекюле более не заботились. Меррекюльскую церковь приписали к собору в Нарве, откуда и до сих пор приезжают сюда священник и дьякон, служат вечерню и всенощную в субботу, а на другой день обедню, и опять уезжают в Нарву. Проповеди не бывает, но хлопот все-таки много, и все это стоит порядочных денег для ктиторской кассы\* крошечной церкви. Казалось, что доход мал оттого, что ко всенощным мало ходят, потому что в это время ходят гулять и слушать музыку. Позаботились, чтобы под праздник на Визе не играла музыка; но, однако, это немцам помешало, а церкви не помогло: гуляют и без музыки.

Попробовали показать великолепие и учредили крестные ходы из храма на Казанскую и на Спаса. Это произвело впечатление, так как таких религиозных церемоний здесь еще не видали; но эстам не разъяснили значения этих процессий, и они до сих пор называют это тоже «гуляньем». Ношение блестящих на солнце вещей из русского храма сделало только церковь предметом внимания воров, которые все думают, что там «гибель денег».

Явилась необходимость нанимать постоянного сторожа на целый год; но и при стороже воры опять приходили. Чтобы спасти соблазняющее их богатство, драгоценности стали увозить на зиму частью в Нарву в собор, частью к старосте, что тоже рискованно и не совсем законно. Но всего более изнуряет «доставка духовенства» к каждой службе, и чтобы избежать этого, нашли нужным построить в Меррекюле летнюю поповку.

Предприятие в этом роде показывает, что дела за Нарвой шли совсем не в том направлении, какое предсказывал Катков, и впереди это будет доказано еще ярче.

Постройка летней поповки в Меррекюле представляла затруднения: опасались, что свои собственные власти найдут это, пожалуй, излишним и не велят строить; но можно построить дом для школы, так, чтобы она была меньше школою, чем поповкою и сторожкою. Это сделали. Построили дом, вместимостью не меньше храма, покрыли его железом; даже загородили проходившую тут проезжую дорожку, чтобы ни конный, ни пеший не мешали делать что нужно, и вот что придумали: завести в этой русской школе такого учителя, чтобы он за одну учительскую плату был тоже церковным сторожем, а к стати также был бы летом звонарем, подметал бы церковь и ходил у дьякона, у батюшек и у старосты на посылках...

Такого учителя выражали желание достать для русской школы в Меррекюле, чем надеялись и достичь большой экономии и пристыдить чухон; но прежде чем успели в этом, пришел в «собрание прихожан» мясник Волков и заговорил для всех неучтиво и неласково, будто при постройке дома для меррекюльской поповки исконный враг наш дьявол смутил строителя так, что он и не мог хорошо различать своего от церковного; словом, возглашено знакомое слово «вор», и... пошло дело об обиде...

Сказались мы и здесь опять в своем виде и в своих правилах.

Но это еще дело провинциальных аборигенов: приезжие генеральши сделали для пропаганды гораздо больше.

## VII

### Апофеоз

Побережный житель Финского залива хотя и суеверен, но у него не тот жанр в суеверии, как у настоящего «твердо-земного» русского человека. Здешним много чего не дохватывает. У нас, например, есть блаженные и юродивые, а у здешних этого нет, и они даже считают людей подходящего к этому сорта за плутов или дураков. Отсюда совсем разные отношения к людям, и что у нас готовы признать за святость, — за то здесь гонят со двора. В Меррекюле, как он просиял на свете, никогда святых не было; однако дамы наши нашли здесь очень замечательного человека и дали ему славу.

Человека, о котором наступает речь, знали здесь с самого дня его рождения. Теперь ему было около шестидесяти шести или шестидесяти семи лет. Имя его Ефим Дмитриевич, а фамилия Волков. Он тут родился и здесь же в Меррекюле умер по закончании летнего сезона 1893 года. Всю свою жизнь

он пьянствовал и рассказывал о себе и о других разные вздоры. За это он пользовался репутацией человека «пустого». Местные жители не ставили его ни в грош и называли самыми дрянными именами.

О прошлом его приходилось слышать следующее. Лет до двадцати он висел на шее у родных и ничего не хотел работать; его сдали в пастухи, — он растерял или пропил овец; его представили барону, тот его наказал по праву вотчинника и оставил при дворе. Ефим снискал себе расположение домоправителя, которому сумел подслужиться, и быстро овладел секретом незаметно уносить и обратно вешать ключи от баронского погреба. Тут Ефим, или, как его эсты называли, «Мифим», перепробовал много дорогих вин. Занимался он этим комфортабельно: проводил целые ночи в погребах, а утром выходил, дополнив отпитые бутылки чем мог. На этом деле он и был взят на месте преступления и отдан в солдаты; но здесь «притворился безумным», отлично «выдержал испытание на сумасшедшего» и явился в Нарву. Сделавшись свободным человеком, Мифим сначала является в одном местном учреждении в должности «вышибайлы», но повел себя двусмысленно, и какой-то австралийский «кептен» сокрушил его так, что он стал хворать и не мог больше служить вышибайлом. Тогда он начал ходить по городу и питался Христовым именем.

С устройством православной церкви в Меррекюле Мифим усмотрел в этом повод занять здесь «привилегию нищенства» и «переехал на дачу». Сначала он обтекал всю линию: посещал дачников Гунгербурга, Шмецка и Меррекюля; знакомился, располагал к себе сердца состраданием, как к герою из-под Плевны\*. Он приставал к кому попало, и те, кто нравом помягче, давали ему двугривенные и гривенники, которые он тотчас же неукоснительно пропивал. Гардероб его всегда был самый нищенский: он всегда был полубос, без белья и одет в лохмотья. Репутацией скромного нищего он не дорожил, а предоставлял это другому русскому специалисту, Сереге. Мифим, напротив, бравировал своим дерзновением и любил держать себя «применительно к человеку». Молодым людям он предлагал услуги, пригодные для образования мимолетных знакомств; другим переносил вести, а третьим ворожил и «предсказывал будущность». Кроме того, Мифим лечил от порчи скот; но скоро прошел слух, что, прежде чем вылечить животное, он сам будто его портит. По этому поводу с Мифимом в лесу случилась неприятность, от которой он хромал и переселился в Шмецк. Здесь он нанял за шесть рублей в лето развалившуюся баню у кузнеца Карла Шмецкэ и жил там тихо и «на спокойе кашлял»... Но едва бог помог ему поправиться, он сейчас же опять делается полезным человеком и начинает указывать крестьянам, где они должны отыскивать уходящих с пастбища коней. Лошадь уйдет, и ее не могут найти, а Мифим погадает и говорит:

— Я ее вижу: она вот где!

Поведет хозяев через лес в болото и покажет, что их пропащая животины в самом деле «сидит» в топи и дожидается, чтобы ее вытащили.

Скотину вытащат, а Мифимке дадут за колдовство. Заработка от этих статей было бы достаточно; но крестьяне стали подозревать, что Мифим нечестно живет, — что он сначала сам загоняет скотину в болото, а потом приходит и отгадывает. И вот ему не только не стали давать обещанных за розыск денег, а погрозили его прибить. Четыре года тому назад, когда Мифим жил в Шмецке у кузнеца Карла Ивановича, подозрения против него ожесточились. У кузнеца была вувермановская (белая) лошадь\* с удивительно густым, пушистым хвостом. Звали ее «Талька». Лошадка была сытая, статная и удалой хватки. Она ходила утром по росе в кустах близ дома вместе с другою лошадкою, с

которою была очень дружна, и вдруг, когда ободняло и люди встали, — рыжая лошадка ходила в кустах, а вувермановской «Тальки» не было.

Увести ее не могли, — это было бы слишком дерзко; убежать она одна не могла, так как обе лошади были дружны... Всего вероятнее казалось, что «Тальку» кто-нибудь угнал.

Но куда? И где ее теперь держат?

Мифим взялся угадать, где лошадь, и потребовал за это три рубля; но ему денег не дали, а отправились в лесную глушь, в которой на днях кто-то встречал Мифима, — и «Талька» была здесь отыскана, затопленная в болото по самую шею... Животное совсем уже выбилось из сил: голова лошади вся была облеплена комарами и глаза заплыли от укусов; однако бедная «Талька» еще дышала и, услышав знакомые голоса людей, отвечала ржанием. Наложили доски и лошадь вытащили, а Мифим увидел, что это ему чем-то грозит, и сделал диверсию: он съехал от кузнеца и повернул все свое направление на другую статью.

До сих пор он держался «военной линии» и рассказывал о себе по секрету, что он через какое-то особенное дело стал вроде французской «Железной маски» или византийского «Вылезария»\*, а после истории с «Талькой» он начал набожно вздыхать, креститься и полушепотом спрашивать: «Позвольте узнать, что нынче в газетах стоит про отца Иоанна\* и где посещает теперь протосвятитель армии — Флотов?»

Особенно ему всегда нужно было знать: «где протосвятитель Флотов?» Но цель своей надобности он скрывал.

— Так, нужен он мне вот-вот всего на одну на минуточку, чтобы он на меня взглянул и я мог ему произнести всего одно слово, и тогда увидели бы, что я не Ефим, а может быть, — Эфир!

Моя знакомая генеральша подала повод к тому, что Мифим получил возможность причислить себя к «церковному штату».

Когда за генеральшею в церковь прошла ее собака и потом такой случай еще раз повторился, Мифимка предложил старосте свои услуги, чтобы ему стоять у дверей и «не пускать собак господ», а староста за это чтобы платил полтинник в месяц.

Предложение было принято, и Мифим пришел с хворостиною и прежде всего прогнал от храма трех нищих старух и стал у дверей. Таким образом он захватил себе «привилегию нищенства».

С этих пор он начал считать себя «членом штата» и стал оказывать приходу большие услуги.

Здесь водится такой обычай, что перед тем, как духовенство хочет идти со святыней, по дачам посылают «брандера», чтобы не получать отказов, а заблаговременно узнать: кто примет, а кто не примет?

Мифим «пошел брандером» и, идучи путем-дорогою, достиг к моей генеральше, и здесь его так развезло, что он открылся ей, будто он православный священник, который находится под ужасным несчастьем за то, что не своею волею повенчал совсем особенную свадьбу.

Генеральша как услышала об этой свадьбе, так и ахнула. То, о чем она узнала, еще никому не было известно.

Генеральша задыхалась от смешанных чувств, которые подняло в ней это открытие. И страх, и радость, и любопытство... все вместе ее совсем одурманило; и чтобы что-нибудь сделать, она бросилась к Мифимке с раскрытыми пригоршнями и завопила:

— Батюшка, благословите!

Мифим сумел ее благословить, а она поцеловала его руку.

Чтобы не оставаться одинокою при таком открытии, одна генеральша сообщила свой секрет другой, и дамы узнали, что Мифим есть самый удивительный «венчальный батюшка». Такой человек должен иметь дар помогать. А брачных надобностей так много.

У второй генеральши три взрослые дочери, и ни одна из них не выходит замуж, потому что все мужчины «подлецы» и «не женятся».

Вторая генеральша нашла, что Мифимкоцо благословение может быть им полезно; но Мифим обнаружил осторожность и не захотел благословлять девиц в доме, при прислуге, а велел вывести их в лес, к санным стогам, и у стогов благословил их и дал облобызать свои руки.

И что же? В следующую же зиму одна из этих генеральских дочерей неожиданно вышла замуж!

Число охотниц целовать Мифимкину руку после этого умножилось; к нему выводили девиц, и он их благословлял.

Но вот один из таких случаев благословения в лесу из-за стогов подглядели чухны, и не поняли, что это такое дамы делают с Мифимкою, и начали рассказывать:

— Тамы-то на него рестятся и ку ему риклятаются, а он таит та на ных мiется.[35]

Поблагословив дам прошлого сезона, Мифим в последних числах августа 1893 года пошел в винный погреб негоцианта Звонкова и, испив «до воли», закричал и переселился в вечность...

Одному лицу, которое с любопытством наблюдало духовную практику Мифимки, казалось, будто он не только благословляет дам и их дочерей, которым «бог долго судьбы не дает», но что он будто бы тоже исповедовал их у стогов и в бортищах\*; но сам Мифим энергически опровергал это, и я верю его отрицательству. Он был человек смелый и даже дерзкий, но осторожный и расчетливый: называться таинственным священником — «времен Лориса»\* и благословлять — это он мог, и я утвердительно могу говорить, что это он делал и считал это за неважное, потому что «не заедал чужого хлеба»; но исповедь совсем иная статья: это могло повредить Мифиму. Словом, хотя об этом говорили, но я уверен, что это неправда. Но, кажется, нет никакого сомнения, что Мифим оказывал дамам другие услуги, благоприятные для их видов.

Мне припоминается еще одна генеральша, большая, дебелая, тоже южной породы, с безгранично любящим материнским сердцем и с неукротимым воображением. У нее «блекла дочь», и мать виноватила в этом ее мужа, еще довольно молодого и, кажется, очень порядочного человека.

— Вообразите, — говорила она, — всего четыре года, как он женат на моей дочери, а уже манкирует жене.

Я ей ответил, что это, кажется, иногда и лучше.

Генеральша отвергла.

— Ну, нет, — извините! — воскликнула она. — Если вы это, может быть, по Толстому, то это так; но он напрасно расписывается за всех женщин. Может быть, такие и есть, как он высказывает, но для этого их надо было особенным образом изуродовать с детства. А моя дочь, как вы видите, это живая и полная жизни женщина, а не толстовка. О, она не толстовка! Нет, нет, нет — не толстовка! Ею манкировать нельзя, потому что она блекнет. Вы видите, какая она!.. Она и сама не понимает, что с нею делается, но она была цветок!.. Я это и понимаю, но что же я могу сделать? Ничего! Муж к ней невнимателен, и баста! И целая вещь! Таких негодяев теперь довольно много. Теперь, говорят, даже в природе что-то такое распространяется к тому, чтобы ничего не надо, и явилась такая порода



мужчин, в блузочках, и ножками стучат и сопят... Тогда и видно; но ведь человека, который одет как все, нельзя раньше знать! Не правда ли?

— Да.

— А какие-то ученые утверждают, что еще хуже будет. У образованных мужчин скоро совсем уж не будет детей. Переутомление. Вот ужас! Понимаете? Целую неделю он остается в Петербурге, а мы здесь, и он ничего не испытывает, а в субботу едет сюда и везет, болван, с собою в кармане новую книжку... Какое остолопство! Такие не должны жениться. Одна моя знакомая, которая была за учеными мужьями, и все они были дрянь, а теперь она вышла за казака, и говорит: «Поверьте, что настоящие мужья — это только казаки! Пусть все это знают!» Я и верю, потому что казак — это дичок, он еще не подвергался в школе переутомлению, и он всегда просто ест; у него желудок все варит, даже, прости господи, хоть сальную свечку, и он верхом, в движенье, — и ему хочется жить, и вот он ценит присутствие женщины... А эти еще по своей развращенности от служебных дел едут в шато-кабаки и пялят глаза на испанок и цыганок... Но тогда зачем жена?

Генеральша ударила себя обеими ладонями по выступам своего корсета и повторила:

— Забывают-с, что молодая жена хочет жить! Понимаете: она имеет право! Да; что ваш Толстой ни говори, а она имеет это право. И потому, когда мой зять вынимает из своего кармана волюм Zola или Bourget\*, я делаю над собою огромное усилие, чтобы не закатить ему плюху. Дурак и подлец! При цыганках небось не читает, а при жене читать!.. Свинья! Это только для того, чтобы не оставаться с глазу на глаз с совестью. А от этого бледность, от этого вялость и малокровие, и сужен, совсем уничтожен весь интерес к жизни... Это надо кончить! Зачем на бедных женщин кричать *adultère*?[36] Этого слова до Толстого не произносили! Если нельзя развода, то нужен *revanche*. [37]

— Берегитесь, это может услышать ваша дочь.

— И я желаю... Я ей это и говорю... Но она глупа... Или она, может быть, меня стесняется... Или она не понимает... не говорит!.. О, если бы эту мысль ей вложил человек... который мог бы ее успокоить, что это неважно... неважно... Потому что это неважно!..

И вот тут, может быть, Мифим кому-нибудь и помог... Он был не строг и мог все разрешить.

По крайней мере одной даме, которая имела к нему веру и «блекла от невнимания», Мифим сообщил решимость, воспоминание о которой вызывало розы на ее ланиты; а ее *таман* любовалась ею и шептала ей Деруледово слово:

— «Nitchevo!»\*

Генеральши про Мифима, вероятно, скоро забудут и найдут себе иного тамватурга; но чухны, которые хорошо знали, что за человек был их меррекюльский Мифим, «миются».

Административная грация

(*Zahme dressur*... [38] в жандармской аранжировке)

Оскверни беззаконие всю землю и наполнена суть дела их вредная.

В наши смрадные дни даже в тиши меррекюльских песков\* никуда не уйти от гримас и болячек родной политики: минувшим летом среди тамошних генеральш ужасно много было тревог и смущения из-за их «неопытных мальчиков». Так зовут одни из них своих сыночков, другие племянников, достаточно сомнительной марки, а третьи просто жולי-гарсонов\*, при взгляде на мощные плечи которых начинают согреваться пламенем былых страстей их увядшие сердца и потухающие взоры. Волнует генеральш то, что теперь опять стало беспокойно, и молодому человеку

легко так оступитья, что «этого потом и не поправить». Особенно трепыхали те, у кого их жолито-крошки учатся в Московском университете, откуда армянский просветитель России\* рукою властной изверг профессоров Муромцева\* и Ковалевского\*. Большинство «крошек» лекциям предпочитают катки, танцклассы, но задор требует отважного геройства, и когда начальство отняло этих «властителей дум», крошки стали волноваться, делать бетизы и этим огорчать генеральш. Одна из них волновалась особенно пылко и, тряся пучком фальшивых кудерок над подмазанным лобиком, взвизгивала:

— Я не стерпела и у *cousine Barbe* самому Михаилу Никифоровичу так и отрезала\*: *pas de zèle, pas de zèle*,\*[39] но он все боится, что нас от Европы отмежуют по Нарву, и только потирал руки, а путного ничего сказать так и не сумел...

Услыхав нападки на Каткова, отдохавший среди тех же меррекюльских песков директор гимназии с Волыни, не то из хорватов, не то из чехов, вскипел священным патриотизмом и восстал на защиту достолюбезного хорватским сердцам апостола от Страстного бульвара\* и, взвизгивая не хуже генеральши, стал кричать на нее, что она не понимает преуказаний державной политики, ради которой надо изъять не только Муромцева и Ковалевского, но и всех иже с ними.

— Корень зла да извержен будет, — вопил директор, вздымая к тусклому чухонскому небу свой тощий перст.

— Но это значит дразнить Европу, — вопила генеральша.

— И будем дразнить Европу, и будем, но зато не оставим дома нечисти и злоучений, — твердил директор.

Когда они, неистово споря, удалились от скамейки возле памятника, хранивший дотолле молчание сановник из весьма заслуженных презрительно поглядел им вслед и наставительно подвел итог их спору:

— И злоучений оставлять не след, но и дразнить Европу тоже не годится, а всему беда в том, что люди сегодняшнего дня не умеют вести свою линию аккуратно, рубят, может быть, и по нужному месту, но неловко, без грации. Вот как эти самые чехи на рояли играют: ни в одной ноте не сфальшивит, а того туше, каким вас Антон Григорьевич\* ласкает, у них ни за что не выходит...

— Так, ваше превосходительство, полагать изволите, — спросил кто-то сановника, — что и администрации туше необходимо?

— Всенепременнейше-с! И что прежде эту грацию администрация в политике соблюдать умела, поясню примером из своих личных опытов.

До того, как меня призвали в столицу, в состав высшего учреждения империи, правил я университетским городом на юге. Время было смутное. Турецкая война, черняевские добровольцы под аккомпанемент аксаковских юродств всех всколыхнули\*, и моего предшественника среди белого дня в самой людной части города в карете пристрелили\*. Мне такая участь не нравилась, и с первого же дня стал я зорко присматриваться, и вижу, что всей смуте центр и верхушка — университет и ветеринарный институт: студенты всё больше хохлы, пылкие, упрямые. Под масть им и профессора, которые молодежь и подзуживали, кто поглупей — явно, на лекциях, а кто похитрей — из-под полы, на гулянках да на вечерках. Особенно один трибун у них славился: и умница и оратор не хуже Гамбетты\*, так что стриженные дивули прямо его слободским Лассалем окрестили\* и всё ждали, когда же он их сомкнутыми рядами, как шпильгагенский Лео\*, поведет на «последний, решающий

бой».

Присмотрелся я к нему, собрал через жандармского полковника все, что знать полагалось, и вижу, что при нем у нас добра не будет. Решил с ним развязаться.

По прежней моей службе расправляться с ученым народом не приходилось, и сильно я задумывался, как бы мне по неопытности не наделать неловкостей, а нас еще в корпусе учили, что на каждую лошадь особый трензель\* приходится и что важнее всего знать, каким какую тянуть надо. Сижу раз в сумерки у камина и думаю, каким трензелем его подловить, и вдруг адъютант докладывает, что владыка пожаловал с визитом. Архиерей у меня был весьма тонкий, под крылом у московского Филарета\* возвращенный, и после благословения сразу же заметил мою задумчивость и спросил, в чем дело. Я ему все доверительно доложил — и про туземного Лассалья и про свои поиски трензеля на него. Владыка слушает, янтарные четки перебирает, а потом и спрашивает, не ввел ли я в свои мысли на сей счет учебное начальство. «Нет, — говорю, — вам, владыко святой, свои мысли первому открываю». — «Ну, — говорит, — тогда это дело очень просто, и предоставьте его моему смирению: наш ведь граф Дмитрий Андреевич\* и синод и учебную часть ведает и весьма одобряет, когда мы, духовные, и по учебному ведомству его не оставляем без оповещений. Вот на днях к великому празднику к нему с просфорой игумена посылать буду и при сей okazji письмецо насчет вашего Лассалья отправлю. Мой отец Исихий раб верный, а на почте все секретнейшие бумаги нигилистовы приспешники читают и разглашают. Пожалуйста ко мне на днях после вечерни чайку с липовым медом попить, а я к тому времени чернетку своего послания приготовить авось удосужусь».

Поблагодарил владыку, заехал к нему дня через три и к его изложению еще кой-какие узорчики подбавил, но в общем владыка все изобразил очень кстати, про меня ни слова, а смущает, мол, его архиерейскую совесть сей трибун аки лев, искай поглотити во вверенном его пастырскому жезлу стаде неразумных овец.

Повез письмо с просфорой отец Исихий, вернулся обратно, прошло еще месяца полтора, а сверху никакого внимания к Лассалю моему не заметно. Осведомился у учебного попечителя, который тоже к Новому году на невские берега прокатился. Оказывается, у него граф только осведомился, почему этого профессора во все общества председателем выбирают да на всех вечерах речи говорить просят. Вижу, стало быть, что владыкино письмо до графа дошло, но тем больше удивляюсь его бездействию и непринятию никаких мер по части «оздоровления корней», о котором и тогда уже Катков усердствовал. Решил: или наш Лассаль сильную руку в столице имеет, или правы те, кто вопит, будто «вожжи из рук выпущены». Так прошло среди неопределенности месяца два-три, как вдруг узнаю, что нежданно-негаданно Лассалья из председателей в самом что ни на есть передовом обществе скинули, а через неделю — из другого, а там и из третьего. И попечитель в удивлении доносит, что студенты его сперва на лекции в университете освистали, затем в ближайший же вечер в его домике все стекла в окнах побили; ума приложить не можем с ним: откуда такой ветер подул против Лассалья. В газете, где еще недавно каждую пустяковенную заметку его корпусом на самом видном месте печатали, вдруг от редакции заявление, что согласно единогласно выраженной воле сотрудников такой-то впредь участия не принимает...

Одним словом

Где стол был яств,  
там гроб стоит...\*

Так мы с попечителем пошутили державинским стишком, а гроб-то и приблизился: через неделю профессора нашли за городом на шоссе с простреленным виском и запиской, какую самоубийцы при себе на прощанье оставляют. На всякий случай распорядился, чтобы на похороны полицмейстер изготовил солидный караул, а на них, кроме старухи его няньки да двух старых сослуживцев, ни одна душа не явилась. Одним словом: «схоронили, позабыли...»

Похороны эти пришлось на великий четверг, а на светлую заутреню владыка в соборе, христосуясь, не без гордости шепнул: «Письмецо-то отец Исихий не зря свозил». Спорить с ним было в такую минуту некстати, но про себя подумал, что совсем напрасно архиерей письму приписывает то, что само собой к нашему взаимному удовольствию сложилось.

После пасхи весна и лето настали очень хлопотливые по политической части: и по нашим местам загудели те трезвоны, что в Липецке отразились совсем не комедией князя Шаховского, а весьма опасным делом\*, так что про самоубившегося Лассалья и думать забыл, целые дни и ночи за письменным столом сидя. Так за этими тревогами заработался, что и дочь и правитель канцелярии чуть не насильно выпроводили из дому проветриться. Про отпуск в то лето и думать было грешно, и чтобы отвязаться от них, решил разок взглянуть в цирк, благо полицмейстер все восторгался удивительной укротительницей львов, там выступавшей. Действительно, номер себя оправдал: и у самой укротительницы ноги в рейтузах весьма примечательные, и львов она укрощала со смелостью поразительной, так что потерянного вечера жалеть не приходилось. При выходе не мог не поделиться восторгом с жандармским полковником, которого тут же кстати по срочному делу к себе во дворец пригласил. Пока ехали, он и говорит:

— Весьма удивлен, что вашему превосходительству эта венгерка по вкусу пришлась. Правда, ноги сверхъестественные, но метода ее работы не должна бы, кажется, вам нравиться...

— Да какая же у нее метода?

— Изволили видеть, как она своих львов укрощала! Сколько порошу спалила на выстрелы, сколько хлопущек набросала, бичей обломала! Нам, людям военным, от этой стрельбы и прижиганий каленым железом по привычке одно удовольствие, но для штатских, а особенно дамских нервов, это одно обременение и мука едва ли стерпимая...

— А разве не все укротители так поступают?

— Далеко не все: у них есть две школы или методы: дикая — *wilde Dressur*, вот этим манером — огнем и железом, и ручная — *zahme Dressur*, по которой не только не полагается стрелять, но даже бичом только по воздуху хлопают для одной видимости, а между тем результаты достигаются самые блистательные: и звери слушаются, как шелковые, и в публике полное спокойствие и благодушие. В хороших цирках, например у Ренца в Вене, это варварство давно оставлено, и им только где-нибудь в Линце или в Кракове забавляют, где нет утонченного зрителя, а так как вы сами, ваше превосходительство, редчайший мастер и дока как раз *zahme Dressur*, то я полагал...

Но тут уж я не дал полковнику договорить и, ничего решительно не понимая, попросил указать, когда и в чем именно мог проявить свои укротительские таланты, да еще в определенном стиле и вкусе?

— А в деле с... — и тут полковник полностью назвал фамилию самоубившегося профессора. — Это ли не образец, и притом совершеннейший *zahme Dressur*?

Вижу, что человек хвалит меня совсем не по заслугам, прошу полковника подробно все изложить,

благо кони довели к тому времени до дворца, как обстояло это дело, показывая нарочно вид, будто не все подробности помню. По его рассказу дело оказалось куда тоньше, чем я предполагал. Тут впервые узнал я, что, по их ведомству, кто стоит во главе управлений в университетских городах, обязан при ежегодных поездках в Петербург являться к министру просвещения. Граф Дмитрий Андреевич помянул ему в общих чертах про письмо владыки и велел план действий на месте со владыкой же разработать и по его благословению осуществить. Как лютеранин, полковник затруднился о столь мирских делах беседовать с самим владыкой и, чтобы не отвлекать его от богомыслия, всю стратегию почерпнул все от того же отца Исихия, который на святках графу письмо с просфорой возил.

Прежде всего по их плану надо было узнать, кто в городе первый завистник и конкурент Лассалю. Узнавать тут собственно было нечего: весь город знал, как на того зуб точит Болеслав Конрадович Парасолька, адвокат первой марки, личность тоже очень светлая, но раньше он везде председательствовал и громаду презентировал, а с приездом профессора пришлось ему пересесть на второй план и отодвинуться, чего Парасолька терпеть не мог.

Вот эту самую светлую личность и вызвал полковник к себе в канцелярию. Тот, конечно, явился с лицом, точно в то утро оцет\*, а не кофе кушал, и как только началась их беседа, вестовой по договору с полковником вызвал его из кабинета. Жандармы еще со времен незабвенного Леонтия Васильевича Дубельта\* — образец деликатного поведения, и, уходя якобы на минутку, полковник очень извинялся перед Парасолькой. На самом деле он прошел к своей экономке выпить лишнюю чашку кофе, какую она обычно посылала в этот час в служебный кабинет с тем же вестовым. Кофе пил полковник не спеша, затем выкурил папирочку и, вернувшись после всего этого в кабинет к Парасольке, сугубо извинялся, ссылаясь на важнейшие дела по службе, но сразу же заметил, что гость ему простил бы отлучку и подлиннее: оцет его лица бесследно исчез под сиянием, каким блистал теперь весь его панский лик. Сведя причину вызова к какому-то совершенному пустяку, полковник очень скоро отпустил его с миром, и не успел еще Парасолька покинуть прихожей, как полковник немедленно бросил в камин ту бумагу, которая блистательно сослужила свою службу, про что ясно говорил лик Парасольки! Перед самым его входом полковник на полуслове оборвал черновик секретного рапорта в столицу с представлением об исходатайствовании в сверхсметном порядке денежного вознаграждения за особые услуги нашему профессору Лассалю, имя, отчество, фамилия, чин и адрес которого были поставлены вполне точно. Уходя за вестовым, полковник, будто по рассеянности, оставил бумагу на столе. Весь план был построен на расчете, что такого случая Парасолька не упустит и, оставшись наедине, слюбопытствует, не устояв перед соблазном прочесть бумагу, «исходящую от такого места». Лик Парасольки, сиявший восторгом, подтверждал, что расчет оправдался целиком и что ему на долю выпала высшая радость, доступная передовому интеллигенту: он узнал гадость про своего ближнего.

Бумажка эта, написанная как бы ради пробы чернил, без малейшего основания и желанья отсылать ее куда-либо, все свое назначение с уходом Парасольки выполнила, и ее надо было тут же сжечь. Тот же расчет учил, что Парасолька, подобно цирюльнику Мидаса, не станет зарывать в ямку свой секрет\*, а пустит его гулять по свету. Зная наше передовое общество, можно было рассчитать все действие так же верно, как опытный маркер слабым ударом кия гонит шар в намеченную лузу бильярда, какой и оказалась записка возле трупа на пригородном шоссе.

Полковник показывал вид, будто верит, что весь переданный ему лукавым монахом план и им только в точности осуществленный задуман был мной самим и в крайнем случае дополнен и разработан на совещании с владыкой. Вот это и есть, и притом высшей марки, образчик zahme Dressur в приложении к политической задаче: опаснейшего зверя окрутили и убрали, даже не заряжая пистолета, умилялся полковник, хваля этот номер и за то, что помимо своей прямой цели он оказался плодоносным, так сказать, по инерции.

— Наше общество всегда крепко задним умом, — продолжал полковник. — Парасольке поверили сразу вслепую, и только допустив похоронить своего вчерашнего бога так мизерно и скудно, бросились проверять основательность гнусного слуха. В канцелярии у полковника водились такие гнусные твари, которые, конечно, под его руководством кой-что показывали, конечно, за большую деньгу нигилистам, и теперь за внушительный куш они по исходящему журналу несомненно доказали, что никогда такой бумаги от них вовсе никуда и не посылалось. Это пригодилось и к тому, чтобы помешать возвеличению Парасольки, бросая на него довольно густую тень по части клеветы, и ему пришлось укатить навсегда на любезные шляхетскому сердцу берега Вислы.

Так одним ударом бича по воздуху, во-первых, убрали зверя, во-вторых, обезвредили «светлую личность» Парасольки, в-третьих, дали чиновникам полковника и заработать малую толику и оказать услугу нигилистам, что впутывало их в новые петли доверия, а главное — здесь администрация проявила настоящую грацию по своей части: ведь кто кушает даже самый жирный пирог или соус, при грации не нарушит белизны ни галстука, ни манжет, так и умелому администратору грация помогает самое неприятное дело развязать так, чтобы на его ведомстве не оказалось ни пятнышка, а вся грязь осталась на тарелке, то есть на самом же обществе.

— По сей день не знаю, — сказал сановник, подымаясь со скамейки, — был ли этот план намечен графом Дмитрием Андреевичем или целиком созрел в тиши монастырской келии нашего владыки, но уверен, что и эту историю с Муромцевым можно было так же мирно разрешить по методу zahme Dressur. Только для этого нужна забытая теперь грация административных приемов и нужно, чтобы армянский пастух русской молодежи или сам обладал умом графа Дмитрия, или обращался к таким умным и тонким помощникам, как мой владыка.

Зимний день

(Пейзаж и жанр)

Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью\*.

У Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят.

I

Зимний, северный день с небольшою оттепелью. Два часа. Рассвет не успел оглядеться, и опять смеркается.

В гостиной второй руки сидят за столом хозяйка и гостя. Хозяйка стара, и вид ее можно бы назвать почтенным, если бы на лице ее не отпечатлелось слишком много заботливости и искательности. Она зрела когда-то лучшие дни и еще не потеряла надежды их возвратить, но она не знает, что для этого надо сделать. Чтобы ничего не упустить, она готова быть всем на свете: это «сосуд», сформованный «в честь» и служащий ныне «сосудом в поношение». Гостя, которую застаем у этой хозяйки, тоже не молода. Во всяком случае она уже дожила до тех лет, когда можно отказаться от игры в чувства, но она, кажется, от этого еще не отказалась. Эта женщина, без сомнения, была замечательно хороша

собою, но теперь, когда она отцвела, от прежних красот остались только «боресты»; фигура ее, однако, еще гибка, и черты лица сохраняют правильность, а в выражении преобладает замечательная смешанность: то она смотрит тихую ланью, то вдруг эта лань взметнется брыкливою козой.

Бескорыстно увлекаться этою дамой уже нельзя, но, быть может, что-нибудь в этом роде еще возможно, если она поставит вопрос иначе. В своей манере держаться по отношению к солидной хозяйке гостя оттеняет что-то особенно теплое и почтительное, даже как бы дочернее, но эти дамы вовсе не родственницы. Их соединяет дружба, основанная не на одном согласии их вкусов, но и на единстве целей: их объединяет «métier».[40]

Теперь они пьют чай, который подан на гараховском сервизе, покрытом вязаным одеяльцем, и гостя сообщает хозяйке о том, что случилось замечательного, и о том, что «говорят». Говорят о соперничестве двух каких-то чудотворцев, а случилось нечто еще более интересное и достойное внимания: вчера совершенно неожиданно приехала из-за границы кузина Олимпия\*. Это известная особа, она с давних пор посвятила себя «вопросам» и постоянно живет в чужих краях; но когда она приезжает сюда, она привозит с собою кучу новостей и «делает оживление». Ее жизнь есть нечто удивительное: она не богата. О, совсем не богата! Она даже не имеет решительно никаких средств, но при всем том она ни у кого не занимает и не жалуется на свое положение, а еще приносит своей стране очень много пользы.

Таких дам теперь, слава богу, есть несколько, но Олимпия занимает между ними самое видное место. У нее большое и прекрасное родство. Она родственница и тем двум дамам, которые здесь о ней разговаривают. Во всех глазах Олимпия — величина очень большая, и все ей верят, несмотря на предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами. Домой, на родину, Олимпия навертывается всегда внезапно и на короткое время: придет, бросит взгляд, с одним, с другим повидается, «освежит ресурсы» и уедет снова. Многие говорят, что она очень талантлива, но, что еще важнее всего, она совершенно необходима.

Хозяйка на нее немножко недовольна и обращает внимание на то, как дует в окна. Кроме того, она сообщает, что Виктор Густавыч сожалеет еще, что Олимпия не хочет «ладить». Иначе она непременно стала бы очень необходима.

— Впрочем, это нимало не мешает Олимпии отлично себя держать, — заключает хозяйка, — так как Виктор, Густавыч сам ни в чем не уверен. Это немало значит.

Гостя глядит глазами лани и этим взглядом отвечает, что она согласна, причем делает маленькое движение брыкливой козы и взглядывает на шезлонг, помещающийся перед камином между трельяжем и экраном.

В стороне от дам, в очень глубоком кресле за трельяжем, полулежит, скрестив на груди руки и закрыв глаза, миловидная девушка лет двадцати трех или четырех. Она, по-видимому, совсем не интересуется тем, о чем говорят дамы: она устала и отдыхает, а может быть, она даже спит. Эта девушка — племянница хозяйки; родные называют ее просто Лидия, а чужие Лидия Павловна. Она нелюбима в своей семье, потому что ведет себя не так, как хочется матери и братьям. Братья ее — блестящие офицеры, и один из них уже дрался на дуэли. Лидия не в фаворе тоже и у тетки, которую она зашла теперь навестить в кои-то веки, но и то не скрыла, что чувствует себя здесь не на своем месте.

Хозяйка посмотрела на Лидию и сказала:

— Она спит. Впрочем, — добавила она, — если б она и не спала, это ей все равно: она нимало не интересуется обществом. Что не касается их курсов, того ей и не надо. Но Олимпия, в которой я не отрицаю ее ума и связей, все-таки очень шлепнулась с тех пор, как она в свой прошлый приезд хотела развести историю с этими высеченными болгарами. Помните, какая тогда с этим было вышла чепуха. Они тогда прознали, что она едет, и сами наехали сюда в большом множестве и все рассказывали, что у них будто бы уже всех секут и что их самих будто тоже всех высекли. Олимпия хотела этим воспользоваться, но увлеклась, и когда с ней спорили, что они хвастаются, то она уверяла, что их будто здесь осматривали в какой-то редакции, я потом, чтобы поднять их значение, она хотела нарочно открыть с ними бал, но тогда стали говорить, что иностранки, пожалуй, не пойдут, потому что, знаете, с сечеными ведь некоторые не танцуют.

— Я помню это. И, как хотите, танцевать с сечеными... Это... это очень необыкновенно!

— Ну да! — продолжала хозяйка, — а после кто-то проведал, что это даже и затевать не надобно, потому что эти господа будто сами себя здесь секут в каком-то переулке, для того чтобы им удобнее было привлечь внимание... Говорили, что Олимпия будто это и знала... Это бог весть что такое!.. А потом опять оказалось, будто и это неправда, потому что в переулке их хоть и секли, но совсем не для этого, а их так лечил какой-то их компатриот\*, вроде массажа... Бог уж их знает, как и разобрать, что правда и что неправда.

— Да, это вышла какая-то путаница, в которой нельзя было ничего разобрать, кроме того, что их секли там и секли здесь.

— Вот именно — разгордыж! И это повело к большой потере, потому что брат Лука рассердился и не только перестал давать денег на славянство, а даже не захотел и слушать. Он ведь, знаете, как осел упрям и прямо сказал: «Все обман!» — и не велел пускать к себе не только славян, а и самое Олимпию, и послал ей в насмешку перо.

— Какое перо?

— Не знаю какое, — говорили, будто сорочье перо, в шапочку.

— Да разве?

— Конечно! Вот, дескать, тебе, сорока, летай, и теперь никого не принимает.

— На каком это основании Лука Семеныч так дорого ценит свои приемы?

— Богат и ни у кого ничего не ищет, — вот и может не принимать, кого не хочет видеть.

— Но ведь у него никакого другого влияния и нет?

— Никакого. Но все боятся, что он их не примет.

Гостья понизила тон и спросила:

— Вы у него этой зимой были?

Хозяйка сделала отрицательный знак и проговорила:

— Он слишком колок.

— И Аркадий тоже, кажется, у него не бывает?

— Ни Аркадий, ни Валерий: он моих обоих сыновей ненавидит.

— Сварливый старик! Кого же он, однако, теперь принимает?

— Из всех родных к нему теперь захожи только двое: брат Захар и вот она — Лида.

Гостья кивнула головой на трельяж и улыбнулась.

— Что он принимает Лидию Павловну — это я понимаю. Не принимать людей с весом и значением



и ласкать племянницу-фельдшерицу, которая идет наперекор общественным традициям, — это в его вкусе. Так Лука Семеныч манкирует тем, кто желал бы быть у него принят. Но почему из всех родных второе исключение предоставлено Захару Семенычу? Наш милый генерал такой же, как и все мы, бедный грешник.

— Старик Захарушку щадит: «Он, говорит, наш брат Захар, наказан в сытость за якшательство с дурными людьми. Пусть бог простит, что он себе устроил».

— Ах, вот что!

Девушка за трельяжем пошевелилась. Дамы это заметили, и гостья, улыбнувшись, промолвила тихо:

— Неужели она опять уснет?

— Наверное, — отвечала хозяйка. — Она так повсеместно: придет, поспит и побежит в свою вонючку «совершать свое дело — потрошить чье-то мертвое тело»\*. Но, однако, надо сказать, что Бертенсон\* их отлично держит в руках, особенно с тех пор, как они его огорчили.

— Но ведь и он их потом проучил...

— Это правда, но они все-таки от него много терпят.

— Но отчего же Лидии Павловне дома не спать?

— Хаос в семье, все друг другу не нравятся, ей неприятно слышать, что говорят ее братья о гиппических конкурсах\* и дуэлях, а тем неприятно, что она потрошит мертвое тело, да и матери неприятно слышать, чем она занята, вот и идет весь дом — кто в лес, кто по дрова... Но зато брат Лука ее очень ласкает и даже посылает ей цветы в вонючку.

Гостья кивнула на спящую и тихо спросила:

— Она ведь скоро кончит и будет фельдшеричка?

— Да.

— Мне помнится, она еще давно как будто бы училась перевязкам?

— Ах, ее ученьям несть конца: и гимназия, и педагогия, и высшие курсы — все пройдено, и серьги из ушей вынуты, и корсет снят, и ходит девица во всей простоте.

— По-толстовски?

— Мм... Ну, к Толстому, знаете... молодежь к нему теперь уже совсем охладевает. Я говорила всегда, что это так и будет, и нечего бояться: «не так страшен черт, как его малютки»\*.

Гостья улыбнулась и заметила:

— Это правда: он надоел своей моралью, но ведь было время, что вы не держались этой пословицы, а раньше и сами к нему были пристрастны.

— Я? Да, я переменялась, и я этого и не скрываю. Я всегда очень любила чтение и тогда во всех отношениях была за Толстого. Его Наташа, например! Да разве это не прелесть? Это был мой идол и мое божество! И это так увлекательно, что я не заметила, где там излит этот весь его крайний реализм — про эти пеленки с детскими пятнами\*. Что же такое? Дети мараются. Без этого им нельзя, и это не производило на меня ничего отвратительного, как на прочих. Или вспомните потом, как у него описан этот Александр Первый.

— Как же! Он одевается?

— Да. Помните, как он пристегивает помочи?\*

— Ах, это божественно!

— Да; но разве там только одни помечи? Ведь он перед вами тут же весь, как живой!.. Я его вижу, я

его чувствую!..

— Тоже очень хорош и Наполеон с его темными глазами.

— У Наполеона были серые глаза.

— Но они давали такое впечатление...

— Об этом не спорю; в этом во всем Толстой несравненен. Тут нет и спора, но когда он заумничался, бросил свое дело и стал писать глупости, вроде того, чтобы запрещать людям есть мясо и чтобы никто не женился, а девушки чтобы зашивались по шею и не выходили замуж, то я сразу же прямо сказала: это вздор! Тогда лучше всех свести к скопцам, и конец, но я, как православная, я не хочу быть на его стороне.

Тут гостья тихо заметила, что Толстой собственно никогда никому не запрещал есть мясо и, кажется, говорил, что иным даже надо жениться.

— Да, я знаю, что собственно он еще ничего не запрещал, но, однако, для чего он об этом писал так сильно-державно?

— Да, он, конечно, писал очень смело, но собственно он, слава богу, у нас еще даже не имеет и права ничего запретить.

— Конечно, слава богу! Но для чего он все это одно только и твердит? Вот это зачем? Он убеждает, что злых не надо обижать, или просто доказывает, что без веры нельзя служить, и все это очень мило, но вдруг сорвется и опять начинает писать глупости: например, зачем мыло? Ну, скажите на милость: он не знает, зачем мыло! Позвольте, но как же без мыла: как мыть руки, голову и, наконец, белье? В золе его, что ли, золить? Но, однако, я бы ему еще и это простила за его прежнее. По совести говоря, все мужчины глупы, когда берутся не за свое дело; но мало ли что говорится! Не всякое же лыко в строку: вольному воля, а спаси нас рай\*. То же и о мясе. Кто любит рыбное или мучное, пусть и не ест мяса. Какая форма правления ни будь, а к этому нигде и никто никого не принуждает... Сделайте милость! Еще, может быть, от этого для нас филейная вырезка дешевле будет. Не правда ли?

— Конечно.

— Ну, то-то и есть! Все равно и те, кто не хочет жениться или которые не хотят замуж выходить, — они пусть так и остаются, как им угодно. Ведь о них и в евангелии сказано: «суть скопцы...»

Понимаете, это безумцы!

Гостья сделала согласный знак головой.

— У моих сыновей, когда они были мальчики, — продолжала хозяйка, — был репетитор из академистов, очень честолюбивый, но смешной, и все собирался в монахи, а когда мы ему говорили: «Вы, monsieur, лучше женитесь!» — так он на это прямо отвечал: «Не вижу надобности».

Дама слегка полуоборотилась к трельяжу и сказала:

— Лидия, ты проснулась или спишь еще?

— Да, ma tante, — ответил полусонный контрабльто.

— То есть что же это значит: ты выспалась или ты еще спишь?

— Вы, ma tante, вероятно, хотите говорить о чем-нибудь, чего я не должна понимать, и хотите, чтоб я вышла?

— Я хотела бы, чтобы ты вышла, но только не из комнаты, а вышла бы, наконец, замуж.

— А я тоже спрошу вас, как ваш семинарист: «для какой надобности?»

— А вот хотя бы для той надобности, чтобы при тебе можно было обо всем говорить, не стесняясь твоим присутствием.

— Да мне кажется, вы и так не стесняетесь.

— Ну, нет!

— Значит, я еще мало знаю; но считайте, что я замужем и знаю все, что вам известно.

— Послушайте, пожалуйста, что она говорит на себя! Но я вам что-то хотела сказать... Ах да!.. Вы ведь, наверное, слышали, что все рассказывали о том, как к графу приехал будто один родной, какой-то гусар, в своей форме, все в обтяжку, а он будто взял и подвязал ему нянькин фартук, а иначе он не хотел его пустить в салон.\*

— Да, об этом говорили... и, говорят, это правда.

— Ну да! И если хотите, по-моему, гусарская форма в самом деле... не совсем скромно.

— Да, но очень красиво!

— Красиво — да. Но и этот фартук, ведь это тоже дерзость! Гусар — и в фартуке! Но вот чего ему еще больше нельзя простить, это его несносная пронизательность. От нее общественный вред.

— Вот, вот! Конечно, вред обществу нельзя позволить. Я слушаю, в чем вы видите это дело?

II

— А дело в том, что по какому праву господин граф портит нашу прислугу? Если он себя приучил, чтобы все за собою прибирать, то это для него и преудобно; но мы к этому пока еще ведь не стремимся. Не так ли?

— Конечно.

— Так для чего же он навязывает нам невозможную жизнь панибратства с прислугой, которая и груба и порочна?

— Это глупо.

— Конечно, глупо! Я внушила Аркадию, чтоб он сделал это в смешные стихи и прочитал. Вы знаете, его талант в свете ведь очень многим нравится.

— Да, это все говорят, и он такой искательный... О, он пойдет!

— Может быть, и даже вероятно; но о будущем нельзя так судить: будущее, как говорят, «в руках всемогущего бога». Только, конечно, ему в его успехе очень много помогает его симпатичный талант. Второй мой сын, Валерий, совсем иной: это практик!

— О, разумеется! — отвечала, немного смутившись, гостя и торопливо повернула вопрос в другую сторону. — В чем же именно Толстой портит с прислугой? — спросила она.

— Извольте! — отвечала хозяйка. — Мы будем говорить о прислуге как настоящие чиновницы, но это не пустой вопрос: о прислуге говорит Шопенгауер\*. Прислуга может вас успокоить и может расстроить. Я вам не буду приводить всех толстовских рацей\* о прислуге, а прямо дам вам готовую иллюстрацию, как это отражается. У меня вышло расстройство с моею камеристкой... Лидия мешает вам все рассказать, но я не могу утерпеть и кое-что расскажу.

— Пожалуйста, ma tante, говорите все, что хотите! — отозвалась девушка. — Я сейчас вот досплю последний кусочек и уйду.

— Коротко скажу, — продолжала хозяйка, — пришлось перед праздником негодницу прогнать. Ну, а перед праздниками, вы знаете, каков наш народ и как трудно найти хорошую смену. Все жадны, все ждут подарков, а любви к господам у них — никакой. На русский народ очень хорошо смотреть

издали, особенно когда он молится и верит. Вот, например, у Репина, в «Крестном ходе»\*, где, помните, изображено, как собрались все эти сословные старшины...

— Да; или акварель Петра Соколова...

— Да, но тут немножко много синей краски.

— Это правда: он переложил.

— Наши художники вообще не знают меры.

— Да, но ведь все дело в впечатлении... А у меня, — вы знаете ее, — есть одна знакомая: мы все зовем ее «апостолица». Наверное, знаете!

— Конечно, знаю: вы говорите о Marie?

— О ней. Теперь есть несколько подобных ей печальниц, но эту я с другими не сравню. Эта на других не похожа, и притом она уже относится к доисторическим временам, когда еще все мы говорили по-французски, и не было в моде ни Засецкой, ни Пейкер, и даже еще сам Редсток не приезжал... Ух, какая старина! Василий Пашков был еще в военном, а Модест Корф обеими руками крестился и при всех в соборе молебны служил в камергерском мундире. А что до Алексея Павловича Бобринского\*, так он тогда был еще совсем воин галицкий и так кричал, что окна в министерстве дрожали. Сережа Кушелев даже очень мило нарисовал все это в карикатуре и возил всем показывать, и все очень смеялись.

— Я все это помню.

— Да, это ведь несправедливость, что будто Толстой завел моду ходить пешком и трудиться: Marie это раньше всех, первая стала делать. Она и полы сама мыла и выносила все за больными до гадости. Даже она несколько раз ходила с Николаем Андреевичем в портерные, хотела спасти там каких-то несчастных девчонок, которые их же и просмеяли... Конечно, нельзя же их всех спасти — это глупость: они необходимы, но все-таки со стороны Marie было доброе желание... а как в полиции тогда был Анненков\*, то он все уладил, и скандала не вышло.

— Я помню: это смешно рассказывали.

— О, это было преинтересно, но все равно Marie и теперь такая же осталась: «мать Софья и о всех сохнет». Она ни Редстока не ревновала к богу, ни Пашкова, и Толстого теперь не ревнует: ей как будто они все сродни, а о самой о ней иначе нельзя сказать, как то, что хотя она и сектантка и заблудшая овца, а все-таки в ней очень много доброты и жалости к людям. Это лучше всей ее веры.

— Ах, кажется это так!

— Конечно, что же их вера? Ведь очень многие эти девочки совершенно жалки: мужчины их сманят с собой и бросят... Помните, как это сделал Бертон? Увез, бросил, и живи как хочешь; а Marie проводит всю жизнь в заботах о ком-нибудь. Если хотите найти сердечного человека, идите к ней: у нее всегда есть запас людей «униженных и оскорбленных». Я к ней и обратилась с просьбой порекомендовать мне скромную и правдивую девушку, чтобы не было в доме дурного примера и фальши. Главное, чтобы не было фальши, так как я фальшь ненавижу. А Marie даже обрадовалась. «Ах, как мне приятно слышать, говорит, ваше рассуждение! Ложь — это порок, которым сатана начал порчу человека. Он ведь обманул Еву?» Да, да, да, думаю; ты очень начитана, но ты это далеко берешь о прародителях и о сатане, а я тебя просто прошу о горничной девушке.

«Ну да, есть и такая! — отвечает Marie, — у меня теперь приютилась в ожидании места как раз такая превосходная девушка».

«Не притворщица и не побегушка?»

«О, как можно! Она христианка!»

«Да ведь у нас все крещеные и даже православные, но нравы и правила у всех ужасные».

«Нет, что вы: у христиан прекрасные правила! Притом это девушка, которая всегда занята, работает и читает «посредственные книжки».

«Ага, значит, она толстовка! Ну, ничего: я всякие утопии ненавижу, но прислуге вперять непротивление злу, по-моему, даже прекрасно. Давайте мне вашу непротивленку! Я ее буду отпускать к молению. Где они собираются молиться? Или они совсем не молятся?»

«Не знаю, говорит: это дело совести, об этом не надо спрашивать».

«Конечно, мне бог с ней, как она хочет. Но как ее звать?»

«Федорушка».

«Ай, какое неблагозвучное имя!»

«Отчего же? Очень хорошо! Вы зовите ее Феодора, или даже Theodora. Чего же лучше?»

«Нет, это театрально, я буду звать ее Катя».

«Зачем же?»

«Ну, это, говорю, у меня такой порядок».

Marie не стала возражать и прислала мне свою непротивленку, и вообразите, девушка мне очень понравилась, и я ее наняла.

— Почему? — спросила гостя.

— Семь рублей в месяц.

— Как очень дешево.

— Да. Но она больше и не требовала. Она сама даже совсем ничего не просила, а сказала: «Сколько буду стоить, столько и положите». Я и назначила. Но позвольте, это ведь не в том дело; а она мне тогда очень понравилась, потому что действительно она выглядела этакая опрятная и скромная. А я, признаться, когда услышала, что она непротивленка, то я опасалась за ее опрятность, так как в ихних книжках ведь есть против мыла, и я помню, няня читала, как на одну святую бросился бесстыжий мурын, но как она никогда мылом не мылась, то этот фоблаз от нее так и отскочил.\*

— Это ужасно!

— Да, все другие подверглись, а она нет; но я решительно не понимаю, неужели Толстой из-за этого против мыла?

— Ах, нет же! Вы разве забыли, из чего мыло сгущают?

— Из мясного сока.

— Ну вот и разгадка.

— Тетя! — отозвалась из-за трельяжа девушка. — Ну как вам это не стыдно говорить такие вздоры?

— А что такое?

— Из мяса мыла не варят, и притом очень много мыла делают не из животных, а из растительных жиров. Наконец есть яичное мыло, которое вы и покупаете.

— Ах, правда, правда! Точно, есть яичное мыло. Это в Казани, где был губернатор Скарятин\*; но я его теперь не покупаю. Долго покупала и очень им мылась, но с тех пор, когда был шах персидский\* и я узнала, что он этим мылом себе ноги моет, мне стало неприятно, и я его больше не покупаю.

— Охота была вам об этом и знать!

— Ну, отчего? Нас в институтах такой гордости не учили. И, по-моему, лучше интересоваться такими особами, чем неумойками. Я ведь помню, когда Аркадий оканчивал курс, тогда его посещали разные, и приходили и эти непротивленыши, и все они были в этой ихней форме, тусклые и в нечищенных сапогах.

— Ужасные «малютки»! — сказала гостья.

— Да, какие-то они... все с курдючками. Подпояшутся, и сзади непременно у них делается курдючок, а лапки без калош — и натопчут. Это неопрятность! Но девушка-непротивленка ко мне пришла совсем в опрятном виде и работала превосходно, но в практической жизни все-таки она оказалась невозможна.

— Почему же?

— Да, да, да! В практической жизни много сторон, и она мне оказалась хуже всех противленок!

— Появился какой-нибудь непротивленыш?

— Куда там! Нет! Просто не отгадаете!

III

— Начну хоть с пустяков: пробегаю я ее паспорт и наталкиваюсь опять на то, что там стоит имя Федора. Я говорю ей:

«Моя милая, мне твое имя не нравится (я не люблю говорить людям вы), я буду звать тебя Катей». И она сразу же отвечает рассуждением: «Если вам так угодно, чтобы в вашем доме служанка называлась иначе, то мне это все равно: это обычаи человеческие!»

— Как это смешно!

— Ужасно смешно. «Обычаи человеческие»... А то еще у них есть «непосредственные обязанности к богу». Но я сама из деревенских барышень и люблю иногда с прислугой поразговаривать. Я и говорю: «Я буду звать тебя Катей, и ты должна откликаться». Отвечает: «Слушаю-с!» — «И еще, говорю, я тебе забыла сказать, что к твоим обязанностям тоже должно относиться, чтобы ты помогала кухарке убирать посуду и подтирала мокрою тряпкой крашенные полы в дальних комнатах». Но что же-с, полы она подтирала и мне на мой зов «Катей» откликалась, а если кто из моих знакомых ее спросит, как ее имя, она всем упорно отвечает: «Федора». Я ей говорю: «Послушай, моя милая! Ведь тебе же сказано и ты должна помнить, что ты теперь Катя! Зачем же ты противоречишь?» А она начинает резонировать: «Я, говорит, сударыня, на ваше приказание откликаюсь, так как вы сказали, что это такой порядок в вашем доме, и мне это не вредит: но сама я лгать не могу...» — «Что за вздор!» — «Нет, говорит, я лгать не могу, — мне это вредит».

— Какова штучка! — воскликнула гостья. — Она себе вредить не желает!

— О, не желает!.. Да ведь еще и как!.. Это что-то пунктуальное, что-то узкое и упрямое, как сам Мартын Иванович Лютер\*. Ах, как я не люблю это сухое лютеранство! И как хорошо, что теперь за них у нас взялись. Я спрашиваю:

«Какой тебе вред? Живот, что ли, у тебя заболит или голова?»

«Нет, говорит, живот, может быть, не заболит, но есть вещи, которые важнее живота и головы».

«Что же это именно?»

«Душа человека. Я желаю иметь мою совесть всегда в порядке».

— Ведь это шпилька-с!

— Это прямо дерзость!

— Да; но, как брат Захар говорит, «хотя это и неприятно, но после благословенного девятнадцатого февраля\* — это неизбежно».

— Да, после этого февраля мы у них в руках.

— Особенно перед самым праздником. Нельзя же самим стать у своих дверей и объявлять визитерам, что нас дома нет. До этого еще вообще не дошло, но между тем непротивленская малютка это-то именно у меня и устроила.

— Да что вы?

— Факт-с!

— Право, вся надежда на градоначальника.

— Да, он их возьмет — «руки назад». В праздник я ей толком растолковала: «Катя, будут гости, ты должна всем говорить, что я дома и принимаю». И она принимала; но потом приехал Виктор Густавыч. Вы знаете, человек с его положением и в его силе, а у меня два сына, и оба несходного характера: Аркадий — это совершенная рохля, а Валерий, вы его знаете, — живчик. Очень понятно, что я о них забочусь, и я хотела с ним немножко поговорить о Валерии, который не попал за Аркадием, а попал в этот... университет и в будущем году кончит, без связей и без ничего... Гостья сделала едва заметное движение.

— И вот я посадила Виктора Густавыча, подбегаю к ней и говорю: «Катя, а теперь если кто приедет, ты должна говорить: я уехала и что меня нет дома». Кажется, всякая дура может это понять и исполнить!

— Что же тут не исполнить!

— Да, самое обыкновенное. А она, вообразите, всем так и говорила, что «я ей приказала говорить, что я уехала и меня дома нет!»

— Ах ты боже мой! — воскликнула гостья и расхохоталась.

— Но вы представьте себе, что и все точно также, как вы, на это только смеялись, а никто не обиделся, потому что ведь все же прекрасно знают, что всегда в этих случаях лгут... Это так принято... Но молодежь стала мне говорить: «Ma tante, ваша непротивленка, кажется, очень большая дура». Но я верно поняла, что это действует ее вера, и я разъяснила всем, что это из нее торчит граф Толстой и сильно-державно показывает всем образованным людям свой огромный шиш. «Никаких-де визитов не надо! Всё это глупости: лошадям хвосты трепать не для чего, а когда вам нужен моцион — мойте полы».

— Без мыла?

— Да, совершенно так просто!

— Но как же вы после этого сделали с непротивленкой?

— Я с ней объяснилась; я ей сказала: «Ты обдумай, тебя мне рекомендовали как очень хорошую девушку и христианку, а ты очень хитрая и упорная натура. Что это за выходка с твоей стороны, чтобы выдать меня за лгунью?» А она простодушно извиняется:

«Я не могла сказать иначе».

«Отчего-о-о? Бедная ты, помраченная голова! Отчего-о ты не могла сказать иначе?»

«Потому что вы были дома».

«Ну так и что за беда?»

«Я бы солгала».

«Ну что же такое, если бы ты немножко и солгала?»

«Я нисколько лгать не могу».

«Нисколько?»

«Нисколько».

«Но ведь ты служишь! Ты нанимаешься, ты получаешь жалованье!.. Для чего ты с такими фантазиями нанимаешься на место?»

«Я нанимаюсь делать работу, а не лгать; лгать я не могу».

С каких сторон с ней ни заговори, она все дойдет до своего «я лгать не могу» и станет.

— Какая узость, узость!

— Страшно! «Да ведь надо же, говорю, уметь отличать, что есть такая ложь, какой нельзя, а есть такая, которую сказать можно. Спроси у всякого батюшки».

«Нет, нет, нет! — отвечает, — я не хочу этого различать: бог с ними, я не буду их и спрашивать. В евангелии об этом ничего не сказано, чтоб отличать. Что неправда, то все ложь, — христиане ничего не должны лгать».

— Вот я тут и вспомнила, что когда я ее нанимала, я думала, что в прислуге и вообще в низшем классе «непротивление» годится и не мешает, и даже, может быть, им оно и полезно, но и это вышло совсем не так! Вышло, что и здесь оно не годится и что этому везде надо противодействовать!

IV

Хозяйка сдвинула серьезно брови и сказала, что она говорила о такой «заносчивости» с батюшкой, и тот ей разъяснил, что это «плод свободного, личного понимания».

— Да, но какая же свобода, когда это все ужасно узко? — вставила с ученым видом гостья.

— Я с вами и согласна, и, кроме того, не все для всех хорошо.

Хозяйка постучала с угрозой по столу рукой, на пальцах которой запрыгали кольца с бирюзой, и продолжала:

— Я ведь очень помню, когда были в славе Европеус\* и Унковский\*. Это было совсем не нынешнее время, и тогда случилось раз, что мы вместе в одном доме ужинали, и туда кто-то привел Шевченку... Помните, хохол... он что-то нашалил и много вытерпел; и он тут вдруг выпил вина и хватил за ужином такой экспромт, что никто не знал, куда деть глаза. Насилу кто-то прекрасно нашелся и сказал: «Поверьте, что хорошо для немногих, то совсем может не годиться для всех». И это всех спасло, хотя после узнали, что это еще раньше сказал Пушкин, которому Шевченко совсем не чета.

— Ну, еще бы стал говорить этак Пушкин!..

— Конечно, он бы не стал, — перебила хозяйка, — он жил в обществе, и декабристы знали, что с ним нельзя затевать. А Шевченко со всеми якшался, и бог его знает, если даже и правда, что Перовский сам велел наказать его по-военному, то ведь тогда же было такое время: он был солдат — его и высекли, и это так следовало. А Пушкин умел и это оттенить, когда сказал: «Что прекрасно для Лондона, то не годится в Москве»\*. И как он сказал, так это и остается: «В Лондоне хорошо, а в Москве не годится».

— В Москве теперь уже никого и нет... Катков умер.

За трельяжем послышался сдержанный смех.

— Что вам смешно, Лида?



— «Катков умер». Вы это сказали так, как будто хотели сказать: «Умер великий Пан».

— А вы на это «сверкнули», как Диана.

— Я не помню, как сверкала Диана.

— А это так красиво!

— Не знаю уж, куда и деться от всякой красоты! Я впрочем помню, что Диана покровительствовала плебеям и рабам и что у нее жрецом был беглый раб, убивший жреца, а сама она была девушка, но помогала другим в родах. Это прекрасно.

— Прекрасно!

А хозяйка покачала головою и заметила:

— Ты совершенно без стыда.

— Со стыдом, ma tante!

— Так что ж ты говоришь! Чего ж ты хочешь?

— Хочу, чтоб девушки не скучали в своем девичестве от безделья и помогали тем, кому тяжело.

— Но для чего же в родах?

— Да именно и в родах, потому что это ужасно, и множество женщин мучаются без всякой помощи, а барышни играют глазками. Пусть они помогают другим и сами посмотрятся, что их ожидает, когда они перестанут блюсти себя как Дианы.

— Позвольте, — вмешалась гостья: — я не о той совсем Диане: я о той, которая сверкнула в лесу на острове, у которого слышали с корабля, что «умер великий Пан». — Кажется, ведь это так у Тургенева?\*

— Я позабыла, как это у Тургенева.

Хозяйка продолжала:

— Теперь опять забывают хорошее, а причитают то, что говорят «посредственные книжки».

— А вы не обращали на эти книжки внимания Виктора Густавыча? — спросила гостья.

— О, он их презирает, но, знаете, он ведь лютеран, и по его мнению, если где есть о добре, то это все хорошо.

— Но, однако, ваша непротивленка в самом-то деле ведь и не была добра?

— Ну, так прямо я этого сказать не могу. Злою она ни с кем не была, но когда ей долго возражаешь, то я замечала, что и у нее тоже что-то мелькало в глазах.

— Да что вы?

— Я вас уверяю. Знаете, если шутя подтрунишь, так глазенки этак заискрятся... и... какое-то пламя.

— Боже мой! И для чего вы ее еще держали?

— Да, да! Я тоже раз подумала: «эге-ге, — думаю себе, — да ты с огоньком», и отпустила. Но, разумеется, я прежде хотела знать, что можно от таких людей ждать, я ее пощупала.

— Это интересно.

V

— Я спросила ее так: «Что же это, моя милая, стало быть, если бы при тебе в доме случилось что-нибудь такое, что должно быть тайной, что от всех надо скрыть, стало быть, ты и тогда не согласилась бы покрыть чей-нибудь стыд или грех?» Она сконфузилась и стала лепетать: «Я об этом еще не думала... Я не знаю!» Я воспользовалась этим и говорю: «А если бы тебя призвали и стали спрашивать о твоих хозяевах, ведь ты должна же... Ведь какие в старину были хорошие и верные

слуги, а и те, когда приходило круто, говорили, что от них хотели». Вообразите, что она ответила:

«Это тот виноват, кто их до этого доводил».

«А если это делалось по приказу?»

«Это все равно».

— Какова!

— Да-с! Я говорю: за это можно страдать.

А она отвечает:

«Лучше пострадать, чем испортить свой путь жизни».

— Каково непротивление!

— Ну вот, как видите!

— Впрочем, если смотреть по-ихнему и держаться евангелия, то она не совсем и неправа...

— Да, она даже очень права; но ведь общество не так устроено, чтобы все по евангелию, и нельзя от нас разом всего этого требовать.

— Да, это очень печально; но если вы это сломаете, а потом исковеркаете, то что же вы новое поставите на это место?

— Нигилисты говорили: ничего!

Хозяйка промолчала и сучила в пальцах полоску бумаги, а умом как будто облетала что-то давно минувшее и потом молвила:

— Да, ничего, они только и умели сбивать с толку женщин и обучать их не стыдясь втроем чай пить.

— А как эта непротивленка вела себя в этих отношениях?

— Вы, верно, хотите спросить о тех отношениях, о которых не говорят при Лиде...

Но отдохавшая за трельяжем Лидия к этому времени, верно, совсем подкрепилась и сама вмешалась в разговор уже не сонною речью.

— О такой женщине, как Федорушка, можно при всех и все говорить, — сказала Лида. — И притом, когда же вы, *ma tante*, привыкнете, что я ведь не ребенок и лучше вас знаю, не только из чего варится мыло, но и как рождается ребенок?

— Лида! — заметила с укоризной хозяйка.

— Да, конечно, *ma tante*, я это знаю.

— Господи!.. Как ты можешь это знать?

— Вот удивление! Мне двадцать пятый год. Я живу, читаю, и, наконец, я должна быть фельдшерницей. Что же, я буду притворяться глупою девчонкой, которая лжет, будто она верит, что детей людям приносят аисты в носу?

Хозяйка обратилась к гостье и внушительно сказала:

— Вот вам Иона-циник в женской форме\*. И притом она Диана, она пуританка, квакерка, она читает и уважает Толстого, но она не разделяет множества и его мнений, и ни с кем у нее нет ладу.

— Я, кажется, не часто ссорюсь.

— Зато и не тесно дружишь ни с кем.

— Вы ошибаетесь, *ma tante*, у меня есть друзья.

— Но ты их бросила. Ведь тоже и непротивленьши пользовались у тебя фавором, а теперь ты к ним охладела.

— С ними нечего делать.

- Но ты, однако, любила их слушать.
- Да, я их слушала.
- И наслушалась до тошноты, верно?
- Нет, отчего же? Я и теперь готова послушать, что у них хорошо обдуманно.
- Прежде ты за них заступалась до слез.
- Заступалась, когда ваши сыновья, а мои кузены, собирали их и вышучивали. Я не могу переносить, когда над людьми издеваются.
- Хозяйка засмеялась и сказала:
- Смеяться не грешно над тем, что смешно\*.
- Нет, грешно, ma tante, и мне их было всегда ужасно жаль... Они сами добрые и хотят добра, и я о них плакала...
- А потом сама на них рассердилась.
- Не рассердилась, а увидела, что они всё говорят, говорят и говорят, а дела с воробьиный нос не делают. Это очень скучно. Если противны делались те, которые всё собирались «работать над Боклем\*», то противны и эти, когда видишь, что они умеют только палочкой ручьи ковырять. Одни и другие роняют то, к чему поучают относиться с почтением.
- Нет, тебя уязвило то, что они идут против наук!
- Да, и это меня уязвляет.
- А я тут за них! Для чего ты, в самом деле, продолжаешь столько лет все учиться и стоишь на своем, когда очевидно, что все твое ученье кончится тем, что ты будешь подначальной у какого-нибудь лекаришки и он поставит тебя в угол?
- Ma tante, ведь это опять вздор!
- Ну, он тебя в передней посадит. Сам пойдет в комнаты пирог есть, а тебе скажет: «Останьтесь, милая, в передней».
- И этого не будет.
- А если это так случится, что же ты сделаешь?
- Я пожалею о человеке, который так грубо обойдется со мной за то, что я не имею лучших прав, и только потому, что мне их не дали.
- И тебе не будет обидно?
- За чужую глупость? Конечно, не будет.
- А не лучше ли выйти замуж, как все?
- Для меня — нет!
- А отчего?
- Мне не хочется замуж.
- Ты, однако, престранно выражаешься. Это закон природы.
- Ну так он, верно, еще не дошел до меня.
- И религия того же требует.
- Моя религия этого не требует.
- Христос был, однако, за брак.
- Не читала об этом.
- А для чего же он благословлял жениха и не весту?

— Не знаю, когда это было.

— Читай в евангелии.

— Там этого нет.

— Как нет!

— Просто нет, да и конец!

— Господи! да что же это... вы все значит уж вымарали!

Девушка тихо засмеялась.

— Нечего хихикать: я знаю, что об этом было, а если не в евангелии, то в премудрости Павлочтении. Во всяком случае он был в Кане Галилейской\*.

— Ну и что же из этого?

— Значит, он одобрял брак.

— А он тоже был и у мытаря?\*

— Да.

— И говорил с блудницей? Неужто это значит, что он одобрял и то, что они делали?

— Ты ужасная спорщица.

— Я только отвечаю вам.

— А теща Петрова! Ведь Христос ее, однако, вылечил!

— А вы разве думаете, что если б она не была чьею-нибудь тещей, так он бы ее не вылечил?

— У тебя самый пренеприятный ум.

— Да. Это многие говорят, ma tante, и это всего больше убеждает меня, что мне нельзя выходить замуж.

— Ведь вот ты, решительно и совершенно как змея, вьешься так, что тебя нельзя притиснуть.

— Ma tante, да зачем же непременно надо меня притиснуть?

— Мне очень хочется...

— Мой друг, да что же делать? Нельзя все устроить так, как вам хочется.

— Нет, я ведь не про то: я хотела бы знать, какой у вас законоучитель и как он не видит, что вы все безбожницы!

— Мы получаем у него все по пяти баллов.

— Извольте! За что же он вам ставит по пяти баллов?

— Он не может иначе: мы все отлично учимся.

— Вот ведь назрели какие характеры!

— Полноте, ma tante, что это еще за характеры! Характеры идут, характеры зреют, — они впереди, и мы им в подметки не годимся. И они придут, придут! «Придет весенний шум, веселый шум!»\*

Здоровый ум придет, ma tante! Придет! Мы живы этою верой! Живите ею и вы, и... вам будет хорошо, всегда хорошо, что бы с вами ни делали!

— Спасибо, милая.

— Не сердитесь, ma tante, — и Лидия Павловна вдруг оборотилась к теткиной гостье и сказала ей — А вы хотели знать, был ли у Федоры роман? Я вам об этом могу рассказать. У нее был жених часовщик, но Федорушка ему отказала, потому что у нее была сестра, которая «мирилась с жизнью». У нее были «панье», брошь и серьги и двое детей. Она серьги и брошь берегла, а детей хотела стащить в воспитательный дом, но Федора над ними сжалилась и платила за них почти все, что

получала.

— А собственного увлечения у нее не было?

— Вот это-то и было ее собственное увлечение!

— Да, но ей будет трудно платить: с таким характером и такими правилами, как у нее, она нигде себе места не нагреет.

— Другие помогут.

— Видите?.. Настоящие сектантки, у них все миром, — отозвалась хозяйка. — Гоните их, они не боятся и даже радуются.

— Ведь так и следует, — поддержала девушка.

— Фантазии!

— Однако так сказано: надо радоваться, когда терпим гонение за правду, и в самом деле, это очень помогает распространению идей. Нас гонят, а мы идем дальше и все говорим про хорошее всё новым и новым людям...

— Ну, ты послушай, однако, сама: какая же, наконец, у самой тебя вера?

— А это такой деликатный вопрос, *ma tante*, которого я никому не позволяю касаться.

— Вон как уж у нас стали отвечать о вере! Это, кажется, совсем не по-нашенски.

— Да, это не по-вашенски, — рассмеявшись, ответила Лидия. — По-вашенски, «подобает спросить входящего: рцы, чадо, как веруеши?»

Хозяйка постучала по столу веером и погрозила племяннице:

— Лидя! В этот раз... что ты сказала здесь, это еще ничего, пусть это так и пройдет, но впредь помни, что у тебя есть мать и ты не должна быть помехой своим братьям в карьере!

— Этого, *ma tante*, не забудешь!

— Ну так и нечего либеральничать.

— А «како веруеши» — это разве либеральность?

— Это не по сезону.

— Ну, *ma tante*, извините: жизнь, в самом деле, дается всего один раз, и очень нерасчетливо ее приравнивать к какому бы то ни было сезону... Это скоро меняется.

Сказав это, девушка встала из-за трельяжа и вышла на середину комнаты. Теперь можно было видеть, что она очень красива. У нее стройная, удивительной силы и ловкости фигура, в самом деле, напоминающая статуэтку Дианы из Танагры\*, и милое целомудренное выражение лица с умными и смелыми глазами.

## VI

Тетка на нее посмотрела, и на лице ее выразилось артистическое удовольствие; она просияла и тихо заметила:

— Желала бы я знать, где глаза у людей, которые смеют что-нибудь говорить против породы? Лидя, неужели ты без корсета?

— Я хожу так постоянно.

— И стройна, как богиня. Но Валериан говорил мне, что у вас очень много уродих, и все теперь сняли кольца и решили не носить ни серег и никаких других украшений.

— Ему какая забота?

— Отчего же, его интересует все. Но разве это в самом деле правда?

— Правда.

— И вот вы увидите, что, наверное, многие не выдержат.

— Очень может быть.

— Которой серьги к лицу, та и не выдержит — наденет.

— Что же, если и не выдержит, то по крайней мере поучится выдерживать, и это что-нибудь стоит.

Прощайте, ma tante.

— И у кого пребезобразная фигура, той лучше корсет.

— Ma tante, ну что нам за дело до таких пустяков? До свидания.

— До свидания. Красота ты, моя красота! Я только все не могу быть покойна, что ты кончишь тем, что уйдешь жить с каким-нибудь непротивленьшем.

Лидия холодно, но ласково улыбнулась и молвила:

— Ma tante, как можно знать, что с кем будет? Ну, зато я не сбегу с оперным певцом.

— Нет! Бога ради нет! Лучше кто хочешь, но только чтоб не непротивленьш. Эти «малютки» и их курдючки... это всего противнее.

— Ах, ma tante, я уж и не знаю, что не противно!

— Ну, пусть лучше будет все противно, но только не так, как эти, которые учат, чтоб не венчаться и не крестить. Обвенчайся, и потом пусть бог тебя хранит, как ему угодно.

И тетка встала и начала ее крестить, а потом проводила ее в переднюю и тут ей шепнула:

— Не осуждай меня, что я была с тобой резка. Я так должна при этой женщине, да и тебе вперед советую при ней быть осторожной.

— О, пустяки, ma tante! Я никого не боюсь.

— Не боишься?.. Не говори о том, чего не знаешь.

— Ах, ma tante, я не хочу и знать: мне нечего бояться.

Сказав это, девушка заметалась, отыскивая рукою ручку двери, и вышла на лестницу смущенная, с пылающим лицом, на котором разом отражались стыд, гнев и сожаление.

Проходя мимо швейцара, она опустила вуалетку, но зоркий, наблюдательный взор швейцара все-таки видел, что она плакала.

— Эту тут всегда пробирают! — сказал он стоявшему у ворот дворнику.

— Да, ей видать что попало! — ответил не менее наблюдательный дворник.

А хозяйка между тем возвратилась в свой «салон» и спросила:

— Как вам нравится этот экземпляр?

Гостья только опустила глаза кроткой лани и ответила:

— Все уловить нельзя, но везде и во всем сквозит живая красная нитка.

— О, да сегодня она еще очень тиха, а в прошлый раз дело чуть не дошло до скандала. Кто-то вспомнил наше доброе время и сказал, какие тогда бывали сваты, которым никто не смел отказать\*.

Так она прямо ответила: «Как хорошо, что теперь хоть это не делается!»

— Они, из гимназий, так реальны, что совсем не понимают институтской теплоты.

— Нисколько! Я ее тогда прямо спросила, неужто ты бы не была тронута, если бы тебе подвели жениха? — так она даже вспыхнула и оторвала: «Я не крепостная девка!»

— Я говорю вам, везде красная нить. И какая заносчивость, с какою она самоуверенностью говорит о личном увлечении несчастной сестры этой Федоры!

— Она очень сострадательна к детям.

— Но что же делать, когда дети не наполняют женщине всей ее жизни?

— Ах, с детьми очень много хлопот!

— Да и даже простые, самые грубые люди при детях еще ищут забыться в любви. У меня в прачках семь лет живет прекрасная женщина и всегда с собой борется, а в результате все-таки всякий год посылает нового жильца в воспитательный дом. А анонимный автор все продолжает, без подписи, и ничего знать не хочет: придет, отколотит ее, и что есть, все оберет. И таковы они все. Альфонсизм в наших нравах. А когда я ей сказала: «Брось их всех вон или обратись к религии: это поможет», — она меня послушала и поехала в Кронштадт\*, но оттуда на обратном пути купила выборгских кренделей и заехала к мерзавцу вместе чай пить, и теперь опять с коробком ходит и очень счастлива. Что же тут сделать? «Не могу, говорит, бес сильнее». Когда женщина сознает свою слабость, то с этим миришься.

— Да, миришься, потому что это наше простое, родное, русское.

— Вот, вот, вот! Это она, наша бедная русская бабья плоть, а не то что эти, какие-то куклы из аглицкой клеенки. Чисты, но холодны.

— О, как холодны! Ведь она вот стоит за детей, но она и их, заметьте, не любит.

— Да что вы?

— Я вас уверяю, она вообще о детях заботится, но никогда ими не восхищается и даже их не целует.

— Что не целует — это прекрасно.

— Положим, конечно, это, говорят, нездорово, но она это не любит!

— Неужели?.. Ведь это всем женщинам врожденно нежить детей.

— Нежить, нет! Она допускает только заботливость, а любить, по ее рассуждению, должно только того, кто сам имеет любовь к людям. А дети к тому неспособны.

— Да разве известно, что из маленького выйдет?

— Так и она говорит: «Я не люблю неизвестных величин, я люблю то, что мне известно и понятно».

— Какое резонерство!

— Я и говорю: это отдает не сердцем, а математикой. Она даже не верит, что другие любят детей... «Иначе, говорит, не было бы таких негодяев, через которых русское имя в посмеянье у умных людей». Нашу славу и могущество они ведь невысоко ставят. И вообразите, они утверждают это на Майкове:

Величие народа в том,

Что носит в сердце он своем.

Хозяйка и гостья обе переглянулись и сразу же обе задумались, и лица их приняли не женское, официальное выражение. У гостьи и это прошло прежде, и она заметила:

— В то время как мы, русские женщины, подписываем адрес madame Adan\*, не худо бы, чтобы мы протестовали против учреждений, где не внушают уважения к русским началам.

Хозяйка стала нервно сучить в руках бумажку и, сдвинув брови, прошептала в раздумье:

— Кто же это, однако, начнет?

— Не все ли равно, кто?

— Но, однако... Бывало, брат мой Лука... Он независим, и никогда не был либерал, и ему нечего за себя бояться... Он, бывало, заговорит о чем угодно, но теперь он ни за что-с! Он самым серьезным

образом отвернулся от нас и благоволил к Лидии, и это ужасно, потому что у него все состояние благоприобретенное, и он может отдать его кому хочет.

— Неужто все это может достаться Лидии Павловне?

— Всего легче! Брат Лука к моим сыновьям не благоволил, а брата Захарика считает мотом и «провальной ямой». Он содержит его семейство, но ему он ничего не оставит.

Гостья встала и отошла к открытому пианино и через минуту спросила:

— А где теперь супруга и дочери Захара Семеныча?

— Его жена... не знаю в точности... она в Италии или во Франции

— Ее держало что-то в Вене.

— Ах, это уж давно прошло! Таких держав у нее не перечесать до вечера. Но с ней теперь ведь только три дочери, ведь Нина, младшая, уж год как вышла замуж за графа Z. Богат ужасно.

— И ужасно стар?

— Конечно, ему за семьдесят, а говорят, и больше, а ей лет двадцать. Много ведь их, четыре девки. А граф, старик, женился назло своим родным. Надеется еще иметь детей. Мы ездили просить ему благословение.

— Пусть бог поможет!

— Да. На свадьбе брат Захар сказал ему: «Пью за ваше здоровье бокал, а когда моя дочь подарит вам рога, я тогда за ее здоровье целую бутылку выпью».

В ответ на это гостья оборотилась от пианино лицом к хозяйке, и лицо ее уже не дышало милою кротостью лани, а имело выражение брыкливой козы, и она, по-видимому не кстати, но в сущности очень сообразительно, сказала:

— Очевидно, что дело качать надо вам.

— Но Лидия мне родная.

— Потому-то это и нужно: это покажет ваше беспристрастие и готовность все принести в жертву общественной пользе, а она будет устранена от наследства.

Хозяйка смотрела на гостью околдованным взглядом. Дело соображено было верно, но в душе у старухи что-то болталось туда и сюда, и она опять покрутила бумажку и шепнула:

— Не знаю... Дайте подумать. Я спрошу батюшку.

— Конечно, его и спросите.

— Хорошо, я спрошу.

## VII

В это время распахнулась дверь, и вошел седой, бодрый и кругленький генерал с ученым значком и с веселыми серыми пронизательными глазами на большом гладком лице, способном принимать разнообразные выражения.

Это и был брат Захар.

Хозяйка протянула ему руку и сказала:

— Ты очень легок на помине; мы сейчас о тебе говорили.

— За что же именно? — спросил генерал, садясь и довольно сухо здороваясь с гостьей.

— Как за что? Просто о тебе говорили.

— У нас просто о людях никогда не говорят, а всегда их за что-нибудь ругают.

— Но бывают и исключения.



— Два только: это père Jean и père Onthon\*.

— Ты настаиваешь на том, что это надо произносить не Antoine, а Onthon?

— Так произносят те, которые на этот счет больше меня знают и теплее моего веруют. Я сам ведь в вере слаб.

— Это стыдно.

— Что ж делать, когда ничего не верится?

— Это огорчало нашу мать.

— Помню и повиновался, а притворяться не мог. Она, бывало, скажет: «Ангел-хранитель с тобою», — и я всюду ходил с ангелом-хранителем, вот и все!

— Олимпия приехала.

— Мне всегда казалось, что ее зовут Олимпиада. Впрочем, я ею особенно не интересуюсь.

— У нее много новостей, и некоторые касаются тебя. Твоя дочь, графиня Нина, беременна.

— Да, да! Разбойница, наверное, осуществляет «Волшебное дерево» из Бокаччио\*. Я, однако, выпью сегодня бутылку шампанского и пошлю поздравительную телеграмму графу. Кстати, я встретил на днях одного товарища моего зятя и узнал, что он старше меня всего только на четырнадцать лет.

— Какие же подробности об их житье?

— Я ничего не знаю.

— Ты разве не был еще у Олимпии?

— Я? Нет, мой ангел-хранитель меня туда не завел. Я видел, что какая-то дама мчалась в коляске, и перед нею у кучера над турнюрком сзади часы. Я подумал: что это еще за пошлая баба тут появилась? И вдруг догадался, что это она. А она сразу же устроила мне неприятность: я хотел от нее спастись и прямо попал навстречу еврею, которому должен чертову пропасть.

— Бедный Захарик!

— Но слава богу, что мой хранитель бдел надо мной и что это случилось против собора: я сейчас же бросился в церковь и стал к амвону, а жид оробел и не пошел дальше дверей. Но только какие теперь в церквях удивительно неудобные правила! Представь, они открывают всего только одну дверь, а другие закрыты. Для чего закрывать? В Париже все храмы весь день открыты.

— У нас, друг мой, часто крадут... Было несколько краж.

— Какие проказники! А я через это, вообразите, несколько молебнов подряд отстоял, но жида все-таки надул. Он ждал меня у общей двери, а я с знакомым батюшкой утек через святой алтарь и, кстати, встретил Лиду. Она была расстроена, и я, чтоб ее развеселить, все рассказал ей, как попался Олимпии, а потом жидам и, наконец, насилу спасся через храм убежища. Она развеселилась и зашла со мною выпить чашку шоколаду.

— Это ты старался ее утешить? Что за милый дядя!

— Да, но тут еще и другой был умысел. Там была одна... балерина, которой никогда не удастся изобразить богиню... Я ей показал Лиду и сказал: «Смотри, дура, вот богиня!» Но кто и где обидел Лиду?

— Вот не берусь тебе ответить. Верно, «нашла коса на камень»; но она, впрочем, сама здесь говорила, что ее будто даже и «нельзя обидеть».

— Ах, это ничего более как всем противные толстовские бетизы! Уверяю вас, что всеми этими глупостями это все их Лев Толстой путает! «Da ist der Hund begraben!».[41] Решительно не понимаю,

чего этот старик хочет? Кричат ему со всех концов света, что он первый мудрец, вот он и помешался. А я решительно не нахожу, что такое в самом в нем находят мудрецовского?

— И я тоже.

— Да и никто не находит, а это все за границей. Мы с ним когда-то раз даже жили на одной улице, и я ничего премудрого в нем не замечал. И помню, он был раз и в театре, а потом у общих знакомых, и когда всем подали чай, он сказал человеку: «подай мне, братец, рюмку водки».

— И выпил?

— Да, выпил и закусил, не помню, баранкой или корочкой хлеба. И все это было самое обыкновенное, а потом вдруг зачудил и в мудрецы попал!.. Удача! Но я хотя и не разделяю его христианства, которое несет смерть культуре, но самого его я уважаю.

— За что же?

— Конечно, не за его премудрости! Это пустяки! Но я этих его непротивленьшей люблю, с ними так хорошо поговорить за кофе.

— Я этого не нахожу.

— Ну, нет!.. На многое они оригинально смотрят. Я не признаю, чтобы это что-нибудь из их фантазии было можно осуществить. Теперь не тот век, но отчего не поболтать? Ведь Бисмарк же любил поговорить с социалистами\*. «Малютки» же эти идут наперекор социалистам.

— Как это наперекор?

— А так: непротивленьши ведь отказываются от наследств всегда в пользу родных... Это то самое, чего Петр Первый хотел достичь через майораты\*... Это надо поощрять, чтобы не дробились состояния. А сам Толстой только чертовски самолюбив, но зато с большим характером. Это у нас редкость. Его нельзя согнуть в бараний рог и заставить за какую-нибудь бляшку бляеть по-бараньи: бя-я-я!

Генерал потравил себя пальцами за горло и издал звуки, очень рассмешившие хозяйку и гостью.

— Но зачем же у него эта несносная пронизательность и для чего он так толкует, что будто ничего не нужно?

— А это скверность, но я успокоиваю себя твоею русскою пословицей: «Не так страшен черт, как его малютки».

— И я это говорю всегда: он там я не знаю где, а эти Figaro сі — Figaro lá[42] разбрелись, как цыплята.

— Вот именно цыплята... Отчего это у них так топорщится, как будто хвосты перятся?

— А уж это надо их осмотреть и удостовериться.

— Ну, как можно их смущать!

— А они не церемонятся смущать веру.

— Мою веру смутить нельзя: в рассуждении веры я байронист\*; я ем устриц и пью вино, а кто их создал: Юпитер, Пан или Нептун — это мне все равно! И я об этом и не богохульствую, но его несносная на наш счет пронизательность — это скверно. И потом для чего он уверяет, будто «не мечите бисера перед свиньями» сказано не для того, чтобы предостеречь людей, чтоб они не со всякою скотиной обо всем болтали — это глупость. Есть люди — ангелы, а есть и свиньи.

— Но только эти милые животные, надеюсь, находятся в своих местечках, где им надо быть.

— Да, им бы всем надо быть в своих закутах, но случается и иначе: бывает, что свиньи садятся в

гостиных.

— О, господи! какие ужасы!

— О да! Есть много ужасов.

— Но, а есть ли зато где-нибудь ангелы?

— А есть... Вот, например, хоть такие, как наша Лида!

— Не нахожу: девчонки, которые не знают, что они такое.

— Вы, господа, пренебрежительно их мучите и, можно сказать, истязаете!

— Каким это образом?

— Вы к ним пристаёте, их злите, а когда бедные девочки в нетерпении что-нибудь вам брякнут, вы это разглашаете и им вредите. По правде сказать, это подлость!

— Ни о чем таком не слыхала.

— А я, представь, слышал. Говорят, будто когда Лида пришла к тебе на бал в закрытом лифе, ты ей сделала колкость.

— Нимало!

— Ты над ней обидно пошутила: ты сказала, что она, вероятно, когда будет дамой, то и своему будущему Адаму покажет себя «кармелиткой\*», в двойном капишоне, а она тебе будто отвечала, что к своему Адаму она, может быть, придет даже «Евой», а посторонним на балу не хочет свои плечи показывать.

— И представь, это правда, она так и сказала!

— Сказала, потому что не надо было к ней приставать. Байрон прекрасно заметил, что «и кляча брыкается, если сбруя режет ей тело», а ведь Лида не кляча, а молодая, смелая и прекрасная девушка. Для такой Евы, черт бы меня взял, очень стоит отдать все свои преимущества и идти снова в студенты.

— Ты за ней просто волочишься?

— Я не очень, а ты б послушала, какого мнения о ней наш старший брат Лука! Он говорит, что «провел с ней самое счастливейшее лето в своей жизни». А ведь ему скоро пойдет восьмой десяток. И в самом деле, каких она там у него в прошлом году чудес наделала! Мужик у него есть Симка, медведей все обходил. Человек сорока восьми лет, и ишиасом заболел. Распотел и посидел на промерзлом камке — вот и ишиас... болезнь седалищного нерва... Понимаете, приходится в каком месте?

— Ты без подробностей.

— Так вот его три года врачи лечили, а брат платил; и по разным местам целители его исцеляли, и тоже не исцелили, а только деньги на молитвы брали. И вся огромнейшая семья богатыря в разор пришла. А Лидия приехала к дяде гостить и говорит: «Этому можно попробовать помочь, только надо это с терпением».

— Ну, этого ей действительно не занимать стать! — заметила с сдержанною иронией хозяйка.

— Да, она и начала класть этого мужичищу мордой вниз да по два раза в день его под поясницей разминала! Понимаете вы? Этакими-то ее удивительными античными руками да по этакому-то мужичьему месту! Я посмотрел и говорю: «Как же теперь после этого твою руку целовать?» Она говорит: «Руки даны не для того, чтоб их целовать, а для того, чтоб они служили людям на пользу». А брат Лука... он ведь стал старик нежный и нервный: он как увидел это, так и зарыдал... Поп

приходил к нему дров просить, так он схватил его и потащил и показывает попу: «Смотри! — говорит, — видишь ли?» Тот отвечает: «Вижу, ваше высокопревосходительство!»

«А разумеешь ли?»

«Разумею, — говорит, — ваше высокопревосходительство! Маловерны только и ко храму леностны, но по делам очень изрядны».

«То-то вот и есть «очень изрядны»! А ты вот и молись за них в храме-то. Это твое дело. А я тебе велю за это дров дать».

«Слушаю, — говорит, — ваше высокопревосходительство! Буду стараться!»

— И ничего небось не старался?

— Ну, разумеется: дурак он, что ли, что будет стараться, когда дрова уже выданы? А только Симка-то теперь ходит и опять детей своих кормит, а Лиду как увидит, сейчас плачет и пищит: «Не помирай, барышня! Лучше пусть я за тебя поколею... Ты нам матка!» Нет, что вы ни говорите, эти девушки прелесть!

— Только с ними человеческий род прекратится.

— Отчего это?

— Не идут замуж.

— Какой вздор! Посватается такой, какого им надо, и пойдут. А впрочем, это бы еще и лучше, потому что, по правде сказать, наш брат, мужчанишки-то, стали такая погань, что и не стоит за них и выходить путной девушке.

— Пусть и сидят в девках.

— И что за беда?

— Старые девки все злы делаются.

— Это только те, которым очень хотелось замуж и их темперамент беспокоит.

— Дело совсем не в темпераменте, а на старую девушку смотрят как на бракованную.

— Так смотрят дураки, а умные люди наоборот, даже с уважением смотрят на пожилую девушку, которая не захотела замуж. Да ведь девство, кажется, одобряет и церковь. Или я ошибаюсь? Может быть, это не так?

## VIII

Хозяйка улыбнулась и отвечала:

— Нет, это так; но всего любопытнее, что за девство вступаешься ты, мой грешный Захарик.

— А что, сестрица, делать? Теперь и я уже не тот, и в шестьдесят пять лет и ко мне, вместо жизнерадостной гризетки, порою забегает мысль о смерти и заставляет задумываться. Ты не смейся над этим. Когда и сам дьявол постареет, он делается пустынным. Посмотри-ка на наших староверов, не здесь, а в захолустьях! Все ведь живут и согрешают, а вон какая у них есть отличная манера: как старичку стукнет шестьдесят лет, он от сожительницы из чулана прочь, и даже часто выселяется совсем из дому. Построит себе на огороде «хижину», под видом баньки, и поселяется там с нарочитым отроком, своего рода «Гиезием», и живет, читает Богословца или Ключ разума\*, а в деньгах и в делах уже не участвует, вообще не мотрошится на глазах у молодых, которым надо еще в жизни свой черед отвести. Я это, право, хвалю. Пускай там и говорят, будто отшельнички-старички раз в недельку, в субботу, по старой памяти к своим старушкам в чулан заходят, но я верю, что это они только приходят чистое бельецо взять... Милые старички и старушечки! Как им за то хорошо

будет в вечности!

— Бедный Захарик! Может быть, и ты так хотел бы?

— О, без сомнения! Но только куда нам, безверным! А кстати, что это я заметил у твоего Аркадия, кажется, опять новый отрок?

Хозяйка сдвинула брови и отвечала:

— Не понимаю, с какой стати это тебя занимает?

— Не занимает, а я спросил к слову о Гиезии, а если об этом нельзя говорить, то перейдем к другому: как Валерий, благополучно ли дошибает свой университет?

— А почему же он его «дошибает»?

— Ну, да, кончает, что ли! Будто не все равно? Не укусила ли его какая-нибудь якобинская бацилла?\*

— Мой сын воспитан на здоровой пище и бацилл не боится.

— Не возлагай на это излишних надежд: домашнее воспитание все равно что домашняя температура. Чем было в комнате теплее, тем опаснее, что дети простудятся, когда их охватит.

— Типун тебе на язык. Но я за Валерия не боюсь: его бог бережет.

— Ах да, да, да, ведь он «тепло-верующий!»

— Такими вещами не шутят. Мы, русские, все тепло верим.

— Да, мы теплые ребята! Но постойте, господа, я видел картину Ге!

— Опять яичница?

— Нет. Это просто бойня! Это ужасно видеть-с!

— Очень рада, что его прогоняют с выставок. Мне его самого показывали... Господи! Что это за панталоны и что за пальто!

— Пальто поглотило много лучей солнца, но это еще не серьезно.

— А ты находишь, что его мазня — это серьезно?

— Я говорю не о мазне, а о фраке.

— Что за вздор!

— Это не вздор. Он должен был представиться и не мог, потому что подарил свой фрак знакомому лакею.

— Но почему это узнали?

— Он сам так сказал.

— Как это глупо!

— И дерзко! — поддержала гостья.

А генерал заключил:

— Это замечательно! Теперь просто говорят: «замечательно!»

— А почему замечательно?

— А потому замечательно, что эти, — как вы их кличете, — «непротивленыши», или «малютки», всё чему-то противятся, а мы, которые думаем, что мы сопротивленцы и взрослые, — мы на самом деле ни на черта не годны, кроме как с тарелок подачки лизать.

— Ну, — пошутила хозяйка, — он опять договорится до того, что кого-нибудь зацепит!

И, проговорив это, она снисходительно вздохнула и вышла как бы по хозяйству.

IX

В гостиной остались вдвоем генерал и гостя, и тон беседы сразу же изменился.

Генерал сдвинул брови и начал отрывистую речь к госте:

— Я предпочел видиться с вами здесь, потому что ваш больной муж вчера приходил ко мне и был неотступен. Это с вашей стороны, позвольте вам сказать, сверх всякой меры жестоко — рассылать больного старика по таким делам!

— По каким «таким делам»?

— Которым на языке порядочных людей нет имени.

— Я ничего не понимаю, но я писала вам письмо, а вы, как неаккуратный человек, на него не отвечали.

— Позвольте, но чтобы прислать вам удовлетворительный ответ на ваше письмо, надо было доставить вам тысячу рублей.

— Да.

— Вот то и есть! А я не шах персидский, которому стоит зацепить горсть бриллиантов, и дело готово.

Дама позеленела и, сверкая злобой, спросила:

— Что это значит? К чему здесь при мне второй раз вспоминают персидского шаха?

— А я почему могу знать, отчего его при вас вспоминают? Мне только кажется, что есть люди, которым я уже давно сделал все, что я мог, и даже то, чего не мог и чего ни за что не стал бы делать, если б это грозило неприятностями только одному мне, а не другим людям.

Генерал, видимо, сердился и говорил запальчиво:

— Минуло двадцать лет, как ваш муж так удивительно узнал, когда я был у вас и... Я спасся и спас вас, да не спас мою памятную книжку, и вот я берегу людей...

— О! вы еще всё возитесь с этой жалобною сказкой?

— Позвольте: я вожусь! Я не подлец, и потому я вожусь и делаю для вас подлости, чтобы только перетерпеть все на себе самом. Прошу за вас особ, с которыми я не хотел бы знаться, но вам все мало. Скажите же, когда вам будет, наконец, довольно?

— Другие получают больше!

— Ах, вот, зачем другие больше? Ну, уж это вы меня простите! Я этих дел не знаю, за что кого и по сколько у вас одевают. Может быть, другие искуснее вас... или они усерднее и оказывают больше услуг.

— Пустое! Никто ничем не может услужить. Уху нельзя сварить без рыбы...

— Ну, я не знаю!.. «Без рыбы»! Господи! Неужто уж совсем не стало рыбы?

— Вообразите, да! Безрыбье!

— Ну, я теперь не знаю, что заведете делать!.. Я вам сказал, что этих ваших дел решительно не знаю! Всем грешен, всем, но этою мерзостью не занимался!

Генерал высоко поднял руку и истово перекрестился.

— Вот! — сказал он, нервно доставая из кармана конверт и подавая его даме. — Вот-с! Возьмите, пожалуйста, скорей! Здесь ровно тысяча рублей. Я бедный, прогорелый человек, но ничего из чужих денег не краду. Тысяча рублей. Это для вас пособие, которое я выпрашиваю второй раз в году.

Только, пожалуйста, пожалуйста, не благодарите меня! Я делаю это с величайшим отвращением и прошу вас...

Дама хотела что-то сказать, но он ее перебил:

— Нет, нет! Прошу вас, не присылайте больше ко мне своего несчастного мужа! Умоляю вас, что у меня есть нервы и кое-какой остаток совести. Мы его с вами когда-то подло обманывали, но это было давно, и тогда я это мог, потому что тогда он и сам в свой черед обманывал других. Но теперь?.. Этот его рамолитический вид\*, эти его трясущиеся колени... О господи, избавьте! Бога ради избавьте! Иначе я сам когда-нибудь брошусь перед ним на колени и во всем ему признаюсь.

Дама рассмеялась и сказала:

— Я уверена, что вы такой глупости никогда не сделаете.

— Нет, сделаю!

— Ну так я ее не боюсь.

По лицу генерала скользнула улыбка, которую он, однако, удержал и молвил:

— Ага! значит, это для него не было бы новостью! О господи! Разрази нас, пожалуйста, чтобы был край нашему проклятому беспутству!

— А вы в самом деле болтун!

Улыбка опять проступила на лице генерала, и он, встав, ответил:

— Да, да, я большой болтун, это «замечательно»!

Он с нескрываемым пренебрежением к гостю надел в комнате фуражку и вышел, едва удостоив собеседницу чуть заметного кивка головою.

В передней к его услугам выступила горничная с китайским разрезом глаз и с фигурой фарфоровой куклы: она ему тихо кивнула и подала пальто.

— Мерси, сердечный друг! — сказал ей генерал. — Доложите моей сестре, что я не мог ее ожидать, потому что... я сегодня принял лекарство. А это, — добавил он шепотом, — это вы возьмите себе на память.

И он опустил свернутый трубочкою десятирублевый билет девушке за лиф ее платья, а когда она изогнулась, чтобы удержать бумажку, он поцеловал ее в шею и тихо молвил:

— Я стар и не позволяю себе целовать женщин в губки.

С этим он пожал ей руку, и она ему тоже.

Внизу у подъезда он надел калоши и, покопавшись в кармане, достал оттуда два двугривенных и подал швейцару.

— Возьми, братец.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! — благодарил швейцар, держа по-военному руку у козырька своего кокошника.

— Настоящие, братец... Не на Песках деланы... Смело можешь отнести их в лавочку и потребовать себе за них фунт травленого кофе. Но будь осторожен: он портит желудочный сок!

— Слушаю, ваше превосходительство! — отвечал швейцар, застегивая генерала полостью извозничьих саней. Но генерал, пока так весело шутил, в то же время делал руками вокруг себя «повальный обыск» и убедился, что у него нигде нет ни гроша. Тогда он быстро остановил извозчика, выпрыгнул из саней и пошел пешком.

— Пройдусь, — сказал он швейцару, — теперь прекрасно!

— Замечательно, ваше превосходительство!

— Именно, братец, «замечательно»! Считаю за мной рубль в долгу за остроумие!

Он закрылся подъеденным молью бобром и завернул на своих усталых и отслужившихся ногах за угол улицы.

Когда он скрылся, швейцар махнул вслед ему головою и сказал дворнику:

— Третий месяц занял два рубля на извозчика и все забывает.

— Протерть горькая! — отвечал, почесывая спину, дворник.

— Ничего... Когда есть, он во все карманы рассует.

— Тогда и взыщи.

— Беспременно!

Х

Гостья, как только осталась одна, сейчас же открыла свой бархатный мешок, и, вытащив оттуда спешно сунутые деньги, стала считать их. Тысяча рублей была сполна. Дама сложила билеты поаккуратнее и уже хотела снова закрыть мешок, как ее кто-то схватил за руку.

Она не заметила, как в комнату неслышными шагами вошел хорошо упитанный, розовый молодой человек с играющим кадыком под шеей и с откровенною улыбкой на устах. Он прямо ловкою хваткой положил руку на бронзовый замок бархатной сумки и сказал:

— Это арестовано!

Гостья сначала вздрогнула, но мгновенный испуг сейчас же пропал и уступил место другому чувству. Она осветилась радостью и тихо произнесла:

— Valerian! Где был ты? Боже!

— Я? Как всегда: везде и нигде. Впрочем, теперь я прямо с неба, для того чтобы убрать к себе вот этот мешочек земной грязи.

Дама хотела ему что-то сказать, но он показал ей пальцем на закрытую дверь смежной комнаты, взял у нее из рук мешок и, вынув оттуда все деньги, положил их себе в карман.

Гостья всего этого точно не замечала. Глядя на нее приходилось бы думать, что такое обхождение ей давно в привычку и что это ей даже приятно. Она не выпускала из своих рук свободной руки Валериана и, глядя ему в лицо, тихо стонала:

— О, если бы ты знал!.. Если бы ты знал, как я истерзалась! Я не видала тебя трое суток!.. Они мне показались за вечность!

— А-а! что делать? Я этих деньков тоже не скоро забуду! Куда только я ни метался, чтобы достать эту глупую тысячу рублей! Нет, теперь я убежден, что самое верное средство брать со всех деньги, это посвятить себя благодетельствованию бедных! Еще милость господня, что есть на земле дураки вроде oncle Zacharie.[43]

— Оставь о нем!

— Э, нет! Я благодарен: он уже во второй раз дает нам передышку.

— Но не доведи себя до этого, мой милый, в третий.

— Если я так же глупо проиграюсь еще раз, то я удавлюсь.

— Какой вздор ты говоришь!

— Отчего же? Это, говорят, очень приятная смерть. Что-то вроде чего-то... Смотрите, вот у меня про всякий случай при себе в кармане и сахарная бечевка. Я пробовал: она выдержит.

— О боже! Что ты говоришь! — и, понизив голос, она прошептала: — *Avancez une chaise!*..[44]

Молодой человек сделал комическую гримасу и опять молча показал на завешенную дверь.



Дама сморщила брови и спросила шепотом:

— Что?

Молодой человек приложил ко рту ладони и ответил в трубку:

— Матап здесь подслушивает!

— И все это неправда! Ты очень часто клеветешь на свою мать!

Валериан перекрестился и тихо уверил:

— Ей-богу, правда: она всегда подслушивает.

— Как тебе не стыдно!

— Нет, напротив, мне за нее очень стыдно, но я ее и не осуждаю, а только предупреждаю других. Я знаю, что она делает это из отличных побуждений... Святые чувства матери...

— Approchez-vous de moi,[45] милый!

— Значит, вы не верите, что она слышит?.. Ну, я ее сейчас кликну...

— Пожалуйста, без этих опытов!

— Лучше поезжайте скорее домой, и через двадцать минут...

— Ты будешь?

Он согласно кивнул головой.

Она сжала его руку и спросила:

— Это не ложь?

— Это правда, но не надо царапать ногтями мою руку.

— Когда же я не могу!

— Пустяки!

— Поцелуй меня хоть один раз!

— Еще что!

— Но отчего же!

— Ну, хорошо!

Молодой человек поцеловал ее и встал с места: он очень хотел бы, чтобы его дама сейчас же встала и ушла, но она не поднималась и еще что-то шептала. Ее дальнейшее присутствие здесь было ему мучительно, и это выразилось на его искаженном злостью лице. И зато он взял ее руку и, приложив ее к своим губам, сказал:

— Lilas de perse[46] — это мило: я люблю этот запах!

Дама вспрыгнула и, сжав рукой лоб, покачнулась.

— Что с вами? — спросил ее Валериан. — Спешите на воздух!

Она взглянула на него исподлобья и прошипела:

— Это низко!.. это подло!.. это бесчестно!.. После того когда я тебе это откровенно объяснила... ты не имеешь права... не имеешь пра... ва... пра... ва...

— Бога ради только без истерики!.. Вам нужно скорее на воздух!

— Воздух... пустяки... Я все это должна была выполнить...

— Ну да... и выполнила... Поезжай скорей домой, и все будет прекрасно.

При этом обрадовании она опять взяла его руку и прошептала:

— Ну да... О, боже! Но если ж я тебе уже все рассказала, для чего это так было нужно, то для чего ж говорить: «lilas de perse»! Ведь это низко!.. Я всем скажу... вот именно... как это низко... А я отсюда

не уйду...

— Да, да! Пожалуйста останьтесь: мамап сейчас придет.

И он встал с места, но она его удержала.

— Я верно схожу с ума! — произнесла она, приложив к бьющимся вискам тыльную сторону своих стынущих пальцев, и повторила: — Помогите! Я, право, схожу с ума!

Валериан испугался страдальческого выражения ее лица и начал ее крестить. Она с негодованием его оттолкнула и прошептала:

— Креститель!

— Что ж тебе надо?

— Мне? Унижения и новых обид! Мне нужно, чтобы ты был со мною!

— Но я же с тобою!

— О-о, конечно, не здесь!

— Ну и поезжай скорее домой, и я сейчас буду, и там падай, как хочешь.

— Как я хочу... Меня стоит убить!..

Она хотела сказать что-то еще, но вместо того поцеловала его руку, а он, с своей стороны, нагнулся к ней и прикоснулся губами к вьющейся на ее шее косичке.

Искаженное лицо женщины озарилось румянцем чувственного экстаза, и она поспешно закрыла себя вуалью и вышла. По ее щекам текли крупные, истерические слезы, и ее глаза померкли, а губы и нос покраснели и выпятились, и все лицо стало напоминать вытянутую морду ошалевшей от страсти собаки.

Она догадалась, что она гадка, и закрылась вуалем.

Когда она проходила мимо швейцара, тот молча подал ей, хранившееся у него за обшлагом ливреи, письмо с адресом «живчика», а она бросила ему трехрублевый билет и села в сани, тронув молча кучера пальцем.

— Инда земли не видит от слез! — заметил своему собеседнику швейцар. — А ему хоть бы что!

— Да, нонче себя мужской пол не теряют напрасно.

## XI

Молодой Валериан собственноручно запер дверь за дамою и, возвратясь в гостиную, вынул из кармана панталон скомканные деньги и начал их считать.

Из-за двери, на которую Валериан указал гостье, в самом деле послышался голос его матери. Она спросила:

— Ты что-то делаешь?

— Да я уж сделал.

— Ты можешь купить «промышленные»: все уверяют, что они к весне сыграют вдвое.

— Мамап, я знаю кое-что повыгоднее.

— А что такое, например?

— Ну, мало ли! Теперь ведь посыпают персидским порошком ростовщиков, и даже наш «взаимный друг» Michel окочурился... В их место нужно же нечто новое.

— Вот то и есть, но что же именно?

— Ах, мамап! Это возможно только тому, кого, как меня, считают беззаботным мотом, у которого нет ничего за душою.

За дверью что-то резали и положили ножницы.

— Вы, татап, что-нибудь шьете?

— Да, мой сын, я зашиваю свои дыры, я чинюсь... подшиваю лохмотья, которых не хочу показать моей горничной.

— Это, татап, очень благоразумно и благородно.

— Но неприятно.

Юноша хотел что-то ответить, но промолчал, и только кадык у него ходил, клубясь яблоком.

За дверью опять послышалось, как что-то отрезали ножницами и снова положили их на место, и в то же время хозяйка сказала:

— Я думаю, что ты гораздо больше бы выиграл, если бы помог дяде Захару поправить увлечения его молодости. Лука это наверное бы оценил и стал бы принимать нас.

— Очень может быть, татап, но я ведь не самолюбив и не падок на то, чтобы хвалиться, где меня принимают.

— Но он бы тебе просто дал много денег.

— Что ж, я очень рад, но только как это сделать?

— Надо взять бумагу, которой боится дядя Захар.

— То есть, милая мама, ее ведь надо украсть!

— У тебя такая грубость, что с тобой нельзя говорить.

— Матап, я ничего не грублю, а я только договариваю то, что надо сделать.

— Неправда. Эта женщина сама все тебе сделает.

— Э-э! ошибаетесь! Эта женщина есть превосходный агент и превосходный математик, но ее же не оплетеши.

— Однако же она считает тебя игроком и мотом.

— Да, татап, но я употребляю очень большие усилия, чтобы устроить себе такую репутацию, только из-за того, что это должно сослужить мне службу при новом курсе.

— Сказать по совести, я ничего не понимаю, для чего это нужно.

— А кажется, что проще! Все уже вкусили «доблего» жития, и оно, наконец, надоело... Что делать? Род людской неблагодарен и злонравен... *Felicitas temporum*[47] откланивается... Нужен реванш... есть потребность в реакции...

— И что же будет в реакции?

— Это, татап, еще неясно, но известно всем, что явления не повторяются, а после дождичка бывает ведро, и потому прослыть мотом и кутилой теперь все-таки выгодно — это значит обнаружить в себе известную благонадежность, которая пригодится очень скоро.

— А вы уже на всё готовы!

— Как же вы хотите иначе? Ведь мы же так и натасканы, чтоб быть на всё готовыми.

— Скажи, однако, как не мудрена ваша мудрость!

— Ах, татап, что такое нам мудрость? Уж фельетонисты, и те где-то вычитали и повторяют, что «блага мудрость с наследием», а ведь вы с папашею нам наследия не уготовили.

— Христианские родители и не обязаны снабжать вас наследием.

— Нет-с, извините-с, обязаны!

— Где же это сказано?

— А вот в «премудрости Павла чтение», на которое любят ссылаться; там это и сказано: «не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей».\*

— Это что-нибудь из толстовского, в простом этого нет!

— Извините-с! Не угодно ли посмотреть в самом в простом второе послание к коринфянам двенадцатая глава?

— Откуда ты все это знаешь, где и какая глава?

— Га! Я интересуюсь-с! Я хочу этим побить Толстого!

— Так и бей! Это прекрасно тебя выставит.

— Позвольте-с, — придет время.

— Какого еще надо время: он надоел.

— Прекрасно-с, но ничего не надо делать даром... Из их похвал не шубу шить. С тех пор как изобретены денежные знаки, за всякие услуги надо платить: я из руки выпускаю услугу, а ты клади об это самое место денежный знак.

— Но ты бы мог и получить наследие.

— Ах, вам все не идет из головы дядя Лука!

— Именно не идет.

— Ну, я вас успокою: с наследством этим все кончено: «оставь надежду навсегда!»\*

— Ты этого не можешь знать.

— Нет, знаю. Я это купил, родная, у нотариального писаря. Все отдано на «питательные учреждения» и «открытое научение».

— Ты шутишь!

— Нисколько-с.

— А Лидия?

— Ей не нужно; она не хочет возбуждать зависти и ссор, и отказалась.

— Вот дура!

— И вредная! не отдала родным!

— Но этого нельзя допустить!

— Не надо бы-с!

— Что ж делать?

— Надобно спасаться, чем знаете, хоть даже чудом!

— Теперь ты веришь в чудо?

— О да, тамап!.. Я верю во все, во что угодно: я жить хочу.

И жить, я чувствую, я буду!

Хоть чудом, — о, я верю чуду!

Я вам даже нечто и больше скажу, но это между нами.

— Пожалуйста.

— Надо проводить нового чудотворца...

— Какие пустяки!

— Нет-с: это надо. И у меня такой есть!

— Но что же он может делать?

— Не беспокойтесь!.. маленькие вещицы он уже делает, и очень недурно, но надо его хорошо

вывести и хорошо рекомендовать. О, я знаю, что надо в жизни!

## XII

Мать и сын умолкли. Казалось, они оба вдруг устали от всех перебранных ими впечатлений и тяжести такого решения, после которого каждым из них ощущалась потребность в каком-нибудь внешнем толчке и отвлечении, и за этим дело не стало. В эти самые минуты, когда мать и сын оставались в молчании и ужасе от того, на что они решились, с улицы все надвигался сгущавшийся шум, который вдруг перешел в неистовый рев и отогнал от них муки сознания. Валерий все еще был погружен в соображения, но хозяйка встревожилась и оживилась: она выбежала в беспорядочном туалете в гостиную, бросилась к окну и закричала:

— Смотри, какая толпа!

Валериан лениво потянулся как бы спросонья и отвечал сквозь зубы:

— Нелепая толпа, тапан, не стоит и смотреть!

— Да, но, однако, это трогательно!

— А я так думаю — нимало.

— Но да, но все-таки ведь это вера!

— Не знаю, право!

— А вообрази, наш швейцар: он, должно быть, совершенный нигилист.

— Он, кажется, когда-то славился другим.

— А именно?

— Он помогал переводить нигилистов. О нем знает ваш генерал.

— Но как же, — я его спрашиваю, — что это значит? А он отвечает: «Необстоятельный народ-с мечется, а не знает чего».

— Он, однако, умно вам ответил.

— Ну, полно, пожалуйста! Но что за глупые, вправду, чего они все разом хотят?

— Вероятно, они хотят, чтоб их вытолкали и побили.

— И какие гадкие: испытые, оборванные!

— Ну да, труждающиеся и обремененные. Тут, верно, где-нибудь Jean или Onthon.

— Гляди, пожалуйста: вот и эта бойкая женщина, на которую жалуются. Взаправду, смотри, как она их царапает!

Валериан встал и оживился.

— А-а! — сказал он, улыбаясь, — вот к этой я неравнодушен. Это личность с характером, ее зовут как-то вроде Елизавет Воробей\*; она вывозит знаменитость в свет, и бьет, и царапает ту самую публику, которая сделала им всю ихнюю славу. По-моему, она да Мещерский\* только двое и постигли, что нужно людям, которые не знают, чего хотят. Пойду посмотреть, как она этих олухов лушит!

Walerian вышел в переднюю, где было темно, но у лампы возилась со спичками та самая красивая горничная с китайскими глазками, которая несколько времени назад ласково позволяла генералу целовать ее в шейку. Увидав ее, Walerian поморщился и стал надевать перчатки.

Девушка бросила спички и хотела уйти, но опять остановилась. Она была неспокойна, и лицо ее разгоралось и принимало дерзкое выражение.

Молодой человек это заметил и, вскинув на голову фуражку, стал сам надевать без помощи свое

пальто.

Девушка посмотрела на него искоса и решилась ему помочь. Она взяла у него из рук пальто, но едва лишь он начал вздевать его в рукава, как она бросила пальто на пол и исчезла за вешалкой, где была маленькая дверь в каютку, служившую ей помещением. Из этой каютки на парадную лестницу выходило маленькое зеркальное окошечко, затянутое голубою тафтой.

— Свинья! — прошептал вслед ей Валериан и, подняв с полу пальто, отряхнул и надел его без посторонней помощи, а потом, выйдя на лестницу, торопливо побежал вниз по ступеням. Но быстрота его не спасла, и вслед ему из окна раздалось:

— Ишь, сгорбил как виноватую спину! Думает, не знаю, куда поспешает! Драть бы вас с вашим старухам-то!

Но Валериан убежал и старался не слушать о том, чего, надо думать, он заслужил.

### XIII

Внизу лестницы встретились два брата: Аркадий и Валерий, «рохля» и «живчик». Аркадий (рохля) был старше Валерия (живчика) лет на шесть и гораздо его солиднее. Он был тоже породистый «полукровок»: как Валерий, пухлый и с кадыком, но как будто уже присел на ноги. С лица он походил разом на одутловатое дитя и на дрессированного волка. От него пахло необыкновенными духами, напоминавшими аромат яблочных зерен.

Дверь материной квартиры рохля нашел незакрытою. Так она оставалась после недавнего выхода Валериана. Аркадий презрительным тоном обратил на это материно внимание. Та пожала плечами и сказала:

— Что ж делать? Мы ведь даже не вольны в нашей прислуге. Принять и отпустить человека — целая процедура, и люди это знают и не боятся, а позволяют себе все что угодно.

Аркадий перебил:

— Надо, чтобы Валериан не ставил себя в такое положение, чтобы зависеть от женщины!

Мать махнула рукой и сказала:

— Ах, уж оставь говорить против женщин!

Из комнатки за вешалкой как бы в ответ на это слышалось тихое истерическое всхлипывание.

Хозяйка встала и заперла эту дверь и снова села.

— Я всегда буду говорить, что женская прислуга никуда не годится, — произнес тихо Аркадий.

— Она дешевле и полезнее, — отвечала мать.

— Зато вот и терпите ее выходки.

— Ах, я уж и не знаю, от каких выходок хуже! Мне кажется, от всех этих впечатлений можно сойти с ума!

— Это всегдашняя ваша песня, тапан... Но зачем вы за мной посылали?

— У меня был брат Захар... Когда ж это кончится?

— Да что такое? Дядя вечно болтает... Он известный болтун!

— Пусть он болтун, но ты не порть свою карьеру. Я за тебя дрожу!

— Да нечего вам дрожать, тапан! То время, когда шантаж был развит, прошло. Теперь все в низшем классе знают, что за шантаж есть наказание, и к тому же я и сам не хочу здесь больше оставаться, где этот *fabulator elegantissimus*[48] невесть что обо всех сочиняет. Тетя Олимпия сама взялась мне уладить это с Густавычем. Его зятя переведут на Запад, а я получу самостоятельное назначение на

Востоке.

— О, пусть бы она хоть этим загладила свой грех передо мною!

— Какой же это грех?

— Грех? Несчастье всей моей жизни.

— Ах, это что-нибудь такое, чего мы, как дети, не должны знать!

— Вы не знаете ничего, кроме того, что вас самих касается. Но когда же она тебя устроит?

— Сегодня... может быть, сейчас! Если я получу назначение, то танта Олимпия сюда заедет... Да вот и она, — добавил он, взглянув в окно на улицу, — я вижу, у подъезда ее коляска и кучер с часами на поясице.

Рохля пошел в переднюю и открыл дверь на лестницу, по которой поднималась пожилая, очень массивная дама в тальме дипломатического фасона, который, впрочем, очень любят и наши кухарки. Под меховую тальмой, представляющей как бы рыцарскую мантию, на могучей груди дамы сверкала бисерная кираса. Дама немножко тяжело дышала, но поднималась бодро и говорила, улыбаясь, «рохле»:

— Смотри, мне скоро шестьдесят пять лет, а мое сердце работает еще как добрый кузнец.

При этом она взяла руку племянника и приложила ее к своей кирасе, а потом, войдя в переднюю, подставила хозяйке свою щеку для поцелуя и продолжала:

— Прости, я к вам на минуту: взойду, но не разденусь. Я лишь затем, чтобы вас обрадовать: Аркадий, ты назначен! Ступай, сейчас ступай благодари! Это его свяжет и отрежет ему путь к отступлению.

— Сейчас, *ma tante*, — отвечал Аркадий и стал искать свое пальто.

Из-за вешалки показалась оправившаяся горничная, но Аркадий судорожно от нее уклонился и спешно вышел.

Олимпия это заметила и, входя в гостиную, сказала с улыбкой:

— Он все еще по-прежнему... такой же шут... боится женщин!

— Ах!

Хозяйка махнула рукой.

— Э, милая, не стоит думать!.. Это теперь совсем не так необыкновенно! Но хорошо, однако, что *il ne met plus de manchettes*. [49] Теперь он все-таки похож как все люди. Но, однако, *adieu!* Я к тебе, может быть, еще заверну поговорить по душе, а пока у меня миллион дел. Вы все ведь здесь уснули! Так нельзя! Вы просто дрыхнете, как это говорят, и притом жуете онуч... Вас надо будить! Куда ни заглянешь, везде всех надо будить. Ваш сон ужасно затрудняет все славянство. Святая Русь есть сила мира, и это будет ее имя: *Silamira!* Но это еще пока спящая сила! Со временем это будет не так! Тогда не надо будет приходить с Запада и толкать вас, как теперь, когда вы начинаете очень скандально сопеть и храпеть...

— Да, но у нас теперь все веруют!

— А по-моему, вы даже плохо и веруете: вы веруете все как-то сонно... точно во сне... точно вы насилиу плывете и насилиу веруете, и того и гляди сейчас куда-то опуститесь и всё позабудете...

Прощай! До свидания!.. Ты, разумеется, уже слышала, что сделала Нина, Захарова дочь?

— Говорят, будто она... будет матерью.

— Чего там: «говорят»! Это факт! Конечно, она будет матерью... Но как это случилось?.. Ведь граф

так стар и так глуп, что он женился только назло своим дочерям Гонерилье и Регане...

— Какая безнравственность!

— Нет, да ты, вероятно, еще не все знаешь? *C'est un inceste!*..[50] Ей поручили отвезти племянника, который еще до сих пор кадет или что-то подобное...

— О боже! Боже!

— Да, именно уж это настоящий *criminal conversation de Byzance!*[51]

И она замотала руками и головой и пошла к двери, но хозяйка удержала ее у порога и сказала:

— Ты много сделала, что устроила опять Аркадия, но я боюсь — что, если он взаправду сумасшедший?

— Оставь и будь спокойна, — ответила Олимпия, — помни, что говорил Оксенштиерна\*: «Не велик ум надо, чтобы делать политику».

Олимпия прижала ладони к своей кирасе и добавила:

— Это совсем не наша обязанность, чтобы поставлять умы для всего света, а наше *métier* совсем иное, и оно все в том, чтобы насыпать соли на хвост всем, кто рвется вперед.

Объяснив свое призвание, дама еще раз щелкнула себя по кирасе и, встряхнув руку хозяйке аглицкою встряской, сошла вниз, села в коляску наискось против часов, торчавших на поясице кучера, и понеслась *jouer un tour de son métier*. [52]

#### XIV

Хозяйка осталась одна и сейчас же спросила себе пальто и калоши, взяла в карман флакон с нюхательною солью и ушла из дома, сказав, что хочет сделать покупки в «бракованной лавке».

Она чувствовала ту ужасную усталость, о какой может иметь понятие только актриса, исполняющая роль, которая не спускает ее целый акт со сцены.

Она была очень утомлена, почти измучена, но в ней еще много силы для таких же борений. Она скоро оправится на воздухе и будет в состоянии дать наилучший отчет на своем месте.

А пока кошка в отсутствии, без нее начинают шалить домашние мыши.

По уходе хозяйки горничная с китайскими глазами и фигуркой фарфоровой куклы прошла по всем комнатам и везде открыла форточки, а потом отдернула портьеру и открыла дверь из гостиной в будуар, который служил тоже хозяйке и ее кабинетом и тайником. Здесь девушка убрала беспорядок, потом вынула из кармана подобранный ключик, открыла им стол и, достав оттуда надушенный листок слоновой бумаги, зажгла свечи и начала выводить:

«Если предложения ваши обстоятельны, то хотя ваши лета и не сходны, но за вежливость вашу я согласна иметь для вас полные чувства, только никак не в вашем собственном доме и не при ваших людях».

Она перечитала написанное и внизу после своей подписи еще приписала:

«Только пожалуста с ответом по почте».

Написав это письмо, девушка достала из бювара своей госпожи конверт и начала тщательно выводить адрес. В это время портьера раскрылась с другой стороны будуара, и в комнату, выпятив зоб, как гусыня, вошла рослая белая женщина лет сорока пяти, с большим ртом и двухэтажным подбородком. Это была домовая кухарка.

— Достань-ка мне у нее пару папиросок, — сказала она горничной.

— Возьми сама, — отвечала девушка и продолжала надписывать конверт.



Кухарка взяла из сердоликовой коробочки\* несколько папирос, закурила одну из них и, севши на шелковом пуфе перед зеркалом, начала выдавливать ногтями прыщик на подбородке, а потом она запудрила это место барыниной пуховкой и сказала:

— Мочи нет как прыщи одолели!

— Не лакай черного пива...

— И то уж не пью.

— Ну, так не тискай мальчонков, которые приносят покупки.

— Ты, что ли, это видала?

— Еще бы! Зеленщикова мальчонку вчера, думала, ты, как русалка, совсем защекочешь.

— Он ребенок, еще совсем без понятьев.

— Так ты и станешь дожидаться евонных понятьев!

— Нет, я ведь, ей-богу, я только всего и люблю баловать да помять их, красивых детишков. У меня крестник уж был шестнадцати лет, да вот помер, — я и скучаю. А ты это на кого еще грех новый наводишь: кому это пишешь?

Девушка не ответила.

— Думаешь, я не знаю! А я знаю!

Китайка опять промолчала.

— Хочешь, скажу?

— Ну, говори!

— Генерала ты путаешь, вот что!

— Ну, так и знай, что его самого!

Она стала наклеивать марку.

— Вот ты надо мною смеешься, что я ласкаю детишков, а сама хуже попалась.

— Ничего не попалась.

— А отчего ж ты ревешь и некрасивая стала?

— Реву о том, что дура была, — в верности жить полагала.

— Вот то-то и есть; а теперь и видать — непорожня.

— И врешь, ничего еще пока не видать.

— Отчего же, когда батюшка был, он меня поблагословил и попить мне чайку дал с своего блюдца, а тебе нет?

— У меня на лбу петушки были натрепаны: он не любит. Да и не надо: не все то и сбывается, что он говорит.

Кухарка покачала головой и, вздохнувши, сказала поучительным тоном:

— Да, уж это неизвестно, почему так он по купечеству много отмаливает, а в разных званиях не может.

— Не потрафляет!

— Не надо, дружок, так говорить, потому что хотя он и не потрафляет и не все пусть сбывается, ну, а все мы должны верить в божье посланье, хотя я и сама... этой, драчихе, которая царапает, так бы ей все космы выдрала!

— И отвели бы тебя под суд, — сказала девушка, у которой нрав был шкодливый, но робкий. Но кухарка, женщина опытная, смело ей отвечала:

— Ничего не значит: «нарушение тишины беспорядка! Восемь дней на казачьем параде!» Ей-богу, вздую!

XV

В это время внезапно раздался звонок. Кухарка и горничная обе быстро вскочили: девушка проворно опустила письмо в карман и побежала отворить парадный вход, а кухарка прошла в коридор, соединяющий переднюю с кухней, и притаилась у двери.

Вошел Валериан и негромко спросил:

— Кто у нас?

— Никого, — ответила девушка.

— А мама?

— Вышли.

— Не вышел ли, кстати, и из тебя твой дурацкий каприз?

— Как не дурацкой! Скажите, пожалуйста... нечего мне капризничать?

Девушка забирала самую бранчивую ноту.

— Возьми, пожалуйста, вот это себе и не дуйся, как дама женского пола.

— Что это такое?

— Серьги.

— Мне не серьги нужны, а добудь мне средство.

— После добуду.

— Нет, вы меня обманываете! Я вам не дура!

— Бери пока это!

— Не надо.

— Что за глупость! Кому же я их отдам?

— Мне что за дело? Я не хочу! Ничего от вас не хочу, потому что вы не благородный господин и студент, а самый низкий и подлый мужчина!

Валерий хотел ее остановить какою-то грубостью, но она дернулась и сказала:

— Смей-ка, посмей! — и ушла в свою каютку.

Молодой человек юркнул туда же за нею и заговорил с лаской:

— Послушай... Ведь ты же хотела... ты просила сережки... Бери же теперь, когда куплено!

— Куплено!.. Где?.. В чьем магазине? Или, быть может, сдернул шутя у Савки на лавке?

— Зачем ты этикие пошлости говоришь?

— А как же не спросить? Быть может, их и носить нельзя?

— Это еще что за глупость?

— А, может быть, эта жимолость увидит и с ушами оторвет.

Молодой человек вспыхнул.

— Какая «жимолость»? — вскричал он.

— Да старуха-то эта... ваша Камчатка... Ведь она... жимолостная...

— Какая Камчатка!

— Не знаешь!

— Разумеется, не знаю!

— Полно дурака-то валять!

— Я тебе говорю, что не знаю: что такое Камчатка и почему Камчатка!

— Так ты у нее спроси, что это она сама Камчатка или за нее других посылают в Камчатку, а только я ее не боюсь и говорю, что она самая преподлая-подлая и уж давно бы ей бы пора умирать, а не ребят нанимать, которые хуже самой болтущей девчонки.

— Однако ты действительно невыносимо забываешься!

— Что же? Мне еще можно. Зато, когда старухой сделаюсь, не позабудусь.

Валериан бросил свой подарок на комодик девицы и, сжав ее руку, прошептал:

— Я тебя ненавижу!

— Чего благороднее, как теперь ненавидеть!

— Ты сама довела, что мне стала противна.

— А противна, так зачем ты сюда пришел?

— Я только и хотел тебе это сказать, что ты скверна!

— Ну да! Сделайте одолжение!.. Непременно скверна!.. Для кого-нибудь не скверна, а ты сказал, и уходи. Совсем напрасно ваши пульсы бьются...

— Ты врешь, мои пульсы не бьются!

— Ну да!.. Оно и видно!

— Ну так я тебе это сейчас объясню, для чего они бьются.

— Э, нет, брат, нет, нет! Я уж от этих ваших объяснений-то вон каким уродом стала, что даже все замечают.

Он что-то сказал, но она отвечала: «нет», потом опять: «нет», и потом еще:

— Нет, нет, нет! Что-о?.. Ага!.. Нет!.. Подаренье мне — это в состав не входит, а ты виноват и прощенья проси.

— И еще попроси!

— И еще!

— Ну, вот так! А то ступай вон... Вашего брата надо пробирать!

Подслушивавшая кухарка от этих последних слов пришла в восторг и, озарившись радостной улыбкой, плюнула и прошептала:

— Ах, ты шельма! давно ли из деревни, а как умеет! Это она опять на колени его поставила! Тьфу! Ей-богу в ее черт ложку меду кладет!

И кухарка еще сильнее затаила дыхание, чтобы наблюдать, что будет, но дальнейшей проборки уже не было слышно, потому что дверь маленькой каютки закрылась, а с другого конца коридора, где своим чередом совершалась забота о пище, пополз невыносимый чад.

Кухарка бросилась к своему бурливому алтарю и застала на плите самый полный беспорядок: одно перекипело и било через край, другое перегорело, пережарилось и все наполняло смрадом помещение с потолка и до пола.

Кухарка рассердилась и закричала:

— О, черт бы вас взял с вашими пульсами и с вашей проборкой! Все, дьяволы, будете нынче без жратвы!

С этим, полная гнева, она вскочила на стол, открыла форточку и размахнула настежь дверь с черного хода; но едва она это сделала, как вся просияла; на ее конце улицы тоже заходил праздник: у самого порога стоял румяный лавочный мальчик с корзиною на голове и не решался перешагнуть.

— А-а! — приветствовала его весело белая баба, — то-то я, братцы, слышу: кто это с такою великолепною гордостью ползет и катится, а это ты, шышь-пыжь — лавочная мышь? Здорово, Петрунька!

Мальчик дулся и молчал, а кучерявая бабелина рассмеялась и, потянув его за фартук в кухню, бойко продолжала:

— Полно дуть губу!.. Дурак! Ведь жив, чай, остался!

— Только и есть, что жив вам достался! — ответил плаксиво розовый мальчик и враз изменил голос, крикнув: — Принимай, что ли, скорее корзинку! Мне не время!

— А мне что за дело? Тут не снимай!.. Видишь, здесь чадно! Неси вон туда, в мою комнату.

Мальчик с корзинкою тронулся и опять в нерешительности остановился, но кухарка втолкнула его в комнату, и оттуда сейчас же послышался жалостный писк.

Вечер густеет. Все тихо.

## XVI

В кухне прочистилось; чад унесло; из кухаркиной комнаты, озираясь, вышел робко лавочный мальчик; у него на голове опрокинута опорожненная корзина. Она закрывает ему все лицо, и в этом для него, по-видимому, есть удобство. Кухарка его провожает и удерживает еще на минуту у порога; она молча грозит ему пальцем, потом сыплет ему горсть сухого господского компота, и, наконец, приподнимает у него над головою корзинку, берет руками за алые щеки и целует в губы. При этом оба целующиеся смеются.

Мальчик уже сбросил с себя свою детскую робость, а она ему шепчет:

— На гулянье пойдем вместе. Гляди, там какое веселье!.. Я тебе к празднику голубую рубашку сошью. Прибеги только завтра примерить.

— Прибегу, — отвечает мальчишка.

Она его еще обняла и, прижав к груди его головушку, сказала ему с материнскою нежностью:

— А когда тебя пошлют к прачке в заведение, ты с ее гладильщицами не разговаривай...

Слышишь?.. Они девчонки ветреные. Можешь пропасть...

— Не-ет! — отвечал мальчик. — Мне и так всех стыдно!

— Вот то-то и есть! Да все, милка, ничего и не значит... А я всех дворников подкуплю, и мне сейчас всё и донесут.

Он посвистывает и спускается с лестницы, обнаруживая в самом деле «великолепную гордость».

Дворницкий работник встречает его с вязанкою дров и говорит:

— Пётра, сколько ты прожил лет?

— Тринадцать.

— Ишь, старик! А жить хорошо?

— Ничего!

— Ожидай, значит, лучшего!

Пётра благодарит и уходит в ожидании лучшего.

Он будет на гулянье, она ему подарит рубашку. Со временем он попросит ее купить ему часы. А то ну ее к черту!

В передней и в кухне засветились хорошо протертые лампы. На плите в кастрюлях все подлито и подправлено, буря прошумела и отхлынула, наступает снова чистота и порядок, как требуется. Надо

и себя примундирить.

Кухарка повернула кран и спустила над раковиной воду до холодной струи. Этой воды она налила полный жестяной уполовник и всю ее выпила. Она пьет с жадностью, как горячая лошадь, у которой за всяким глотком даже уши прыгают. Прежде чем она кончила свое умыванье, в кухню входит тоже и горничная, и эта точно так же молча взяла уполовник, и так же налила его холодной водой, и так же пьет с жадностью, и красные уши ее вздрагивают за каждым глотком.

Затем и эта умылась холодной водой над тою же самую раковиной и замахала над головой мокрыми руками, потому что забыла взять с собой утиральник.

Говорить ей не хочется.

Кухарка ее поняла, кинула ей чистый конец своего полотенца и, поклонившись ей наподобие реверанса, сказала:

— Поздравляю с приятным бонжуром!

Горничная сделала шутивную гримасу и ответила:

— И вас с теми же делами!

Они, кажется, признавали за настоящие «дела» — только одни дела природы, которая множит жизнь, не заботясь о том, в чем ее смысл и значение.

Дама и Фефёла

(Из литературных воспоминаний)

Ученик спросил мудрого: не знаю, жениться мне или нет?

Мудрец ему отвечивал: поступай как знаешь, — все равно будешь раскаиваться.

I

Весною 1894 года один из известных русских писателей высказал несколько смелых мыслей о том, какие «подруги жизни» лучше для литератора — образованные или необразованные. Разбиралось и то, какие удобства и неудобства представляются литератору в сожительстве с женщиною образованною и что он может встретить с простою женщиною малого развития. Предложенные вопросы, может быть, и несерьезны, но они не лишены своего интереса. К сожалению, возбудивший их автор почему-то, однако, не развил своих положений и не доказал их основательности. В другом бойком органе ему возражали и смешно и ехидно, но тоже не сказали ничего выясняющего дело.

Верно, это так и должно быть, «чтобы всегда оставалось сказать о женщинах нечто новое»

(Boufflers\*). Я тоже не имею ни малейшей претензии свести любопытный спор к какому-нибудь решительному заключению, но я хочу дать кстати подходящие иллюстрации, которые беру из моих воспоминаний о литераторской жизни.

II

Незадолго перед переходом «Отечественных записок» из рук Дудышкина и Краевского под редакцию Некрасова и Салтыкова\* в этом журнале работал один писатель, которого в нынешнем случае неудобно было бы называть по имени. В данном случае его имя и не важно, так как интерес представляет само положение лица и характер двух его подруг, из которых одна была «дама», а другая «фефёла». Дама была его «законная половина», а фефёла — его «беззаконница». Обе они имели для упоминаемого писателя очень серьезное значение во время его жизни и различно исполнили свое призвание к его потомству.

Я зазнал этого человека в 1865 году, когда Дудышкин напечатал в «Отечественных записках» одну

его статью\*, которая в публике многим понравилась и привлекла автору благорасположение обоих редакторов, то есть Ст. Сем. Дудышкина и А. А. Краевского. Писателю назначили плату по восемьдесят рублей «за статью», и это его повело к худу: он был совершенно счастлив и до того увлекся литературным успехом, что стал пренебрегать своими служебными обязанностями. Служба у него по его специальности была довольно сносная, и хотя она сплачивалась не щедро, а все-таки она обеспечивала его вернее, чем литература. Но с этих пор он службою не дорожил, а занятиям литературою предавался с неудержимою страстью. К деньгам вообще он был не только не жаден, но даже почти равнодушен и в употреблении их безрасчетлив. К тому же он был очень нетребователен и спартански прост в своих привычках. Как ни есть и где ни жить — это для него было все равно, лишь бы только у него не была отнята возможность высказывать то, о чем он думал и что признавал за нужное и полезное для общества. Каков бы он ни был по его значению в литературе, но по характеру это был настоящий литератор, которому, кроме того, что делается в литературе, все трын-трава. И его нельзя было ни отманить, ни отбить от литературы, хотя бы ему при ней пришлось умереть с голода. Такие люди тогда между писателями встречались не в редкость: некоторые из них так верили в высокое значение своего литературного призвания, что не считали за важное потерпеть ради идеи не только лишения, но даже и муки... Вдобавок к этому настроению писателя его осетило еще другое искушение: к нему начали писать сочувственные письма разные незнакомки, и женские письма расшевелили в нем влюбчивость и фантазии. Словом, успех совсем вскружил ему голову, а дамские письма даже начали портить его характер и мешали ему исполнять все его обязанности — служебные, литературные и супружеские, так как писатель, на его несчастье, тогда уже был женат, и супруга у него была с характером. Женился он, кажется, еще студентом, и во всяком случае гораздо ранее, чем прославился в писательстве, а поставил он себя дома так неудачно, что жена считала себя очень умною, а его называла «глупым» и никак не хотела верить тому, что он может «сочинить» что-нибудь стоящее внимания. Это его сердило и оскорбляло, и он старался изменить в жене такой неблагоприятный для него взгляд, но достигнуть этого не мог. Более всего жене писателя казалось невероятным, что он может что-нибудь понимать о супружеских обязанностях, а внимание посторонних дам к ее мужу ее раздражало и довело ее до такой ярости, что она от оскорблений на словах перешла к обидным действиям и явилась к А. А. Краевскому возвестить ему свою победу и выразить журналу порицание за то, что через его посредство у ее мужа «начались шашни с дамами». А. А. Краевский выслушал ее, помычал и направил ее к Дудышкину, но сам встревожился, пробурчал несколько раз «бог с ней» и распорядился, чтоб ее к нему вперед не пускали.

### III

Писатель был человек лет тридцати или тридцати двух, белокурый, маленького роста, очень слабый и нервный, с небольшими голубыми глазками и вихрястою шевелюрой. Нрав он имел добрый, но мелочный, раздражительный и, что называется, «петушливый». Бракосочетался он «по состраданию». Тогда такие благородные вещи тоже были в моде, и на них очень многие попались. Приятель мой был из числа этих счастливцев и очень горько расплачивался за свое великодушие. Супруга его имела над ним самые разносторонние преимущества: по ее словам, она была старше его только на пять лет, но по виду надо было думать, что разница была гораздо серьезнее, а притом она была крепкая, сильная, очень предприимчивая и обладала счастливейшим женским талантом — не бояться никаких скандалов. Обладая такими боевыми свойствами, дама притом была также

чрезвычайно неумолима как в натиске, так и в преследовании. Муж с женою едва ли не с первых же дней брака не поладили, и с тех пор они постоянно жили очень дурно, а по переезде их в Петербург жена постаралась устроить так, что это скоро сделалось известно всем в редакции. Прием, для этого употреблявшийся, был простой: дама, с виду очень образованная, сама приходила в редакцию или в контору и жаловалась на мужа всем: Дудышкину, Краевскому и т. д. до конторщика Боголюбова, который выдавал деньги. Дама делала это не только без малейшей застенчивости, но и без всякой нужды, просто как бы по влечению души. Впрочем, может быть, она имела какую-нибудь цель понизить акции своего мужа, представляя его смешным и пошлым. Скромность она не уважала и без всякого стыда рассказывала самые ужасные вещи о том, как грубо и бесцеремонно она обращается с мужем.

— Он хочет меня остановить жалкими словами, — говорила она. — *Mais c'est drôle!*[53] Как же он может на это надеяться, когда я ему уже давно сказала, что я никакого скандала не боюсь? *Je sais ce que j'ai faire!*[54]

Она, однако же, скоро всем надоела, и Дудышкин перестал ее принимать, так же как и Краевский, но в контору она еще являлась и срамила мужа как только находила возможным. Ей, конечно, не верили, но, однако, все-таки она повредила мужу уж одним тем, что сделала его смешным. Вдобавок она вооружила против него Краевского, которого она подстерегла раз на его пути от дома к Гимнастическому павильону и засыпала его претензиями, а когда он стал от нее убегать, повторяя: «Ей-богу, ей-богу, я болен и ничего не могу!» — она, не получив от него желаемого сочувствия, сказала ему вслух: «*Quel vieux idiot!*»[55] — и бросилась в открытые двери Семионовской церкви, закричав с крыльца, что «проклянет его перед образом». Краевский, впрочем, на нее не сердился и не оробел от проклятия, а говорил вечером: «Бабы! я их знаю!» И он, кажется, действительно «знал баб», и потому в редакции дело писателя облаживалось хорошо, но не так это выходило в очах служебного начальства, к которому предприимчивая супруга тоже являлась и говорила там, что ее «*rique-assiette*»[56] не верит в бога и непочтительно говорит о таких и таких особах, чего-де она, как институтка, не может сносить и «доведед до сведения», потому что у нее есть дитя, которое надо воспитывать в добрых правилах.

— Да; *Je ne suis pas seule!*[57]

#### IV

Чего хотела достичь эта супруга, того она, кажется, и сама не знала. Определенно она стремилась только «получать его жалованье». Это она заимствовала где-то у жен фабричных рабочих, у которых мужья пропивают заработки. Хороший пример понравился ей: тогда любили «народное». Правда, ее муж не пропивал заработка, ну, а все-таки...

— *Je ne suis pas seule!* Сделайте милость!

Краевский приказал:

— Отдайте, отдайте!

Он знал женщин.

Муж как услышал об этих изветах, так и заболел; больной он остался совершенно беспомощен при своей беспощадной тиранке. Мы жили тогда неподалеку друг от друга у Таврического сада, где я живу тридцать лет, и я два раза навестил больного и видел его в ужасной обстановке: раз я застал его в комнате, напитанной самым невыносимым зловонием, а в другой раз в комнате было открыто окно,

и на больного страшно дуло.

Я спросил его, для чего открыто это окно в такой холодный день?

А он покачал головою и отвечал мне:

— Ах, знаете, я боюсь отгадать, что для того, чтоб я скорее умер!

Я встал и закрыл окно, а как это произвело соответственный звук, который был слышен за стеною, то оттуда из другой комнаты послышался гадкий сдержанный смех. Затем я ушел, а больной вскоре поправился и, как ни в чем не бывало, пришел на редакционный вечер, который мне остался памятным по дебатированным тогда роковым вопросам о русском искусстве. Это было вскоре после достопамятной лекции, прочитанной в бывшем художественном клубе г-жою Якоби, которая тогда только что возвратилась в отечество и много сообщала о\* гарибальдийском движении\*, в котором она принимала живое участие и пользовалась приязнью итальянского героя. Теперь, когда после этого прошло около тридцати пяти лет, очень трудно передать то оживление и симпатии, которые вызвала эта лекция, произнесенная женщиной, о которой тогда говорили очень много интересного. Художники не только аплодировали г-же Якоби, как даме, но и выражали настоящее удовольствие по поводу ее суждений о художественных вопросах. Тогда помощи для русского искусства искали повсюду и говорили то о профессоре Якоби\*, то о Микешине\*, которые тогда были в моде и наверняка могли «спасти русское искусство», а зауряд вспоминали и Петра Соколова\*, и Зичи\*, и Сверчкова\*, и Клевера\*. И, несмотря на то, что все эти уважаемые лица были напоены одним духом художников Александра и Дмитрия, о которых упоминается в книге «Деяний апостольских»\*, тогда, однако, находились удивительные люди, которые умели что-то различать в них. Но нашлись, впрочем, и такие, которым лекция г-жи Якоби не понравилась, — не нравилась она и нашему писателю, которому было противно видеть вызванное ею возбуждение, и он захотел подвергнуть и лекцию и восторг слушателей критике. Статья о лекции в Троицком переулке должна была явиться в той книжке, которая уже набиралась, но она не явилась вовсе, и автор ее едва уцелел.

В семействе критика произошли ужасные события.

V

Через два или три дня после лекции, поздно вечером, когда в Таврическом саду свистали соловьи и у частокола, ограждавшего сад, стояли в молчании и слушали певцов несколько любителей соловьиного пения, я увидел здесь воспоминаемого литератора. Он был чрезвычайно уныл, и вдобавок все его изнеможенное болезнью лицо было исцарапано и испачкано, а платье его было в сору и в пуху; очевидно, он был в большой переделке.

Я его тогда все-таки еще мало знал и заподозрил, не выпивши ли он, но это было напрасно.

Жалостливый вид, в котором он слушал соловьев у частокола, был результатом того, что он в это время особенно сильно пострадал за свое пристрастие к литературным занятиям, и притом все в этот раз им написанное было уничтожено, а именно, статья о лекции в Троицком переулке была изорвана супругою писателя в клочки, а сам он оцарапан, облит чернилами, отлучен от домашнего очага и изгнан из дома с отображением от него часов и денег. Затем жена пригрозила ему, что она поедет к институтскому начальству и расскажет, какие у ее мужа понятия о самых священных предметах... А уж затем, разумеется, «ему покажут!»

Я пригласил его к себе переночевать, и он это принял, так как ему решительно нельзя было иначе устроиться. Он прозяб и был голоден и потому с аппетитом кушал чай с булками и при этом



рассказал мне длинную историю своих многосторонних страданий от жены, и в этот раз он сообщил мне и некоторые подробности о ее происхождении: она была дворянка из южного края и окончила курс в одном из институтов, потом поссорилась с матерью и жила в Швейцарии и чему-то училась; после была гувернанткой, потом переводчицею и актрисою, — нигде не прижилась. На несчастье моего товарища, она показалась ему очень несчастною, и он на ней женился, а она потом в минуту нежности призналась ему, что «хотела в его лице отомстить всем мужчинам за угнетение женщин». А в доказательство того, что это было серьезно, она немедленно же начала исполнять свою программу с такою последовательностью, что у бедняка отшибло память на очень важные случаи их семейной жизни. Она его так огорошила, что он все позабыл и пренаивно говорил о своем ребенке:

— Знаете, откуда он у нас взялся, — я этого, право, даже не могу себе представить.

Но возвратимся к порядку событий.

Пострадавший в эту пору был очень расстроен и не хотел возвращаться к своей мучительнице, а собиравшись жить от нее особо. Я по его просьбе ходил на следующий день к его жене для переговоров, не согласится ли она облегчить ему его домашнее положение или не признает ли за лучшее отпустить его на свободу за посильное вознаграждение? В особе этой я увидел женщину, очень некрасивую и пожилую, но смелую и бойкую и, без сомнения, способную на большие нахальства. В приемах у нее оставался какой-то след «гостинности», но перемешанный с самою резкою вульгарностью, или, лучше сказать, хамством. Художник мог бы взять ее за модель для изображения русской ассамблейной боярыни, которую культивирует император Петр Первый и с образовательною целью напоил вполпьяна и пустил срамословить. Кое-как, хоть клочками, я припоминаю нашу беседу.

VI

Дама встретила меня очень веселая, без малейшей застенчивости, и сама заговорила со мной, пересыпая русские слова французскими:

— Пожалуйте, пожалуйста! Dieu vous bénisse:[58] я очень рада примирителю. Вы ведь пришли нас мирить? Садитесь, но помирить со мною кого бы то ни было очень трудно: я не из добрых, и особенно — извините! — я не люблю мужчин.

И, заявив о своей ненависти к мужчинам, она сейчас же упомянула и о том, что «перед нею за всех за них отвечает ее муж». Она весело расхохоталась и затем все время потешалась над своим мужем, рассказывая о нем дрянной и неприличной вздор, после чего тотчас же начинала злословить дам, писавших ему литературные письма, и называла их именами своего изобретения, как-то: «маркиза Дешкуранс», «баронесса Шлюхман» и «леди Кис-ме-квик» да две русские помещицы «Обнимайкина и Целовалкина», которых она «всех презирала», а сводила она все это к тому, что «все они дуры и муж ее смешон и решительно ни на что не годен, особливо vis-à-vis d'une femme».[59] Для нее это, впрочем, tant mieux,[60] потому что у нее другая натура, и она находит, что женщина должна быть выше природы, потому что «природа — свинья».

— Кто любит свинство, тот и может признавать над собою власть природы, но для меня все это противно. Вы понимаете?

Я не понимал и она поясняла:

— Все эти взгляды, и мины, и вздохи, и положения... словом, все это и прочее, что воспевают поэты — это отврат, все это c'est archibête![61]

Поэтому я надеялся, что она довольно легко согласится разъехаться с своим супругом, но она, однако, требовала, чтоб ей за это дать как можно больше денег.

— Потому что у меня есть дитя. Вы понимаете? *Je ne suis pas seule!*

Мы поторговались, и она согласилась «получить», и после того, не иначе, она поедет на юг — на милый, теплый юг с этого противного, холодного севера.

— *Le diable!*[62] я даже давно этого хотела и теперь очень этому рада!

Казалось, все было улажено, и дама даже сказала мне: «*Le bon Dieu vous bénisse*», и сейчас же переменялась: окончив деловой разговор, она призвала своего двухлетнего сына, много раз его повернула передо мною и начала его снаряжать на прогулку.

Тут я мог его разглядеть: это был болезненный, рахитический мальчик, с большими, почти бесцветными глазами, в которых выражался постоянный испуг, возбуждавший к нему сожаление.

Его держала на руках свежая, белолиценькая и румяная девушка лет восемнадцати, с очень большими, как будто даже непропорционально большими серыми глазами и пристальным и добрым, но очень твердым взглядом (я описываю эту молодую «фефёлу» потому, что она не пройдет перед нами мельком, а у нее есть роль в моем воспоминании). Девушка, вероятно, недавно пришла из села и была очень застенчива, а дама находила удовольствие смущать ее стыдливость. Она подсмеивалась над ее свежестью и при мне нашла случай назвать ее несколько раз то «орлеанскою девственницей», то «деревенскою фефёлой», причем дама так разрезвилась, что повернула девушку перед собою и стала ее рекомендовать тоном французского панорамщика:

— *Voilà Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orleans, héroïne. Extrêmement pieuse, il lui semblait entendre des voix, qui lui ordonnaient d'aller sauver... son maître.*[63] — Дама рассмеялась и

продолжала: — Без шуток, без шуток, эта девица очень одухотворена, и она видит вещие сны... да, да, да! И она часто плачет и даже иногда рыдает во сне... о моем супруге, а я ее бужу и посылаю на ветер... *c'est bien comique!*..[64] Потом я высылаю туда же этого дурака, которому дан дивный дар трогать и располагать к себе сердца дур, из коих вот первая... *La voilà, фефёла и Pucelle!*[65]

Название, выраженное по-французски, очевидно очень обижало девушку, и она, зардевшись, как вишня на солнце, сказала:

— Фефёла я — это точно, я простая девушка и никаких примеров не получила, а что другое вы меня называете, то это я совсем не понимаю.

Дама расхохоталась и передразнила:

— «Примеров не получи-ла», так иди с богом.

И, перекрестив несколько раз своего ребенка, сидевшего на левой руке девушки, дама подала ей в правую руку дождевой зонтик и пропела:

*Voici qu'a tourne la guerre,*

*Quand Pucelle porte bannière!*[66]

Затем она взяла девушку за плечи, повернула и, воскликнув: «*Peste!*»[67] — выставила ее за дверь.

Девушка эта на вид была ни хороша, ни дурна и не казалась ни умною, ни глупою, а какова она была на самом деле, это увидим ниже.

Звали ее Прашею.

VII

Супруги «разъехались». Совершилось это почти так, как часто делается, то есть «не без

неприятностей», — ни смиренность мужа, ни французские ритуальники жены не устранили ссоры, и при самом последнем «adieu» дело не обошлось без участия «народных представителей» в лице двух дворников, которые при этом обнаружили непосредственное народное мирозерцание.

«Неприятность» поднялась было из-за маленькой книжной этажерки, которую тянули в две противоположные стороны до тех пор, пока она с треском распалась на свои составные части, и тогда те части, которые остались в руках дамы, полетели в лицо мужу.

Один из народных представителей был против этого и говорил, что «не надо скандалить, а надо разойтись чинно и благородно», но другой, напротив, находил, что это так и следует, и сказал: «Если не ссориться, так тогда зачем и расходиться?» Мне это показалось оригинально, и я после побеседовал с этим мыслителем, по выводам которого «в разврат идти» (то есть разлучаться) можно только «до того поругамшись, когда уже терпеть нельзя. Тогда и разводишься. И тогда — поскандалить очень приятно, потому что вперед лучше и знаясь не захочешь».

Это рассуждение осталось у меня в памяти, и я не раз в жизни видел, что в нем есть основательность. Но, как бы то ни было, супруги разлучились таким образом, что взволнованный и огорченный муж прошипел на пороге:

— Желаю вам всего лучшего!

А жена ему ответила:

— Diable t'emporte![68] — и заперла за ним дверь.

Ребенок остался при матери, и с ними же осталась и Праша. С неделю ее всякий день можно было встречать в Таврическом саду, где она возила в колясочке писательское дитя. Она хорошо берегла ребенка и очень сожалительно говорила об изгнанном хозяине.

— Очень простой и смиренный, добрый барин! — говорила она и сама краснела, задумывалась и однажды даже заплакала.

— Вот это хорошо, что вы такая добрая девушка, — сказал я. — Хорошо, что вы жалеете человека. Но, впрочем, надо жалеть и барыню. У нее какой-то несчастный характер.

— Ах, это точно, что жалеть надо всякого, но она смелищая, а он ужасно какой смиренный. Ему и на воле тоже мало будет хорошего.

И вскоре после этого такой пассаж, что с детской колясочкой в Таврическом саду появилась сама мать с зонтиком и с книгой в руках, а Праши уже не было.

Что у них случилось?

### VIII

Помню серый, холодноватый день. Мать сидит и держит в руке волюмчик Таухницского издания\*. Но чтение, по-видимому, плохо ее занимает: она роняет книгу и опять ее поднимает, кладет ее на колени и хочет резать листы головною шпилькой, но листы рвутся, и книга падает. Она хочет ее поймать и попадает себе в лицо зонтиком, который держит в руке, вместо того чтобы положить его возле себя и сделать, что нужно, обеими руками. Ребенку наскучило смотреть на это неуклюжество, и он стал плакать. Тогда дама бросила книгу и стала поправлять дитя, но у нее ничего не выходило. Она нагнулась пребезобразно над коляской ребенка и оцарапала ему булавкой лицо; он заревел. Она ему погрозила, потом выхватила его и перевернула, опустив его вниз головою, и, рассердясь на себя, прибила его рукой справа и слева. Ребенок вытянулся и зашелся в рыданиях. Две близко сидевшие дамы в самых мягких выражениях заметили матери, что ребенок испугался и что от этого может

случиться припадок. Она отвечала им, что это «не их дело», что она «сама мать», и, быстро встав с места, она повезла колясочку к выходу из сада, но на виду у всех попала в колесо зонтиком и за один прием переломила в зонтике ручку и опрокинула коляску. Это ее так взбесило, что она бросила и коляску и ребенка и со всех ног упала ниц в траву куртины и истерически зарыдала.

Дитя, видя безумие матери, стихло

Несколько дам кинулись к ней, чтобы ей помогать, но она на них навела ужас своими судорогами, и дамы отступились.

Пришли садовый сторож и солдат и стали ее поднимать, но она вскрикнула: «Peste!» — и ударила их обоих по рукам обломком зонтика, а потом встала сама, посадила дитя и повезла сбоченившуюся коляску, не обращая ни малейшего внимания на ребенка, который теперь, однако, молчал, как будто он понял, что его дело не шутка.

Произошло вот что: Праша узнала, что ее «смирный» и «простой» барин заболел и валяется без присмотра и без помощи, так что и «воды подать некому». Внутренний жар и истома недуга ей были знакомы, и она знала, что тут нужна помощь. Больше ей соображать было нечего, и она сейчас же бросила ребенка матери на руки и ушла служить больному. Как простолюдинка, она начала с того, что она его «убрала», то есть освежила его постель, вытерла самого его водой с уксусом, обласкала утешительными словами и сварила ему бульон, а потом, когда он «пошел на поправку», он ощутил близость ее женственного присутствия и отблагодарил ее своим мужским вниманием. Это ведь так обыкновенно... Но, может быть, это ему надо поставить в вину, особенно если он не придавал этому серьезного значения; но она... она «вся ему предалась» и ни о чем более вовсе и не рассуждала.

— Я, — рассказывала она, — только и хотела, чтоб он знал, что он теперь не один, а у него есть раба. Такое сердце, и такие понятия.

Но не пренебрегите пока этим рабским сердцем.

IX

Из своих новых отношений к «господину» Праша не делала никакого секрета, но и не бравировала ими, что со стороны «фефёлы» — редкость. Все в доме у них шло так тихо и благопристойно, как будто связи и не существует. Приятельскому кружку, однако, скоро стало известно, что между ними установилась любовь. Узнала это и его жена, и оттого-то она и каталась по траве, оттого у нее все падало из рук и ломалось. И как она его ни порицала, «особенно *vis-à-vis d'une femme*», но измены она ни мужу, ни Праше не подарила и вызывала их обоих к мировому, где был какой-то инцидент с истерикой, и потом все успокоилось. Супруга взяла еще, что могла, с оброчного мужа и сникла с наших глаз, а у Праши к году родился ребенок, которого она сама кормила, а при этом, конечно, все мыла, шила и варила. Жили они на очень маленькие средства, и Праша тряслась за всякий грош, чтобы было из чего жить и «посылать барыне». Скучать ей было некогда, а если ей случалось оставаться одной и поджидать поздно ночью своего господина, то она чувствовала «жуть» и тоже нашла чем себе помочь в этом горе: она брала из пачки писательских фотографий карточку Александра Дюма с его страшно кучерявою шевелюрой и начинала ее рассматривать: «тогда ей тотчас же становилось смешно», и жуткость проходила.

С переходом «Отечественных записок» к Некрасову\* писатель остался без работы, и у них было худо; но потом он скоро был приглашен во «Всемирный труд» к доктору Хану\*, где работы было много, и дела поправились. Праша близко в это вникала и отлично поняла, что нужно человеку при

«спешке». Она ему все приспособила для занятий в их маленькой квартирке, состоявшей всего из двух крошечных комнаток в надворном деревянном флигеле.

Она сделала все, что позволяла ей возможность, а он был так неизбалован и так нетребователен, что не желал большего.

— Чего же-с мне еще надобно? — говорил он, чрезвычайно довольный своим положением. — Я теперь могу работать спокойно и дни и ночи: мне никто не мешает, и я докажу, что значит эстетика! У него «был задуман ряд статей», но они написаны не были. Не прошло полугода после этого, как Гр. П. Данилевский навестил его\* и нашел «заработавшимся до бесчувствия». Данилевский уговорил его немножко прогуляться — провез его в коляске по островам, угостил на воздухе ужином и отвез домой, сдав на руки ожидавшей его Праше. Данилевский был поражен худобою и усталым видом писателя и тем, что он как будто не замечал ничего окружающего и мог говорить только о ряде задуманных им статей. Праше сказали, чтобы она его непременно выпроваживала гулять, и она об этом очень заботилась: звала его «в сад, смотреть зверушек», которых ей будто очень хочется видеть, но он не слушался и даже сердился. Зимой, продолжая такой же «безотходительный» образ жизни, он ослабел, закашлял и расхворался, а великим постом умер. Праша испытала неожиданный ужас: она оставалась одна, с ребенком и без всяких средств. «Законная вдова» усопшего сближала случай смерти мужа с тем, что Данилевский перед этим угостил его ужином, и добивалась узнать, как он возвратился домой: «sur les deux pattes ou sur toutes les quatre», [69] — и в то же время она вступила во все свои законные права и получила все, что могло быть усвоено ей и ее законному ребенку. А «беззаконнице» Праше и ее ребенку не досталось ничего. Власть, обеспечивавшая имущество покойного, то есть его дрянную мебелишку и черняки недописанных статей, опечатала помещение, где жил литератор, а Прашу, как прислугу, «вывели», и никому до нее не было никакого дела. О бедной Праше решительно никто не подумал, но она и в изгнании не оробела, а провожала гроб и показала у могилы с твердым видом.

Так, пусть мертвые хоронят своих мертвецов: мать, имеющая дитя, должна жить... и она должна хорошо жить, честно!

Посмотрим, как она это выполнит?

Х

На другой же день после похорон литератора Праша пришла ко мне с ребенком на руках и сказала: — Не обижайтесь на меня, что я с ребенком пришла. Не на кого его оставить. Посоветуйте: как мне быть?

Она меня сконфузила: я видел, что мы не сделали после смерти товарища самого важного дела: мы не подумали об этой женщине и о ее ребенке, и к этой оплошности я прибавил другую, еще худшую и даже достойную строгого осуждения: я заговорил о том, чтоб отдать ребенка, а Праша, которая стояла передо мною, от этого так страшно побледнела, что я упросил ее сесть, и тогда она сейчас же заговорила:

— Отдать дитя навсегда... ни за что!.. Слов нет, я сама виновата, — ну, все же я могу о нем и обдумать. В этом доме, где я вчера угол взяла и мы там ночевали, там бабы живут и ходят шить мешки. И я могу шить мешки, но его туда с собой нельзя брать.

Она прижала к себе ребенка и залилась слезами.

У меня в тогдашнее время не было никаких запасов, которыми я мог бы поделиться, и все, что я мог

дать бедной Праше, это было пять рублей. Я просил ее взять это пособие и идти пожить на квартире два-три дня, пока я испробую, нет ли возможности устроить для нее с ребенком какую-нибудь новую складчину. Она не ломаясь взяла деньги, шепотом сказала:

— Благодарю вас: постарайтесь! — и ушла.

Но стараться тогда было мудрено, и многого в нашем положении сделать было невозможно. Тогда еще не было таких хороших литературных заработков, какими нынче похваляются нынешние молодые писатели, между которыми есть уже и капиталисты и даже сибариты. Мы тогда работали очень много и очень старательно, но получали мы мало, а часто и вовсе ничего не получали. Сами бедняки, мы нередко сотрудничали «из чести» у очень необеспеченных издателей, которым, однако, мы считали за обязанность помогать «по сочувствию к хорошему направлению». Некоторые из этих благородных предпринимателей скоро сообразили, что из наивного настроения искренних писателей можно извлечь выгоды, и они этим воспользовались (кто хочет лучше с этим познакомиться, пусть прочтет переписку Д. И. Писарева с Г. Е. Благодетелем\*).

Гончаров называл это время «грубым периодом в литературе». Оно и действительно было грубовато и очень несправедливо, но тогда в литературной среде встречались характеры до такой степени цельные и строго относившиеся к призванию писателя, что теперь даже не верится, вправду ли это было, и если было, то отчего же это так скоро прошло? А это было! Люди бедствовали при своих ничтожнейших заработках, которых притом еще часто нельзя было получить из тощих касс редакций, и частенько эти люди друг с другом ссорились, но выгод от перехода к «чужому направлению» они не искали. Изменить своему знамени и перейти под чужое тогда почиталось за дело вполне бесчестное, и то, что теперь в этом роде делается беспрестанно, тогда происходило чрезвычайно редко.

Благородная строгость стала ослабевать после того, как «софисты XIX века» замолели о том, что все на свете можно защищать без стеснения, и сами стали показывать пример слишком «широкой жизни». Литераторы не захотели отстать и стали манкировать литературного независимостью. (Тогда же начали пренебрегать и внешним времяпровождением, и в литературных домах стали раскрывать ломберные столы и начали играть в карты, чего ранее почти все стыдились.)

Но возвратимся к осиротелой Праше.

## XI

С огромным усилием собрал я для этих сирот двести рублей. После смерти А. И. Пальма\* я собрал и передал в литературный фонд с лишком две тысячи рублей, но это было легче сделать, чем в прежнее время собрать две сотни. Зато дамы даром дали совет поместить ребенка «на молоко» к почтамтским сторожам, а матери идти служить в прачки или в горничные.

Дамы обещали также похлопотать о ней, и так как им хотелось видеть Прашу, то они просили прислать ее на смотр к ним.

Я позвал Прашу и сказал ей, что в моих руках есть для ее ребенка двести рублей и что ей остается теперь поместить дитя в почтамт, а самой идти на место, о котором для нее постараются дамы. Я это объявил ей с апломбом, потому что мне представлялось, будто мы с дамами превосходно обдумали ее положение. Праша выслушала меня со вниманием и не противоречила, а немедленно же пошла в почтамт. Но только мне показалось, что она «собирала лоб» и как будто была чем-то недовольна, когда я ей изъяснял свои соображения.

Вечером в этот же день сна возвратилась и спокойно объявила, что в почтамте действительно детей берут по пяти рублей в месяц и что, может быть, между теми, которые берут, есть люди и очень добрые.

— Кого же вы выбрали?

— Пока никого... Есть там двое, — отвечала она, глядя вниз и покапывая по полу кончиком зонтика, и вдруг заплакала.

Я ее укорил за то, что она отнимает у себя бодрость.

— Именно, — сказала она, — но только как я этих примеров еще не видала, то... я дура, фефёла... — и она хотела улыбнуться, но вместо того еще горче заплакала.

— Ну, и довольна!.. Больше не буду!

— И прекрасно!

— Да, не буду!

— Вот же вам десять рублей за первые два месяца, а остальные ваши деньги я положу в сохранную казну, и вы будете их брать и платить за ребенка.

Тогда она взяла десять рублей и завязала их в уголок платка, а мне ответила:

— Очень вами благодарна, и слов нет, что так нас устроили, но позвольте притом вам сказать, что из этого очень хорошего ничего быть не может.

Мне показалось, что у нее переменялся тон и голос и даже самая манера говорить стала иная: девочки Праши уже не было, а была молодая мать, которая увидела себя в самых стесненных обстоятельствах и вся насторожилась, чтобы найти выход.

— Не обижайтесь, что я скажу, — продолжала она, — я ведь никаких примеров воспитания не получила, но я не без понятий. Позвольте сказать вам: два дня назад я думала, что я с дитем совсем пропала, и очень хотела кинуться с ним за один раз в реку, а теперь, когда добрые люди нам помогли, я уже как оса ожила и начинаю думать, как неблагодарная... Дамы, конечно, очень добры, но они тоже все примеры не постигают.

— Пожалуйста, объясните, Праша, что вы хотите?

— Вот, я за ребенка буду платить пять рублей в месяц. Это, скажем, шестьдесят рублей в год?

— Да, шестьдесят в год.

— В два года сто двадцать рублей, в четыре — двести сорок, ну вот и все... А ему будет всего еще пятый год...

— Да, ваш расчет верен.

— И тогда я могу его взять к себе?

— Да, можете взять.

— А кто же тогда меня с ним вместе возьмет?

Вопрос этот мне показался несерьезным, и я дал ей почувствовать, что я понимаю дело: я сказал, что с грудным ребенком ей трудно было бы устроиться, а когда он будет по пятому году, тогда это нетрудно: с такими детьми берут.

— Да, берут, — отвечала Праша, — слов нет, берут, только за самую дешевую цену. Вот и выйдет такой пример, что через пять лет у меня не будет ни копейки денег и будет ребенок на руках, с которым мне нельзя будет найти место с ценою. И я его ни во что настоящее не произведу.

— Так что же, какой пример надо сделать, по-вашему?

— Это пример вовсе не глупый. Конечно, я еще молода и уже такой вредный поступок сделала... Но я еще раньше, чем сюда в город приехала, я с дяденькой на пароходе по Волге плавала... Дяденька содержали буфет, а я у них салфетки стирала... И я это очень хорошо умею и вам верно говорю, что я отличная прачка. Против меня даже не всякая потрафит отмыть красное вино или вредный соус, а я умею, и если бы деньги, которые вы собрали, вы бы мне бы доверили, — вот вы бы тогда увидели, что я сделаю.

— А что бы вы сделали?

— А вот у меня здесь другой мой дяденька в трактире вторым поваром служит, и у них салфетошная часть огромная. И я у него уже была и поговорила, и он с буфетчиком поговорил и говорит:

«Старайся, отдадим тебе».

— Что же надо постараться?

— Квартиренку надо из мусорных и посуду... Я зашла уже и посмотрела, квартира есть в подвальном этаже, и с большою комнатою. Самое чудесное для прачечной, а в другой, маленькой, можно жить с девушкой и с ребенком. Я бы взяла двух девчонок, да сама третья стала, и все бы мы пропитались, и ребенку путь показала бы.

— Не ошибитесь-ка вы, Праша!

— Нет-с. Я ведь каких примеров не знаю, о тех не говорю, а это я верно знаю, да еще я ведь секрет умею, как красное вино можно отмыть без фимии... И я свое дитя тогда никому бы за глаза не отдала, а сама бы его возрастила и произвела к делу. Отчего же не так?.. Но, впрочем, я это так говорю, а вам как угодно.

И она показалась мне такою искреннею и честною, такою толковою, серьезною и надежною, что я сделал так, как она хотела, то есть я отдал ей все деньги и сказал ей с шуткою:

— Натe, Праша, и делайте свои хорошие примеры!

## XII

Через месяц Праша пришла звать меня к себе на новоселье. Я пошел с другим моим литературным товарищем, теперь уже умершим (из всей нашей тогдашней компании теперь в живых остается только трое: Тимирязев\*, Всеv. Крестовский\* и я). Праша устроилась хорошо: у нее была одна действительно очень большая комната с плитяным полом, а за ней еще маленькая комната, в которой у нее стояла ее кровать и деревянная колыбелька писательского сына.

В большой комнате была прачечная с новым инвентарем, приобретенным и расставленным с несомненным знанием дела.

Тут, как следует, было сыро и пахло мокрою еловою клёпкой и мылом. В прачечной, уж разумеется, как в прачечной, но в жилой комнатке было и сухо и уютно. Мы пили чай с тремя мастерицами и Прашиным дяденькой, вторым палкинским поваром, который привел с собою еще другого второго повара из Балабинского трактира, памятного тем, что там в воспоминаемое время был особенный «литературный столик», за которым ежедневно садились пить чай Н. И. Костомаров\*, книгопродавец Кожанчиков\* и другие солидные и деловитые литературные люди, при которых мы, тогдашняя молодежь, держали себя почтительно и скромно.

Повара пришли к Праше раньше нас и выпили всё им предложенное расчетливою хозяйкой, надымили скверными папиросками и ушли. Праша была ими очень недовольна, потому что балабинский повар, узнав, что Праша завела свое хозяйство, нашел это достойным своего внимания



и пришел с дяденькою не просто, а с тем, чтобы Прашу посмотреть и потом ее посватать и на ней жениться. Это Прашу обидело, и она сразу отказалась от жениха и очень обрадовалась, когда повара ушли, оставив нас с одними фефёлами. А из этих фефёл одна была в своем роде прелюбопытная. Это была женщина лет тридцати двух, которая, что называется, всем взяла: ростом, дородством и красотой, а также и простотою, которою одною только и можно было объяснить полунищенское положение этой женщины, обладающей большою и яркою красотой. Сообразно великолепной наружности, у нее было и великолепное имя: звали ее Зинаида Павловна, а по фамилии она была Потемкина. Знатностью породы она, впрочем, не отличалась — Зинаида Павловна была мещанка из подгородней слободы того самого города, откуда была родом и Праша, которой Зинаида Павловна приходилась теткой и была старше ее лет на двенадцать, так что в это время, когда Праше было лет двадцать, Зинаиде Павловне уже перевалило за тридцать. «Природы» они были различной: Праша была кругленькая, бочоночком и посмешливая, а Зинаида Павловна — медлительная, величественная и авантажная; фигура у нее была чрезвычайно стройная и мощная, а лицо тонкой и яркой, но замечательно скромной красоты, напоминающей несколько облик Поппеи-Сабины\*. По уму и душевным своим свойствам обе женщины тоже совсем были не похожи одна на другую: Праша еще не созрела умом, но все замечала и во все вдумывалась, тогда как Зинаида Павловна ни о чем не думала. На красивом лице всегда отражалось самое полное и самое невинное детское простодушие, граничащее даже с умственною бедностью. При этом Праша была скромница, а Зинаида Павловна — болтушка, которая всегда неудержимо стремилась говорить как можно более и в молчанье скучала. Словоохотливость ее была так велика, что она не ограничивалась произнесением одного только настоящего имени данного лица, а еще сама присочиняла всякому еще несколько имен. Так, например, она звала: «Праша — Пахита-Пашенция! Пашок — мой дружок!» В другой раз она еще варьировала и говорила: «Прасковья Пахитосовна! Прашенька! Заинька беленький, хвостик гореленький! Сядь, обопрись на меня лапочкой, закроюся тряпочкой да пошепчемся!» И во всех ее словах, во всей манере и во всей окружающей ее атмосфере веялось что-то ласковое и несчастное, доброе и беспутное.

В этой истории Зинаида Павловна должна иметь свое место с своею вводною историей, которая интересна и сама по себе и по тому влиянию, какое она могла иметь на Прашу.

Введем к одной фефэле еще другую, иного склада и иного лада: ее краткая история представляет в своем роде бытовую картинку.

### XIII

Я выше сказал, что Зинаида Павловна была уроженка подгородней слободы. Мать ее была солдатка и занималась плетением кружев на клюшках, а отцом случилось быть усатому поляку, офицеру гусарского полка, стоявшего в городе постоем. От этого случайного союза родилась писаная и несчастная красавица Зинка, которую пятнадцати лет, в ужасный голодный год, тяжкая домашняя нужда, а может быть и материнская подлость, продали купцу-мукомолу. Купец, заплатив за девчонку деньги, взял с нее что хотел, а «остальную часть» бросил. Остальное это было вся ее душа и все тело, доставшиеся теперь на посмеяние людям.

Так Зинка начала страдать, и пряталась от всех, и покрывала платком косу, боясь, чтобы нравственные соседи не вымазали ночью дегтем ворот у ее матери. Ее почти никто не видал, но если кто видел, тот замечал, что она «ужасно красива», и почитал себя вправе мануть ее на грех. И в

самом деле, как ни глодало ее горе, она все хорошела и, наконец, попала на глаза пожилому сапожнику, который так ею пленился, что прямо спросил ее:

— Пойдешь или нет за меня, если посватаю?

Девушка отвечала:

— На мне был грех.

— Знаю, да ничего не сделать: надо помиловать. Если ты согласна, я посватаю.

Она отвечала:

— Я пойду.

Ей было все равно, лишь бы перестать косой трепать, но сапожник был парень сметливый, он любил женскую красоту, да умел и дела делать; он явился к купцу и сказал:

— Ваше степенство! Так и так, был такой грех, разумеется, не в укор вашей чести, потому она девушка бедного звания, но я теперь хочу ее за себя взять, с жалости, чтобы покрыть ее грех, так как ей от людей проходу нет, то вот она меня послала к вам — благословить ее просит. Не обессудьте, ваше степенство!

Купец был в хорошем расположении и отвечал, что «лик божий» ему над Зинаидой «держат ззорно», а он так просто дает ей сто рублей на приданое.

Сапожник поклонился в ноги и, получая деньги, поцеловал руку, а затем женился на Зинаиде, разумеется ни слова не сказав ей о подаренном ей от купца приданом. В браке с сапожником Зинаида пробыла три года. Родила трех детей, сначала дочь, а потом двух мальчиков. Муж ее был человек аккуратный и чудесный мастер, и прошлым ее не упрекал, но до того был ревнив, что даже не позволял ей разговаривать ни с одним мужчиной. По словам Зинаиды Павловны, он ее ревновал даже к «деревянной ноге» и много раз эту же самую ногой ее бил. Раз она претерпела от него такое наставление, что ее даже сочли мертвою, и это ей досталось за то, что она похристосовалась с своим родным дядей.

— Но, однако, — говорила Зинаида Павловна, — бил он меня не даром, потому что я ужасно его ненавидела.

Когда же этот самый драчун-муж заболел и приступил умирать, то он стал так ужасно тосковать, что Зинаида Павловна над ним разжалобилась, и когда он стал ее просить, чтобы она «сняла образ Курской Заступницы и поклялась, что после него не пойдет ни за кого замуж, то она сняла Заступницу и заклалась».

Сапожник умер, а оставшаяся под клятвою бедная красавица его вдова начала оберегать свои обеты, и хотя ее сватали несколько человек, но она ни за кого замуж не пошла, а как покойник ей ничего на детей своих не оставил, то она для их воспитания «три раза в мамках служила».

Каждый из этих трех эпизодов был неотвратим.

#### XIV

Начались эти приключения у самой могилы сапожника. Прежде чем гроб успели засыпать, тут случился француз-живописец, который видел, как молодая вдова стояла и плакала, держа в растерянности одного ребенка у груди, а двух прижимала к себе другою рукой. Француз имел живое воображение и доброе сердце: он подал женщине десять рублей и велел ей прийти к себе вместе с детьми, и чтобы все они были в этом же самом платье. Они так и пошли, да у них и не было ничего другого, чтобы надеть на себя. Так француз их и «отрисовал» на картине, совсем как живых, и велел

еще и еще приходиться, и всякий раз давал за это по три рубля. Зинаида Павловна этим очень поправилась и боялась только, что доход ее прекратится, как только кончится «рисовка». Однако опасение ее было напрасно — «рисовка» кончилась, благополучное соотношение не прекратилось, но только лишь переменялось. Как скоро француз кончил одну картину, он «детей отставил», а матери сказал: «Теперь, *chère amie*, [70] мы будем делать другую фигуру». И он велел ей приходиться одной и переодеваться у него в очень нарядный крестьянский убор, после чего она должна была брать в руки снопы соломы, путаные васильки и серп, и так она стояла, пока он произвел еще одну картину, которая стояла на одной из парижских художественных выставок с надписью: «*Devouschka krapivouscou jala*», но и после этого француз продолжал ее поддерживать и доставлял ей с детьми что им было нужно, но зато она была беременна... и бог весть для какой надобности. К счастью, однако, бог дал, что это вышло прекрасно: у живописца ее часто видел один генерал, большой любитель всего хорошего, и он уже давно стал ей подмигивать глазки, но тогда француз его остановил и сказал:

— *Chacun à son tour, mon général! Chacun à son tour.* [71]

И когда пришел его «*tour*», генерал сказал Зинаиде Павловне, чтобы она не робела, что его жена тоже в таком же положении, и если Зинаида пожелает, ее охотно могут взять в мамки, причем генерал обещал тоже разместить в приюты ее детей, которых теперь было уж четверо.

Зинаида Павловна пошла в генеральский дом мамкою, а француз пошел с свободными руками.

— *En attendant vive l'amour et vive la bagatelle!* [72]

Генерал по доброте и простоте тоже был не хуже француза, но, кроме того, он был и человек могущественный и устроил всех четырех ребятишек Зинаиды Павловны, а зато и его дитя было прекрасно выкормлено, но незадолго перед тем временем, когда ребенка надо было отнимать от груди, генеральша уехала в Ниццу к больному отцу, а генерал сам наблюдал за порядком в детской, и результатом этого вышло, что бедная Зинаида Павловна опять пострадала, подпав своей ужасной судьбе, которая не хотела допустить, чтобы ей хоть что-нибудь сошло без последствий. Генерал, впрочем, тоже ее «не оставлял», а она, дождавшись своего времени, поступила в мамки на третье место, где опять на ее несчастье по субботам брали в отпуск кадетика. И тогда Зинаида Павловна на себя рассердилась и в четвертый раз в мамки уже не пошла, потому что, по ее соображениям, «в семейных домах жить невозможно», а в это самое время осиротела ее племянница Праша и стала заводить себе прачечную. Зинаида Павловна пришла к ней и предложила жить вместе:

— А то со мною просто ужасно что случается!

Праша ей ответила:

— И лучше!

И вот мы увидели их вместе, бокастенькую деловитую Прашу хозяйкою, а вальяжную и величественную Зинаиду Павловну ее правою рукой.

Что эти женщины могут управлять «прачечное заведение», в этом можно было не сомневаться, но как они станут управлять сами собой — об этом можно было гадать надвое. Но, однако, прошел год, и они обе держали себя в порядке. Изредка я встречал Прашу на улице, но чаще видел ее в окне, как она гладила с мокрым от пота лбом и простиралась по гладильной доске не только обеими руками, но даже взбиралась на нее и коленом. Вид она всегда имела деловой, бодрый и озабоченный.

Зинаида Павловна работала спрехвала: она не любила каленого утюга, а больше «прыскала да

складывала».

Один раз в течение первого года их хозяйства я заходил посмотреть на литературского наследника и застал его в отличном положении: он ползал по полу настоящим санкюлотом\*, с заткнутым за пояс подолом, и махал деревянного ложкой, а неподалеку от него катался горшок с пшенной кашей: всяк ли еще имел в детстве такое благополучие!

XV

Прошло два и три года. Дело у Праши приняло значительные размеры, и жилось им всем хорошо: стирали и «салфеточное» и всякое другое белье уже на несколько гостиниц, и все ими были довольны. Особенно славилась их блестящая выводка пятен «без фимии». Секрета своего против пятен красного вина Праша никому не открывала. Он, очевидно, был очень важен, хотя, по ее словам, он состоял «из самых последних пустяков».

Хорошо или дурно быть такою секретницей, об этом она не думала, да ей это «с тем было и открыто, чтобы другим не говорить». Это надо соблюсти, иначе никому не будет действовать.

Упомянутое достопримечательное средство «показала» ей одна бедная барынька на пароходе: она была из бедных полячек и ехала к мужу в Сибирь, а муж у нее до ссылки его содержал трактир и удивительно в чем провинился: к нему пришли бунтари и говорят:

— Мы, брат, голодны, давай есть, а то повесим.

Он им не стал подавать, а они сами взяли, поели и ушли. Тогда пришли наши и спрашивают:

— У тебя ели?

Он говорит:

— Да, — всё взяли и съели!

Наши его побили, и посудили, и в Сибирь сослали. Ему и там хорошо.

Полячка на пароходной палубе стыла с своими ребятами.

Праша над нею сжалилась и услужила ей кипятком, просушила их обувь и платьишко и «простирнула» детское бельишко, а полячка ей за это и сказала секрет. Вот он ей теперь и пригодился.

Одно одолевало Прашу, что она безграмотна, за это она укоряла своих родителей:

— Зародят нас, да так безграмотными фефёлами и пустят: вот мне теперь надо много счетов, а писать некому.

Появился какой-то писарь, человек средних лет, по имени Апрель Иваныч. Он был поляк, но состоял счетчиком в русской артели, где его имя «Аврелий» переделали по-русски в «Апрель». Он был человек трезвый, рассудительный и чрезвычайно учтивый. Держал он себя с большим достоинством: не унижался и не лез на фамильярность. Праша его приговорила приходить к ней и писать ей «счета», а он был тронут ее скромностью и не хотел с нее ничего брать за эти занятия, но Праша этого не приняла. Она знала, что женщинам даром ничего не делают, и пример в этом была у нее Зинаида Павловна, которую теперь беспокоили дети, начавшие выходить из приютов. Француза и генерала уже и след простыл.

Через год ее старшую девочку шестнадцати лет уже выдали замуж за молодого артельщика, с которым их сосватал Апрель Иваныч. Что за милый человек! Зинаида Павловна была очень ему благодарна и называла его Апрель Мартычем, а дочери своей дала в благословение все образа, какие у нее были, оставив себе всего только одну курскую заступницу. Кроме того, она сделала ей

несколько соответствующих случаю советов и особенно велела ей первой ступить на подножье и топнуть ногой, когда будет идти «Павла чтение». Собирала невесту и выдавала ее Праша, которая тоже хвалила Апреля Иваныча за его «учливость», и особенно за то, что он «о сироте позаботился». Так нравился он и другим женщинам, с которыми ласково говорил и в свободное время читал всем «Телемака»\*.

Праша думала, что он «к ним привьется», и именно на счет Зинаиды Павловны, которая всем нравилась. Правда, что она не работница, но ведь зато как хороша! Пусть женится: она им поможет, вместе жить будут. Но вдруг все это повернулось иначе, и Праша пришла ко мне в неодолимом смущении и истерическим тоном заговорила:

— Я, право, не знаю... такое обретение... Апрель Иваныч меня замуж просит.

И как это сказала, так села и заплакала.

— Что же вы, идете или нет?

— Да я и не знаю.

— Стало быть, идете.

— Нет, не знаю, а, во-первых, он такой учливый и сироту-девушку устроил, а, во-вторых, моего мальчика любит и им Пеленака читает, да подите-ка еще сколько у него и других книжек, и сам он несчастный, потому что ведь никакой у него близкой души нет. Это же правда истинная! Я долго не верила, и другие мне тоже говорили: «Поверь, это он к тебе подлезает, потому что у тебя свое хозяйство, а все поляки льстивые», но это же ведь глупость, и я этому никогда ни за что не поверю, потому что есть всякие люди в каждом народе, но когда по весне мой мальчик заболел при смерти, так Апрель Иваныч над ним ночей не спал, и теперь дитя его, можно сказать, больше меня любит.

— Это вас к нему и расположило?

Праша хотела сказать что-то коротко и откровенно, но вместо того опять заморгала с слезами и истерично отвечала:

— Я этого не понимаю... не знаю, что именно! А только он же один понял, что дитя такого отца, что надо ему открыть все понятия. Вот я его за это... не знаю как уважаю!

И она хотела еще что-то изъяснить, но опять заплакала.

— Так и прекрасно, — говорю, — вы, Прашенька, и выходите.

— Вы советуете?

— Да что же? Отчего нет?

Она молчала, потупив глаза вниз, и, покрасневши, прошептала:

— Отчего же мне это... как будто стыдно?

— Вы разве обещали не выходить?

Она покачала головою и отвечала:

— Покойник об этом никогда и не говорил.

Она остановилась, вздохнула и добавила:

— Ведь это тогда... все только я его обожала и себя не помнила за это счастье, а он только так...

— И курской заступнице вы не клялись?.

— Нет, — отвечала она с тихою улыбкой и сейчас же вздохнула и сквозь слезы добавила: — Я ведь ничего не утаила, я сказала: «Апрель Иваныч! слов нет, что я очень вами за все благодарна и могу следовать, но только с кем я это дитя получила, то у меня тот человек посейчас в сердце, и я после

него ни для кого уже особенных чувств не нахожу». А он мне ответил: «Значит, если и я помру, хорошо делавши, то вы и обо мне хорошо вспомните». Тут уж я взволновалась и говорю: «Что же вы это так себя сокрушаете: сами сватаетесь и сами себя хороните?» А он говорит: «Смерти никогда забывать не следует». А я говорю: «Ну, уж это нет... Послушайте, это так вовсе не надо... Станьте рядом, да давайте скорее лучше помолимся, вы по своей вере, а я по своей: пусть что нам бог даст, то и будет».

И когда они помолились, то бог им дал то, что они сделали мужем и женою.

## XVI

Апрель Иваныч оказался прекрасным человеком: он нежно любил скромненькую Прашу и удивительно заботился о «писательском сыне». Он завел в доме вечерний кружок у чайного стола и всем здесь читал «Телемака», поясняя из него, что люди живут вовсе не так, как бы надобно жить. К этому же у него служили «Павел и Виргиния»\*, а сам для себя он читал еще более забористые вещи, как-то: «Оправдание Сократово» и «Слово похвальное Марку Аврелию\*». А затем в жизни со всеми был ласков, и прост, и любезен.

У Праши с Апрелем родилось еще двое детей: мальчик Абрамчик и девочка Пелагеичка. Зато из домашнего штата Праши стала выбиваться Зинаида Павловна, с которой опять начались «туры», и причиною их были дети и жасмины. Выше было сказано, что дети удивили Зинаиду Павловну тем, что они начали подрастать одно вслед за другим, чего мать их совсем не ожидала и совершенно растерялась от этой неожиданности. Она делала все, что могла: плакала и молилась на коленях, но дети все-таки оставались «без предела», а у самой Зинаиды на заплаканных глазах, которым, кажется, надо бы померкнуть и ввалиться, вместо того выскакивали ужасные ячмени, или, как она их называла, «жасмины». Чтоб избавиться разом от жасминов и от детей, Зинаида Павловна готова была выпить самую злую отраву и даже раз выпила пузырек нашатырного спирта и произвела в доме дворовый скандал: в прачечную набежали жильцы, в числе которых были длинный немец «Аплетон», занимавшийся починкою плетеной мебели, и гимназист, который занимался перед окном выпилкою и потому назывался «Пропилея». Оба они приняли участие и бегали в аптеку, а потом всё стали попадаться Праше на глаза и, наконец, подрались на лестнице. На другой день сухая и жилистая жена «Аплетона» нагло заглянула в окна прачечной и сказала: «Шлюхи!» А бабушка «Пропилея», встретив Прашу, сообщила ей, что она «своего» будет запирать, и вы-де «свою» обуздайте.

Апрель Иваныч не вмешивался, но его стали тревожить ночами движения у двери, и раз он там нашел Зинаиду Павловну, которая ему прямо, но странно сказала:

— Что, Апрель Мартыч? Очень мне, друг милый, чего-то скучно!

И она так сжала ему руку, что точно хотела его куда-то увлечь за собою.

От Праши это осталось скрытым, и Зинаида Павловна изредка только посматривала за двери и говорила, что ей как-то все «кошкой пахнет».

Праша смотрела на нее и отвечала:

— Смотри, у тебя это болезнь.

## XVII

Задавались чрезвычайно беспокойные ночи, когда коты совсем не знали покоя сами и не хотели позволять спать людям: они мяукали, скреблись, прыгали, падали с высот вниз, и опять царапались

вверх, и, настигая друг друга, дрались так, что сыпалась шерсть, и затем вновь падение и вновь беготня. Эта возня так беспокоила жильцов, обитавших в квартирах, имевших один выход, что то из одного, то из другого жилья среди ночи отворялись двери, и оттуда или кто-нибудь манул домой своего кота, или же чья-нибудь негодующая рука швыряла что попало, чтобы испугать и разогнать полунощников. Так было и в тот раз, когда Апрель Иваныч, придя из бани, лег поранее и хотел уснуть покрепче, а вместо того он и совсем не мог заснуть от повторявшегося за дверями шума. Он встал и при свете лампадки увидел, что был второй час ночи, но на лестнице за дверью нет-нет и опять раздавалось движение.

«Что за наглые негодяи!» — подумал Апрель и, сунув ноги в туфли, схватил лучинную корзинку с остатками мелких углей и подкрался к двери с тем, чтобы быстро ее растворить и швырнуть корзинкой в котлов, как только они зашевелились ближе.

Ему и не пришлось долго ждать, потому что немедленно же учинился шум, и с лестницы вниз что-то слетело и замешалось у двери. Апрель Иваныч сию же секунду быстро толкнул дверь, но как она оказалась едва притворенною, то он не соразмерил силы с сопротивлением, сам выпал наружу и очутился с своею корзинкой на грязном полу в куче с «Пропилеем» и «Аплетоном», которые извивались, тормоша один другого за кудри, между тем как чья-то свободная нога наступила на самого Апреля, и в открытую дверь его квартиры скользнула женская фигура.

Апрель Иваныч догадался, что это была Зинаида, и возвратился домой очень сконфуженный, испачканный углем и с порядочным ушибом в колене.

Он покачал головою, вздохнул, обтерся и лег, не сказав ни слова жене ни в первую минуту, ни тогда, когда Праша через полчаса встала с кровати, надела юбку и кофту и прилегла на коротеньком диванчике. Еще через некоторое время она тихонько встала и неслышными шагами пошла к той же двери, от которой отошел ее муж. Но Праша была осторожнее Апреля Иваныча: она ощупала крючок двери и нашла, что он откинут, тогда она тихо отодвинула дверь и сейчас же ухватила своею рукой руку Зинаиды Павловны и потащила ее к себе, но та сделала движение, чтоб освободиться, и на этот шум с верхней площадки сразу слетели две фигуры и сразу схватились друг с другом. Это опять были они: «Аплетон» и «Пропилей».

Праша отлично их узнала и еще решительнее вцепилась в Зинаиду и втащила ее назад, а на дверь наложила крючок.

Теперь Зинаида шла без сопротивления и, придя в свою комнатку, тихо села на кровать и закрыла лицо руками.

Праша хотела тотчас же выйти, но Зинаида Павловна сама ее удержала:

— Что же ты уходишь? — спросила она. — Лучше теперь и ругай, уж к стати!

— Да как ты это выходишь, что тебя даже вовсе не слышно?.. Этак нас обокрадут.

— Ну и что ж делать?

Зинаида ткнулась лицом в подушку и заплакала.

— О чем же ты плачешь?

— О том, что мне тебя стыдно.

— Что ж, я тебе не мать и не сестра, а племянница...

— Это все равно... Зачем ты замуж пошла? Пока ты не выходила, и я жила прелестно, а теперь вот... поползло и поехало.

— Что же, я тебе помешала жить?

— Скучно стало.

— Отчего?

— Сама не знаю: погляжу на вас — и скучно, а лягу — спать не могу.

— Отчего ж это?

— Не знаю. Сначала дремота, и спать хочу, а потом вдруг как кот... и от кота буркóта...

— Молилась бы на ночь.

— Извольте!.. Еще как и молюсь! И батюшке все говорила, и он все, все, все мне разъяснил, как это и называется, что блюд и что преблюдеяние, но все это ничего не значит! Встань, пожалуйста, на стул

— задерни занавеской заступницу.

— Не хочу.

— Нет, сделай милость, закрой ее!

Праша встала и задернула образ ситцевой занавеской.

Тогда Зинаида Павловна ее попросила:

— Возьми, пожалуйста, достань там сткляночку...

— Неужели еще пить станешь?

— Да нет, что за глупости!.. Там богоявленская вода... Сбрызни меня скорее, сбрызни!

— Не хочу! — отвечала Праша и, махнув рукой, прыгнула со стула, чтобы уйти, но Зинаида

Павловна схватила своею рукой ее руку и удержала.

— Что это с тобой? — спросила сконфуженно Праша.

— Вот сделала так и ничего более... Не пущу!

— А я с тобой говорить не хочу.

— Отчего? Послушай!.. отчего?

— Для чего ты двух держишь!

— Кто их держит? Проклятые!.. один другому шагу ступить не дают.

— Да уж остановись на чем-нибудь!

— Да как же я могу на одном остановиться, когда я их только и вижу, как они вдвоем друг с дружкой сражаются!

— За что же сражаются?

— Ну, что расспрашивать!

— Нет, кроме всяких шуток?

Но Зинаида плакала и, вместо разъясняющего ответа, поцеловала племянницу руку и опять проговорила:

— Вот и ничего более!

— Ну и прощай!

— Да, и прощай, Пахита, прощай!

А когда Праша подошла к двери, она ее окликнула и еще раз сказала:

— Прощай же, Пахита, прощай!

Праша не придавала этому прощанию никакого особенного значения, а такое значение здесь было, потому что на другой день Зинаида Павловна, никем не замеченная, исчезла из дома племянницы и уже никогда более к ней не возвратилась.



Детей своих в Петербурге она поручала Апрелю Иванычу, который и в самом деле устроил, что требовалось. Зинаида Павловна отозвалась Праше из Киева. «Не думай, будто я от своих детей убежала, — писала она, — это несправедливо, но меня обидел фершел, который давал не того лекарства от жасминов, и я не захотела оказать себя при замужней дочери, чтоб ей не было стыдно». Прашу и замужнюю дочь Зинаиды Павловны это известие очень рассердило. Дочь говорила: «Пусть к нам и не возвращается», но Апрель Иваныч заступался за «слабую женщину», и это познакомило Прашу с подозрительностью и ревностью, под влиянием которых она находила большое утешение в том, что такая «слабая женщина» от них отъехала.

С этих пор прошло пять лет жизни тихой и совершенно счастливой, и когда писательский сын был уже в третьем классе гимназии, Апрель Иваныч вдруг стал собираться к родным в свою «поляцкую сторону» и, несмотря на многие неудобства, уехал туда грустный, а возвратился еще грустнее, и как раз в это самое время пришло ужасное письмо от Зинаиды Павловны, возвещавшей Праше, что она живет тем, что чистит ягоды для варенья и что бог тогда же давно дал ей «двойку зараз, мальчика и девочку».

Праше показалось, что это что-то сверхъестественное и не к добру.

— Как это... женщина уже за сорок лет, и столько уже было детей, и потом еще вдруг сразу рождается пара! Это к несчастью!

## XVIII

Праша поскорее послала в Киев «на зубок» десять рублей, но не написала родственнице никакого письма. Ей было не до того: Апрель Иваныч возвратился в Петербург из своей стороны какой-то расстроенный и с такою скрытною скорбью, что Праша в этом не могла разобраться и понять: в чем дело зависит. Одно время она подумала, не получил ли он каких-нибудь невыгодных для нее сравнений, и сейчас же подумала, чего ей может в его глазах не доставать, и нашла это. Раз утром, когда Апрель Иваныч, по своему обычаю, внимательно осмотрел и пристегнул ранец к плечам ушедшего в гимназию писательского сына, Праша походила за мужем с места на место и наконец сказала:

— Апрель Иваныч! вы не думайте, что я другой веры... я за вами последую.

Он растрогался и поцеловал у нее руку, и сказал, что ничто такое не нужно и ничего беспокойного нет.

— Ну, а на всякий случай, — продолжала Праша: — вы это знайте... Мы нигде не пропадем.

Но Апрель Иваныч опять уверил ее, что ничего нет. Праша успокоилась и отвечала:

— Значит, и слава богу. Только руки моей, пожалуйста, никогда не целуйте.

— Отчего?

— Я этого не стою!

— Не стойте!.. Вы сами не знаете, чего вы стоите!

— Ну, оставим это!.. Я не привыкла... Право, голубчик, не надобно... Я устыждаюсь... Я лучше вас просто так поцелую... потому что я вас теперь ведь люблю... Что вы с недоверием смотрите?! Нет, это верно, верно! Я не солгу, ни за что не солгу... Вот когда вы со мною женились, я вас тогда еще не любила, я вам так и сказала, что «уважать вас я уважаю, но особенно не люблю», потому что тогда еще другой человек у меня всем моим сердцем командовал, а теперь...

— Неужли вы его позабыли?

— Нет!.. Ах, нет, друг мой! Нет! А только, извините ж меня, ведь если мы об этом заговорили, то я должна правду сказать: теперь я ни о нем, ни о вас порознь не думаю, а оба вы вместе для меня как будто в одно слились... Право, это правда, правда, истинная правда! Он, вы, я — это будто совсем все одно, и это, что было тогда, и что сейчас есть, и что дети рождаются — это как-то как будто мимо уплывает.

Апрель все ее благодарил и успокоивал, но она видела, что он сам не спокоен, и она спрашивала его про родину: где живет его сестра? Нельзя ли послать ей пять фунтов кофею? Правда ли это была, будто у них наши взыскивали с тех, кто своих покормит?

Апрель Иваныч отвечал жене «будто как из-под неволи» и вдруг забредил о какой-то огромной артельной растрате, которую будто он сделал не по своей воле. Но никакой артельной растраты не было, а Апреля Иваныча пришлось отвезти в сумасшедший дом. Пасынок о нем страшно скорбел, и скорбь его перешла в страдание, когда его превосходный вотчим вскоре же умер, истерзанный мучительною тревогой.

Вот вам и Зинаида Павловна и ее «двоешка»!

И с какой стати и для чего ей было нужно писать о всех таких происшествиях в Петербург? Чистила бы себе в Киеве ягоды, и кончено! Да и Праше некогда и нет никакой надобности рассуждать о пустяках. У нее теперь уже не один сын, а трое детей, а кормилица у них опять одна она, безграмотная фёфёла, и начальство ей не поможет.

В тот же день, как схоронили Апреля Иваныча, литераторский сын стал писать для матери ее прачечные счета и наблюдал, как читают мальчик Абрамчик и девочка Пелагеичка.

Дела у Праши были опять по-старому: через год еще пошли в школу и Абрамчик с Пелагеичкой, а когда они там подучились, их отвели: Абрамчика к дяде повару, а девочку Пелагеичку поставили крахмалить и гладить. Другой карьеры им не намечалось, но старший их брат, «литераторский сын», все еще учился и достиг того, что «вышел на лекаря». Мать преисполнилась восторгом, что это она вывела, и не знала, что бы такое сделать, чтобы дать ход своему сердцу. Она вспомнила о Зинаиде и решила съездить в Киев «отблагодарить бога» и посмотреть, что там делает Зинаида. Может быть, ей худо, и она стыдится прийти назад. Надо ее обласкать, и увезти к себе, и жить с нею вместе... И надо это поскорее: нельзя откладывать примирения — смерть так и ходит.

Праша отправилась в Киев, ощущая в себе прилив теплого и нежного чувства; переезжая Днепр, она любовалась видом и плакала, а на другой день пошла в пещеры и, как прачка, заметила, что везде бы все надо помыть. В тот же день она пошла искать по Киеву Зинаиду Павловну, но не могла ее найти: ни в одном конфектном заведении ее не знали. Праше только случайно удалось напасть на след Зинаиды Павловны через посредство послушников монастырской гостиницы, которые все ее знали, но путь к ней был не прост. Послушники указали Праше на двух лиц, имевших в том месте значительное положение. Это были два так называемые старца, которые сидели на сходах лестницы с чашками, прося подаяния. Один из них был слепец Ереней, а другой кривоустый Игнаша. Они просили милостыню, но были люди очень достаточные и даже имели в городе дом. Зинаида была у них «за хозяйку».

Праша своим ушам не верила, но это была правда: она пошла разыскивать Зинаиду и нашла ее, ибо она действительно находилась в хозяйках у двух старцев, из которых только один мог видеть благообразие ее лица, именно Игнат «Кривоустый», а «слепец» Ереней мог ценить лишь другие ее

достоинства.

На хлебах у старцев Зинаида Павловна еще раздобрела и потерпела от лет только в том отношении, что у нее выпало много волос и она облысела; но зато она теперь обвязала себе голову ярким полосатым платком и ходила как святочная туркиня, что опять ей было очень к лицу и делало ее интересною.

Если б ее увидел в этом уборе давний ее обожатель, француз, то в нем, наверное, опять могла бы заиграть его художественная фантазия, и он мог бы выпустить новое произведение, достойное и его и Зинаиды Павловны.

## XIX

Обе фефёлы встретились на пороге и были так изумлены, что обе сначала молчали дольше, чем было пристойно друзьям, а потом хотя и заговорили, но их разговор оказался без толка.

Хозяйка спросила гостью:

— Ах, это ты?.. Ну, скажите пожалуйста! Праша, Прашенция!.. Входи же скорее!

Праша вошла и тотчас же села. «Туркиня», повязанная фуляром, ей не нравилась. А та продолжала спрашивать:

— Как же ты поживаешь? Апрель Иваныч помер!.. Что, брат, поделаешь? Я за него подавала на часточку. Хотя он и не нашей веры, но это можно. Раздевайся, Прашенция!

А Праша слушала Зинаиду Павловну и смотрела на нее, а сама удивлялась, отчего у нее до сих пор все такая же пышная и белая шея, и Праша сказала:

— А что, у тебя теперь твои ячмени уже не бывают?

— Бывают! — отвечала Зинаида Павловна. — А ты стала совсем пожилая!

— Еще бы! Сын уже на лекаря вышел. Твои дети тебе кланяются.

— Ох, не говори мне про детей!

— Отчего?.. Все хорошо.

— Все равно... Какая я мать?

— Ничего. Бог даст, будет иначе.

— Нет, уж поздно!

Праша очень хотела продолжать разговор, но им не о чем было более говорить, и никакого применения для тех нежных чувств, с которыми ехала Праша, не оказывалось. Зинаида Павловна потчевала Прашу тем и другим и водила ее по дому, показывала, где спит слепой и где кривоустый. Дом был не маленький, и у всех свои помещения. У слепого было немножко грязновато, но он ведь ничего не видит, а у кривоустого все было совсем как у хорошего купца: и образник и конторка.

Спальня Зинаиды Павловны была вся застлана тюменским ковром, в ней стоял пребольшой образник, в котором срединное место занимала ее курская заступница. Перед этою образницей горели три лампы, а напротив в углу за пологом взбита большущая перина, уложенная на такой высокой двуспальной кровати, что для входа на нее приставлена была у ног скамейка. Кровать была крепкая, но аляповато выкрашенная темно-зеленою масляною краской с розами на столбиках.

Зинаида Павловна стала показывать гостье свое мастерство, которого она прежде не знала.

Праша увидела глубокие тростниковые корзины, полные разноцветных лоскутьев плису, манчестеру и иных материй. Из всего этого Зинаида Павловна с девочкой шили шапочки, которые старцы продавали. Зинаида Павловна стала перечислять, как это выгодно. «Мне, — говорила она, —

лоскутки носят жидовки, а они берут от шитвиц, а где те достают, я уж того дела не знаю».

— Крадут, — сказала Праша.

— Не знаю, но только я у них на полтину куплю, а нашу шапочек на пятьдесят рублей...

Разговаривая таким образом, Зинаида Павловна водила Прашу по дому, показывая ей то за одною, то за другою дверью боковуши, чуланцы и кладовушечки, а сама участливо ее расспрашивала:

— Ну, а как же ты сама, моя милая Пашенция, в рассуждении того прочего?.. Или еще в самом деле до сих пор все вдовеешь по-настоящему?

— Ну, а то как же еще!.. Разумеется, вдовею.

— Ах, мой друг, в «разумеется» еще иногда что-нибудь «под» — разумеваётся.

Праша услышала в этих словах что-то «несвойственное» и застенчиво сказала: «Еще что выдумай побесстыжее!»

А как Зинаида Павловна в ответ на это захохотала, то Праша метнулась от нее в сторону и налегла рукою на какую-то дверь, которая легко растворилась и открыла небольшую светлую комнату с широким мягким диваном, на котором сидел по-турецки, заложив ногу на ногу, здоровеннейший мужчина с косматою головою, в длинном, черном одеянии, перетянутом широким ремнем по здоровому чреву.

Перед ним на столе стояли графины, бутылки, тарелки, табак и папиросные гильзы, а в руке у него была гитара, и когда Праша его увидела, ей показалось, что он одновременно, за раз пользовался всеми своими способностями, то есть пил, жевал, курил и играл на гитаре, а вдобавок, увидав обеих женщин, простер к ним свои радушные объятия и весело крикнул:

— Ходите обе до купы!

Праша метнулась назад и с гневом отшвырнула Зинаиду Павловну, которая как будто хотела отрезать ей отступление, — и она задрожала и спутала у себя в голове все соображения, кроме того, что тут ужасно и опасно. А Зинаида Павловна, как всегда равнодушная к тому, что к массе ее грехов обнаружился еще один грех, доброжелательно убеждала свою вдовствующую племянницу:

— Брось-ка ты свои лоханки, Прашенция, и оставайся здесь, я тебя с душеполезным монахом познакомлю. — Но этого Праша так испугалась, что сейчас же начала прощаться, а когда Зинаида еще хотела ей что-то показывать, она ответила:

— Нет, пусти скорей, мне у тебя страшно.

— Да чего-о?

— Не знаю... я испугалась, — и она ушла, так нелепо простившись, что ничего не сказала о детях и не жалела, что не говорила ни о чем дельном.

— Я почему-то вдруг поняла, — говорила она, — что чем говорить о том, о чем нельзя говорить, лучше молчать.

Она осталась только еще на один день, чтобы посмотреть, «как Владимира памятнику церемонию делают», и, увидав, как в престрашный жар несколько солдат в мундирах упали замертво на мостовую, совсем расстроилась и уехала на север. По дороге в вагонах успокоилась и стала размышлять, что ей еще нельзя быть в толпе, что она человек тихий и ей нужна тишина. Дети ее на ногах, и у всех у них есть свой ум и рукомесло, ей уже можно теперь пожить для себя.

— А как для себя хорошо пожить! Я этого, вообразите, во всю жизнь никогда не думала, а тут вдруг как будто кто-то точно стоит в потемочках в уголке вагона и мне напоминает, что хотя я прожила в

большом счастье, но я ведь мужа с женой разлучила, что об этом забывать худо, а лучше думать об этом!

И это ей сделало пользу.

XX

Один великий человек сравнивает нашу жизнь на земле с положением пассажиров, едущих на корабле, который совершает далекое плавание. Кормчий пускает их погулять по острову, к которому пристало судно, но дает всем наставление не отходить далеко и спешить назад на корабль по первому звуку призывной трубы. Кто ходит недалеко и помнит о своем кормчем, тот не прозевает его сигнала, и успеет в свое время, и поплывет далее, а кто заберется далеко и там расположится, как дома, тот или совсем сигнала не услышит, или если и услышит, то не успеет прибежать на корабль, а останется на этапном острове, где ему казалось, что тут его настоящее жительство, и тогда так и придется ему оставаться на острове с дикарями, которые готовы поесть друг друга.

Праша, очевидно, ходила не дальше того, откуда она могла услышать то, что ей надо было услышать, чтобы не жить с дикарями.

Первою приметой, что до слуха Праши долетел отзывающийся звук, было то, что она стала равнодушна к таким вещам, на которые ранее всегда обращала внимание. Она всегда любила быть в аккурате, и вдруг начала выходить на улицу в пальто, надетом в один рукав или вовсе внакидку, «по-генеральски».

Это заметили лавочники и дворники и говорили:

— Преудивительно, никогда так не ходила; всегда, бывало, идет в аккурате, а теперь одну руку в один рукав всунет, а другую забудет, и еще локоть подопрет, — совершенно старый генерал ползет. Ей об этом шутя говорили, но она как будто не понимала даже, о чем речь, и продолжала «ходить по-генеральски», а потом стали замечать, что она перестала возражать и спорить, и на многое старалась «смотреть мимо», и потом вдруг перестала бояться крыс, мертвых и грозы и ничего решительно не желала, кроме тихого уединения, которого ищут околевающие животные.

Она сдала свое заведение и на вырученные маленькие деньги купила себе маленькое хозяйство в Финляндии, где обмывала и обшивала выкармливаемых крестьянами подкидышей воспитательного дома.

От здешней ли тишины или от чего другого, в уме Праши стали проявляться понятия, каких прежде не было: сообразно перемене понятий, она изменяла и свои отношения к тому, до чего это касалось. Так, например, она не только не хотела говорить что-либо во вред людей того края, где стала жить, — это делают и другие, кому законность и порядок приятнее произвола и беспорядка, — но она утратила всякий вкус к похвальбе и неохотно приезжала из своей избы в Петербург. Зато она имела то, чего разумно искала: покой.

Одной неугомонной Зинаиде Павловне суждено было делать последние испытания духовного и умственного роста Праши. Престарелая красавица была угнетаема потребностью делиться своими успехами в свете и неожиданно прислала неграмотной Праше письмо, в котором извещала ее, что из двух киевских старцев Зинаиды Павловны один, слепой, вышел из их компании и, найдя себе в Киеве племянницу, уехал с нею жить в Воронеж, а зато другой старец, «кривоустый», так Зинаиде покорился, что «поженился на ней законным браком». Зинаида Павловна, с одной стороны, была очень рада, что теперь она опять замужняя, а с другой — она боится, как бы ей не было наказания от

бога за то, что она поклялась не выходить замуж после своего первого мужа.

Праша не хотела ей отвечать на это.

— Если б я сама умела писать, я бы ей написала, что уже как мне теперь сорок лет, то мне в это время все источники жизни должны затвориться.

Соседние сироты-дети и чухны Прашу скоро узнали и полюбили, и она их тоже.

## XXI

Из чухон у Праши даже завелся один приятель; это был беднейший старик Авель. Он жил как гном, в какой-то земляной норе, и Праша его спервоначалу даже немножко пугалась. Низенький, кривоногий и косматый и притом очень старый, но черноволосый без седины; одет всегда в овечьей куртке черною шерстью вверх, а штаны из кожи. Днем он сидел над своею ямкой и плел кошель, а сам пел. Все что-то пел, а ночью опять выползал и долго-долго бродил между большими камнями, а потом взлезал на камень и дремал. Праша скоро узнала, что старый Авель человек не страшный, и перестала его бояться. А потом спросила его: что он поет?

Он отвечал:

— Сальми.

— А зачем сидишь наруже ночью?

— Лушаю.

— Что же ты слушаешь?

— Чего усами услышать нельзя.

«Должно быть, он помешанный, — подумала Праша, а выходить из избушки и сидеть наруже и ей понравилось. — Сидишь в тишине и до того утихнешь, что вдруг что-то слышишь: точно как будто Апрель Иванович Пеленака читает».

— Авель! — говорит Праша, — я у вас научилась сидеть на дворе ночью.

— Хоросо... сити!

— А для чего вы, Авель, вокруг камня ходите?

Авель не понял и замотал головою.

— Для чего вы на другую сторону всё смотрите?

Авель понял, как хотел, и отвечал:

— И ты смотри на другую сторону!

И Праше понравилось, что Авель говорит о небесном: как смотреть «на другую сторону жизни».

Ей стало приятно смотреть, как чухонский лохматый Авель старается услышать слухом неслышное и заглянуть на сторону невидимую, и она стала выходить ночью и подолгу сидеть с Авелем здесь между камнями. Сурово, строго и свежо как в воздухе, так и на душе. И капитанская труба с судна нет-нет да и раздастся, раз от разу зычнее.

Наконец была даже Праше наивысшая радость: от нее совсем отступил бледнолицый страх смерти.

Но жизнь иногда еще трогала.

## XXII

Раз Праша получила письмо; она отгадала, что это от Зинаиды Павловны, и спрятала его до свидания со мною. Письма Зинаиды Павловны Праша понимала за небезопасное по своему содержанию, соблазнительное чтение, которое могло смущать неопытные души. И то, которое находилось теперь в ее руках, было такое же: отцветшая красавица начинала его приветом «Паше-Праше-Пашенции», а

потом извещала, что, бог дал, она овдовела и теперь уже «по батюшкиному благословению определилась в монастырь», где начальницею та самая дама, у которой Праша «мужа отбила». Праша побледнела и вздрогнула. Я хотел прочесть далее про себя, но она оправилась и просила читать вслух.

Зинаида описывала, как эта дама стала теперь «жизни высокой» и может обо всем говорить по-христиански, и сын у нее грубиян, живет с актерами, но она его простила и Прашу простила. Но тут Праша перебила и сказала:

— Ну вот, и я ее простила.

— Это хорошо.

— Я ее давно простила. Она тогда мне за три месяца жалованья не отдала. Это бы нам на хлеб годилось, но я это-то ей и простила, но только не стоило бы нам с нею об этом вспоминать нынче. Кроме начальницы, Зинаида писала, что «есть у них в обители много разных святынь, но много и искушений», так что Зинаида Павловна «днем молится, а ночью иногда котомку шьет и бежать хочет, но как только ударяют к заутрене, дьявол от нее отлетает», а «скоро она уже примет ангельский чин, и тогда ей уже нет и не будет возврата в мир земной, где все искушение». Но хотя сама Зинаида и спаслась, но она еще не спокойна за нее, Прашу, и по любви своей к ней увещает ее, чтобы она скорее одумалась и, отложив все заботы, укрылась в обитель. «Здесь станем жить с тобою в одной келье и вместе умолять всевышнего за весь грешный род человеческий».

— Ня! — воскликнула Праша и еще сильнее побледнела.

— Что вы хотите сказать?

— Не читайте больше.

Но тут старушка Праша живо взяла из моей руки письмо красавицы, разорвала его на мельчайшие части и бросила их в топившуюся печку. Потом мы просидели несколько минут тихо, и после я ей сказал:

— Не надо сердиться.

— Я и не сержусь, — отвечала Праша, — а то она мне советует замуж, то к монаху, то самой в монахини. Какой беспокой! А мне хорошо.

И она сама рассказала мне, как она ходит в темноте между камнями и говорит с Авелем или читает одна «Отче наш». Теперь уже она вовсе не боится смерти и всегда чувствует одну радость.

Авель ей натолковал:

— Ты нечего-та не пойся-та!.. Он-то тебя посовет-та! Де тэбе нато-то, ты там-то и будес!

— И знаете, — закончила Праша, — я так и чувствую, что я там, где мне надо.

Она ласково улыбалась и как бы ждала, чтобы я ей что-нибудь возразил, но я молчал.

Вскоре после этого Праша и совсем «ушла в другое место». Раз утром нашли дверь ее избушки широко открытою, а тело хозяйки лежало на камне, и на устах у нее было несколько капель крови, с которою жизнь улетела из ее разорвавшегося сердца.

Так кончила свой воспитательный курс на земле эта фефёла, которая мне кажется довольно обыкновенною русскою женщиной, которая никого не погубила и себя усовершила в земной жизни, но в этом ей ничего не помог ни литератор, которого она любила, ни простой человек, который ее любил. Но она была хороша для всех, ибо каждому могла подать сокровища своего благого сердца. Если бы писатель жил долго, я думаю, что он бы ею наскучил и она окончила бы свою жизнь гораздо

хуже.

## Заячий ремиз

Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов

Встань, если хочишь, на ровном месте и вели поставишь вокруг себя сотню зеркал. В то время увидишь, что един твой телесный болван владеет сотнею видов, а как только зеркала отнять, все копии сокрываются. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует лицевидным деянием невидимую и присносущную силу и божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зеркаловидные тени.\*

## Краткое предисловие

По одному грустному случаю я в течение довольно долгого времени посещал больницу для нервных больных, которая на обыкновенном разговорном языке называется «сумасшедшим домом», чем она и есть на самом деле. За исключением небольшого числа лиц испытуемых, все больные этого заведения считаются «сумасшедшими» и «невменяемыми», то есть они не отвечают за свои слова, ни за поступки.

Приходя сюда с тем, чтобы видеть одного из таких больных, я незаметно перезнакомился и со многими другими, между которыми были люди интересные — в том отношении, что помешательство их было почти неуловимо, а между тем они несомненно были помешаны. Между прочими таков был чрезвычайно трудолюбивый, а притом и очень веселый и разговорчивый старик в бабьем повойнике, по имени Оноприй Опанасович Перегуд из Перегудов. Начальство заведения, прислуга и все больные звали его «Чулочный фабрикант», потому что он во всякое время, когда только не ел и не спал, постоянно вязал чулки и дарил их бедным. Кличкою «Чулочный фабрикант» он нимало не обижался, а даже был ею доволен и находил в этом свое призвание. Он был всеобщий друг и фаворит, его не обижал даже «Король Брындохлыст», сумасшедший человек огромного роста и чудовищной силы, который ходил в короне из фольги и требовал ото всех знаков раболепного почтения, а непокорным ставил подножки и давал затрещины. С Перегудом он проделал это только один раз в первый день его прибытия, а затем никогда этого не повторял и даже ограждал его, как своего «верноподданного болвана» и «лейб-вязальщика». О причине их дружбы с королем Брындохлыстом еще раз будет упомянуто в своем месте этой истории.

От роду Перегуду было лет за шестьдесят; он был «очень здоров», крепкого сложения, «присадковатой фигуры» и «круглого лица», «як добра каунка», то есть арбуз. Он происходил из мелкопоместных дворян, которых в Перегудах числилось большое изобилие. Попервоначально он не приготавливался для вязанья чулок, а даже «урвал себе самое необыкновенное образование» и «исполнял необыкновенный долг службы свыше всякого воображения». Во всем этом Перегуд столько самого себя превзошел, что даже, наконец, «сам для себя стал непонятен и удивителен». По убеждениям он был «частью честолоб, а частью консерватор», а в жизни «любил тишноту» и чтобы «никто один другому не смел позу рожи показывать». И при таких своих дарованиях Оноприй Опанасович Перегуд «всеудивительно себя превознес посредством «Чина явления истины»\* и потом «сам же себя жесточайше уменьшожил». Произошло это удивительно и печально, но Перегуд на то не роптал, ибо все это «походило от собственной его удивленной природы». А природа его была такова, что он еще в детстве своем бегал сам за собою вокруг бочки, настойчиво стараясь сам себя догнать и выпередить. Естественно, что человеку с таким настроением в конце концов не могло быть



покойно, и дело дошло до того, что после многих стараний Перегуду удалось сделаться жильцом сумасшедшего дома, где он и изложил в общеинтересных и занимательных беседах предлагаемую вслед за сим повесть.

Но прежде чем передавать повесть Перегуда, прошу позволения сказать нечто о месте, где он жил и действовал, а также об его происхождении.

I

В одной из малороссийских губерний есть очень большое и красивое село Перегуды. По мнению сведущих людей, это село давно бы надо уже переименовать в местечко или даже можно было бы объявить его и городом; но только это нельзя сделать, потому что «против сего есть заклятие от старого Перегуда». А кто такой был старый Перегуд? Это надо помнить, потому что он был когда-то человек очень важный — «казацкая старшина» и лыщарь; он лихо командовал полком, и звали его Опанас Опанасович. В честь его и теперь все его внуки и правнуки, которые носят фамилию Перегуды или Перегуденки, непременно потрафляют так, чтобы их дети мужеского пола были или Опанасы, или по крайней мере хоть Опанасовичи.

Такая уже «поведенция», щоб молодое дитя всегда звалось «у дідову честь», ибо «дід того стоил». — Я вам про него отлично могу все рассказать, — говорил, сдвигая на затылок колпак, Оноприй Перегуд и рассказывал длинную историю, из которой я подам только любопытнейшие извлечения. Прошу меня не осудить за то, что здесь его и мои слова будут перемешаны вместе. Я допустил это для того, чтобы не все распространять так пространно, как говорил на гулянках Оноприй Перегуд. Многое, по его мнению важное, на самом деле мне казалось неважным и опущено, как совершенно не идущее к делу, или же изложено кратче моими словами, причем вся суть событий сохранена, а откинута повторения и другие приемы многословия мечтательного маньяка, через которые рассказ его был бы не свободен от длиннот и через то непременно утрачивал бы интерес.

II

Полковник Опанас Опанасович, или, как принято говорить, «старый Перегуд», сам и основал село Перегуды. Сначала здесь ничего не было, а потом стоял только млын, или по-русски «мельница». Знаете, песенку по-малороссийски спивают: «був да нэма, да поїхав до млына», а кацапы поют: «было да нетути, и поехал на мельницу...» Преглупая кацапузия, а все непременно норовит везде на свой фасон сделать! Ну да ладно! А потом еще позже около млына стал Перегудов хутор, а еще позже, как божиим произволением люди понарожались и население умножилось, то уже стало и село. Вот тогда дід Опанас закрутил себе чуб и стал навывдумливать: нарыл прудов, насажал рыбы с Остра\* и завел баштаны да огороды и как стал собирать жинок и дівчат на полотье, то за их помочью, — пожалуйста, — еще больше людей намножил, и стало уже так много христиан, что, как хотишь, а довелось построить для них и церковь и дать им просвещенного попа, чтобы они соблюли закон христианский и знали, какой они породы и чем их вера лучше всех иных вер на свете. Иначе они не могли бы себя содержать в особливости без различия с литвою и ляхами, а наипачи с лютерами и жидами. Старый Перегуд все и сделал, что было надобно, и ничего за ним не стояло: он срубил и церковь с колокольнею и привез откуда-то попа Прокопа всем на заглядение, ибо это был человек самого превосходного вида: рослый, пузатый и в красных чоботах, а лицо тоже красное, як у серафима, а притом голос такой обширный, что даже уши от него затыкали.

Старый пан Опанас был уж такой человек, что если он что-нибудь делал, то всегда делал на славу; а

как он был огромный и верный борец за «православную веру», то и терпеть не мог никаких «недоверков» — и добыл в Перегуды такого отца, который не потерпел бы ни люторей, ни жидов, ни — боже спаси — поляков. Если совсем правду сказать, то оба они не очень-то уважали и господ москалей и даже постоянно не иначе их называли, как «чертовы дети», но, чтобы не накликать этим к себе «москаля на двор», — они в открытую борьбу с москалями не вступали, а только молились тихо ко господу, щобы их «сила божа побила».

В обхождении с властными людьми дедушка Опанас был весьма благоискусен, особенно с теми, которые этого стоили; но при этом оставаясь с людьми одной своей «верной природы», Перегуд не скрывал, что он искренно поважал только одно доброе казачество, и для того хранил до них такую верность и вежливость, что завладел всею перегудинскою казачиною и устроил так, что все здешние люди не могли ни расплыться по сторонам, ни перемешаться глупым обычаем с кем попадая. Опанас Опанасович закрепостил их за собою и учинился над ними пан, еще где до Катериных времен!\* Так это сделал Перегуд еще при той казацкой старине, про которую добрые люди груди провздыхали и очи проплакали. И сделал он все это за помощью старшин так аккуратно, что все перегудинские казаки и не заметили, «чи як, чи з якого повода» их стали писать «крепаками»\*, а которые не захотели идти для дідуси на панщину, то щобы они не сопротивлялися, их, — пожалуйста, — на панском дворе добре прострочили, некоторых российскими батогамы, а иных родною пугою\*, но бысть в тіх обоих средствах и ціна и вкус одинаковы. Но, а как это новым перегудинским крепакам, однако, все-таки еще не нравилось, то, чтобы исправить в них поврежденные понятия и освежить одеревенелый вкус, за дело взялся поп Прокоп, который служил в красных чоботах и всякую неделю читал людям за обеднею то «Павлечтение», которое укрепляет в людях веру, что они «рабы» и что цель их жизни состоит в том, что они должны «повиноваться своим господам». А чтобы это было крепко на веки веков, произошло то заклятие, которое не дозволяет селу Перегудам переименоваться ни в торговое местечко, ни в город.

### III

Так как перегудинские казаки не видали для себя удовольствия быть крепостными и, познакомясь с батогамы и пугою, поняли, что это одно другого стоит и что им дома бунтовать невозможно, то они «удались до жида Хаима», чтобы занять у него «копу\* червонцев». Крепаки захотели посылать в Питер справедливого человека, который мог бы достигнуть до царицы и доказать ей или ее великим российским панам, что в селе Перегудях было настоящее казацкое лыцарство, а не крепаки, которых можно продавать и покупать, как крымских невольников или как «быдло». Но прежде чем казаки с жидом насчет денег оговорились, прознал о сем пан полковник и «перелупцевав» всех этих бывших лыцарей, по-своему уже, «одностойне\*пугою»; а как он еще не любил кое-как кончать никакое дело, то у него еще достало ума, чтобы «предусмотреть и на будущее». Перегуд сообразил, что может случиться вперед, если крепаки добудут разум и гроши, и положил предотвратить всякий возможный вред удалением соблазнов. А как соблазны во всех делах подневольным людям всегда подают люди вольные, то надо было позаботиться, чтобы невольные с вольными близко не якшались. И вот для этого благой памяти старый полковник наскочил с хлопьятами и разорил жидовский дом, а потом и самого жида выгнал из Перегуд и разметал его «бебехи»\*, чтобы не было тут, того подлого и духу жидовского, «бо выбачайте\*, все жида одинаково суть враги рода христианского».

А когда после этого все благополучно уставилось и протекло немалое время, в течение которого

казаки перестали покушаться добывать себе назад лыцарство, милосердый бог судил Опанасу Опанасовичу «дождать лет своей жизни», то он увидел сынов и дщерей, и сыны сынов своих и дщерей, и обо всех о них позаботился, как истинный христианин, который знает, что заповедано в божием писании, у святого апостола Павла, к коринфянам во втором послании, в двенадцатой главе, в четырнадцатом стихе, где сказано, что «не должны бо суть чада родителем снискать имения, но родители чадам». И Опанас Опанасович соблюл это наставление, и когда его стараниями, а Божиим смотрением стало много Перегудов и Перегуденков, то было уже для них у старого полковника припасено и много добра.

Когда же все земное было устроено и Перегуд увидел, что житницы его полны, а век его иждивается и «літа уже прошли як слід по закону», то став взирать и ко вышня, и когда занедужал один раз животом, и до того вредно, что мало чуть внутренности из него не выпали, то он тогда вспомнил о «часе воли божией» и начав воображать в своей фантазии; «Що тоди буде, як его казацкая душа мало-помалу да наконец совсем выскочит из тела? Ой, не миновать ей того, чтобы устретить тех самых повсеместно летающих страшных и престрашных воздушных духов, или, попросту сказать, бесов или чертяк, которые намалеваны в Лавре на стенке у Пещерной брамы\* на выходе!.. Гей, то с ними тогда буде добра работа, и дешево не разделаешься. А деньги-то все на земле останутся...» Смел он был очень, но, знаете, однако такая беспокойная встреча если кому навяжется в голову, да еще при болезни, то это мое почтенье! Пробовал Перегуд хорошо испить «на потуху» и постараться уснуть покрепче, но все воздушных бесов множество за ним гналося и во сне ему стало сниться. Перегуд видел, как они, восшумев своими перепончатыми крылами хуже, як літучи мыши, схопят его за чуб и поволокут в ад, а другие будут подгонять сзади огненными прутьями...

— Сохрани и спаси от сего мати божа печерская!

#### IV

Пан Опанас сейчас же проснулся и в первую голову позвал попа в красных чоботах и подписал в свое завещание еще сто дукатов на колокол и чтобы отлито было с его очевидной «фигурою», а потом сказал тому пузатому попу Прокопу на ухо, по секрету от всех, «яку-то заклятку», и сам тут при всех же рожу скривил, да и умер. Такая-то была его кончина. А как принесли его в церковь, то все его хотели видеть, бо он убран был в алом жупане и в поясе с золотыми цвяшками\*, но поп Прокоп не дал и смотреть на полковника, а, взлезши на амвон, махнул рукою на гроб и сказал: «Закройте его швідче: иль вы не чуєте, як засмердело!» А когда крышку нахлопнули и алый жупан Перегуда сокрылся, то тогда поп Прокоп во весь голос зачал воздавать славу Перегуду и так спросил: — Братия! Все вы его знали, а не все вы теперь знаете, що от сей наш пан Опанас завіщал, бо то была велька его тайна, котору он мне открыв только в саму последнюю минуту, с тим, щоб я вам про это сказал над его гробом и щобы вы всі мне поверили, бо я муж в таком освященном сане, что присяги присягать я не могу, а все должны мне верить по моей иерейской совести, бо она освященна. И потому я пытаю вам добре: чи вірите вы міне, чи не вірите? Говорите просто!

И все в один голос ответили:

— Віримо, пан отец, віримо!

А отец Прокоп покивал головою и прослезился, и потом отер ладонями оба глаза и сказал томно:

— Спасибо и вам, дітки мои духовныи! Ой, спасибо вам, що вы меня, недостойного, так богато утешили, хотя я и раньше по очах ваших видел, що вы имеете до меня всяку веру, истинну же, и не

лицемерну, и не лицеприятну, и плодоносящу и добродееущу. Так и знайте же зато, вое люди божи, що сей старый наш пан и благодетель, его же погребаем, в остатнем часе своего жития схилил ся ко мне до уха, а потом на грудь так, что мне от него аж пылом и смрадом смерти повеяло, и он в ту минуту сказал мне... Слушайте ж! Всі слушайте! Бо се слова вже все ровно як бы с того світа... То він сказал так:

— Пан отец! Скажи всем людям на моем погребении, что я им заклинаю и всех моих родичей и наследников, щобы на вічны віки щоб никогда не було у нас в Перегудах ни жида, ни католика! От! И щобы не було у нас ни католицкого костела, ни жидовской школы; а чтобы была у нас навсегда одна наша истинная христианская вера, в которой все должны исповедаться у тебя, перегудинского попа, и тебе открывать все, кто что думает. А кто сего святого завета не исполнит и що-нибудь по тайности утаит, то «будет часть его со Иудою, который сидит у самого главного чертяка в аду с кошельком на коленях и жарится в сере».

И тут поп Прокоп поднял руку и забожился, что он это не выдумал, а что так истинно говорил полковник.

Этому долго все люди верили, но потом стали появляться кое-какие вольнодумцы, которые начали говорить, что отец Прокоп не всегда будто говорит одну чистую правду и иногда таки, — прости его господи, — и препорядочно «брешет»; и от сего-де будто можно немножко сомневаться: правда ли, что старый Перегуд положил заклятие, или, может быть, это отец Прокоп, — поздравь ему боже, — сам от себя выдумал, чтобы быть ему одному за все село единственным у бога печальником.

И как пошло это еретичество в людях, то естественно, что спасительный страх через то был отведен в сторону, и скоро «части с Иудою» уже почти совсем не боялися. И тогда начали лезть в Перегуды жида и католики с тем, чтобы им тут купить места и поставить себе дома на базаре; а потом, разумеется, они уж начнут столы стругать, штаны шить да сапоги, и шапки ладить, да печь бублики, и играть в шинке на скрипичах, и доведут Перегуды до того, что все здешние христиане чисто перепьются и перебьют трезвым жидам их носатые морды, а тогда за них, пожалуй, потребуется ответ, как будто и за заправских людей. Однако, несмотря на все эти хитрости, Перегуды все-таки очень легко могли сделаться местечком, если бы все перегудинские дворяне и между собою не перессорились. А какие на свете были перегудинские дворяне и сколько их было числом, то это Оноприй Опанасович сказывал сбивчиво, и думается, что всех их и описать нельзя, а довольно сказать, что все они ссорились и старались докучать и досаждать друг другу. В отдельности же из них надобно назвать только самого важного — это был Опанас Опанасович, который вывел свою фамилию в свет тем, что покинул домоседство и служил где-то по комиссариату первой или второй армии. Сей увеличил свою житницу и, имея единственного сына Дмитрия, дал ему столь превосходное воспитание в московском пансионе Галушки, что этот молодец научился там говорить по-французски о чем вам угодно. После этого его скоро определили по таможенной части, где он служил с честью и, получив чин коллежского советника, а также скопив состояние, вышел в отставку на пенсию. Еще состоя на службе, Дмитрий Афанасьевич Перегудов женился законным браком на начальственной родственнице Матильде Опольдовне, про которую, впрочем, говорили, будто она даже никому и не родственница, ну да это и не важно, потому что, как только Перегудов приехал к себе в деревню, жена его не стерпела здешней жизни и скоро от него ушла жить в Митаву. Дмитрию Афанасьевичу стало не с кем говорить по-французски, но он скоро придумал, как пособить

этому горю, и о деяниях его впереди ожидает нас некоторая мимолетная повесть.

Другой же видный перегудинский дворянин, как хотите, был тот самый Оноприй Опанасович Перегуд, которого я зазнал в сумасшедшем доме, и теперь дальше уже сам он будет вам рассказывать свою жизнь, опыты и приключения.

Оноприй Опанасович совершенно другого воспитания, чем Дмитрий Афанасьевич, ибо Оноприй не достигал московского пансиона Галушки, но зато он в воспитании своем улучил нечто иное, и притом гораздо более замечательное. Вот он теперь перед вами: он сравнял на коленях свое вязанье и начал говорить:

— Пожалуйте!

V

В моей жизни было всего очень много, но особенно оригинальности и неожиданности. Начну с того, что так учиться, как я обучался, — я думаю, едва ли кому другому из образованных людей трафилось. А и с тем, однако, я все-таки еще в люди вышел, и заметьте, должность какую сразу получил, и судил, и допрашивал, и немалую пользу принес, и жил бы до века, если бы не роман: «И, может быть, мечты мои безумны!..\*» Ах, слушайте, ведь я учился всем наукам в архиерейском хоре! Помилуйте-с! А как я оттуда прямо на гражданскую\* должность попал — это тоже замечательно, но только непременно надо вам немножко знать, как у нас лежит наше село Перегуды, ибо иначе вы никак не поймете того, что придет о моем отце, о рыбе налиме и о благодетеле моем архиерее, и как я до него пристал, а он меня устроил.

Оно, то есть село наше, видите, совершенно как в романах пишут, раскинуто в прекрасно живописной местности, где соединились, чи свивались, две реки, обе недостойные упоминания по их неспособности к судоходству. И есть у нас в Перегудах все, что красит всеми любимую страну Малороссию: есть сады, есть ставы\*, есть тополи, и белые хаты, и бравые паробки и черноброви дівчата. И всего люду там теперь наплодилось более чем три тысячи душ, порассеянных в беленьких хатках. Про нашу Малороссию всё это уже много раз описывали такие великие паны, как Гоголь, и Основьяненко\*, и Дзюбятый, после которых мне уже нечего и соваться вам рассказывать.

Особенности же, какие были у нас в Перегудах, состояли в том, что у нас в одном селении да благодаря бога было аж одиннадцать помещиков, и по ним одиннадцать панских усадеб, и все-то домики по большей части были зворочены окнами на большой пруд, в котором летней порою перегудинские паны, дай им боже здоровья, купались, и оттого и происходили совместно удовольствия и неприятности, ибо открытую полотном купальню учредил оный воспитанник пансиона Галушки, Дмитрий — як его долее звать — чи шо Афанасьевич, потому что у них после отъезда в Митаву их законной жены были постоянно доброзрачные экономки, а потому Дмитрий Афанасьевич, имея ревнивые чувства, не желали, щобы иные люди на сих дам взирали. Господи мой! як бы то им что-либо от очей подіється! Ну, а все прочие перегудинские паны на такие вытребенки\* не тратились, а купались себе прямо с бережка, где сходить лучше, и не закрывались, ибо что в том за секрет, кто с чем сотворен от господа. Се же и есть в том тайна господня творения, разделяюща мужской пол и женский, а человеку нечего над тем удивляться и умствовать, ибо недаром мудрейший глаголет в Екклесиасте\*: «Не мудрися излише, да некогда изумишися». И точно, были у нас такие паны и пани, что, бывало, как разденутся и начнут входить в воду, то лучше на них не взирай, да не изумишися. Но наши того и не боялись, а иные даже и нарочито друг другу такое

делали, что если один с гостями на балкон выйде, то другой, который им недоволен, стоит напротив голый, а если на него не смотрят, то крикнет: «Кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку».

Перегуды и Перегудовны — всі народ терпкий, и исключение составлял один я, ибо я, говорю вам, в воспитании своем в архиерейском хоре получил особое приуготовление.

Теперь, вот позвольте, сейчас будет вам сказ о моем воспитании, про какое вы, наверно, никогда и не чуяли, а теперь враз всё узнаете, как оно состоялось, — и главное, совсем неожиданно и, заметьте, совсем с неподходящего повода — из-за налима.

## VI

Только вы извините, что я и это вам начну опять с мирных и премирных времен моего пресчастливейшего детства, когда я находился при моей матери и всюду ее сопровождал по хозяйству, ел сладкие пенки с варенья, которое она наисмачнейше варила, и вязал под ее надзором для себя чулки и перчатки, и тогда мне казалось, что мне больше ничего и не надо, никакого богатства, ни знатности и никаких посторонних благополучий и велелепий. Думал, что и просить у бога чего-либо грех, иначе как «исполняй еси господи наше всяко животное благоволение», о коем сказано в молитве по трапезе. И вправду, — пожалуйста, — кажется, если человек сыт, и ему тепло, и он может иметь добрую компанию, ну, то чего ему еще и требовать! Разумеется, есть неблагодарные и злонравные, коим все мало, ну так у нас таких не было. Маменька моя, впрочем, была не из перегудинских, но а все-таки тоже хорошенького дворянского рода, а по бедности вела жизнь очень просто. Папеньку она очень любила, да и нельзя было его не любить, потому что папенька мой был очень молодец. Совсем был не такой, как я! Уг-гу! Где же таки: нэма що и сравнивать. Я какой-то коцубатый да присадковатый, а он был что высокая тополя. И чином он тоже был майор и вышел в отставку за ранами с пенсией, которую ему и выдавали по семи рублей в месяц из казначейства. Без этого нам бы, может быть, и очень бы туго было, как и другим Перегуденкам, но с пенсией мы жили добре, и мамаша всегда, бывало, мне говорили:

— Эй, Оноприйку! Шануй\* своего отца, бо ты видишь, как мы за его кровь сколько получаем и можем чай пить, когда у других и к мяте сахару нет. — Так мы и жили во всякой богу благодарности, и как родители мои были набожные, то и я был отведен материю моею в семилетнем возрасте на дух к попу! А поп у нас тогда был Маркел, Прокопов зять, — бо Прокоп помер, — и был той Маркел страшный хозяин и превеликий хитрец, и он с предумыслом спросил у меня:

— Чи не крав ли ты, хлопче, огурки або кавуны на баштани?

А як матери учила меня отвечать по правде, то я ему и ответил:

— А то як же, батюшко! — крав.

Он кажет:

— Молодец!.. Бог простит: се діло ребячье. — А потом вспомнил и то спросил — А не крав ли ты часом тоже и на моей бакші?

А я отвечаю:

— А то как же, батюшко: крав с другими хлопцами и на вашей.

А он тогда взял меня сразу за чуб и так натряс до самого до полу, что я тім только и избавился, що ткнул его под епитрахиль в брюхо, и насили от него вырвался и со слезами жаловался на то своему отцу с матерью. Отец хотел за это попа бить, но когда они сошлись, то заместо бою между ними настало самое «животное благоволение». Повод к сему был тот, что в это самое время настал у нас

новый архиерей, который был отцу моему по школе товарищ, и собирался он церкви объезжать. А отец взял да Маркелу попу тем и похвастался и сказал ему:

— Хоть и очень тебя изобью, но ничего не боюсь — тебе велено будет молчать против меня. А то и места лишишься.

Вот поп Маркел как это почувал, так и говорит отцу:

— Вот чисто все, и видать, что напрасно мы ссоримся. Если так, то хотите бьете, а хотите милуете, но я ничего противного не хочу, а если вы с нашим архиереем знакомы, то пусть от сего нам обоим добро выйдет.

Отец ему отвечает:

— Изъясни, что же такое! А архиерея я отлично знаю: мы с ним в бурсе рядом спали и вместе ходили кавуны красть.

А поп потянул рукою себя по бороде и отвечает:

— Извольте же вам за это получения: вот вам первое, что извольте получить, — это на чепан сукна и фунт грецкого мыла супруге на смягченье кожи.

И подает и сукно и мыло.

А отец ему отвечает, что «что же это, ты подаешь, не объяснив, в чем твое угождение, а думаешь уже, как бы с мылом под меня подплынуть! Так и все вы, духовные, такие хитрые; но я еще не забыл, как твой тесть моего діда волю над его гробом с амвони выкрикал; а может быть, все это только враки были, за то що он хотел выпхать из Перегудов жидов, а потом, когда уже жидов не стало, то он начал сам давать гроши на проценты, а ныне и ты тому же последовал».

Маркел говорит:

— Вот про сие и речь.

А отец говорит:

— Да що там за річь! Нэма про що и казать срам! Жид брал только по одному проценту на месяц, а вы берете дороже жидовского. Се, братку, не мылом пахнет!

— Ну, а если не мылом, — отвечал Маркел, — то я подарю вам еще большого глинистого индюха.

Що тогда буде? — спросил поп.

— И индюх не поможет.

— А если еще с ним разом и две индюшки?

Я глинистого пера птицы не отвергаю, потому что она мне ко двору, как и теля светлой шерсти тоже, но все же правда дороже, что ты разоритель.

— Ну, хорошо! Пусть вам и буде правда всего дороже. Делать нечего: я вам прибавлю еще и теля.

Владейте, бог с вами: из него скоро будет добра коровка!

— Ну, это когда она еще вырастет!

— А нет... не говорите так: вырастет и будет очень добра коровка!

— Да когда? Сколько этого ждать! Да и как будет ее молоко пить, когда вспомянешь, что это не за одну правду, а и за детскую кровь узял.

— От далась-таки вам еще эта детская кровь; да еще та самая, которой и не было!

— Ба! Як же то ее не было! Вы же трясли за чуб моего сына! Это на духу и не полагается.

— Эко там велико дело, що я подрав на духу хлопца за чуб за то, що он у меня кавуны крал: он с того растет, а вам от коровки молоко пить будет.

Но отец сказал:

— Это нельзя.

— Почему нельзя?

— А вы разве не читали у Патриаршем завете, что по продаже Иосифа не все его братья проели деньги, а купили себе да женам сапоги из свинячьей кожи, щобы не есть цену крови, а попирать ее\*.

— Ну, да понимаю уже, понимаю. Еще и попирать что-то хотите. Ну так будет вам и попирать — нехай будет по-вашему: я вам прибавлю еще подсвинка со всей его кожею, но только предупреждаю вас, что от того, что вы меня не защитите от всенародного озлобления, вам никакой пользы не прибудется; а как защитите, то все, что я вам пообещался, — все ваше будет.

Тогда отец сказал ему:

— Ну, иди и веди ко мне и индюха, и теля, и подсвинка — бог даст, я за тебя постараюся. А все расходы на твой счет.

Поп повеселел. Что уже там расходы! И стал он просить отца, щобы только припомнил и рассказал ему: что такое архиерей особенно уважал в прежней жизни?

А отец его попихнул рукою в брюхо и говорит:

— Эге! Поди-ка ты шельма какой! Так я тебе это и скажу! Мало ли что мы тогда с ним любили в оные молодецкие годы, так ведь в теперешнем его звании не все то и годится.

— Ну, а в пищепитании?

— В пищепитании он, как и вообще духовные, выше всего обожал зажаренную поросячью шкурку, но и сей вкус, без сомнения, он ныне был должен оставить. А ты не будь-ка ленив да слетай в город и разузнай о нынешнем его расположении от костыльника\*.

Поп Маркел живо слетал и, возвратясь, сказал: «Ныне владыка всему предпочитает уху из разгневанного налима»\*. И для того сейчас же положили разыскать и приобрести налима, и привезть его живого, и, повязав его дратвою за жабры, пустить его гулять в пруд, и так воспитывать, пока владыка приедет, и тогда налима вытащить на сушу, и принести его в корыте, и огорчать его постепенно розгами; а когда он рассердится как нельзя более и печень ему вспухнет, тогда убить его и изварить уху.

Архиерею же папаша написал письмо на большом листе, но с небольшою вежливостью, потому что такой уже у него был военный характер. Прописано было в коротком шутовском тоне приветствие и приглашение, что когда он приедет к нам в Перегуды, то щобы не позабыл, что тут живет его старый камрад, «с которым их в одной степени в бурсе палями бито и за виски драно». А в закончении письма стояла просьба: «не пренебечь нашим хлебом-солью и заезжать к нам кушать уху из печеней разгневанного налима».

Но, — пожалуйста, — какие же из этого последовали последствия!

## VII

Доставить отцово письмо в дом ко владыке покусился сам поп Маркел, ибо в тогдашние времена по почте писать к особам считалось невежливо, а притом поп желал разузнать еще что-либо полезное, и точно — когда он вернулся, то привез премного назидательного. Удивительно, что он там в короткое время успел повидаться со многими лицами архиерейского штата, и многих из них сумел угостить, и, угощая, все расспрашивал об архиерее и вывел, что он человек высокопросвещенного ума, но весьма оляповатый, что вполне подтверждалось и его ответом, который похож был на резолюцию и был



надписан на собственном отцовом письме, а все содержание надписи было такое: «Изрядно: готовься — приеду».

Тогда началась чудосия, ибо гордый своим майорством отец мой отнюдь не был доволен этою оляпкою и сейчас же пустил при всех на воздух казацкое слово и надписал на письме: «Не буду готовиться — не ездю», и послал лист назад, даже незапечатанный; но архиерей по доброте и благоразумию действительно был достоин своего великолепия, ибо он ни за что не рассердился, а в свою очередь оборотил письмо с новым надписанием: «Не ожесточайся! Сказал, буду — и буду» Тут папаша, — пожалуйста, — даже растрогался и, хлопнув письмом по столу, воскликнул: — Сто чертей с дьяволом! Ей-богу, он еще славный малый!

И отец велел маменьке подать себе большой келих\* вина и, выпив, сказал: «се за доброго товарища!», и потом сказал матери приуготовлять сливные смоквы, а попу Маркелу наказал добывать налима. И все сие во благовремение было исполнено. Отец Маркел привез в бочке весьма превеликую рыбу, которую они только за помощью станового насилу отняли у жида, ожидавшего к себе благословенного цадика, и как только к нам она рыба была доставлена, то сейчас же повелено было прислужавшей у нас бабе Сидонии, щобы она спряла из овечьей волны крепкую шворку, и потом отец Маркел и мой родитель привязали ею налима под жабры и пустили его плавать в чистый ставок; а другой конец шворки привязали к надбережной вербе и сказали людям, щобы сией рыбы никто красть не осмеливался, ибо она уже посвященная и «дожидается архиерея». И что бы вы еще к тому вздумали: як все на то отвечали?

А отвечали вот как: «О, боже с ней! Кто же ее станет красти!» А меж тем взяли и украли... И когда еще украли-то? — под самый тот день, когда архиерей предначертал вступить к нам в Перегуды. Ой, да и что же было переполоху-то! Ой, ой, мой господи! И теперь как об этом вспомнишь, то будто мурашки по тілу забігают... Ей-богу!

А вот вы же сейчас увидите, как при всем этом затруднении обошлись и что от того в рассуждении меня вышло.

### VIII

Преудивительная история с покражей налима обнаружилась так, что хотели его вытягти, щоб уже начать огорчать его розгами, аж вдруг шворка, на которой он ходил, так пуста и телепнулась, бо она оказалась оборванной, и ни по чему нельзя было узнать, кто украл налима, потому что у нас насчет этого были преловкие хлопцы, которые в рассуждении съестного были воры превосходнейшие и самого бога мало боялись, а не только архиерея. Но поелику времени до приготовления угощения оставалось уже очень мало, то следствие и розыск о виновных в злодейском похищении оной наисмачнейшей рыбы были оставлены, а сейчас же в пруд был закинут невод, и оным, по счастью, извлечена довольно великая щука, которую родителями моими и предположено было изготовить «по-жидовски», с шафраном и изюмом, — ибо, по воспоминаниям отца моего, архиерей ранее любил тоже и это.

Но что было неожиданностию, это то, что по осмотре церкви архиереем его немедленно запросил до себя откушать другий наш помещик, Финогей Иванович, которого отец мой весьма не любил за его наглости, и он тут вскочил в церкви на солею\*, враг его ведает, в каком-то не присвоенном ему мундире, и, схопив владыку за благословенную десницу, возгласил как бы от Писания: «Жив господь и жива душа твоя, аще оставлю тебя». И так смело держал и влек за собою архиерея, что тот ему

сказал: «Да отойди ты прочь от меня! — чего причіпився!» и затем еще якоесь его пугнул, но, однако, поехал к нему обедать, а наш обед, хотя и без налима, но хорошо изготовленный, оставался в пренебрежении, и отец за это страшно рассвирепел и послал в дом к Финотею Ивановичу спросить архиерея: что это значит? А архиерей ответил: «Пусть ожидает».

И, пообедав у Финогоя Ивановича, владыка вышел садиться, но поехал опять не до нас, а до Алены Яковлевны, которая тож на него прихотилася, як банная листва, а когда отец и туда послал хлопца узнать, что архиерей там делает, то хлопец сказал, что он знов сел обедать, и тогда это показалось отцу за такое бесчинство, что он крикнул хлопцам:

— Смотрите у меня: не смійте пуцать его ко мне в дом, если он подъедет!

А сам, дабы прохладить свои чувства, велел одному хлопцу взять простыню и пошел на пруд купаться. И нарочито стал раздеваться прямо перед домком Алены Яковлевны, где тогда на балкончике сидели архиерей и три дамы и уже кофей пили. И архиерей как увидал моего рослого отца, так и сказал:

— Как вы ни прикидайтесь, будто ничего не видите, но я сему не верю: этого невозможно не видеть. Нет, лучше аз восстану и пойду, чтобы его пристыдить. — И сразу схотился, надел клобук и поехал к нам в объезд пруда. А с балкона Алены Яковлевны показывая, дівчата кричали нам: «Скорей одягайтесь, пане! До вас хорхирей едет!» А отец и усом не вел и нимало не думал поспешить, а, будучи весь в воде, даже как будто с усмешкою глядел на архиерейскую карету. Архиерей же, проезжая мимо его, внезапно остановился, и высел из кареты, и прямо пошел к отцу, и превесело ему крикнул:

— Що ты это телешом светишь! Или в тебе совсім сорому нэма? Старый бесстыдник!

А отец отвечал:

— Хорошо, що в тебе стыд есть! Где обедал?

Тогда архиерей еще проще спросил:

— Да чего ты, дурень, бунтуешься?

А отец ответил:

— От такового ж слышу!

Тогда архиерей усмехнувся и сел на скамейку и сказал:

— Еще ли, грубиян, будешь злиться? *Egvando amabis...*\* Впрочем, соблюди при невеждах приличие! — И с сими словами рыгнул и, обратив глаза на собиравшиеся вокруг солнца красные облака, произнес по-латыни: *Si circa occidentem rubescunt nubes, serenitatem futuri diei spondent.*[73] Это имеет для меня значение, ибо я должен съесть, по обещанию, еще у тебя обед и поспешать на завтрашний день освящать кучу камней. Выходи уже на сушу и пошли, чтобы изготовляли скорее твоего налима, которым столь много хвалился.

Услышав это язвительное слово о налиме, отец рассмеялся и отвечал, что налима уже нет.

— Пока ты по-латыни собирався, добры люди божьи по-русски его украли.

— Ну и на здоровье им, — отвечал архиерей, — я уже много чего ел, а они, может быть, еще и голодны. Мы с тобой вспомним старину и чем попало усовершим свое животное благоволение. Не то важно, что съешь, а то — с кем ешь!

Услышав, что он хорошо говорит и что опять согласен еще раз обедать, отец скоро из воды выскочил, и потекли оба с прекраснейшим миром, который еще более установился оттого, что архиерей все

снова ел, что перед ним поставляли, и между прочим весело шутил с отцом, вспоминая о разных веселящих предметах, как-то о киевских пирогах в Катковском трактире и о пороссячьей шкурке, а потом отец, может быть чрез принятое в некотором излишестве питье, спросил вопрос щекотливого свойства: «Для чего, мол, ты о невинных удовольствиях, в миру бывших, столь прямодушно вспоминаешь, а сам миром пренебрег и сей черный ушат на голову надел?»

А той и на сие не осердился и отвечал:

— Оставь уже это, миляга, и не сгадывай. Что проку говорить о невозвратном, но и то скажу — о мирской жизни не сожалею, ибо она полна суеты и, все равно как и наша — удалена от священной тишины философии; но зато в нашем звании по крайней мере хоть звезды на перси легостнее ниспадают.

— Это-то правда, — сказал отец, — но зато нет от вас племени, — и затем пошел говорить, как он видал у грецких монахов, где есть «геронтесы\*», и как они, сии геронтесы, иногда даже туфлей бьют...

Но тут следившая за разговором мать моя со смущением сказала:

— Ах, ваше преосвященство!.. Да разумеется все так самое лучшее, как вы говорите!.. — А потом обернулась к отцу и ему сказала: — А вы, душко мое, свое нравоученье оставьте, ибо писано же, что «и имущие жены пусть живут как неимущие»... Кто же что-нибудь может против того и сказать, что як звезды на перси вам ниспадают, то это так им и слід ниспадать и по закону и по писанию. А вы моего мужа не слушайте, а успокойте меня, в чем я вас духовно просить имею о господе!

Отец сказал:

— И верно это, душко моя, у вас какая-нибудь глупость!

А мать отвечала:

— А напротив, душко мое, это не глупость, а совершенно то, что для всех надо знать, ибо это везде может случиться. — И сразу затем она рассказала архиерею, что у нее «есть в сумлений», а было это то, что когда перед прошлою пасхою обметали пыль с потолков, а наипаче в углах, то в гостинечной комнатке упал образ всемилостивейшего спаса, и вот это теперь лежит у нее на душе, и она всего боится и не знает, как надлежит к сему относиться.

Архиерей же выслушал ее терпеливо и немножко подумал, а потом сказал «с конца»:

— На дискурсе\* ваш ответу сначала с конца, как об этом есть предложенное негде в книгах исторических: поверье об упавшей иконе идет из Рима, со времен язычества, и известно с того случая, как перед погибелью Нерона лары упали во время жертвоприношения\*. Это примечание языческое, и христианам верить сему недостойно. А что в рассуждении причины бывшего у вас падения, то советую вам каждого года хотя однажды пересматривать матузочки, или веревочки, на коих повешены висящие предметы, да прислуга бы, обметая, чтобы не била их сильно щеткою. И тогда падать не будут. Расскажите это каждому.

Мать мою это еще больше смутило, ибо она была очень сильно верующая и непременно хотела, чтобы все ее суеверия были от всех почитаемы за самосвятейшую истину. Так уже, знаете, звичайно\* на світі, що все жинки во всяком звании любят посчитывать за веру все свои глупости. И архиерей понимал, как неудобна с ними трактация, и для того прямо из языческого Рима вдруг перенесся к домашнему хозяйству и спросил: «Умеете ли вы заготавливать в зиму пурмидоры?» А переговорив о сем, перекинулся на меня, и вот это его ужаснейшее внимание возымело

наиважнейшие следствия для моей судьбы. Говорю так для того, что если бы не было воспоминаемого падения иконы, то и разговора о ней не было бы, и не произошли бы наступающие неожиданные последствия.

IX

Быв по натуре своей одновременно богослов, и реалист, архиерей созерцаний не обожал и не любил, чтобы прочие люди заносились в умственность, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные надобности. Так и тут: малые недостатки отца моего не избежали, очевидно, его наблюдательного взора, и он сказал:

— А що, collega, ты, как мне кажется, должно быть, не забогател?

А отец отвечает:

— Где там у черта разбогател! На трудовые гроши годовой псалтыри не закажешь.

— То-то и есть, а пока до псалтыри тебе, я думаю, и детей очень трудно воспитывать?

Отец же отвечал, что тем только и хорошо, что у него детей не много, а всего один сын.

— Ну и сего одного надо в люди вывести. Учить его надо.

А когда услышал, что я уже отучился у дьячка, то спросил меня: что было в Скинии свидения? На что я ответил, что там были скрижи, жезл Аваронов и чаша с манной кашей\*. И архиерей смеялся и сказал:

— Не робей: ты больше знаешь, как институтская директриса, — и притом рассказал еще, что, когда он в институте спросил у барышень: «какой член символа веры начинается с «чаю»\*, то ни одна не могла отвечать, а директриса сказала: «Они подряд знают, а на куплеты делить не могут».

И опять все смеялись, а маменька сказали: «И я не знаю, где там о чае». А когда архиерей узнал, что я имею приятный голос, велел мне что-нибудь запеть — какой-нибудь тропарь или песню, а я запел ему очень глупый стих:

Сею-вею, сею-вею,

Пишу просьбу архиерю!

Архиерей мой, архиерей,

Давай денег поскорей!

Родители мои очень сконфузились, что я именно это запел; а я, наоборот, потому запел, что я эту песню занял петь от моего учителя — дьячка; но архиерей ничего того не дознавал, а только еще веселей рассмеялся и, похвалив мой голос, сказал:

— Оставьте укорять дитя. Мне решительно его поза рожки очень нравится, и я полюбил его за его невинность; а вы мне скажите лучше: куда вы его думаете предопределить?

Отец отвечал:

— Э! куда спешить! Пусть он еще подрастет, а потом я покорюсь Дмитрию Афанасьевичу и попрошу у него письма, чтобы приняли хлопца в порубежную стражу: там нажать можно.

Но архиерей отвечал:

— Укрой тебя господи! Еще что за удовольствие определять сына в ловитчики! Почитай-ка, что о них в книге Еноха написано\*: «Се стражи адовныя, стоящие яко аспиды: очеса их яко свечи потухлы, и зубы их обнаженны». Неужели ты хочешь дать сию славу племени своему! Нет, да не будет так. А дабы не напрасно было мое сожаление, то опять повторю: мне его поза рожки нравится, и я предлагаю вам взять сего вашего сына к себе для пополнения певчего хора. Чего вам еще лучше?

А причем еще он обещал одевать меня, и обувать, и содержать, и обучить всем наукам на особый сокращенный манер, «как принца», ибо на такой же сокращенный манер тогда с малолетними певчими проходил особый инспектор. Маменька этого не поняли, но отец понял, и когда матери истолковал, то и ей понравилось, а главное к тому еще ее прельстило, что архиерей пообещал посвятить меня в стихари, после чего я непременно буду участвовать в церемониях. Это уже столь весьма обольстительно сделалось в фантазии маменьки, что она даже заплакала от счастья видеть меня в облачении в парчовом стихаре, наверно воображая меня уже малым чем умаленного от ангел и в приближении к наивысшему небу, откуда уже буду мочь кое-что и сродственникам своим скопнуть на землю. И потому, когда отец еще думал, мать первая уже согласилась отдать меня в посвящение, но отец и тогда еще колебался. И тогда архиерей сказал ему:

— Поверь мне, что духовная часть всех лучше, и нет на свете счастливейших, как те, что заняли духовные должности, потому что, находятся ли люди в горе или в радости, духовные всё себе от них кое-что собирают. Будь умен, не избегай сего для сына, ибо Россия еще такова, что долго из сего круговращения не выступит. — Но отец все-таки и тут хотел на своем поставить и сказал:

— А где же возьмется поколение стражей?

Архиерей отвечал:

— Тебе что за дело! — И проговорил опять от Еноха: «Видех аз стражи стоящие яко аспиды, и очеса их яко свечи потухлы, и зубы их обнаженны». Сравни же теперь, то ли дело житие духовное, где исполняется всякое животное благоволение... А я ж твое дитя на то и поведу мирно от чести в честь, и какие хотишь, те я ему и дам должности! Я его сделаю и книгоносцем, сделаю его и свещником, и за посошника\* его поставлю, и будет он светить на виду у всех особ, среди храма, а не то что порубежный или пограничный сторож!

Тут уже и отец не выдержал, а матушка вскинула вверх руки и воскликнула:

— Ой, боже мій! Боже мій милій! И откуда мне сіе, и доживу ль я до этого! Не говорите уже ничего больше, ваше преосвященство, бо я и так уже чувствую, какая я изо всех матерей богоизбранная и превознесенная. Берите моего сына: я желаю, щобы було так, как вы говорите, — щобы он перед всеми посередь дни свечою стоял и светил! Да пусть подержит уже и ту книгу, которую вы читаете! Що вам!.. Ведь можно?

Архиерей улыбнулся и сказал:

— Можно!

А мати поддержала:

— Я знаю, — говорит, — что на сем свете все можно, и сейчас пойду и ему белье соберу, щобы он с богом разом с вами ехал. — А потом погнулась до отца, и чуба ему поправила, и сказала: — А вы уже, душко мое, не спорьтеся.

Отец отвечал:

— Да ладно!

И с тім она схопилась и побігла снаряжать меня, а отец вслед ей сказал:

— Ишь, яке в жинках огромное самолюбие обретається! Того она и не спытала, що, може бы, дитя схотело лучше идти в судовые панычи, и бог даст, может быть, когда-нибудь еще вышло б на станового.

Станового же должность отцу моему нравилась, потому что, знаете, он и сечет и с саблюкой ездит, и

все у него как бы подобно до полкового.

А архиерей отвечал:

— Что ж такого: если твой сын захочет быть светским, то и это мне не будет трудно: я попрошу вице-губернатора, и его запишут в приказные, а потом он может и на станového выйти. Так он даже может быть и стражем и далее может сам произвести поколение стражей, а все не то, что пограничники, ибо становой злодиев и конокрадов преследует. Это необходимость.

Это помирило все недоумения моего отца, который все-таки не ожидал такого обширного доброжелательства со стороны владыки и, не зная, что ему на это ответить, вдруг бросился ему на перси, а той простер свои богоучрежденные руки, и они обнялись и смешали друг с другом свои радостные слезы, а я же, злосчастный, о котором всё условили, прокрался тихо из дверей и, изшед в сени, спрятался в темном угле и, обняв любимого пса Горилку, цловал его в морду, а сам плакался горько.

Х

Но, как говорится — Москва слезам не верит, то и я со своими слезами не помог себе, и по сем враз же мне повелено было принять благословение у родителей и ехать в город вместе с самим владыкою, или, наипаче сказать, не с ним, а с его посошником, сидевшим в подвесной будке за архиерейской каретой.

Так-то налим отвязался и ушел или был скраден злыми соседями, а я вместо него попался на шворку, и затем о преподобном попе Маркеле и о его процентных операциях никакого разговора, сдается мне, у отца моего с архиереем совсем не было, а для меня с сей поры кончилось время счастливого и беззаботного детства, и началось новое житье при архиерейском доме, где я получил воспитание и образование по сокращенному методу, на манер принца, и участвовал в наипышнейших священнодействиях, занимая самые привлекающие внимание должности. И на сем месте обозначается естественный перелом в моем житии, ибо до сей поры я созревал в домашнем своем положении, какое получил по рождению своему в моем семействе, а отсюда уже начинается умственное и нравственное мое развитие, составляющее как бы вторую часть моей биографии, впоследствии еще подразделяемую и на третье.

ХІ

Архиерей как вначале показал себя очень простым и добрым человеком, так вообще и далее таков же оставался и очень немалой любви заслуживал. Правда, что иные находили в нем как бы не весьма много духовности, но зато он был превеликий любитель миролюбия и хозяйства и столько был в это вникателен и опытен, что с приходящими просителями всего охотнее говорил о произрастениях из полей и о скотоводстве, и многие советы его были удивительны. Так, например, жителям местности, где воспитывают свиней, он подал совет: как можно в точности узнавать толщу сала, покалывая живую свинку в спину шилом, от чего она только мало визжать будет; а в другой раз рассказал всем страдавшим от покражи птицы, какое удивительно хитрое средство употребляют цыганы, воруящие гусей так, чтобы птицы не кричали, и чего вообще от цыган остерегаться должно. Знал он также и многие другие вещи, о которых невежды сочиняют суетная и ложная к поддержанию языческих суеверий. Итак, когда купили для него корову, чтобы он мог иметь к чаю свои сливки, и та корова почала громко рычать, то эконоом и иже с ним бывшие полагали, что надо корову переменить, ибо она цветом шерсти не ко двору; но владыка улыбнулся и сначала сказал по-латыни:

— Tu deorum hominumque tyranne, Amore! то есть: О ты, Амур, тиран богов и людей! — А после продолжил по-русски: — Не стыдно ли вам верить в такие пустяки! Или вы, обязанные другим людям изъяснять темноты их непонимания, сами еще не разумеете, что когда рогатая скотина рычит, то вернее всего для того, что мечтает иметь свидание с быком? — И для удостоверения в этом приказал послать корову к дьякону, содержавшему у себя племенного быка, и как корова оттуда возвратилась вполне жизнью довольная, то оказалось, что владыка был против всех суеверов прозорливее. Но это иначе и быть не могло, потому что был это человек огромных дарований и престрашной учености до того, что даже с Сковородою во мнениях сходился и на все замечания о тех або иных улучшениях по его части говорил: «Верти не верти, а треба пролагать путь посреде высыпанных курганов буйного неверия и подлых болоть рабострастного суеверия», а сие, если помните, изречение оногo вечнопамятногo Григория Варсовы Сковороды. И видел он это так світло, что сміялся тем, которые в чужие края ездят да вновь с тем же умом возвращаются, и «очами бочут, а устами гогочут, и красуются як обізьяны, а изменяются як луна, а беспокоятся як сатана. Кто слеп дома, тот и в гостях ничего не увидит». А он и дома у себя в монастырьке сидел, да все понимал и знал: и Платона\*, и Цицерона\*, и Тацита\*, и Плавта\*, и Сенеку\*, и Теренция\*, и иных многих, да, боже мой, и еще чего он только не знал, и чего не читал, и многому, может быть, и меня хотел научить, но не мог по всего совместимости. Ей-богу! Ей-богу! Вы небось не поверите, а это, ей-богу, настоящая правда — не мог! Я такое счастье имел, что, как он сказал, что ему поза рожи моей нравится, то и действительно он меня, как отец, жалел, и регенту бить меня камертоном по голове не позволял, и содержал меня, как сына своего приятеля, гораздо нежнейше от прочих, а как я очень был ласков, и умильно пел, то, кроме того, сделалось так, что я стал вхож в вице-губернаторский дом, к супруге и дочке сего сановника, для совсем особливого дела, о котором тоже узнаете. Но ученость у нас в хоре шла плохо и не могла быть лучшею, потому всем премудростям мы, певчие, должны были научиться в кратчайшее время и специально от одного лица, который был нашим учителем, но именовался для чего-то «инспектором». Был это человек в своем роде тоже достопримечательный, и именовался он ранее Евграф Семенович Овечкин, но впоследствии он свою фамилию изменил для того, что на него пало подозрение в приспешении якобы смерти своей жены, после чего ему даже и священнодействие было воспрещено, и он сложил сан и вышел в светское звание. Тогда же, пошив себе прегромадный жилет с кожаными карманами, он насыпал в эти карманы нюхательного табаку и нюхал его без табакерки, прямо зачерпывая из кармана и поднося к носу всеми пятью перстами, ибо так делали будто дьяки, которым он желал подражать, заставляя, чтобы все боялись его ябеды. И что владыка такого человека держал, то — пожалуй — осуждать невозможно, ибо то был негодяй паче нежели Регул\*, а того же в Риме все опасались за его набожность и склонность к доносам. Он же и ранее все доносил, когда был в училище смотрителем, и тогда ожесточительно сек, как никто другой, но знал превосходно способ успешного ведения приказных дел, что было очень потребно в сношениях по письменной части, и для того владыка им дорожил и имел его за инспектора для образования певчих. «А дабы не поминались прежние оногo лютости, то изменена была ему самая его фамилия, а именно, на место прежнего наименования «Овечкин» стал он называться «Вековечкин». И так все его грубые деяния сокрылись через отмену несоответственного этому волку овечьего прозвища. Но надо же вам знать и то: чему он нас обучал?.. Поистине это прелюбопытнейше! Почитался он, как богослов, вероятно, только за то, что

знал наизусть все решительно праздники и каноны всем праздникам, и для обучения нас имел тетради, из коих извлекал познания, в которых бы, думаю, и сам Феофан Прокопович\* бы, пожалуй, не много утямив\*. Так, например, «благослови господи, благости твоя боже», — в самую первую голову для насаждения и неколебимости веры давал нам заучать: «Не сумнися о вере, человеце! Не един бо есть, и не десять, и не сто свидетелей о вере, но бесчисленно народу». Понимаете, нет тут ни какого-либо умственного разглагольствия о каковых-либо суждениях или мнениях, а, прямо сказать, все основано на свидетельских показаниях. Да, а зато выведено было так, что попробуй-ко кто усумниться! «Первые у бо свидетели суть пророки, — сии сами вероваша и нам предаша»... Пожалуйста, кто имеет отвагу возражать против сих свидетелей! А далее: «Вторая свидетелие апостолы: сии ядоша и пиша с создателем всяческих...» Тоже опровергните, пожалуйста! И так всё далее и далее, гонит стезю аж вплотную до святых вселенских соборов и отцов, и аввы Дорофея\*, и исчисления их: «На одном точию 418 святых было...» Не угодно ли! А сколько на всех было истинных святых? Вот, ручаюсь вам, изберите теперь любого из нынешних академистов и спросите: «Сколько було?», так иной и сам инспектор не ответит или возьмет да сбрешет; а наш Вековечкин все это знал вразнобивку на память по месяцам и нам предал это так, что я о сию пору хоть патриарху могу ответить, что «в сентябре 1100 святых, а в октябре 2543, а в ноябре аж 6500, а в декабре еще больше — 14 400; а в генваре уже даже 70 400; а в феврале убывает — всего 1072, а в марте даже 535, а в июне всего 130, но в общей-то сложности: представьте же, какая убежденность, или что можно подумать против таковой области таковых-то свидетелей! А потом, кроме сих на свидетельстве основанных доказательств, начинаются наиточнейшие справки в днях и часах, когда что случилось, и опять: «устыдися, человеце, и убойся!» Удивляются многие Карамзину на то, что где он там пооткопал и повыписывал; да еще и бог знает, все ли то правда или неправда, про что он рассказывает; а у нашего инспектора Вековечкина твердо было обозначено, что пресвятая богородица родилась в лето 5486 года, а благовещение бысть в лето 5500, в неделю, в десятый час дня, в двенадцать лет и в семь месяцев ее возраста. Родися господь в лето от создания 5500-е, а крестися в лето от создания 5530-е, в седьмый час нощи. И так все до малости, как начинает приводить, то не токмо о сих, но и о меньших все вспомнит: «Вспомяни, душе моя, того и оваго: вспомяни Моисея оного, иже прикова себя на цепь аки бы скот бессловесный; вспомяни Анастасия, ему же нозе его бяху, аки сухо древо до пояса; Дмитрия, иже ядыше едину воду, и Александра, иже ядох едину шерсть, или Семиона, от него же вси гади расползашася»... Всю-всюсеньку историю, что было на земле, знал и даже презирал на воздушные и мог преподавать, откуда кая страсть в человеке, и кто ею борится: «Против бо веры борятся маловерие и сомнение, а держит их бес сомненный; против любви — гнев и злопомнение, а держит их бес гневливый; против милосердия — бес жестокосердый; против девства и чистоты — бес блудный». И так далее, и «в коем уде\* кий бес живет, где пребывает и как страсть воздвизает», и «как оные духи входят овогда чувственне некако, а овогда же входят и исходят чувственне некако», и «како противу им человеку подобает нудитися...» И все эти науки мы превзошли и знания получили; но кроме того владыка и сам меня призывал и почаству учил меня по-латыни, и я — право, такой понятный хлопец был, что мы не только какого-нибудь там Корнелия Непота переводили, а еще, бывало, сам он читал мне свои переводы, которые делал из Овидия!.. Э! вот если бы вы это послушали, так вы и увидали бы, что эта уже не Овечке чета, а ужаснулись бы, что настоящая поэзия с человеком делает! Особенно про стада: «Чем



заслужили смерть мирные стада\*, рожденные для поддержания жизни людей; вы, которые даете нам сладкий нектар, одеваете нас своею шерстью и приносите жизнью больше пользы, нежели смертью? Чем виноват бык (замечайте сие про быка, сколь нежно!)... чем виноват бык, животное, чуждое обмана и хитрости (о, пресвятая и великая правда!), — животное простое, рожденное покорно переносить труды? Поистине неблагодарен и недостоин пожать плоды своего поля тот, кто, сняв ярмо плуга со своего пахаря, решился зарезать его... кто ножом поразил шею, потертую трудом, обновлявшим жестокую почву... (Не осуждайте, що плачу!) Откуда у человека желание к сей запретной пище? Как вы осмеливаетесь питаться другом вашим быком, смертные люди?

Остановитесь, бегите кровавых пиршеств, за которыми вы пожираете своих кормильцев...»

Оноприй Опанасович Перегуд на этом кончил на память цитату из Овидия и минуты две жалостно вздыхал о быке, а потом прибавлял, что всякий раз, когда он «молодший был» и архиерей ему, бывало, читал это из Овидия, то он несколько дней совсем не мог есть ничего мясного, окромя как в колбасах, где ничего не видно, но потом над этим язычеством смеялись, и оно в нем «помалу сходило», и опять наставлял обычный порядок учения и жизни.

— Из этой стороны, — продолжал облегченный слезами рассказчик, — примечательнее всего было то, как я учился всему по облегченному способу у Вековечкина, то это делалось по его тетрадкам, но ответы не спрашивались, потому что нам уроки учить было некогда. О богословии и церковной истории я вам уже представил, а по гражданской истории всему были выводы еще более в ужаснейшей кратости. Так, например, после я видал, что во многих весьма книжках по несколько даже страниц упоминают о французской революции, а у нас о ней все было изложено семь строчек в такой способ, что я о сю пору весь артикул наизусть помню. «Сие ужаснейшее и вечного проклятия достойное наипозорнейшее событие вовсе не достойно внимания, но, совершенное на основании бессмысленных и разрушительных требований либертите и егалите\*, оно окончилось уничтожением заслуг и смертью короля французского на эшафоте, после чего Франция была объявлена республикою; а Париж был взят и возвращен французам только по великодушию победителей. С той поры значение Франции ничтожно». А однако, хотя это и кратко изложено, но все-таки, знаете, зародило понятие о том, что это было що-сь такое, як бы то «не по носу табак», и когда я впоследствии, бывши у вице-губернаторши, услышал о представлении казней согласно наставлению поэта Жуковского\*, то мне уже прелюбопытно было слушать, как те отчаянные французы чего наработали!

Знаете, собрали все-таки шайку самых головорезов и запели себе мартальезу, и вот тебе на! — пошли и под преужаснейшие слова «Алон анфан де ля патриё» раскидали собственноручно свою собственную самоужаснейшую крепость Бастиль!\* Ну, подите же с ними! Да еще и убивали вернопреданных слуг королевских, а злодеев спустили с тягчайших цепов, которые их сдерживали, прямо на волю. Вековечкин французов иначе и не называл, как «проклятые», но владыка смягчал это и в согласии с Фонвизиним говорил, что довольно просто внушать, что, «по природе своей сей народ весьма скотиноват и легко зазёвывается»\*. Ну-с, а я так замечал, что я уже веду речь не по порядку, ибо говорю о казни по наставлению Жуковского, для чего еще не настала очередь, и это придет в своем месте впоследствии. Теперь же знову здорово повернемся к порядку.

## XII

И полугода не прошло, как исторгли меня из объятий матери, а я знал уже все самомельчайшие

порядки торжественных служб, и так хорошо все потрафлял, что даже вовсе не требовал, чтобы меня, как всех прочих, руководил протодьякон. А достиг я этого единственно тем, что сам изучил наизусть все тридцать девять пунктов поклонения перед владыкою за литургиею и, как «Отче наш», знал, когда надо поклоняться за один раз по разу и когда по трижды. И меня тотчас посветили в стихарь и научили, как в нем ходить, тихо опустив оцеразоце, и руки смиренно, а позу рожи горé. И отсель я начал свое духовное делание, о котором исчислю все по порядку: был я сначала исполатчиком, но скоро вышел такой случай, что я спал с голоса и стал посошником. Отчего я спал с голоса — это восходит к представлению казни по наставлению Жуковского, но об этом скажу особо, о службе же посошником изложу здесь. По этой должности долг мой был в том, чтобы метать под ноги и отнимать из-под ног орлецы\*. Это, я вам скажу, докучательная, но тоже и осмотрительная комиссия, ибо того и гляди, что очень можно попутаться и всю кадрили испортить. А потом я носил рипиды\* и был книгодержцем и свещеносцем, и в этой должности опять никто лучше меня не умел уложить на поднос священные предметы, как то необходимо впоследствии, дабы вверх всего мантию, а на мантию рясу, а на рясу клобук, а на клобуке четки, а на другом блюде митру\*, а по сторонам ее панагию и крест, а на верху митры ордена и звезды, а позади их гребенку «на браду, браду его»... Как же-с! В такой младости, а я уже тогда познал все ордена не хуже, как какой-нибудь врожденный принц, и все постигал, какое из них у одного перед другим преимущество чести, и потому какой орден после которого следует возлагать, и тот, который надевается ниже, я тот уже и полагал на блюде сверху, а который надевается после, тот ниже. Вам, может быть, кажется, что все это не есть наука, но я, однако, и это все изучил и всегда имел при себе — как в руководственной книжке показано — как-то на всякий случай иголки, и шелк, и нитки, и булавки, и ножницы, и шнурки, потому что все это при сложности облачения вдруг может потребоваться. И архиерей видел все эти мои аккуратности и несколько раз благостно меня уговаривал или принять ангельский чин, или жениться и идти в белое духовенство, но я — вообразите — не захотел ни того, ни другого, и не совсем приятно сказать — от какого престранного случая, в котором очень даже стыдно и сознаться. Представьте себе, что я влюбился, да и в кого еще? во двух разом, из которых одна была вице-губернаторская дочь! Совершенно как у Гоголя. А интересно ж знать, как я на это дерзнул и по какому случаю? Случай был тот, что вице-губернаторша была самонейнейшей институтской души и окончила с шифром и говорила однажды лично с Жуковским, который ее обласкал и утешил по поводу бедственного окончания судьбы ее брата, и она успокоилась и полюбила читать его сочинение о том, как надо казнить православных христиан так, чтобы это выходило не грубо, а для всех поучительно, и им самим легко и душеполезно. Желал Жуковский, чтобы казнь в России происходила не как у иностранцев, а без всякого свирепства и обиды, а «как спасающий порядок, установленный самим богом». И, боже мой милый, как это все хорошо у него расписано, чтобы делать это «таинство» при особой церкви, которую он велит выстроить на особый манер, за высокой стеною, и там казнить при самом умирительном пении, и чтобы тут при казни были только одни самые избранные, а народ бы весь стоял на коленях вокруг за стеною и слушал бы пение, а как пение утихнет, так чтобы и шел бы к домам, понимая, что «таинство кончилось». И вице-губернаторше все хотелось, чтобы у нас такую церковь поскорее выстроить, и пусть она стоит в ограждении стеною, пока случай придет сделать «таинство», и она начала собирать на то деньги, а от нетерпения делала примеры таинства у себя в покоях, причем ее четырнадцатилетняя дочь парила

над осужденными в виде ангела, а я, сокрытый ее хитоном, пел сочиненные Вечковечкиным песнопения. Думали, что в сем я и голос свой надорвал, но это вышло не от того; а было так, что я влюбился одновременно и в ангела и в осужденницу, которую представляла из себя, по господскому приказанию, очень молодая и красивая горничная — девушка с черными вьющимися волосами и глазами такими пылкими, як у дьявола... По правде сказать, это она всех больше и была причиною тому, что я спал с голоса, ибо я сначала научился ее обнимать и прижимать до сердца, а потом очень долго ходил дожидать ее под воротами, когда ее пошлют за сухарями... Все, знаете, глупая наша молодость, когда поешь гласом ангела, а в черта и влюбишься. Ну да, дал бог, исполнилось так, однако, что и это мне не повредило, а вышло что-то доброе, ибо в это же время, как мы разыгрывали таинство казни, отец мой умер, а маменька, вероятно, уже довольно насладились тем, что видели меня в торжественных служениях, и вдруг от неизвестной причины переменили свое расположение и начали говорить: «Будет уже тебе дьячковать! Видела я уже все, это как ты ходишь оце-разоце и позу рожи горé! Будет уже того, с нашей доли для господа бога довольно, а теперь иди до дому и покой мою старость».

Тогда архиерей, как ранее обещал, попросил обо мне вице-губернатора, который задумал стараться о разводе с оной учредительницей казни, и он меня сейчас записал в приказные, а через несколько дней позвал меня к себе в присутствие и приказал идти и доложить владыке, что я назначаюсь прямисенько к нам в Перегуды за станового. А как в те времена у нас было превеличайшее конокрадство, то он еще добавил, что полагается на меня, что я всю эту пакость уничтожу и выведу, тогда как я, знаете, ничего ни в яких познаниях не тямлю и по своему особенному образованию могу только орлецы пометать.

От этого, услышав о такой милости и твердом на меня уповании, я было хотел отказаться от места, но, зная удивительный в практике разум владыки, побежал к нему и, пав перед ним в ноги, все рассказал ему и стал просить у него совета. Он же, выслушав меня, добре сказал:

— Прежде всего встани с колен, ибо ты теперь уже мне неподведомый, а потом вот тебе мой совет: никогда от хорошего места не отказывайся, а принимай всякое, ибо надлежит то знать, что и другие также заступают в должность и не по знанию и не по способности. Даже вот и мы, архиереи, — откровенно скажу, — хотя мы и всенепременно отказываемся, но это только обычай, ибо все же потом и «приемлем и ничесо же вопреки глаголем». В этом покорность. А в рассуждении того, как править, для чего смущаться? Мы сейчас призовем Вековечкина: он такой миляга, что на все наставит.

И когда Вековечкин пришел и в чем дело выслушал, то сначала не хотел говорить, но потом, получив от архиерея серебряный рубль, зацепил из жилетного кармана целую пятерню табаку и, вытянув ее в свой престрашный нос, заговорил так:

— Если ты будешь поступать с злодеями по законам гражданским, то будешь дурень, ибо это не годится, потому что злодеи не суть граждане, а враги гражданства, так как они воюют на общество!.. А ты держися против них закона духовного.

Тогда владыка спросили:

— Понял ли ты это как следует?

— Нет, — говорю, — ваше преосвященство, даже и совсем никак не понял, ибо я, если по правде вам доложить, то ведь я, обучаясь с певчими облегченным способом, и совсем ничему не научился.

Вековечкин же мне на это сказал:

— Да ну уже полно тебе, дурню, жалобиться! Не с тобою с одним так случилось, но ничего не значит: это всегда так и быть должно, ибо по облегченному способу ничему научаются, но, однако, многие на сей фасон просвещенные действуют в жизни, — и ты по-облегченному учился и облегченно и суди. Наш народ человеческой справедливости не знает, а свыше всего уважает божественность, ты тем и руководись, — и, удалясь к себе на малое время, принес мне печатную тетрадь синодской печати под заглавием: «Чин бываемый во явление истины между двома човекома тяжущимся», и сказал мне: — вот тебе, тут найдешь себе достаточно на вся богоучрежденная правила и сим искоренишь, а меня помни по праздникам.

И вот я взял у Вековечкина тую тетрадь, а от владыки одновременно с тетрадью благословение, и утвердився духом владычным, и пошел до портного жида, заказал себе форму и шапку с чирушком на околку, и поехал в Перегуды, имея двойную заботу: явить истину и покоить мою драгоценную мать, но сия, впрочем, вскоре же после моего наступления на пост приставский последовала за моим родителем туда же, где нет ни печали, ни воздыхания, а одна только жизнь бесконечная, какая кому по его заслугам. А я, извольте себе думать, сам себе один остался сиротой на сей земной планете, да еще в борьбе со множайшими пристрашнейшими и преотважнейшими злодьями и конокрадами, которых я должен был известить по «Чину явления истины»!

Подумайте!

### XIII

Однако, как говорится в писании: «Господь был со мною», ибо хотя я вступил в свою должность совсем к оной воспитанием не приуготовленный, но, желая предать себя на служение добрым людям, которых обижают злодией, я скоро стал на своем месте так не худший от прочих, що, ей-богу, просты люди меня обожали и мною даже хвалились. Ей-богу! С самого с начала я, разумеется, прежде всего сел с свечечкой да добре просмаковал «Чин во явление истины», ибо, як вам уже известно, я питал огромное доверие к практицизму архиерея и непобедимейшей дерзости Вековечкина, да к тому же я не имел и иного источника для юридического познания, як сей «Чин». И узнал я «Чин явления» так добре, як знал первее порядок поклонения и метания орлецов. Просто всё, знаете, не так, як у Цицерона иль бо у иньших римлян, да и куда нам и для чего пыхтеть до тых римских язычников! А в «Чину» мне то показалось хорошо, что на всякое, «коей-либо вещи лишение» по сему духовному правилу указано «предлагать пред очеса ужасный страх и устроить вину богоухищенным образом». А именно: как там все было просто и внятно сказано: надо привести деликвента\* и поставить его у притолоки двери, — а потом встать и воздохнуть о его злобе и нераскаянности и зачитать при нем вслух молитвы — сначала: «Царю небесный и Трисвятое», а потом «Отче наш» да «Помилуй мя боже» и в сем псалме на сильных местах несколько раз чувствительно повторить, вроде: «научу беззаконные путем, и нечестивый обратятся». Или: «Боже, боже! спасения моего!» Ух! якая это до сердца хапательная материя! А еще як я до всего этого умел спущать интонацию, да, прочитывая чудные словеса, бывало, воспущу иной глагол особливо от сердца, так, верите или нет, а, ей-богу, иной деликвент слушает, миляга, слушает да вдруг заревет, или, аще крепкостоятелен, то и тогда видимо, как он начинает изнуряться и, томлением томим, уже не знает, что ему делать, и шепотит: «Ой, уже кончайте от разу!» А я это наблюдаю, да тогда начну еще в высший глас: «Глаголы моя внуши господи, разумей звание мое»... (А он разумеет, будто это «звание мое» сказано про то, що я

называются пристав!) «яко бог не хотяй беззакония ты еси... Погубиши вся глаголящие лжу»... И тут опять на одном словеси трижды по трижды: «Погуби вся глаголящие лжу, погуби! погуби! погуби!» «Гроб отверст гортань их»... «Суди им и изрини я»... «К тебе воззову, да не премолчиши, и процвете плоть моя»... (Я смолоду был в процветении румяный и полный.) И оборочусь до злодия, да погляну на него гордым оком, да еще скажу: «Процвете моя плоть, а нечестивый погибнет!» И вот уже от такого обращения человек, хоть он будь и какой злодей крепкостоятельный, а он испугается, и ужасом сотрясется, и готов сказать: «виноват». А я тогда сажусь, беру в руки гусяное перо и оно очищаю, а потом зачинаю, а потом пробую его на раскепку, а сам тихо рукою вывожу, а устами читаю:

— «Спробуемо пера и чорнила: що в йому за сила: перо пише, як муха дыше». А ты, раб божий, имя рек, слухай: яко же божественное и священное евангелие учит и заповедует нам, признавайся: завладев ты чужим конем или волом, или увез сено столько и столько копен? Или отвечай: яко сие на тебя клеветают, и забожись: «ни-ни, еже есть, не угнах ни коня, ни вола, ни раба его». Ой, только ж память, божий рабе, и блюди себе во явлении истины, а не бреши, бо где при нас есть и ангелы предстоящи невидимо, и они словеса твои записуют, о них же и истязаны будете во второе и страшное пришествие. И аще дерзнешь неправду показати, то да трясешися, яко крין на земли». Тут уж он, миляга, и затрясется; а я ему подбавляю: «Да, да, да! И земля пожрет тебя, яко Дафана и Авирона, и да восприемлещи проказу Гиезиеву и удушение Иудино»\*. И ух, посмотрели б вы, как они боялись сего Иудина удушения! Проказа Гиезиева, знаете, еще, бывало, ничего, бо они, дурни, по правде сказать, и не знают, что такое проказа; но удушения — и провалиться сквозь землю — все боятся! Страшно, знаете: что там под землей-то? Там ведь всё черти! И как, бывало, до этого доклянешь, то уж разве какой отчаянный устоит, а то всяк закричит: «Буде уж вам таке страшнее читать! Я лучше в чем хотите вам скаюсь, як таковы страхи слушать».

Вот это — пожалуй — вам юристика! А вы ну-ка без этого попробуйте по цивильным законам: вы можете достичь от человека дознати, що захочете! Отчаянному же, которого и то не брало, еще дальше было такое, что: «пожрет вас земля, и часть ваша будет с безбожными еретики. А жилище вам в вечном огне». А уж если и еще устоит и поупорствует, то в конце тетради была хорошая главка во изъяснение про крестное цолование. Сказано: «кто запрется и отцалуется на неправде — бить его кнутом по три дня и потом посадить на год, а будет про то дело сыскати нечем, то разымати пыткою...»

На этом месте я, моего читателя всепокорный слуга и автор, излагающий эту повесть, позволил себя перебить Оноприя Опанасовича Перегуда почтительным замечанием, что допрашиваемые люди могли ему не поверить, что он вправе бить их кнутом и пытать на пытке, но он отвечал:

— А это — позвольте: почему же бы они мне в том не поверили? Это в книжке пропечатано?

— Книжка эта, — отвечал я, — без сомнения, была издана много раньше, чем уничтожено рабство, и пытка, и кнут?

— Извините-с! — отвечал бывший становой и достал у себя из «шуфлятки» тетрадь, содержащую «Чин во явление истины», и показал «выход», из коего видно было, что «книга сия напечатана во святом граде Москве в 1864 году индикта 6 месяца марта». И после сего Оноприй Опанасович сказал, что он имел полное право «предлагать пред очеса людей ужасный страх благоухищенным образом». И что это было очень хорошо, и никто этого порядка и не оспаривал, а, напротив, того,

поелику сие на конокрадов превосходно действовало, то сельские люди очень сей закон возлюбили и почитали «выше всех томов Собрания». А за то, что Перегуд знал такой хороший закон, какого другие не знали, добрые люди его «поважали, а злодии трепетали», а оттого ему пришли разом великая польза и превеличайший вред, ибо он, с одной стороны, надеялся, что скоро после сего мог бы по сим правилам всем руководить и править даже до века, а с другой, его настиг злой рок в том, что, по выводе всех конокрадов, он впал в искушение, и в душе его зародилась ненасытная жажда славы и честолюбия. Тогда, обуреваемый этой страстию, Оноприй Перегуд из Перегудов захотел лучше всех отличиться на большее и «погиб, аки обра»\*, — окончательно скрывшись затем в здании сумасшедшего дома, где и ведется теперь эта беседа.

За сим же кратким отступлением пусть далее рассказывает свою историю опять сам Оноприй Опанасович, своими словами.

#### XIV

Не знаю я, какое вы имеете уважение на того отца Прокопа, который в оную давно прошедшую эпоху, по извержении из Перегудов жидов, сам стал еще более злым процентщиком, да передал то и сыну и зятю Маркелу, и шкода мне, что я этого не знаю. Наверное, многие думают: «Вот это были самые худшие», но извините — это так не было. Может быть, конечно, надо иначе жить и ходить перед богом, а не так, як ходил в своих красных чоботах поп Прокопий, но ведь все люди живут не так, как следует; а только когда и Маркел внезапно окончился скорописною смертию, як раз над своею раскрытою кубышкою, где содерживал свои гроши, то вот тогда мы увидали еще худшее, ибо ко гробу высокопроцентного Маркела попа наїхали студенты не токмо из бурсы, а даже академисты, и стали на дочку его, сиротиночку Домасю, или на Домну Маркеловну, такие несытые очи пущать и такие стрелы стрелять в нее через отцовский гроб, що даже посмущали всех своими холостыми зарядами. А все это единственно с тем, чтобы тут же сейчас внушить ей к себе вожделение, а тогда с нею вместе получить себе в обладание и оную преславную и прехвальную родительскую кубышку. Но за это осуждать нечего.

Деньги счастье дают,

В деньгах правда, в деньгах сила;

Все за деньги отдают,

Все, что нравится, что мило.

Это мы пели в певчих, и кто может и не полюбить такого могущества! А только изо всех из сих стукачей самый ловкий был один Назарко, поэт и мечтатель, который в самую последнюю минуту над гробом Маркела взъерошил себе на голове волосы и, закрутив косицы, вытянул вперед руку и произнес речь, да такую, шельма, отмахал наипрочувствованную речь, с хрями\*, и тропами, и метафорами, и синехдохами, что сразу со всем этим так он прямисенько и въехал в пшеничное сердце Домаси. Так она, бідна сироточка, тут и влюбилась в него, як кошка, и он скоро же после сего учинился поп, и нарекся отец Назарий, и сел в Перегудах. Вот это уже был не такой, как жены его дед и батько, бо то были простяки и блюли только свои хапаньцы; ну, а сей, как только получил перегудинский приход, так и почал вмешиваться не в свои дела, а, главнейше всего, стал заступать в мою часть, и с самой преудивительнейшей еще стороны: например, вдруг он почал у людей на духу спрашивать не то, что не думает ли кто коней красти, а все про якие-то другие думки и пустяки, вроде того, что «чи вы ото всех довольны живете, или чи не смущае вас кто ожидати лучшего, и як с

вас становой добирает податки?» Помилуйте, к чему это такое? А когда же пошла до него на дух моя служителька Христина, которая, откровенно сказать, была себе такая... довольно прелеповатенькая, так он ее принял хуже, чем по «Чину явления истины», и так ее умял своими расспросами, что та пришла и ревет, ибо говорит: «Усе люди ей сміялись: «чего се ее піп одну так долго спрашивал». И пошла она добирать в уме: «Хтось-то, каже, про мене все-таки пустяковины ему повыкладывал?» Я ей говорю: «Да ну, уже оставь! Нехай он себе что хочет, то и думает!» Так нет! все бидолаха плачет да сумуется\*:

— Як таки так: отчего ему все звісно, будто как он с нами тут жил вместе! — И сейчас на меня причина: — Нет, каже, я вже ж тепер не хочу с вами ни того, и ни этого, и просто жить на селе не желаю, а пойду в город и буду там, пока моей красы есть!

— Ну и провались ты совсем скризь світ, чертова баба, иди! А все-таки, знаете, досадительно это вмешательство и нарушение свободы кавалерской жизни. Но дома у меня все это недолго продолжалось, потому что Христя была жинка ласковая и потому скоро соскучилась и сама пришла и извинялася: «Що он там, каже, ни говори, а я одна боюсь, бо мне мертвы снятся, — нехай бог милует, — лучше опять будем по-прежнему». Но поп Назарко, продолжая все дальше да больше, начал уже испытывать людей до такой степени, що даже уж не только все мимотекущие прегрешения обследует, но и предбудущие намерения вопросит: «Чи не задумляешь ли чего прочего...» Вот! Люди, знаете, все испугались и стали мне говорить: «Що се за нова поведенция, чого николи сего не було, и в законе божом про то не сказано!.. Вы, — говорят мне, — сами люди письменнии вы перед самим архиереем с свечой стояли — вам должно быть все світло; рассудите нам: про что се новый піп нас надоумливает, а не то мы в другое село пойдём».

Бачите, яка уже колобродь пошла! Уже и приход бросить согласны! Готово уголовное преступление!  
XV

Знаете, я впал в думу, ибо вижу, что это що-сь такое, против чего мне надо в самоскорейшем времени что-то сделать! А что именно сделать, на то в моем «Чине явления истины» известнования нет! Думайте, пожалуйста, как никакая книга не может объять все разнообразные события жизни! Два только, вижу, есть выбора: идти мне и объясниться с Назаром и уговорить его, чтобы он все это оставил, но думаю: нет, он меня не посухает и еще спросит: «Откуда вам это известно?» и потом разведет свои хрии и метафоры. Нет; не годится спрашивать. А другой выбор был то, что написать на него донос, что он человек очень сомнительный. Но доноса я писать боялся и все пребывал в нерешительности, как вдруг я сам был позван непосредственно к самому губернатору, и тот меня спрашивает наедине про такую поэзию: знаю ли я песню: «Колысь було на Україні добре було житі?»\*

Я отвечаю:

— Прекрасно знаю, ваше превосходительство.

— А почему вы ее знаете?

— А потому, — говорю, — знаю, что у нас ее люди співають.

— А вы же про это доносили когда-нибудь?

— Нет, — отвечаю, — никогда не доносил.

— А для чего нет?

— Да що же тут доносить про такие пустяки?

— А слова какие: «добре було жити, як не знали наши діды москалям служити?» Так это?

— Точно так, — отвечаю с удивлением и докладываю, что таких пісен у нас много еще, а бывает и то, що еще и теперь люди новые пісни слагают.

Губернатор на мои слова согласно уклонил головою и сказал:

— Вы совершенно правы, и как вы это знаете, то вперед вы должны знать и то, на что следует обращать все внимание.

Боже мой! А неужли же я до сей-то поры еще не знал, на что надо обращать внимание? Да и что тут за премудрость! Разумеется, на воров, тіх, що у людей коней крадут, а не на тіх пустограев, що пісни поют! Что же тут говорить о такой пустяковине, и для чего мне дается такая загвоздка? Если бы был жив тот архиерей, который дал мне сокращенное образование, на манер принца, то я бы пал к его непорочным ногам, и он, яко практик, может быть, разъяснил бы мне како или некако: но он уже в то время отыде к отцам, или, просто сказать: «дав дуба». Да, да, да, як он ни был благочестив, а и он помер — и я забыл вам это сказать, что он помер бестрепетно со словами, из коих видно было, что он разумел себя за «олицетворенную идею», по воле бога, который «сам нас одушевляет, кормит, распорядит, починает и опять разбирает». На все это он разумел, а преудивительно, что никому того же духа не предал и хотя сам бодро отошел до вічного придела, но по нем самосветлейшая голова в губернии остался оный многообожжаемый миляга Вековечкин, и я поехал к его страхоподобию, надеясь, что от разума его несть ничто утаено, и как приехал, то положил пред него две бутылки мадеры и говорю ему: «Послушайте меня, многообожжаемый, и, во-первых, примите от меня сие немецкое вино для поддержания здоровья вашего, а во-вторых, обсудите: что это, так и так, вот какие мне намеки дают, и что я в таком положении имею делать?» А он мне не отвечал прямо, а сказал как бы притчею: «Вино мадера хотя идет из немецкого города Риги, но оно само не немецкое, а гречкое. А воры и разбойники всегда были между людьми и впредь всегда же уповательно будут. Так и было до потопа: Каин убил Авеля, брата своего\*, и Иосиф тоже был продан своими братьями, и те на цену его купили себе и женам сапоги. А вот ныне насташа инии взыскатели, мужский пол в больших волосах и в шляпах оной же земли греческой, где и мадера произрастает; а жинки, ох, стрижены и в темных окулярах, и глаголятся все они сицилисты, или, то же самое, потрясователи основ, ибо они-то и есть те, що троны шатают! Так вот, аще хочешь отличен быти — ты хотя одного из сих и сцапай, и тогда будет к тебе иное внимание!»

Но я говорю с сожалением, что это возможно только где-нибудь в странах просвещенных, а у нас в Перегудах ни про каких потрясователей нет и слуху!

А оный многообожжаемый миляга мне на это отвечает:

— Они ныне всюду проникают, только смотреть надо. Ты конокрада брось. Конокрадов хоть и всех перелови — за них чести не заслужишь, а поймай хоть одного в шляпе земли греческой или стрижену жинку в окулярах, и отберешь награду лучше Назария.

А я спрашиваю:

— Как? Неужли Назария уже и к награде представлен!

А многообожжаемый мне отвечает, что он ее уже и получил.

— Когда?

— А вот, — говорит, — как на сей неделе снег выпадал, тогда Назарию на перси и награда спала.

Господи! Христос, царь небесный! Да где же после этого на свете справедливость! Я столько



конокрадов изловил и коней мужикам возвратил, и мне за это ничего еще не свалилось, а пiп Назарко що-сь такое понаврал, и уже награду сцапал!.. Напала на меня от этого разом тоска, и возросло вдруг безмернейшее честолюбие. Не могу так служить — хочу награды. И зашел я в собор, и плакал у раки преподобного, и — вот вам крест господень — поклялся тут у святых мощей не остыть до того, пока открою хоть одного потрясателя, и получу орден, и в этот способ вотру Назарию под самый его керпатый нос самую наиздоровеннейшую дулю, щоб он ее и нюхал и смоктал\* до віку!

## XVI

И вот, знаете, как сказано в писании: «не клянитесь никако», так поверьте, что это и должно быть справедливое, потому что сразу же после того, як я заклился, сделался у меня оборот во всех мыслях и во всей моей жизни: покинул я свой «Чин явления истины» и совсем не стал смотреть конокрадов, а только одного и убивался: как бы мне где-нибудь в своем стану повстречать потрясателя основ и его сцапать, а потом вздеть на себя орден по крайней мере не ниже того, как у отца Назария, а быть может, и высший.

И, господь мой пренебесный, вот уже ныне или теперь, после великого моего падения, когда я, оторванный от близкой славы, вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается даже ужасно! Так я был озабочен, что по ночам совсем спать перестал, а если когда-нибудь и засну, то сейчас опять беспокойно пробуждаюсь и кричу: «Где они? Где? Хватай их!» И моя служебница, она жинка Христина, що я говорил вам, у меня еще и ранее была за служительку, бывало, как услышит сей крик мой, то вся затрусится и говорит:

— Що се вы, Оноприй Опанасович, совсім так ужасно здурілы, що аж с вами в домі быть страшно!

И действительно, знаете, я ее так напутал, що она, бывало, сядет на крайчик постели и боится уходить, а пристанет:

— Скажите мне, мій голубе сизый, — що се вам такое подіялось — чего это вы все жохааетесь\* да кричите?

Я ей отвечаю:

— Иди себе, Христя, се не твоего разума діло!

А она така-то была бабенка юрка, да кругленькая и очень ласковая, пойдет плечиками вертеть и ни за что не отстанет!

— Се, — каже, — правда, миленький, що я проста жинка и ничего не разумію; а як вы міни расскажите, то я тоди и уразумію.

Извольте себе вообразить ночную порою и наедине с молодою женщиною претерпевать от нее такие хитрости! Ну, разумеется, не сразу от нее избавишься. А она и зновь приступает:

— Ну вот все се добре: нехай бог помогае, а теперь скажите: кого же вы это, сердце мое, боитесь?

— Злодия боюсь.

А она и через свою пухленьку губку только дунет и отвечает:

— Ну где ж таки, щоб вы, да такой храбриший пан, що никогда еще никакого злодия не боялись, а теперь вдруг забоякались! Нет, это вы, сердце мое, що-сь-то брешете.

И то ведь совершенная ее правда была, как она мне рассказывала, что я с самыми жестокими ворами был пребесстрашный. Заметьте, что, бывало, призову ариштанта, и сижу с ним сам на сам, и читаю ему по тетради молитвы и клятвы, и пугаю его то провалом земли, то частью его со Иудоею, а сам нарочито раскладаю по столу бритвы, а потом опускаю их в теплую воду, а потом капну из

пузыречка оливкою на оселок, да правлю бритвы на оселочке, а потом вожу их по полотенечку, а потом начинаю помалу и бриться. А той, виноватый, все стоит да мается, и пить ему страшно хочется, и колена его под ногами ломаются, и Христа говорит: «Я, было, только думаю, что он, дурак, сам не возьмет у вас бритву, да горло вам, душечка, не перережет. Нет; вы все бесстрашный были, а теперь вы мне, бедной сиротинке, не хотите только правды сказать: кого это вы во сне хапаете, а сами всі труситесь. Я после сего буду плакать!»

А я ей отвечаю: «Ну-ну-ну!» Да все ей и рассказал: какие объявились на свете новые люди в шляпах земли греческой.

А она, бісова жинка, вообразите себе, еще нимало сего не испугалась, а только спросила:

— Що ж, они еще, муси быть, молодые чи старые?

— Якие ж там старые! — говорю, — нет! они еще совсем, муси быть, в свежих силах, и даже совсем молодцы.

— От-то ще добре, що они молодцы. От як бы они тут були, я бы на них подивилась!

— Да, — говорю, — ты бы подивилась! И видать, що дура! А ты то бы подумала, что в яком они в страшном уборі!

— А вот то ж! Чего я их буду так страховатися? Як они молодые, то в яком хочешь убранье — все буде добра, як «разберуться».

— Они в шляпах земли греческой.

— А се яка ж така шляпа земли греческой?

— А вот то и есть, что я еще и сам не знаю, какая она такая, мохнатая.

— Ну так що ж, що она мохнатая! Може, это еще и не страшно!

— Нет, это очень даже страшно, и как он на тебя наскочит, так ты испугаешься и упадешь.

— Ну-у, это еще ничего вам не звісно!

— Нет, мне известно, что они для того созданы, чтоб колебать основы и шатать троны, а уж от тебя-то что и останется!

— Се, — говорит, — все в божой власти: може, бог так мени даст, що яка я есть сама, такесенька и зостанусь, и они ничего злого мени не сделают.

Я рассердился:

— Ишь ты какая дрянь! — говорю. — Ну, если ты так хочешь, то и пусть он тебя забодает своею шляпою!

А она отвечает с досадой:

— Да що вы меня всё тою шляпой пужаете! Хиба ж у него та шляпа до лоба гвоздем прибита? О, то ж боже ласковый! Я думаю, они ее, когда надо, и снимать могут, а не бодаются.

Но мне это показалось так нагло, что я вскричал:

— Да ведь они убийственники!

А она отвечает, что, по ее мнению, они могут только убивать мужчин, а «жинок» соблюдать будут.

Тут я ее похнул рукою и сказал:

— Иди из моей комнаты вон!

А она ответила:

— И то уйду, и еще с превеликой охотою, а того в шляпе греческой не боюсь, да, не боюсь и не боюсь.

## XVII

Прогнал я дерзновенную Христю, но возмутился духом от ее наглости и враз тогда же почувал, что это за тяжкое бремя забот я возложил на себя из-за какой-то, можно сказать, мечты. «И может быть, еще мечты мои безумны» и «напрасны слезы и тоска», а между тем я уж испытал томление, и впереди еще один бог весть, что меня ожидает! Лестно, конечно, один бог знает, як лестно поймать и привезти в город потрясователя, но ведь где же его тут взять! Боже мой милый!.. И к тому еще, что это за бисованная жинка оказывается Христя! Извольте себе думать — она их нимало не боится, а даже будто любопытна испробовать: «чи то у них прибита шляпа земли греческой до лоба, чи она не прибита и скидается?» Вот так чертова баба! Що, если и другие так будут?!

Ну да уж только бы попался мне сей горестный потрясователь, а я ему уже не дам спуска. Лишь бы только он мне попался! Уж я с ним управлюсь, но где же это они? Может быть, надо их подмануть? Конопельки им подсыпать — а? Но как же это учинить полагается? В какой способ?

И стал я об этом думать и до того себя изнурил, что у меня вид в лице моем переменялся, як у пограничной стражи, и стали у меня, як у тех, очи як свечи потухлы, а зубы обнаженны... Тпфу, какое препоганьство! А до того еще Христя що ночь не спит, як собака, и все возится... А стану спрашивать — говорит, що ей все представляется, будто везде коты мяукают да скребощут.

— Что за пустяки, — говорю. — Какое тебе до котов дело! Більше сего щоб не було! Спи!

Пообещается спать, но знову не спит и в окно смотрит.

Говорит: «Вы сами всему віноватьіе: зачем мне бог зна чого насаказали о тех, що скризь везде прясут в шляпах земли греческой, а их и нема. Мне теперь так и кажется, что се они где-то скребощут».

Я ей сказал, что я то говорил не в правду, что никого нет и в шляпах никто не ездит.

— Це, — говорю, — було десь давно, совсім у не нашем царстві, а може, ничего того совсем чисто и не было, а только так писарю показалось.

А уж она, замечайте, отказу не верит:

— Нет, — говорит, — они где-нибудь скребощут: это мое сердце чувствует

— Дура! Может, бачите, у нее «сердце чувствует». — И такая она мне вся сделалась какая-то неприятная — вся даже жирная, и потом от нее отдает остро, як от молодой козы.

Именно эти женщины ничего более, как не введи меня господи с ними во искушение, но избавь меня от лукавого.

Споткавши однажды отца Назария, я спросил его, что не слыхал ли он чего-нибудь в городе о потрясающих основы, коим я не верю.

А Назария отвечает с гордостью:

— Какое же вы имеете право сему не верить?

— А где же они? — говорю. — А для того, что их нет, так я и не верю.

— Как же вы это можете так говорить: разве начальство лжет?

Ось, як строго!

— Позвольте, позвольте, — отвечаю, — я начальство уважаю не меньше от вас, а я потому говорю, что я потрясователей не видал.

— Так вы же и Китая и Америки не видали?

— И действительно не видал.

— И Петербурга, пожалуй, не видали?

— И Петербурга тоже не видал, и Москвы не видал, да что же из того следует: какое сравнение?

— А такое сравнение, что вы же, я думаю, веруете и не сомневаетесь, что есть на свете Китай, и Америка, и Москва с Петербургом.

— Позвольте-с! — отвечаю, — это совсем преобладающая разница: из Китая идет чай, и мы его пьем! Ось! А Америку открыл Христофор Колумб, которого неблагоприятные соотечественники оклеветали и заковали в цепи, и на это картины есть, и это на театрах играют; а в Москва был Иоанн Грозный, который и с вас, может быть, велел бы с живых кожу снять, а Петербург основал Петр Великий, и там есть рыба ряпушка, о которой бессмертный Гоголь упоминает\*, а потрясатели это что! Я их не вижу и даже знамения их пришествия не ощущаю.

Отец Назария так и вскинулся:

— Как это знамения не ощущаете?

— Не ощущаю, ибо какое я здесь застал самополнейшее невежество при моем рождении, — то оно то же самое и теперь остается.

— А-а, — говорит, — вот вы на что ублажаете!

— Да, я утверждаю, что здесь и еще все в том же самом мраке многие предбудущие лета останутся. А если сие не так, то, прошу вас, покажите же мне знамения оных пришествия! А вот вы мне сего не покажете!

Я думал, что вот я очень хорошо схитрил; а он тихо показал мне перстом на свой орден и говорит:

— Иного знамения не дастся вам!

Но я ж его еще был хитрейший, ибо враз же взял перекрестился и поцеловал его крест и говорю:

— А сему вот мое уважение и вера!

И вот тогда он, самолюбием и молодостию опьяненный, не проник того, что я его испытую, а начал рассказывать, что потрясателей не сряду увидишь.

— А как же? — говорю, — скажите мне, пожалуйста, ибо я человек прелюбопытнейший и все люблю знать.

Он же отвечает:

— Появлению их предшествует молва!

— Позвольте! — я говорю, — какая молва; и что именно ею выражается?

— Выражается желательное намерение критиковать действия и судить об оных соотношениях.

— Ну-с! А за сим?

— А за сим наступит все вредное, и тогда уже приходят те, враги рода человеческого и потрясатели основ, — мужеский пол в шляпах земли греческой, а женская плоть — стрижены и в темных окулярах, як лягушки.

— Да все же, — говорю, — помилуйте, что же таким людям у нас тут делать? У нас же вблизи никаких образованных особ нет и нечего потрясывать!

А Назария уже очень хотел меня просвещать и говорит:

— Не уповайте так, ибо они проникают повсюду с целью внушать недоверие к счастью и недовольство семейною жизнью, а похваляют бессребренность и безбрачие, а потом вдруг уменьшают величину всех тех, на ком покоятся государственные основы, и то все с тем, что после сами воссядут и будут погублять души.

— Да, вот то-то, — говорю, — у нас ведь и нет тех, що представляют собою основы!

— А вы и я! — говорит мне со строгостию отец Назария, — разве мы не основы?

— Ну где ж таки! Хиба такие бывают основы!

— А отчего же? — Я основа веры, а вы... основа гражданского порядка.

— Ну, позвольте, — говорю, — что вы основа веры, это я готов согласиться, но я самая последняя спица и действую только во исполнение предписания.

Но Назария, — вообразите, — вдруг обнаружил огромный талант и так, шельма, пошел мне на перстах погибать, что, ей-богу, я и сам почел себя за основательную основу и стал бояться за сохранение своей жизни. И как иначе! Прежде, бывало, живешь, и ешь и пьешь, и в баньке попаришься, и за конокрадом скачешь, так, что аж земля дрожит, а потом маешь его хорошенько по «Чину явления истины» и ни о какой для себя опасности не думаешь; а тут вдруг на все мои мысли пал як бы туман страха и сомнения. И первое, на что я устремился, — это щобы купить себе многоствольный револьвер, и держать его во всякое время возле себя с зарядами, и в ночи класть его под подушку и палить из него при первом чьем-нибудь появлении.

Жид привез мне из города потребный револьвер, под названием «барбос»\*, на шесть стволов, и я все стволы, как должно, насыпал порохом и забил пулями, но только не наложил пистоны, потому что от них может выстрелить. Но позвольте же, хорошо, что это так только и случилось, а мог выйти ужас, потому что в той же нощи мне привиделся сон, что потрясыватели спрятались у меня под постелью и колеблют мою кроватку, и я, испугавшись, вскочил и несколько раз спустил свой револьвер-барбос, и стал призывать к себе Христю и, кажется, мог бы ее убить, потому что у нее уже кожа сделалась какая-то худая и так и шуршала, як бы она исправда была козлиха, желающая идти с козлом за лыками.

Но вы обратите внимание на сказанный сон мой, ибо есть сны значения ничтожного, происходящие от наполнения желудка, а есть и не ничтожные, которые от ангелов. Вот эти удивительны!

## XVIII

Кажется, я вам говорил, что у нас в достаточном числе перегудинских панов обитал препочтенный и тоже многообожаемый миляга и мой в некотором роде родич Дмитро Опанасович. Вот, доложу вам, тож добрый гвоздь был. Это тот самый, о коем слегка раньше упоминалось, что он отобрал себе отменное образование в московском пансионе Галушки, а потом набрал хобаров\* в пограничной краже. Он был давно в разъезде с супругой и, как многострастный прелюбодей, скучал без женского общества и в виду того всегда имел в порядке женин бедуар и помещал в нем нарочитых особ женского пола для совместного исправления при нем хозяйственных и супружеских обязанностей и для разговоров по-французски. Для того же, чтобы дать всему такому соединению приличный вид, он взял себе на воспитание золотушную племянницу шести годов и, как бы для ее образования, под тем предлогом содержал соответствующих особ, к исполнению всех смешанных женских обязанностей в доме. Но главное, что он имел подлое обыкновение не все их должности объяснять им при договоре, а потому случалось, что с некоторыми из них у него бывали неудовольствия, и иные вскорости же покидали бедуар и от него бежали... Были и таковые даже, что обращались ко мне под защиту, как представителю власти, но я, — бог с ними, — я их всегда успокаивал и говорил: «Послушайте: ведь спором ничего не выйдет, а самое лучшее — мой вам совет, — что можно в вашем женском положении исполнить, то и надо исполнить». И инии того послушали, а одна, прошу вас покорно, и такая была, что мне же за это да еще и в лицо плюнула. Но, а все, душко мое, своей

судьбы, однако же, не избежала... И Дмитрий Афанасьевич, знаете, это очень ценил и зато в иных своих тайностях от меня уже не укрывался. Привезет, бывало, новую воспитательницу и говорит мне моими же словами: «спробуем пера и чорнила: що в іому за сила?» или скажет:

— Ну как-то эта Коломбина, потрафит угодить нашему Пьеро или нет?

А потом тоже прямо объявляет:

— Нет; эта Коломбина — бя! Она нашему Пьеро не потрафила! — И сейчас же за то таковой была перемена. И было у него этих перемен до черта! И на эту пору тоже как раз была Коломбина «бя!», и была ей такая спешная смена: потому что полька, которая у него жила, большеротая этакая, и вдруг с ним побунтовалася и ключи ему так в морду бросила, что синяк стал... Что с ними, с жинками, поделаешь, як они ни чина, ни звания не различают! Ну-с, а через это украшение многоуважаемый Дмитрий Афанасьевич сам не мог ехать за новою особою, а выписал, миляга, таковую наугад по газетам и получил ужасно какую некрасивую, с картопляным носом, и коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии.

Но сия некрасивая девица пленила меня тем, что прибыла к нам в описанном подозрительном виде, и я захотел ее испытать прежде, чем до нее причнет своим оком преподобный Назария, и говорю:

— Ну, не знаю как кому, а мне сдается так, что сия Коломбина на вашего Пьеро не угодит?

А он, вместо того чтобы по своему обычаю шутить моими словами: «спробуем перо и чорнила — що в іому за сила!», с грустью мне отвечает:

— Да, братец, это и действительно: кажется, я на сей раз так ввалился, как еще никогда и не было.

Скажи, пожалуйста, даже совсем никак глаз ее не видно за темными окулярами.

— Да, — отвечаю, — это немалое коварство.

— Не понимаю, как это цензура всем таким ужасным валявкам и малявкам позволяет печатать о себе в газетах объявления. Если б я главный цензор был, никогда бы это не вышло.

— Эге! — говорю, — а вот то ж-то оно и есть. Глаза человека это есть вывеска души, а неужели она так и не скидает очков?

— Вообрази — не скидает!

— Да вы бы от нее этого потребовали.

— Скажи же, с какого повода?

— Ну так она же их передо мною скинет.

— Сделай твое одолжение!

— Извольте!

И что я только выдумал! — ей-богу, даже и сам не знаю, откуда у меня это взялося.

## XIX

Вздумал я с этою загадочною личностью все дознать безотложно и непосредственно, и для того, чтобы с нею ознакомиться, изобрел такой повод, что будто у меня начинают очи притомляться и будто я желаю купить себе темны окуляры, да не знаю, что им за цена, и що в их за сила, и где они покупаются? Можете теперь догадаться, яка выдумка! Ну, а що насчет ее образованности, то я этого не боялся, потому что, бывавши у вице-губернаторши при примерных казнях по совету Жуковского, я сам значительно приобик к светскости и мог загнать такое двусмыслие, что мое почтение. И пошел я с этим в послеобеденное время в дом к Дмитрию Афанасьевичу и подхожу потиху, с надеждой: не увижу ли оную валявку или малявку женского пола с картофельным носом, и тогда ее спрошу: «Где

господин Дмитрий Афанасьевич?» и тогда мы с ней разговоримся.

Так было всегда с прежнею, с полячкою: спросишь у нее, а она, бывало, отвечает: «Пожалуйте; вот он, сей подлец». И все они его як-то скоро в сей чин жаловали, а он, бывало, только головой мотает и скажет: «Начались уже дискурсы в дамском вкусе». А этой, нынешней дамы, вообразите себе, совсем не видно, и я разыскал сам Дмитрия Афанасьевича и говорю ему:

— Знаете ли вы, премногообожаемый Митрий Афанасьевич, присловие, що як все иде по моде, то тогда и морда до моды прётся.

Он отвечает:

— Да; и что ж потому?

— А то ж потому, що ось так и я хочу купить себе потемненные окуляры, щоб удоблегчить глаза, но не знаю, що в их за сила, и сколько они стоят, и где их набрать?

А он еще моих мыслей не втямил и отвечает:

— Я, батюшка мой, слава богу, не жид и очками не торгую.

— Да и не о том я говорю, чтобы вы торговали, а вот ваша новая дама такие темные очки носит.

— Ну так что же я с этим сделаю! Мне это, конечно, противно.

— А разумеется, — говорю, — вам это и должно быть неприятно! Как же, она к вам ведь приближенная, а между тем вам невозможно даже ее позу рожки видеть. Я к вам пришел с тем, чтобы все это ее очарованье разрушить.

— Сделай, — говорит, — милость, но только чтоб и я видел.

— Пожалуйста, спрячьтесь где-нибудь и смотрите.

— Ну, хорошо, и так как она теперь в зале при чайном столе за самоваром сидит, то ты входи к ней и скажи, что я еще не скоро приду, а я спрячусь и буду в это время из коридора сквозь щель смотреть.

— Очень превосходно — скажите только скорее: как ее звать?

— Юлия Семеновна.

— А из какого она звания?

— Ничего необыкновенного, но только «из ученых». Можешь смело про все матевировать.

Пошел я в залу и вижу действительно, ах, куда какая не пышная!.. Извольте себе представить, в пребольшой белой зале, за большим столом перед самоваром сидит себе некая женская плоть, но на всех других здесь прежде ее бывших при испытании ее обязанностей нимало не похожая. Так и видно, что это не собственный Дмитрия Опанасовича выбор, а яке-с заглазное дрянье. Платьице на ней надето, правда, очень чистое, но, знаете, препростое, и голова вся постриженная, как у судового паныча, и причесана, и видать, что вся она болезненного слежения, ибо губы у нее бледные и нос курнопёковатый, ну, а очей уж разумеется не видать: они закрыты в темных больших окулярах с теми пузатыми стеклами, що похожи как лягушечьи буркулы. Как вы хотите, а в них есть что-то подозрительное!

Ну-с, я ее обозрел и вижу, что она сидит и что-то вяжет, но это не деликатное женское вязанье, а простые чулки, какие теперь я вяжу; перед нею книжка, и она и вяжет, и в книжке читает, и рассказывает этой своей воспитаннице, Дмитрия Афанасьевича сиротке; но, должно быть, презанимательнейшее рассказывает, ибо та девчурка так к ее коленям и прильнула и в лицо ей наисчастливейше смотрит!

Я даже подумал в себе: неужли же они такие лицемерные, эти потрясователи, что могут колебать

могущественные империи, а меж тем с вида столь скромны!

И враз рекомендую сей многообожасмой Юлии Семеновне:

— Вот, мол, я, честь имею, здешний становой, — но не думайте, что уже непременно как становой, то и собака! Я совсем простой, преданнейший человек и пришел к вам прямо и чистосердечно просить вашей ласки.

Она смутилась и говорит:

— Я не понимаю, что вы мне говорите.

— Совершенно верно, — отвечаю, — но я сейчас буду вам матевировать: я поврежденный человек...

Она отодвигается от меня дальше.

— Дело в том, — говорю, — что я повредил себе письменными занятиями остроту зрения и теперь хочу себе приобрести притемненные окуляры или очки, да не знаю, где они покупаются. Да. И не знаю тоже и того, почем они платятся; да, а самое главное — я не знаю, що в их за сила? — сгодятся они мне или совсем не сгодятся? А по тому, будьте вы милосерденьки, многообожасмая Юлия Семеновна, позвольте мне посмотреть в ваши окуляры!

Она отвечает:

— Сделайте милость! — и снимает с себя очки без всякой хитрости.

А я будто не умею с ними обращаться и все ее расспрашиваю, как их надеть, а сам гляжу ей в открытые глаза и, представьте, вижу серые глазки, и весьма очень милые, и вся поза рожицы у ней самая приятная. Только маленькая краснота в глазках.

Я померил очки и сейчас же их снял назад и говорю:

— Покорно вас благодарю. Мне в них неловко.

Она отвечает, что к этому надо привыкнуть.

— А позвольте узнать, вы же давно к ним привыкли?

— Давно.

— А смею ли спросить, с якого powodu?

Она помолчала, а потом говорит:

— Если это вас интересует — я была больна.

— Так; а чем вы, на какую болезнь страдали, осмелюсь спросить?

— У меня был тиф.

— О, тиф, это пренаитяжелейшая болезнь: все волосья як раз и выпадут. Без сомнения, в этих обстоятельствах вы и остриглись?

Она улыбнулась и говорит:

— Да.

— Что же, — говорю, — это гораздо разумнейше, нежели чем совсем плешкой остаться. Ужасно как некрасиво — особенно на женщине.

Она опять улыбнулась и читает сиротинке, а я перебил:

— А впрочем, — говорю, — для вас, как для девицы небогатого звания, тоже неидет и стрижка!

Она не теряетя, но вдруг надменно отвечает:

— При чем же тут является звание?

— А как же, — говорю, — те, що богатого сословия, то они що хотят, то и могут делать, и могут всякие моды уставлять, а мы над собою не властны.



А она вдруг отвечает:

— Извините: я не имею чести вас знать и не желаю отвечать на ваши суждения.

— Разве они не кажутся вам справедливыми?

— Нет; и к тому же они мне совсем не интересны.

Я спрашиваю:

— А какое это вы вязанье вяжете? Это что-то просто аляповатое, а не дамское.

— Это чулки.

— Да вижу, вижу: действительно чулки, и еще грубые. Кому же это?

— У кого их нет.

— Ага! — для беднейшей братии... Превосходное чувство это сострадание. Но мы, знаете, вот по обязанности бываем должны участвовать в сборе податей и продавать так называемые «крестьянские излишки», — так, господи боже, что только делать приходится. Ужась!

— Зачем же вы делаете то, чему после ужасаетесь?

«Ага! — думаю себе, — не стерпела, заговорило ретивое!»

И я к ней сразу же пододвинулся, и преглубоко вздохнул из души, и сказал с сожалительной грустью:

— Эх-эх, многообожаемая Юлия Семеновна; если б вы всё то видели и знали, яки обиды и неправды дѣются, то вы бы, наверно, кровавыми слезами плакали.

Она мне ничего не ответила и стала знову показывать ребенку, как чулок вязать.

Вижу — девка хитрейшая! Я опять помолчал, и опять сделал к ней умильные очи, и говорю:

— А позвольте мне узнать: какое ваше понятие о богатых и бедных?

Она же на это поначалу как бы обиделась, но потом сейчас же себя притишила и говорит:

— Обольщение богатства заглушает слово.

— Превосходно, — говорю, — превосходно! Многообожаемая, превосходно! Ах, если бы это все так понимали!

— И это так и должно понимать и говорить людям, чтобы они не считали за хорошее быть на месте тех, которые презирают бедных, и притесняют их, и ведут в суды, и бесславят их имя.

— Ах, — говорю, — как хорошо! Ах, как хорошо! Извините меня, что я себе это даже запишу, ибо я боюсь, что не сохранию сих слов так просто и ясно в своей памяти.

А она преспокойно, как кур во щи, лезет.

— Пожалуйста, — говорит даже, — запишите.

А я уже вижу, что она так совершенно глупа и простодушна, и говорю:

— Только вот что-сь, я как будто кружовником перст зацепил, и мне писать трудно: не сделаете ли вы мне одолжения: не впишете ли эти слова своею ручкою в мою книжечку?

А она отвечает:

— С удовольствием.

Да! да! Отвечает: «с удовольствием», и в ту же минуту берет из моих рук книжку и ничтоже сумняся крупным и твердым почерком, вроде архиерейского, пишет, сначала в одну строку: «Обольщение богатства заглушает слово», а потом с красной строки: «Богатые притесняют вас, и влекут вас в суды, и бесславят ваше доброе имя».

Все так и отляпала — своею рукою прописала так, что мне ее даже очень жалко стало, и я сказал:

— Благодарю, наисердечнейше вас благодарю, многообожаямая! — и хотел поцеловать ручку, которая у нее префинтикультепная, но она руку скрыла, и я не добивался и выскочил к Дмитрию Афанасьевичу и говорю ему:

— Видели?

Отвечает:

— Видел.

— Ну и что же?

Он только гримасу скосил.

И я его поддержал: конечно, говорю, поза рожки ее еще ничего — к ней привыкнуть можно, и ручка очень белая и финтикультепная, но морали нравственности ее такие, что я ее должен сгубить, и она уже у меня в кармане.

И Дмитрий Афанасьевич меня похвалил и сказал:

— Ты, брат, однако, хват!

— А вы же обо мне, — говорю, — как думали?

— Я, — говорит, — не полагал, что ты с дамами такой бедовый.

— О, я, — говорю, — бываю еще гораздо бедовейше, чем это! — И так, знаете, разошелся, что действительно за чаем уже не стал этой барышне ни в чем покою давать и прямо начал казнить города и всю городскую учебу и жительство, що там все дорого, и бисова тіснота, и ни простора, ни тишноты нет.

Но она тихо заметила, что зато там происходит движенье науки.

— Ну, я, — говорю, — этого за важное не почитаю, а вот что я там наилучшего заметил, это только то, что вместо всех удовольствий по проминаже ходят вечером натянутые дамы, и за ними душистым горошком пахнет.

А когда она сказала, что в нашей степной местности даже и лесов нет, то я отвечал:

— То и что ж такое! Правда, что у нас нет лесов, где гулять, но зато у нас, у Дмитрия Афанасьевича, такой сад, что не только гулять, но можно блудить страшней, чем в лесу.

Дмитрий Афанасьевич предоволен был и надавил меня под столом ногой в ногу, а она вдруг подвысила на меня свои окуляры и спрашивает:

— На каком вы это языке говорите?

— На российском-с.

— Ну так вы ошибаетесь: это совсем язык не российский.

— А какой же-с?

— Мне кажется, это язык глупого и невоспитанного человека.

И с сим встала и вышла.

— Какова-с!

Дмитрий Афанасьевич, видя это, придрался и просит:

— Пожалуйста же, избавь меня от нее как можно скорее!

— Будьте, — говорю, — покойны!

И как только я пришел домой, так сейчас же — благослови господи — написал по самому крупному прейскуранту самое секретнейшее доношение о появившейся странной девице и приложил листок с выражением фраз ее руки и послал ночью с нарочным, прося в разрешение предписания, что с нею

делать?

Но вообразите: в сей ночи я не один не спал, ибо и она вдруг схопилась, послала до жида за конями и объявила Дмитрию Афанасьевичу, что она сейчас уезжает, а если ей не приведут коней, то пешком пойдет, и прямо к предводителю дворянства.

А Дмитрий Афанасьевич как рад был от нее избавиться, то сказал:

— Зачем же к предводителю. Сделайте милость, хоть куда угодно.

Ибо Дмитрий Афанасьевич терпеть не мог предводителя, потому что предводителем тогда был граф Мамура, которого отец был масон и даже находился на высланье и в сына вселил идеи, по которым тот Дмитрия Афанасьевича не многообожал. Но о нем пока остановимся на этом, а барышня уехала, и, вообразите, от возившего ее жида дознаю, что она уехала к тому предводителю! И вот, значит, от сих неизвестных причин откроется их гнездо, и честь открытия, знаете, принадлежать будет мне!.. Но что же вышло?! Недаром, верно, поется: «Мечты мои безумны», ибо вдруг позвали меня в город, и тот сам, кто мог меня представить к поощрению орденом, по жалобе предводителя, начал меня ужаснейше матевировать: для чего я говорил девице непристойности, и потом пошел еще хуже матевировать за донос и на нем доказал, будто глупейшего от меня и человека нет! И сам же показывает мне рукопись фраз той стриженной панночки или мамзели, и под ними красными чернилами обозначения: под одной стоит: «Матфея XIII, 22», а под другой: «Иакова II, 6».

— Да-с! Вообразите, что она все это взяла из Нового завета! Ну и скажите на милость, для чего их этому всему понаучивали! Даже и сам штаб-офицер говорит:

«Хорошо еще, что у меня писарь из немцев и он узнал, откуда эти слова, а то мы все могли это пустить далее, и тогда когда-нибудь обо всех нас подумали бы, что мы ничего не знали!»

И опять пошел матевировать, но за усердие похвалил и об ордене сказал, что это — желание благородное, и надо стараться и надеяться.

XX

Ось тобі и счастье! Я был в превеликом смущении и побежал до старого своего помощника Вековечкина и стал его просить об уяснении: как мне себя направлять в дальнейшей службе?

— Помогайте, — говорю, — многообожаемый, потому что я связался с политическими людьми, а се, я вам скажу, не то що конокрады, с которыми я управлялся по «Чину явления истины». Как вы хотите, а политика, — бо дай, она исчезла, — превосходит мой разум. Помилуйте, как тут надо делать, чтобы заслужить на одобрение?

А он паки так тихо, як и тожде, говорит:

— Это нельзя указать на всякий случай отдельно, а вообще старайся, як можно больше угождай против новых судов, а там, може, и в самом деле господь направит в твои руки какого-нибудь потрясателя. Тогда цапай.

— О, — говорю, — только дай господи, чтоб он был!

И еду назад домой успокоенный и даже в приятной мечте, и приехал домой с животным благоволением, и положился спать, помолясь богу, и даже просто вызывал потрясателя из отдаленной тьмы и шепотал ему:

«Приходи, друже! Не бойся, чего тобі себя долго томить! Ведь долго или коротко, все равно, душко мое, твоя доля пропаща; но чем ты сдашься кому-нибудь, человеку нечувствительному или у которого уже есть орден, то лучше сдайся мне! Я тебя, душко, и покормлю хорошо, и наливки дам

пить, и в бане помыю, а по смерти, когда тебя задавят, я тебя помнить обещаюсь...» А он все не идет, и опять меня томит забота: как бы его найти и поймать? И думаешь, и не спишь, и молишься, и даже все спутаешь вместе, мечты и молитвы. Читаешь: «Господи! аще хошу или аще не хошу, спаси мя, и аще мечты мои безумны...» и тут вдруг опомнишься, и все бросишь, и начинаешь соображать.

Сказано, что хорошо стараться ни в чем не уважать суду, да як же таки, помилуйте меня, я, малый полицейский чин, который только с певчими курс кончил, и вдруг я смею не уважать университетанта, председателя того самого велегласного судилища, которое приветствовано с такой радостью!

Возможно ли? Правда, что всенепобедимый Вековечкин изъяснил, что «приветствия ничего не значат!» «И ты, — сказал он, — где сие необходимо — приветствуй, а сам все подстроивай ему в пику, так, щоб везде выходили какие-нибудь глупости; так их и одолеем, бо этому никак нельзя быть, чтобы всех людей одинаково судить, и хотя это все установлено, но знову должно отмениться». Ну, хорошо!

А потом припоминаю: що же он еще мне указывал? Ага! щоб проникать в «настроение умов в народе». Но какие же, помилуйте, в Перегудах настроения умов? Но, однако, думаю себе: дай попробую! И вот я еду раз в ночи со своим кучером Стецьком и пытаю его настроение!

— Чуешь ли, — говорю, — Стецько: чи звисно тобі, що у нас за люди живут в Перегудах?

— Що такое?! — переспросил Стецько и со удивлением.

Я опять повторил, а он отвечает:

— Ну, известно.

— А що они себе думают?

— Бог з вами: що се вам сдалось такие глупости!

— Это, братец, не глупости, а это теперь надо по службе.

— Чужие думки знать?

— Да.

Стецько молчит.

— Ну что ж ты молчишь? Скажи!

— А що говорить?

— Что ты думаешь.

— Ничего не думаю.

— Как же так ничего не думаешь! Вот я тебе що-сь говорю, ну, а ты що же о том думаешь?

— Я думаю, що вы брешете.

— Так! А я тебе скажу, что ты так думаешь для того, що ты дурень.

— Може, и так.

— А ты подумай: не знаешь ли, кто як по-другому думает?

— А вже ж не знаю! Хиба это можно чужие думки знать!

— А як бы ты знав?

— Ну, то що тогда?

— Сказал бы ты міні про это или нет?

— А вже ж бы не сказал.

— А отчего же бы это ты, вражий сыне, не сказал бы?

— А на ще я буду чужие думки говорить? Хиба я доказчик або иная подлюга!

— Так вот тебя за это и будут бить.

— А за що меня бить будут?

— Не смей звать подлюгою!

— Ну, а то еще як подлюгу называть, як не подлюгою, а бить теперь никого не узаконено.

— Ах ты, шельма! Так это и ты вздумал на закон опираться!

— Ну, а то ж як!

— Як! Так вот погоди — ты увидишь, где тебе пропишут закон!

А он головой мотнул и говорит:

— Се вы що-сь погано говорите!

Но я его оборотил за плечи и говорю:

— Вперед больше так не смей говорить. Я тебе приказываю, щоб ты везде слухал, що где говорят, и все бы мне после рассказывал. Понимаешь?

Он говорит:

— Ну, понимаю!

— А особенно насчет тех, кто чем-нибудь недоволен.

— Ну, уж про это-то я ни за що не скажу.

— А почему же ты, вражий сыне, про это не скажешь?

— Не скажу потому, что я — оборони боже — не шпек\* и не подлюга, щоб людей обижать.

— Ага!.. Ишь ты какой.

— А повторительно потому, що меня тогда все равно люди бitemут.

— Ага! Ты боишься, что тебя мужики побьют, а я тебе говорю, что это еще ничего не значит.

— Это вы так говорите, потому що они вас еще не били.

— Нет, не потому, а потому, что после мужиков ты еще в своем месте жить останешься, а есть такие люди, що пропорхне мимо тебя, як птица, а ты его если не остановишь сцапахопатательно и упустишь, то сейчас твое место в Сибирь.

— Это за что же меня в Сибирь?

— Бо они потрясователи основ.

— Да що же мені до них? Бог с ними.

— Вот дурак! Сейчас сразу и виден, что дурак!.. Потрясователь основ, а он говорит: «Бог с ними»!

Какая скотина!

А он, Стецько, обиделся и начинает ворчать:

— Що ж вы всю дорогу ругаетесь?

— Я, — отвечаю, — для того тебя, дурака, ругаю, что, когда ты едешь, то чтобы ты теперь не только коньми правил, но и повсеместно смотрел, чи не едет ли где-нибудь потрясователь, и сейчас мы будем его ловить. Иначе тебе и мне Сибирь!

Стецько выслушал это внимательно с своею всему миру преизвестною малороссийскою флегмою и говорит:

— Ну, а после еще шо?

А я ему стал сочинять и рассказывать, что как вперед надо жить, что надо уже нам перестать делать по-старому, а надо делать иначе.

А он спрашивает:

— Як?

А я говорю:

— А вот как: вот мы ездим у дышель, а надо закладывать тройку с дугой да с бубнами...

Он смеется и говорит:

— А еще ж що?

— Пісен своих про Украину да еще що не співать.

— А що ж співать?

— А вот: «По мосту-мосту, по калинову мосту».

— А се що ж такое «калинов мост»?

— Веселая песня такая: «Полы машутся, раздуваются».

Он, глупый, уже совсем смеется:

— Як «раздуваются»? Чего они раздуваются?

— Не понимаешь?

— А ей же да богу не разумію!

— Ну, то будешь разуметь!

— Да з якого ж powodu?!

— Будешь разумить!

— Да з якого powodu?!

— Побачить!

— Що!

— Тоди побачить!

А он вдруг кажет:

— «Тпру!» — и, покинув враз всю оную свою превеликую малоросскую флегму, сразу остановил коней и слез, и подает мне вожжи.

— Это что? — говорю.

— Извольте-ся! — отвечает.

— Что же это значит?

— Вожжи.

— Зачем?

— Бо я больше с вами ехать не хочу!

— Да что же это такое значит?

— Значится, що я всей сей престрашенной морок не желаю и больше с вами не поїду. Погоняйте сами.

Положил мне на колени вожжи и пошел в сторону через лесочек!..

Я его звал, звал и говорил ему и «душко мое» и «миляга», но назад не дозволялся! Раз только он на минуту обернулся, но и то только крикнул:

— Не турбуйтеся\* напрасно: не зовите меня, бо я не поїду. Погоняйте сами.

И так и ушел... Ну, прошу вас покорно уделать какую угодно политику ось с таким-то народом!

— Звольтеся: погоняйте сами!

А кони у меня были превостренькие, так как я, не обязанный еще узами брака, любил слегка пошиковать, а править-то я сам был не мастер, да и скандал, знаете, без кучера домой возвращаться и

четверкой править. И я насилу добрался до дому и так перетрусился, что сразу же заболел на слаботы желудка, а потом оказалось другое еще досаждение, что этот дурень Стецько ничего не понял как следует, а начал всем рассказывать, будто кто только до меня пойдет за кучера, то тому непременно быть подлюгой или идти в Сибирь. И подумайте, никто из паробков не хочет идти до меня убирать кони и ездить, и у меня некому ни чистить коней, ни кормить их, ни запрягать, и к довершению всего вдруг в одну прекрасную ночь, когда мы с Христиной сами им решетами овса наложили и конюшни заперли, — их всех четверых в той ночи и украли!..

Заметьте себе, я, той самый, що всіх конокрадов изводил, — вдруг сам сел пешки!

## XXI

Ужасная в душе моей возникла обида и озлобление! Где ж таки, помилуйте, у самого станowego коней свели! Что еще можно вздумать в мире сего дерзновеннее! Последние времена пришли! Кони — четверка — семьсот рублей стоили; да еще упряжка, а теперь дуй себе куда хочешь в погоню за ворами на палочке верхом.

Но и то бы еще ничего, як бы дело шло по-старому и следствие бы мог производить я сам по «Чину явления», но теперь это правили уже особливые следователи, и той, которому это дело досталось, не хотел меня слушать, чтобы арестовать зараз всех подозрительных людей. Так что я многих залучал сам и приводил их в виде дознания к «Чину явления истины», но один из тех злодіев еще пожаловался, и меня самого потребовали в суд!.. Как это вам кажется? Меня же обворовали, — у меня, благородного человека, кони покрадены, да и я же еще должен спешить поехать и оправдываться против простого конокрада! Все було на сей грішной земли, всякое беззаконие, но сего уже, кажется, никогда еще не було! А тут еще и ехать не с кем, и я, даже не отдохнув порядком, помчался на вольнонаемных жидовских лошадах балогую, и собственно с тим намерением, щобы там в городе себе и пару коней купить.

Ну, а нервы мои, разумеется, были в страшнейшем разволнении, и я весь этот новый суд и следствие ненавидел!.. Да и для чего, до правды, эти новые суды сделаны? Все у нас прежде было не так: суд был письменный, и що там, бывало, повытчики да секретари напишут, так то спокойно и исполняется: виновный осенит себя крестным знаменем да благолепно выпятит спину, а другой раб бога вышнего вкатит ему, сколько указано, и все шло преблагополучно, ну так нет же! — вдруг это все для чего-то отменили и сделали такое егалите и братарните\*, что, — извольте вам, — всякий пройдисвіт уже может говорить и обижаться! Это ж, ей-богу, удивительно! Быть на суде, и то совестно! То судья говорит, то злодій говорит, а то еще его заступщик. Где ж тут мне всех их переговорить! Я пошел до старого приятеля Вековечкина и говорю:

— Научите меня, многообожаемый Евграф Семенович, як я имею в сем представлении суда говорить.

А он же, миляга, — дай бог ему долгого віку, — хорошо посоветовал:

— Говори, — сказал, — как можно пышно, щоб вроде поэзии — и не спущай суду форсу!

— Ну, так, мол, и буду.

И вот, как меня спросили: «Что вам известно?», я и начал:

— Мне, — говорю, — то известно, що все было тихо, и был день, и солнце сияло на небе высоко-превысоко во весь день, пока я не спал. И все было так, як я говорю, господа судьи. А как уже стал день приближаться к вечеру, то и тогда еще солнце сияло, но уже несколько тише, а потом оно взяло

да и пошло отпочить в зори, и от того стало как будто еще лучше — и на небе, и на земли, тихотихесенько по ночи.

Тут меня председатель перебил и говорит:

— Вы, кажется, отвлекаетесь!

А я ему отвечаю:

— Никак нет-с!

— Вы о деле говорите, как лошади украдены.

— Я о сем и говорю.

— Ну, продолжайте.

— Я, — говорю, — покушал на ночь грибки в сметане, и позанялся срочными делами, и потом прочел вечерние молитвы, и начал укладываться спать по ночи, аж вдруг чувствую себе, что мне так что-сь нехорошо, як бы отравление...

Какой-то член перебил меня вопросом:

— Верно, у вас живот заболел от грибов?

— Не знаю отчего, но вот это самое место на животе и холод во весь подвечный столб, даже до хрящика... Я и схопился и спать не могу...

В залі всі захохотали.

— А какая была ночь: темная или светлая? — спросил член.

Отвечаю:

— Ночь была не темная и не светлая, а такая млявая\*, вот в какие русалки любят подниматься со дна гулять и шукать хлопцов по очеретам\*.

— Значит, месяца не было?

— Нет, а впрочем — позвольте: сдается, что, может быть, месяц и был, но только он был какой-то такой, не обстоятельный, а блудник, то выходил, а то знов упал за прелестными тучками.

Выскочит, подивится на землю и знову спрячется в облака. И я як вернулся знову до себя в постель, то лег под одеяло и враз же ощутил в себе такое благоволение опочить, что уже думал, будто теперь даже всі ангелы божии легли спочивать на облачках, як на подушечках, а притомленные сельские люди, наработавшись, по всему селу так храпят, що аж земля стогнет, и тут я сам поклял голову на подушку и заплющил очи...

И я вижу, что все слушатели слушают меня очень с большим удовольствием, и кто-сь-то даже заплакал, но председатель знову до меня цепляется и перебивает:

— Говорите о том: как были украдены лошади?

— Ну, я же к этому все и веду. Вдруг спавшие люди сквозь сон почуяли, где-сь-то что-то скребе.

Враз одни подумали, що то скребутся коты... влюбленные коты, понимаете! А другие думали, що то були не коты, а собаки; а то не были и не коты и не собаки, а были вот эти самые бабины сыны злодії... Но тут председатель на меня закричал...

— Прошу вас не позволять себе обидных выражений!

А я отвечаю:

— Помилуйте, да в чем же тут обида! ведь и все люди на світи суть бабины дети, как и я и вы, ваше превосходительство.

В публике прошел смех, а председатель говорит мне:



— Довольно!

А я чую, что публика по мне поборают, и говорю:

— Точно так-с! Если бы я сказал, девкины дети, то было бы яко-сь невовко, а бабины...

Но он меня опять перебивает и говорит:

— Довольно-с уже этих ваших рассуждений, довольно!

А заметно, ему и самому смішно и публике тоже, и он говорит мне:

— Продолжайте кратко и без лишнего, а то я лишу вас слова.

Я говорю:

— Слушаю-с, и теперь все мое слово только в том и осталось, що то были вот сии, — як вы не позволяете их называть бабины сыны, то лучше сказать злодиюки, которых вы посадили вот тут на сем диване за жандармы, тогда як их место прямо в Сибиру!..

Но тут председатель аж підскочил и говорит:

— Вы не можете делать указаний, кого куда надо сажать и ссылать!

А я говорю:

— Нет-с, я это могу, ибо мои кони были превосходные, и сии сучьи дети их украли, и як вы их сейчас в Сибирь не засудите, то они еще больше красти станут... и может быть, даст бог, прямо у вас же у первого коней и украдут. Чего и дай боже!

Тут в публике все мне захлопали, як бы я был самый Щепкин\*, а председатель велел публику выгонять, и меня вывели, и как я только всеред людей вышел, то со всех сторон услышал обо мне очень разное: одни говорили: «Вот сей болван и подлец!» И в тот же день я стал вдруг на весь город известный, и даже когда пришел на конный базар, то уже и там меня знали и друг дружке сказывали: «Вот сей подлец», а другие в гостинице за столом меня поздравляли и желали за мое здоровье пить, и я так непристойно напился с неизвестными людьми, що бог знае в какое место попал и даже стал танцевать с дівчатами. А когда утром прокинулся, то думаю: «Господи! до чего я уронил свое звание, и як имею теперь отсюда выйти?» А в голове у меня, вообразите, ясно голос отвечает:

— Теперь уже порядок известный: спеши скорее с банщиками первый пар в бани опаривать; а потом беги к церкви, отстой и помолись за раннею, и потом, наконец, иди опять куда хочешь.

А меж тем те мои незнакомцы всё меня спрашивают: видал ли я сам когда-нибудь потрясователей?

Я разъясняю, что настоящих потрясователей я еще не видал и раз даже ошибся на одной стрижке, но что я надеюсь оных открыть и словить, ибо приметы их знаю до совершенства.

А те еще меня вопрошают:

— А есть ли тим подходящим людям что-нибудь у вас в Перегудах делать?

А я отвечаю:

— Боже мой! Как же им не есть что у нас делать, когда у нас хотя люди, с одной стороны, и смиренные, но с другой, знаете, и они тоже порою, знаете, о чем-то молчат. Вот! и задумаются, и молчат, и пойдут в лес, да и Зилизняка или Гонтю кличат\* — а инии и песню поют:

Колы-сь було на Вкраини

Добре було житы!

И дошли уже до такого сопротивления власти, что ни один человек не хочет ко мне как к должностному лицу в кучера идти.

— Может ли это быть?

— Уверяю вас!

— Отчего же это?

— Могу думать, что единственно оттого, что хотят лишить меня успеха в получении отличия за поимку потрясателя, но я, между прочим, с тем сюда и ехал, чтобы принести ответ суду, кстати нанять себе здесь же и кучера из неизвестных людей, да такого, у которого бы не было знакомых, и притом самого жесточайшего русского, из Рязанской губернии, чтобы на тройке свистал и обожал бы все одно русское, а хохлам бы не давал ни в чем спуску.

Мне отвечают:

— Так и будет!

И тут уж я при сильном напряжении сил увидал, что это со мною разговаривает какой-то мой вчерашний угощатель, и он повел меня в баню, а потом послал на раннюю, «а как ты, — говорит, — домой придешь, у тебя уже и кучер будет... Да еще какой! Настоящий орловский Теренька. Многого не запросит, а уж дела наделает!»

И действительно, как я всхожу домой, а ко мне навстречу идет с самоваром в руках отличнейший парень с серьгой в ухе и говорит:

— Богу молясь и с легким паром вас!

Я спрашиваю:

— А тебя как зовут?

— Теренька Налетов, — говорит, — по прозванию Дарвалдай\*, Орловской губернии.

— Что же, — говорю, — я тебе очень рад: я хотел из рязанских, но и в Орловской губернии тоже, известно, народ самый такой, что не дай господи! Но мне нужно, чтобы ты мне помогал все знать и видеть и людей ловить.

— Это нам все равно что плюнуть сто́ит.

— Ну, мне такой и нужен.

Я его и нанял.

XXII

Отлично у нас дело пошло! Теренька ни с кем из хохлов компании не водил, а всех знал и не пошел в избу, а один, миляга, с конями в конюшне жил. Кому зима — студено, а ему нипочем: едет и поет, как «мчится тройка удалая на подорожке столбовой»\*, даже, знаете, за сердце хопательно... Я не знал, как и радоваться, что такого человека достал. Теперь уж я был уверен, что мы выищем потрясателя и не упустим его, но только, вообразите себе, вдруг пошли помимо меня доносы, что будто у нас среди крестьян есть недовольные своею жизнью, и от меня требуют, чтобы я разузнал, кто в сем виновен? Я сам, знаете, больше всех думал на Дмитрия Афанасьевича, который очень трусился, как бы его паробки за дівчат не отлупцевали, — и вот я, в дороге еду, говорю своему Тереньке:

— Послушай, миляга, як ты себе думаешь, не он ли это разные капасты пишет?

А Теренька прямо отвечает:

— Нет, не он.

— Вон! Почему же ты этак знаешь?

А он, миляга, тонкого ума был и отвечает:

— Потому, что где ж ему с его понятием можно правду знать!

— А это же разве правда?

— Разумеется, правда.

— Вот те и раз! Так рассказывай!

Он и рассказывает мне, что крестьяне в самом деле стали часто говорить, что всем жить стало худо, и это через то именно, что все люди живут будто не так, как надо, — не по-божьему.

— Ишь ты, — говорю, — какие шельмы! И откуда они могут это знать, як жить по-божьи?

— Ходят, — говорит, — такие тасканцы и евангелие в карманах носят и людям по овинам в ямах читают.

Видите, якие зловредные твари берутся! И Теренька, миляга, это знает, а я власть, и ничего не знаю!

И Теренька говорит:

— Да это и не ваше дело: это часть попова, пусть он сам за свою кубышку и обороняется.

«Исправди, — думаю, — що мне такое!»

Только у Христи спросил, что она, часом, не ходила ли с сими тасканцами в ямы читанье слушать, но она, дура, не поняла и разобиделась:

— Хиба-де я уже така поганка, что с тасканцем в яму піду!

— Провались ты!

— Сами валитесь, и с богом.

— А що тебя піп про все пытае?

— А вже ж пытае.

— А ты ж ему неужли ж так про все и каешься?

— Ну, вот еще що взгадали! Чи я дура!

— Отлично, — говорю, — отлично!

И других многих так же спросил, и все другие так же ответили, а я им всем тожде слово рек:

— Отлично!

Потому что: для чего же ему в самом деле все узнавать, когда он уже один орден имеет? Аж смотрю, на меня новое доношение, что я будто подаю в разговорах с простонародней штундовые советы!\*

Боже мой милостивый! Да что ж значится штунда? Я же этого еще постичь не могу, а тут уже новая задача: чи я кого-то ловлю, чи меня кто-то ловит. И вот дух мой упал, и очи потухлы, и зубы обнаженны... А туча все сгущевается, и скоро же в корчме нашли, — представьте себе, — печатную грамотку, а в ней самые возмутительные и неподобные словеса, що мы живем-де глупо и бессовестно, и «всі, кто в бога віруе и себя жалует, научайтесь грамоте, да не слушайте того, що говорят вам попы толстопузые». Так-таки и отляпано: «толстопузые»!.. Господи!.. И все грамотеи это прочитали и потом взяли да грамотку на цигарках спалили, а потом еще нашли иную грамотку и в сей уже то и се против дворян таких-сяких, неумех білоруких, а потом кстати и про «всеобирающую полицию» и разные советы, как жить, щоб не подражать дворянам и не входить в дочинения с полицией, а все меж собой ладить по-божьему. Просто ужась! И кто ж сию пакость к нам завозит и в люди кидает? Я говорю:

— Теренька! Вот ты, миляга, обещал мне во всем помогать, — помогай же! Я если открою и орден получу, ей-богу, тебе три рубля дам!

А он мне опять отвечает, что ему наверно ничего не известно, но что ему удивительно, какие это пиликаны приехали в гости к попу Назарию и всё ночами на скрипке пиликают, а днем около

крестьян ходят, а как ночь, они опять на скрипках пиликают, так что по всему селу и коты мяучат и собаки лают.

Аж меня, знаете, всего ожгло это известие!

«Господи боже мой! — думаю, — да ведь это же, может быть, они и есть потрясыватели!»

— Терентьюшка, миляга мой, ты их наблюдай: это они!

— И я думаю, — говорит, — что они, но все-таки вы, ваша милость, встаньте сами о полуночи, и услышите, как они пиликают.

Я так и сделал: завел будильную трещотку на самый полночный час и аккурат пробудился, и сейчас открыл окно в сад и сразу почувствовал свежесть воздуха, и пиликан действительно что-то ужасно пиликает, и от того или нет, но по всему селу коты кидаются, и даже до того, что два кота прямо перед моими окнами с крыши сбросились и тут же друг друга по морде лущат.

Ну что это!

Я утром сказал Назарию:

— Что это за пиликаны у вас появились?

А он отвечает:

— Как это пиликаны? — И захохотал. — Это виртуозы, они спевки народные на ноты укладывают и пошлют в оперу! А то пиликаны! Ха-ха, «пиликаны»... Смеху подобно, что вы понимаете...

«Пиликаны»!

Ну, я стерпел.

XXIII

А был в той поре у нас за пять верст конский ярмарок, и я туда прибыл и пошел меж людей, чтобы посмотреть по обязанностям службы. И вижу, там же ходят и сии два пиликана, или виртуозы, и действительно оба с тетрадками и что-то записуют. И я за ними все смотрел-смотрел, аж заморился и ничего не понял, а как подхожу назад до своей брички, чтоб достать себе из погребчика выпить чарочку доброй горилки и закусить, чего Христина сунула, как вдруг вижу, в бричке белеется грамотка... Понимаете, это в моей собственной бричке, в начальственном экипаже! И уже, заметьте, печатано не простою речью, а скрозь строки стишок — и в нем все про то, як по дворах «подать собирают с утра».

Я говорю:

— Теренька! Миляга! Кто тут до моей брички прикасался?

— Я, — говорит, — не видал: у меня сзади глаз нет.

— Мне бумажка положена. Кто тут был или мимо проходил?

— Проходили эти пиликаны, поповы гости, Спирия да Сёма, — я их только одних и заметил.

— А тебе наверно известно, как их звать?

— Наверно знаю, что один Спирюшка, тот все поспиривает, а другой, который Сёма, этот посёмывает.

— Это они!

— Да, надо будет, — говорит, — в дружбе им прикинуться и угостить.

— Валяй, — говорю, — вот тебе полтина на угощение, а как только я орден получу — сейчас тебе три рубля, как обещано.

На другой день, вижу — Теренька действительно идет уже от попа, а в руках дощечку несет.

— Вот, — говорит, — стараюсь: ходил знакомство завести.

— Ну, рассказывай же скорее, миляга: как это было?

— Да вот я взял эту дощечку с собой и говорю: «Это, должно быть, святой образок, я его, глядите-ка, в конюшне нашел; да еще его и ласточкиным гнездом закрыло, прости господи! А от того или нет, мне вдруг стали сны сниться такие, что быть какому-то неожиданью, и вот в грозу как раз гнездо неожиданно упало, а этот образок и провещился\*, но только теперь на нем уже никакого знаку нет, потому что весь вид сошел. Я просил попа: нельзя ли святой водой поновить?»

— Это ты ловко! Ну, а что же дальше?

— Поп меня похвалил: «Это, говорит, тебе честь, что ты отыскал священный предмет, который становой до сей поры пренебрегал без внимания».

— Неужели он так и сказал?

— Ей-богу, так сказал. Мне лгать нечего.

— Ну, теперь, — говорю, — он про это непременно на меня донесет, а я возьму да еще прежде донесу на его Сёму и на Спирию.

И донес так, что явились какие-то неизвестные пиликаны Спирия и Сёма, и нельзя разузнать, про что Спирия спирит и про что Сёма сёмает, а между тем теперь уже повсеместно пометаются грамотки... И потому я представляю это: как угодно попреблагорассмотрительствующемуся начальству.

Но — вообразите же — все ведь это пошло на мою же голову, ибо в обоих пиликанах по обыске их и аресте ничего попреблагорассмотрительствующегося не сказалося, и пришлось их опять выпустить.

И учинился я аки кляузник и аки дурак для всех ненавистный, и в довершение всего в центре всенесомненнейшего и необычайнейшего — наполнения грамотками всего воздуха!

Да! если я допекал, бывало, тих злодѣев, конокрадов, как вам сказывал, по «Чину явления истины» и если и томил их «благоухищренною виною», то куда же все это годится перед тем, что я теперь терпел сам! А между тем теперь отыскать и поймать потрясователя сделалось уже совершенно необходимо, потому что даже сам исправник против меня вооружился и говорит:

— Ты всеобщий возмутитель и наипервый злодѣй: мы жили тихо, и никого у нас, кроме конокрадов, не было; а ты сам пошел твердить про потрясователей, и вот все у нас замутилось. А теперь уже никто никому и верить не хочет, что у нас нет тех, що троны колеблят. Так подавай же их! Даю тебе неделю сроку, и если не будет потрясователя — я тебя подам к увольнению!..

Вот вам и адское житие, какого я себе сам заслужил за свою беспокойность!

И, ох, как я после этой беседы в нощи одинок у себя плакал!.. Дождь льет, и молнья сверкает, а я то сижу, то хожу один по покою, а потом падаю на колени и молюсь: «Господи! Даруй же ты мне его и хоть единого сего сына погибельного», и опять в уме «мечты мои безумны»... И так много раз это, просто как удар помешательства, и я, с жаром повторивши, вдруг упал лицом на пол и потерял сознание, но вдруг новым страшным ударом грома меня опрокинуло, и я увидел в окне: весь в адском сиянии скачет на паре коней самый настоящий и форменный потрясователь весь в плаще и в шляпе земли греческой, а поза рожи разбойничья!

Можете себе вообразить, что такое со мной в этот момент сделалось! После толикого времени зависти, скорби и отчаянья, и вдруг вот он! — он мне дарован и послан по моей пламеннейшей молитве и показан, при громах и молоньях и при потоках дождя в ночи.

Но размышлять некогда: он сейчас должен быть изловлен.

## XXIV

Я так и завопил:

— Христя! Христя!

Аж она, проклятая баба, спит и не откликается. Ринулся я, як зверь, до ее комнаты и знову кричу: «Христя!» и хочу, щоб ее послать враз, щоб Теренька сию минуту кони подал, и скакать в погоню, но только, прошу вас покорно, той Христины Ивановны и так уже в ее постели нема, — и я вижу, що она и грому и дождя не боится, а потиху от Тереньки из конюшни без плахты\* идет, и всем весьма предовольная... Можете себе вообразить этакое неприятное открытие в своем доме, и в какую минуту, что я даже притворился, будто и внимания на это не обратил, а закричал ей:

— Вернись, откуда идешь, преподлейшая, и скажи ему, чтоб сейчас, в одну минуту, кони запряг!

Аж Христьяка отвечает:

— Теренька не буде вам теперь коней закладать.

— Это еще що?.. Да як ты смієшь!

А она отвечает:

— А вже ж смію, бо що се вы себе выдумали, по ночи, когда всі христяне сплят, вам щоб в самісеный сон кони закладать... Ни, не буде сего...

— А-а!.. «Не буде»!.. «Самісеный сон»... «Все христянство спочивае»... А ты же, подлая жинка, чего не спочивала, да по двору мандривала\*!

— Я, — говорит, — знаю, зачем я ходила.

— И я это знаю.

— Я ходила слушать, як пиликан пиликае.

— А-га! Пиликан пиликае!.. Хиба в такую грозу слышно, як пиликают!..

— Оттуда, где я была, слышно.

— Слышно!.. Больше ничего, как ты — самая бессовістная жинка.

— Ну и мне то все едино; а Теренька кони закладать не здужае\*.

— Я вам дам: «не здужае». Сейчас мне коней!

— У него зубы болят...

Но тут уж я так закричал, что вдруг передо мною взялись и кони и Теренька, но только Теренька исправда от зубной боли весь платком обвязан, но я ему говорю:

— Ну, Теренька, теперь смотри! Бей кони во весь кнут, не уставай и скачи: потрясователь есть! — настигни только его, щоб в другой стан не ушел, и прямо его сомни и затопчи... Що там с ними разговаривать!

Теренька говорит:

— Надо его на мосту через Гнилушу настичь — тут я его сейчас в реку сброшу, и сцапаем.

— Сделай милость!

И как погнал, погнал-то так шибко, что вдруг, — представьте, — впереди себя вижу — опять пара коней, и на всем на виду в тележке сидит самый настоящий, форменный враг империи!

Теренька говорит:

— Валишь с моста?

— Вали!

И как только потрясователь на мост взъехал, Теренька свистнул, и мы его своею тройкою пихнули в

бок и всего со всеми потрохами в Гнилушу выкинули, а в воде, разумеется, сцапали... Знаете, молодой еще... этак среднего веку, но поза рожки самоужаснеющая, и враз пускается на самую преотчаянную ложь:

— Вы, — говорит, — не знаете, кто я, и что вы делаете!

А я его вяжу за руки да отвечаю:

— Не беспокойся, душечка, знаем!

— Я правительственный агент, я слежу дерзкого преступника по следам и могу его упустить!

— Ладно, голубчик, ладно! Я тебя посажу на заводе в пустой чан: тебе будет хорошо; а потом нас разберут.

Но он вошел в страшный гнев и говорил про себя разные разности, кто он такой, — все хотел меня запугать, что мне за него достанется, но я говорю:

— Ничего, душко мое, ничего! Ты сначала меня повози, а после я на тебе поезжу! — и посадил его в чан, приставил караул и поскакал прямо в город с докладом:

— Пожалуйте, что мне следует: потрясователь есть.

## XXV

Но ведь представьте же, что я в город не доехал, и наверно могу сказать, что, почему так случилось, вы не отгадаете. А случилось вот что: был, как я вам сказал, очень превеликий дождь, да и не переставал даже ради того случая, что я совершил свои заветные мечты и изловил первого настоящего врага империи. И вот я себе еду под буркой весь мокрый и согреться, мечтаю, як оный гоголевский Дмухонец\*: що-то теперь из Петербурга, какую мне кавалерию вышлют: чи голубую, чи синюю? И не замечаю, как, несмотря на все торжествование моей победы и одоления, нападает на меня ожесточенный сон, и повозка моя по грязи плывет, дождь сверху по коже хлюпае, а я под буркою сплю, як правый богатырь, и вижу во сне свое торжество: вот он, потрясователь, сидит, и руки ему схвачены, и рот завязан, но все меня хочет укусить, и, наконец, укусил. И я на этом возбудился от сна; и вижу, что время уже стало по-ночи, и что мы находимся в каком-то как будто незнакомом мне диком и темном лесе, и что мы для чего-то не едем, а стоим, и Тереньки на козлах нет, а он что-то наперед лошадей ворочается, или как-то лазит, и одного резвого коня уже выпряг, а другого по копытам стучит, и этот конь от тех ударений дергает и всю повозку сотрясает.

Я ему закричал:

— Теренька! Что это? Отчего кони так дергают и сотрясают?

А он отвечает:

— Молчать!

— Как молчать? Где мы?

— Не знаю!

— Что это за глупости! Как ты не знаешь?!

— Я хотел по ближней дорожке через лес проехать, да вот в лесу и запутался.

— Ты, верно, с ума сошел и хочешь меня убить!..

— Не стоит рук пачкать.

— Кацап проклятый! Тебе все стоит: хоть копеечку за душу взять, и то выгодно: сто душ загубишь и сто копеек возьмешь! Вот тебе и рубль! Но я тебе лучше так все деньги отдам, только ты меня, пожалуйста, не убивай.

А он на эти слова уже не отвечал, а вывел пристяжную в сторону и сказал:

— Прощай, болван! Жди себе орден бешеной собаки! — и поскакал и скрылся.

Представьте себе вдруг такое обращение и как я остался один среди незнакомого леса с одним конем и не могу себе вообразить: где я и что со мною этот настоящий разбойник уделал?

А он такое уделал, что нельзя было и понять иначе, как то, что он достал мгновенное помешательство или имел глубокий умысел, ибо он, как уже сказано, ускакал на пристяжном, покинув тут и свой кучерский армяк и Христин платок, которым был закутан — очевидно, от мнимой зубной боли, а другому коренному коню он, негодяй, под копыта два гвоздя забил! Ну, не варвар ли это, кацапская рожа! Боже мій милій, что за положение! А дождь так и хлыще, а конь больной ногой мотае и стучае, аж смотреть его жалостно... Думаю: посмотрю-ка я, чи нема у меня под сиденьем клещей, — может быть, я ими хоть одного гвоздя у несчастного коняки вытащу. И с тім, знаете, только що снял подушку с сиденья, как вдруг что же там вижу: полно место тіх самых гаспідских листков\*, що и «мы не так живем и как надо» и прочие неподобные глаголы.

Я и упал на колени, а руки расставил, щоб покрыть сию неподиванную подлость! И тут вдруг мне ясно в очи ударило, что ведь это очевидно, что потрясователь-то чуть ли не кто другой и был, как сам мой Теренька, по прозванью Дарвалдай-лихой; и вот я, я сам служил ему для удобства развозить по всем местам его проклятые шпаргалки!.. И вот оно... вот тут же при мне находится все самополнейшее на меня доказательство моей самой настоящей болванской неспособности и несмотренья...

И подумал я себе: «А и що ж то буде за акциденция\*, як я буду сидеть над теми листками в брычке да буду недоумевать да плакать? Дождь перейдет, и по дороге непременно кто-нибудь покажется, и я попадусь с поличным в политическом деле! Надо иметь энергию и отвагу, щоб это избавить. Надо все это упредить».

## XXVI

И вот я вскочил и начал хапать все сии проклятые бумажки! Хотел, знаете, щоб стащить их все чисто куда-нибудь в ров или в болото и там их чем-нибудь завалить или затоптать, чтобы они там исчезли и не помянулись. Аж як все похватал и понес под сим страшнейшим дождем и ужаснейшими в мире блистаниями огненной молоньи, то не бачил сам, куда и иду, и попал в сем незнакомом лесу действительно на край глубоченного оврага и престрашнейшим манером загремел вниз вместе с целою глыбою размокшей глины. И тут, при сем ужасном падении, все те шпаргалки у меня из рук выбило и помчало их неодоленным бурным потоком, в котором и сам я, крутясь, заливался и уже погибал безвозвратно; но бытие мое, однако, было сохранено, и я, вообразите, увидел себя в приятнейшем покое, который сначала принял было за жилище другого мира, и лежал я на мягкой чистейшей от серебра покрытою простынею постели, а близ моего изголовья поставлен был столик, а на нем лекарства, а невдалеке еще напротив меня другой столик, а на нем тихо-тихесенько світит ласковым светом превосходнейшая лампа, принакрытая сверху зеленой тафтицей... А далее смотрю и вижу, что в самом месте, где освещено лампой, что-то скоро-скоро мелькает! Я подумал: что это такое, точно как будто лапка серой кошечки или еще что? Но никак не могу разобрать въяве: где ж это я и по якому такому случаю? И так все лежу и шо-сь такое думаю, но, однако, себе чувствую, что мне очень прекрасно. Верно, думаю, это, может быть, и есть «егда приидеши во царствие». Ну да, так это и есть: был я человек, и делал разные поганые дела, и залился в потоке воды, и умер, и,



должно быть, по какой, мабуть, ошибке я попал теперь в рай. А може, мне так и следует за то, що я находился в некое время при архиерейском служении. А может быть, я и с сией заслугою рая все-таки еще недостоин, и это не рай, а что-нибудь из языческих Овидиевых превращений. И даже это скорей буде так для того, что в раю все сидят и співають: «свят, свят, свят», а тут совсем пения нет, а тишнота, и меня уже как молонья в памяти все прожигает, что я был становой в Перегудах, и вот я возлюбил почести, от коих напали на меня безумные мечты, и начал я искать не сущих в моем стане потрясователей основ, и начал я за кем-то гоняться и чрез долгое время был в страшной тревоге, а потом внезапно во что-то обращен, в какое-сь тишайшее существо, и помещен в сем очаровательном месте, и что перед глазами моими мигает — то мне непонятное, — ибо это какие-то непонятные мне малые существа, со стручок роста, вроде тех карликов, которых, бывало, в детстве во сне видишь, и вот они между собою как бы борются и трясут железными кольями, от блыщания коих меня замаячило, и я вновь потерял сознание, и потом опять себе вспомнил, когда кто-то откуда-то взошел и тихо прошептал:

— Как сегодня наш больной?

А другой голос так же тихо отвечал:

— Ему лучше. Доктор надеется, что сегодня он придет в сознание.

Первый голос мне был совсем незнаком, а второй я как будто где-то слышал. Только я опять не разбираю, что они шепчут, и серые карлики с стальными копиями спрятались, и потом опять будто через некое неопределенное время знову вижу ту же приятную комнату, но только уже теперь был день, и у того стола, где кошачьи лапки прыгали, сидит дама в темных очках и чулок вяжет.

Помышляю себе: «Это прехитрый Овидий хочет кого-сь обратить той Юлией, которую я столь поганьски обидел при жизни моей на земле в Перегудах и которая принесла на меня жалобу дворянскому маршалу\*. Но, о Овидий, сим ли ты хочешь мене наказать, когда я именно рад, что вижу ее подобие и могу теперь просить ее простить мне мое окаянство». И чтобы не откладывать сего, произнес: «Простите меня!», но, произнеся эти слова, и сам не узнал своего голоса.

А она быстро встала и, тихо подняв пальчик, шепнула:

— Не говорите. Это нельзя вам! — и поправила мне что-то у моего лица и вышла, а вместо нее пришел: кто вы бы думали?.. А ей-богу, пришел сам маршалец!

Ну, тут я уже припомнил не одного Овидия, а и Лукиана и с его встречами и разговорами в царстве мертвых\* и, дивясь одним глазом на вошедшего, подумал:

«Эге, друг ученый! И ты тут! Не спасла, видно, и тебя твоя ученость!»

А он заметил, что у меня один глаз открытый, и спросил:

— Можете ли вы открыть другой глаз?

Я ему вместо ответа открыл мой другой глаз, а сам спросил:

— А вы, ваше сиятельство, когда же почили на земле и переселились сюда в вечность?

Он меня отчего-сь не понял, и я его лучше переспросил:

— Як давно вы изволили вмереть? — На сие он уже улыбнулся и отвечал:

— Нет; мы с вами пока еще находимся в старом состоянии, в кожаных ризах. Да нам и необходимо тут еще кое с чем разделаться.

Я не все понял, но с этих пор начал приходить в себя все чаще и на более продолжительное время и все видел около себя то самого предводителя князя Мамуру, то Юлию Семеновну, ибо это была она

самая. Он и она вырвали меня, як поэты говорят, «из жадных челюстей смерти», и мало-помалу Юлия Семеновна в добрейших разговорах открыла мне, что я теперь нахожусь в маршалковом доме и содерживаюсь тут уже более як шесть недель, а привезен я сюда в бесчувственной горячке, самим же им — маршалком, который обрел меня в безумии моем бегавшего под молоньями и дождем и ловящего листки типографские, разносимые вдаль бешеными ручьями. Маршалек же тогда ехал с какого-то служебного дела, и его сопровождали соседний становой и еще кто-то, и всем им мое безумие явлено ясно, и поличье распространения революционных бумаг они взяли, а меня маршалек всадил к себе в коляску и привез к себе как весьма больного.

Я же все это слушал и удивлялся и не воображал того, что это только одна капля из того всеудивленного моря, которое на меня хлынуло, а именно, что я совсем не в гостях, а почитаюсь живущим у князя под домашним арестом, доколе можно меня при облегчении недуга оттарабанить в одно из мест заключения, и что для караула меня на кухне живут два человека.

Вот вам и поздоров боже! Маршалек обязан был известить, когда мне полегчает, и тогда меня увезут в заключение и будут судить за мои преступления. Преступления же мои были самого ужасного характера, ибо я напал на дороге на самоискуснейшего агента, который послан был выследить и изловить самого дерзновеннейшего потрясователя, распространявшего листки, и я собственноручно сего агента сцапал вместо преступника, и лишил его свободы, и тем способствовал тому, что потрясователь сокрылся, притом на моей лошади, ибо злодей этот был именно мой Теренька!..

Пожалуйте!.. О, боже мій милій! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно, ибо я сам был взят на таком непонятном деянии, которое выяснит только наистрожайшее следствие, то есть: хотел ли я сокрыть следы оногo злейшего пропагандиста, пометая его значки в овраги, или же, наоборот, был с ним в сообществе и старался те проклятства распустить на всю землю посредством сплава их через устремившиеся потоки.

## XXVII

Когда я это узнал, то сказал предводителю:

— Однако, хоть обвинен я жестоко, но, пусть видит бог, все было не так. — И я попросил его позволения рассказать, как было, и все, что вы теперь знаете, я рассказал ему и вошедшей в то время Юлии Семеновне, и когда рассказ мой был доведен до конца, то я впал в изнеможение — очи мои заплющились, а лицо покрылось смертною бледностию, и маршалек это заметил и сказал Юлии Семеновне:

— Вот наименесчастнейший человек, который охотился за чужими «волосами», а явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что их до этого доводят.

А потом они сразу стали говорить дальше по-французски, а я по-французски много слов знаю, но только говорить не могу, потому что у меня носового произносу нет. И тут я услышал, что всему, что наделалось, я виноват, ибо я сам взманил Тереньку своим пустословием, что будто и у нас есть «элементы», тогда как у нас, по словам маршалка, «есть только элементы для борща и запеканки». А теперь тот Теренька утек, а великий скандал совершился, и все в волнении, а мне быть в Сибири! Я же так от всех сих впечатлений устал, что уже ничего не боялся и думал: «Пусть так и будет, ибо я злое делал и злого заслужил».

Но маршалек говорил также Юлии Семеновне, «что он все свои силы употребит, чтобы меня защитить».

И Юлия Семеновна ему тоже отвечала:

— Сделайте это.

Добрые души! И что еще всего дороже: маршалек находил облегчение моей гадости. Он говорил:

— По совести, я не вижу в нем такой вины, за которую наше общество могло бы его карать. Что за ужасная среда, в которой жил он: рожден в деревне и с любовью к простой жизни, а его пошли мыкать туда и сюда и под видом образования осваивали с такими вещами, которых и знать не стоит. Тут и Овидий, и «оксиос», и метание орлецов\*, и припевание при благочестивой казни во вкусе Жуковского, и свечи, и гребені «на браду», и знание всех орденов, и пытаніе тайностей по «Чину явления истины»... Помилуйте, какая голова может это выдержать и сохранить здравый ум! Тут гораздо способнее сойти с ума, чем сохранить оный, — он и сошел...

Юлия же Семеновна его спросила, неужто в самом деле он думает, что я сумасшедший?

— Да, — отвечал предводитель, — и в этом его счастье: иначе он погиб. Когда его повезут, я представлю мои за ним наблюдения и буду настаивать, чтобы прежде суда его отдали на испытание. — И знаете, — отозвалась Юлия Семеновна, — это будет справедливо; но только я боюсь, что вас не послушают.

А он говорит:

— Наоборот, я уверен в полном успехе... Что им за радость разводить такую глупую историю и спрашивать к Макару злополучного болвана (это я-то болван!), которого не выучили никакому полезному делу. Без этого бетизы неизбежны.

Юлия Семеновна на это сразу не отвечала и размеривала на коленях чулок, который вязала, а потом улыбнулась и говорит:

— Ах, бетизы! Это слово напоминает мне нашу бабушку, которая была когда-то красавица и очень светская, а потом, проживши семьдесят лет, оглохла и все сидела у себя в комнате и чулки вязала. К гостям она не выходила, потому что тетя Оля, ее старшая дочь и сестра моей матери, находила ее неприличною. А неприличие состояло в том, что бабушка стала делать разные «бетизы», как-то: цмокала губами, чавкала, и что всего ужаснее — постоянно стремилась чистить пальцем нос... Да, да, да! И сделалась она этим нам невыносима, а между тем в особые семейные дни, когда собирались все родные и приезжали важные гости, бабушку вспоминали, о ней спрашивали, и потому ее выводили и сажали к столу, — что было и красиво, потому что она была кавалерственная дама, но тут от нее и начиналось «сокрушение», а именно, привыкши одна вязать чулок, она уже не могла сидеть без дела, и пока она ела вилкой или ложкой, то все шло хорошо, но чуть только руки у нее освободятся, она сейчас же их и потащит к своему носу... А когда все на нее вскинутся и закричат: «Перестаньте! Бабушка! Ne faites pas de bêtises!»[74] — она смотрит и с удивлением спрашивает: — Что такое? Какую я сделала bêtise?

И когда ей покажут на нос, она говорит: «А ну вас совсем. Дайте мне чулок вязать, и bêtise не будет». И как только ей чулок дадут, она начинает вязать и ни за что носа не тронет, а сидит премоило. То же самое, может быть, так бы и всем людям...

— Именно! — поддержал, рассмеясь, предводитель, — ваша бабушка дает прекрасную иллюстрацию к тому трактату, который очень бы хорошо заставить послушать многих охотников совать руки, куда им не следует.

Но тогда и Юлия Семеновна в насмешку над собою сказала:

— Вот я потому все и вяжу чулки.

— И что же, — сказал князь, — вы по крайней мере наверно никому не делаете зла.

И, сказав это, он вышел, а я всю ночь чувствовал, что я нахожусь с такими наипрекраснейшими людьми, каких еще до сей поры не знал, и думал, что мне этого счастья уже довольно, и пора мне их освободить от себя, и надо уже идти и пострадать за те бетизы, которые наделал.

Во мне произошел переворот моих понятий.

## XXVIII

С возбуждением сердечнейшего чувства я встал рано утром и, как взглянул на себя, так даже испугался, якій сморщенноватый, и очи потухлы, и зубы обнаженны, и все дело дряннь. Кончено мое кавалерство: я старик! Скоро я увидел Юлию Семеновну и сейчас же ей сказал:

— Позвольте мне провязать один раз в вашем вязании!

Она же подала и удивилась, что я умею, а я ей сказал:

— Вот я теперь и буду это делать в память препочтенной вашей бабушки и кавалерственной дамы.

Она спросила:

— А то для чего вам?

А я отвечал:

— Не хочу больше подражать ничьим бетизам, я теперь в здешней жизни уже конченный.

Она улыбнулась и хотела взять в шутку, но я говорю:

— Это не шутка! Да и довольно мне ветры гонять.

И еще я сказал, что я сильно тронут всем, что от нее добра видел, но не хочу более отягощать собою великодушие князя и прошу его предоставить меня моей участи.

Она на меня посмотрела и, вместо того чтобы оспаривать меня, сказала: «ваше теперешнее настроение так хорошо, что ему не надо препятствовать», и взялась переговорить за меня с князем, и тот подал мне руку, а другою рукою обнял меня и сказал:

— У вашего философа Сквороды есть одно прелестное замечание: «Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится»\*, вот и вы, я думаю, теперь не годитесь более для прежнего своего занятия, а зато в духе вашем поднимается лучшее.

Я отвечал:

— Может быть, может быть! — и больше с ним избегал говорить, потому что был тронут.

И так меня от них увезли и привезли прямо сюда в сумасшедший дом на испытание, которое в ту же минуту началось, ибо, чуть я переставил ногу через порог, как ко мне подошел человек в жестяной короне и, подставив мне ногу, ударил меня по затылку и закричал:

— Разве не видишь, кто я? Болван!

— Болван я, — отвечаю, — это верно, но вашего сана не постигаю.

А он отвечает:

— Я король Брындахлыст.

— Привет мой, ваше королевское величество!

Он сейчас же сдобрился и по макушке меня погладил.

— Это хорошо, — говорит, — я так люблю, — ты можешь считать себя в числе моих верноподданных.

А я посмотрел, что у него туфли на босу ногу и ноги синие, и отвечаю:

— Благодарю покорно, а что же это твои подданные плохо, верно, о твоём величестве думают: вон как у тебя ножки посинели?

— Да, — говорит, — брат, посинели...

А потом вздохнул и продолжал:

— Знаешь, это, однако, только тогда, когда бывает холодно, — тогда, брат, что делать... тогда ведь и мне бывает холодно. Да, — я не могу приказать, чтобы в моём царстве было иначе.

— Совершенно, — говорю, — правда!

— А вот то-то и есть! Приказываю, а так не выходит.

— Ну, не робей, брат: я тебе шерстяные чулки свяжу!

— Что ты!

— Верь честному слову.

— Сделай одолжение! Ведь у меня особая обязанность: я должен отлетать на болота и высиживать там цаплины яйца. Из них выйдет жар-птица!

И когда я ему связал чулки, он их надел и сказал:

— Ты нас согрел, и поелику сие нам приятно, мы жалуем тебя нашим лейб-вязальщиком и повелеваем обвязывать всех моих босых верноподданных.

И вот я уже много лет здесь живу и всеми любим, потому что, должно быть, я, знаете, дело делаю.

XXIX

Раз я спросил у рассказчика: как же был решен вопрос об его испытании?

Он отвечал, что все решено правильно, и он признан сумасшедшим, потому что это так и есть, да это и всякому должно быть очевидно, потому что невозможно же, чтобы человек со здоровым умом пошел за шерстью, а воротился сам остриженный.

Об акте освидетельствования его в специальном присутствии он говорил неохотно и немного.

Против довольно общего обыкновения почитать это актом величайшей важности, он так не думал, и от него даже трудно было узнать поименно: кто именно присутствовал при том, когда его признали сумасшедшим. Он делал кислую позу рожи и говорил:

— Были там не якіе вельки паны... всіх их аж до черта, так что и помнить не можно, и всякий на тебя очи бочит, и усами гогочит, и хочет разговаривать... Тпфу им, — совсім волнение достать можно!..

— Ну, а вы же все-таки хорошо с ними говорили?

— Да говорил же, говорил... Но, послушайте: чтобы я хорошо или нехорошо говорил, — за это я вам заручать за себя не могу, потому что, знаете, от этого их приставания со мною тоже случилось волнение, — может, больше через то, что у меня отняли из рук чулок вязать и положили его на свод законов, на этажерку. Я говорил: «Не отбирайте у меня, — я привык чулок вязать и на все могу отвечать при вязанье», но прокурор, или то не прокурор, и полковник сказали, что это невозможно, ибо я должен сосредоточиться, так как от этого многое зависит. И стали меня пытаться: через что я так вздумал опасоваться везде потрясывателей и искать их в шляпах земли греческой? И я все по всей святой правде ответил, что такая была повсеместно говорка, и я желал отличиться и получить орден, в чем мне и господин полковник хотел оказать поддержку, но паны, мабуть, взяли это за лживое и переглянулись с улыбкой, а меня спросили: «Зачем же вы не надлежащее лицо взяли?» Я отвечал: «По ошибке, и прошу в том помиловать, ибо он скакал в греческой шляпе». А тогда вдруг и

посыпали с разнейших сторон все спрашивать разное:

— Зачем вы изменили ваши виды и намерения?

— Не было никаких намерений!

— Отчего же вы так струсились?

— Помилуйте, как же его не струситься, когда он вдруг под дождем среди темного леса меня завез и вдруг выпрягает одного коня, а другому бьет в ногу гвоздь и говорит, что мне дадут орден бешеной собаки!.. И после того я вижу папирки\* и понимаю, что это и есть то самое, что мы учили о Франции, которая соделалась республикой!.. И я сейчас же захотел это все скорей уменьчтожить, но далее... вот могут сказать господин князь, который тогда меня взял, и кормил, и поил, и от темной ночи взирал... А меня спрашивают: «Что на вас так повлияло, что вы у князя совсем переменялись?» Как же это объяснить, чего я сам не заметил, как сделалось! Может быть, потому, что я болен был и вспоминал «смерть и суд», и я понял ничтожество. А может быть, от влияния добрых людей стал любить тишноту и ненавидеть скоки, и рычания, и мартальезу. Пойте вот что хотите, а я никаких бетизов делать не хочу и кричу вам: «Дайте мой чулок!» И всё неудержимо раз от разу громче: «Дайте мне чулок вязать!.. Дайте мне чулок вязать!..» А когда ж они не хотели мне дать, то что я виноват в том, что меня волнение охватило! О боже мой! Я и не помню, как я вскочил на стол, и зарыдал, и зачал топотаться ногами и ругать всех наипозорнейшими словами, какими даже никогда и не ругался, и ужаснеющим голосом вскрикивал: «Дайте мне чулок вязать, гаспиды! Дайте чулок вязать, ибо я вам черт знае якие бетизы сейчас на столе наделаю!» И потом уже ничего не помню, аж до того часу, как снова увидел себя здесь на койке в свивальниках. И тогда опять сказал: «Дайте чулок вязать!» И когда мне дали — я и утишился. А вот теперь знову вспомнил, як ті гаспиды хотели, щоб я мартальезу заспівал, и... ой, знову... дайте мне скорее мой чулок вязать!.. а то я буду в волнении!

XXX

Я потревожил Перегуда и другими вопросами: не тяжело ли ему его долговременное пребывание в сумасшедшем доме?

Он отвечал:

— И немалесенько! Да и що такое вы называете здесь «сумасшедший дом»? Полноте-с! Здесь очень хорошо: я вяжу чулки и думаю, що хочу, а чулки дарю, — и меня за то любят. Все, батюшка мой, подарочки любят! Да-с, любят и «благодару вам» скажут. А впрочем, есть некоторые и неблагодарные, как и на во всем світі... О господи! Одно только, что здесь немножко очень сильно шумят... Это, знаете, она... бездна безумия... О, страшная бездна! Но ночью, когда все уснут, то и здесь иногда становится тихо, и тогда я беру крылья и улетаю.

— Мысленно улетаєте?

— Нет, совсем, з целой истотою\*.

— Куда же вы летите?.. Это можно спросить?

— Ах, можно, мій друже, можно! Про все спросить можно! — вздохнул он и добавил шепотом, что он улетає отсюда «в болото» и там высиживает среди кочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы.

— Вам, я думаю, жутко там ночью в болоте?

— Нет; там нас много знакомых, и все стараются вывести жар-птицы, только пока еще не выходят

потому, что в нас много гордости.

— А кто же там из знакомых: может быть, Юлия Семеновна?

— Сия давно сидит за самую первую кочкой.

— А князь, или предводитель?

— Его нет. Он верит в цивилизацию, и — представьте — он старался меня убедить, что надо жить своим умом. Он против чулок и говорит, что будто «с тех пор, как я перестал подражать одним бетизам, я начал подражать другим». Да, да, да! Он говорил мне про какого-то немца, который выучил всю русскую грамматику, а когда к нему пришел человек по имени Иван Иванович Иванов, то он счел это за шутку и сказал: «Я снай: Иван — мошна, Иваниш — восмошна, а Иваноф — не дольшна». Я спросил, к чему же мне эта грамматика? А князь мне отвечал:

«Это к тому, что не все сделанное с успехом одним человеком хорошо всем проделывать до обморока. Вспомните, говорит, хоть своего Сквороду: надо идти и тащить вперед своего «телесного болвана».

Я сказал, что это и правда!

— Правда, — повторил тихо и Перегуд и, вздохнув, опять повторил: — правда! — А потом взял в руки свой чулок и зачитал: — Вот грамматика, вот грамматика, вот какая грамматика: я хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врешь, и он ходит, пока врет, и мы ходим, пока врем, и они ходят, пока врут... Пожалей всех, господи, пожалей! Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана? Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть. Ой, затурмантовали бідолагу болвана, и весь ум у него помутився. Нет, ну вас!.. Прощайте!

Он вдруг надулся, сделал угрюмую позу рожи и ушел быстро, шевеля спицами своего вязанья. Теперь это был настоящий сумасшедший, словам которого не всякий согласился бы верить, но любитель правды и добра должен с сожалением смотреть, как отходит этот дух, обремененный надетыми на него телесными болванами. Он хочет осчастливить своим «животным благоволением» весь мир, а сила вещей позволяет ему только вязать чулки для товарищей неволи.

Эпилог

Оноприй Опанасович Перегуд почил великолепно и оставил по себе память в сумасшедшем доме. Отшел он отсюда в неведомый путь, исполненный лет и доброго желанья совершить «всякое животное благоволение».

Последние дни своего пребывания на земле Перегуд испытал высокое счастье верить в возможность лучшей жизни в этой юдоли смерти. Сам он ослаб, как кузнечик, доживший до осени, и давно был готов оторваться от стебля, как созревшая ягода; он еще думал об открытиях, с которых должно начаться «обновление угасающего ума».

Неустанно вязавши чулки, Перегуд додумался, что «надо изобрести печатание мыслей», Гутенбергово изобретение печатания на бумаге он признавал ничтожным, ибо оно не может бороться с запрещениями. Настоящее изобретение будет то, которому ничто не может помешать светить на весь мир. Печатать надо не на тряпке и не на папирусе, а также и не на телячьей и не на ослиной коже... Убивать животных не будут... Каждое утро, прежде чем заалееет заря — в этот час, когда точат убийственный нож, чтобы, «сняв плуга ярмо, зарезать им пахаря», Перегуд видит, как несется на облаках тень Овидия и запрещает людям «пожирать своих кормильцев», а люди не

слышат и не видят. Перегуд хочет, чтобы все это видели и слышали это и многое другое и чтобы все ужаснулись того, что они делают, и поняли бы то, что им надо делать. Тогда жить и умирать не будет так страшно, как нынче!.. Он все напечатает прямо по небу!.. Это очень просто. Надо только узнать: отчего блистает свет и как огустевает тьма...

Перегуд покидал чулок и рисовал и вырезывал из бумаги огромные глаголицкие буквы: он будет ими отражать прямо на небо то, про что восшумит глас, вопиющий в пустыне: «Готовьте путь! Готовьте путь!»\* Уж слышен росный дух, и как только держащий состав вод отворит бездну, тогда сейчас твердый лед станет жидкой влагою и освежает все естество и деревья дубравные, и возгремит божие страшное великолепие!

И вот раз после жаркого дня, который, по обычаю, на рассвете предварила Перегуду Овидиева тень, стали собираться тучи с разных сторон и столкнулись на одном месте. Буря ударила, пыль понеслася, зареяли молоньи, и загрели один за другим непрерывно громовые раскаты.

Пришло страшное явление юга — «воробьиная ночь», когда вспышки огня в небесах ни на минуту не гаснут, и где они вспыхнут, там освещают удивительные группы фигур на небе и сгущают тьму на земле.

В сумасшедшем доме, как и везде, где это было видно, царил ужас... кто стонал, кто трясся и плакал, некоторые молились, а кто-то один декламировал:

Страшно в могиле\* холодной и темной,  
Ветры там воют — гробы трясутся,  
Белые кости стучат...

Но Перегуд «победил смерть», он давно устал и сам давно хотел уйти в шатры Симовы\*. Там можно спать лучше, чем под тяжестью пирамид, которые фараоны нагромоздили себе руками рабов, истерзанных голодом и плетью. Он отдохнет в этих шатрах, куда не придет угнетатель, и узнает себя снова там, где угнетенный не ищет быть ничьим господином... Он ощутил, что его время пришло!

Перегуд схватил из своих громаднейших литер Глаголь и Добро\* и вспрыгнул с ними на окно, чтобы прислонить их к стеклам... чтобы пошли отраженья овамо и семо\*.

«Страшное великолепие» осветило его буквы и в самом деле что-то отразило на стене, но что это было, того никто не понял, а сам Перегуд упал и не поднимался, ибо он «ушел в шатры Симовы».

Многие из сумасшедших при погребении Перегуда имели на себе чулки его работы, и некоторые при этом плакали, а еще более чувствительные даже пали ниц и при отпевании брыкали обутыми ногами.

#### Примечания

В состав девятого тома вошли основные произведения Н. С. Лескова, написанные в первой половине 1890-х годов (писатель умер в 1895 году). Его творчество этой поры особенно тесно связано с действительностью. Некоторые из произведений написаны по поводу тех или иных поразивших сознание писателя событий («рассказы кстати»), некоторые по своему содержанию и характеру близки к воспоминаниям («Продукт природы», «Юдоль»). Лесков с удовлетворением подчеркивал близость своих произведений к современной общественной жизни. В письме к Л. Толстому от 14 декабря 1893 года он писал: «Я очень люблю эту форму рассказа о том, что «было», приводимое «кстати» (à propos), и не верю, что это вредно и будто бы непристойно, так как трогает людей, которые еще живы. Мною ведь не руководят ни вражда, ни дружба, а я отмечаю такие явления, по которым видно время и веяния жизненных направлений массы» («Письма Толстого и к Толстому»),



М., 1928, стр. 160). Тот или иной факт или событие важны были Лескову в той мере, в какой они позволяли дать типическое изображение существенных явлений из жизни страны и народа.

В «рассказах кстати», как и во всех других своих произведениях, Лесков не ограничивался отбором и описанием типических фактов, хотя он придавал большое значение умению писателя увидеть в жизни эти факты. Творческий замысел «Загона», например, связан с наблюдениями из эстонской жизни 1890-х годов. Лескова поразил «тип» «обрусителя» из солдат, в котором нашли характерное выражение уродливые черты национальной политики реакционного царского правительства. «Есть тут и «тип», — писал Лесков о своих размышлениях и наблюдениях Л. Толстому, — солдат Ефим, из рязанцев, который, по собственным его словам, «пришел сюда к чухнам собственно для обрусительного образования»... Не работает ничего... Лицемерен, нагл и подл... Вот «обруситель», которого лучше и не сочинишь, а он есть в натуре. Не описать ли его? как думаете? Зла ведь от этого не будет, кажется» (там же, стр. 109–110). Но «Загон» неизмеримо шире и богаче по своему содержанию, чем описание типического обрусителя солдата Ефима (Мифима). Положив в основу отдельные наблюдения, Лесков в этом рассказе дает широкие типические обобщения, характеризующие существенные черты жизни буржуазно-дворянской России. Для Лескова «всякая умно наблюденная житейская история» представляет собою необходимый материал для художественного обобщения, для типизации известных явлений. Соотношение факта и вымысла в своих «рассказах кстати» и воспоминаниях Лесков характеризовал в письме В. И. Иванову: «Это все правда, — писал он о «Юдоли», но сшивная, как лоскутное одеяло у орловских мещанок за Ильинкой. Время изображено верно, стало быть и цель художественная выполнена. Лица тут есть и курские и тамбовские. Для моих целей (передать картину нравов) это все равно... Назвать все это воспоминаниями было нужно для того, чтобы показать, что это не вымысел. Это и не вымысел, а свод событий одного времени и одной природы в одну повесть» (письмо частично опубликовано В. Гебель в ее книге «Н. С. Лесков», М., 1945, стр. 90–91).

В своем творчестве Лесков пользовался не только многообразием жизненных фактов, но и устным народным творчеством, и различными книжными источниками, и легендарными сказаниями из «Пролога» и «Патериков». На основе материалов «Пролога» написан включенный в состав тома рассказ «Невинный Пруденций». Свой интерес к сказаниям и житиям писатель объяснял тем, что в них нашла выражение «духовная красота» народа. «Искусство же, — по словам Лескова, — должно и даже обязано сберечь сколь возможно все черты народной красоты» (Н. Лесков. Жития как литературный источник. — «Новое время», 1882, № 2323). «Пролог», как справедливо пишет В. Гебель, привлекал Лескова не своими христианско-моралистическими тенденциями, а прославлением «человеческой любви, радости и красоты жизни» (В. Гебель. Н. С. Лесков, стр. 60–61).

В девятом томе печатаются наиболее значительные из сатирических произведений Лескова: «Загон», «Полунощники», «Зимний день», «Административная грация», «Заячий ремиз». В рассказах 1890-х годов особенно заметно усиление критического начала и обострение антицерковной сатиры. Критика Лескова обращена против представителей царской власти, преследующей передовых общественных деятелей, против провокаций, отвратительных доносов и шпионства, с помощью которых реакционное правительство вело борьбу с лучшими представителями русской демократии. Злой сатирой на духовенство и официальную религию является большая повесть «Полунощники».

Лесков девяностых годов смело и мужественно вмешивался в жизнь, отзывался на важнейшие ее запросы. Как писатель и публицист, он был до конца искренен в выражении своих взглядов.

Убедившись в несправедливости основ правительства и церкви, он выступил на защиту демократических сил, борющихся против социальной неправды.

Произведения, вошедшие в девятый том, печатаются по последнему прижизненному собранию сочинений Лескова (1889–1893). Не вошедшие в Собрание сочинений повести и рассказы печатаются по последним прижизненным публикациям, за исключением «Дамы и фефелы» и «Зимнего дня», которые печатаются по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений. СПб., 1896, т. XII, так как Лесков при подготовке двенадцатого тома сочинений внес в эти произведения значительные поправки.

Произведения, не напечатанные при жизни Лескова («По поводу «Крейцеровой сонаты», «Административная грация», «Заячий ремиз»), печатаются по первым журнальным публикациям. Текст «Заячьего ремиза» сверен с рукописью и освобожден от произвольной правки редактора журнала «Нива».

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том одиннадцатый, СПб., 1893.

Впервые — в «Русском обозрении», 1890, № 11.

Первоначальное заглавие: «Сказка о короле Доброхоте и простоволосой девке». В процессе работы над произведением[75] Лесков менял его наименование. Среди вариантов заглавий встречаются: «Три загадки с разгадкой», «Сказка о хане Доброхоте, трех старцах и простодушной девице», «Разлюляй-гудошник», «Три слова», «Божий дар». Все эти названия отвергнуты автором.

Сказка написана на тему, выдвинутую Л. Толстым. В письме к В. Г. Черткову от 20 июня 1887 года Л. Толстой изложил содержание сказки, в которой царь ставит три вопроса: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех, какое дело дороже всех. Ответ дала простая девица. «Она сказала, — писал Л. Толстой Черткову, — что важнее всех часов теперешний... А нужнее всех тот человек, с которым сейчас имеешь дело... А дороже всех дел то, чтобы сделать этому человеку доброе...» (Л. Толстой, Собрание сочинений, т. 86, 1937, стр. 62–63). Взятый из этого письма набросок сказки был напечатан Чертковым под названием «Мудрая девица» во втором издании сборника «Цветник», Киев, 1888, стр. 159.

Видимо, около этого времени Л. Толстой познакомил с сюжетом сказки Н. С. Лескова и посоветовал ему написать произведение на этот сюжет. В 1903 году в разговоре с А. Б. Гольденвейзером Л.

Толстой вспоминал, что сказку о трех вопросах он задумал давно «и предложил этот сюжет Лескову» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. I, стр. 113). Однако толчком к осуществлению замысла явились рескрипты Вильгельма II, который заигрывал с рабочим классом. «В одной старой книге, — писал Лесков, — есть к этому прибаутка, взятая в сборник Л. Н. Толстым. Из этой темы и затей императора я смазал «Сказку о большом Доброхоте и о простоволосой девке» (письмо к Д. Н. Цертелеву от 20 сентября 1890 г. — наст. изд., т. 11). В произведении Лескова проявилось сильное влияние русского народного творчества (сказок и легенд).

Автор много и настойчиво работал над «Часом воли божией». Работа над сказкой не закончилась и в рукописи, а продолжалась в процессе печатания. «Сегодня отправил вам заказной бандеролью выправленную корректуру, — писал Лесков Д. Н. Цертелеву о «Часе воли божией»... Не вмените в вину. Я никак не могу воздержаться себя от поправок и переделок, пока к тому есть какая-нибудь возможность. А типографский набор почему-то всегда обладает свойством обнаруживать в

произведении погрешности, которые не замечают в рукописи, хотя бы много раз переписанной. Сказка наша теперь, мне кажется, выиграла в своих литературных качествах, и оттиск, который у меня остался теперь, меня уже не удовлетворяет, и я усердно прошу вас прислать мне один оттиск сказки по исправлении присланной мною сегодня корректуры. Это уж не для поправок, а для меня самого» (письмо от 23 октября 1890 г. — наст. изд., т. 11). Автору приходилось преодолевать серьезные цензурные препятствия. Цензура вычеркивала из сказки Лескова наиболее острые места. В сказке Лескова остро сатирически изображен король Доброхот и его приспешники. Она лишена христиански-религиозной морализации и, вероятно, поэтому не удовлетворила Л. Толстого. В дневнике 12 июня 1898 года он писал: «Лесков воспользовался моей темой, и дурно. Чудесная мысль моя была — три вопроса: какое время важнее всего? какой человек? и какое дело? Время — сейчас, сию минуту; человек тот, с которым сейчас имеешь дело, и дело то, чтобы спасти свою душу, то есть делать дело любви» (Л. Толстой. Собрание сочинений, юбилейное издание, т. 53, 1953, стр. 198–199). В 1903 году на эту тему Л. Толстой написал новую сказку — «Три вопроса» (Л. Толстой. Собрание сочинений, т. 34, 1952, стр. 134–137).

В критике 1890-х годов произведение Лескова оценивалось также очень сдержанно. Не осведомленный в цензурной истории сказки Лескова В. А. Гольцев писал в «Русской мысли»: «Ее односторонность... очевидна, и я не понимаю, как может впасть в такую односторонность писатель, призывающий на борьбу с общественным злом, — ведь это зло надо определить, отличить от добра, ведь для этого надо иметь сознание того, какие общественные порядки хороши, какие плохи и вредны» («Русская мысль», 1894, № 12, стр. 194).

Вскоре после выхода сказки «Час воли божией» Лесков предложил «Русской мысли» напечатать такие произведения («Нашествие варваров», «Заячий ремиз» и др.), в которых общественное зло было определено с полной четкостью, и редактор «Русской мысли» В. А. Гольцев трусливо отказался их печатать (об этом см. в примечаниях к «Заячьему ремизу»).

Печатается по тексту журнала «Нива», 1899, № 30, стр. 657–564, где рассказ был напечатан под названием «Рассказы кстати» («По поводу «Крейцеровой сонаты»). Посмертный очерк Н. С. Лескова».

Написано в 1890 году (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 489). По свидетельству А. Лескова, рассказ имел другое название — «Дама с похорон Достоевского», видимо отброшенное автором (там же, стр. 371).

Рассказ Лескова, как свидетельствует его название, связан с повестью Л. Толстого «Крейцера соната», над которой автор работал в 1887–1889 годах. После неоднократных цензурных запретов «Крейцера соната» была напечатана в 1891 году. Но еще до окончательной обработки повесть разошлась во множестве литографированных и гектографированных списков. На эти списки довольно широко отозвалась периодическая пресса, как русская, так и заграничная. Появилось также несколько беллетристических произведений, большинство которых полемизировало с основной идеей повести Л. Толстого. Наиболее значительным среди них был рассказ Лескова «По поводу «Крейцеровой сонаты». Лесков познакомился с произведением Л. Толстого по литографическому списку предпоследней редакции.

Эпиграф к рассказу Лескова является слегка перефразированной цитатой из этой редакции. В главе XVII Позднышев говорил, что его жена, выходя замуж, была несравненно выше его, как всегда

всякая девушка несравненно выше мужчины, потому что несравненно чище его, и что, наконец, «девушка, становясь женщиной, продолжает быть выше мужчины в нашем быту» (Комментарии Н. К. Гудзия к 27-му тому Собрания сочинений Л. Толстого, юбилейное издание, стр. 586).

Эти слова Позднышева отсутствуют в последней редакции «Крейцеровой сонаты», отсутствует в ней и сочувственная оценка женщины в сравнении с мужчиной, «между тем, — как справедливо пишет Н. К. Гудзий, — то и другое определило собой весь тон лесковского рассказа» (там же, стр. 589).

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том одиннадцатый, СПб., 1893.

Впервые — в газете «Родина», 1891, №№ 1–6, перепечатан отдельной книгой в издании «Посредник», М., 1892. В издании 1893 года подзаголовок «сказание» Лесков изменил на «легенда». При подготовке к этому изданию писатель внес в текст многочисленные поправки. В основу рассказа положен материал, заимствованный из «Пролога», но Лесков существенно изменил этот материал. В «Прологе» говорится, как купец собирался жениться на вдове. Вдова приказала ему ничего не есть, пока она не позовет его к себе. Когда на четвертый день пришли за купцом, он уже не мог двигаться от голода. По предложению вдовы — выбрать трапезу или постель, купец выбирает трапезу.

Уверовав в мудрость вдовы, он раздал бедным свое имущество и ушел в монастырь. Служению богу в женском монастыре посвятила и вдова остаток своей жизни.

Лесков же говорит не столько о служении богу, сколько развивает высокую идею служения людям, и в то же время поэтизирует земную любовь. Писатель вскоре разочаровался в этом произведении, где христианская мораль вступала в противоречие с утверждением земной жизни, ее радостей и забот.

На противоречивость «Невинного Пруденция» справедливо указал критик «Северного вестника»: «В заключение Пруденций читает следующую мораль, которой он в своей невинности никогда сам не следовал: «Надо считать дух, а не плоть владыкою жизни и жить не для тех чувств, которые научают нас особиться от прочих людей» («Северный вестник», 1893, № 3, «Новые книги», стр. 64–65).

Включив легенду в одиннадцатый том Собрания своих сочинений, Лесков писал М. О. Меньшикову: «... в этом томе есть гадостный «Пруденций», поставленный потому, что другое, несколько лучшее, касается духовенства, а мне уже надоело быть конфискуемым» (письмо частично опубликовано А. Лесковым в книге «Жизнь Николая Лескова», стр. 470). Еще раньше, едва успев впервые напечатать «Невинного Пруденция», Лесков писал Л. Толстому: «А легенды мне ужасно надоели и опротивели» («Письма Толстого и к Толстому», стр. 95).

Реакционная богословская критика упрекала Лескова за изменение содержания и направления «слова от Патерика», которое, по словам Григория Георгиевского, Лесков «передал неверно, придав рассказу свою собственную тенденцию и отбросив из него все, что говорит или напоминает о церкви и ее исконных установлениях и порядках» («Русское обозрение», 1892, № 10, стр. 953). «Слово от «Патерика», — продолжал обиженный критик, — из благочестивого и строго церковного «слова» превратилось в тенденциозный набор пустых фраз грубого материализма» (там же, стр. 957). Лесков, конечно, вовсе не думал о поддержке ортодоксальной церкви, о чем заботился ученый богослов.

После ареста и уничтожения шестого тома Собрания сочинений Лесков не мог спокойно говорить о церковниках и резко отрицательно оценивал те книги, которыми дорожил Георгиевский. «Пролог — хлам, — писал Лесков, — но в этом хламе есть картины, которых не выдумаешь» (Письмо А. С. Суворину от 26 декабря 1887. В отрывках опубликовано В. Гебель в ее книге «Н. С. Лесков», стр. 61). На обвинения в искажении «Пролога» Лесков отвечал: «Тема как тема, а я могу из нее делать,

что нахожу возможным. Иначе на что бы ее и переделывать, а надо бы брать ее просто и перепечатывать... И вышло бы просто и глупо, как сам «Пролог» (Письмо к А. С. Суворину от 9 ноября 1892 года — см. наст. изд., т. 11).

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том одиннадцатый, СПб., 1893.

Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1891, кн. 11, 12.

Повесть была завершена осенью 1890 года. В письме к Д. Н. Цертелеву от 23 октября 1890 года Лесков сообщал: «Моя готовая повесть называется «Полунощники» и имеет около 8 листов». Но у автора возникали трудности с ее публикацией. Нелегко было найти журнал, который принял бы к печати это остросатирическое, антицерковное произведение. 14 октября 1890 года Лесков сетовал в письме к Д. Н. Цертелеву, что «Русская мысль» побоялась «Полунощников», «Горы» и «Часа воли божией». «Повесть свою буду держать в столе, — писал он Л. Толстому 8 января 1891 года. — Ее по нынешним временам никто и печатать не станет» («Письма Толстого и к Толстому», стр. 84).

«Полунощники», как и большинство произведений Лескова, строятся на материале, хорошо известном писателю. А. Л. Волинский в книге «Н. С. Лесков» (СПб., 1923) сообщал, что автор «Полунощников» посещал Кронштадт и ту «ажидацию», где собирались верующие в чудеса Ивана Кронштадтского.

Иоанн Кронштадтский — Иван Ильич Сергиев (1829–1908), протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, пользовался огромной популярностью в разнообразных слоях общества как проповедник и якобы чудотворец. Проповеди и «чудеса» Иоанна Кронштадтского были источником огромных доходов как для него самого, так и для его клики. В изображении «толпучки» вокруг кронштадтского протопопа Лесков близок к реальным фактам. Материалы из кронштадтского быта, близкие фактической стороной к «Полунощникам», появлялись во многих газетах 1880-х годов. Вот как, например, об этом писала «Неделя»: «В центральной части города раз или два в день образуются огромные скопища... Из какого-нибудь дома или собора показывается священник, известный отец Иоанн. Он окружен толпою и еле движется... Его буквально рвут на части, и огромных усилий ему стоит сесть на извозчика, за которым бежит толпа без шапок» («Неделя», 1885, № 9, стр. 348).

Популярность Ивана Кронштадтского усиливалась и поддерживалась прессой, в том числе и некоторыми из широко распространенных газет и журналов той поры. Среди рукописей Лескова сохранилась небольшая, но весьма «язвительная» запись под названием «Протопоп Иван Сергиев (Кронштадтский) в трех редакциях». Запись эта характеризует как отношения к Ивану Кронштадтскому со стороны известных тогда журналов, так и резко критическое отношение Лескова к всероссийскому мракобесу из Кронштадта. Приведем этот любопытный документ: «В соответствие тому, что описано Хилковым о посещении кронштадтским протопопом Иваном Сергиевым с. Николаевки под г. Сумами записываю на память следующие события, известные в современных петербургских литературных кругах.

В 1890 году пожелали пригласить для молебствия протопопа Сергиева три редакции: редакция иллюстрированного журнала «Нива», Маркса (бывшего приказчика Вольфа), редакция «Нового времени» (А. С. Суворина) и редакция детского журнала «Игрушечка», основанная Татьяною П. Пассек и ныне продолжаемая г-жою Тюфяевою (псевдоним «Якоби», «Толиверова» и еще что-то).[76] Маркс и Суворин — люди богатые, а Тюфяева живет, перебиваясь с нуждою, очень часто занимает и, может быть, не всегда может отдать, когда обещается. Положение изданий Маркса и

Суворина (в денежном отношении) цветущее, а положение Тюфяевой бедственное и нищенское. Все три редакции послали протопопу Сергиеву приглашение прибыть к ним на молитву, но протопоп прибыл только к Марксу и к Суворину, где и молебствовал, а к Тюфяевой в ее бедную редакцию не приехал и тем самым эту даму огорчил, и она это сносила со скорбью, но не потеряла душевной бодрости и, подвигшись инуде, добыла себе в истекающем ноябре м<есяце> 1890, благословение св. синода и допущение «Игрушечки» в подведомственные синоду школы.

Так ныне появилось смущение: прозорлив поп Сергиев или нет? Судя по тому, что «Нива» и «Новое время» могли заплатить, а «Игрушечка» в долг попросить, — протопоп казался как бы прозорливым; но как «Игрушечка» обошлась без него и благословение синода получила, то прозорливость его как бы уменьшается» (Центральный государственный архив литературы и искусства. Ф. 275, оп. 1, ед. хр. 79).

Резко отрицательное отношение к кронштадтскому попу проявляется в переписке Лескова, в частности в письмах к Л. Толстому. «На сих днях он (речь идет об Иоанне Кронштадтском. — А. Г.) исцелял мою знакомую, молодую даму Жукову и живущего надо мною попа: оба умерли, и он их не хоронил, — сообщал Лесков Л. Толстому. — На днях моряки с ним открыли читальню, из которой, по его требованию, исключены Ваши сочинения. На что он был нужен гг. морякам? «Кое им общение?» «Свиньем прут» все в одно болото» («Письма Толстого и к Толстому», стр. 84–85).

В письме к Б. М. Бубнову Лесков указал, что прототипом Клавдиньки явилась племянница Саввы Морозова, красавица «с 5–7 миллионами состояния». «Я с нее кое-что зачертил в «Полуношниках» («Вестник Европы», ноябрь), — писал Лесков Б. М. Бубнову, — но в ней неиссякаемый клад для восторгов поэта. Она на днях приезжала сюда просить, чтобы ей позволили раздать миллионы голодным, но непосредственно — без попов и чиновников. Говорят, будто ей отказали» («Шестидесятые годы», изд. АН СССР, М. — Л., 1940, стр. 368).

Повесть получила сочувственную оценку в журналах «Русская мысль» и «Северный вестник». Критик «Русской мысли» отметил высокую правдивость повести, граничащую с точностью документа: «... в «наше просвещенное время» все это проделывается именно так, как описано Лесковым в его «Полуношниках», причем вокруг описанной автором «Ажидации» разыгрываются весьма позорные комедии и кишат самые низменные страсти» («Русская мысль», 1893, № 7, Библиографический отдел, стр. 301). Критик «Северного вестника» А. Волынский посвятил большой раздел своей статьи «Литературные заметки» Лескову и его повести «Полуношники». Волынский дал весьма высокую оценку художественному таланту Лескова: «В современной текущей литературе г. Лесков (если не считать Толстого) в отношении художественном едва ли не самая крупная величина» («Северный вестник», 1892, № 1, стр. 173). И соответственно «Полуношников» он характеризует как «превосходный, чрезвычайно оригинальный рассказ» (там же, стр. 170), в котором писателю удалось дать «выпуклые образы» и добиться «отчетливости рисунка». Повесть «Полуношники» дает возможность критику сказать о Лескове как о превосходном знатоке темных сторон быта.

Но все без исключения критики неодобительно отозвались о языке «Полуношников». Даже А. Волынский при общей высоко положительной оценке Лескова и его повести нашел необходимым указать на «чрезмерную деланность языка» «Полуношников». О «чрезмерном обилии придуманных и исковерканных слов, местами нанизанных в одну фразу» говорит критик «Русской мысли».

Отрицательно отозвался о языке повести журнал «Русское богатство». В январской книжке 1892 года в статье А. А. Слепцова говорилось, что «невероятно причудливый, исковерканный язык... претит читателю» («Литература 1891 года». — «Русское богатство», 1892, № 1, стр. 115). Впоследствии об искусственности языка персонажей Лескова писал Н. К. Михайловский («Русское богатство», 1897, № 6, стр. 99) и даже весьма расположенный к Лескову Л. Толстой отмечал у него «exuberance (изобилие, избыток. — А. Г.)...характерных выражений», хотя и не относил это к недостаткам таланта художника.

«Меня упрекают за этот «манерный» язык, особенно в «Полунощниках», — писал Лесков. — Да разве у нас мало манерных людей? Вся quasi-ученая литература пишет свои ученые статьи этим варварским языком... Что же удивительного, что на нем разговаривает у меня какая-то мещанка в «Полунощниках»? У нее, по крайней мере, язык веселей, смешней» («Русские писатели о литературе», Л., 1939, т. II, стр. 309–310; см. также: А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 627). Сам Лесков считал индивидуализацию языка действующих лиц обязательным условием художественного творчества и убежденно доказывал, что речь того или иного человека является одним из существенных признаков его положения, степени развития его ума, выражением особенностей его характера.

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том одиннадцатый, СПб., 1893, с исправлением опечаток по журнальной публикации.

Впервые напечатаны: «Юдоль» — «Книжки «Недели», 1892, № 6; «О «квакереях» (post-scriptum к «Юдоли») — «Книжки «Недели», 1892, № 10. В журнальной публикации «Юдоль» имела подзаголовок «Из исторических воспоминаний». В Собрании сочинений этот подзаголовок снят. При подготовке к изданию 1893 года (XI том Собрания сочинений) в текст «Юдоли» внесено значительное число поправок и вставлены некоторые новые эпизоды. Так, например, в журнальном тексте не было эпизода с бабой-дулебой, которая, разлетевшись по мокрому церковному полу, «наполовину просунулась в алтарь».

Работа над «Юдолью» продолжалась и в процессе печатания одиннадцатого тома. Когда по типографским соображениям уже было неудобно менять текст, Лесков дал два больших примечания к рассказу, о чем говорится в его неопубликованном письме к В. В. Тимофеевой от 6 апреля 1893 года. В этом письме Лесков просит В. В. Тимофееву устроить, «чтобы два прилагаемых листочка были помещены в виде подстрочных примечаний в рассказе «Юдоль». Листок лит<ер> А, — пишет Лесков, — надо вставить в том месте, где поп говорит с Кромсаем о псаломщике Павлуше, которого Кромсай пропил (в конце XIII гл.);[77] а листок лит<ер> Б — относится к новой вставке о бабе... которая во время голода «гуляла», а потом служила в земской больнице и говорила, что она «души не погубила» (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР, ф. 425, № 63).

Некоторые из читателей поставили под сомнение возможность появления квакерш в России 1840-х годов. Лесков ответил сомневающимся своеобразной исторической справкой «О квакереях». По выходе одиннадцатого тома, где были перепечатаны «Юдоль» и «О квакереях», рецензент «Русской мысли» подтвердил точность материалов Лескова о квакершах и времени их появления в России. Во второй части рассказа (образы тети Полли и квакерши Гильдегарды) сказилось увлечение проповедью Л. Толстого, свойственное Лескову в начале 1890-х годов, и рассказ в этой части получил тенденциозный характер. Художественную правдивость образов «полуапокрифичной тети

Полли» и еще «менее достоверной англичанки Гильдегарды» подвергает сомнению А. Лесков.[78] Большое общественное значение имеет первая часть «Юдоли», где показаны страдания народа от голода, страшная сила суеверий и «беззлобная жестокость» доведенных до отчаяния голодом крестьян. Изображение деревенской темноты и связанных с нею преступлений (убийство Кожиена) способствовало разоблачению либерально-народнических воззрений на деревенскую жизнь. Эту свою сторону «Юдоль» примыкает к группе антинароднических повестей и рассказов (повести А. П. Чехова «Новая дача», «Мужики», «В овраге», рассказы Д. Н. Мамина-Сибиряка «Летные», «Отрава» и др.).

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, том одиннадцатый, СПб., 1893, с исправлением опечаток и погрешностей текста по журнальной публикации.

Впервые напечатано в журнале «Книжки «Недели», 1892, декабрь. Текст, напечатанный в одиннадцатом томе, существенно отличается от журнальной редакции. В процессе подготовки рассказа к Собранию сочинений Лесков провел значительную стилистическую правку.

Рассказ написан осенью 1892 года. Основу его составили впечатления от холерной эпидемии, широко распространившейся летом 1892 года. Фактическая точность рассказа была подтверждена авторами критических отзывов. По поводу «Импровизаторов» критик «Русской мысли» писал: «В картинке с натуры «Импровизаторы» автор передает виденное и слышанное им во время прошлогодней холерной эпидемии... Автор в живом, мастерском рассказе передает, как складывались и развивались среди низших классов верования в то, что «в Петербурге уже народ отравляют» («Русская мысль», 1893, № 7, стр. 300).

Печатается по сборнику «В путь-дорогу», 1893.

Рассказ написан в 1893 году, напечатан в названном выше сборнике в пользу переселенцев и при жизни писателя не перепечатывался. Рассказ «Продукт природы» был вызван вниманием прогрессивной прессы к бедственному положению крестьян-переселенцев; ближайшим поводом для написания рассказа было заседание Петербургского общества для вспомоществования переселенцам 14 марта 1893 года. «Продукт природы» — один из самых значительных рассказов Лескова о жизни русского крестьянства. Горячо сочувствуя народному горю, автор осуждал те нечеловеческие условия, в каких происходило переселение широких масс крестьянства в дореформенное время. Опубликование рассказа в специальном сборнике, посвященном крестьянам-переселенцам, было свидетельством того, что автор осуждал не только прошлое, но и современное неустройство переселенческих дел.

Критика, как и во многих других случаях, ограничилась лишь подтверждением правдивости рассказа и самым общим суждением о силе его эмоционального воздействия на читателя. В рецензии на сборник «В путь-дорогу» критик «Русской мысли» писал: «Очень яркую картину переселений в «доброе старое время» дает Лесков в рассказе «Продукт природы»... Г-н Лесков описывает очень просто лишь то, чему был свидетелем тридцать пять лет назад, и от этого простого повествования жутко становится» («Русская мысль», 1893, август, Библиографический отдел, стр. 354).

Печатается по тексту журнала «Книжки «Недели», 1893, кн. XI, где «Загон» был впервые опубликован с подзаголовком «Рассказы кстати. А прогос». При жизни автора не перепечатывался. Замысел «Загона» возник летом 1891 года, о чем Лесков сообщал в письме к Л. Толстому от 20 июня этого года (см. выше, стр. 595 данного тома). Вначале замысел рассказа был связан по преимуществу



с одним из типов «обрусителей», которого Лесков наблюдал на даче в Меррекуле. Ввиду того, что рассказ по замыслу был сатирический, Лесков сомневался, нужно ли работать над осуществлением возникшего замысла, не принесет ли рассказ зло вместо пользы. «Вот «обруситель», которого лучше и не сочинишь, а он есть в натуре. Не описать ли его? Как думаете? Зла ведь от этого не будет, кажется» («Письма Толстого и к Толстому», стр. 109, 110).

В октябре 1892 года Лесков сообщал Л. Толстому о работе над «Загоном», но на этот раз связывал его содержание со статьей М. О. Меньшикова: «Написал я всего листка два-три иллюстраций к превосходной статье Меньшикова «о китайской стене». Статья называется «Загон»... Там все картины, что было в «Загоне» «у своего корыта», когда мы особились и что опять заводится теперь» («Письма Толстого и к Толстому», стр. 145). К концу октября 1893 года рассказ был закончен и сдан в журнал «Книжки «Недели», но и автор и редакция журнала беспокоились за его судьбу, опасаясь гонений со стороны цензуры: «Я написал нечто для «Недели», и это уже набрано, но как-то пугает всех, и потому не знаю: выйдет это или нет. Называется это «Загон». По существу это есть обозрение. Списано все с натуры... Не в том дело, мастеровито ли это, а в том, есть ли сие на потребу дня сего» (там же, стр. 157).

Критика не отозвалась на первую публикацию этого рассказа, но он получил весьма сочувственную оценку Л. Толстого. «Мне понравилось, и особенно то, что все это правда, не вымысел, — писал Л. Толстой Лескову 10 декабря 1893 года. — Можно сделать правду столько же, даже более занимательной, чем вымысел, и вы это прекрасно умеете делать.

Что же вам говорили, что не следует говорить? Нечто то, что вы не восхваляете старину. Но это напрасно. Хороша старина, но еще лучше свобода» (Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 66, М., 1953, стр. 445).

Печатается по тексту альманаха «Год XVII», М., 1934, где рассказ был опубликован впервые. При жизни писателя не печатался. По свидетельству А. Лескова, рассказ был написан «во второй половине 1893 года» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 442). Как и многие другие произведения Лескова, «Административная грация» строится на основе фактов современной писателю действительности. «Помянулось здесь, — пишет А. Лесков, — как «рукою властною» современный просветитель России Делянов изверг из Московского университета профессора Муромцева и Ковалевского, и сопоставилось это, с каким безупречным макиавеллизмом был «убран» один неприятный властям профессор Харьковского университета И. И. Дитятин, при графе Дмитрие Андреевиче Толстом» (там же).

«Административная грация» — одно из самых острых произведений в русской литературе, направленных против доносов и провокаций царской жандармерии в ее борьбе с прогрессивной частью русского общества.

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том двенадцатый, СПб., 1896.

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1894, № 9. При жизни писателя не перепечатывался. При подготовке двенадцатого тома Собрания сочинений Лесков существенно изменил текст рассказа, включив в него значительные добавления различного объема: от нескольких слов до одной-полутора страниц. Это заставило нас отойти от общего правила (воспроизведение текста последнего прижизненного издания) и печатать «Зимний день» по двенадцатому тому Собрания сочинений, хотя этот том вышел в 1896 году, то есть после смерти писателя.

Сомнения в выборе текста окончательно разрешил журнальный оттиск рассказа «Зимний день», на котором рукою Н. С. Лескова написано: «С этого не набирать — потребовать экземпляр с добавками».[79]

Замысел рассказа оформлялся под влиянием глубокого недовольства Лескова жизнью господствующих классов, особенно дворянства. Непосредственным толчком к написанию рассказа явилась афера, связанная с подделкой завещания миллионера В. И. Грибанова (об этом см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 562–563). Во главе аферистов стоял граф А. В. Соллогуб — сын некогда известного писателя, автора «Тарантаса». Участниками были С. А. Школини, присяжный поверенный В. В. Фишер и др. Громкое в свое время дело с подделкой завещания Грибанова явилось одним из ярких подтверждений разложения дворянского общества.

В рассказе «Зимний день» значительное место занимает характеристика толстовства. В конце 1880-х годов Лесков, по его словам, «совпал» с Толстым, «бросил свою плошку и пошел за его фонарем» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 605). В письме к В. Г. Черткову от 4 ноября 1887 года он писал: «О Льве Николаевиче мне все дорого и все несказанно интересно. Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума. Где есть у него слабости, там я вижу его человеческое несовершенство и удивляюсь, как он редко ошибается, и то не в главном, а в практических применениях, что всегда изменчиво и зависит от случайностей» (там же, стр. 600).

Но с течением времени то, чего Лесков не мог разделять в учении Л. Толстого, усиливалось, критика толстовства в частной переписке становилась все сильнее и, наконец, проявилась в художественном творчестве. В «Зимнем дне», сохраняя уважение к Л. Толстому, Лесков резко осуждает толстовцев. Уже в пору создания «Зимнего дня» он писал В. Микулич (Веселитской): «То, что вы пишете о толстовцах, очень интересно. Я тоже не спускаю их с глаз и думаю, что ими можно уже заниматься, но непременно с полным отделением их от того, кто дал им имя или кличку» (В. Микулич. «Встречи с писателями», стр. 199. Письмо Н. С. Лескова от 6 апреля 1894 года). В одной из бесед с В. Микулич Лесков твердо заявил, что со смертью Толстого «все это, вся игра в толстовство кончится, да так кончится, что и вспоминать об этом никто не будет» (там же, стр. 205).

Героиня рассказа «Зимний день» Лидия говорит о толстовцах, что они «с воробыный нос дела не делают», что «с ними делать нечего». Порицание толстовцев и резкое осуждение дворянского растления в «Зимнем дне», естественно, не могло встретить сочувствия среди людей, окружающих Толстого. В дневнике С. А. Толстой за 21 сентября 1894 года записано: «...рассказ Лескова «Зимний день» ужасная гадость во всех отношениях. Я и прежде не любила Лескова, а теперь еще противнее он мне стал...»

Реакционная и либеральная критика в один голос осуждала писателя за сгущение красок в изображении дворянской жизни в «Зимнем дне», за нарушение пропорций, за то, что Лесков якобы злоупотребил черными красками. Раньше других, еще до напечатания рассказа, его осудил один из столпов русского либерализма М. М. Стасюлевич. Он не только не согласился с изображением в нем старого общества, но и не решился напечатать рассказ в «Вестнике Европы», опасаясь цензурных репрессий: «...конечно, — писал он Лескову, — процесс графа Соллогуба придает много вероятия тому, что творится и говорится в вашем «Зимнем дне»; но у вас все это до такой степени

сконцентрировано, что бросается в голову. Это — отрывок из «Содома и Гоморры», и я не дерзаю выступить с таким отрывком на божий свет» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 563). По выходе рассказа из печати критика или молчала о нем, или прибегала к тем избитым, штампованным, но удобным по безответственности фразам об излишней концентрированности в нем темных сторон, о нарушении пропорции, о злоупотреблении черными красками, то есть говорила то, о чем один из первых сказал Стасюлевич. В «преднамеренном сгущении красок» в картинах жизни старого общества упрекал Лескова критик «Книжек «Недели» («Книжки «Недели», 1894, октябрь. Литературная летопись, стр. 250–253).

Но именно те качества, которые отвергала и порицала в рассказе благонамеренная критика, ценил сам Лесков. «Зимний день» мне самому нравится, — говорил он. — Это просто дерзость — написать так его... «Содом», говорят о нем. Правильно. Каково общество, таков и «Зимний день» (А. Фаресов. Парадоксы Н. С. Лескова. — «Слово», 1905, приложение к № 147, 11 мая). На сатирическую литературу и свои сатирические рассказы 1890-х годов Лесков смотрел как на неподкупное обвинение социальной неправды, обмана, лжи и насилия. И естественно, что писатель, формулирующий хотя и правдивый, но строгий приговор, не может и не должен рассчитывать на то, чтобы понравиться обвиняемому. «Мои последние произведения о русском обществе весьма жестоки, — говорил он, — «Загон», «Зимний день», «Дама и фефела»... Эти вещи не нравятся публике за цинизм и прямоту. Да я и не хочу нравиться публике. Пусть она хоть давится моими рассказами, да читает. Я знаю, чем понравиться ей, но я больше не хочу нравиться. Я хочу бичевать ее и мучить. Роман становится обвинительным актом над жизнью» (А. Фаресов. Против течений, стр. 382). И хотя эти слова даны в передаче другого лица и могут не полностью принадлежать Лескову, но их характер и общая мысль вполне соответствуют содержанию таких его произведений, как «Зимний день», «Загон», «Административная грация», «Заячий ремиз».

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том двенадцатый, СПб., 1896.

Впервые — с подзаголовком: «Рассказы кстати. Из литературных воспоминаний» — напечатан в журнале «Русская мысль», 1894, № 12. При жизни писателя не перепечатывался. При подготовке двенадцатого тома Собрания сочинений рассказ дополнен рядом сцен и эпизодов (том напечатан после смерти писателя).

Произведение построено как достоверный рассказ-воспоминание из жизни литературного собрата. Но, по словам А. Лескова, «Дама и фефела» — это художественное произведение «всего менее мемуарного» характера.

Печатается по тексту журнала «Нива», 1917 год, № 34–37 (16 сентября), стр. 518–545, с исправлением погрешностей текста по авторизованной рукописи, которая хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ). Эта рукопись представляет собою писарскую копию с значительной авторской правкой и с многими вновь написанными эпизодами. Здесь впервые появился образ Вековечкина и все связанные с ним ситуации. На первом листе рукописи зачеркнутое название «Игра с болваном». Над зачеркнутым рукою Лескова написано: «Заячий ремиз. Наблюдения, опыты и приключения Оноприя Перегуда из Перегудов». В конце рукописи, после авторской подписи, идут зачеркнутые автором слова: «Наибольшую выгоду от всего бытия и трудов Перегуда на земле извлекает и еще долго будет извлекать церковный причет на кладбище, где погребены бранные останки Оноприя. Над ним насыпан отдельный холм, в котором

проткнута посредством шеста дыра, достигающая до гроба. В эту дыру...» (на этом рукопись обрывается).

Писарская копия этой рукописи хранится в отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. С этой копии производился набор повести для журнала «Нива». Рукопись содержит типографские пометки и редакторскую правку, снятую в настоящем издании.

Произведение закончено Лесковым в ноябре-декабре 1894 года (С. Н. Шестериков, К библиографии сочинений Н. С. Лескова. — «Известия русского языка и словесности». 1926, т. XXX; см. также письмо Лескова В. А. Гольцеву от 16 ноября 1894 года — «Памяти В. А. Гольцева», М., 1916, стр. 253), но не было опубликовано по цензурным причинам. «Написал он его любовно, с огромным захватом, с великолепной своею сочностью, — сообщал А. Измайлов, — и понес и туда и сюда и везде встретил отказ. Невозможной казалась повесть по тогдашним временам» (А. Измайлов. «Нива», 1917, № 41–43, обложка).

Лесков долго не мог окончательно остановиться на заглавии произведения, заботясь о том, чтобы оно «было смиреннее и непонятнее». «Рукопись была готова, а я все не лажу с заглавием, которое мне кажется то резким, то как будто мало понятным, — писал Лесков Стасюлевичу. — Однако пусть побудет то, которое я теперь поставил: то есть «Заячий ремиз», то есть юродство, в которое садятся зайцы, им же бе камень прибежище» (Письмо М. М. Стасюлевичу от 8 января 1895 года. — «Шестидесятые годы», М.—Л., 1940, стр. 356).

Лесков был очень озабочен судьбой повести. В письме от 16 ноября 1894 года он предложил ее журналу «Русская мысль», напечатавшему «Зимний день», доказывая, что «Заячий ремиз» в цензурном отношении безопаснее «Зимнего дня». «В повести есть «деликатная материя», но все, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший. В общем, это легче «Зимнего дня», который не дает отдыха и покоя» («Памяти В. А. Гольцева». М., 1916, стр. 253). Но у либеральной «Русской мысли» не достало смелости напечатать повесть Лескова. Решительный отказ редакции напечатать эту повесть содержало письмо В. М. Лаврова от 13 декабря 1894 года. «Рукопись Вашу, — писал В. М. Лавров, — мы с Виктором Александровичем (Гольцевым. — А. Г.) прочли и решили, что в настоящее время печатать ее положительно невозможно. Именно по поводу тех вопросов, которых Вы касаетесь, цензура освирепееет и на нас и на Вас. Это очень грустно, но мы надеемся, что Вы не поставите нам в вину то, что всецело нужно отнести за счет теперешних порядков. Рукопись, хотя и скрепя сердце, возвращаем» (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). Получив отказ «Русской мысли», Лесков обратился с предложением к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу, также пытаясь доказать, что все нецензурное в этой повести тщательно замаскировано. «Писана эта штука, — сообщал Лесков Стасюлевичу, — манерою капризною, вроде повествования Гофмана или Стерна, с отступлениями и рикошетами. Сцена перенесена в Малороссию, для того что там особенно много было шутовства с «ловитвою потрясывателей», або тыіх, що троны шатають», и с малороссийским юмором дело идет как будто глаже и невиннее» (Письмо М. М. Стасюлевичу от 8 января 1895 года. — «Шестидесятые годы», М.—Л., 1940, стр. 356). Но Стасюлевич, так же как и редакция «Русской мысли», нашел повесть опасною и отказался ее напечатать. В письме к Лескову он писал: «Опять я с немалым удовольствием прочел Ваш «Заячий ремиз», но никак не могу рискнуть, чтобы поделиться этим удовольствием с другими: можно очень самому обремизиться и

остаться, как говорят специалисты, без трех, а не то и без пяти в червях. Можно подвергнуться участи «разгневанного налима», с тою только разницею, что никто Вас не украдет, и непременно попадете в архиерейскую уху, ради которой, кстати сказать, все наши редакторы, если они не раки, опущены на веревочке в пруд, называемый в просторечии печатью» (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Ф. 360, оп. 2, ед. хр. 24).

С горькой иронией и плохо скрытой обидой Лесков ответил Стасюлевичу: «Есть поговорка: «пьян или не пьян, а если говорят, что пьян, то лучше спать ложись». Так и я сделаю: «веселую повесть» я не почитаю за такую опасную, но положу ее спать... я вам верю, что поводы опасаться есть, и, конечно, я нимало на вас не претендую и очень чувствую, как вы хотели «позолотить пиллюлю». Подождем. Возможно, что погода помягчает».

Повесть «проспала» свыше двадцати лет и была напечатана лишь в 1917 году.

#### Примечания

1

Слово «Ажидация» здесь употребляется в двух смыслах: а) как название учреждения, где «ожидают», и б) как самое действие ожидания. В одном случае оно пишется с прописной буквы, а в другом — со строчной. (Прим. автора.)

2

Еще! (франц.).

3

Репутация (франц.).

4

Чтобы иметь ясное понятие, как относился к этому «мир», стоит припомнить, как относились к своему «стоянию» те, кто претерпел его ближайшим и непосредственным образом. Когда я посетил родные места года через три после благословенного дня «освобождения», мне привелось посетить с одним из мировых посредников прекрасную сельскую больницу, в которой «по усердию» трудилась в черных работах пожилая женщина очень крупного роста, по имени Стеха. Она же ходила и на деревню «обмывать мертвых», тоже не по нужде и не за плату, а «по усердию». Ей было уже лет за пятьдесят, и она была сильна, велика и смахивала немножко на мужика. У нее на деревне было свое хозяйство — двор, скотина, земля, дети и внуки, и даже, кажется, правнуки. Пользовалась она у всех почетом, — говорили о ней: «Стеха души не убьет, — Стеха не соврет, — Стеха справедливая». И все знали, что она «угождает больным» и «покойников убирает только для господ, а ее душа чиста, как стакан светится». А эта самая Стеха, — несомненно имевшая все те добрые качества, которые ей приписывали, — рассказывала мне о голодном годе при своей пожилой уже дочери и при взрослой девушке и внучке, «ничего не прибавляючи и не отбавляючи», и в этом рассказе прямо о всех своих сверстницах о себеговорила: «всех нас, милый, восемь бабенков молоденьких было, и всех нас кошкодралы у колодца уговорили: «Поедемте, говорят, мы вас в Орел свезем, там у колодцев лучше здешнего». Мы все, дуры, и поверили и пошли, а хорошего только и было, что прокормилися; ну да ведь тогда большего-то грех было и спрашивать». О нравственной стороне «инцидента» Стеха будто вовсе не думала, а когда я наклонил вопрос в эту сторону и побудил ее выразить свое мнение, — она покопала веретеном под головную повязкою и сказала: «Что говорить-то! Ведь голодная смерть страшней сраму... Все же лучше было шкуру свою продать, чем душу». А уж что она разумела под

продажей души — этого я не знаю. О достоинстве взглядов этой женщины я вообще не могу и не хочу судить, потому что боюсь, как бы не согрешить перед Стехой и другими ей подобными грешницами более тяжело, чем весят все их согрешения перед «могущим спасти всех» (Иак. IV). (Прим. автора.)

5

Наемный заместитель рекрута, которому следовало идти в службу по очереди или по жеребью, почитался в народе за человека не только «пропащего», но и презренного: о наемщике никогда не говорили с жалостью, а всегда, как о палаче, говорили с омерзением, и от солдат ему не было иной клички, как «продажная шкура». Иметь общение с наемщиком считалось так же противно, как иметь общение с палачом, которому, по мнению простолюдинов, будто даже «не дают причастия». А как таково было всеобщее презрительное отношение к этим людям, то, разумеется, об этом знали и сами те, кто нанимался в солдаты, и потому, за весьма редкими исключениями, это были «люди отчаянные» — зашалившиеся, загулявшие, сбившиеся с пути или чем-нибудь особенно несчастные, по какому-нибудь роковому стечению семейных обстоятельств стремившиеся к гибели. Эти последние и составляли жалостное исключение, да к их числу можно еще приписать «крепостных», которые, впрочем, могли наниматься только с согласия своих владельцев, и то после рискованной процедуры с освобождением их на волю. Случалось, что вольный человек «выкупал крепостного» с тем, чтобы он после пошел в рекруты за детей этого капиталиста, и выкупаемый крепостной обещался это исполнить, но, получив отпускную в свои руки, отказывался от «охотничаяния» и предлагал выкупщику отработать заплаченные за него деньги или — еще проще — благодарил его и уходил иногда с обещанием «помолить бога», а еще чаще с бранью и насмешкою. Нанявшийся же «распутник» с распутства начинал и в распутстве продолжал все время своего «сговора» с хозяином. Зачинал это в Орле пропащий парень с того, что появлялся в безобразном и, всего вероятнее, в безумном состоянии, в торговый день, (в пятницу), на Ильинской площади и, остановясь у весов, кричал громким голосом: «Жару!» Его «схватывалихваты» и сейчас же «мчали» его в близстоявший «Подшиваловский трактир» и сразу же «поддавали ему жару», то есть поили его водкою и приглашали для «куражения» его подходящего свойства женщин, или «короводниц», имевших вблизи свое становище у мостика на Перестанке. Хороводницы, или «короводницы», являлись скоро, и не одна, а две или три, из самых отчаянных и самых бесстыжих — «согласных с охотником гулять». Они сейчас же брали пьяного парня в свои раздольные объятия и, обласкав его «до воли», начинали его «вывозить». Обвязав его красными платками, его везли «катать» на извозчике, причем «короводницы» держали охотника на сиденье извозчичьих дрожек или саней, а сами лепились вокруг него, обнимали его, и громко пели бесстыжие песни, и говорили в народ сальности, и дергались, и приплясывали; а окураженный ими охотник сидел осовелый как дурак или по временам безумно вскрикивал и вопил: «Еще жару!» Таким образом, парень уже был афиширован на весь город. А в это время, как одни хватывали его так «окручивали», другие уже приискивали хозяина, которому наемщик нужен, и сдавали его ему с вознаграждением себя за труды и за расходы по всей первоначальной обстановке дела. Такая безобразная гульба продолжалась все время до сдачи наемщика в рекруты, и он «давал себя знать» своему хозяину, который вынужден был исполнять все выдумки и капризы пропащего парня и тотчас же бросал его, когда тому забривали лоб и он делался «продажною шкурою», которую на службе очень любили «выколачивать». До этого «погибельного

состояния» человека доводили всегда при необходимом и неизбежном участии женщин, именно сих вышеназванных «короводниц», которые чаще всего сами и наводили слабых людей «на эту путь», то есть научали их кричать: «Жару!» Склонного к загулу дьячка Пашу очень нетрудно было провести этим путем, что Кромсай, вероятно, и обделал. (Прим. автора.)

6

Неравный брак (франц.).

7

Число глупцов бесконечно (франц.).

8

Гимн, песнопение (франц.).

9

О боже! (англ.).

10

Попугай (франц.).

11

Знаете: она тощая, но... (франц.).

12

Отойди, сатана! (франц.).

13

Остановитесь! Остановитесь! (франц.).

14

Княгиня (франц.).

15

Завещание (франц.).

16

Приписка (лат.).

17

Пусть будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает (франц.).

18

Теперь мне приходит на память один неважный, но характерный случай, дополняющий картину отношений родственников моих к квакерским женщинам. Из числа моих двоюродных братьев один овдовел в очень молодых годах, и у него осталось трое детей, с которыми он не знал как управиться и очень тосковал по своей прекрасной скончавшейся жене. Тетка наша, бывшая за англичанином, очень сожалела этого своего племянника, но разделяла его опасения, что жениться во второй раз очень рискованно, ибо первобрачным детям при мачехе будет худо. Они перебирали на совете множество известных им девушек и всё находили, что «ненадежно» и «страшно»: жена может выйти изрядная, а для того, чтобы вышла добрая мачеха, — ни одна этому не отвечала. Тогда тетка и сказала племяннику: «Разве вот что: если ты действительно честный человек и хочешь жениться для счастья семьи, а не для одной своей утехи, то поезжай в Англию, найди там себе расположение в квакерской семье и женись на квакерке. Они умеют приводить мир в дом». Родственник наш так и сделал, — он уехал в Шотландию на целый год и возвратился оттуда с молодою женою, которая в

первый же день своего приезда в дом мужа собственноручно вымыла вавузоар'ом [детским мылом] уши его детям и повела их так, что ничьи глупые научения не помешали ей овладеть их почтением и любовью. А когда это так пошло, то другой брат этого родственника, холостой, тоже пожелал жениться на англичанке, и притом на такой, которую ему посоветует взять свояченица. Та это обдумала и исполнила: она дала ему письмо в свою родную семью, где он нашел себе суженую в младшей сестре жены своего брата и не избег этой судьбы: он женился на ней и остался навсегда в Англии, в семье престарелого тестя своего, а свое имение в России передал брату и с ним рассчитался. Не возвращался он в Россию, как говорили, потому, что здесь брак двух братьев с двумя сестрами мог быть признан незаконным, а также и потому, что очень полюбил семейство жены и не хотел огорчать ее разлукою с ее отцом. Итак, этот наш чистосердечный родственник с очень милою, поэтической натурою навсегда отчуждился от родины, и мы его совсем потеряли из вида, но слыхали, что он пользовался в общине прекрасною репутациею и видел на себе и на семье своей «благословение божие», — что, по их манере выражаться, заменяет понятие, усвояемое словом: он «был счастлив». (Прим. автора.)

19

О брате Надёжи Григорьевны нет объяснения: был ли и он тоже квакер и были ли с ним сосланы тоже другие лица мужеского пола, или он один попал сюда при сестре и других квакереях. (Прим. автора.)

20

Хотя и нет никакой причины сомневаться в справедливости объяснений, поданных причтом митрополиту о том, что «квакереи живут мирским подаянием», но есть, однако, данные, по которым можно предполагать, что и в старости своей «квакереи» искали средств жить трудами рук своих и делали что могли и что умели. В числе тех же самых бумаг, подаренных мне покойным генералом Асташевым, есть разрозненные листки приходных и расходных тетрадей, из которых видно, что старушки жили как будто общиною — сообща покупали писчую бумагу, свечи, чернила и краски и «писали заказы», то есть занимались списыванием книг, за что получали плату и вносили ее общемою статьею на приходе. Так же общим расходом показываны издержки на крупу, соль, масло, холстину и проч. обиходные вещи. Есть у меня и три листка их письменных работ, совершенно схожих с такими же работами инокинь староверческих скитов. Письмо мелким и очень красивым полууставом, и очень красивые заставки с пестрою орнаментовкою, разделанной лазорем, киноварью и золотом, и в коймах цветы, птицы и травы со тщанием. На одном листке поздравительное письмо к благодетельнице, на другом — отрывок какого-то «утешения», а третий — самого изящного письма и тонкого, красивого рисунка с золотом — «Стишок», или «песнь», — весьма милая и особенно трогательная по положению трудившихся над ее воспроизведением. Это «песньк душе», начинающаяся словами:

Душа моя — странница,  
Не здешнего мира ты,  
К чему прилепляешься  
И чем очаруешься?  
Ты птичка залетная,  
Пурхая (sic) по радостям,



Пришла в дебри страшные

Неведенья дикого.

(Прим. автора.)

21

«Атта Троль». (Прим. автора.)

22

Пишут, что это же самое составляло главное занятие русских поселенцев, которых перевезли в 1892 году на океанском пароходе из Одессы во Владивосток. Впрочем, этих, кроме «вшей», занимали еще карты, которых у нас не было. (Прим. автора.)

23

Учение о тайне (лат.).

24

«Уединенное государство в отношении к общественной экономии, из творения З. Г. фон Тюнена\*, мекленбургского эконома извлечено и приспособлено для русских читателей Матвеем Волковым. Карлсруэ, в придворной типографии Б. Госнера. Печ. позв. 7 февр. 1857 г. Цензор Б. Бекетов». (Прим. автора.)

25

См. статью Вл. Соловьева «Беда с востока»\*. (Прим. автора.)

26

Другая половина Райского была приобретена Фед. Ив. Селивановым. (Прим. автора.)

27

Владимир Петр. Бурнашов скончался недавно в Мариинской больнице, в Петербурге, в возрасте очень преклонном. В последние годы жизни сотрудничал в изданиях гг. Каткова и Комарова\*.

Оставил много автобиографических заметок, из которых было напечатано извлечение в «Историческом вестнике». По словам его, вращаясь в литературных кружках, он иногда служил и не одним литературным потребностям. (Прим. автора.)

28

15 сентября 1893 года этот стих полностью воспроизведен в весьма известной русской газете. (Прим. автора.)

29

«Петербургская газета» (нем.).

30

У него хорошая голова (франц.).

31

Это не серьезно, вы знаете (франц.).

32

Лесная капелла (нем.).

33

Ужасный ребенок (франц.).

34

Уютностью (нем.).

35

«Дамы на него крестятся и к нему прикладываются, а он стоит да на них смеется». (Прим. автора.)

36

Нарушение супружеской верности (франц.).

37

Реванш (франц.).

38

Мягкая, ручная дрессировка (нем.).

39

Не усердствуйте (франц.).

40

Ремесло (франц.).

41

Вот где собака зарыта! (нем.).

42

Фигаро здесь, Фигаро там (франц.).

43

Дяди Захара (франц.).

44

Подвиньте стул! (франц.).

45

Приблизьтесь ко мне (франц.).

46

Персидская сирень (франц.).

47

Счастливое время (лат.).

48

Искуснейший сочинитель (лат.).

49

Он не носит уже больше манжет (то есть штатской одежды) (франц.).

50

Это кровосмешение! (франц.).

51

Неуместный разговор о преступлениях! (франц.).

52

Заниматься своим ремеслом (франц.).

53

Но это забавно! (франц.).

54

Я знаю, что мне делать! (франц.).

55

Старый идиот! (франц.).

56

Блюдолиз, прихлебатель (франц.).

57

Я не одна! (франц.).

58

Бог вас благословит (франц.).

59

Наедине с женщиной (франц.).

60

Тем лучше (франц.).

61

Это сверхглупо! (франц.).

62

Черт побери! (франц.).

63

Вот Жанна Д'Арк, прозванная Орлеанской Девственницей, героиня. Ей, в высшей степени набожной, казалось, что она слышит голоса, приказывающие ей идти спасать... своего господина (франц.).

64

Это очень смешно! (франц.).

65

Вот она, фефёла и Девственница! (франц.).

66

Вот как оборачивается война, когда знамя несет Девственница! (франц.).

67

Черт возьми! (франц.).

68

Убирайся к черту! (франц.).

69

На двух ногах или на всех четырех (франц.).

70

Милый друг (франц.).

71

Каждый в свой черед, генерал! Каждый в свой черед (франц.).

72

А пока — да здравствует любовь и да здравствует легкомыслие! (франц.).

73

Красные облака вокруг заходящего солнца предвещают ясный день (лат.).

74

Не делайте глупостей! (франц.).

75

Отрывки из различных черновых вариантов «Часа воли божией» см. в кн. В. Гебель «Н. С. Лесков», стр. 143–151.

76

О Якоби-Толиверовой см. прим. к «Даме и фефеле».

77

Здесь ошибка автора. Указанное примечание помещено, как и следует, в конце XII главы.

78

См. его книгу «Жизнь Николая Лескова», стр. 33 и 342.

79

С этим оттиском ознакомил нас Б. М. Эйхенбаум, в библиотеке которого он сохраняется.

Комментарии

1

...в лицо его жалит песья муха...— Здесь, вероятно, имеется в виду библейская легенда о мучительных укусах мух: «налетело множество песьих мух в дом фараонов, и в дома рабов его, и на всю землю Египетскую: погибала земля от песьих мух» (Исход, VIII, 24).

2

...чтоб они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа...— Укроп здесь — горячая вода, вар, кипяток.

3

Майоранное мыло. — Майоран — душистое травянистое растение, употребляемое в парфюмерных изделиях и в качестве пряности.

4

...поломя рассечь...— Поломя здесь в значении — пополам.

5

Измигул — ленивый, оторвавшийся от работы. Здесь ближе к значению измигун — насмешник, пересмешник.

6

Кармазинный — ярко-алый.

7

Варакушка — певчая птица из семейства дроздовых.

8

Митусить ногами — топтать, частить в пляске.

9

Зоблить (обл. зобать) — есть жадно, торопливо; хватать, подбирать губами пищу прямо с руки.

10

Кравчий — боярин, ведающий царским столом.

11

Подторжье — торговля накануне ярмарки, базара.

12

...вспомянем их кануном...— Канун (канон) — церковное песнопение в честь святого или праздника.

13

...записаны чертами и резами... — выражение из сочинения X века «О письменех черноризца Храбра». Храбр в этом сочинении пишет о том, что в древнее время у славян не было письменности. В случае необходимости отметить что-либо славяне применяли «черты и резы»: «чертами и резами чьтеху и гатааху». Древнейший список рассуждения Храбра находится в Среднеболгарском сборнике 1348 года (Ленинград, Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

14

Загнеточка — здесь: шесток.

15

Шелег (обл.) — монета.

16

Зобёнки (обл.) — большие корзины для мякины, сена и т. п.

17

Пенечная обротъ конская (обл.) — пеньковый недоуздок.

18

В одностай (обл.) — здесь: одинаково.

19

Подьячий с приписью — писец, удостоверявший бумаги своею подписью.

20

Нетяг — крестьянин, не платящий тягла (то есть подати) по болезни, старости, крайней бедности; дармоед, слабый, плохой работник.

21

Акафист — род хвалебного церковного песнопения.

22

Сирахова Книга премудрости — Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова — одна из книг библии.

23

Паглинки (паголенки) — род чулок от ступни до колен, гамаша.

24

Омшаник (обл.) — отепленное помещение для зимовки пчел.

25

Хоронили Федора Михайловича Достоевского. — Похороны Ф. М. Достоевского состоялись 31 января 1881 года на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

26

Аверкиев, Д. В. (1836–1905) — русский писатель, драматург; наиболее известна его драма «Каширская старина».

27

...чьа смерть меня всю переброила... — от броить (обл.) — трогать, шевелить.

28

Бикс — маленький наклонный бильярд, доска которого утыкана рядами шпилек, между которыми гонится шарик; в XIX веке был особенно распространен в Китае.

29

Книд — город в древней Греции, упоминается в гимнах Гомера.

30

Боги Аида — боги царства мертвых; в греческой мифологии Аид — властитель подземного царства, куда тени людей отходят после смерти; Аид также подземное царство мертвых.

31

Лида — древний город Лидда, находившийся недалеко от Иерусалима; в Лидде рано образовалась христианская община.

32

Сидонянка — жительница финикийского города Сидона.

33

Трирема — в древнем Риме судно с тремя ярусами гребцов.

34

Пупавка — растение (ромашка), распространенное во многих странах.

35

Скрыня — ларец, короб.

36

Купы диарита — глыбы зеленой горной породы.

37

Парки бабье лепетанье... и далее — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». Парки — у древних римлян богини судьбы.

38

Ажидация — контаминация слов: ожидать и агитация (волнение).

39

Тальма — женская длинная накидка без рукавов.

40

Жардиньерка — подставка, этажерка для комнатных цветов.

41

Толпучка — контаминация слов: толпа и толкучка.

42

Анкор (франц. *encore*) — еще.

43

Пентефрий — имя библейского фараонова царедворца, жена которого пыталась соблазнить Иосифа, раба своего мужа.

44

Бенардаки, Д. Е. (ум. в 1870) — петербургский винный откупщик.

45

Флер-д'оранж (франц. цветок апельсина) — белые цветы померанцевого дерева, принадлежность свадебного убора невесты.

46

Голованеры — контаминация морского термина «гальванер» и слова «голова».

47

Бабеляр — бабник; контаминация: бабник и Абаляр; Абаляр (1079–1142) — один из знаменитых богословов и философов средних веков; известна также необычная и трагическая история его любви.

48

Инпузории — искаженное: инфузории; здесь в смысле мелкота, люди, недостойные серьезного отношения и уважения.

49

У преосвященного Макариуса... — Вероятно, имеется в виду известный русский богослов и церковный историк московский митрополит Макарий Булгаков (1816–1882).

50

Владимир Мономах (1053–1125) — русский князь, княжил в Чернигове, Переяславле и Киеве. Объединил под властью Киева русские княжества.

51

— 143. Фон-горская коза — искаженное ангорская, коза с длинной мягкой шерстью.

52

Шебарша (простореч.) — ворчун, шумливый человек.

53

Рояльное воспитание. — Рассказчица имеет в виду реальное воспитание. Русские демократы защищали систему реального образования, основанного на изучении естественных наук, в противоположность господствовавшей системе классического образования, основанной на преимущественном изучении древних языков.

54

«Африканский Мавр» — трагедия «Отелло» В. Шекспира; первоначальное заглавие было «Трагедия об Отелло, венецианском мавре».

55

«Губиноты» — искаженное название оперы «Гугеноты» Дж. Мейербера (1791–1864).

56

Поверхностная комиссия. — Имеется в виду «Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия», во главе которой стоял граф М. Т. Лорис-Меликов (1825–1888); работа этой комиссии свелась к усилению и централизации карательного аппарата.

57

Политический компот — от комплот (франц. complot) — заговор.

58

Вифлиемция — контаминация слов: инфлюэнца и Вифлеем.

59

... соль рассолится — это хуже. Тогда чем ее сделать соленою? — Имеется в виду следующее место из евангелия: «Блаженны изгнанные за правду... — Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?..» (от Матфея, V, 10, 13).

60

Соль, елтонка — от названия озера Елтон (Эльтон), где добывалось большое количество соли.

61

...упоминаю про «здешнего». — Имеется в виду Иоанн Кронштадтский.

62

Ктитор — церковный староста.

63

Бурбо — искаженное: Барбо, Ж. (1824–1897) — французский оперный певец, тенор; пел в России.

64

Гонка — контаминация слов: конка и гнать.

65

Агон — искаженное: вагон.

66

Грандеву (франц. rendez vous) — рандеву, свидание.

67

Сделай моего ангела Николу, как он Ария в щеку бьет... — Имеется в виду легендарный рассказ о пощечине, которую Николай Мирликийский будто бы дал на Никейском церковном соборе в 325 году Арию, отрицавшему догмат о равенстве всех трех лиц Троицы.

68

«Паганистан» — искаженное «Афганистан» — ресторан, находившийся на Садовой, между Невским и Итальянской (ныне ул. Ракова) (см. Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 473).

69

...роза бургонская... — пьяная, грубая; контаминация двух слов: бургонское (вино) и бурбон — грубый, заносчивый человек. Бурбоны — французская королевская династия (1589–1792 и 1814–1830).

70

...Корифеям послание... — В числе церковных книг, составляющих Новый завет, есть два послания к коринфянам, жителям города древней Греции Коринфа.

71

Отель «Лангетер» — искаженное название петербургского отеля «Англетер» (ныне гостиница «Ленинградская»).

72

Антруи (искаженное франц. en trois) — втроем.

73

Клюко — клико (сорт французского шампанского); переосмыслено под влиянием русского слова клюкнуть.

74

Караганчатый мех — мех каракульча (искаженное).

75

Фимиазмы — контаминация слов: фимиам и миазмы.

76

Пальтошник — здесь: человек низкого звания (букв. портной).

77



Популярный советник — контаминация слова «популярный» и выражения «титularный советник» (в дореволюционной России в табели о рангах — гражданский чин 9-го класса).

78

Три мускатера — подразумеваются герои романа «Три мушкетера» Александра Дюма (1803–1870).

79

Кукоты да кукотки — от кокотка, женщина легкого поведения.

80

Керамида — здесь контаминация слов: керамика и пирамида.

81

Петров, О. А. (1807–1878) — известный оперный певец, бас.

82

Коман-дир (от франц. comment dire) — как сказать.

83

Пермете муа сортир (франц. permettez-moi sortir) — разрешите мне выйти.

84

Пасе (франц. passez) — передайте.

85

Ругнеда — контаминация слова «ругать» и названия оперы «Рогнеда»; Рогнеда — дочь полоцкого князя Рогволода, жена русского князя Владимира (X в.). Опера «Рогнеда» написана А. Н. Суровым (1820–1871).

86

Тумберлик — искаженное: Тамберлик (1820–1888) — знаменитый итальянский певец-тенор.

Последний раз в Петербург Тамберлик приезжал в 1884 году.

87

Кальцонари и Базю слушал. — Кальцонари — испорченное: Кальцоляри (1823–1888) — знаменитый лирический тенор, долго певший на сцене Итальянской оперы в Петербурге. Бозио, А.

(1824–1859) — знаменитая итальянская певица, сопрано. Пела в Петербурге в 1856–1859 годах, в период расцвета итальянской оперы в России.

88

Трубедур — искаженное название оперы «Трубадур» Д. Верди (1813–1901).

89

Лавровская, Е. А. (1845–1919) — известная русская певица, контральто.

90

«Волшебный стрелец» — искаженное название оперы «Волшебный стрелок» немецкого композитора К. Вебера (1786–1826).

91

Медный конь в поле пал! Я пешком прибежал! — вместо: «Бедный конь в поле пал, я бегом добежал» — начало арии Вани из оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») Глинки.

92

В долине Драгестанна С винцом в груди Заснул отрадно я — искаженная передача начала стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон»:

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я...

93

...завели такую кутиню... — соединение слов: кутить и ектеня (часть богослужения).

94

Это хабензи гевидел? — искажение немецкой фразы: Haben Sie gesehen? (Вы видели это?) Слово «гевидел» образовано из немецкой приставки «ge» и русского слова «видел».

95

Агмары — искаженное: омары.

96

Огурцы капишоны — искаженное: корнишоны, под влиянием сходного в произношении слова капюшон.

97

Аплетическое сложение — искаженное: атлетическое (богатырское) сложение; в слове «аплетическое» отразилось смешение слов: атлетическое и апоплексия.

98

...вспомни про Исава и Якова — см. прим. к стр. 176.

99

Безбилъе — вместо: дезабилье.

100

Выпухоль — контаминация слов: выпушка, то есть обшивка мехом по краям, и выхухоль.

101

...что было у Исава с Яковом. — По библии, Исав и Иаков — близнецы, сыновья патриарха Исаака. Они были наделены противоположными характерами: Исав, в противоположность своему тихому и вялому брату Иакову, отличался смелостью и был бесстрашным охотником. По праву старшинства Исаву принадлежали права первородства, но Иаков хитростью завладел этими правами и должен был бежать от мести разъяренного Исава.

102

Брумы — искаженное: грумы (слуги, сопровождающие верхом всадника или едущие на козлах экипажа).

103

Рубкопашня — рукопашная; контаминация слов: рукопашная и рубка.

104

Тарабахи — искаженное: карабахи; карабахские лошади (от области Карабах на Кавказе) славились выносливостью и красотой.

105

Фетюк — неуклюжий, нескладный.

106

У-е-ля хам? — неправильная передача французской фразы: Où est la femme? (Где женщина?)

Это выражение, кроме буквального смысла, в котором оно здесь употреблено, часто встречается в более общем значении: «Во всякой неприятности замешана женщина».

107

Гора Фавор — гора в древней Палестине; упоминается в сочинениях древних историков и в евангельских текстах.

108

Юдоль (устар.) — жизнь с ее заботами и печалью (первоначально: долина).

109

Рапсодия — большое музыкальное произведение для инструмента или оркестра, состоящее из нескольких разнородных частей, преимущественно на темы народных песен и сказаний; здесь — произведение, неоднородное по своему составу и характеру.

110

Совеща бог смирится горе и юдолиям исполнится в равень земную (старослав.) — Бог определил, чтобы всякая гора понизилась, а долины наполнились вровень с землею.

111

Варух. — Книга пророка Варуха является одной из книг Библии.

112

Принц Ольденбургский, П. Г. (1812–1881) — сенатор, член государственного совета, с 1841 по 1859 год состоял президентом Вольно-экономического общества; председатель главного совета женских учебных заведений.

113

...в отличие от крепостных «поневиц», она носила красную юбку, какие в нашем месте носили однодворки... — Понёва — домотканая шерстяная юбка южновеликорусских крестьянок. Однодворец — государственный крестьянин, владелец одного двора. Однодворцы вышли из низшего разряда военных служилых людей Московской Руси.

114

Претекст (устар.) — предлог, повод к чему-нибудь, вымышленная причина (от франц. prétexte — предлог).

115

Сколотни, сколотины (обл.) — сбитое из сметаны нетопленое масло.

116

Пахтанье (пахта) — остаточный продукт, получаемый при сбивании сливок и сметаны в масло.

117

Проскомидия (церк.) — первая часть обедни.

118

Дулеба (обл.) — бестолковая, невежа.

119

...«князем восходил» брошенный «в грязь» овес... — Имеется в виду русская пословица: «Сей овес в грязь, будет князь».

120

Водить танки (обл.) — водить хоровод.

121

Игра в казанки (обл.) — игра в бабки.

122

Навздрых — навзрыд.

123

Лобанить — здесь в значении: бить.

124

Пострекать (обл.) — посечь, похлестать.

125

Орарь — часть дьяконского облачения, перевязь по левому плечу.

126

Киселев, П. Д. (1785–1872) — граф, член государственного совета, член секретного комитета по крестьянскому делу, министр государственных имуществ. С 1856 по 1862 год — русский посол в Париже.

127

Лагуны — бочки.

128

...тогда соль составляла «правительственную регалию». — Регалия — здесь монопольное право правительства на производство соли.

129

...ели сныть несоленую. — Сныть (обл.) — трава, из которой крестьяне делают ботвинью.

130

(У Тургенева мужик говорит, что надобно осиротелую девчонку взять. Баба отвечает: «Нам самим сныть посолить нечем». А мужик говорит: «А мы ее несоленую!» — и девчонку взяли.) — Имеются в виду следующие слова из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Два богача»: «Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить... — А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж». Как видно из текста, в произведении Тургенева слова «сныть» нет.

131

Потылица (обл.) — затылок, загривок.

132

Аскретки (обл.) — здесь: обломки.

133

Тукманка (обл.) — удар в голову костяшками пальцев, либо легкий удар кулаком.

134

Ночвы (обл.) — неглубокое деревянное корытце, лоток.

135

Обрушать (обл.) — обдирать зерно на мельнице.

136

Поличье (обл.) — здесь: улика, вещественное доказательство.

137

Хлопочки (обл.) — отрепье, клочки материи, тряпки.

138

Артос (или артус, церк.) — квашеный, кислый хлеб, освящаемый в первый день Пасхи.

139

Абандона — покинутая (от фр. abandonner — покидать).

140

Посконь (обл.) — здесь: конопля.

141

...в серой мгле повторялось все то, что было и в оны дни у колодца Ливанова. — Имеется в виду содержание гл. 4 «Песни Песней» Соломона.

142

Туезок (туесок) — бурачок, берестяное ведро с тугою крышкой и дужкой на ней.

143

Братья Давенпорты — Вильям (1842–1874) и Ира (род. 1840) — мистификаторы; изображали медиумов и давали сеансы спиритизма во многих странах.

144

...приняв такие очертания, как баснословный пард или перуносный змей с лапами... — Пард или пардус (стар.) — зверь кошачьего рода, барс, леопард; Перун (старослав.) — бог грома и молнии.

145

...Николай Антонович Ратынский... говорил мне, будто Тургенев с тети Полли нарисовал в своем «Помещике» ту барыню, о которой сказал, что она «была не вздор в наш век болезненный и хилый». — Ратынский, Н. А. (1821–1887) — писатель, был цензором, членом совета по делам печати; наиболее известны его произведения: «Иезуиты», «Памятная книжка Орловской губернии», «Двор и правительство России сто лет тому назад»; цитата в кавычках — стихи Тургенева из поэмы «Помещик» (XIV строфа).

146

Победоносный, светлый взор, — Все в ней дышало древней силой. — Лесков не совсем точно цитирует стихи Тургенева из поэмы «Помещик» (XIV строфа): у Тургенева — «дивной силой».

147

...в Орле это тогда было в моде между дворянством (с чего и написана Лиза у Тургенева)... — Имеется в виду героиня романа «Дворянское гнездо» Лиза Калитина.

148

Этот врач был француз, с качествами известного по пьесе Дьяченко французского губернатора — m-г Дорси... — Дьяченко В. А. (1818–1876) — плодовитый третьестепенный драматург; Дорси — персонаж его пьесы «Губернер» (1864); наиболее известна драма Дьяченко «Жертва за жертву».

149

...и в гербе у него стояли многозначительные слова: «не по грамоте». — Княжеский титул в некоторых дворянских родах передавался по наследству от древних владетельных князей — «Рюриковичей»; с XVIII века титул князя давался также по указу царя — «по грамоте».

150

Квакерша — член христианской протестантской секты, основанной в Англии в середине XVII века.

151

Промзглая — здесь: душная, затхлая.

152

«Лечебник штаб-доктора Егора Каменецкого». — О. Каменецким в 1804 году была напечатана книга «Краткое наставление о лечении болезней простыми средствами»; наряду с полезными советами, в книге содержится целый ряд нелепых рассуждений; издавалась книга много раз и распространялась министерством внутренних дел.

153

Концертина — ручная хроматическая гармоника, обычно шестиугольной формы.

154

Титания, дорассветная Титания, которая еще не видит, что она впотьмах целовала... осла!.. —

Титания — персонаж пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь»; о том, как Титания, заколдованная царица эльфов, приняла превращенного в осла человека за своего возлюбленного, рассказывается в IV акте пьесы.

155

Ты Петр, и это значит: «камень». — Имя Петр происходит от греческого petros — камень.

156

Honny soit qui mal у pense (франц.) — Пусть будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает (девиз английского Ордена подвязки).

157

Лорд Редсток — англичанин, проповедник, приехавший в 1874 году в Петербург и пользовавшийся огромным успехом в великосветском обществе; Редсток проповедовал веру в Христа как единственный догмат христианства, а также необходимость свершения добрых дел и отрицал почитание святых, икон, священнослужителей; секта преследовалась правительством и синодом.

158

...мне делают указания на сочинения протоиерея Михаила Як. Морошкина и гр. Дм. Андр. Толстого о иезуитах, а также и на то, что писали о Редстоке кн. Мещерский и другие... — М. Я. Морошкин (1820–1870) — духовный писатель; об иезуитах им написано сочинение: «Иезуиты в России, с царствования Екатерины II и до нашего времени», СПб., 1867–1870. В. П. Мещерский (1839–1914) — реакционный публицист и беллетрист, издатель журнала «Гражданин»; Редстоку посвящено его произведение «Лорд Апостол в петербургском большом свете»; Д. А. Толстой (1823–1889) — реакционный государственный деятель, министр народного просвещения, обер-прокурор синода.

159

...о Редстоке есть книга, написанная мною самим... — В 1876–1877 годах были написаны очерки Н. Лескова: «Великосветский раскол» и «Сентиментальное благочестие»; в этих очерках Редсток и его последователи характеризуются как люди, «несущие ахинею» и «еретический вздор» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 338).

160

Историограф Миллер. — Д. И. Миллер (1705–1783) — историограф и академик, знаток Сибири, где он прожил с целью изучения архивов и этнографии края десять лет.

161

Приходи, моя милая крошка... — строки из стихотворения А. Фета (1820–1892) «Только станет смеркаться немножко»...

162

Смирнова, С. И. (1852–1921) — писательница, автор многих романов, рассказов и фельетонов; сотрудница «Нового времени».

163

Тургенев изобразил, как говорит с простолюдином интеллигент и раскольничий начетчик. — Имеется в виду письмо Нежданова (роман «Новь»), в котором речь идет о необходимости веры в то, что говоришь, как основном условии воздействия на сознание народа: «Уверяют, что нужно сперва выучиться языку народа, узнать его обычаи и нравы... Вздор! вздор! вздор! Нужно верить в то, что говоришь, а говори, как хочешь!» Далее Нежданов говорит об успехе проповеди раскольничьего начетчика и неуспехе своего обращения к народу: «А я начну говорить, точно виноватый, все прощения прошу» (И. С. Тургенев, роман «Новь», гл. XXX).

164

Малороссу, чтобы его растрогать, надо, чтобы ему свой брат сказал: «граю и воропаю». — Намек на следующее место из романа Тургенева «Рудин», гл. II: «...Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: «Дума»; потом начать так: ...грае, грае, воропае, или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе... Малоросс прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет... — Что вы это такое говорите?.. Я жил в Малороссии... «грае, грае, воропае» — совершенная бессмыслица».

165

Генерал Баранов. — Н. Н. Баранов (1836–1901) — губернатор в Нижнем Новгороде (1883–1897), прославившийся своими полицейскими приказами.

166

...в военном образце с поперечиной. — Поперечина — знак отставки на погонах.

167

...«у него гляделась бедность в каждую прореху, из очей глядела бедность»... и далее. — Имеются в виду следующие стихи Гейне (1797–1856):

На мосту сидел испанец,  
Музыкант в плаще дырявом;  
Нищета гнездилась в дырах,  
Нищета из глаз глядела.  
Струны старой мандолины  
Он терзал костлявым пальцем.  
Эхо в пропасти, дурачась,  
Передразнивало звуки.  
«Атта Тролль», ч. II,  
в современном переводе  
В. Левака.

168

Буддийская карма (от санскр. karma — действие, дело) — одно из основных положений буддизма, заключающееся в утверждении, что сумма добрых и греховных деяний человека влечет за собою после смерти либо перевоплощение (для грешников), либо погружение в блаженное небытие, нирвану (для праведных); здесь — слепая вера.

169

Карлейль, Томас (1795–1881) — английский писатель, историк и философ, происходивший из крестьян. Его труды: «История французской революции» (1837), «Герои и героическое в истории» (1841), «Письма и речи Оливера Кромвеля» (1845).

170

...у меня был родственник... обруселый англичанин. — Шкотт (см. наст. изд., т. VI, стр. 627).

171

Опасаясь, чтобы на него... не подействовали... «луна, джерси и нашлепка»... — Здесь имеются в виду некоторые места из V, VI и VII глав «Крейцеровой сонаты»: «В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она».

172

...куряне — «ведомые кметы» — подразумевались якобы «подурасливее». — Кмет — крестьянин, парень; выражение «куряне свѣдоми кѣмети» употребляется в «Слове о полку Игореве» в смысле: «известные, хорошие воины».

173

Пизарро (1470–1541) — завоеватель Перу, испанец по происхождению; без всякого образования и даже неграмотный, он обнаружил умение администрировать; отличался жестокостью, мстительностью и тщеславием.

174

Котильон — старинный танец из нескольких фигур, в быстром темпе.

175

Пядь — старинная русская мера, равная расстоянию между растянутыми большим и указательным пальцем.

176

Чухаться — чесаться.

177

Грапские — графские.

178

Уряд — здесь в значении: должность.

179

Кудрявцев, П. Н. (1816–1858) — профессор Московского университета, талантливый историк и филолог, ученик и друг Грановского.

180

Грановский, Т. Н. (1813–1855) — ученый и общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете; в лекциях излагал прогрессивные идеи и обличал крепостничество.

181

Гейман, Р. Г. (1802–1865) — профессор химии Московского университета.

182

Рулье, К. (1814–1858) — зоолог и доктор медицины, профессор зоологии в Московском университете.



183

...письма Герцена об изучении природы... — «Письма об изучении природы» (1845–1846) А. И. Герцена.

184

...с достопамятным вступлением «Во славу Цереры, Помоны и их сродников»... — неточная передача первых слов «Писем об изучении, природы»: «Слава Церере, Помоне и их родственникам!» У древних римлян Церера — богиня земледелия и плодородия; Помона — богиня древесных плодов.

185

...я гоню их назад, как фараон... — Фараон — титул древнеегипетских царей; по библейскому преданию, один из фараонов пытался вернуть уходящих из Египта евреев.

186

Коломбо — город и порт Цейлона.

187

Гейне был прав, говоря, что «кто любит народ, тот должен сводить его в баню». — Неточная передача мысли Гейне из его статьи «Признания»: «Бедный народ не прекрасен; наоборот, он очень безобразен. Но безобразие это возникло от грязи и исчезнет вместе с нею, когда мы построим общественные бани, где его величество народ будет иметь возможность мыться бесплатно».

188

*Disciplina arcani* существует в полной силе: цель ее — предоставить ближним удобство мирно копаться в свинных корытах суеверий, предрассудков и низменных идеалов. Дж. Морлей «О компромиссе». — Джон Морлей (1838–1923) — английский ученый-литературовед, историк и политический деятель прогрессивного направления. Его сочинение «*On compromise*» («О компромиссе») посвящено горячей защите истины: «самое важное для мира, — пишет Морлей, — ставим ли мы истину на первое место или на второе»; он порицает царивший в то время в Англии дух компромисса, выступает против церкви, англиканской в частности, и требует, чтобы свобода мнений стала народной традицией.

189

За послушание истине — верят лжи и заблуждениям. 2 Фес. II, 10–11. — Из Второго послания к фессалоникийцам, одной из «священных» книг христиан, входящих в состав Нового завета.

190

В одном произведении Достоевского выведен офицерский денщик, который разделял свет на две неравные половины: к одной он причислял «себя и своего барина, а к другой всю остальную сволочь». — Указанной здесь Лесковым философии денщика в произведениях Достоевского не найдено. Лесков в данном случае мог иметь в виду философию денщика Якова Торцеголового из рассказа В. И. Даля «Денщик». В. И. Даль пишет о Якове Торцеголовом: «Он... дошел своим умом до основных понятий философии Канта, с тем только различием, что употреблял, при всеобщем разделении вселенной, множественное число вместо единственного; весь мир распадался для него на две половины: на мы и не мы. Мы — это были для него сам он с барином своим и со всеми своими пожитками; не мы — это были все прочие господа, весь видимый мир... мы и не мы было то же, что приятель и неприятель» (В. Даль. Полное собрание сочинений, 1897, т. III, стр. 361–362).

191

...из творения З. Г. фон Тюнена... — И. Г. Тюнен (у Лескова инициалы указаны неточно) — немецкий экономист (1783–1850); в своем сочинении «Der isolierte Staat» (1826) излагает сложную теорию ведения хозяйства.

192

...они сделают с ними то, что делали с бисером упомянутые в евангелии свиньи (Мф. VII, 3). — Имеется в виду следующее место в евангелии: «...не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (от Матфея, VII, 6; у Лескова ошибочно указан стих 3 вместо 6).

193

...я не раз говорил о некоторых лицах английской семьи Шкот — см. наст. изд., т. VI, стр. 627.

194

...у Перовского служили Веригин и известный «аболиционист» Журавский... — Л. А. Перовский (1792–1856) — граф, министр внутренних дел с 1841 года, министр уделов с 1852 года; Д. П. Журавский (1810–1856) — ученый, статистик, сторонник освобождения крестьян (аболиционист — первоначально сторонник освобождения негров), близкий знакомый Лескова (см. наст. изд., т. 3, стр. 636; т. 5, стр. 595).

195

См. статью Вл. Соловьева «Беда с Востока». — Статья Вл. Соловьева называется «Враг с востока» (1892); выражение «беда» ошибочно внесено Лесковым в заглавие из текста статьи: «...грозящая нашей земле, а в некоторой степени уже наступившая беда не есть частное и случайное явление, а роковое следствие общего... стихийного процесса, который несомненно был ускорен беспечно-хищническим отношением населения к природе (вырубание лесов), а также некоторыми благонамеренными, но необдуманскими предприятиями (осушение болот)...»

196

«Гостомысловы ковырялки». — Гостомысл — по свидетельству летописей, новгородский посадник в IX веке.

197

...стали разом на равных постатях... — стали на равных полосках поля.

198

Вышло «табло», и просвещенный ум Перовского не знал, как отшутить мужику его шутку. — Табло (от франц. tableau) — картина, сцена.

199

Панчулидзева, А. А. (1789–1867) — с 1831 года пензенский гражданский губернатор (см. наст. изд., т. VII, стр. 495).

200

...продолжали жить как обры и дулебы, «образом звериным». — Обрами в русских летописях назывались авары, тюркский кочевой народ, соседивший с древними славянскими племенами; дулебы — одно из древних славянских племен; «образом звериным», по словам летописи, жили древляне — одно из славянских племен. «А древляне живяху звѣриньскимъ образомъ...» («Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи», изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 15).

201

Арапов, А. А. (1801–1871) был пензенским предводителем дворянства в течение восемнадцати лет.

202

Веретье — рядно, дерюга; мешок из этой ткани и грубая одежда.

203

...сотрудничал в изданиях гг. Каткова и Комарова. — М. Н. Катков издавал журнал «Русский вестник» и газету «Московские ведомости». В. В. Комаров (1838–1908) издавал несколько журналов: «Русский мир», «Славянские известия», газету «Свет»; большая часть статей всех этих журналов и газет была консервативного направления.

204

Рачением Бурнашова почти одновременно вышли две хозяйственные брошюры: одна «О благотворном врачебном действии коры и молодых побегов ясенева дерева», а другая «О целебных свойствах лоснящейся сажи». — В. П. Бурнашев (1809–1888) — литератор, публицист, агроном-дилетант; редактировал «Труды Императорского Вольного экономического общества». Слова в сноске Лескова: «он иногда служил не одним литературным потребностям» — намек на службу Бурнашева в III отделении. Высмеивая лечение лоснящейся сажой, Лесков мог иметь в виду рассуждения Осипа Каменецкого в его книге «Краткое наставление о лечении болезней простыми средствами», в течение многих лет распространявшейся по распоряжению Медицинского департамента министерства внутренних дел. В 1864 году в типографии «Общественная польза» напечатано девятое издание «Наставления». «Краткое наставление» имеет раздел «Об употреблении лоснящейся сажи», в этом разделе идет речь о целебном действии лоснящейся сажи и ее различном действии, якобы зависящем от того, соскоблена ли сажа «ножиком с верхней стороны вниз» или «с нижней стороны вверх» («Краткое наставление», 1864, стр. 84). См. также наст. изд., т. 3, стр. 630.

205

Музей бетизов — музей глупостей (франц. *bêtise* — глупость, пустяк).

206

Живописец Петр Соколов — П. П. Соколов (1821–1899), художник-акварелист; писал картины из народного и солдатского быта, а также охотничьи сцены и портреты; лучшими его произведениями являются иллюстрации к «Запискам охотника» Тургенева и к стихотворениям Некрасова.

207

Михайловский-Данилевский, А. И. (1790–1848) — генерал-лейтенант, военный историк и писатель.

208

Ефим Федорович Зарин (1829–1892) — третьестепенный русский писатель; будучи сотрудником «Библиотеки для чтения» и «Отечественных записок», вел борьбу против Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.

209

Сценой действия сделался наш Крым. — Имеется в виду война России с Англией, Францией, Сардинией и Турцией в 1853–1856 годах.

210

Аскоченский, В. И. (1813–1879) — реакционный писатель, журналист и историк литературы; в 1837 году окончил Киевскую духовную академию, получил степень магистра богословия; с 1858 по 1877 год издавал журнал «Домашняя беседа», где душил всякие проблески мысли и защищал догматы

церкви; был адъюнкт-профессором Киевской духовной академии, затем служил чиновником в Киеве и Каменец-Подольске; в 1851 году вынужден был из-за постыдного поведения выйти в отставку; написал «Историю русской литературы», роман «Асмодей нашего времени» и др. (О нем см. также в «Печерских антиках» — наст. изд., т. 7.)

211

Непир, Чарльз (1786–1860) — английский адмирал, принимал участие в 1853–1856 годах в Крымской войне; в 1854 году командовал английским флотом в Балтийском море.

212

...бахвальства сменились картинами «Изнанки Крымской войны»... — см. наст. изд., т. VI, стр. 636.

213

Палимпсестов, И. У. (1818–1902) — писатель, агроном, автор многих статей по сельскому хозяйству.

214

Пирогов, Н. И. (1810–1881) — выдающийся русский хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии; в 1856 году в «Морском сборнике» напечатал статью «Вопросы жизни», в которой критиковал существовавшую систему воспитания; будучи попечителем Одесского, затем Киевского учебных округов, пытался реформировать постановку обучения в школах, в связи с чем в 1861 году был уволен с поста попечителя.

215

Константин Николаевич (1827–1892) — великий князь; с 1855 года управлял флотом и морским ведомством.

216

Георгиевский, А. И. — один из деятелей по введению среднего образования в России; «Новороссийский литературный сборник» имеет следующее название: «Новороссийский литературный сборник. Издание А. Богдановского и А. Георгиевского. Одесса. Ценз. разр. 17 февр. 1859. Посвящается его превосходительству господину попечителю Киевского учебного округа, тайному советнику и кавалеру Николаю Ивановичу Пирогову».

217

...Пирогов подпал осмеянию в передовом из тогдашних журналов... — Имеются в виду статьи Н. А. Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами». — «Современник», 1860, кн. 1; «От дождя да в воду». — «Современник», 1881, кн. VIII.

218

...г. Катков отыскал и проявил в свет воителя Ашинова... — И. И. Ашинов — политический авантюрист, в конце 1880-х годов был известен как один из активных проводников захватнической политики русского самодержавия. В 1883 и 1886 годах Ашинов совершил путешествие в Абиссинию с целью содействия политическому и религиозному сближению России с Абиссинией. В 1888 году при содействии русских реакционных сил организовал военно-религиозную экспедицию в Абиссинию. Экспедиция Ашинова окончилась позорным провалом (об Ашинове см. подробнее: М. Калаушин. Ашинов и Буланже. — «Г. И. Успенский. Материалы и исследования», М.—Л., 1938, стр. 131–140).

219

Его поддерживали другие знаменитые люди: Вис. Комаров, Вас. Аристов, свящ. Наумович и

другие... — О В. В. Комарове — см. прим. к стр. 365. И. Г. Наумович (1826–1891) — священник, писатель; его повести посвящены крестьянскому быту и жизни низшего духовенства; изображал жизнь в идиллических тонах, проповедовал национализм, ненависть к полякам и евреям; наиболее известны повести: «Заветные три липы», «Четыре путеводителя доброй жизни: страх божий, мудрость, трезвость, труд», «Сироты»; участвовал в абиссинской экспедиции Ашинова.

220

...забыли, в виду каких соображений император Александр II торопил и побуждал дворян делать «освобождение рабов сверху»... — Александр II видел необходимость освобождения крестьян сверху вследствие усиливавшихся год от года крестьянских волнений. «Крестьянские «бунты», — писал В. И. Ленин, — возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу» (В. И. Ленин. Собрание сочинений, т. 17, стр. 95).

221

Меррекюль — дачное место в Эстонии, на берегу Финского залива, в 14 км. от Нарвы, с пляжем и сосновым бором.

222

Суворин, А. С. (1834–1912) — реакционный журналист и писатель; издавал газету «Новое время». О Суворине и его газете В. И. Ленин писал: «Либеральный журналист Суворин во время второго демократического подъема в России (конец 70-х годов XIX века) повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед властью имущими... «Новое Время» Суворина на много десятилетий закрепило за собой... прозвище «Чего изволите?»» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 251).

223

...предисловие к сонате... — Предисловие названо генеральшей ошибочно вместо «Послесловия» к «Крейцеровой сонате» Л. Толстого.

224

...«посредственные книжки» читала. — «Посредственные» от слова «Посредник». — Так называлось книгоиздательство культурно-просветительного характера, созданное в 1884 году В. Г. Чертковым. В работе издательства принимал деятельное участие Л. Н. Толстой. «Посредник» издавал также некоторые рассказы Лескова («Невидный Пруденций», «Пустоплясы» и др.).

225

Гумилевский, А. В. (1830–1869) — священник; был преподавателем Петербургской семинарии, потом священником; проповедовал идеи справедливости и равенства не в духе официальной церкви, за что в 1866 году был переведен в Нарву; известен как организатор воскресных школ; в 1867 году возвращен в Петербург.

226

Он начал проповедовать и... счел себя за Боссюэта... — Ж. Боссюэт (1627–1704) — французский проповедник, историк и богослов; блестящие по форме речи и проповеди ставят Боссюэта в один ряд с лучшими ораторами его времени.

227

...действовал в духе и силе нынешнего Мещерского. — Мещерский В. П. — см. прим. к рассказу «О

квакереях», стр. 616.

228

Митрополит Исидор (Иаков Сергеевич Никольский, 1799–1892) — с 1860 года митрополит санктпетербургский и новгородский.

229

Архимандрит Федор Бухарев. — А. М. Бухарев (в монашестве Федор, 1824–1871), духовный писатель; его сочинение «О православии в отношении к современности» (СПб., 1860) вызвало резкий протест со стороны крайних сторонников церковного догматизма (в частности, Аскоченского); другие сочинения Бухарева также подвергались нападкам, сам он был обвинен в ереси и, наконец, подал прошение о снятии с себя монашества и вышел из духовного звания в 1863 году.

230

Ктиторская касса — касса церковного старосты.

231

...располагал к себе сердца состраданием, как к герою из-под Плевны. — Плевна (или Плевен) — город в Болгарии; во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов Плевна была освобождена русскими войсками после пятимесячной осады.

232

У кузнеца была вувермановская (белая) лошадь... — Вуверман, Филипп (1619–1668) — голландский художник, изображал военные сцены, игры, охоты, кавалькады. В его картинах видное место занимают лошади, особенно белые (по требованиям колорита).

233

...рассказывал о себе по секрету, что он через какое-то особенное дело стал вроде французской «Железной маски» или византийского «Вылезария»... — «Железная маска» — таинственный узник времен Людовика XIV, находившийся в парижской крепости Бастилии во второй половине XVII века (ум. в 1703 году); происхождение этого узника до сих пор остается неразгаданным; он никогда не снимал черную маску и не произнес за время пребывания в тюрьме ни одного слова; сравнительно с другими узниками пользовался многими привилегиями; предполагают, что он был одним из претендентов на французский престол. Вылезарий — искаженное Велизарий (ок. 505–565) — полководец византийского императора Юстиниана I; Велизарий одержал многие блестящие победы, но под конец жизни оказался в опале и был разорен.

234

...что нынче в газетах стоит про отца Иоанна... — Имеется в виду Иоанн Кронштадтский (см. прим. к «Полунощникам», стр. 604).

235

Бортище — то же, что бортное угодье (или ухожье) — лес, где водятся дикие пчелы.

236

...«времен Лориса»... — Подразумеваются годы 1879–1881, когда граф М. Т. Лорис-Меликов (1825–1888) оказывал сильное влияние на политическую жизнь России; в 1879 году он послан был в качестве временного генерал-губернатора шести губерний в Харьков, где незадолго перед тем был убит губернатор, князь Кропоткин; в феврале 1880 года, после взрыва в Зимнем дворце, был назначен начальником «Верховной распорядительной комиссии» и фактически стал диктатором

России; в 1880 году был назначен министром внутренних дел; после убийства народовольцами Александра II, в 1881 году, был уволен в отставку.

237

...вынимает из своего кармана волюм Zola или Bourget... — ...том Золя или Бурже. Э. Золя (1840–1902) — выдающийся французский писатель; П. Бурже (1852–1935) — французский романист и критик, известный своими психологическими романами из жизни великосветского общества; из переводов на русский язык в 90-е годы были наиболее известны: «Ученик» (1889), «Сердце женщины» (1890), «Очерки парижских нравов» (1891); и др.

238

...шептала ей Деруледово слово: «Nitchevo!» — Дерулед Поль (1846–1914) — французский поэт и политический деятель, крайний шовинист. Отрывком из стихотворения Деруледа «Nitchevo!» заканчивалась статья под этим же названием в русско-французском прибавлении к газете «Русская жизнь» от 2 октября 1893 года. Статья была написана по поводу пребывания русской эскадры в Тулоне.

239

Ездры... — Три книги Ездры составляют часть библии.

240

...в тиши меррекюльских песков... — Меррекюль — см. прим. на стр. 625. Лесков жил в Меррекюле на даче в 1890–1894 годах.

241

Жоли-гарсон (франц. joli garçon) — хорошенький мальчик.

242

Армянский просветитель России — граф И. Д. Делянов (1818–1897), по происхождению армянин, министр просвещения (1882–1897).

243

Муромцев, С. А. (1850–1910) — доктор римского права; как «неблагонадежный», вынужден был оставить кафедру в Московском университете в 1884 году.

244

Ковалевский, М. М. (1851–1916) — профессор истории, либерал; вынужден был оставить кафедру в Московском университете в 1887 году.

245

...самому Михаилу Никифоровичу так и отрезала... — Имеется в виду М. Н. Катков (1818–1887), редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника», реакционный публицист.

246

Pas de zèle (франц.) — не усердствуйте; любимая поговорка известного французского дипломата Ш. Талейрана (1754–1838).

247

Апостол от Страстного бульвара — так называли М. Н. Каткова потому, что редакция «Московских ведомостей», которые он издавал, помещалась на Страстном бульваре в Москве.

248

Антон Григорьевич — А. Г. Рубинштейн (1830–1894), знаменитый русский пианист и композитор.

— 390. Турецкая война, черняевские добровольцы под аккомпанемент аксаковских юродств всех всколыхнули... — Отдельные восстания поработенных Турцией славян начались в 1875 году; в 1876 году вступила в войну Сербия. Россия воевала с Турцией в 1877–1878 годах. М. Г. Черняев (1828–1898) — генерал; в 70-х годах примкнул к кружку славянофилов, возглавляемому И. Аксаковым; с началом войны сербов с Турцией Черняев переехал в Сербию, где занимал видный пост и командовал русскими добровольцами. И. С. Аксаков (1823–1886) — журналист и писатель, славянофил, в годы войны с Турцией выступал как горячий защитник славян; в речах порицал русских дипломатов (см. также наст. изд., т. 6, стр. 652).

250

...моего предшественника среди белого дня... пристрелили. — В Харькове 9 марта 1879 года был убит землевольцами губернатор князь Д. Н. Кропоткин; его сменил генерал фон Валь. Кропоткина убил Г. Д. Гольденберг (1855–1880).

251

Гамбетта, Л. (1838–1882) — французский политик, вождь умеренных республиканцев.

252

...слободским Лассалем окрестили... — подразумевается Ф. Лассаль (1825–1864) — немецкий мелкобуржуазный социалист. Слободской Лассаль — Лассаль с Харьковщины, так как старое название Харьковщины — «Слободская Украина».

253

Шпильгагенский Лео — герой знаменитого в свое время романа немецкого писателя Шпильгагена (1829–1911) «In Rein' und Glied» (1866); в русском переводе — «Один в поле не воин».

254

Трензель — железная цепочка для удержания удила во рту лошади.

255

Московский Филарет — Филарет Дроздов (1783–1867), митрополит московский с 1821 по 1867 год, реакционер, имевший большое влияние на правительственные круги (см. наст. изд., т. 6, стр. 634).

256

Граф Дмитрий Андреевич — Д. А. Толстой (1823–1889), министр народного просвещения и обер-прокурор синода, с 1882 года и до смерти — министр внутренних дел; крайний реакционер.

257

Где стол был яств, Там гроб стоит... — строка из стихотворения Державина «На смерть князя Мещерского».

258

...те трезвоны, что в Липецке отразились совсем не комедией князя Шаховского, а весьма опасным делом... — «Опасное дело» в Липецке — съезд землевольцев, ядра будущей «Народной воли», происходивший в июне 1879 года; А. А. Шаховской (1777–1846) — автор многих драматических произведений, написал комедию «Урок кокеткам, или Липецкие воды» в 1815 году.

259

Оцет — уксус (устар.).

260



Л. В. Дубельт (1792–1862) — с 1835 года начальник корпуса жандармов.

261

...подобно цирюльнику Мидаса, не станет зарывать в ямку свой секрет...— Мидас — царь древней Фригии (VIII–VII в. до н. э.); существовала легенда о том, что у Мидаса были ослиные уши, о существовании которых знал только его цирюльник; цирюльник не смог удержаться, чтобы не рассказать эту запрещенную тайну где-нибудь, и рассказал ее в вырытую им ямку. На этом месте вырос тростник, который постоянно шептал те же слова, и таким образом открылась тайна Мидаса.

262

Днем они сретают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью. Иов, V, 14. — Сретают — встречают; Книга Иова составляет часть библии.

263

Даль, В. И. (1801–1872) — русский языковед и писатель; им составлен известный «Толковый словарь живого великорусского языка», издан сборник «Пословицы русского народа».

264

...вчера совершенно неожиданно приехала из-за границы кузина Олимпия. — Под Олимпией, по свидетельству А. Лескова, «подразумевалась известная Ольга Новикова» (А. Лесков. Жизнь Н. Лескова, стр. 320). О. А. Новикова — писательница, вдова генерал-лейтенанта И. П. Новикова, бывшего попечителя Киевского, а затем Петербургского учебного округа. Литературную деятельность Новикова начала во второй половине 1870-х годов. Поселившись в Лондоне, напечатала ряд работ о русско-английских отношениях. Из русских периодических изданий Новикова сотрудничала в «Московских ведомостях» и «Русском обозрении».

265

Компатриот — соотечественник.

266

...«совершать свое дело — потрошить чье-то мертвое тело». — Имеются в виду стихи А. К. Толстого (1817–1875):

Собралися красавицы кучей,  
Про какие-то женские споря права.  
Совершают они, засуча рукава,  
Пресловутое общее дело:  
Потрошат чье-то мертвое тело.  
(«Поток — богатырь», строфа 23.)

267

Бертенсон, Л. Б. (1850–1929) — бальнеолог, гигиенист и общественный деятель; состоял в течение 23 лет преподавателем диагностики и внутренних болезней в Рождественской городской больнице в Петербурге.

268

Гиппические конкурсы — скачки на ипподроме (от греческого гиппос — лошадь).

269

...«не так страшен черт, как его малютки» — измененная русская пословица: не так страшен черт, как его малюют.

...крайний реализм — про эти пеленки с детскими пятнами. — Имеется в виду следующее место из «Войны и мира» Л. Н. Толстого: «Наташа... дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна, и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше» («Война и мир», т. IV, эпилог, ч. II).

Или вспомните потом, как у него описан этот Александр Первый... Да. Помните, как он пристегивает помочи? — Имеются в виду следующие строки из «Войны и мира»: «Невысокий полный человек лет 30-ти, в белых панталонах, ботфортах и в одной, видно только что надетой, батистовой рубашке, стоял в этой комнате; камердинер застегивал ему сзади шитые шелком прекрасные новые помочи, которые почему-то заметил Ростов» («Война и мир», т. II, ч. II, гл. XX).

...вольному воля, а спаси нас рай — измененная русская пословица: вольному воля, а спасенному рай.

...все рассказывали о том, как к графу приехал будто один родной, какой-то гусар, в своей форме, все в обтяжку, а он будто взял и подвязал ему нянькин фартук, а иначе он не хотел его пустить в салон. — Эта реплика, по свидетельству А. Лескова, включена Н. Лесковым в «Зимний день» после того, как он услышал о подобном случае в семье Толстого: «В Москве Лесков пробыл три или четыре дня и, вероятно, был у Толстого не один раз.

Рассказам о вынесенных впечатлениях не было конца... Удержалась почему-то шутка со свечой, гасшей при произнесении перед нею кем-то из дочерей Толстого слова «поп», прикрытие Толстым нескромно обтянутых чикчир какого-то гусара салфеткой или передником» (А. Лесков. Жизнь Н. Лескова, стр. 601).

Шопенгауер, А. (1788–1860) — немецкий реакционный философ.

Рацея (от лат. oratio речь) — длинное скучное наставление, поучение.

Вот, например, у Репина, «Крестный ход»... — Имеется в виду картина И. Е. Репина (1844–1930) «Крестный ход в Курской губернии»; в этой картине художник изобразил чванливое самодовольство богатых — чиновников, помещиков, кулаков — и униженность и бесправие крестьян, которых бьет нагайкой урядник.

...не было в моде ни Засецкой, ни Пейкер, и даже еще сам Редсток не приезжал... Василий Пашков был еще в военном, а Модест Корф обеими руками крестился и при всех в соборе молебны служил... А что до Алексея Павловича Бобринского... — Ю. Д. Засецкая, М. Г. Пейкер, В. А. Пашков, М. Корф, А. П. Бобринский — члены религиозной секты, носившей название «пашковцы» (по имени В. А. Пашкова, кавалергардского полковника, наиболее ревностного ее члена); граф А. П. Бобринский был в 1871–1874 годах министром путей сообщения; Ю. Д. Засецкая — дочь партизана Д. В. Давыдова.

Секта возникла в России под влиянием проповеди англичанина Редстока (см. стр. 616).

278

Анненков, Иван Васильевич (1814–1887) — генерал, в 1860 году был начальником I округа корпуса жандармов, с 1862 по 1867 год петербургский полицеймейстер, затем комендант Петербурга.

279

...на одну святую бросился бесстыжий мурин, но как она никогда мылом не мылась, то этот фоблаз так от нее и отскочил. — Мурин — мавр, арап, переносное — «нечистый»; Фоблаз — герой серии романов Луве де Куврэ. Тип развращенного французского дворянина XVIII века.

280

...где был губернатор Скарятин... — Н. Я. Скарятин был казанским губернатором с 1867 по 1880 год.

281

...с тех пор, когда был шах персидский... — Шах персидский Насреддин был в России в 1889 году.

282

Лютер, Мартин (1483–1546) — видный деятель Реформации, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии; идеолог немецкого бюргерства.

283

...после благословенного девятнадцатого февраля... — 19 февраля 1861 года в России был издан царский указ об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

284

Европеус, А. И. (1826–1885) — член кружка петрашевцев; был приговорен к расстрелу, но помилован; участвовал в подаче либерального адреса тверского дворянства в 1862 году.

285

Унковский, А. М. (1828–1892) — предводитель дворянства Тверской губернии, принимал участие в подготовке крестьянской реформы и выдвинул один из наиболее либеральных проектов ее, руководил оппозиционным движением тверского дворянства, за что был в 1859 году удален с должности и сослан в Вятку.

286

А Пушкин умел и это оттенить, когда сказал: «Что прекрасно для Лондона, то не годится в Москве». — Имеется в виду стих Пушкина:

Что нужно Лондону, то рано для Москвы.

(«Послание к цензору», 1 строфа.)

287

«Катков умер». Вы это сказали так, как будто хотели сказать: «Умер великий Пан». — А вы на это «сверкнули», как Диана... Кажется, ведь это так у Тургенева? — Речь идет о произведении Тургенева «Нимфы», входящем в цикл «Стихотворения в прозе». Пан — в древнегреческой мифологии бог пастухов, природы, зарождающегося света и покровитель стад; Диана — богиня охоты и луны, девственница. М. Н. Катков умер в 1887 году — см. прим. к стр. 389.

288

Вот вам Иона-циник в женской форме. — Иона — один из библейских пророков; подробности истории Ионы в библии в «Книге пророка Ионы»; собеседница здесь могла так же иметь в виду Иону-циника, персонаж романа А. Ф. Писемского «Взбаламученное море».

Смеяться не грешно над тем, что смешно — искаженные строки из стихотворения Н. М. Карамзина «Послание к Александру Алексеевичу Плещееву»:

Кто муз от скуки призывает  
И нежных граций, спутниц их;  
Стихами, прозой забавляет  
Себя, домашних и чужих;  
От сердца чистого смеется  
(Смеяться, право, не грешно!)  
Над всем, что кажется смешно, —  
Тот в мире с миром уживется  
И дней своих не прекратит  
Железом острым или ядом...

290

Бокль, Г. Т. (1821–1862) — английский историк либерально-буржуазного направления; развитие общества объяснял влиянием географических условий на психологию народов.

291

...он был в Кане Галилейской. — Кана Галилейская — город древней Палестины, в котором, согласно легенде, Христос превратил воду в вино на брачном празднестве (евангелие от Иоанна, II, 1–2).

292

А он тоже был и у мытаря? — Имеется в виду следующее евангельское предание: «И сделал для него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними» (евангелие от Луки, V, 29). Мытарь — сборщик податей и пошлин.

293

«Придет весенний шум, веселый шум!» — Здесь перефразированы строки стихотворения Некрасова «Зеленый шум»; у Некрасова: «Идет-гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум!»

294

...статуэтку Дианы из Танагры... — Танагра — область в древней Греции.

295

...сваты, которым никто не смел отказать. — Речь идет о царях.

296

«Брось их всех вон или обратись к религии» ... она... поехала в Кронштадт... — Имеется в виду Иоанн Кронштадтский — протоиерей Андреевского собора (см. прим. к «Полуношникам»).

297

...подписываем адрес madame Adan... — точнее Adam (1836–1936) — французская писательница, пропагандировала франко-русский союз.

298

...père Jean и père Onthon. — Père Jean — Иоанн Кронштадтский (см. прим. к «Полуношникам»); père Onthon — вероятно, Антоний (А. В. Вадковский, 1846–1912) — церковный деятель и духовный писатель; в 1887 году назначен ректором Санктпетербургской духовной академии с возведением в

сан епископа; в 1892 году назначен архиепископом вновь образованной финляндской епархии.

299

...осуществляет «Волшебное дерево» из Бокаччио. — Имеется в виду IX новелла седьмого дня из «Декамерона» Джованни Боккаччо (1313–1375), в которой рассказывается, как неверная жена одурачивает мужа, убеждая его, что нее его подозрения напрасны и во всем виновато грушевое дерево.

300

...Бисмарк же любил поговорить с социалистами. — Отто Бисмарк (1815–1898), с 1871 по 1890 год канцлер Германской империи, ярый монархист, издал исключительный закон против социалистов.

301

Майорат — порядок нераздельного наследования имущества старшим в роде.

302

...в рассуждении веры я байронист... — то есть последователь Байрона (1788–1824); богоборческие мотивы наиболее отчетливы в трагедии Байрона «Каин» (1821).

303

Кармелитка — монахиня; монашеский орден кармелиток был основан во Франции в 1452 году; монастыри кармелиток в XIX веке были многочисленны, особенно в Испании, Франции и Австрии.

304

...читает Богословца или Ключ разумения... — «Ключ разумения», сочинение Иоаникия Галятовского, издавалось в 1633 и 1659 годах.

305

Не укусила ли его какая-нибудь якобинская бацилла? — Якобинцы — представители низших революционных слоев французской буржуазии в конце XVIII века; якобинцы осуществляли диктатуру в 1793–1794 годах.

306

Рамолитический вид — вид расслабленного паралитика (от франц. ramolli — расслабленный).

307

...в «премудрости Павла чтение»... сказано: «не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». — Изречение из Нового завета (II послание к Коринфянам, гл. 12).

308

...«оставь надежду навсегда!». — Из «Божественной комедии» Данте (1265–1321); у Данте — надпись над воротами ада; распространен также другой перевод этого стиха: «Оставь надежду, всяк сюда идущий!»

309

Елизавет Воробей — так записал Собакевич в список ревизских душ (мужчин) умершую крепостную крестьянку с тем, чтобы продать ее в числе мужских мертвых душ Чичикову («Мертвые души», гл. VII).

310

Мешерский — см. прим. к «О квакереях», стр. 616.

311

...помни, что говорил Оксенштиерна... — А. Оксеншерна (1583–1654) — шведский министр,

впоследствии канцлер, искусный дипломат и администратор.

312

Сердоликовая коробочка — коробочка из сердолика, то есть камня халцедона, красного или желто-оранжевого цвета.

313

Boufflers — Станислав Буффлер (1737–1815), французский государственный деятель и писатель.

314

Незадолго перед переходом «Отечественных записок» из рук Дудышкина и Краевского под редакцию Некрасова и Салтыкова... — «Отечественные записки» перешли под редакцию Некрасова и Салтыкова в январе 1868 года; с этих пор журнал стал боевым органом демократического направления.

315

Я зазнал этого человека в 1865 году, когда Дудышкин напечатал в «Отечественных записках» одну его статью... — О рассказе «Дама и фефёла» и о прототипе писателя-критика А. Лесков пишет: «С годами я отвык вспоминать, по правде сказать, не лишённую замечательных достоинств Пашу (горничную Лескова. — А. Г.). Но вот, почти в канун смерти отца, появился боевой его рассказ с едким и вызывающим заглавием — «Дама и фефёла». Дан был ему и подзаголовок — «Из литературных воспоминаний». Последний оказался далеко не отвечающим действительному содержанию этого частию полемического, частию беллетристического и всего менее мемуарного произведения».

Знакомым Н. С. Лескову писателем, терпевшим семейные невзгоды, как предполагает А. Лесков, мог быть Н. И. Соловьёв. Но Соловьёв умер 4 января 1874 года в Москве, «куда переселился за несколько лет до своей кончины. Ни о какой «фефёле», оставшейся с ребёнком от него, у нас никогда не поминалось. Во всяком случае, если она и существовала, все противоречило ее появлению в Петербурге. Это надо было обойти. Воспоминания невольно перестроились в свободное творчество. Так было удобнее и для завязки, и для гибкости композиции, и для умножения лиц, положений, событий. В основе была задача противопоставить злой «даме» добросердечную, пусть и апокрифичную «фефёлу». В лепке последней неожиданно я узнал кое-что, взятое от полузабытой уже Паши» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 422–423).

316

Это было вскоре после достопамятной лекции, прочитанной в бывшем художественном клубе г-жою Якоби, которая тогда только что возвратилась в отечество и много сообщала о гарибальдийском движении... — Александра Николаевна Якоби (1842–1918) — известная детская писательница (псевдоним — А. Толиверова). С 1887 года — издательница-редактор детского журнала «Игрушечка». А. Н. Якоби в 1860-х годах жила с мужем, художником В. И. Якоби, в Риме. Здесь проявилось ее горячее сочувствие к гарибальдийскому движению. Она ухаживала за ранеными гарибальдийцами, среди которых был Артур Бенни (его называли прототипом героя романа «Некуда» — см. т. 2 наст. изд.). По возвращении в конце 1860-х годов в Петербург Якоби читала в клубе художников лекции о Гарибальди и гарибальдийцах и проводила сборы в их пользу. О своих встречах с Гарибальди написала воспоминания («Между гарибальдийцами. Воспоминания русской»). — «Неделя», 1870, № 22–24; «Италии. Литературный сборник в пользу пострадавших от

землетрясения в Мессине». СПб., 1909; «На Капрере у Гарибальди». — «Исторический вестник», 1882, VIII; «На Капрере». — «Игрушечка», 1883, XII–XIII).

317

Гарибальдийское движение. — Гарибальди Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии, борец за национальное освобождение и объединение Италии.

318

Профессор Якоби, В. И. (1834–1902) — русский живописец. Вначале выступил как представитель критического реализма, затем перешел к историческим композициям, часто носившим салонно-академический характер.

319

Микешин, М. О. (1836–1896) — русский скульптор и живописец, автор памятников «Тысячелетие России» в Новгороде, Екатерине II в Петербурге и мн. др.

320

Петр Соколов — см. прим. к «Загону», стр. 624.

321

Зичи, М. А. (1829–1906) — русский художник; большая часть его рисунков посвящена изображению быта и различных событий царского семейства, а также придворных церемоний.

322

Сверчков, Н. Е. (1817–1898) — русский художник.

323

Клевер. — Вероятно, Лесков имеет в виду Ю. Ю. Клевера (1850–1924) — русского художника-пейзажиста. Однако Клевер стал известен своими картинами позднее упоминаемых здесь событий.

324

...все эти уважаемые лица были напоены одним духом художников Александра и Дмитрия, о которых упоминается в книге «Деяний апостольских»... — Книга «Деяний апостольских» составляет часть Нового завета; Дмитрий видел в своем искусстве только источник материальных выгод: «...от этого ремесла зависит благосостояние наше», — говорил он (гл. XIX, ст. 25). В этой аналогии проявилось пристрастное отношение Лескова к упомянутым им художникам.

325

...держит в руке волюмчик Таухницкого издания. — К. Таухниц (1761–1836) — немецкий типограф и книгопродавец; фирма «Таухниц» издавала вначале греческих и римских классиков, словари, библии; затем, в 1841 году, было предпринято издание серии английских авторов, с 1866 года стали выпускаться произведения немецких авторов; волюмчик — томик (от фр. volume — том).

326

С переходом «Отечественных записок» к Некрасову... — «Отечественные записки» перешли к Некрасову в 1868 году; с этих пор журнал стал боевым органом демократического направления.

327

...скоро был приглашен во «Всемирный труд» к доктору Хану... — «Всемирный труд» издавался ежемесячно с 1867 года доктором Э. А. Ханом. С 1869 года при нем выходило бесплатное приложение «Домашняя библиотека». Журнал имел консервативный характер и примыкал к лагерю противников идей 1860-х годов. В 1872 году издание перешло к С. С. Окрейцу, летом того же года

журнал был закрыт.

328

Гр. П. Данилевский навестил его. — Григорий Петрович Данилевский (1829–1890) — русский писатель, автор многих романов. Среди них наиболее известны; «Беглые в Новороссии» (1862), «Беглые воротились» (1863), «Новые места» (1867), «Мирович» (1879), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1866).

329

...кто хочет лучше с этим познакомиться, пусть прочтет переписку Д. И. Писарева с Г. Е. Благосветловым. — Д. И. Писарев (1840–1868) — выдающийся русский критик и философ-материалист, революционный демократ. Г. Е. Благосветлов (1824–1880) — русский публицист-демократ, редактор журнала «Русское слово», а затем журнала «Дело». Письма Писарева к Благосветлову были напечатаны в журнале «Русское обозрение», 1893, кн. 3, 6, 8, 10 и 12.

330

Пальм, А. И. (1823–1885) — русский беллетрист и драматург, писавший под псевдонимом П. Альминский; наиболее известны его романы «Алексей Слободин» и «Больные люди».

331

Тимирязев, В. А. (1840–1912) — родной брат знаменитого ученого, с самого начала своей литературной деятельности попал в редакционную среду «Отечественных записок». Щедрин отдал в его распоряжение переводы иностранной беллетристики; иногда он писал статьи о переводимых авторах; ему же принадлежит статья «Босния и Герцеговина во время восстания».

332

Всев. Крестовский (1840–1895) — писатель; широкую известность доставил ему роман «Петербургские трущобы» (1864).

333

Костомаров, Н. И. (1817–1885) — известный русский историк.

334

Кожанчиков — книгопродавец и издатель (ум. в 1877 году).

335

Поппея-Сабина (I в. н. э.) — любовница, а затем жена римского императора Нерона, славившаяся как своей красотой, так и безнравственностью.

336

...он ползал по полу настоящим санкюлотом... — Санкюлот здесь употреблено в буквальном значении (фр. *sans culotte* — без штанов).

337

...читал всем «Телемака». — Телемак — сын Одиссея, героя древнегреческого эпоса; история Телемака рассказывалась с вариантами в послегомеровских сказаниях; приключения Телемака послужили темой для получившего широкую известность романа французского писателя Фенелона (1651–1715) «*Les aventures de Télémaque*»; в этом романе Фенелон проводит мысль о необходимости ограничить королевскую власть; «Телемак» был переведен на многие языки, на русском языке «Телемак» был широко известен в переводе Захарова (1786) и в стихотворном переводе Тредиаковского под названием «Телемахида».



338

«Павел и Виргиния» — роман французского писателя Бернардена де Сен Пьера (1737–1814); из русских переводов широко известен был перевод Подшивалова 1806 года.

339

«Слово похвальное Марку Аврелию». — Имеется в виду, по-видимому, «Слово похвальное Марку Аврелию, сочиненное Г. Томасом, членом Французской академии. Переведено с французского, СПб., 1777»; перевод этого сочинения был сделан также в 1801 году И. Лопухиным.

340

Встань, если хочишь... и т. д. — неточная цитата из произведения Г. Сковороды «Диалог или разглагол о древнем мире». У Сковороды: «Стань же, если хочишь, на ровном месте и вели поставити вокруг себя сотню зеркал венцем. В то время увидишь, что единый твой телесный болван владеет сотнею видов, от единого его зависящих. А как только отнять зеркала, вдруг все копии сокрываются в своей исконности или оригинале, будто ветви в зерне своем. Однако же телесный наш болван и сам есть едина токмо тень истинного Человека. Сия тварь, будто обезьяна, образует лицевидным деянием невидимую и присносущую силу и божество того Человека, коего все наши болваны суть аки-бы зеркаловидные тени...»

341

Григорий Сковорода (1722–1794) — украинский философ и поэт, в своих произведениях и трактатах резко критиковал официальную религию и паразитизм господствующих классов.

342

«Чин явления истины» — «Чин бываемый во явление истины между двома човекома тяжущимася». Книга под этим названием издана синодом; в конце предисловия указано, что «благословением же святейшего синода напечатася книга сия... в царствующем граде Москве» в 1864 году. В дальнейшем повествовании Лесков приводит отрывки из этой книги с некоторыми изменениями и неточно; например, у Лескова: «И аще дерзнешь неправду показать, то да трясешися, яко крин на земли», — а в тексте «Чина»: «Елицы же лестною клятвою неправду праведну показати смееете... и да трясется яко Каин еще и на земли».

343

Остер — река, приток Сожа, протекает в Белоруссии и Смоленской области.

344

Опанас Опанасовш закрепостил их за собою, и учинился над ними пан, еще где до Катериных времен! — Катерины времена — время царствования Екатерины II (1762–1796); Екатерина II (1729–1796) всемерно укрепляла крепостнический режим; в частности, ею были изданы указы о праве помещиков ссылать крестьян на каторгу и о запрещении крестьянам подавать жалобы на помещиков; в царствование Екатерины II украинские крестьяне были окончательно закрепощены.

345

...их стали писать «крепаками»... — то есть крепостными.

346

Пуга (юго-зап., обл.) — кнут, хлыст.

347

Копа (обл.) — куча, груда, ворох.

348

Одностойне (укр.) — единообразно, единодушно.

349

...полковник... разметал его «бебехи». — Бебехи (укр.) — перины; здесь: имущество, домашний скарб.

350

Выбачайте (укр.) — от выбачати — извинять.

351

Брама (укр.) — ворота.

352

Цвяшки (укр.) — гвоздики.

353

«И, может быть, мечты мои безумны» — начальная строка стихотворения Е. П. Ростопчиной (1811–1858) «Может быть»:

И может быть, мечты мои безумны,  
Безумны слезы и тоска,  
Не вспомнит он в столице многошумной,  
Что я одна и далека...

354

Цивильная — гражданская, штатская.

355

Став (укр.) — пруд, запруда.

356

Основьяненко (1778–1843) — псевдоним известного украинского писателя Григория Федоровича Квитка.

357

Вытребенки (укр.) — пустяки.

358

...мудрейший глаголет в Екклезиасте... — Екклезиаст — название ветхозаветной библейской книги, авторство которой приписывается еврейскому царю Соломону (XI в. до н. э.); книга написана в пессимистическом тоне; особенно часто цитируется из нее следующее место: «Суета сует, и все суета и томление духа!»

359

Шануй (укр.) — чти, уважай.

360

А вы разве не читали у Патриаршем завете, что по продаже Иосифа не все его братья проели деньги, а купили себе да женам сапоги из свинячьей кожи, щобы не есть цену крови, а попить ее. — Патриарший завет — то же, что Ветхий завет, или библия; о том, как был продан в рабство своими братьями Иосиф, рассказывается в книге Бытия, гл. 37.

361

Костыльник — церковный служака, участвующий в архиерейском богослужении (одной из

принадлежностей архиерея во время службы является посох, или костыль).

362

«Ныне владыка всему предпочитает уху из разгневанного налима». — А. Н. Лесков сообщает, что уха из разгневанного налима действительно была одним из изысканных блюд. В петербургском ресторане «Малый ярославец» (Большая Морская улица, ныне ул. Герцена), по свидетельству А. Н. Лескова, «Всеволод Крестовский лично уловлял в аквариуме наиболее достойного его внимания налима и непосредственно руководил его сечением, дабы вспухшая от боли печень злосчастной рыбы приобрела особую нежность. Эту «печень из разгневанного налима» Лесков увековечил много лет спустя в рассказах «Заячий ремиз» и «О книгодрательном бесе (Прохладные кровожадцы)» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 473).

363

Келих (укр.) — кубок, бокал.

364

Солея — возвышение пола в церкви перед алтарем.

365

Egvando amabis — неправильная передача латинского выражения: «esquando amabis» — «когда-нибудь полюбишь».

366

Геронтеса — дама, жена знатного человека.

367

Дискурс — рассуждение.

368

...перед погибелью Нерона лары упали во время жертвоприношения. — Нерон (37–68 н. э.) — римский император; отличался чрезвычайной жестокостью; лары — в древнем Риме духи предков и обитаемых людьми мест, их изображали в виде молодых людей с протянутой кверху правой рукой и вытянутой вперед левой, в которой была чаша.

369

Звычайно (укр.) — обычно, обыкновенно.

370

...спросил меня: что было в Скинии свидения? На что я ответил, что там были скрижи, жезл Аваронов и чаша с манной кашей... — Скиния — буквально шалаш, куща (евр.); так называется походный храм, по библейскому преданию построенный евреями во время их странствий; скиния именуется обычно скиния свидения, то есть свидетельства пребывания бога; среди многих принадлежностей скинии были скрижали, то есть каменные плиты, на которых выбиты были десять заповедей, чаша с манной и жезл Ааронов (первосвященника, брата и сподвижника Моисея, выведшего евреев из рабства египетского).

371

...какой член символа веры начинается с «чаю»... — «Чаю» (старослав.) — ожидаю, надеюсь, верую (от чаяти); символ веры — краткое изложение основных догматов религии; со слова «чаю» начинается 11-й член символа веры: «чаю воскресения мертвых».

372

Почитай-ка, что о них в книге Еноха написано...— Книга Еноха является одной из книг библии; Енох, по библейскому преданию, седьмой патриарх, начиная от Адама.

373

Посошник — церковнослужитель, держащий архиерейский посох.

374

Платон (427–347 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа.

375

Цицерон (106–43 до н. э.) — выдающийся римский оратор, политический деятель и писатель.

376

Тацит (ок. 55 — ок. 120) — римский историк.

377

Плавт (ок. 254–184 до н. э.) — древний римский писатель, автор комедий.

378

Сенека (6 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ-стоик, писатель и политический деятель.

379

Теренций (ок. 195–159 до н. э.) — римский драматург.

380

Регул (III в. до н. э.) — римский политический деятель и полководец.

381

Феофан Прокопович (1681–1736) — талантливый русский публицист, ученый, церковный и общественный деятель.

382

Утямити (укр.) — понимать, смыслить.

383

Авва Дорофей (ум. в 620 г.) — монах в Сирии, потом настоятель монастыря близ Газы; автор аскетических «Наставлений» и «Слов» о подвижничестве. Русский перевод — «Душеполезные поучения и писания аввы Дорофея», М., 1862.

384

...в коем уде...— Уд (старослав.) — часть, член тела.

385

Чем заслужили смерть мирные стада...и т. д. — неточная передача стихов Овидия из «Метаморфоз», гл. XV, стихи 116–142.

386

Либертите и егалите — от франц.: *liberté* — свобода и *égalité* — равенство.

387

...о представлении казней согласно наставлению поэта Жуковского...— Имеется в виду статья В. А. Жуковского (1783–1852), известного русского поэта, «О смертной казни» (1849); в этой статье Жуковский пишет: «Что отвратительнее этой виселицы, на которой несколько минут бьется в конвульсиях живой человек и на которую глядит толпа... Еще отвратительнее французская гильотина... Место, на котором совершается казнь, должно быть навсегда недоступно толпе; за стеною, окружающею это место, толпа должна видеть только крест, подымающийся на главе

церкви... Казнь преступника... должна возбуждать все высокие чувства души человеческой: веру, благоговение перед правдою, сострадание, любовь христианскую...

На пути от церкви к месту казни он (преступник. — С. Г.) будет провожаем пением, выражающим молитву о его душе... Такой образ смертной казни будет в одно время и величественным актом человеческого правосудия, и убедительною проповедью для нравственности народной».

388

...запели себе маршальезу... и под преужаснейшие слова: «Алон анфан де ля патриё» раскидали... Бастиль. — Марсельеза начинается словами: «Allons, enfants de la patrie!» — «Вперед, сыны отечества!» Марсельеза была создана в 1792 году и первоначально называлась «Боевая песня Рейнской армии», потом стала революционной песней; Бастилия — крепость и государственная тюрьма в Париже — была разрушена 14 июля 1789 года.

389

...в согласии с Фонвизиним говорил, что довольно просто внушать, что «по природе своей сей народ весьма скотиноват и легко заёвывается». — Д. И. Фонвизин (1745–1792) — русский писатель-сатирик; наиболее известны комедии «Недоросль» и «Бригадир»; близкие по смыслу, но текстуально не совпадающие отзывы о французах имеются в письмах Фонвизина к сестре Ф. И. Фонвизиной из первого «второго — В.Л.» заграничного путешествия в 1877 году.

390

Орлецы — коврик архиерея при служении, круг из ткани, с орлом.

391

Рипиды — опахало, употребляемое при богослужении.

392

Митра — архиерейская шапка, надеваемая при богослужении.

393

Деликвент (лат.) — преступник.

394

«И земля пожрет тебя, яко Дафана и Авирона, и да восприемлещи проказу Гиезиеву и удушение Иудино». — В «Чине» это место читается так: «...и да отверзшися земля пожрет вас яко Дафана и Авирона, и да восприемлете проказу Гиезиеву и удушение Иудино». Дафан и Авирон, по библейскому преданию, были наказаны богом за то, что восстали против избранников божьих — Моисея и Аарона; Дафан и Авирон провалились под землю, разверзшуюся под ними. Иуда, по евангельскому преданию, — один из апостолов, предавший своего учителя Христа; мучимый угрызениями совести, Иуда повесился.

395

...погиб, аки обра. — Обрами назывались в русских летописях авары, воинственные тюркские племена, в начале X века эти племена были разгромлены.

396

Хрия — речь, составленная по заданным правилам.

397

Сумуется — от сумовать (укр.) — раздумывать.

398

«Колысь було на Україні добре було житі?» — украинская народная песня.

399

...Каин убил Авеля, брата своего... — Каин и Авель, по библейскому преданию, дети Адама и Евы; Каин убил Авеля из зависти.

400

Смоктать (диал.) — сосать.

401

Жохаться (укр. жахатися) — пугаться, бояться.

402

...Петербург основал Петр Великий, и там есть рыба ряпушка, о которой бессмертный Гоголь упоминает... — Имеется в виду реплика городничего: «Да; там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть» («Ревизор» д. 5).

403

...револьвер под названием «барбос»... — револьвер «бульдог». В «Записной книжке» Лескова (ЦГАЛИ) в рубрике «Порча слов и выражений» содержится запись: «револьвер-барбос — бульдог» (Ф. 275, I, 112).

404

Хобар — взятка.

405

Шпек (укр.) — шпион.

406

Не турбуйтеся (укр.) — не беспокойтесь.

407

Егалите и братарните — искаженная передача французских слов равенство и братство (франц. *égalité* и *fraternité*).

408

Млявый — вялый, смутный.

409

Очерет (диал.) — камыш, тростник.

410

...мне захлопали, як бы я был самый Щепкин... — М. С. Щепкин (1788–1863) — великий русский актер.

411

...и пойдут в лес, да и Зилизняк или Гонту кличат... — Зилизняк — Железняк, руководитель крестьянского восстания на Украине против польских помещиков в 1768 году. Гонта вместе с Железняком руководил крестьянским восстанием, казнен польскими панами.

412

...про прозванью Дарвалдай... — намек на неправильное понимание выражения из народной русской песни «Вот мчится тройка удалая» (текст Ф. Глинки);

Вот мчится тройка удалая

Вдоль по дорожке столбовой,

И колокольчик, дар Валдая,

Гудит уныло под дугой.

В «Записной книжке» Н. С. Лескова (ЦГАЛИ) в рубрике «Порча слов и выражений» содержится запись: «Дарвалдай звенит — колокольчик» (Ф. 275, 1, 112).

413

...мчится тройка удалая на подорожке столбовой. — Искаженная передача двух первых строк песни

Вот мчится тройка удалая

Вдоль по дорожке столбовой...

«На подорожке столбовой» — это выражение внесено Лесковым в его «Записную книжку» (ЦГАЛИ. Ф. 275, I, 112) под рубрикой: «Порча слов и речений». Здесь, как и во многих других случаях, искаженное выражение употреблено сознательно и характеризует Оноприя Перегуда. Редактор первого печатного текста «Заячьего ремиза» (Нива, 1917, № 34–37), восстановив литературную форму, произвольно изменил текст Лескова.

414

...я будто подаю в разговорах с простонародием штундовые советы! — Штундисты — члены религиозной секты, существовавшей во второй половине XIX века на Украине и на юге России.

415

Провещился — дал весть, прояснился.

416

Плахта (укр.) — платок, обертываемый женщинами вокруг пояса вместо юбки.

417

Мандривать (диал.) — бродить, странствовать.

418

Не здужае (укр.) — не сможет.

419

...еду... мечтаю, як оный гоголевский Дмухонец. — Имеется в виду персонаж комедии «Ревизор», городничий Сквозник-Дмухановский.

420

...полно место тїх самых гаспидских листков... — то есть аспидских листков. Во всех предшествующих изданиях печаталось «госпидских», что нарушало смысл фразы.

421

Акциденция — случай.

422

Маршалеk (от польского marszalek) — здесь в значении: предводитель дворянства.

423

...тут я уже припомнил... Лукиана и с его встречами и разговорами в царстве мертвых... — Лукиан (ок. 120–180) — греческий писатель-сатирик, одно из произведений которого называется:

«Разговоры в царстве мертвых».

424

Тут и Овидий, и «оксиос», и метание орлецов... — «Оксиос», точнее «Аксиос» (греч.) — буквально: «Достоин»; провозглашается в церкви при посвящении во все иерархические степени. Орлецы — см.

прим. к стр. 531.

425

У вашего философа Сковороды есть одно прелестное замечание: «Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится»... — У Сковороды: «И тогда ж зачинается цыпленок, когда портится яйцо. И так всегда все идет в бесконечность («Вопросы философии», 1894, кн. 23, стр. 227).

426

...я вижу папирки... — то есть бумажки, в данном случае — листовки.

427

Истота — сущность, естество.

428

...глас, вопиющий в пустыне: «Готовьте путь!..» — Имеется в виду следующее место из библии: «Глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь господу, прямыми сделайте в степи стези богу нашему» (Исайя, гл. 40).

429

Страшно в могиле... и далее — неточная передача отрывка из стихотворения Карамзина «Кладбище»:

Страшно в могиле, хладной и темной!

Ветры здесь воют, гробы трясутся,

Белые кости стучат.

430

...уйти в шатры Симовы — здесь в значении: найти вечный покой.

431

Глаголь и Добро — старославянские названия букв «г» и «д».

432

Овамо и семо (старослав.) — туда и сюда.